

ОЛЬГА ТАТАРИНОВА

Война Алой и Белой Розы

Роман

Москва
Издательство «БПП»
2009

**Текст представлен
в авторской редакции,
орфографии, пунктуации**

Часть 1 ПИРЕТРУМ

брату Вальдемару

Мы работали не над тем материалом: не глина, не слово, не краска, не звук — наши формы. Наша форма — душа.

Андрей Белый. «Символизм»

СЛЕПЫЕ КОТЯТА

Я сидела, собрав себя всю руками, на полу кухни — это было в конце войны, после того, как дедушка занёс молодого, худого цветущего кота. Я старалась ещё хоть немного поплакать, но уже не могла и выдавливала из себя тяжесть нутряным «у-у-у».

Бабушка сердилась на меня.

— Вот родятся следующие котята, будешь сама их топить, — говорила она.

— Ладно, хорошо, я буду, — отчаянным басом закричала я.

Но когда они родились, четверо, я сказала бабушке:

— Может, прокормим?

— А потом ещё четверо, и ещё четверо, а тебя куда мы денем? И все равно придется заносить. А пока мы будем хныкать, у них вырастет душа, и они все начнут понимать и чувствовать. Топить надо сразу, пока молока не сосали. Ты вот — ты что-нибудь разве помнишь о том времени, когда родилась?

Удивленная, я стала напряженно думать. Понимая, что выяснить это сейчас — и есть самое важное, я сказала про птиц на крыше сарая, под окном, которым я крошила хлеб.

Ещё ниже крыши сарая была зеленая трава — «травушка-муравушка» — вокруг толстого коричневого ствола.

В окно, из которого я крошила хлеб, лезли темные мохнатые ветки. Того ли самого дерева, или другого — я не помнила.

— Ну вот. А это все было на Пушкинской, в нашем доме, который потом бомбой разбило. Тебя и привезли-то туда уже годовалой. А когда его разбило, тебе было уже почти три, и никакого хлеба, никаких птиц и «травушки-муравушки» уже быть не могло.

Это я уже хорошо помню. Были уже «ушки-тряпочки».

Это — ушки той самой кошки, что приносила теперь каждый раз четыре котенка без зазрения совести. Когда и людям-то трудно перебиваться. А главное, такое лавинообразное увеличение числа кошек вообще никак не согласуешь с жизнью, с работой, с заботами взрослых в городе, да ещё в условиях войны, хотя уже и откатившейся далеко от города, откатившейся даже от страны, но все еще никак не кончавшейся.

И «ушки-тряпочки» — это уже далекое детство, когда в конце квартала видны в едва назревающих сумерках выпрыгивающие из-под красных каменных развалин красные языки огня, и я не могу вспомнить, как выглядел этот дом, когда был целым, а уже воет новая сирена.

Бабушка с дедушкой берут готовые небольшие узелки, мама хватается за меня, и все бегут по улице наискосок к бомбоубежищу, припухший над землей вход в которое — на Пушкинском бульваре, среди кустов акации, которые вспоминаются зелеными, хотя дело, возможно, было и не летом.

Я останавливаюсь посреди мощеной гладкими серыми камнями мостовой и присев на корточки кричу благим матом: «Катку забыли-и!», и мама хлопчет вокруг меня, отрывая мои руки от мостовой, в то время, как мимо бегут люди.

Истерика и борьба длятся недолго, потому что на опустевшей улице появляется сосед в гимнастерке. Перевязанной рукой он прижимает к себе голову дымчатой Катки, и все ее длинное худое тело свешивается из-под руки и танцует в воздухе.

Здоровой рукой он подхватывает меня, чуть ли не вместе с мостовой, по крайней мере, с камушком в руке, и уже в темноте и тесноте бомбоубежища стоит, спиной и руками сдерживая толпу и образуя узкую душную яму пространства, на дне которой я сижу на узле, крутя пальцами кошачьи уши, и заливаюсь смехом, перекрывая тревожное шептанье людей вокруг: «Ушки-тляпочки!»

Хотя это уже и далекое, минувшее три года тому назад детство, я помню все, сюжет воспоминания не прерывист, как, например, про день объявления войны.

День объявления войны я пересказываю своим домашним странно: твержу про вилку, которая быстро-быстро сбивает яйца в тарелке, вспоминаю соль, вспоминаю, что в сбитые и пенящиеся сырые яйца крошится

хлеб, вкусно обволакивается белком. А мама говорит, что такого не было.

— Ну вот, например, Жигули ты помнишь? — спрашивает бабушка.

В Жигулях я родилась. На строительстве гидроузла, куда маму распределили после окончания политехнического института.

Нет, Жигули я не помню.

Бабушка показывает мне фотографию дома, где жила моя мама, фотографию мамы на теннисном корте. Голову мамы среди серого пространства Волги. Маму с толстенькими загорелыми ножками, в черных трусах и белой майке, на волейбольной площадке. Ни зги в моей голове. Ни зги в моей душе.

Душа встрепенулась только однажды, когда бабушка сказала про топорик. Как дедушка рубил топориком дрова на «травушке-муравушке». Я этого не вспомнила, но душа встрепенулась.

Но и это было уже после года, здесь, а не в Жигулях.

Вернулись ли мы из бомбоубежища, или из эвакуации, когда увидели наше пианино стоявшим поперек обгоревшей балки и плачущего дедушку в бабкином капоте? Помню, как по всему двору, по всей «травушке-муравушке» носились книжные листы и сухие листья разбитого, погибшего дерева. Ветер сталкивал их со скрежетом, от которого я вздрагивала столько, сколько это длилось, и еще потом.

— Ну вот видишь, — сказала бабушка. — А у них еще и Жигули не начались. Потому что они еще две недели будут слепыми, а уж потом начнет прозревать ду-

ша. А еще потом мы к ним привыкнем, да и они будут нам верить, — и что, опять заносить?

— Я больше не буду, так и знайте, — сказал дедушка.

— Так что лучше я их утоплю, — сказала бабушка. — Иди в комнату.

— Я сама, — сказала я.

Я взяла ведро, налила в него воды и вынесла его на балкон, держа впереди себя двумя руками.

— Они точно ничего не чувствуют сейчас?

— Я ж тебе все объяснила. Это мы чувствуем к ним жалость и боль, а они — ничего. Если бы мы этого не чувствовали, мы были бы как фашисты.

— Так может быть, фашисты думают, что мы котята? — высказалась я.

— Да ничего они не думают! — взорвался дедушка. — Топить, так топите. Кто очень много думает, иногда так же противен, как и тот, кто ничего не думает. Идиотизм какой. Что ты, старая ведьма, измываешься над ребенком? Не могла помолчать, подождать, пока она гулять уйдет, что ли? Убил бы вас всех с вашими котами. Развели тут Содом и Гоморру. Я вот возьму, и вашу Катьку занесу в первую очередь. Как она тут не издохла без нас, не знаю...

— Чего ты кричишь? — сказала я ему, подойдя к самым его коленям и глядя прямо в лицо полными слез глазами. — Я их уже утопила.

ДАЧА В УДЕЛЬНОЙ

— Как ты можешь говорить со мной на эту тему? Как, с какими глазами? Неужели тебе и сейчас ещё не ясно, в чем было дело?

Виталий чувствовал, что прервать этот разговор уже не удастся и вернуться к прежнему — будто этого разговора и не было — невозможно. Не нужно было ему приезжать.

— А что может быть мне ясно? — уверенным своим, безапелляционным командирским тоном говорила сестра. — Что вообще может быть ясно? Вот я прожила свою жизнь абсолютно честно, мне не в чем, что называется, себя упрекнуть — все силы отдавала работе, для себя не жила ни минуты, ну разве что урывками, в отпуске: Гагры, Крым, Кижы... Прекрасные воспоминания, но как это было давно и где это всё? Похоронила отца, мать, мужа, единственный мой ребенок от меня отделен стенкой злобы... А тут выясняется, что кто-то грабил государство, убивал, оказывается, невинных людей. Что тут может быть ясно? Я твердо знаю только одно — если бы не танки, на которых мое оборудование, если бы не сталь, не металл, на которые ты так окрысился, нас бы и вообще теперь уже не было...

— Кого — нас? — раздраженно прервал ее Виталий, не в силах сдерживаться и чувствуя, что говорит глупости. — Нас или вас?

— Да людей, говорящих по-русски!

— Во-первых, откуда такой национализм — ведь вы же интернационалисты, а? А во-вторых, эти фразы, которые начинаются с «если бы», заводят знаешь куда?

Если бы не победительный опыт террора, то и Гитлера, возможно, не было бы. Может быть, он у вас научился управлять государством? Во всяком случае, очень знаменательно, что он одновременно со Сталиным явился на сцене истории и действовал примерно теми же методами.

— Ты всегда был скрытая контра, это чувствовалось по всему. От всего, что ты говоришь, всегда за версту несло белогвардейщиной, — спокойно и хлестко отрезала Саша, хлопнув рукой по садовому столику.

Виталий внутренне пришел в отчаяние, оттого что говорит не то и не о том, не стоит эта дурашка нервов и мозговых усилий, да и к чему это, к чему? — но его продолжало нести независимо от его воли:

— Никакой белогвардейщины тогда уже не было, экая ты балда, ни о чем думать не приучена. А сейчас тем паче. Поэтому я-то предпочитаю говорить обо всем без «если бы» — а исходить из того, что есть на сегодняшний день. Из исторической реальности, так сказать.

— И в чем же состоит сейчас эта историческая реальность, по-твоему? — насмешливым тоном, делая вид, что только и ждет поймать его на ошибке, спросила Саша, правда, уже без прежнего ожесточения.

— В перестройке, — засмеялся Виталий и принудил себя зевнуть. — Я пошел спать. Если ложусь после часу, обязательно болит потом голова.

— Иди, конечно, — сказала Саша холодно. — Очень жаль, что мы с тобой не договорили. Очень хотелось бы поставить точки над и. У меня ведь и с дочерью последнее время, представь себе, подобные разговоры.

Просто иногда поверить своим ушам не могу, что от нее слышу. Слава богу, дедушка не дожил. Внучка комиссара, нечего сказать. Но в партию она все-таки собирается, в отличие от тебя. Это меня успокаивает.

Виталий поморщился и сделал над собой усилие, чтобы не заткнуть уши. Ему хотелось посидеть здесь, на садовой лавочке, одному: в чердачной комнате, куда его поместили, было душно, а если открыть окошко, налетали комары, даже при выключенном свете. Внизу, в саду их было меньше — или так казалось. Костра, во всяком случае, они сегодня не жгли — не до того, спорили, вишь ты, очень серьезный разговор вышел, вспомнить, так смешно — и досадно, и стыдно: такую ахинею он нес, подстать сестрице. И так всегда было, и он это знал заранее, что так оно и будет и иначе не может уже быть, и все-таки не удержался, сорвался, ввязался в этот идиотский разговор. А ведь ехал он сюда совершенно не за тем.

Он вошел в дом и, переменяв тапочки в темноте, наощупь, пошел по лестнице наверх, к себе — не умывшись. Лестница сооружена была ужасающе нелепо — не стоймя и не лежмя, а под каким-то неестественным, случайным углом: как поместится, видимо, без всякого расчета. Да и вся эта дача сооружалась порусски — без проекта, на глазок, кто во что горазд и кто чего у кого видел, в течение чуть ли не пятнадцати лет. В результате вышел этакий уродец о пяти кривых окнах, криво обшитый досками самых разных калибров и сортов, правда, с верандой и даже со вторым этажом — чердаком, где и обитал в нынешний свой приезд Виталий. Когда он был здесь в прошлый раз — лет шесть на-

зад, чердака еще не было, просто был одноэтажный недокрытый дом, и в дожди текло во всех комнатах, не только там, где не было крыши. И жив был еще Геннадий, Сашин муж. И их Леночка была чудненькая девочка в худом сарафане, не изуродованная нелепой безвкусной одеждой, на которую обрекал ее город. Но споры и разговоры были те же. И от них он уехал, не простившись, и вот столько лет спустя опять то же. Давно пора зарубить себе на носу, что нет у него сестры — нет, и точка. Нет у него никого. Что угодно, но на роль бедного родственника он не годится, хоть умри. Не годится. Нет у него никого. В горле стоял ком.

Лестница напомнила ему другую, более пологую деревянную лестницу на второй этаж другой дачи, в Кабли, на берегу Пярнусского залива. В сумерках было легко не только вспомнить, но даже ощутить себя как бы на ней. Вернуться с балкона, с которого виднелось, поблескивая, море.

Какой огромный кусок жизни тому назад это было, тающей, исчезающей жизни. Он вставал в восемь утра и уходил один, подальше, захватив с собою только кусок тряпицы — обрывок ленинградского еще, бабушкиного тканевого покрывала, весь в пятнах и потеках от многолетнего пляжного употребления. Миновав разноцветную суету палаточного городка, он прятался в редколистной, сухо шелестящей осоке и там растягивался на своей подстилке, всегда неожиданно для себя ощущая на всем теле яркий, золотой поток солнечного тепла. И время словно бы застывало, прекращало убывать — тишина, неподвижность чистого неба, пощекотывание мушек, коловращение мыслей. Все казалось еще впе-

реди, все возможным, доселе прожитая жизнь представлялась праведным накоплением душевного существа, обеспечивающим единство с любезным сердцу священным кланом благомыслящих особей. И казалось поэтому совершенно неважным, что он представляет из себя как величина социальная, на какой ступени иерархической лестницы этого пошлого, ложного, с ног на голову перевернутого мира он располагается. И окружающим, казалось ему, это безразлично.

С Тайво, хозяином дачи, точнее сказать, виллы прямо с картинки какого-нибудь западного архитектурного альбома, Виталий познакомился в детстве, на соревнованиях по баскетболу. Кооперативный поселок состоял из пятнадцати-двадцати подобных вилл, одна отменной другой, разбросанных по вырубкам в высокоствольной корабельной роще. Тайво в детстве, как и Виталий, играл в баскетбол. Они прибыли в один и тот же день в один и тот же город, Вильнюс — команды Ленинграда и Таллина, впрочем, как и команды Москвы, Минска, Риги, Еревана и так далее. Их поселили в одной гостинице. Впрочем, несколько команд поселили в гостинице рядом, но их команды — Ленинграда и Таллина — оказались в «Немунасе».

Поезд подошел к платформе в шесть утра, они вывалились со своими чемоданчиками, вещмешками и мячами, орава подростков, мальчиков и девочек до восемнадцати, под водительством тренера. Впрочем, девочки имели к ним мало отношения, у них был свой тренер. Серенькая погода, чистый серенький вокзал, к которому они направились, сразу напомнил Виталию Дрезден, где он в малосознательном возрасте прожил с

родителями и сестрой Сашей несколько лет, пока его не отправили к бабушке в Ленинград, чтобы он учился в «полноценной школе». Они жили в великолепном особняке в уцелевшей части города, казавшейся ему сказочной страной другой планеты, и детский его ум не в состоянии был увязать этот гармоничный мир идеальных линий, утопающий в цветущих яблонях, вишнях, жасмине, увитый плющом — с развалинами неподалеку и с ненавистью к фашистам. Саша же, старшая сестра, будучи его кумиром, относилась ко всему немецкому надменно, и он с грустью всматривался в стройный абрис улицы, казавшейся ему совершенством, и в душе у него что-то начинало двоиться.

Едва он ступил на ровную серенькую платформу Вильнюсского вокзала и взглянул на трогательный силуэт геометрического пассажа неродного звучания, его охватило то же двойственное волнение и радость, явственная обладательная радость, какая возникает в человеческой душе от вида нравящихся предметов. Он испытывал благодарность к этому городу за то, что он существует, к спортивному обществу — за то, что его сюда взяли, к тренеру — за то, что он научил его всем тем увлекательным и озорным хитростям игры, которых он никогда бы сам не придумал и которые привели его теперь на эту серенькую платформу под это серенькое водянистое небо, к обладанию взглядом загадочно чуждыми притягательными линиями, вырисовывающимися перед ним. У него были от природы только скорые ноги и меткость глаза, случайно проявившаяся от нечего делать на школьном дворе, что и привело его в детскую спортивную школу и затем — в сборную города.

Девочки шли со своим тренером впереди, вдруг они остановились, поравнявшись с навстречу идущими двумя непривычного вида людьми — литовцами. Девочки застыли на месте и растерянно оглядывались: было ясно, что у них что-то там произошло, хотя Виталий ничего не видел — просто прошли два литовца мимо девчонок, теперь уже поравнялись с ними, и тут Виталий уловил на лице одного из них, продолговатом лице с тускло-русыми серенькими усами, поразившее его злорадное выражение. Мальчишки ускорили шаги и подошли к своим девочкам. Одна из них — капитан, отличная девчонка, Катя Верещагина — плакала. Девчачий тренер Анатолий Кузьмич стоял около нее с расстроенным видом, а их тренер, Виктор Васильевич, обняв ее за плечо, говорил:

— Ты что, ни одного дурака дома не видела? До четырнадцати лет дожила, и не представляешь себе, что люди бывают на свете форменными идиотами? Ну вот, посмотри мир, образуйся. А то и правда, Ленинград — город особенный, повышенной интеллигентности. Но да и у нас есть всякие, так что давай не будем. Нельзя так, Катя! Успокойся! Тут нужны выдержка и характер. Потому что все на самом деле очень сложно, и нас тут действительно не любят.

— Но почему, почему? — всхлипывала Катя. — Что мы им сделали?

— Ну а ты разве не знаешь, в школе не учила, что у них была буржуазная республика до войны, до самого сорокового года, и они были самостоятельным государством, пока их не присоединили. Думаешь, просто это все?

— Ну так я же в школе учила, — всхлипывала Катя, — что у них было мощное революционное движение, восстание, ревсоветы и прочее... Не насильно же их присоединили?

— Господи, ну как тебе все это объяснить, когда ты малышка все же и девчонка при том? — в отчаянии развел руками Виктор Васильевич — Конечно, Советский Союз был к этому времени посильнее буржуинов, вот они и не могли уже больно-то сопротивляться. Насильно это или не насильно? Как тут скажешь?

— Н-не знаю, — вытирала Катя платком глаза и пристально всматривалась в лицо Виктора Васильевича. — Сами же говорите — посильнее... Как же не насильно?

— Фух... Тише ты! Наше дело в конце концов — спорт! — вмешался девчачий тренер Анатолий Кузьмич. — В общем, тут обстановка до сих пор сложная и надо быть начеку. С честью представлять Ленинград и нашу социалистическую родину. По вечерам по одному не ходить, особенно девочкам. Ясно? Борис! — обратился он к капитану их команды. — Значит, так: полностью отвечаешь за порядок после стадиона. К каждой девочке из нашей команды прикрепляется ответственный за нее мальчик. Понял?

— Ладно, — без особого энтузиазма пробормотал Боря Латкин. — Да что случилось? — спросил у него Виталий.

— Все! — оглянулся на него Виктор Васильевич. — Инцидент исперчен, как говорится, и больше об этом чтоб я ни слова не слышал. Ясно?

— Ну все-таки? — спустя какое-то время спросил Виталий у другого мальчика,, когда к ним быстрым шагом подошел встречающий от республиканского Совета и тренеры бросились обниматься с ним.

— Да, — ответил парень, не вспомнить уже теперь, как его и звали. — Проходили мимо два литовца, и прямо в лицо Катке сказали: целыми, мол, составами нагоняют этих русских свиней, скоро они нам всю Литву загадят.

— Так прямо и сказал?

— Так прямо и сказал, с акцентом, конечно, или как это называется — на ломаном русском языке.

Что и говорить, настроение было испорчено. Даже и теперь Виталий помнил, как все перевернулось у него внутри, и больше всего хотелось тут же сесть на поезд и уехать обратно в Питер, и чтобы никогда ни шагу в Прибалтику — во всю жизнь.

Он уже к тому времени не раз слышал — от лечащего врача, от бабушки, от учителей и даже от ребят по школе — что у него «повышенная восприимчивость»: к боли, к обидам, к красоте, к музыке, к книжным впечатлениям, и так далее, и так далее. Выходило, что ко всему. Говорилось это с укором, с сожалением, с досадой... Так вот, может, у Кати Верещагиной тоже была повышенная восприимчивость. Впрочем, он теперь ее мало помнил.

— Морду бы набить, знали бы, как фраериться, — ворчал Боря Латкин.

Все были подавлены, кроме тренеров, которые обнимались со своим знакомым литовцем из республиканского Совета.

Тем не менее — а кто знает, может, и более — привокзальная площадь, узкие улочки, по которым они шли всем колхозом, гладкая брусчатка под ногами, ратуша, серенькое каре вокруг нее, свежий утренний воздух, редкие прохожие — чистенькие, приверженные белому цвету и угловатым деталям в одежде, жадно поглощаясь взглядом, источали тоску: прекрасное чужое — прекрасное, очаровательное, чужое — пленяло.

Рассказывали (сам Виталий этого не понял, не уяснил себе), в день первых «выборов» в Восточной Германии его отец и вся комендатура страшно волновались, не спали ночь: как-то оно будет, что преподнесет им население. Дело уже шло к шести, когда начинал работать избирательный участок, а в улицах округа все было темно и тихо. И ровно в шесть, по бою часов на башне, хлопнули ставни обывательским салютом на всех прилежащих улицах и празднично одетые немцы целыми семействами потянулись к избирательному участку — опускать в урны бюллетени с отпечатанными на них фамилиями первых председателей нового строя. Советская власть вступила в действие.

— Костел Святой Анны, — обернулся к ним встречающий, — Наполеон хотел перевезти в Париж...

Литовец скромно, мило ухмыльнулся.

Когда родители вернулись из Германии, отец получил назначение в Ленинград — по месту рождения. Им дали квартиру на углу Марсова Поля, напротив Ленэнерго — высоченные потолки, огромные окна, грязно-зеленый фасад, газогрей на четырехугольном столбе посреди вокзального размера прихожей. Проходная столовая, в ней ёлка — метра три, если не четыре, до

потолка. В боковой стене дверь в так называемый кабинет, там — большой письменный стол с зеленым сукном, ковер, застекленные книжные шкафы, картины, рояль — сестра Саша ходит в музыкальную школу. К картинам еще никакого отношения у Виталия нет, он достает с полки книгу — огромный торжественный фолиант с шелестящими прозрачными прокладками перед цветными иллюстрациями: История Отечественной войны 1812 года. Садится под ёлкой на диван, обитый светлой плотной тканью, жестковатый, упругий: немецкий. (Мебель, в том числе и рояль, перевезена из Дрезденского особняка, но разумеется, не вся — отцу показалось неудобным загружать своим барахлом больше трех контейнеров, да и не знал он, какую ему предоставят площадь, говорил, что хором таких на Марсовом — не ожидал. Думал на худой конец кое-что поставить у бабушки). Книжку про войну восемьсот двенадцатого года Виталий вдумчиво листал под елкой, мерцающей немецкими игрушками, рассматривал старостику Василису, читал про Баркляя де Толли, Дениса Давыдова и Багратиона, воображал себе их живыми, вот здесь, в большой столовой — в кругу отцовских друзей, прошедших войну, работавших в Германии: то-то было б разговоров. Наполеона ненавидел. Представить себе, как можно было восхищаться им, видеть в нем героя и выдающегося вождя — не мог, каждое его жизненное действие — презирал, и теперь вот — костел Святой Анны... Тоже мне, критерий вкуса, Наполеон! Но костел оказался действительно прекрасен — что же, выходит, он был не дурак, этот ублюдок Наполеон? Но все равно, на месте литовца он бы приводил другие доводы — и

никогда бы не упомянул Наполеона. Дармоед корсиканский, дикарь. Только наглостью и взял. И Наполеон, и Гитлер наводили на мысль об одном: люди готовы ползать на брюхе перед любым ничтожеством, какому только ни вздумается узурпировать аркан власти. Виталий не представлял себя ползающим на брюхе перед диктаторской властной фигурой. Но что бы он делал, он не знал.

На широкой деревянной гостиничной лестнице слева от входа маячил мальчик. Длинный, в белой холщевой курточке с молниями, с рукавами, закатанными заодно с ковбойкой. На белокурых кудрявых волосах — картузик с черным блестящим козырьком и цветной круговую ленточкой. Когда их проводили мимо мальчика, тот посторонился и, прижавшись к перилам лестницы, твердил:

— Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! — так что каждая тройка из их команды имела возможность услышать его булькающее, нерусское произношение.

Потом он повернулся и поднялся по лестнице следом за ними, пристроившись в хвост. Администратор гостиницы что-то горячо обсуждал со встречавшим их литовцем, хлопая тыльной стороной руки по гостиничной книге. Мальчик безмятежно улыбался и стоял позади них, команды ленинградцев. Наконец, встречающий повернулся к их тренеру и сказал:

— Мальчиков придется поселить в зале на двадцать пять коек, вместе с Азербайджаном. Девочек расселят по номерам.

Их ввели в большую светлую комнату, в которой уже стояли по обе стороны заправленные железные кровати не очень больших размеров. Ясно было, что кое-кто не уложится в длину койки.

— Размещайтесь по одну сторону, — сказал им тренер Виктор Васильевич, — бакинцам оставьте другую.

— А по какую? — спросил Боря Латкин.

— Ну, — сказал Виктор Васильевич, — по какую хотите. Какая разница. Можете у окна занять, раз уж первые нахлынули. По праву первопроходцев. — Ну что, пацаны? — спросил Боря Латкин.

Белокурый мальчик в необычайном картузике стоял между рядами коек и улыбался.

— Да ладно, — сказал кто-то. — Чего мелочиться? Некрасиво будет — что мы уже тут и уже урвали местечко под солнцем.

Тренер сел за низкий круглый столик у двери и пересчитал талоны на питание.

— Питаться будете здесь внизу, — сказал он, — в ресторане отеля. Ведите себя прилично. Талоны не отovarивать, все съесть и приходить вовремя — там на двери висит распорядок работы ресторана.

— А если встреча? — спросил Боря Латкин.

— Все учтем, — сказал Виктор Васильевич. — Завтрак с восьми.

Они разложили вещи, разобрали талоны, кое-кто лег на койки, сбросив кеды — до открытия ресторана оставался час. Мальчика в картузике в комнате не было.

Виталий решил пройтись по городу. Он вышел на просторную лестничную площадку — и увидел, как

мальчик в картузе усаживается на перила, чтобы по ним съехать. Поравнявшись с ним, Виталий бросил — как бы на ходу, как бы необязательно: хочешь — услышишь, хочешь — нет:

— Тебя как зовут?

— Тайво, — ответил мальчик и съехал с перил, опередив Виталия, нормально спускавшегося по лестнице. Но тут же поднялся к нему навстречу и спросил:

— А тебя? — Виталий, — поразборчивее постарался произнести Виталий. — Вителий? — переспросил Тайво.

— Нет, Виталий...

Отец Тайво был археолог, академик. Но их знакомство, конечно, не начиналось с вопросов — «Кто твой отец?», «А кто твой отец?» — все это узналось потом. Вот старшая сестра Саша, та сразу вворачивала про отца: «У нас в Дрездене», или «В академии моего отца»... Но Виталий и видел в своей сестре заморскую принцессу, откуда-то с фьордов — с длинными сияющими косами светлорусых волос, крутолобую, с огромными плоскими нефритовыми глазами под длинными пряморастущими ресницами, с безупречно ровным носом тончайшей выделки, особенно на кончике и ноздрях — и как только природа была способна на такую филигранную отделку своих изделий, просто поразительно.

На время войны они с сестрой были разлучены — сестре было четыре года, когда отец, двадцатишестилетний инженер, ушел на фронт, Виталию же не было и года. Жили они в Харькове, на родине их матери, куда отец попал из Ленинграда, чтобы, как понял уже спустя много лет Виталий, устроиться на рабфак, отмежевав-

шись от родителей-интеллигентов, и окончить институт. На четвертом курсе он женился на матери, комсомолке, активистке, корректоре местной газеты, у родителей которой был дом в частном секторе, что тоже было для них неприемлемо — они жаждали новой жизни, индустриализованной, в домах из стекла и бетона, и потому проживали в заводском общежитии, где у них и родилась Саша, а потом, за полгода до войны, Виталий. Отец ушел на войну в сентябре, ушел добровольцем — на специалистов его завода была «бронь», но он пошел в военкомат и попросился на фронт. Его взяли в тяжелую артиллерию. Мать с детьми подлежала эвакуации, но Виталий заболел, предполагалось, тифом, и пришлось оставить его в изоляторе и обратиться к родителям в частный сектор, чтобы они взяли на себя о нем заботы. Он уцелел, и даже отделался колитом, и всю войну отсиживался за забором у бабушки с дедушкой, сажавших у себя на огороде картошку, морковь, свеклу, державших козу. Из всего этого времени жизни припомнить он мог разве что терпкое благоухание горящих кизяков, задымлявшее пыльные улицы предместья, душно шуршащие созревшими стручками акации, сладкий, отвлекающий от всего на свете вкус занозистой макухи да одну-единственную книжку, детский календарь с картинками, про то, как на дворе у них мороз:

трещит сорокаградусный,
а на снегу, повесив нос,
стоит фашист безрадостный.

Еще там был рассказ про песочные часы — то есть про мальчика, которому пришлось в целях самовоспитания утром и вечером вставать на голову; было заме-

чательное повествование о том, как «в печи стоит картошка с топленым молоком», была сказка про Старшего и Младшего брата: Старший всегда читал и говорил Младшему только одно — «оставь меня в покое». И Младший оставил — он замолчал, и его нигде не было видно; Старший испугался, что отец с матерью, вернувшись — они поехали в город за покупками, живя в лесу, — будут его бранить, и побежал в лес, искать Младшего, и шел, шел и звал Младшего Брата, но тот не откликнулся — за обычным, Знакомым лесом начался Незнакомый, потом Странный, потом Страшный, кажется, весь ледяной, ветви в котором ломались, как сосульки, и там он нашел замерзшего Младшего Брата... За какой же это год был детский альманах? За сорок третий? А может быть, даже за сорок второй? Видимо, по нему он и выучился читать. Старший Брат заплакал и осторожно понес Младшего обратно, в живой лес. Чуть его не разбил, кажется, а может быть, даже разбил, но налетели птички-синички (отец их был лесником) и склеили Младшего Брата. Младший ожил, они добрались до дому и услышали звон приближавшегося колокольчика — это возвращались родители. И Старший никогда больше не говорил «Оставь меня в покое». Виталию было известно, что у него есть Старшая Сестра, которую он словно бы никогда и не видел, есть Родители — но они были далеко, а он совершенно один в пустой комнате сидел на полу в синих бумазеевых шароварах, из которых вырос, в латаном маленьком свитере, сквозь заиндедевские окна сочился розовый свет, и перед ним лежал календарь с картинкой — снежная даль, дерево, месяц:

Чудная картина,
Как ты мне родна...

Даже Фет сюда был допущен, видимо, ввиду патриотического звучания, и подпись эта — А. Фет — влезла в память неистребимо, так что бессилён уже был учебник посеять презрение к «защитнику эксплуататорского класса, пропагандирующему безыдейное искусство для искусства». Помнил пьесу «Двенадцать месяцев» якобы Евгения Шварца из того календаря.

Кто же были эти люди, издавшие в чудовищной стране, в чудовищное время — под дулами впереди себя и под дулами сзади — подобную детскую книжку, мягкую и поэтичную, полную задумчивых сказок о сложной человеческой жизни? Где они сейчас? Нашел бы он с ними общий язык — или наткнулся бы на ту же стену ожесточения и непонимания, какая окружает его со всех сторон?

А на снегу, повесив нос,
Стоит фашист безрадостный...

Потом радости начали сыпаться как из рога изобилия — письма от матери, где печатными буквами сестра приписывала: «Как ты живешь, Винтик? У нас цветут персики и гранаты, мне подарили белое платье», письма от отца с вложенными туда открытками — маленький мальчик во взрослом костюме с галстуком — посреди города необыкновенной красоты, совершенно целехонького; гигантский мост в несколько пролетов над упругой полноводной рекой и малюсенькие на нем взрослые — Прага; блестящий ребристый купол строения, возвышающегося надо всеми остальными домами — Будапешт... Американские подарки мадам Рузвельт

— яичный порошок в тонкой жестяной коробке в золотисто-красную клеточку, сухое молоко, американские ботинки — ярко-рыжие, высокие, наполовину с дырочками, наполовину с крючками, и книжка с непонятным тесненным названием и с надписью от руки на первой странице, как выяснилось много позже, Сонеты Шекспира, а от руки вечным пером было написано по-английски: «Дорогой русский друг! Это лучший поэт нашего языка. Он всеми силами был против человеческих страданий. Джоан.» И советский штамп: «Проверено. 1945 г.» Где теперь эта Джоан? Существует ли она еще в мире и возможно ли ее отыскать, лежа здесь, в темноте на Ладожском болоте?

Наконец, за ним приехала мать. Она приехала из Москвы, и они должны были ехать в Дрезден, где их уже дожидались отец с сестрой Сашей. Она вошла в комнату, удивительно молодая и нарядная, и трудно было поверить, что это его мать и что он имеет право у нее что угодно попросить, как он мечтал когда-то. Было такое чувство, что он никогда на это не осмелится. Да и не надо было. Достаточно было и того, что она похозяйски сгребла его в охапку и прижала к себе, понюхала у него за воротником и внимательно перебрала волосы, вытерев после этого руку о подол. Он сидел у нее на руке, затаив дыхание и не шевелясь, чтобы не показаться ей чересчур тяжелым — ни бабушка, ни дедушка его уже не поднимали. Потом она поставила его на пол и сказала: «Пф-ф! Ну и здоровый же ты! Уже тебя не поносишь на ручках!» В нем разыгралась гордость, и он тут же принес и выложил перед ней Детский календарь, Басни Крылова, Американскую Книжку — все свои со-

кровища духа — и, торопясь и захлебываясь, стал читать из одной книжки, из второй, из третьей, а мать опустилась на табурет и странно смотрела на него широко открытыми глазами.

— А это что такое? — спросила она наконец, словно опомнившись, когда дело дошло до третьей книжки.

— Это американский язык, — восторженно глядя ей в глаза, ответил Виталий. Он читал по книжке и читал как стихи.

Мать будто отпустило от какого-то тяжелого впечатления, и она рассмеялась.

— И охота тебе вражье калякать! Мама, лучше бы его по-украински выучили, хоть пригодится для жизни.

— Да мы его ничего и не учили, только буквы дед показал, русские буквы, Маруся, да книжку вот достал на толчке, а что он то несет, мы не знаем, это он играет, Маруся, какие у него игрушки? Вот он и играет сам с собою. Дитё же!

К отцу ехали в мягком вагоне, им приносил проводник сладкий чай в подстаканниках, на комканой газете в мокрых пятнах раскладывались соленые огурцы, вареная в мундирах картошка, ставилась банка с паюсной икрой. Мать водила его в туалет умываться, вытирала беленькой тряпочкой — огрызком вафельного полотенца: он ел руками, не умея к этому возрасту пользоваться даже вилкой, да вилки и не было у них в дороге. Были чайные ложки, которые проводник бесконечно ходил собирать по вагону, считал да пересчитывал, и был перочинный ножик попутчика — страшного человека с обгоревшим лбом, без бровей.

На станциях было людно, паровозно, мешочно, преобладали шинели и гимнастерки, примелькались детскому его взгляду костыли. Поезд трогался. и он видел в окно взрытую, размытую дождями землю, кривые столбы с фонарями, навалы мешков под открытым небом, мимо гремели грузовые составы с платформами, наваленными углем, с цистернами, исписанными быстро мелькающими словами, которые не удавалось прочесть, заходило солнце, вставала луна, однообразно тянулось поросшее редким кустарником и жухлой травой бесконечное пространство, и когда вставали по обеим сторонам дороги леса, Виталий прикинул к окошку и больше не отходил от него: он видел лес впервые, и в то же время казалось ему, будто он помнит и знает, что там, в глубине леса, делается и что там есть: это его дом, он там жил и спал, и это и есть его последнее пристанище на земле, а вовсе не харьковский двор его бабушки с дедушкой.

В Москве у них была пересадка, люди там оказались нарядно и чисто одетыми, как его мама, дома — большие-пребольшие, плотно стоящие, несокрушимые; он долго сидел в скверике с безбровым танкистом, пока мама ходила в к о м е н д а т у р у, потом они вместе обедали в большом ресторане на площади, с мороженым в нержавеющей вазочке: три шарика, клубничный, шоколадный и сливочный. Вечером танкист проводил их на Белорусском вокзале и, отдав на прощанье честь, остался стоять на платформе — один среди разбредающей толпы.

Вряд ли бы он узнал его сейчас, разве что обезображенный лоб его он хорошо запомнил. И жив ли он

еще? Вряд ли. Да и клубничное мороженое, насколько ему известно, ушло в прошлое. Впрочем, откуда ему знать — что там теперь подают, в большом московском ресторане на большой площади.

Леса за окном вагона с кривыми деревянными столбами вдоль железнодорожного полотна стали дремучими и влажными, хвойно-утробными, пещеристыми — живое дождедышащее чудище родимо принимало вглубь себя и укрывало туманной клочкастой мглой; вечерело, пни на насыпях казалось что в касках, за ними мерещились дула, тревожно и призрачно мигали земные созвездия сельских изб, наконец, поглотила всё ночная темень, а утром от влажной паровозной гари слегка саднило в горле и подушка оказалась припорошенной черной золой.

И вдруг, после какой-то долгой стоянки, на которой в вагоне перебивало множество военного народа, все выпрямилось, раздвинулось, посветлело — и пошел аккуратный вид ортогональной, прямостоящей, красивенькой заграницы. Из чего он складывался, чем таким брал и восхищал его взгляд — он различить не мог: ему не было и шести лет.

Но самым прекрасным тем не менее оказалась Саша, его старшая сестра. Когда отец — незнакомый человек (теперь трудно себе это представить) в военной форме, с погонами — встретил их на вокзале, обнял и расцеловал его и маму, у Виталия возникло чувство неловкости, он вдруг срочно застеснялся, и не это ли самое чувство осталось в нем на всю жизнь? Его еле усадили в машину, за рулем которой сидел безмолвно и неподвижно еще один совершенно чужой человек, то-

же в военной форме, который при приближении отца вышел и взял у него из рук мамин чемодан, покосившись на маму с каким-то странным, запомнившимся Виталию выражением то ли зависти, то ли обиды; Виталий уцепился за ее подол и ни за что не хотел влезать в машину — Бог его знает почему, он стеснялся.

Что и говорить, он был новым поколением; часть картины была для него отсечена — довоенная часть, даже и военная. Его видение жизни начиналось, может быть, в эту минуту на этом вокзале, на этой пересадочной станции: шофер вилиса был солдат, простой советский солдат, а его отец был полковник, комендант города. Виталий не знал, не понимал этого: мама была румяная, свежая, сильная, молодая, от нее пахло духами. Широкий, круглый подол ее платья обвевал ее ноги, когда она шла рядом с отцом.

Сам он был маленький, худой, жалкий, в черных сатиновых трусах (новых) и в парусиновой косоворотке с короткими рукавами, сшитой бабушкой в Харькове специально для поездки к отцу.

Саша, ожидавшая их в саду особняка, в шезлонге, рядом с которым лежала огромная овчарка с черной спиной, оказалась девятилетней барышней с толстыми сияющими на солнце косами, сероглазая красавица-принцесса в шелковом цветастом платье такой сложной набивки, что даже и тогда Виталия поразило, как же это можно осуществить, в человеческих ли это силах — производить такую расцветку ткани, да еще на машинах, станках; тонкая оборочка окаймляла воротничок платья, выстрочены оборочками были рукава платья, красиво собранные пониже плеча в узкий манжетик.

Юбка расшита была по подолу тройным рядом оборо-чек. На круглом столике рядом с чудесной девочкой на никелированном подносе стояла белая миска, что-то вроде миски — блюдо саксонского фарфора, Голубые Мечи — с грушами, виноградом и персиками. Толстая, средних лет женщина на выложенной гладкими камнями дорожке, в белом фартуке и в наколке, смеялась и кричала что-то по-немецки собаке, сторожко подняв-шейся и наострившей уши. В то краткое мгновение первого впечатления успела мелькнуть у Виталия мысль, которую он помнил и теперь: эта толстая добро-душная женщина — существо сверхъестественное, жи-вет в лесу и является сюда, чтобы коснуться челове-ческого платья и на нем выступило три ряда оборок. Фрау Ханна, их старшая горничная, о ту пору еще не знала, что ее муж в советском плену (это выяснится потом), а что сын ее погиб в Ливии, это она знала и считала себя одинокой вдовой, списывалась с сестрой, жившей в Гамбурге, и уговаривала ее приехать. В особняке его от-ца было «двенадцать человек прислуги».

В доме по вечерам собиралось много народу, тетя Нонна играла на рояле, повернув голову к папе с ма-мой, которые стояли рядышком, облокотясь на рояль, и пели в один голос:

Лейся песня на просторе,
Не горюй, не плачь жена...

И все собравшиеся, большей частью в офицерской форме, подхватывали:

Штормовать в далеком море
Посылает нас страна!

Тетя Нонна, выяснилось потом, была влюблена в отца, незадолго до своей смерти ленинградская бабушка отдала Виталию пачку ее писем, из которых явствовало, что «Вы были моим идеалом, я благоговела перед Вами и, хоть мне и было Вас жаль, я и не помышляла разрушить Ваше несчастное семейное счастье. Я-то была счастлива: мне достаточно было видеть Вас на работе»... На огромном длинном столе среди блюд и салатниц стояло много бутылок, очень много — пустых и полных...

Лейся песня на просторе... —

Фрау Ханна забирала детей из зала и уводила их на второй этаж, она озабоченно болтала по-немецки, и Саша все понимала, а он, балбес, ничего. Почему жизнь устроена так, что нельзя сейчас протянуть руку и коснуться фартука фрау Ханны? Вероятно, и она давно умерла, или умирает сейчас где-нибудь в Гамбурге, и именно поэтому всплыла в его память. Может ли быть, чтобы она тоже вспоминала его? Значил ли он для нее так же много, как она для него? Что он мог для нее значить? Он плакал от одиночества и от несчастной, безответной любви к Саше, фрау Ханна гладила его по голове, прижимала его голову к своему животу и говорила, говорила... Что говорила она ему? — он теперь дорого бы дал, чтобы узнать это. Т о г д а ж е не возникало сомнений в смысле ее речей: ну что же делать, если ты такой маленький и ничтожный, а она такая красавица и любимица всех, зато у тебя есть я, теплая и толстая, в чистом накрахмаленном фартуке, и я тебя всегда накормлю и отмою, и по возможности сообщу тебе самый приятный вид: вот, белые гольфы с кисточками, солид-

ные, плотные до колен штаны на бретельках, бант под воротник...

Мать в первый же послевоенный год у него на глазах раздобрела, стала покрикивать на прислугу — а вечерами она слишком веселилась, слишком отдавалась собранию, слишком охотно пила и пела, танцевала, выкрикивала шуточные стишки, сочиненные для стенгазеты. Специально для вечеринок шила платья.

Саша же мучила Виталия: откручивала ему нос, подбрасывала мышей в его игрушки, спускала на санках с горы как-то так, что у него оказывалась расквашенной рожка. Он ходил за ней по дому, тихо и смиренно устраивался на скамеечке у ее ног, когда она читала или готовила уроки, часами вбирал ее взглядом. Настоящим счастьем для него было кино — в комендатуре, для детей советских служащих, один сеанс; тогда они сидели в зале вместе, и возвращались домой вместе, и она ему пересказывала только что виденную картину. Вечером их разлучали — фрау Ханна уводила его, а что происходило в комнате Саши после его ухода, он не знал. Однажды он увидел ее в ночной рубашке: он сидел под лестницей, спрятавшись баловства ради, чтобы хоть чуть-чуть поиграть еще немного — в непослушание — и Саша спустилась мимо него по лестнице в длинной белой рубашке, которая ниспадала и просвечивала на желтом масляном свете единственной включенной в холле лампы, открыла настежь обе створки двери в залу и крикнула:

— Вы мне мешаете спать, слышите? Уходите отсюда, я не хочу вас видеть, вы мне надоели!

Повернулась и пошла обратно, наверх, и ни единой слезинки не выкатилось из ее красивых злых глаз.

А он, чуть что, плакал: над книжками, в кино, под звуки музыки.

Летом, за оградой особняка, в саду Саша сидела подле круглого столика в шезлонге, на столике — блюдо саксонского фарфора, Голубые Мечи, с грушами, виноградом и персиками, рядом лежала собака, Найда, Саша читала сказки народов СССР и ела персики — она съедала неправдоподобное количество персиков и винограда. Виталий сидел у ее ног на траве в обнимку с собакой и вдруг увидел кузнечика-инвалида: он слишком мешкался перед прыжком, так что его спокойно можно было схватить в ладошку, что и хотел было сделать Виталий, но при этом увидел, что у кузнечика только одна нога. Он замер, кузнечик прыгнул, замедленно и неестественно, неловко свалился в траву и исчез. Виталий всхлипнул.

— Ты чего? — спросила Саша, отрываясь от книги.

— Инвалид, — горестно промямлил Виталий.

— Где? — спросила Саша, оглядываясь.

Кузнечик выполз из гущи травы, и Виталий показал в его сторону пальцем. Сашино золотистое лицо в солнечных отсветах брезгливо сморщилось, она запустила в кузнечика огрызком персика и сказала:

— Дрянь такая, вечно испортишь настроение. Хоть бы пошел поиграть с пацанами, боишься их, что ли? Мы же их расколошматили.

Виталий стеснялся немецких детей. Он глядел издали, как они играют, катаются на велосипедах. Однаж-

ды отец, возвращаясь с работы, сказал ему, одиноко стоящему перед запертыми воротами:

— Хочешь, пригласим ребят? Поиграешь с ними.

Вначале, когда он только приехал сюда, мать строго-настрого запретила ему выскакивать на улицу без фрау Ханны или герр-Густава, садовника, которому она также доверяла, но потом об этом и речи больше не заходило — Виталий не делал никаких поползновений выскакивать на улицу и уноситься с бандами белокурых маленьких фрицев в сторону развалин, как делал, говорят, сын одного офицера, пока его не принесли однажды домой с проломленной головой.

— Нет, нет, — ответил отцу Виталий. — Не надо. Пожалуйста.

— Ну как хочешь, — с сожалением сказал отец. — Ты ведь знаешь, тебя к ним мы все равно не пустим. А они могли бы играть у нас в доме и во дворе, сколько душе угодно. Тебе ведь скучно?

— Нет, папа, — говорил Виталий. — Мне не скучно. Мне... грустно.

— Вот тебе и раз, — расстроенным голосом отвечал отец. — Грусти, и вообще мрачным настроениям не должно быть места в жизни. Ты должен взбодриться, ты же мужчина. Октябренок. Сын комиссара.

К концу лета его отправили в Ленинград, к бабушке, которая встретила его на Варшавском вокзале и на трамвае отвезла к себе домой, на Лесной проспект, в темную квартиру с двумя комнатами совершенно пустыми, без всякой мебели, и одной обжитой, заставленной старыми вещами — шкафами, книгами, пианино, помутневшим зеркалом, столом с занавешенной шалью

лампой в углу, у окна, и еще одним — посредине, над которым висела старинная бронзовая люстра с выцветшим фиолетово-зеленым абажуром, очень красивая, как ему показалось, хотя он и пребывал в бесконечной печали от разлуки с Сашей, от разлуки с Сашей и фрау Ханной, фрау Ханной и отцом с матерью.

Он начал ходить в школу. И его действительно приняли в октябрюта. И назначили звеньевым: он должен был осматривать перед уроком ногти, тетрадки у своего ряда парт, у всех ли подточены карандаши и еще что-то там.

— Бабушка, а что такое фискал?

— Ну, как бы тебе поточнее... А вот мы сейчас посмотрим, что толкуют Брокгауз и Эфрон... Нет этого тома, вот беда-то. А ведь книжки я не жгла, не жгла... Даже газеты старалась щадить. Ну да кого тут только не ходило, не жило, не спало... Тома этого нет, но слово пренеприятное. Ты откуда его взял?

— Мальчик один сказал, когда я ему минус ставил за ногти. Баушка, а что такое брогаус?

— Баушка, а сколько тебе лет?

— Баушка, а в тех комнатах все сожгли?

— Все почти сожгли, детка. Замерзали мы. А потом сюда снесли, у кого что осталось — чтоб было чем топить. Думала, и до книжек дойдет, когда ничего уже не останется...

— А где те люди?

— Умерли.

— А кто они были?

— Сначала мы, наша семья — был город Петербург...

Золотой Летний Сад, багряный пригорок Михайловского Замка. Она его сфотографировала у фотографа, в мятом хлопчатобумажном пиджаке ходившего меж скамеек с образцами карточек. Он помнит эту фотографию, хотя где она может быть сейчас — неизвестно. Пятна солнца на лице, на кожаном немецком портфеле с мешочком для непроливашки, болтающемся на ручке.

... Папа, мама, брат и нас три сестры...

... Дача в Удельной... Но таких средств не было, чтобы уехать от судьбы...

... Я рада была работать — я окончила учительский институт. Да и дедушка твой считал, что ему нечего бояться — он никогда не был капиталистом

... Это твой родной город...

Лавочка в подвальчике, в переулке за домом: кадлушка с солеными грибами в проходе за прилавков, маслятами, деревянным черпаком наливает их в бидон продавец, молодой человек без руки, с лицом — чудесным: кротость, страдание спокойное, глаза и голос. И пшено:

— Пшенка с постным маслом, с грибами — вкусно!

Он любил туда, в подвальную лавку ходить, о т и р а л с я там, голос продавца любил, м е ч т а л о нем — вечерами, у себя в кровати. Но ни на что не мог решиться другое, кроме как:

— Дядя! Мне полбуханки. И подушечек. Сто грамм.

Сколько раз хотелось сказать: пустите меня туда, возьмите к себе — я вам буду помогать, ящики переставлять, я сильный... Так и не сказал.

— Оживает Россия, — приборматовала бабушка, — может, еще и не погибла, может, еще встанет! Ох, послал бы Господь...

Где теперь этот продавец, куда он делся т о г д а? — растаял в тумане жизни: то ли когда приехали родители и он переселился на Марсово Поле, то ли раньше еще, то ли Виталий перестал в лавку ходить, то ли продавец исчез из лавки. Теперь не вспомнить. Да и была ли эта лавка? — поди проверь.

Темные, темные осенью дни, и промозглые, ватные влажно — а в подвальчике желтенький свет, тусклая деревянная кадка, сельдью пахнет остро, обжито — навсегда и насквозь. Навсегда и насквозь, по сейчас пахнет.

Она ходила в неизменном суконном сарафане — едва он просыпался, она уже была в нем — и в белой кофточке, или кремовой, или розово-сиреневой: их было три, он это отлично помнил. Волосы затянуты на затылке в тощий седоватый узел, и очень черные ресницы вокруг голубых, прозрачноватых, с краснинкой, простодушных, как у ребенка — у маленького ребенка, может быть, грудного, а не такого, как его старшая сестра Саша, глаз. У нее было пальто с черным котиковым воротником, короче сарафана, и боты на черных металлических застежках. Она ходила в платке. У нее был темно-серый с коричневинкой колючий жакет, от него пахло их с ней комнатой. Она топила голландскую печь, сидела с ним над его тетрадками, писала ему крючки. С двенадцати до восьми она была на работе — в библиотеке. Он приходил к ней туда после школы, сидел между книжными стеллажами за столиком и читал, или учил

уроки. Иногда она договаривалась с сослуживицей, и они шли гулять, шли в кино, шли покупать цветные карандаши или акварельные краски. Он у нее рисовал. Она вешала его картинку на стенку — наряду с картинами Прянишникова и Бирули, имеющимися у нее. Вешала она его акварели и в библиотеке, и сослуживица находила их замечательными.

Летом, кажется, на второе лето, родители приехали в отпуск и поехали с детьми в санаторий, в Мисхор. Ее с собой не взяли, и он не мог этого понять. Но никаких заявлений не последовало с его стороны. Он не забывал своей сестры Саши все это долгое время, а ее он забыл сразу же, чуть ли не на другой день.

Сашу он представлял себе постоянно, припоминал, что она должна бы делать теперь, в это время дня — даже время переводил мысленно на дрезденское, — о бабушке он вспомнил в Мисхоре, когда пропорол себе ногу, наткнувшись на железяку, и его оставили одного в санаторном номере — даже книжки не было под рукой, не говоря о карандашах или красках, ничего! И тогда он вспомнил о бабушке, и ему стало невыразимо грустно, что он мог уехать от нее и даже ее забыть — и грустно по сию пору.

Тем более, что Саша теперь причиняла ему куда больше боли, чем раньше. Радостные тона почти совершенно погасли в их близости, он перестал ожидать от нее, чтобы она была доброй и внимательной к нему, но тем не менее ее боготворил. Он видел и чувствовал, как она презрительно-надменна с матерью, и мать побаивается ее, как отец готов ради нее влезть на самую высокую гору Крымского побережья, а она помыкала

им, милостиво разрешая поцеловать ее на ночь или купить ей винограду, если в этот день она была расположена к родителям. А если была нерасположена, то оставляла нетронутым суп и морщилась, поковыряв вилкой второе, и было заметно, что отец нервничает и тягостно соображает, чем это может быть вызвано — чем они с матерью на этот раз провинились. Виталий реже удостоивался ее выпадов и демонстративного неодобрения — она на него меньше обращала внимания. Он исправно ел, вставал раньше всех, сам шел умываться и чистить зубы, слушался на море (даже не обгорел) и покорно, жадно раззявая рот и глаза, обозревал все предложенные красоты природы, которые они объезжали на автобусе и на катере. Саша же куда-то почему-то могла не захотеть поехать и тем возвышалась невероятно в его глазах, еще большее становилось от ее красоты, ее неприступности, ее невнимания.

Его напугал Гурзуф — кривые уступы узких каменистых улочек, за поворотами которых таился страх, неведомая жизнь под раскаленным каменным солнцем, каменность теней на стенах: татары, сказал отец, крымские татары. Его душа насторожилась, ушла в пятки, хотелось спрятать голову в чьем-то подоле — но было стыдно, и он, в общем-то, понимал, что ничего реальное ему не грозит, но что же это была за таинственная подавленность души, ее неприязненный трепет, дремучий, необъяснимый страх? Саша, краем глаза смотрел он, ступала, ничтоже сумняшись, по горячим ощерившимся камням без какого-нибудь особенного движения в лице — попирала их царственно и равнодушно. Скривилась же она и, откинув за спину косу, запрыгала на

одной ноге, когда в сандалий забились камешки: вытряхнула их и пошла дальше, почти без всякого любопытства поглощая то, что принадлежит ей по праву: свет, бриз, витамины. Виталий хотел ей тоже принадлежать, но как? Чем? У него все было внутри, все спрятано, ничего не заметно — как он ее обожает и какого верного пажу могла бы она найти в нем, захоти она привести в действие свое царство: предприми она что-нибудь, устремись к цели, выступи с определенной программой. Но ничего такого не было, она сидела на пляже лицом к морю и ела из газетного кулька персики, виноград, груши, почти не обращая на него внимания. Кажется, с этого времени он невзлюбил фрукты. (Отец говорил, объелся).

Вечером, уложив их спать, родители уходили — пьянствовать, говорила Саша злым, ненавидящим голосом и, закутавшись в одеяло с головой, засыпала. Он тоже засыпал, но не всегда и не сразу. Он, наверно, еще не умел думать, а может быть, и умел по-своему. Однажды он оделся и ушел из санатория. Он пошел на море. Он ничего никому не хотел сделать плохого, он не сердился на родителей, ничего и не думал от них требовать, как кричала потом мать. Он просто пошел себе.

Ночной мир его поразил. Он оказался совсем иным, чем дневной. Это был мир, в котором, как показалось Виталию, ему и надлежало жить. Черные стриженные кусты лавро-вишни напоминали процессию монахов из трофейного фильма про Квазимодо. Освещенное луной море недреманно рычало, подкатываясь к сандалиям. Из-за высоких обкатанных водой валунов показывались обнявшиеся фигуры, проходили при-

брежной полосой и скрывались во мраке. Поразило то, что люди ночью ходят обнявшись. Мир иных отношений, теплый, вкрадчивый, темный, таящий тебя и все свое. Он сел на камень у воды и сидел долго. Спать не хотелось. Хотелось жить. Скорее вырасти. Стать во весь рост перед Сашей и что-то такое сделать, вытворить, изобрести поступок — чтобы она изумилась и вдруг бы посмотрела на него другими глазами.

Ему понравилось убежать от них. Ему было легко. Исчезало что-то давящее, неизъяснимое, то, отчего он вставал сам, не допуская, чтобы его будил отец, сам умывался и чистил зубы, исправно ел, слушался на море, ехал, куда везут, и ничего у них не просил. Никогда.

На следующее лето они привезли ему велосипед. Великолепный немецкий велосипед «Диамант».

НА ЧЕМ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ

— Видно, не видать мне из-за тебя розового платья, — говорит мне Надя, моя подруга.

Она продумала и нарисовала уже на плотном листе из альбома красивейшее платье с бантами на карманчиках, обшитых тоненькой оборкой. Это платье должно быть сшито из бледно-сирене-розового шелка, что выставлен в центральном магазине «Ткани» и стоит очень дорого.

— Почему из-за меня? — изумляюсь я.

— Да потому, что отца понесло к вам вчера вечером меня разыскивать, и он так потрясен тем, что вы — бедные люди, что хоть тут же сноси в комиссионку ка-

ракулевую шубу, материну радость, а о шелке по двести рублей за метр и не заикайся.

Надин отец, молодой полковник военной медицины, от одного счастья поздороваться с которым на улице, особенно когда он в форме, у всех у нас подкашивались ноги, действительно, заглянул к нам неожиданно вчера вечером, сказав, что Надьки нет дома, а уже десять часов, и он был бы совершенно спокоен, знай он точно, что она у нас, но этого-то она и не сказала, уходя. А так как он частенько ходил с Надей меня провожать по вечерам — они жили в двух кварталах от нас по нашей же улице, то представлял себе хорошо и дом, и окно, в которое я имела обыкновение кричать бабушке, чтобы открыла. Эта привычка осталась у меня с тех пор, когда я не доставала до звонка.

Я была поражена больше всего тем, что мы, оказывается, бедные люди. Мне это никогда не приходило в голову. Да и с какой такой стати нам быть богатыми? Мама у меня всего-навсего инженер, проектирует электрооборудование для металлургических комбинатов, папы у меня нет, дедушка тоже не на яхте катается по Средиземному морю, а ходит каждый день с утра пораньше на работу к себе в универмаг, где он директором. Конечно, у нас нет такого обилия хрусталя, как дома у Нади, наша мебель — очень старая, нелепо расставленная, да и квартира не блещет. Но ведь на это были свои причины. Надины родители — люди молодые, они недавно только купили свой ореховый гарнитур с креслами, вот он и новый. А мы привезли свой буфет еще из Петербурга в пятнадцатом году. Потом, война. Чего-то там, говорят, в старой квартире было, немцы

разбомбили. Особенно жалели прекрасную полную библиотеку, как называла ее бабушка.

Розовый материал Надьке купили только через две недели. Она зашла за отцом на работу в день полочки, и они пошли и купили. У меня как камень с души свалился.

— Нет, ты шельмуешь, — доносился из столовой дедушкин голос. — Твоя королева здесь не стояла.

— А где же она, по-твоему, стояла? — ехидно спрашивала бабушка. — Поставь, если ты знаешь, где она стояла. Я тебе и оттуда мат сделаю. Потому что я тебе из любого положения поставлю мат. Всегда.

— Шельма ты. Шельма, как Почикян. Знаю, что у него штука дома лежит, а поди возьми, когда накладные в порядке.

Почикян тоже жил на нашей улице, подальше, чем Надя. У него был собственный каменный дом со всегда запертыми зелеными воротами, за которыми громыхала собака. Так я никогда эту собаку и не увидела. Паутель видела, дикий виноград видела — между забором и крышей дома. А собаку так и не видела.

Перед их окнами росли самые тучные на улице клумбы зорьки, календулы, петуний. Каждый вечер жена Почикяна или сам Почикян поливали их прямо из своего окна, из шланга, заодно промывая прямоугольник асфальта, равный тени от их дома.

Бабушка, гуляя со мной по улице, когда мне было еще лет восемь-девять, останавливалась перед струей и говорила Почикяну, отвечая на приветствия и пожелания доброго вечера:

— Плохо у Федора Васильевича с сердцем. Пришел домой совершенно разбитый и лег. Снял излишек в конце дня. — При этом она криминально всматривалась в лицо Почикяна, сощутив глаза.

Почикян поднимал густые седеющие брови.

— У нас, видите ли, Катерина Александровна, больно магазин ответственный, честный. Все на виду. Университет, а не универмаг. Кое-какой излишек еще и может ссуммироваться, копейки там, а чтоб недостача — нет. Никогда.

— Да не кое-какой, а триста рублей.

Почикян выключил струю и горестно отряхивал шланг.

— Не может быть. Не может быть, — бормотал он, вскользь взглянув вдоль улицы.

— А габардина серо-зеленого нету, — бросала бабушка и величественно проходила со мной мимо.

Мы садились в трамвай и объезжали весь маршрут, возвращаясь к дому с обратной стороны.

По дороге нас застигал дождь, ветки акаций осеняли мое окно тяжелыми яхонтами, я вылазила по пояс и дергала эти ветки, мы кричали, ссорились, смеялись. Пересекали детскую железную дорогу, по которой ездили несколько раз и еще съездим как-нибудь днем.

— На этом кусте я поймала того синего богатыря, помнишь? — говорила я на окраине, когда в вагоне уже никогошеньки, кроме нас, не оставалось.

— Ты его так плохо заспиртовала, что от него осталась одна рухлядь. Поправь воротничок. Посмотри, армянская церковь, в которой прятали дедушку.

И она снова и снова, с новыми подробностями рассказывала мне об армянском поселении Нахичевани, как большевики скрывали здесь несколько дней дедушку от казаков, как бабка одного из кожевенных рабочих, Семена Мкртычана, заперла дедушку в церковном подвале во время резни, сказав, что всякое святое, хоть большевистское, хоть какое, — все равно святое, а у дедушки нашего нимб же все всегда невооруженным глазом видели. А ключ она положила в карман своей огромной сборчатой юбки из кашемира. И как ее это спасло, потому что шашка, скользя по этому большому церковному ключу, поранила ей бедренную часть ноги, а не живот.

И эта старая бабка, раненая. в довершение ко всему умудрилась каким-то образом, когда все кончилось, напечь и дать с собой дедушке очень вкусных армянских лепешек.

Кончались эти рассказы уже на другом конце маршрута, за вокзалом, где дымились паровозы, было много рельсов и видны были поезда, убегавшие во все, во все концы страны, которая просто непостижимо уму, какая большая, как говорила бабушка.

На следующий день выяснялось, что габардин нашелся после обеда в складском помещении.

— Ну скажи на милость, — говорил дедушка, помахивая в воздухе пешкой, — с какой такой стати новый, только что полученный товар попадет во вторую кладовку? Кому такая путаница и зачем? Или кто-то его спугнул. А что я теперь с этим излишком должен делать? Почикяну вернуть лично, что ли?

— Что значит — спугнул? — осторожно спрашивала бабушка. — Думаешь, не верни он этот габардин, ты бы его поймал, что ли? Ты же к нему с обыском прийти не можешь, ты же не ОБХСС, так что и мечтать.

— А, не говори. Как, как я могу заявить на него в ОБХСС, когда никаких документов, никаких улик. Накладная есть, чеки есть, габардина нет. Все в порядке. Даже излишек есть.

— Но теперь же габардин есть.

— Так чеков нету. За руку поймать надо, понимаешь, за руку. На одном излишке дела не сделаешь.

— Ну хоть габардин людям достанется.

— А, провались он. Чей товар-то? Небось, не хлеб. Не детская обувь. Но если уж он у меня до детской обуви доберется... — и дедушка смывал разъяренной рукой фигуры с доски.

— Ну что, что ты можешь сделать, если они все сговорились — от кассирши до главснаба. Один банк.

— Я его удушю собственными руками без всякого суда, — говорил у себя дома дедушка про одного из своих товароведов Почикяна.

То ли Почикян был хорошим психологом, то ли резона не было у него доходить до детской обуви, — но он занимался только дорогостоящими тканями и коврами.

Все это было очень давно, и теперь, наверно, так не делается, когда есть электронно-счетные машины и лазеры. Впрочем, связь между честностью и лазерами и сегодня брезжит в моем уме как-то смутно.

До революции дедушка говорил про своих хозяев, купцов Строгановых:

— Что на них по отдельности злобствовать? Обижаться на них тем более? Обижаться на них не приходится. Люди они на своем месте, раз брелоки свои золотые на живот выставляют, похваляются. Значит, механизм позволяет душегубам выплывать да процветать.

Про управляющего же ихнего дедушка тоже говорил:

— Человек он неплохой, по всему чувствуется, а механизм не дает доброту творить. Не позволяет механизм. Плетью обуха не перешибешь.

Теперь дедушка говорит:

— Вот это, оказывается, что. Всем это, оказывается, ясно было, как я теперь по беллетристике вижу. Я ведь это тогда себе все сам соображал, это не то, что вам теперь — все в книгах разжевывают да в рот кладут. Соображать бы не разучились. Я-то в свои годы только и знал, что арифметику да на счетах. Это бабка наша всегда была ученой, изящного воспитания. Я ведь другое совсем, я в Петербург в лаптях пришел.

Сколько ни было всего жестокого, зверского и прекрасного в дедушкиной жизни, а все мне кажется, сильнее всего я люблю эти лапти, и щемит сильнее всего от них же.

И одевала нашего деда бабка — после войны, когда я уже это помню, — как на картинку, приговаривая, приглаживая на нем новый летний костюм сливочной чесучи:

— Нет, Феденька, не говори, далеко это не все равно. Это Почикяну дела не позволяют рядиться, а ты у меня сиять должен, как голубок, чтобы людям было и

красиво, и приятно, и поучительно — что и дела у человека хороши, и одежда хороша, и лицо светло.

Когда же дело касалось ее зимнего пальто, которое она постоянно хаяла за «кошкин» воротник и которым одновременно невыносимо гордилась, она пела следующее:

— Что же, жена Федора Васильевича не могла бы шубу на себя нацепить? Да самую дорогую! Только зачем это мне? Завистниц вокруг себя разводить? Не терплю!

Умер наш дедушка от инфаркта, дожив до красивой, возвышенной старости, хотя и неглубокой, чего никто и никогда ему не предрекал. Уж больно висел всю жизнь на волоске.

Умер же легко, во время дневного сна, неожиданно. Все говорили, что это и было вознаграждением за его святость.

Почикян, всплакнув на могиле, не удержался от странной, немного бесконтрольной речи о том, какой это был удивительный директор и хозяин товару. Он помнил его весь, во всем своем огромном, необозримом магазине. Правда, он был немного дальтоником и бежевый габардин мог принять за зеленый. Но плох был бы тот, кто на это вздумал рассчитывать, потому что дедушка помнил его и знал, пусть как зеленый, и никакими счетами и бумажками провести его было невозможно. Было такое впечатление, что дедушка все знал и все помнил — чего и сколько ему привезли, и чего и сколько у него купил каждый городской житель.

Не было на эту речь ушей нашей бабушки. Слишком уж она была в тяжком бесчувствии.

На волоске же дедушка висел вовсе не из-за сердца, которое у него хоть и б о л е л о постоянно и р а з р ы в а л о с ь на его беспокойной работе, но во врачебной карточке не значилось.

Недуг, который припекал его лет двадцать и неукоснительно сводил в могилу, язву двенадцатиперстной кишки, дедушка п р и н е с — так бабушка говорила — в тридцать седьмом году. Откуда он ее принес и где осталась половина его ребра, отсутствующая на рентгеновских снимках, в семье никогда не говорилось. Ни разу, никогда я не услышала об этом от дедушки ни слова.

Известно только, что это и был водораздел между тем, какой дедушка был и з у м л я ю щ е к р а с и в ы й, и тем, что он стал д ы ш а т ь н а л а д а н.

Помню дедушку, лежащего маленьким тщедушным комочком на сундучке за дверью, накрытого каким-то тряпьем. Пятигорск. В доме немцы. Дедушку одолевает кровавая рвота. Партийный билет зашит в подоле бабкиного капота, которым обмотан иссохший, как тыква за зиму, дедушка. Лицо его желто-зелено-серое. Мученически поблескивают из темных ям глаза. Мне не разрешается задерживаться около сундучка.

Немцев двое. Один из них, рядовой с нашивками, краснорожий, постоянно приносит откуда-то кур. Ощипывает их во дворе собственноручно, растапливает буржуйку, обсмаливает курицу на огне, хлопчет с котелком у колодца. Как правило, в этот момент, или по крайней мере, на этой стадии, курицу забирает у него другой постоялец — лейтенант, как говорит мама, из гестапо. Лейтенант кричит на рядового, потрясая курицей в руке.

Мы все — бабушка, тетя Лида, наша землячка, я, тети-Лидин Олег, мой ровесник, и мама сидим на кухне-веранде, прижавшись друг к другу.

— Солдату великого райха, — переводит тихо мама, — не пристало баловать себя курами сверх того прекрасного, отборного рациона, на который фюрер сажает свою доблестную армию на завоеванной территории. Солдат великого райха должен быть дисциплинирован, выдержан и могуч. Он должен есть мясо этих людей, а не их кур. Если он, лейтенант, еще раз увидит курицу, он напишет рапорт.

Через минуту лейтенант появлялся на пороге кухни, постучав перед этим по дверному косяку, и молча протягивал маме курицу.

Куриц он всегда протягивал маме.

Однажды лейтенант появился в доме как раз в тот момент, когда этот рядовой дебил обстреливал кроватку, на которой сидели мы с Олегом, а мама металась как безумная по комнате с одеялом в руках, падая на нас с этим одеялом при каждом выстреле. Никто не мог понять, что он делает: играет, или действительно решил отведать нашего мяса.

Лейтенант выбил оружие у него из рук.

После этого случая рядовой исчез, и лейтенант остался у нас в доме один.

— Какая ты все-таки, Лялька, невыдержанная, — говорила бабушка маме укоризненно. — Ты знаешь, что ты кричала ему по-немецки «что вы делаете, умоляю вас»? Ты знаешь?

— Нет, не знаю, — уныло отвечала мама. — Я совсем ничего не помню.

Однажды мама, стоя на кухне и шинкуя капусту, забылась, что ли, потому что вдруг раздалось ее тихое:

(ноты вальса № 7)

Услышав это начало своего любимого шопеновского вальса, мама насторожилась, и мелодия, естественно, прервалась. Мама присела на табурет и заплакала.

Лейтенант гладил свою фашистскую рубашку.

Через несколько дней во двор въехал грузовик, и шестеро солдат суетливо сгрузили и поставили на траве, посреди двора, старое облезлое пианино. Отправив машину, лейтенант открыл инструмент, попробовал клавиши во всех регистрах, неуверенно стал вспоминать вальс. Потом выгремел что-то бравурное. Снова тихо наиграл вальс. Совсем, совсем тихо, вспомнив на этот раз почти до середины.

— Издевается, гад, — сказала тетя Лида.

— Не думаю, — задумчиво ответила мама.

— Пани, прошу, — сказал лейтенант, приглашая маму жестом к инструменту. Мама покачала головой и к пианино не пошла.

Так вот этот самый лейтенант пришел однажды со службы такой насупленный, такой мрачный и ни с того ни с сего прошел мимо своей комнаты прямо к дедушкиному коридорчику в глубине дома, куда он никогда почти не заходил. Лейтенант долго стоял, прислушиваясь к больному дедушкиному дыханию и всматриваясь в темноту. Бабушка постаралась прошмыгнуть мимо, но лейтенант остановил ее рукой и пошел прочь.

Он вышел во двор, вышел на улицу, обошел дом, вернулся, поглядел на часы.

Сел на кухне на табурет, принялся сплести кожаный ремень, начатый дедушкой до ухудшения и так и оставшийся висеть пригвожденным к краю стола.

Вошла мама, держа меня за руку. Лейтенант порылся в кармане, достал конфету в потертой обертке, дал мне. Похлопал меня по затылку, похлопывая, похлопывая, как-то подтолкнул к двери и закрыл за мной дверь, за которой меня тут же подхватила бабушка.

Лейтенант еще раз открыл дверь и, стоя на пороге, сердито и строго сказал «Вон».

Бабушка поволокла меня, помахивающую неразвернутой конфетой, вон. Конфету я швырнула в захлопнувшуюся дверь.

— Все, кто умеет говорить по-немецки, — заговорил на своем родном языке лейтенант, — могут и должны приносить пользу великому райху. Все такие люди выявлены и привлечены. Нет ни одного человека, знающего немецкий язык, который не числился бы в списках гестапо. Так что же мне может помешать думать вслух у себя дома? Обдумать свои дела? Свои планы? Неясности. Как мне можно, например, оставаться в доме, где скрывают коммуниста, еврея, да еще ответ-работника? Завтра утром мои товарищи по доблестному райху придут забирать его и скажут: а вы где были, Гроссман? Вы куда смотрели? Нет, скажу я, не может такого быть,

я же не инвалид какой-нибудь. Давайте обобщем дом, хотя я и уверен. Да, здесь женщины, дети, но никого нет с такой фамилией, не правда ли?

— Йа, — сказала мама.

— Так что это ошибка. Или заведомое вранье ради пайка. Я присматривал за этими людьми. Они вполне безобидны, иначе я сам доложил бы своему начальству. Чем я рискую, говоря так?

— Мит ни хтс, — сказала мама трясущимися губами. — Ничем.

— И никаких колодцев, — сказал лейтенант. — Колодцы просматриваются в первую очередь. Пойду развлекусь, выпью с друзьями. Часов до шести утра. Больше я ничего не могу сделать для фрау. Я бы сделал, пусть она знает.

И все-таки неизвестно, чем бы на следующее утро рисковал наш лейтенант, если бы ночью во дворе не появилась лошадь. Да, ночью, в занятом немцами городе, хоть и на окраине, у самого Машука — осторожный стук в ворота, лошадь и человек в красноармейской шинели без погон — Миша, Михаил Кузьмич, у родственников которого мы остановились здесь, в Пятигорске. У родственников его и тети Лиды, его сестры. Это был такой старый и закадычный дедушкин друг, какие бывают не у каждого.

А надо сказать, что сразу после ухода лейтенанта я уселась на краешке дедушкиного сундука, и никто не прогонял меня оттуда.

И все-таки все сели за стол. Хоть это и было на скорую руку и с обморочными разговорами о том, как Михаил Кузьмич продирается по ночам сквозь окружение к нашим, о том, как ничегошеньки не слышно и неизвестно о моем дяде, мамином брате и племяннике бабушки с дедушкой.

Только дедушка лежал.

Лежал он на диване и смеялся, лишенный возможности присесть к столу и потом, пять лет спустя, когда пропавший без вести Михаил Кузьмич объявился у нас в доме, а дедушкин тогдашний лечащий врач считал, что спирт при язве полезен, и дедушка выпивал понемножку водочки.

— Ну, честно скажу, не чаял я тебя живым застать, — только теперь и признался Михаил Кузьмич, трепля дедушкино плечо.

После того, как я поцеловала дедушку той пятигорской ночью и его положили поперек седла, мы нашли его у развалин нашего довоенного дома, вернувшись в свой город. Он сидел во дворе, обмотанный изорванным бабкиным капотом с зашитым партбилетом, и плакал. По двору сновали листы книг.

— Вы ему спасли жизнь, Миша, — говорила бабушка. — Ведь мы все, все наши дети и внуки у вас в вечном залоге.

— Эх, знали бы вы, — сказал Михаил Кузьмич, опрокидывая рюмку и повернувшись к дедушке, и взяв дедушкину пергаментную руку с нежными пигментными пятнышками. — Он из-за меня больше вытерпел. Но не по моей вине. Это главное, да, Федорушка?

— Да чего там на аршин мерять, — махал на него дедушка рукой. — Живы, слава Богу. Все живы, вот что удивительно.

— Значит, Борис ваш жив, — сказал Михаил Кузьмич, помрачнев. — Рад, поверьте. Выпью за это. А вот моего Юрика нету. И тоже давайте выпьем.

Самым главным благом из всего, что дала советская власть, дедушка считал, кажется, книжки. Всех нас,

меня и моих школьных подруг, он считал немислимо образованными, даже тех, кто плохо учился, хотя сам он с бабкиной помощью только и знал все спокойные от тревог годы, что оканчивать какие-то бесконечные заочные учебные заведения — финансово-экономические и торговые. Я даже не знаю точно, сколько он их по-оканчивал — два или три.

В спорах и разговорах с нами он робел и пасовал, говорил: « Конечно, вы теперь такие книжки читаете ». Конспектировал Диккенса и Чехова в общих тетрадях. Ругаясь со мной, кричал тонким голосом: такие книжки читаешь, а того-то и того-то не понимаешь! Быстро сдавался, стоило припереть его информацией, именами, но однажды — я это по тому и запомнила, как поразила меня его находчивость и, я бы сказала, не свойственный ему риторический блеск, — изумил меня ответом.

Обвиняя его в рутинерстве, возможно, по поводу брюк-как-у Нади или чего-нибудь в том же духе, я заявила нахально:

— Ты, дедушка, может быть, до сих пор считаешь, что земля на трех китах держится?

— Да, считаю, — смело отбрил мой дед. — И знаю даже, как они называются. А вот ты знаешь ли это, по твоему поведению часто не очень видно.

— Я знаю, деда, что еще не очень-то знаю. Кажется, догадываюсь. Но все это требует еще уточнений. Только не говори мне, ладно? Сам знаешь, толку от говенького не бывает...

И я припадала к его плечу, к спине, покорябывая ее ногтями, от чего мой дед начинал форменным образом мурлыкать.

ПАВЕЛ НИКОДИМОВИЧ

Вот мы и отметили его день рождения. Собирались, собирались — дособирались. Стоим, пришибленные. Держим цветы, авоськи с шампанским.

— Может, все-таки зайдете? — неуверенно говорит Люся.

Пятнадцать лет тому назад, когда он только что женился, у Павла Никодимовича были сложные отношения с Люсей, приемной дочерью. Кое-что об этом мы слышали, да и догадывались. И дома-то у него никто из нас не бывал после того, как он переехал жить к жене. Вот, первый раз пожаловали — без приглашения.

Люся — чуть постарше нас, и теперь она такая же взрослая, как и мы. Серьезная — она всегда была серьезная и суровая. Располнела — а тогда она была такая воздушная, что Павел Никодимович боялся, как бы со злости на него она не испарилась.

Люся вдруг выдернула откуда-то платок и начала тереть нос.

— Подождите-ка, — сказала она, когда мы вошли в прихожую. — Давайте подумаем, как маме сказать.

— А когда это случилось? — тихо спросил Слава.

— Скоро год, — ответила Люся, и глаза у нее сильно покраснели.

В конце концов, когда человек умирает, плачут иногда даже те, кто его ненавидел. Особенно женщины.

В прихожую выглянул мальчик лет семи, держа наготове пластмассовый красный автомат.

— Здравствуйте! — сказала ему Валя, наша меньшая. Ей теперь уже двадцать семь, она хирург-легочник в Саратове.

Мальчик ответил короткой очередью со вспышками электрической лампочки внутри автомата.

— Павлик! — тихо донеслось из глубины квартиры.

— Павлик! — расстроенным голосом сказала Люся. — Во-первых, сколько может бабушка просить не стрелять хотя бы дома; во-вторых, с тобой здороваются! Разве ты не видишь — к нам гости пришли. Это ученики нашего дедушки. Как ты их встречаешь?

Павлик спрятался.

Нет, видно, что-то изменилось за это время с Люсей.

Павлу Никодимовичу было под пятьдесят, когда он женился. Но он не стал меньше времени проводить на стадионе. Говорили, Люся житья ему не дает.

Люсе было шестнадцать. Ее отец, профессор математики, три года как умер. Старший Люсин брат, физик, давно жил со своей семьей в другом городе, в Ереване.

Перво-наперво Люся бросила школу и уехала к нему.

Павел Никодимович сидел в павильоне на кортах желтый от приступа печени и перетягивал наши ракетки — одну за одной. Он нам всем их тогда на год вперед перетянул: все основные и все запасные — перворазрядникам, все ракетки второразрядников с жильными струнами, все — малышей и третьеразрядников, с капроновыми.

Мастеров спорта у Павла Никодимыча не было. Это была его специфика. Как только человек становился

мастером — он сразу уходил к другому тренеру, в «Спартак» или в «Динамо».

Иногда Павел Никодимыч предвосхищал ход событий.

— А, — говорил он, — из этого только теннисист и выйдет.

И вызывал родителей.

— Ваш ребенок очень способный, — говорил он папе или маме. — Я не могу закрывать на это глаза. Я вам советую: переведите его в «Динамо». Там мастеров как на дрожжах пекут. Я — не тот тренер, который нужен вашему сыну. И «Наука» — не то общество. Вы понимаете, для того, чтобы вырастить классного игрока, надо его соответственным образом ориентировать буквально во всем. Ну что — ну дам я ему классическую технику. Она уже у него есть. Посмотрите на этот удар слева! Прямо спиной налетает. Красота! Но это еще не все. Понимаете, не все. А жизнь — многосторонняя. В ней много соблазнов — проза, поэзия, физика, архитектура. Я не сумею оградить. Нет, не сумею. Предупреждаю честно — переводите в «Динамо».

Потом, несколько недель спустя, после побега, Люся явилась на стадион. Высокая, орехово-смуглая, с гладко зачесанными назад черными волосами, перевязанными черным бантом, в тонком черном джемпере с косым вырезом, в ситцевой юбочке с корзинками фиалок по подолу, в изящно спадающих пантолетах на тонких, необыкновенно красивых орехово-смуглых ногах. От губы по щеке у нее тянулся тонкий бледный шрам, который делал ее тонкое удлинненное лицо с берилло-

выми холодноватыми глазами совсем необыкновенным.

Надо было видеть нашего Никодимыча. Он даже вылез на корт, что случалось не так уж и часто. В своих сероватых застиранных брюках из плотной парусины, в белом свитере, он картинно прошелся к сетке и обратно, легкими жокейскими движениями подбирая мячи ракеткой — не нагибаясь. И минут за пять продемонстрировал фильм, после которого мальчишки спускаются с деревьев вокруг летнего кинотеатра и тянут, заламывая кепки:

— Живут же, сволочи, проклятая буржуазия!

Вокруг образовался народ, потому что Никодимыч на корте — это, безусловно, зрелище. (Однажды на стадион пришла скульпторша. Она просила указать ей лучшую теннисистку нашего города, победительницу в паре на последнем муждународном турнире в Польше, Свету Коломейцеву. Скульпторше сказали, что Света — воспитанница Павла Никодимовича.

— Она уже давно не играет на этом стадионе, — сказал Никодимыч. — Она перешла в «Динамо». Но в чем дело? Девушка, не огорчайтесь! Я встану для вас на корт, и вы увидите такого Родена, что вам останется только убрать лишний мрамор и добавить бедра, коих, кстати сказать, и у нашей божественной Светочки совсем немного. А ростом она почти такая же, как я.

Так эта дура скульпторша чуть ли не рассердилась — решила, что ее разыгрывают, и ушла.)

А Павел-то наш Никодимыч был высок, худ и строен, как завзятый клубмен; летал он по корту легко, как по воздуху, с неподвижно-спокойным лицом и слегка

склоненными, как у Шопена, веками. И Люся не могла всего этого не видеть. Ведь не слепая же она была, в конце концов.

Когда сеанс классического лаун-тенниса был окончен, Никодимыч уселся в свое плетеное кресло в павильоне и соорудил одну из самых бесподобных своих гримас: углы рта интеллектуально ниспадают чуть ли не до самого белого свитера, сухой пергаментный лоб — в гармошку, и глаза прикрыты, дабы утаить невыносимый для окружающих избыток мудрости и жизненного откровения.

— О наша возлюбленная египетская дочь! Что сотряслось и разверзлось, заставив обратить сюда твои стопы?

— Не разверзлось, а сверзлась — мама с подоконника.

— Что!?! — вскакивает Никодимыч, вытаращив глаза.

— Шучу, — торжествующим тоном бросает Люся и, взяв со стола ракетку, вертит ее в своих работы Бенвенуто Челлини ручках. — Разве что действительно, уж коли с математикой такой швах, попробовать в теннис?

Никодимыч снова медленно усаживается в свое плетеное кресло, интеллектуально запустив углы горького рта.

— Ну видишь ли, дочь египетская, до твоего побега в пампасы я ничего такого не слышал — про математику. А в общем, бином Ньютона я еще, между прочим, распутать способен. Так что это ты зря. Уж если там дело дойдет до правил Лапиталя или до бесконечно малых и формулы Лейбница, так у меня, между прочим,

и кандидаты физматнаук на кортах водятся. Водятся и размножаются. Да-с, сударыня, водятся и размножаются. И дружба их весьма и весьма далеко простирается, вынужден вам заметить. А что до тенниса — теннис никому из них еще не вредил, да и вам не повредит, надеюсь. Так что не изволите ли пройти со мною к стенке, ежели ваша решимость окончательна? Только имейте в виду, что там вам предложено будет разуться. Не побрезгуйте.

— Да у меня, между прочим, есть с собою теннисные тапочки. И майка. И даже трусы. Сатиновые. Мама купила. Тринадцать-пятьдесят отдала. Три кино.

Вот такая была эта Люся.

По математике у нее, у этой Люси, никогда ничего другого, кроме пятерок, не было — говорят, в папу пошла, — но она третировала этой математикой нашего Никодимыча зло и упорно. Когда наши уже стали оканчивать институты и разъезжаться, а Люся была уже оставлена в аспирантуре университета и ее статьи публиковались в зарубежных математических сборниках, она все еще продолжала третировать Никодимыча тем, что мама «променяла», как она выражалась, математика с мировым именем на цирк Крамера в дырявых штанах.

— Ну, я думаю, вот что, — говорит располневшая, уже слегка седая Люся с покрасневшими глазами. — Мы давайте так маме и скажем: здравствуйте, Варвара Семеновна, сегодня папин день, мы хотим с вами его отметить. Думаю, ей это будет скорее приятно, чем грустно. Как вы считаете?

— Вам виднее, — говорит Слава.

Слава — авиаконструктор из Куйбышева. Слава подавал большие надежды как теннисист. Но в остальном он был исчадием ада. Рыжий, двоечник, ругучий — самый ругучий на девятой улице Рабочего Городка, он ходил на стадион «ради талонов». Узнал, что во время соревнований спортсменов кормят по талонам в самых лучших кафе и ресторанах, в зависимости от важности соревнований, и решил «дойти до «Волги-Волги»(так назывался тогда наш наиболее фешенебельный ресторан).

Мать со Славой замучилась. Состаренная войной и тяжелой работой на консервной фабрике, маленькая, прокуренная, она так душераздирающе рыдала, рассказывая Павлу Никодимычу о Славиных похождениях и о том, что «друзжки уже сели».

Никодимыч хмурился, усаживал ее в плетеное кресло, стряхивал пылинки с рукава своего широкоплечего, совсем немножко обтрепанного твидового пиджака, болтал ногой, сидя на столе рядом с нею.

— Не вдруг, Марья Егоровна, не вдруг! — говорил он ей и вздыхал. — Эх, кабы не бытие определяло сознание, а наоборот! С сознанием я работать могу, но с бытием — как? Трудное единоборство. Трудное, мать, поймите. Я бы вам поклялся, присягу дал. Но а если он сядет уже теперь? Я — трепач? А я не трепач, я только надстройка. Ступайте. Я из него сегодня же душу начну трясти, положитесь.

Приходил вразвалочку Славка. Плевал сквозь зубы. Мотался по жару, чтобы «дойти до «Волги-Волги».

Никодимыч следил все это, облокотившись на ручки плетеного кресла. Подходил к корту.

— Вячеслав! Подойди. Такое впечатление, что у тебя одна извилина, и та — прямая. У тебя водится что-нибудь вообще в голове, или нет? Ну так, в порядке исключения? К чему-то чтоб апеллировать работающему с тобой тренеру?

Славка неопределенно пожимал плечами — мол, ему об этом никто не докладывал.

— Способен ты понять, что все в игре должно быть функционально? По законам физики, механики и естества, а не тяп-ляп, как бог на душу положит. А чтобы эти законы приложить, их надо что? — знать! Теннис — игра интеллектуальная.

И Никодимыч подкреплял это положение задраным высоко вверх тонким сухим перстом.

— Ты думаешь, отчего это такое предубеждение сложилось — аристократический спорт, аристократический спорт? Да оттого, что каждый сопливый аристократ знал, что «эф» равно «а-эм». А где это взять в нашей социалистической стране? В учебнике Перышкина, часть первая, страница сто тридцать вторая, или какая там. А до того уяснить себе, что такое «эф», то есть сила, с какой тебе желательно врезать, что такое «а», то есть ускорение твоей ракетки к моменту удара, и что такое «эм», то есть масса твоего брэнного тела, какую ты сумеешь приложить к мячу, ежели пользоваться этим твоим костлявым и веснушчатым богомерзким телом с умом. А когда ты все это постигнешь, ты и не станешь, как дурак, тратить драгоценные калории на гомерический замах, не будешь после того ловить мух и встречать мяч, падая от неожиданности на задницу. А будешь собранно и экономно, применяя свой великий ин-

теллект, переносить на мяч свою центральную тяжесть короткой и быстрой посылкой ракетки вперед, в тое самое место площадки, в какое желаешь разить противника из кутузовских соображений.

(Так Никодимыч называл тактические соображения).

— Без этого не будет ничего. То есть без четверки, как минимум, по физике, в теннисе будет кол. И только кол. Баранов не терпим.

Через пару лет, когда Слава уже «тянул» на первый разряд, имел четверку по физике в четверти и отдельные пятерки за ответы у доски, но все еще плевался сквозь зубы, Никодимыч чуть было не отступился от него.

— Не перевести ли тебя в «Динамо»? — задумчиво говорил он. — «Евгения Онегина»ты толком не знаешь, Маяковского не понимаешь, культуры никакой. Ничего, кроме соревнований тебя не интересует. А чтобы расти в спорте, тебе не хватает железной дисциплины. Это возможно только в «Динамо». Поставлю-ка вопрос о тебе на городской секции, а? Парень ты растущий, способный, можно сказать, талантливый. С руками и ногами оторвут! А?

— Да чо вы, Палникодим! Чо вы на меня взъелись? Скажите спасибо, что я не сел два года тому назад. Тоже мне, «Динамо». Чо я там не видел? Знаю я, кого вы на «Динамо» отправляете! Мол, дуракам одним место на «Динамо», а здесь элита, аристократия, академия наук. Тоже мне, «Наука»! Да вы спросите вашего Борисенку! Думаете, он вам ответит наизусть «Евгения Онегина», хоть и кандидат? Думаете, ваша Люська ответит?

(Люся тогда только начинала играть в теннис).

— Ну, наизусть. Наизусть «Евгения Онегина» во всей России только два человека знали — я и Володька Маяковский. Ты бы мне хоть смысл рассказал, смысл нелюбви и скуки сэра Евгения... А ты ж и этого не вычитал, не постиг.

— Та я постигну, Палникодим. Я ще молодой, — говорил Славка, сплевывая сквозь зубы и лихо заламывая надо лбом теннисный козырек.

— Мама! — говорит Люся, открывая дверь в другую комнату, после того, как мы разделись, вошли в гостиную, расставили на столе цветы, бутылки шампанского и оба торта

Когда Люся стала играть в теннис, настоящие муки Никодимыча только начались.

На тренировки она всегда опаздывала, и Никодимыч вместо нее играл с теми девочками и мальчиками, которые стояли с ней в расписании, пока она не приходила — с черным бантом в черных волосах, в ситцевой юбке с монмартрскими фиалками, в тонком черном джемпере, заштопанном на локтях.

Когда она стала играть в соревнованиях и даже ездить иногда в другие города — на ЦС «Науки», например, она не начинала встречи, пока Никодимыч не усаживался рядом с кортом, если она требовала его присутствия, или не удалялся на расстояние пушечного выстрела, если она требовала его отсутствия.

Разговаривала она с ним только ехидно или презрительно — больше никак.

— Покажи ты мне этого чудо-ребенка, — говорила она про Валю, хирурга из Саратова. — Чтобы я переста-

ла, наконец, спокойно спать и просыпать лекции. Представляете, — обращалась она ко мне, — только и слышим дома: Валя — резиновая, у Вали такие точные руки, у Вали такие легкие ноги, у Вали такое будущее...

— Она придет на тренировку через час, — говорил Павел Никодимыч. — Сосни над Вересаевым, на вот тебе. Увидишь.

Появлялась на корте Валя — аккуратненькая, в белых кашемировых шортах, в высоких шерстяных носках, в свежeweыглаженной майке с английским воротником. Настоящая девочка-чемпионка, какой она и была, но несмотря на это оставалась, по какой-то тайной причине, в «Науке». Тренировалась Валя всегда с мальчиками — девочек с такой сильной игрой у нас не водилось. Она выглядела замечательно на корте — крупные длинные ноги действительно очень легко переносили ее из угла в угол площадки, а когда она подавала или пробивала смэш, испытывалось головокружение, как от прекрасной поэтической строки.

— Господи, так она же некрасивая! — воскликнула Люся.

— Валя? Да ты с ума сошла! — поднялся из своего плетеного кресла Никодимыч и прошелся по диагонали павильона — тощий, породистый, в застиранных парусиновых брюках. — Слушай, дочь египетская. Ты мне не нравишься. Ты решительно нехороша. Ты мне не импонируешь как дочь. Признавая твои выдающиеся математические способности, я вынужден отметить, что со вкусом у тебя того... прострел. Валя некрасивая! Да я только и терплю этот теннис к чертовой матери, потому что он средство общения с такими детьми, как Валя. Я

бы без таких людей задохнулся. Понимаешь? Задохнулся.

Тут ему правда как будто не хватило воздуха. Да и пошаливало у него сердце, в самом деле пошаливало, и выходить из себя ему никак было нельзя.

Окончив институты и разъехавшись, мы встречались только случайно. Поздравляли друг друга с праздниками и днями рождения. Все до одного присылали телеграммы Павлу Никодимовичу. Приезжая в свой родной город, заходили на стадион, болтали с ним обо всем на свете, даже о баснях Лафонтена, которых Никодимыч насчитывал двести восемьдесят.

— Так дело в том, что я написал уже свою трехсотую. М? Ну и что!

Каждый из нас смеялся, глядя из павильона, увитого диким виноградом, на корты, по которым бегали будущие математики, авиаконструкторы и хирурги, сплевывая сквозь зубы. Темно блестел на солнце естественный зеленый фон, также образованный диким виноградом, вьющимся по сетке. Стройный ряд пирамидальных тополей за нею сторожил лет мячиков. Проглядывала сквозь зелень кирпичная стена нового архитектурного института. В здании, наверно, слышен мерный и быстрый звук плотных ударов. Глухо, но слышен.

Мы давно уже, несколько лет сговаривались насчет того, чтобы собраться как-нибудь у Никодимыча на дне рождения, устроить ему юбилей. Но трудно это все-таки — всем высвободиться в одно определенное время даже на два-три дня. Тем более, глубокой осенью, в конце ноября.

Но вот нам все-таки это удалось. Шестерым: мне, Славе, Валентине, Кире — она хоть и живет по-прежнему здесь, но давно оторвалась от тенниса и ничего не знала. Еще прилетел из Кустаная Саша, железнодорожный инженер, и Витя, теперь киевлянин. Он — журналист, хотя Никодимыч никогда этого не приветствовал по каким-то, видимо, своим внутренним причинам.

Мы сидим в гостиной старого дома, построенного еще в прошлом веке и видевшего, наверно, немало разных жильцов, дома, немного чужого для нас. На стене, чуть пониже тени от арматуры люстры, висят два фотографических портрета. С одного смотрит чуть-чуть исподлобья моложавый старик с густыми седыми усами, с увеличенным залысинами костистым лбом, с лицом очень умного кабинетного человека. С другого, увеличенной и чуть размытой карточки, наклеенной на паспарту, улыбается длинным горьким ртом наш Никодимыч в белой теннисной кепке.

— Мама, — говорит Люся, отворяя дверь в другую комнату. — Иди к нам. Иди, милая. (Павлик, пойдй к папе, скажи, что у нас гости). Иди, мамуля. К нам ребята приехали, папины воспитанники. На папин день. Вот, знакомься. Ты рада? Мы все вместе раньше в теннис играли. Вот! Какие были замечательные теннисисты, да? А ведь всех вас помнят на стадионе. Александр Николаевич еще играет. Старенький, правда, уже ведь за шестьдесят, а все играет. Ирочка, жена Веньки-доцента...

Это же надо! Как раз Люся-то и не рассталась с теннисом! По горло в работе — она начальник лаборато-

рии в одном НИИ, муж — профессор математики, маленький сын, старенькая мать — и играет, черт ее побери!

ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ

Проснулась в слезах, от горя, бывшего таким невыносимым, что вытолкнуло из сна, пробудило; наяву же оказалось еще невыносимее — и спрятаться, укрыться от него было уже негде.

Будильник показывал девять. Проспала, опоздала на работу, но сейчас это представлялось таким неважным, что даже не встревожило.

Важнее было другое: что там было такое в этом сне, от чего такая мокрая подушка и такая тяжесть, какую невозможно ни вынести, ни сбросить? — Ребенок, о котором приснилось, будто его убила мать, косая сумасшедшая Нюська, на самом деле жив, и с ним все в порядке. Я его видела недавно, во время своего прошлогоднего отпуска — он перешел в десятый класс.

Громкий гомон птиц привлек внимание к открытому окну.

Вытерла краем пододеяльника слезы. Да, был двор, и так же по утрам перекрикивали там друг друга птицы — воробьи, скворцы, ласточки. В старом тополе посреди двора обитал удог.

Девочкой я частенько укладывалась спать на балконе, и тогда птицы будили рано, до солнца. Чуть розовел выглядывающий из-за дома край акации в водянистой синеве неба, из-под балкона верхнего этажа, из аккуратного красивого гнезда камнем падала ласточка и

уносилась ввысь, с легким свистом прочерчивая наискось причудливую выгородку, образованную нашим старым кирпичным домом с оржавелыми длинными верандами; трепетали листья деревьев, капала вода из стоящей посреди двора колонки, лужа от нее разливалась до палисадника у малых, лепящихся друг к другу домиков, и там едва уловимо журчали ручьи по грядкам, и лопались пузырьки воздуха, поднимающиеся из земли.

Измученная утром, напряжением света и жизни двора, я уходила в дом и там досыпала — совсем другим, сладким и легким каникулярным сном.

Во дворе было много детей, верховодила нами девочка Бела, Белая Роза. Мы все — наш двор — составляли «шайку», Шайку Белой Розы. Разумеется, в летнее время. Разумеется, Шайка Белой Розы не могла бы существовать, была бы бессмысленной, если б не было Шайки Красной Розы, с Долмановского. Красной Розой был огненно-рыжий Валерка, способный в течение трех суток кряду преодолевать препятствия в отрыве от тыла, то есть от дома, без рубля в кармане.

Но Бела ни в чем ему не уступала. Она тоже могла переплыть Дон с сарафаном в зубах, тоже расписывалась кровью и знала каждый лягушачий затон ботанического сада, и однажды нас всех привезли на катере с милицией из Старочеркаска, где мы соединились после головоломных странствий по следам и запискам. Видно, кто-то не утерпел и намекнул дома, в какую сторону мы отбываем.

Но все это не имело никакого отношения к моему горестному сну, хотя в «шайку» и входил Алик Вайс, Нюьскин двоюродный брат.

Родители Алика были молоды, славились аккуратностью и пунктуальностью в отношении общественных сараев, угля, дров и картошки. Папа Алика, заводской бухгалтер, был выборным уполдомом, и двор на него молился.

Они пребывали в постоянном восторге друг от друга, от своей темненькой, чистой квартирki, усталной домотканными ковриками и влажно пахнущей вымытыми полами, влюблены были в своего мальчика Алика, «отличника в школе и имеющего авторитет среди ребят», как неизменно характеризовала Алика Вайса его мама, тётя Полина.

Тетя Полина была на голову выше супруга, к тому же, когда они сидели во дворе каждый вечер у своего крыльца, наблюдая за Аликом, а заодно и за всеми нами, крупная тетя Полина восседала на большом дырявом плетеном стуле, а папа Алика — на маленькой деревянной скамеечке с перекладинами крест-накрест, выкрашенной коричневой масляной краской. Они никогда не делали нам замечаний, что бы мы ни вытворяли, ни в чем не препятствовали — только наблюдали. Даже однажды тетя Полина громогласно осудила себя за это, когда одна девочка села на раскаленную буржуйку, стоявшую посреди двора, у водопроводной колонки.

Мы играли в «двенадцать палочек», и Наташа — так звали девочку — бежала прятаться. Но бежать приходилось задом наперед, иначе невозможно было удо-

стовериться в том, что тот, кто собирает палочки, не подглядывает.

Никто не подглядывал, все уже спрятались, водящий залез куда-то в яму за последней палочкой, когда Наташа наткнулась на эту буржуйку. Она удивленно смотрела, как по ее собственной ноге скатилась пара малиновых углей, и даже не очень торопилась отлипнуть от этой буржуйки, а только тихонько пыталась оттолкнуть ее рукой. И только когда кожа на ноге спеклась и свернулась розовой трубочкой, она пронзительно закричала.

Никто не выскочил на ее крик — знали мы эти штучки: не успеет человек спрятаться и изобретает. Только папа Алика подбежал к Наташе и, взяв ее на руки, понес домой, а тетя Полина бежала рядом и, заливаясь слезами, ругательски ругала себя, что вот она всегда так, она привыкла, чтобы не мешать детям.

Так вот, косая сумасшедшая Нюська была племянницей тети Полины и двоюродной сестрой Алика. В ту пору ей было лет семнадцать, она заправски отплясывала посреди двора, подмигивая из-под своих длинных, пышно и беспорядочно вьющихся светло-русых волос.

Тетя Полина нещадно и ежедневно мыла Нюську и ее длинные, красивые волосы, иногда здесь же, во дворе, у своего крыльца, раздевая ее до майки, и тогда мы, притихнув, усаживались вокруг на корточки, потому что двор: и тополи, и акации, и трава, и ласточкины гнезда — все становилось другим, лишь только солнце касалось этих освобожденных из-под вафельного полотенца волос, и они начинали сохнуть и поблескивать, посте-

пенно все живее и легче развеваясь на тихом теплом ветру.

Насытившись любованием, мы продолжали прерванные рассказы — и Нюська слушала тоже, молча и прикрыв глаза, о капитане Немо, о дочери Монтесумы и о замке Железного Рыцаря.

Большинство небывалых книжек доставал откуда-то Алик, доставал на один-два дня и давал всегда мне, даже сам иногда не успевал прочитать, так что приходилось их потом пересказывать во дворе, улучшая по своему разумению

Дела «шайки» заводили нас в довольно глухие углы и подвалы, где мы и обнаруживали время от времени Нюську, пьяную, голую, едва прикрытую клочками изодранного своего платья и обесчещенную. Естественно, при этом случался и Алик. Он краснел до слез и, ни на кого не глядя, пытался вытащить ее под мышки, но она была длинная и костлявая, а он — всего только мальчик десяти, одиннадцати, двенадцати лет.

Ничего этого мне тоже не снилось, хотя ребенок, которого в моем сне Нюська убила, действительно родился в результате всех этих дел, а для Нюски родители Алика добились в конце концов комнаты после умершей старушки в доме на нашей же улице. Ребенка они оставили у себя.

Я встретила Алика, когда была в отпуске. От своих я знала, что папа его несколько лет как умер, и Алик в связи с этим вернулся насовсем из Киева, где работал после окончания университета у академика Глушкова. Теперь он — старший преподаватель на кафедре био-

ники, живет с мамой, тетей Полиной, и со своим племянником, которого он усыновил.

Я их обоих встретила. Мальчик, оживленно говоривший перед тем что-то Алику, стал поодаль и разглядывал меня чуть исподлобья. В свежем запахе от его белой рубашки, в сверкании красиво распадающихся волос я живо почувствовала тетю Полину, а лицом он напомнил мне Алика, бывшего в нашем дворе, пожалуй, самым привлекательным мальчиком.

Алик рассказывал мне о своих опытах по извлечению на свет божий всяких скрытых биологических процессов при помощи электроники, и когда я осторожно спросила, как поживает его сестра, он не покраснел и не опустил глаз, а только поморщился и безнадежно махнул рукой:

— Такое поправимо только на уровне генетики, — и продолжал рассказывать дальше о своей работе.

ПАПА

Сколько себя помню, я все подыскивала себе папу, потому что своего у меня не было.

У нас в доме не было даже папиных фотографий. Они пропали во время войны, погибли вместе с прочими вещами в результате бомбежки.

Мама с папой поженились в Жигулях, где они вместе работали на строительстве гидроузла после окончания политехнического института. Но они быстро расстались — мама вернулась к своим родителям уже со мною, своей годовалой дочкой, в наш южный город. Тут

же началась война, и об отце больше ничего не известно.

Когда я делала что-нибудь, что не нравилось моей бабушке, она говорила: «Вся в папочку», хотя не была с ним даже знакома.

Мама тоже говорила, вздыхая: «Папочкина дочка», когда кто-нибудь в очередной раз удивлялся тому, как я на нее не похожа.

Еще она говорила мне: «Вот характер! Сейчас или никогда, как папочка».

И все. Больше я не знала о нем ничего.

Но я очень много думала о том, какой же он все-таки, этот папочка. Вот он похож на меня, вот он «сейчас или никогда», вот он сидит у окна, склонив голову и упираясь носом в мякоть ладони. А раз я «вся в него», значит, мне доподлинно известно все, чем он там, у окна, занят. И получалось, что папочка — прекрасный, одинокий человек, который много думает о счастье, несправедливостях и о том, какими надо бы стать всем людям, чтобы все было иначе, а его никто не понимает — заставляют чистить башмаки и пристают с мелочами.

Но конечно, он был и намного умнее меня; он был всеведущ, всемогущ — он мог ответить на любые вопросы, и я в нем очень нуждалась.

Был один папа, который бы мне вполне подошел — папа Жени Свиридовой; я сидела с ней за одной партой.

Свиридовы — ленинградцы. Они пробыли там всю блокаду, пока их папа воевал. Он был химик, капитан. После войны он получил назначение в наш город, и теперь они жили в больших серых домах штаба недалеко

от нас. Заботу Леонида Мартыновича обо мне я ощутила в числе прочих детей нашего класса — он достал целый мешок какого-то порошка, чтобы наши родители вывели у нас вшей. Порошок подействовал мгновенно, а через неделю зажила и кожа на голове, и пальцы очистились под ногтями от коричневых полосок запекшейся крови. Ничто теперь не отвлекало от мыслей о человеческом счастье и о том, что нужно предпринять, чтобы в людях не было ничего фашистского — никогда, нигде.

Ко мне Леонид Мартынович относился даже лучше, чем к Жене. С нею он разговаривал строгим голосом, а со мной — никогда. И я старалась проводить у них все дни — Женя всегда звала меня учить вместе уроки.

Первым с работы приходил Женин папа, если его не задерживали дела. Я узнавала звук его ключа в замке и чуть-чуть ниже склонялась над тетрадкой. Первый легкий шелест — это вытираются ноги. Снимается фуражка. Вешается в прихожей шинель, снимается с шеи белый шелковый шарф. Следующий шелест — потираются руки.

Потом Леонид Мартынович заглядывает в комнату — Трудитесь? Здравствуй, Зоя! — говорит он и идет на кухню.

Там он занят печкой. Он разводит в ней новый огонь, затем, сняв и повесив на спинку стула китель, надевает ватник и идет за углем.

— Повесь в шкаф папин китель, — говорю я Жене.

— Я же не достаю, ты же знаешь!

— А ты тоже знаешь, что мама придет и будет его ругать. А он нам мешать не хочет.

— Да просто он забывает.

Но я твердо знаю, что Леонид Мартынович не хочет нам мешать. И я подставляю стул к шифоньеру, Женя приносит с кухни китель и вешает его, а я держу стул.

И мы снова склоняемся над тетрадками.

У Жени на плечах серый пуховый платок, мамин; за столом у нас уютно-светло от большой лампы с матерчатым абажуром на металлическом каркасе с плоскими потемневшими фигурками. Я нарочно мерзну и ничего не накидываю на себя, чтобы Леонид Мартынович, вернувшись, сказал:

— Зоя, ты же совсем синяя. Возьми Катину кофту в шкафу.

Но я продолжаю быть синей, чтобы Женин папа обмотал мне голову шарфом, предусмотрев две дырочки для кос.

— Ну что, до какого-нибудь пункта «Б» добрался ваш паровоз? — спрашивает Леонид Мартынович, покончив с печкой и вымыв руки. — Тогда идите рыбий жир пить.

И мы становимся перед ним — рядом, держа в руке каждая по куску соленого огурца. Женя — маленькая и худая, с жидкими светлыми косичками, и я — худая и средняя, с толстыми русыми косами.

— А я не могу нигде Светочке рыбьего жира достать, — жалуется одна мама моей на родительском собрании.

— Ой, я вам завтра же передам с Зоей, у нас буквально пропадает. Нет ни малейшей возможности заставить мою красавицу, ни в какую не пьет.

— Зоя? Не пьет рыбий жир? — изумляется Леонид Мартынович и смеется.

А в двенадцать лет, так я просто влюбилась в одного подходящего человека.

Мама взяла меня с собой на соревнования по теннису в Ленинград. Соревнования были крупные, всесоюзные — среди команд Центрального Совета «Буревестника». А потом должны были состояться и личные соревнования, там же, в Ленинграде, но мама не собиралась на них оставаться, так как считала себя чистым любителем, и пропускать работу из-за личных соревнований называла «преступлением».

— Это пусть играют молодые, растущие, — отвечала она на уговоры тренера. — У меня проект стоит.

— Как же он у тебя стоит? А бригада твоя на что? — урезонивал ее тренер, Виктор Ильич, прекрасно осведомленный о ее производственных делах, сам в прошлом инженер. — Пусть привыкают к самостоятельности, сильнее будут.

— Хороша самостоятельность, когда начальник в турне разъезжает, а они там вкалывают.

— А ты разве не собираешься вкалывать? Ты что это, на прогулочку собралась?

— Ну, посмотрим, — говорила мама. — Только имей в виду, еду я исключительно на командные соревнования, ради спортивного общества, а там посмотрим. Если они мне позвонят, имей в виду...

— Если они тебе позвонят, я тебя прямо с корта отпущу, — сказал ей Виктор Ильич.

Мы жили в гостинице Ленинградская, и мама рассказала мне про Есенина. Я бродила по коридорам, высматривая его номер, и непрерывно твердила про себя до боли понятные и любимые строчки: Не жалею, не зову, не плачу...

В номере у нас был невиданной красоты ночник в виде светящегося полумесяца. Я держала его включенным каждую минуту, когда была дома. На ковровой дорожке мягко стояло кресло перед письменным столом, а на стене, над столом, висела гравюра, изображавшая деревенскую любовную сценку в духе пасторали.

Включив лимонно-лунный ночник, я забиралась в кресло против гравюры и раскрывала том Мопассана, за что моя мама неоднократно вызывалась в школу. Не только за Мопассана, конечно, но и за Бальзака, и за Драйзера.

Но мама с утра до вечера играла — по три встречи в день: одиночную, парную и смешанную, как оно и положено, а я приезжала после одиночных встреч домой, в гостиницу, включала ночник и занималась своими делами.

Читая про то, в каком ужасном месте нашел брат свою сестру, я плакала и, глядя сквозь слезы на гравюру, думала о том, что неизвестно еще, где сейчас мой папа, и может быть, ему еще ужаснее, а они вот — на гравюре — умильно хихикают, как будто не существует ни войн, ни жестокостей, ни страшных несправедливостей — ничего такого.

Ближе к финалам я больше времени стала проводить на стадионе, потому что встречи стали интереснее.

Вокруг кортов, за сеткой, росли на прохладном дождливом воздухе такие крупные и яркие цветы, каких я никогда не видела в нашем степном солнечном городе. Прямо за кортами, на берегу Большой Невки, располагалась водная станция, и байдарочники непрерывно всплескивали веслами. Да что байдарочники! Я видела там яхту. И как она стояла у станции, слегка пританцовывая, и как она величественно уходила от меня с гордо стоящим под парусом человеком в синем тренировочном костюме.

Этот плеск тяжелой темной невской воды, эти байдарки и лодки привлекали меня гораздо больше кортов, которых хватало и дома. Я часами отиралась на водной станции, бродя между сложенных штабелями байдарок и сидя на причале в своем темном демисезонном пальто и фетровой шапке с красным фетровым же цветком сбоку, над ухом. На руках у меня было надето до десяти пар часов — на одной руке они доходили почти до локтя. Среди них было несколько пар золотых — на меня надевали свои часы участники теннисного первенства на время встречи, чтобы часы не растрясло. Они были скрыты рукавами пальто.

Когда на пятый или шестой день соревнований ко мне подошел мальчик, постоянно бывавший здесь, и предложил покататься на байдарке, я так обрадовалась, что вспомнить об этих часах была не в состоянии.

Мальчика звали Володя. На нем были закатанные до колен рваные тренировочные шаровары и такая же, с закатанными по локоть рукавами, фуфайка, из-под ко-

торой выглядывала мокрая зеленая футболка. Он был вежливым, бледненьким, губастым. Впереди у него не доставало зуба, тонкая голубоватая кожа его лица как бы просвечивала, а яркий рот постоянно двигался, и даже немножко нос вместе с ним.

Я с ума сходила от счастья, сидя в байдарке и жадно оглядывая невиданные красоты, которые доставлялись мне каждым взмахом весла. Новый знакомый мальчик, Володя, лично мой знакомый, настоящий ленинградец, показывал мне свой город.

— А сейчас — закройте глаза! И не открывайте их, пока я вам не скажу!

Я долго сидела, задрав голову в фетровой шапке, с закрытыми глазами, пока не раздалась команда:

— Ну!

Передо мной в зеленоватом тумане, среди ив, просматривались три арки мостов, одна бледнее другой, и река, повернув, плескалась вокруг кудрявого острова, а чуть сзади, по левую руку, осталась еще одна река, поменьше, и байдарка входила в третью, совсем маленькую речку, над которой дымно соединялись кусты. Не было видно ни одного городского строения, ни одной трубы вокруг.

— Ну? — торжествующе спросил Володя и увидев, что на глазах у меня выступили слезы — от красоты, замолчал, усиленно гребя и тихонько насвистывая. Туман словно бы высветлял его свист.

Перевернулась байдарка, слава богу, совсем не в этом сказочном месте, а потом, когда мы снова вернулись в Большую Невку.

— Ох уж эти мне южане, — говорил Володя, втащив в байдарку сначала мое мокрое пальто, а потом меня, в фетровой шапке. — Вечно они кутаются... Ой, сколько у вас часов! Это все ваши?

— Да нет, что вы, зачем бы мне столько! Это часы совершенно чужих людей.

Чужие люди толпились на причале вместе с мамой, кто в теннисных платьях и шортах, кто успев уже накинуть свитера и жакеты.

Когда байдарка причалила, и Володя помог мне выбраться из нее, галантно перекинув через руку мое пальто, мама даже шагу ко мне не сделала. Наоборот, она мгновенно очутилась за спиной тети Лии, которая схватилась за свои часы и начала судорожно расстегивать ремешок, выворачивая мне руку. Остальные часы срывал с меня Виктор Ильич.

— Слава богу, целы! — приговаривал он.

— Боже мой! — взвизгнула вдруг тетя Лия. — Они же стоят! Они же все мокрые!

Я беспомощно оглянулась на Володю, по-прежнему державшего мое пальто, и тут к нему подошел один наш теннисист, из Москвы. Я его видела на кортах и видела, как он болел однажды за нашу команду, когда играла моя мама. Сам он был мастером спорта и играл бесподобно.

— Иди домой, мальчик, — сказал он Володе, забирая у него мое пальто, и Володя медленно пошел прочь, выкручивая на ходу краешек рукава.

— До свиданья! — крикнула я.

Володя оглянулся и махнул мне.

— Вот воспитание! — выходила из себя тетя Лия. — Ни про кого, ни про что не думать! Иметь на руке золотые часы — и неизвестно куда, неизвестно с кем! И это в двенадцать лет! Что из нее дальше будет! Кто мне ответит за мои часы? Кто мне их отремонтирует? Они швейцарские!

— Да замолчи ты, Лийка! — сказал ей москвич с моим пальто в руках. — Я тебе их отремонтирую. Я тебе новые куплю, только умолкни. Не видишь, девочка промокла. Она может простудиться. Эй, кому там она еще часы загубила? Сдавайте!

— Только этого не хватало, — проворчали чужие люди и стали расходиться.

Тогда мама тоже схватила меня за руку.

— Ты давно перевернулась? — проговорила она хриплым от негодования голосом.

— Нет, не очень.

У меня начинали стучать зубы, и я не могла больше разговаривать.

— Ну что мне с тобой делать! Это же невозможно. Ты же ни о чем не желаешь думать, ты делаешь только то, что нельзя, тебе доставляет удовольствие мне пакостить.

— Да что вы, Лялечка! Нисколько это ей не доставляет удовольствия, я уверен, — вмешался теннисист из Москвы, держащий мое пальто. — Правда, Зоя?

Наверно, именно тогда я и полюбила его. Точнее, мне бы и этого хватило, большего мне не надо было.

Но было гораздо большее.

Когда мама передела меня в раздевалке во что у кого нашлось сухое, среди прочих вещей на мне оказал-

ся огромный черный свитер, тот самый, в котором болели за нашу команду. Едва только меня снова вывели на люди, мне был вручен кулек с конфетами и шоколадка.

— Маме сейчас играть пару, а мы с тобой едем в гостиницу, если ты не возражаешь, — сказано было мне.

— Спасибо, Сережа, — растроганно говорила мама, — не знаю, как и благодарить вас. Зоя, повесишь пальто на плечики, только не вздумай засунуть его в шкаф

— Да уж как-нибудь разберемся. Вы, главное, не волнуйтесь и смотрите, не проиграйте. Ваш ребенок в надежных руках.

И мы поехали. В такси. Через весь город, и я смотрела в окна. Нечего и говорить, что это куда лучше, чем смотреть из трамвая, где много народу и ничего не видно. Я смогла прочитать названия всех улиц, по которым мы проезжали.

Украдкой я разглядывала дядю Сережу и пришла к выводу, что у него просто нет недостатков. Особенно мне приглянулись его густые блестящие черные волосы, свободно распадавшиеся над загорелым лбом. А как великолепный теннисист он просто не мог быть не стройным и не подтянутым.

Следующий день у мамы был свободен от игр. Мы спали, сколько хотели, и наверное, поспали бы еще, если б нас не разбудил телефонный звонок.

Мама удивленно подняла голову с подушки.

— Зоя, телефон, что ли, звонит — или мне послышалось?

— Да, да, звонит, бери скорее трубку! — кричу я со своей кровати.

Мама поднимает трубку.

— Алло! Да, здравствуйте! Как мы себя чувствуем?.. — Зоя, как мы себя чувствуем? — Мы хорошо себя чувствуем!

— ... Нет, не простудились...

— ... Нет, не завтракали...

— ... Нет, не собираемся...

— ... Нет, не были...

— Зоя, ты не хочешь в Эрмитаж? Дядя Сережа приглашает?

Я уже была в Эрмитаже, пока мама играла на соревнованиях, и в Русском музее была, и мама знала, что я была, но какое это имело значение?

— Да, мама, пойдём скорее, скажи дяде Сереже, что я уже иду!

— Вот, Зоя вроде бы не против. Только ведь, Сережа, нам надо еще встать, собраться, да мы еще большие капухи. Так что вы идите, не ждите нас, чтобы не потерять день. Ну, если мы прийдём, а вы еще не уйдёте, так увидимся.

— Да ты что?! Где мы там увидимся? Ну хорошо, у Мадонны Литта, скажи! Через полчаса у Мадонны Литта!

— ... Где мы обычно завтракаем? — Зоя, где мы обычно завтракаем? — Ах да, в нашей же столовой, по талончикам... — Зоя, ты сможешь собраться за полчаса, дядя Сережа приглашает нас вместе позавтракать?

— Да я уже собралась! Я же уже иду-у-у! — кричу я из ванной надрывным голосом.

— Зойка, ты такая глупая, — говорит мне мама, положив трубку. — Если ты будешь так орать, мы с тобой осрамимся. И на что он нам сдался? Он на восемь лет младше нас. Уж не говоря о том, на что мы ему. Ума не приложу.

За завтраком я грустно верчу в руках большое зеленое яблоко, купленное мне в буфете.

В Эрмитаже мы смотрим картины вдвоем с дядей Сережей, а мама смотрит картины отдельно от нас. Я рассказываю про «Голубой портрет леди Бофор» то, что вычитала недавно в книжке, и дядя Сережа слушает с видимым интересом.

— Ох, и утомила же она вас, наверно, — говорит мама, когда мы выходим из музея. — Такая болтушка.

— Ну что вы! Может быть, сходим вечером в кино? Или в театр? Сейчас тут МХАТ на гастролях...

— Какой вы неутомимый. Сказано, молодость. А я, так страшно устала.

— Я же и говорю — вечером. Сейчас мы пообедаем, вы пойдете к себе, отдохнете, а вечером...

— Нет, Сережа, — мягко перебивает его мама. — Мы с Зоей никуда сегодня не пойдём. Нам надо бабушку навестить, сестру моей мамы. Мы сейчас же идем домой, а то ничего не успеём.

Понятно, что я чуть не плачу, а мама мне выговаривает:

— До чего некрасиво. Прицепилась к человеку, как банный лист. Картины смотрят в одиночестве, это глубокий духовный акт. И потом, дядя Сережа — сам прекрасный архитектор. Представляешь, до чего ему смешон твой детский лепет?

Я заперлась в ванной и там разревелась. Мне только того и не доставало, чтобы дядя Сережа ко всему оказался еще и прекрасным архитектором. Бог посылает мне такого папу, а она... Лучше бы выяснилось сейчас, что он дурак, негодный и обманщик — легче было бы от него отказаться.

На следующий день, на кортах, когда мама играет свою одиночную встречу, а я уныло тренируюсь у стенки, я обнаруживаю вдруг рядом дядю Сережу. Он стоит, засунув руки в карманы брюк, и наблюдает за мною.

— Ноги совершенно не сгибаешь, — говорит он. — Вот какая должна быть стойка у теннисиста. Как у кошки, — и он мгновенно превращается в гибкую, готовую к атаке кошку с длинными стройными ногами и с блеском красиво распадающихся черных волос.

Он поправляет мою хватку, делает мне несколько замечаний насчет удара слева.

— Мама наша играет сегодня из рук вон. Я ушел, чтобы не расстраиваться. Не выдержал! — говорит он мне в конце концов. — Пойди, посмотри, какой там счет.

Через некоторое время я возвращаюсь и говорю, что счет нормальный, начали третью партию, и мама ее сейчас доканает.

— Не такой она человек, чтобы освободиться ради команды от работы и проигрывать, — сообщаю я дяде Сереже.

— Да я уж вижу, какой она человек, — говорит дядя Сережа. — Железный, — и дает мне большое зеленое яблоко из гостиничного буфета.

Вечером у нас в номере Виктор Ильич ругается с мамой.

— Почему бы тебе не остаться, — сердито кричит он.

— Что я здесь забыла, на личных? — кричит ему в ответ мама. — Проигрывать всем? Там у меня проект стоит, а я здесь буду баранки собирать?

— Но тебя же Це-еС освободил, ты же не какая-нибудь прогульщица! Если ты настоящий передовик производства, неделя тебе погоды не сделает. Если у тебя работа в бригаде поставлена, бригада без тебя неделю не пропадет. Спорт — государственное дело. У нас нет профессионалов, у нас все любители. Почему бы тебе не потренироваться? Почему не поиграть с Сережей Марченко микст? Тебе во сне когда-нибудь такой микстер снился? Пятая ракетка Москвы! Предлагает ей, жалкой перворазряднице, микст играть, а она носом крутит.

— Уходи, ты меня оскорбляешь, — говорит мама.

— Ну прости, я же специально. Это же так важно для города, если вы займете призовое место!

— Займет-то его Марченко!

— Но и ты вместе с ним!

— Это подонство — специально на это рассчитывать! Это халтура. Это блат. Это неспортивно.

— Лялечка, дорогая моя, в спорте все спортивно, ты же сильный игрок, у тебя будет еще более сильный микстер, вот и все. И потом, ты же вырастешь как теннисист. Ну, я тебя прошу, ну отступи ты раз в жизни от своих идиотских принципов!

— Отступи! — хотелось вмешаться мне. — Я папу хочу!

Но я знала, что так с нею нельзя, так все испортишь, и делала вид, что читаю, и что читаю не Мопассана.

— Ах, у меня идиотские принципы? — кричала мама. — А вы все... А вы все...

Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошел дядя Сережа с теми же яркими, свежими цветами, что вокруг наших кортов росли.

— Ну и шумите же вы, граждане, — весело сказал он, а я вскочила с кресла и принялась тащить его навстречу дяде Сереже.

— Зоя, надорвешься, — в мамином голосе мне слышалась насмешка. Я очень страдала от того, что она так выставляет напоказ мои чувства.

Все смутились. Дядя Сережа бросился ко мне и поставил кресло на прежнее место, положив на стол цветы, и погладил меня по голове.

— Я попрощаться, — сказал он, возвращаясь к двери. — Говорят, вы завтра уезжаете, и я даже не смогу вас проводить — у меня встречи: одиночная и парная.

— Да наверное, и смешанные завтра же начнут, — сказал Виктор Ильич.

Дядя Сережа промолчал.

Виктор Ильич тоже подошел к двери.

- Вот, почти уговорил ее остаться, так что-то не так сказал, и снова нашла коса на камень. Не любит женщина проигрывать. Ну, всего хорошего! — и Виктор Ильич ушел.

— И вовсе не в том дело, — сказала мама, и тогда дядя Сережа стал снимать плащ.

— Конечно, не в том, — сказал он. — При чем тут — проигрывать, даже смешно. На команде же вы почти у всех выиграли.

— Еще не хватало у вторых ракеток не выигрывать. Зачем тогда вообще было освободить меня от работы.

— Зойка, до чего же у нас вредная мама! Это она специально, только чтобы мне насолить. Лялечка, ну что вы, в самом деле! Сыграть микст на Це-еСе — это же не под венец с подлецом. Ну, не хотите под венец — не надо, хорошо! Но микст отчего не сыграть? У нас ведь славненько получится, ей-богу. Я же присмотрелся к вашей игре, я знаю.

— Правда? — подняла мама на него кроткие серые глаза. — Вы думаете?

— Уверен. Мне ваша игра очень подходит. Я же исключительно сеточник, а так сзади подбирать, как вы умеете, больше никто не может. Ну, по рукам?

Они заняли второе место, и целовались на корте после каждой встречи, даже после финала, когда проиграли.

Но мне это было уже все равно. Меня не интересовали ни их поцелуи, ни их спортивные достижения. Я даже почти не смотрела последнюю встречу: я сидела на причале и водила прутиком по воде, стараясь сделать что-нибудь, чтобы смочь пережить то, что завтра мы уезжали, и я должна была навсегда расстаться с дядей Сережей.

ПОД ЗНАКОМ ПЛУТОНА

Был город Петербург. Мел густой снег. Улица была пуста. На ней лежал полузаметенный снегом труп. Виталий подошел ближе и увидел лужу крови, подернутую льдом. Этот труп был его дядя, брат отца, которого он никогда в своей жизни не видел. Труп лежал лицом вверх. Бабушка — другая ленинградская бабушка, сестра его бабушки, которая умерла в блокаду, — выгнала дядю из дому, своего сына выгнала за то, что он съел детсадовского кота. Эта бабушка, сестра его бабушки, была заведующая детским садом. На кота имели виды про самый черный день, он принадлежал детям. Дядя унес его за пазухой, украл, и они его съели — дядя, тетя и их дочь Ирина, еще одна сестра Виталия, двоюродная. Тетя умерла с голоду — Ирину забрали в детский сад, который стал детским домом и был вывезен за Урал. Дядя-труп не вернулся с улицы, кажется, он попал под бомбежку, точно этого никто не знает. Кажется, так. Так сказали.

— Что же мне, возвращаться инженеришкой штаны просиживать за тыщу двести? — говорит отец.

Он стоит посреди зала в добротном темном костюме, великолепно по нему сшитом, рядом с ним по обе стороны люди, и кто-то с почтительным наклоном головы протягивает ему какую-то папку: «вручение верительных грамот». Кралась собака по блестящему паркетному полу, ползла на брюхе, прижав уши и виляя хвостом. В открытой клыкастой пасти мок язык, подрагивал, дышал: немецкая овчарка с черной спиной.

— Найда, Найда! — крикнул Виталий, но она даже не посмотрела в его сторону, словно он обознался. Но он не обознался, ему было так горько, так обидно, так больно... Он был совершенно один, никто его не понимал, ему было страшно, чуждо, тоскливо. Снег мел все гуще и гуще, и вдруг он почувствовал, что кто-то держит его за руку сухой и теплой рукой. Он поднял голову — это была бабушка, его бабушка в старом зимнем пальто с маленьким облезшим воротником, в платке, в суконных ботинках с металлическими застёжками.

— Бабушка, почему ты такая бедная? — спросил Виталий. — И почему у меня никого кроме тебя нет?

Он проснулся и лежал в темноте своего детского сознания, переживая ужас уже забывшегося сна.

В классе мальчики, казалось, были сплочены чем-то, неясным для Виталия, и он оставался в стороне. Он больше уже не был фискалом, ставил всем плюсы, но все равно существовала какая-то незримая стена между ним и остальными детьми. Он стеснялся надевать свои красивые шерстяные свитерки с орнаментом и клетчатые костюмы, которые привозила и присылала ему мать, но все равно чувствовал, как косо смотрят мальчики на его портфель, башмаки, серенькое пальто с капюшоном и погончиками... У него не было другого пальто, а бабушка была такая бедная, стыдно было просить ее купить ему что-нибудь, как у всех. Он знал, конечно, что родители присылают ей деньги — «на него», но все равно стыдился у нее что-нибудь просить. Все-таки в четвертом классе он сделал следующее: пошел на барахолку, на Александровский рынок, где торговали рыбками, щенками, книжками, валенками, вязаными ша-

почками, платьями и даже павлиньими перьями и обменял там все, что его не устраивало в собственном гардеробе: пальто, клетчатый пиджак, макинтош с поясом — на старую заплатанную тужурку, которая напоминала пальто одного мальчика из их класса. Увидев тужурку на деревянном ящике перед старым обнищавшим человеком, он сразу понял, что это то что надо — было легко представить себя в этой тужурке идущим рядом с Женькой Сухаревым по набережной, напрямик дворами и разговаривающим с ним в подъезде. Его визионерство вполне себя оправдало впоследствии, но у бабушки совершенно непредвиденно задергался рот, когда он вернулся домой и она его увидела, она схватилась за сердце и тихо выпучив глаза прошептала:

— Что случилось? Тебя избили?

Виталий бросился к ней и обхватил ее руками, припав головой к ее груди:

— Нет, нет, бабушка, что ты, не волнуйся, почему ты так подумала? Что ты, бабушка? Со мной ничего не случилось, я жив-здоров, почему ты так расстроилась? Почему ты держишься за сердце? Что тебя так напугало?

— Но в чем дело? В чем дело? В чем дело? — дергала она двумя пальцами, большим и указательным, плечо тужурки.

— Бабушка, только не сердись! Только не расстраивайся! Только не огорчайся! Я не хотел, чтобы ты огорчалась, я хотел совсем другого... Ну пойми... Совсем другого!

— Так ты сам? Сам? Сам? — бабушкины изумленные детские глаза с черными ресницами заморгали. — Где же твои вещи?

— Их больше нет. Я их отдал, продал, обменял то есть... Понимаешь, я не могу так ходить в школу!

— Понима-аю... — протянула бабушка. — Но что же я скажу твоим родителям?

— А не надо ничего говорить! — весело крикнул ей Виталий. — Когда они приедут, будет уже лето! Слышишь? Не огорчайся! Пойдем на каток, посмотришь, как я буду кататься. Пойдем, ну? Не огорчайся, прошу тебя!

Ему было приятно, что у него в городе появились знакомые места, что ему было куда пойти — в кино, на каток, в цирк, на барахолку, что он мог что-то предпринять, а не только сидеть у бабушки в библиотеке и быть в полной от нее зависимости. Он начинал чувствовать себя чем-то.

— Станный ты у меня, — говорила бабушка, когда он снял свою новую заплатанную тужурку и пригладил волосы. — Станный ребенок. Что-то в тебе зреет. Интересно, какое оно будет? Ты не похож на свою мать...

— Знаешь, бабушка, — он подошел к ней снова, она сидела теперь в кресле, бессильно уронив руки на подлокотники. — Почему-то я их не люблю... Только ты не говори никому, ладно?

— Что ты, что ты? — замахала на него бабушка руками. — Разве такое возможно? Разве такое бывает? Это же противоестественно! Ты же будешь страшно несчастен! Ты же для них — все. Понимаешь, дети для родителей — все, весь смысл их существования. Матери

жертвуют жизнью для своих детенышей. Ты же читал? Про воробья? Тургенева?

— Читал, — вяло ответил он и пожалел, что сорвалось с языка. — Пойдем есть.

К этому времени к ним подселили соседей, две тихие молодые семьи приезжих: вагоновожатого трамвая с женой-намотчицей (что и на что она наматывала, Виталий уразуметь не стремился почему-то) и деревенскую пару, поступившую работать на завод на Петроградской стороне. Ему нравилось наблюдать их и чувствовать, что они стремятся говорить, как бабушка — жестко, чисто, отчетливо, стараются употреблять ее обороты речи, и порой это звучит настолько трогательно, что Виталий подходит к вагоновожатому и теребит край его гимнастерки. Вагоновожатый смеется, хватая его за запястье и трясет его руку в воздухе, удивленно рассматривает его не выросшие еще руки в цыпках и осторожно гладит мизинчик. Виталий выхватывает руку и краснеет. Это кажется ему уже слишком. Он не маленький. Он сам старается говорить, как бабушка — жестко, чисто, отчетливо, старается употреблять ее обороты речи. Ему хочется быть настоящим, полноценным ленинградцем.

Они с бабушкой идут на кухню, чистят картошку, сваренную в мундирах, разделявают селедку, делают винегрет с фасолью. Фасоль в крапинках, окно кухни, полное сумерек, — как павлинье перо, свекла светится изнутри всеми своими разводами, и подсолнечное масло из бутылки с вынутой бумажной затычкой проливается теплой, родною струей. Едят они на кухне, если на ней пусто, или уносят тарелки к себе в комнату, если соседки затевают неаппетитно пахнущую готовку или

стирку. Кухня большая, целый танцзал, как говорит бабушка. Это его дом, его крыша, его селедка, его бабушка — невозможно теперь исчислить происхождение этого чувства.

В П-образном дворе другое: там заливали каток, и он носился с клюшкой, сварганенной заводским соседом, обмотанной изолентой, с пригнанной по его ладошке рукояткой. Там его ждал Женька Сухарев, и они шли сквозь промерзшие кусты напрямик дворами, выходили к набережной на открытый ветреный простор и рассказывали друг другу, что следует читать и что следует видеть — что вообще следует знать.

И как мог вообще случиться фашизм. То есть, состояться. Понять этого не удавалось. Вот с ними — с Женькой и Виталием — разве бы он мог состояться у Гитлера? Как не удавалось потом, позже, классе в седьмом, понять, что такое бесконечность. Вообразить ее, представить себе. На него очень сильно действовало кино. После некоторых фильмов он заболел, с температурой, с рвотой. «Молодая гвардия», «Смелые люди». Приходила участковая врачиха, бабушкина приятельница, давала справку, снова приходила вечером, узнавать — как он; пила с бабушкой чай, до него долетали обрывки их тихого разговора: ничего нельзя читать, никуда нельзя пускаться с классом, повышенная впечатлительность...

В школе он загорался всем, о чем только ни шла там речь: царством Урарту, олимпийскими богами, Марией Стюарт, комсомолом как главным средством борьбы с фашизмом. Существование вождя было для

него жизненной гарантией того, что из всех положений жизни есть выход на точку добра.

Почему-то он считал, что все обязаны быть добрыми. Что в этом смысл и назначение человека — быть добрым. Что каждый злой поступок — отклонение от истины.

Странно даже представить себе, что по-прежнему существуют те переулки, по которым ходил он тогда, каменный забор на Лесном с арками, за которым железная дорога. Неужели все это есть? Может быть, даже подвальная лавочка за углом от их дома? Ну нет, это-то уж наверняка невозможно, как и застать там молодого однорукого продавца и кадку с грибами.

Как он ни силился понять, откуда произошли его представления о том, каким должен быть мир вопреки тому, что он в нем застал, родившись, — дело это несбыточное. Но только ясно, что было это еще до всяких книжек, лет в пять он уже располагал в душе образом совершенного мира, то есть мира должных отношений между людьми. Или ему теперь так кажется? Но отчего же тогда, отчего воспринималось с такою остротой как отклонение от абсолютно должного так многое из того, что он видел вокруг — а кое-что притягивало обхватить руками, прижаться щекой? Легко объяснить, что за благо принималось все, от чего ему было приятно или корыстно, но очень уж многое оставалось за пределами такого объяснения. Например, то, что он возымел такую неприязнь к фруктам, плодам, так сказать, земным.

И это было еще до того, как бабушка повела его в Эрмитаж, в связи с чем вынуждена была пояснять ему там, ходя с ним от картины к картине:

— Иисус Христос — это был такой человек, который первый сказал, что обижать слабых, пользоваться силой, властью — дурно, что самое большое преступление — убить человека, что люди должны бережно и внимательно относиться друг к другу, любить друг друга... Что если каждый будет делать для другого все, что в его силах, — жизнь и будет такой, какую должна быть, в ней не будет ужасов нищеты, крови и бессмысленных страданий. И его за это распяли, за то, что он к этому призывал, — это было невыгодно богатым и властителям, особенно рабовладельцам. Это самая трагическая история на свете, сколько ни живут люди, они чтят в Христе величайшего из людей и негодуют на тех, кто его подверг пыткам и распял... Поэтому его все и рисуют. А Богородица — это его мама. А Апостолы — это его ученики: Петр, Павел... Они распространяли его учение и тоже дорого заплатили за это.

— А почему же люди не могли ничего сделать, если они негодуют?

— Люди... Они даже хотели, чтобы его распяли. Им даже приятно было смотреть на его казнь.

— Не может быть! А кто же тогда негодует?

— Ну, другие люди, которым уже внушили, что он был прав. Люди-то людям рознь. Одни такие, другие сякие. Потом поймешь, не очень-то думай об этом, а то спать не будешь. Пойдем лучше, я покажу тебе Психею Кановы...

Но он все-таки спал, и ему приснилась сестра Саша с лицом Иисуса Христа — большая, в белом покрывале, с протянутой к людям открытой ладонью и на облаке.. Он, маленький, бежал к ней по земле и плакал: горе его

заклучалось в ее недоступности, в том, что никак нельзя было проявить к ней огромную его любовь — ничем таким... Ей ничего было не нужно от него.

Потом, когда он увидел однажды изувеченную кошку на дереве — изодранную, повешенную на ветке, — он снова вспомнил тот разговор с бабушкой в Эрмитаже. Он уже и перед тем видел однажды, как мальчишки в подъезде у Женьки Сухарева втыкали горящие спички в лягушку — целой гоп-компанией, человек десять. Все это было тяжело и непонятно. Ведь они были законченные фашисты, ну чем нет? А жили в одном подъезде с Женькой Сухаревым, пережили блокаду, ленинградцы...

У Женьки Сухарева отец погиб на фронте, мать была дистрофичка, работала в какой-то проектной конторе и несколько раз в году начальство угрожало о т д а т ь ее п о д с у д: она не могла проснуться по двое суток. Виталию были знакомы эти выражения: «пришлось отдать его под суд», «под расстрел». В кругу отца говорили это спокойно, как само собой разумеющееся. На коньячно-водочных вечеринках о том, кто кого и за что отдал под расстрел, рассказывали, еще не будучи под градусом; под градусом начинались рассказы о том, кто когда и как не выполнил приказа, не пустил в расход, не отдал под расстрел, не передал в спецотдел письмо к жене, записку к приятелю: «Взял грех на душу, отпустил на все четыре стороны». Помнится, Виталию пришла в голову мысль, что всегда теперь будут выслушивать этих, выживших, и никогда нельзя будет узнать каждой из этих историй из уст «пущенного в расход», оставшегося лежать ничком на земле. Каждый убитый, пред-

ставлялось Виталию, унес с собой тайну, которую теперь никогда не разгадать, — кто его убил. Эта детская мысль не прослеживалась до конца, она терялась в потемках сознания, где ничего нельзя уже было различить, но ясно было одно: к а ж д о г о у б и т о г о к т о т о у б и л. Каждого из тех бесчисленных миллионов, о которых писали в газетах и говорили в школе. Было объявлено, что мы потеряли на войне порядка двадцати миллионов жизней, среди которых была и жизнь отца Женьки Сухарева: его заработок, его жилистые руки, которые способны были, наверное, сделать клюшку и обмотать ее изолентой... Впрочем, отец Женьки Сухарева перед началом войны был только что окончившим университет биологом, и очень трудно себе представить, что потерял Женька в его лице, какие выгоды. Виталию в те поры трудно было это себе представить. Да и теперь...

Ведь, в сущности, вряд ли могло еще что-нибудь прибавиться к той информации, которая формировала его в детстве. То-есть, прибавиться-то могло, да и прибавлялось, но поезд этот уже ушел, формирование. Хотя в каждый момент времени, конечно, человек пребывает со всеми своими знаниями о мире, со всеми пережитыми чувствами и передуманными мыслями: все это хранит его дух в полном объеме и объемом этим обеспечено каждое действие, каждая малейшая реакция. Он всегда все помнит, но не всегда всем пользуется — и это только иллюзия, будто он вспоминает все по порядку. Он всегда помнит все сразу! И знает, в сущности, чего доискивается. Так какого же черта играть с собою в ту же игру, якобы ища логических обоснований своей по-

зиции, своего положения в мире: каждый убитый знает, кто его убил.

Вообще же все убитые не представлялись ему исчезнувшими, тем более навсегда. Представлялась только за ними некая тайна, и именно тайна того, кто их убил. Все убитые были налицо в жизни, представлялось Виталию, они продолжали существовать — только безответно, как отец Женьки Сухарева, не получая, так сказать, зарплаты. Висела его фотография в рамке, где он задорно улыбался рядом с приподнявшей бровь девочкой — матерью Женьки, которую нельзя было узнать, но зато можно было узнать в них обоих Женькины черты. О Женькином отце говорили как о думавшем то-то, любившем то-то, бывшем таким-то и таким-то. Виталий ловил себя на мысли, что затрудняется с такой же определенностью судить о своих родителях — они были для него гораздо менее ясны.

Из открытой в темный коридор двери тянуло теплом — там, в прихожей, топилась печка. Головой к окну на железной кровати, одетая, под вытертым байковым одеялом лежала Женькина мать, смотрела на Виталия, сидевшего напротив, какими-то распятыми ввалившимися глазами. Говорила:

— Если бы вы видели, Виталий, мою подругу Лизу... Мне кажется, такого прекрасного существа не может больше явиться на свете. Она дружила с одной женщиной, которая жила на Невском, и мы приходили туда, когда не успевали добраться до дому к ночи, и оставались... Эта женщина жила одна, у нее были картины... И книги... Она все хранила, не выбрасывала, ничего не боялась. И Мережковский, и Зинаида Гиппиус, и Вяче-

слав Иванов... И вот, знаете, она, может, еще жива, эта женщина... Но мне совестно к ней наведаться: за всю блокаду я ни разу к ней не зашла, не узнала — как она, что она... А ведь раньше оставалась ночевать с Лизой... Стыдно. Она не имела никакой поддержки от властей, обычная была... беспартийная, просто кассиром где-то работала. Я вспоминала о ней всю войну, ну а сил пойти не было, да и помочь было нечем... А теперь стыдно идти. Лиза, если бы была жива, никогда бы так не поступила... Да потому она, видно, и не жива...

Виталий сидел, опершись локтем о стол, над которым висели фотографии, с другой стороны от него стояла поперек комнаты этажерочка, за которой постелен был Женькин топчан, и на этажерочке свалены были кипами старые газеты, папки с бумагами, стопки застиранных переглаженных вещей, бутылочки с лекарствами, с длинными бумажными сигнатурами, торчащими из-под этикеток. Больше в комнате ничего не было — окно заклоплено газетами, и вокруг лампочки свернут газетный колпак. Входил в комнату Женька в материнском ватнике, с топориком в руках — он занимался печкой, углем, дровами, да и вообще все хозяйство было на нем, он был дельный и все знал — где, чего и как. Комнатка была небольшая, лампочка довольно ярко ее освещала, читать они любили. От Женькиной матери Виталий много слышал неизвестных, ничего детскому его уху не говорящих фамилий и очень многого не понимал из того, что она рассказывала. Ему казалось порой, что она немного не в своем уме. Довоенная жизнь представлялась в основном по Гайдару и очень популярным у класса фильмам — девчонки даже собирали

отпечатки кадров из этих фильмов и фотографии снимавшихся там артистов — «Сердца четырех», «Девушка с характером», «Весна»... Целиковская, Серова, Любовь Орлова... Самойлов, Переверзев, Столяров... Довоенная жизнь представлялась безоблачной и жизнерадостной, состоящей, в основном, из любовных путаниц, честных поступков, освоения Севера — и вдруг война. Кого было бояться знакомой подруги Женькиной матери — было непонятно.

Они любили с Женькой ходить на Невский, там были кинотеатры — «Титан», «Аврора», «Колизей», коих завсегдатаями себя считали, особенно «Авроры»: их узнавала билетерша, кивала им и улыбалась, отрывая полоски контроля. Они молча представляли себе, идя по улице и разглядывая дома, где бы могла жить та женщина, знакомая Женькиной матери, и оба знали, что другой думает о том же; они могли бы стать тимуровцами, найди они ту женщину, но спросить у Женькиной матери ее адрес им казалось неудобным. Почему? — загадка.

Если ты своей бабушке носишь уголь на третий этаж и ходишь в магазин, ты уже тимуровец, — говорил Женька.

Но уголь на третий этаж носили соседи, вагоновожатый и токарь, оставался только магазин. И стирка. Виталий уговорил бабушку, что умеет стирать, как и Женька. Они стирали с бабушкой вдвоем. Сначала было явно, что он врет, но потом ничего, стало получаться: они ставили на табуретку в ванной корыто, и Виталий тер о стиральную доску простыни в горячей мыльной воде, в которую бабушка стружила ножиком стиральное мыло.

Каждую вещь он отжимал и бросал в ванну с поржавевшим дном, куда предварительно налито было теплой воды, и там они полоскали свои вещи. Вещей у них было немного, но стирка казалась большой и тяжелой. Когда приходили посылки от родителей из Германии, Виталий, бывало, ворчал, обращаясь к бабушке:

— Вот, прибавится нам теперь с тобой стирки...

И бабушка смеялась, трепля его «загривок».

Летом в Харьков приезжали отец с матерью и сестрой Сашей — им теперь негде было разместиться у ленинградской бабушки в виду того, что ее уплотнили, — и Виталия отправляли туда, к ним. Он неохотно разлучался с бабушкой, соседями и Женькой Сухаревым, плакал точно так же, как когда-то, уезжая от сестры Саши из Дрездена к бабушке в Ленинград, и узнавал ту же неизбывную горечь в своем сердце. Одни и те же чувства дано испытать человеку по поводам совершенно разнообразным, на основании чего люди, очевидно, и понимают друг друга — когда понимают, конечно, когда склонны понимать, то есть входить в неповторимую ситуацию другого человека, другой жизни; харьковские бабушка с дедушкой взяли его однажды с собой на бахчу: на заводском грузовике вывозили их, человек пятьдесят, за город, в поле, собирать арбузы и дыни; по бокам кузова имелись две лавки, куда поместили и деда, у которого Виталий сидел на коленях; в одной из улиц на окраине вдруг до его слуха донесся крик, какого слышать ему не приходилось доселе ни разу в жизни, и в то же время зрелище, представшее взору ранее звука, распозналось по смыслу: бежала по улице женщина в разорванном платье, с лицом, представлявшим собою

ярко-красное месиво, с которого лилось и капало, и кричала нечеловеческим голосом:

— Убивают!

За нею следом бежали две-три женщины и страшный, окровавленный тоже зверь в образе человеческом — мужик; в грузовике молчали, грузовик ехал мимо улочки, перпендикулярной к пути его следования; Виталий потерял сознание и начал валиться с грузовика, поскольку они сидели с дедом с краю; впереди стоящие забарабанили по кабине, поднялась суматоха, дед подправил его падение так, чтобы он остался на полу грузовика; все это потом рассказали родителям.

— А как же ты будешь на фронте? — нахмурился отец и засунул в рот таблетку валидола. Мать была уже под шефе, в черном шелковом платье с голубыми столбиками паутели по подолу — они вернулись с бахчей поздно, темными плохо освещенными улицами ехали, вероятно, мимо того же мучительного, тошнотворного места, но определить в потемках он его не мог, только вздрагивал от малейшего звука, будь то чей-нибудь оклик или губная гармошка, — и мать сказала, затрудненно ворочая расплзающимся по рту языком:

— Мой сыночек не выносит солдатни... Отстаньте от него все. Иди, Виточка, поцелуй маму, — и свалилась со стула.

Они сидели за круглым столом в саду, под сводом двух яблонь, нашлись и здесь у них «друзья» — их старые заводские друзья, довоенные, и теперь, в воскресенье, они, отец и мать, устраивали им «прием» в садике деда с бабкой — с черной икрой, балыком, коньяком и шампанским, с тортом и мороженым. Харьковская

бабушка еще накануне зажарила в коробе гуся с яблоками, и Виталий слышал, как она сказала деду:

— Ще они тут пробудут три недели, и мы с тобой, старый, по миру пойдём...

— Так чога ты гоношишься, — ответил ей дед. — Скильки они тебе дают, на стильки и покупай. Сама из кожи вон лезешь, так не жалься.

— Все же дети, — ответила бабка, и Виталий оторопело пошел вон из дома, в садик, лег там ничком на траву и решил больше ничего, никогда и нигде не есть, пока не начнет работать.

Когда его позвали обедать, он долго топтался на месте и медлил, пока не определил в уме, что ничего этого никому не расскажешь, и лучше не привлекать внимания, просто поскорее начать работать, а есть поменьше, и все.

Отец поднял мать с травы и повел ее за талию в дом, затем Виталий услышал негромкий шелестящий звук и угадал, что это сестра Саша запустила в мать книжкой, которую читала, лежа в кровати, потом раздался сердитый голос отца:

— Доченька, милая, красавица, ничего не скажешь, это как же это ты руку на мать, а?

— Надоели вы мне, — раздался холодный и злой Сашин ответ, — разгильдяи, всю жизнь мне портите... Сейчас же укладывайтесь спать, чтоб глаза мои на вас не глядели.

— Сейчас, сейчас, — покорно сказал отец. — Вот так мы когда-нибудь уляжемся спать, и не проснемся... Ты хоть заплачешь о нас, скажи? А? Заплачешь?

— Не заплачу, можешь быть уверен, — сухим голосом ожесточенно и трезво отвечала ему Саша. — Заплачу, если будете людьми.

— А кто же мы по-твоему? — недоуменно спросил отец.

— Скоты, — коротко и без раздумий сказала Саша и выпрыгнула босыми ногами из кровати — раздался легкий топот ее пяток по полу: она подняла свою книжку, которая коротко еще раз шелестнула, вернулась в кровать и накрыла старую настольную лампу одеялом — в комнате стало темно, только уголок света из-под одеяла упирался теперь в окошко, занавешенное рваненьким, заштопанным тюлем.

Отец еще долго ворочался и вздыхал, бормоча скорее всего самому себе:

— Вот, мамочка, чего мы с тобой заслужили... Видно, заслужили... Воевали, воевали, довоевались... Родные дети ненавидят.

А у Виталия перед глазами стояло кровавое месиво, он за весь день так ничего и не съел, и сидел перед домом на лавочке, глядя перед собою остановившимися глазами, пока харьковская бабушка убирала в темноте с круглого стола в садике бутылки, тарелки, вилки, ножи... Неожиданно он вспомнил, какая у его матери была в Дрездене посуда — саксонский фарфор, Голубые Мечи. Этот фарфор изготовил средневековый алхимик, который пообещал князю выплавить золото и не мог его никак получить, за что его ждала казнь на площади (Виталий с Женькой видели такой фильм, трофейный). Алхимику в ужасе ожидания все представлялся меч, которым ему отрубят голову, и когда он, сосредоточив по-

следнюю свою надежду хотя бы на рецепте фарфора, получил его в своей печи, то поставил на первой же вещи это тавро, ставшее прославленным во всей Европе: два скрещенных голубых меча... Зачем они, эти Голубые Мечи, зачем это золото, гусь с яблоками, шампанское, зачем все?

— Ты что уж тут, прям на дворе и спать собираешься? — спросила харьковская бабушка и тихонько хлопнула его по «загровку», совсем тихонько, почти ласково, но вдруг это стало ему нестерпимо и он рванулся из-под рук ее, стиснув кулаки, и страшно, не своим голосом закричал.

— Та ты шо... скаженный, — пробормотала бабушка, когда он так же неожиданно замолк. — Бешеный дом вовси. Иди спать, тебе говорю. Ночь.

Ночь была черная, душная, пронзительно стрекотали в ней или даже завывали неведомые насекомые, он мучился желанием их назвать, понять, что это такое, но никто ничего не знал, все были беспомощны — бабка, дед, отец, мать. Только сестра Саша жила своей невозмутимой жизнью и делала что хотела.

Он не узнавал этого дома, не узнавал бабушку с дедушкой, не понимал порой, что они говорят. Ему трудно было себе представить, что вот они — его родственники, родители его матери, они породили его и имеют на него какие-то права. Он должен их слушаться, подчиняться им, отказываться от своих желаний. Хотя и желаний-то особенных не было, все же было невыносимо, просто даже если бабка говорила: брось это, кушай то. В доме было все время наготовлено много разнообразной еды: вареники, блины, кислое молоко, сме-

тана, черная икра, баклажанная икра, соус из баранины, борщ, арбузы, дыни — все это являлось на столе одновременно и было почему-то противно Виталию. Он не мог отдать себе отчета в причине этого неприязненного чувства. Подлинно родными он вдруг почувствовал здесь свою ленинградскую бабушку, соседей, Женьку Сухарева и даже его мать, дистрофичку с тронутыми мозгами.

Дом харьковских бабушки с дедушкой был очень беден. Но это была не та бедность, что в ленинградских квартирах. Здесь пахло в горницах воском, лежали на всегда только что вымытых полах цветные тряпичные половички, под иконками развеялся крашеный ковыль, над кроватью в большой горнице, отданной сейчас его родителям, красовался потертый и даже порезанный ножом в нескольких местах рисованный маслом по клеенке коврик с рогатыми оленями на берегу ручья, под огромным голубовато-белым месяцем. Кровать застелена была самовязанным кружевным покрывалом, застиранным и порванным в нескольких местах. Оленей Виталий смутно припоминал, месяц тоже, вроде бы и ковыли... Но вот иконки...

— Могли бы их ради меня снять хоть на месяц, — говорил отец. — Неудобно перед людьми.

— Снять-то можно, — говорил дед. — Главное, что в сердце останется.

Отец махал рукой.

— Если мне даже места с семьей на моей родине нет, то что с них-то требовать, со стариков, — сказал потом матери, когда они остались одни.

И только еще года через два после этого, а то и через три, в пятьдесят втором году, отца перевели в Ленинград, в Академию и дали квартиру на Марсовом Поле.

За год же до окончательного переезда они прислали в Ленинград контейнером мебель — бюро, сервант, диван и два кресла, а также несколько картин. Картины показались вдруг барахлом, безвкусной мазней — он даже не понимал, зачем они за них держатся: это были картины из их дрезденского особняка, из столовой и кабинета отца. Там-то, в Германии, он был слишком маленький, чтобы обратить на них должное внимание. Мебель отец просил бабушку поставить пока в коридоре, но соседи, вагоновожатый с намотчицей, предложили взять ее к себе. Они жили в большой комнате, что была когда-то, как говорит бабушка, гостиной, потом, когда квартиру разгородили и переполовинили после революции, это была комната бабушкиной сестры, потом же, когда женился сын бабушкиной сестры, тот, что украл в детском саду кота во время блокады, гостиную отдали молодой семье — там у них и родилась незадолго перед войной дочка Ирина, что сейчас была в детском доме, как выяснила к тому времени бабушка, в Свердловске. И вот вагоновожатый с намотчицей присовокупили теперь к своей железной кровати, столику у окна и круглому столу посередине комнаты, к старому шифоньеру, притащенному ими откуда-то по занятии жилплощади, мебель родителей Виталия. Картины бабушка сложила у себя в комнате, завернув их в чистый мешок.

Когда отца, наконец, окончательно перевели в Ленинград и выдали ему ордер на квартиру, он приехал на грузовике забирать мебель. Намотчица была беременна и может быть поэтому нервозна и чересчур возбуждена, но только Виталий увидел, как она потихоньку вытирала фартуком слезы, когда из ее комнаты вытаскивали бюро, за которым полтора примерно года ее вагоновожатый учил уроки, которые задавали ему в техникуме.

— Папа! — сбегав вниз к машине, крикнул Виталий. — Можно тебя на минуточку? — и отойдя с отцом в сторону, сказал ему:

— Можешь ты выполнить мою очень огромную просьбу, и клянусь тебе, это будет последняя моя просьба в жизни?

— Ну что, говори без предисловий, — торопливо бросил отец.

— Это бюро... Они привыкли к нему. Нельзя им его оставить?

— Ты... Ты.. С чего это взял? — опешил отец.

— Ну... взял, — сказал Виталий. — Я ведь сказал тебе, я тебя просто очень прошу.

— Но это бюро Сашино. Она его очень любит. Я не могу... Она моя дочь. Знаешь что, я ведь не просил их брать эту мебель напрокат, я просил поставить ее в коридоре, — рассердился он вдруг. — Я и прислал ровно столько, сколько могло там поместиться, в их курятнике. Не говоря уже о том, что это вообще квартира моей матери, моего даже деда, если хочешь знать. Известно тебе об этом?

— Известно, — угрюмо бросил Виталий.

— И мы ведь ничего, мы даже не претендуем. Заняли, так заняли. Прописались, так прописались. Что ж теперь поделаешь? Так что ты зря... раскиселся. Не так уж все... как ты думаешь. Понял?

— Ну я тебя просто попросил... И все, — махнул рукой Виталий и вернулся наверх, к бабушке.

Самое поразительное, что он мог после этого играть в хоккей, бегать с клюшкой. Он сам себе удивлялся. А потом забыл. То есть ситуацию забыл. Даже как бы начисто забыл. Даже как бы и понял отца, даже пожалел его — вечно он между двух огней. Но что-то осталось. В том резервуаре его существования, где все пережитое всегда с тобой, всегда там.

Женька Сухарев был поразительно умен. О чем ни заведи разговор, он об этом уже думал. Даже о Боге.

— Я думаю, что, конечно, вот этого доброго и с бородой — нет, даже и говорить нечего. Но что-то есть... Это они зря.

— Кто?

— Коммунисты.

Большую часть все это происходило на улице, редко — дома, у бабушки или у Женьки. То ли Нева плескалась рядом, вбирая в себя тусклые отсветы ноябрьской экономной электрической тьмы, то ли снегом светящийся переулок баюкал шаги и снежинки наискось перечерчивали угрюмые старые стены Выборгской домово́й ветоши, среди которой они ходили постоянно, шастали туда-сюда с какой-то непонятной целенаправленностью и напористостью, будто что-то и где-то им сейчас действительно необходимо и надо, хотя ничего такого, как помнится, не было.

— А мы с тобой разве не коммунисты?

— Мы еще пионеры.

— А пионеры разве не коммунисты?

— Это еще не совсем готовые коммунисты.. Мы мало знаем.

— Ну как мало? Про японские топки и про Павлика Морозова — этого разве мало? Главное, это знать основное. А основное — кто добрый, а кто злой. Помоему.

— С Павликом Морозовым не все ясно. Ты пошел бы закладывать отца?

Эта мысль показалась тогда неожиданной. А вдруг отца есть за что закладывать? Ну, например, за то, что мать пьет, не работает и носит шелковые платья в то время как Женькина мать, бабушка и соседки работают, не пьют и носят латаные юбки? За бюро? Но он ведь устанавливал советскую власть в Германии, он воевал, он комиссар...

— Они, наверно, учитывают заслуги перед советской властью в первую очередь.

— Кто? — не понял на этот раз Женька.

— Коммунисты.

Виталий не поехал с отцом на Марсово Поле в тот раз, когда забирали вещи. Считалось — чтобы не перебивать школьный ритм. Он остался у бабушки, ходил в школу, разговаривал с Женькой о Боге и думал о Саше: как он расскажет ей про Женьку Сухарева, как Женька придет к ним и увидит Сашу. И как он остолбенеет на пороге. И как Виталий будет носить в себе великую тайну их любви, пока они не вырастут. Невыносимо больно было думать об этом, но другого выхода не было — уж

лучше пусть Женька, раз не он сам, раз ему заказано жениться на родной сестре. Хотя где-то в глубине души он понимал, что главное не в этом, а в том, что он для нее ничего не значит, пустое место. Она даже не пришла ни разу к бабушке с ним повидаться, в то время как ему было интересно, что она там делает, приехав, как они ночуют в квартире, заваленной вещами, пошла ли она сегодня в школу или пойдет завтра. Он подарил ей две чистые тетрадки в клетку, чтобы было на чем писать.

Высокий угловой дом с непомерно большими окнами, выкрашенный бледно-зеленой краской, в котором их поселили, после закопченной Выборгской стороны представлялся Виталию дворцом среди всех прочих, тянувшихся вдоль Невы, к тому же бабушка сказала, что раньше на Миллионной жила одна знать и миллионеры. Поэтому странным казалось заходить в него со двора, неровного и обледенелого, заваленного сугробами, открывать скрипучее парадное, миновав заржавленную водосточную трубу, и оказываться в темном, пропахшим кошками подъезде, правда, внушительного размаха и простора. Широкий и пологий приступок ступеней в десять приводил на площадку, куда выходила сбоку их обитая черным дерматином дверь, на которой уже прибита была металлическая дощечка с фамилией отца. (Сам ли он ее прибил, или об этом позаботилось домоуправление — Виталий не знал). Как-то ему не представлялось, когда он приходил сюда первые разы, что вот это его дом и ему здесь жить.

Забрали его от бабушки со всеми монатками, когда все было убрано, застлано бархатными скатертями и

покрывалами, развешены ковры и картины, расставлены бесчисленные хрустали, вазы и статуэтки. Огненные драконы на белых портьерах в большой комнате, столовой, в два огромных окна, придавали ей праздничный вид, жесткий диван со светлой обивкой, стоявший между окнами, кресла, большой стол посередине комнаты со множеством стульев, задвинутых под него, сервант с посудой за раздвижными стеклами, большие книжные шкафы — все выглядело здесь иначе, чем в Дрездене, это был чужой, незнакомый дом. И он не мог понять, отчего ему здесь как-то не по себе, скорее хочется куда-то забиться, найти свой угол. Сашина комната, которую называли кабинет, была еще больше, длиннее, в ней стоял рояль, деревянная кровать с высокой спинкой, застланная атласным покрывалом, переливающимся в неярком свете ноябрьского дня, стояло бюро рядом с кроватью, над кроватью висел большой коврик с изображением шишкинских мишек — позже он узнал, что картина имеет нарицательное наименование «Мишки на лесозаготовках», куда вкладывалась масса потаенного смысла. Одна дверь выходила в коридор, другая — в столовую. Ему отводилась левая часть комнаты, у родительской двери, как маленькому, меньшому. Здесь стоял большой отцовский письменный стол у окна, напротив — небольшой диванчик, по обе стороны двери — книжные стеллажи до потолка, большей частью пустые. Напротив, через узкий темный коридорчик от их с Сашей комнаты, была маленькая спальня родителей, в ней — еще один письменный стол. Казалось, родителям не хватало места, чтобы разместиться по всем надобностям. Отцу не хватало каби-

нета, детей было слишком много. А между тем огромное пространство между столовой и входной дверью пустовало — прихожая, она же кухня метров сорока, с окном, выходящим во двор, со столбом посередине, к которому была приторочена раковина, кран, газогрей. Здесь было холодно, темновато, чудно. Здесь могли поместиться они с бабушкой, все их соседи, Женька с матерью, даже Ирина, которую решено забрать из детдома, и жить себе поживать.

— В коридоре они и не подумали помыть, уроды. Шторы в спальне повесили наизнанку, куда ты только смотрел, как идиот, шляпа настоящая, ничего не можешь добиться. Хуже нет солдатню звать, им всегда все равно, не может быть, чтобы в городе, в таком большом городе, почти столице, не было бюро. Как мы здесь будем жить, не знаю. Пока женщину найдешь в незнакомом месте, в грязи зарастем. Ох, как трудно мне нагибаться, сразу кровь к голове приливает... Шутка сказать, сто килограммов.

Виталий стоял в прихожей, в этом огромном холодном сарае, у небольшого окна во двор, и вдруг он ощутил, что в груди у него ворочается злоба. Он даже не сразу понял, что это такое. Какая-то пекущая шаровая молния, прожигающая все внутренности. Хотелось кричать. Особенно давило на горло. Он застыл, прилип к подоконнику, его словно парализовало. На улице была оттепель, дул промозглый ветер, видный даже из окна. Серый оледеневший снег будто хрупал, хотя никого не было во дворе. По сточной трубе прокатилась льдинка. Забраться бы на стул против сумасшедшей матери Женьки Сухарева, уставиться сонно и почти бездумно в

ее ввалившиеся глаза! На его холодном клеенчатом топчанчике в бабушкиной тесно заставленной старьем комнате теперь будет спать Ирина, сирота, внучка, как и он, его двоюродная сестра...

— Идите есть, живо, — сказала мать. — Здесь все быстро стынет, пока принесешь из кухни в столовую, все холодное...

Он не мог отлипнуть от окна. Ему не хотелось есть, он терпеть не мог сосиски, яблоки, груши, апельсины.. Сестра Саша вышла из ванной, подняла руку к выключателю, оглянулась на него:

— Пойдешь мыть руки, свет не гасить?

Она сняла уже школьную форму, надела стеганый халат, зеленый — кожа изумительная, тонкий румянец, яркие светлые косы: картина, портрет девочки, которая рождена, чтобы все ей удивлялись. И он не может не удивляться — Саша в темном коридоре, освещенная матовой лампочкой, горящей в ванной, темно-серый двор за окном, ветер, поскрипывающий о стекла, дымящийся чайник в глубине кухни, отец в чужаках, в полосатых пижамных штанах и шерстяной безрукавке говорит по телефону в столовой... Не удивлять все это не может.

— Генеральская должность, ну и видимо, перспектива соответствующая... Ну а что тут думать, не отказываться же. Большое училище, считай, институт, техника новая, задачи ставятся большие. Кажется, уж и отработал свое, по плечу ли? Дак а куда из армии? Какой я теперь инженер? Никакой.

Столик, на котором стоит телефон, накрыт кружевной скатертью, на ней большая хрустальная ваза. Очень

большая, огромная, толстая, если провести ее зубчиком по стеклу, наверно, будет жуткий звук. Бр-р-р. Бабушка говорит, он слишком чувствителен. Бедный ребенок, говорит.

Но сам он ничего не говорит. Никому. У Женьки Сухарева нет телефона. У бабушки тоже. Она одна там сегодня. Без него. По щекам у него потекли слезы. Дело не в том, что он плакса. Дело в том, что он очень несчастен. И видимо, всегда был очень несчастным, только не задумывался об этом раньше. Ну а что бы ему хотелось? От чего бы ему могло сейчас полегчать? Что бы, что бы, чтобы... Женькина мать... Женька... Ах, ну на что им эта хрустальная ваза... Даже смешно. Они такие люди, такие люди.. Чтобы Саша... Чтобы Саша что? Господи боже ты мой, даже и не скажешь, оказывается. Вот оно что. Не скажешь, а чувствуешь, что вот бы... А что вот бы... совсем рядом, легко, очень легко что-то чуть-чуть сдвинуть — и не будет так тяжело, а напротив, будет радостно, светло, вольно.. И очень просторно!

Но было паршиво. Перестала жечь шаровая молния злобы, распахнулось что-то в уме, но возникло невиданное отвращение к себе: к своему этому состоянию, комку злобы, способной в нем шевелиться. В тот момент, в тот вечер — когда родители забрали его от бабушки — его «я» впервые отделилось от него, от его сознания, и он с отвращением себя созерцал.

Был ли комок злобы, копошившийся в нем, его личным достоянием, его отличительной особенностью? И тогда он просто «говнюк», как называет его мать? А ведь он часто злится! Ему хотелось напасть на мальчишек, которые жгли лягушку у Женьки в подъезде, из-

бить их, связать, поднести спичку к самым глазам главного заводилы и спросить:

— Ну? Если я ткну сейчас тебе эту спичку в глаз, думаешь, будет не то же самое? Так ткнуть или нет?

Если бы парень не был связан, он бы дал Виталию в зубы, и весь разговор. Поэтому он и не бросился на них, а не от беззлобности. Злоба клокотала. Но он трус.

Трус! К тому же еще и трус. Злобный трус, вот кто он такой. Это и есть его человеческая сущность. Но какова же мера злобы его и трусости?

Он долго не мог уснуть, ворочался на диване, застеленном чистой, стромкой простынкой, — стелил постель отец; сначала казалось, что он замерзает под легким одеялом в расшитом цветами пододеяльнике и потому не может уснуть, потом выяснилось, что одеяло — мать назвала его «из верблюжьей шерсти» — очень тепкое, а он продолжал метаться по подушке, хрустя расшитой цветами наволочкой и боясь, что мешает Саше спать. Они наверняка о чем-нибудь да говорили с ней в тот вечер, так же, как и в последующие дни и вечера — но мало что вспоминалось, почти ничего, будто жили они в одной комнате немо. Ветер скрипел стеклами и несся мимо окон — с Невы, с Петроградской стороны, колебля, хотя форточки были закрыты, легкие шелковые шторы, высокие, как привидения: уж не восемнадцатого ли века этот дом, подумал Виталий, времен Бирона и Волынского, страшных времен, когда хорошего, отличного, умного и благородного человека могла сжить со свету какая-то сволочь, дрянь, отвратительная хитрая жаба, забравшая в руки целую державу — и никто ничего... И опять шаровая молния каталась в груди.

А завтра утром ему предстояло идти в новую школу.

МАМА

Считалось, что мама меня непозволительно балует. Об этом говорилось еще в детском саду, и дома, и в школе, и у мамы на работе.

А мальчишки на стадионе вообще называли меня «маменькиной дочкой» и презирали до тех пор, пока я не начала их обыгрывать.

Действительно, я у мамы была одна, и действительно, она была ко мне очень привязана. Она иногда даже брала меня с собой на работу. Тогда, после войны, это было можно: то в детском саду карантин, то угля зимой нет.

Но я к тому времени была, собственно, и так избалованной.

Я не могла не чувствовать во время каждой бомбежки, что вся семья только и думает, что обо мне — Зою туда, Зою сюда. А напекут, бывало, лепешек из свеклы, поставят передо мной миску и сидят все вокруг, ждут, пока я не выпущу миску из рук и не откинусь на спинку стула. После этого начинают сами есть.

Когда бомбой разворотило квартиру, и мы стали жить в другом, менее разрушенном доме, мне отдавались все теплые вещи. Было, от чего избаловаться.

Но главное, что наводило всех на эту мысль, — мама со мной действительно не расставалась. Даже когда я заболела полиомиелитом, уже большой, пятилетней, и перестала ходить, она принялась носить меня с собою на руках. Естественно, это было возмутительное зрели-

ще. Прохожие останавливались и делали выговоры за то, что она портит ребенка.

Когда я каким-то чудом — через год — снова пошла, я сразу начала посещать со своей мамой вечерние курсы английского языка для взрослых. Там ко мне хорошо относились. Это я поняла, когда сломала пишущую машинку, нажав на несколько клавиш сразу. Рычаги сцепились и застыли в воздухе, а я затряслась от страха. На мне до такой степени не было лица, что один мамин сотрудник подошел ко мне прямо во время урока. Увидев, в чем дело, рассмеялся и позвал всех. Рычаги расцепили, учительница посоветовала маме посадить меня рядом с собою, за свой стол, вместе со всеми, и даже стала задавать мне вопросы.

Как только отперли ворота стадиона, заросшего за время войны бурьяном, мама сразу же очутилась там на воскреснике, разумеется, со мной.

Когда началась война, маме было двадцать шесть лет. До этого она работала электромонтером — лазала на «кошках» по столбам, окончила рабфак, политехнический институт, строила Куйбышевскую ГЭС и занималась почти всеми видами спорта. А по теннису и по волейболу имела первый разряд и входила в сборную города. Пока меня не было на свете, она еще и с парашютом прыгала.

Несколько лет я проиграла рядом с кортом, по которому бегала мама, в песочек.

Седьмого Ноября и Первого Мая на меня надевали белое платье, давали мне в руки детскую ракетку, и я шествовала еще с одним мальчиком с нашего стадиона впереди колонны спортсменов на праздничной демон-

страции. Если бывало прохладно, мама надевала на меня кофточку, снимала ее на Театральной площади, перед трибунами, а после площади снова подбегала ко мне и снова надевала кофточку.

Подходила она ко мне и во время стоянок.

В руках у мамы ветки цветущей вишни, я продеваю их сквозь струны детской ракетки. Получается очень красиво, и мы со стадионским мальчиком идем рвать еще — украсить и его ракетку.

В первой своей спортивной поездке, одна, без мамы, я отличилась тем, что накануне первой встречи продела в струны своей ракетки ветви мокрого цветущего жасмина, и струны, совершенно не выносящие влажности, лопнули — накануне моего бенефиса в республиканском масштабе.

Возле песочка у «маминоного» корта мне годам к десяти стало нестерпимо скучно, и я принялась разгуливать по стадиону. Стадион был огромный. Обследовать его можно было целое лето.

Сразу за кортами, за изгородью сирени у песочка, оказались волейболисты. Они обменивались бодрими дружескими выкриками и падали со всего маху на спину, очень довольные каждый раз, что не расквасили носа. Падения были сущностью волейбола, и я самокритично заключила, что мне никогда не играть в эту героическую игру.

По другую сторону песчаной дорожки, за ржавой сеткой, наподобие кроватной, «крутили обезьяну», как я узнала от мамы. «Обезьяна» была кругло-чугунной, тяжелой, на железной веревочке. Вряд ли я даже могла

бы приподнять ее. А метатели были здоровенными мужчинами.

Вокруг гуськом бегали мальчики и девочки чуть постарше меня. Рядом с ними бегал пожилой тренер в черном спортивном костюме, с секундомером в руках. Это тоже было мне недоступно.

За баскетболом, в который играли вообще только очень высокие, была выпуклая зеленая лужайка. На ней стояло бревно, и вокруг росли оливы с бархатистыми листьями.

Около бревна никого не было, и, оглядевшись кругом, проверив, не идет ли кто-нибудь по дорожке, я полезла на четвереньках по наклонной доске вверх. На бревне оказалось так высоко, что у меня закружилась голова. Я легла на него, обхватив бревно с двух сторон, и заорала.

Из-за пригорка, откуда-то снизу, высунулась голова, и ко мне подошел высокий стройный человек в гетрах и футбольных бутсах. Он приготовился взять меня в охапку, но это сделалось мне так обидно, что я сказала упрямым голосом:

— Я сама.

И прыгнула на землю. Внизу было мягко, там была трава, и я не почувствовала никакой боли в боку, на который упала.

— Что это ты как смешно прыгаешь, — сказал футболист. — Так и убиться недолго. Надо на ноги, а ноги — они пружинки, они амортизируют.

Он говорил все это, разгуливая по бревну в своих тяжелых бутсах, и в конце концов сделал «ласточку»,

которую я тоже умела делать, хотя и была освобождена от физкультуры.

— Ну, давай, попробуем, — сказал футболист, спрыгнув на свои ноги-пружинки.

Приведя меня на корты, он сказал моей маме:

— Что же это, мамаша, дочка у вас не играет?

Мама посмотрела на него с некоторым замешательством и, вытирая лицо платком, ответила:

— Да... маленькая она еще.

Долго поглядев на меня, вздохнула и побежала за мячиком.

К футболисту наклонилась тетя Клава, всегда сидевшая у кортов, мама нашей теннисной звезды, третьей ракетки Союза Светы Коломейцевой, и тихо сказала:

— Калека она у нее. Еле-еле ходит, а то и вовсе не ходит — параличом разбивает. — И тоже вздохнула.

Я повернула голову от тети Клавы к футболисту — он смотрел на меня сверху долгим взглядом хороших голубых глаз. Мне стало очень неудобно, что я причинила ему огорчение, и у меня опустились глаза. Мне хотелось предложить ему вернуться на нашу полянку и еще немного походить по бревну, но мне показалось, что теперь это не доставит ему удовольствия.

К концу лета я прижилась у городков. Там я собирала палочки, подружившись с одним одноруким человеком. Он таким вернулся с войны, а раньше работал токарем на большом заводе. Он мне сам рассказывал. Мы частенько сидели с ним на лавочке возле городков, я помогала ему запереть замок на чемоданчике, и он мне рассказывал. Он теперь целые дни проводил на

стадионе и был чемпионом. А еще он учился и собирался написать книжку, если успеет.

Однажды, когда его не было на городках, в меня заехали бабкой, и я опять орала на весь стадион. Прибежала мама, меня повели к врачу, перевязали голову, и мама плакала и клялась, что бросит этот проклятый теннис к чертовой матери.

Но через неделю, когда все прошло, мы уже снова были на стадионе. Только прежде чем начать игру, мама дала мне детскую ракетку, такую, с какой я ходила на демонстрацию, и подвела меня к стенке. После того, как я один раз из десяти попала по мячу, она оставила меня «тренироваться» и убежала.

Минут через пятнадцать я возненавидела теннис на всю жизнь и, так и не найдя за стенкой ни одного мячика, ушла к своему знакомому на городки.

Но мама не оставила меня в покое и каждый день «играла» со мной сама. «Игра» сводилась к тому, что я бегала потихоньку за мячиками.

— Сумасшедшая ты, Лялька, — говорил Виктор Ильич, тренер сборной нашего города. — Ребенок едва пошел, а ты его бегать заставляешь.

В школе я изъявила желание заниматься физкультурой, от которой раньше была освобождена.

Дома я ставила перед собой дедушку и говорила:

— Делается сальто!

И он должен был ловить меня за лодыжки.

Я раскачивалась с ноги на ногу — вперед-назад — выставив перед собой руки, и считала:

— Раз, два, три... Нет, сначала. Деда, внимание! Делается сальто!

— Да ты давай, давай, я же весь во внимании. Все жду, жду. Сейчас уйду с бабкой в шахматы играть.

И тогда я делала все-таки свое неподражаемое сальто.

Руки у меня не были больны, но и они плохо держали и меня, и ракетку.

На следующее лето я стала присматриваться и прислушиваться ко всему, о чем шла речь на теннисных кортах. Там я почерпнула кое-что и о руках. Я стала выжимать утюг и тискать мячик, повсюду таская его с собой в кармане.

Когда в нашем городе впервые организовали детские соревнования, решили допустить к ним всех, кто только умеет держать ракетку в руках и знает счет.

— Слушай, Лялочка, — сказал Виктор Ильич маме. — Давай, может быть, включим Зою? Пусть поиграет. Кто-то же должен и вылетать. А на следующий год она уже официально будет относиться к младшему возрасту.

— Да не любит она теннис. Не будет она в него играть, — огорченно махнула рукой мама.

— Зоя! — сказал мне Виктор Ильич. — Хочешь в соревнованиях участвовать? В первенстве города?

— Да я же всем проиграю. Все ведь из спортшколы, тренируются по всем правилам.

— Ну и что? А с тобой мама сколько возится. Счет ты знаешь, подавать можно с руки. Поучисься.

Я ясно себе представляла, как я буду проигрывать игру за игрой, как придется на глазах у всех позорно уходить с корта — я ведь видела соревнования, я хорошо ощущала состояние обоих партнеров и всегда чуть

не плакала за проигравшего — и к тому же в моем случае это будет дополняться тем, что приходилось часто слышать про других и вызывало еще особую за них боль:

— Да она же абсолютно бездарна. Просто дубина. И чего было на корт вылазить?

В одно мгновение я сосредоточилась на множестве подобных впечатлений и представила себе снова, как я не раз переживала за всех проигравших, и как мне всегда хотелось, чтобы мама хоть разочек выиграла у Светы Коломейцевой, хотя я и знала, что это невозможно.

— Я бы сыграла, — сказала я, робко взглянув на маму.

— Ну хорошо, — сказала мама. — Будешь чувствовать, что устала, проси судью прекратить встречу. Пусть ваковр ставят, ничего страшного. Ты же никогда не будешь настоящей спортсменкой, верно?

— Да, поиграю немножко, раз можно попробовать, — согласилась я.

Через две недели, появившись на стадионе, я слышала себе вслед:

— Вот идет девочка, которая ободрала в этом году всех малышей. Между прочим, она выступала даже не по возрасту, ее возрастная категория начнется только в следующем году. Тогда она поедет на первенство республики, если снова станет первой ракеткой, или хотя бы второй.

В девятом классе, когда мне было пятнадцать лет и я была уже чемпионкой России, я все откладывала на потом мысли о том, зачем все это, если мне все равно никогда не выиграть Уимблдона, что было невероятно

грустно и отчего я часто плакала по ночам. Я тренировалась каждый день утром и вечером — по восьми часов все каникулы и по три-четыре часа в учебном году, просто потому, что я прижилась на кортах, как когда-то на городках, потому что я не представляла уже себе жизни без тенниса и потому что мне нравилось ездить на соревнования в разные города. Я стала и абсолютной чемпионкой, и играла все лучше и лучше до тех самых пор, пока не бросила теннис из-за математики, которая к третьему курсу университета, где я училась на физико-математическом факультете, буквально поставила мне ультиматум.

Однажды в начале лета, в девятом классе, когда мне оставалось добрать один балл до нормы первого разряда на взрослом первенстве города, я столкнулась в таблице первенства со своей мамой — мы должны были играть с ней за третье-четвертое место, и это был мой решающий балл. Конечно, потом, в течение сезона, я обыграла множество перворазрядников и нескольких мастеров спорта, но в тот майский вечер в начале сезона это еще не было известно, и зрители размещались на скамейках, помахивая газетками, и говорили:

— Чего тут смотреть! Поддастся мама дочке проста, и все дела. Что же, если родному ребенку не хватает балла до первого разряда, а тут я — на тебе, как Бог судил, — так неужели я хоть пальцем пошевелю, чтоб мяч достать. Так, поиграют для приличия полчаса в поддавки, и весь спорт. Жалко, смотреть больше нечего — отыграли финалы.

Честно говоря, я так и думала. Мы часто тренировались с мамой, если мое вечернее время не было рас-

писано по графику тренировок сборной города, и я все чаще выигрывала у нее, чего еще в прошлом году не случилось никогда. Но мама моя была исключительно упорной спортсменкой, только этим качеством она и брала — она ведь была любитель, самоучка, и я, после сборов под руководством лучших тренеров, после всех прочитанных книг и просмотренных кинограмм игры звезд мирового тенниса, относилась к маме свысока и вообще не понимала, как это я умудряюсь ей проигрывать на тренировках со своей сильной «крученной» подачей, «пушкой» справа и чрезвычайно хитрой игрой у сетки.

Мама играла очень ровненько, бегала за всеми мячами, но больше ничего, кроме коварного косяка налево, навывлет, на другую площадку, у нее не было. Так я же знаю, как у нее сердце болит, когда я «возьмусь» — в ответственных встречах — и бегаю, как лошадь, тяжело дыша, даже и на другую площадку. На тренировках я ведь не бегаю за косяками, и она дает их, сколько хочет.

Когда я прихожу в раздевалку, мама уже сидит там в своем теннисном платье, со всеми нашими четырьмя ракетками — она носит их с собой на работу, если мы их не оставляем на стадионе, потому что я прибегаю на стадион прямо из школы.

— Ну, что у тебя с контрольной? — кротко поднимает она на меня серые глаза с длинными ресницами.

— Ничего с контрольной. Что может быть с контрольной? Написала.

— Утром тренировалась?

— Тренировалась.

— Пару?

— Пару. И микст немножко.

— Перед встречей нехорошо тренироваться.

«Так то ж перед тяжелой встречей», думаю я про себя и начинаю волноваться.

Входят наши теннисистки, мамыны приятельницы.

— Ну что, Лялька, долго ты собираешься мучить своего ребенка? Ты нам сразу говори, ты собираешься или не собираешься играть, а то мы посмотреть останемся.

— Как это не собираюсь? — говорит мама и поворачивается ко мне. — Ты даже и не рассчитывай. Даже и не настраивайся. Сосредоточься как никогда. Я из тебя котлету сделаю. И не помышляй еще у меня в этом сезоне выиграть. Одевайся быстрее, я пошла разминаться. На одну минуту опоздаешь — ваковр, имей в виду.

Когда я вышла на корт, она там бегала уже с одним своим закадычным партнером, взрослым второразрядником. У сеток сидели наши стадионские мальчишки, на передней зрительской лавке — весь теннисный городок: вся сборная и все любители, мамыны ровесники и старше — инженеры, актриса, три доцента и один профессор, два слесаря и один сапожник, почетный гость, отец нашего Павлика, нашей теннисной гордости, чемпиона Союза среди юношей.

— Согласился вас судить только потому, что быстро сыграть должны, — многозначительно ухмыльнулся судья. — Очень тороплюсь.

Через полтора часа, когда счет был по двенадцати в первой партии, его сменили.

Мальчишки на мячах изо всей силы швыряли эти мячи прямо по ногам маме. Группа болельщиков младше-

го возраста менялась сторонами вместе с нами, усаживаясь за сеткой с маминой стороны и свистела ей под руку.

— Старая кляча! Крокодилица! На мыло! — доносилось с той стороны до меня.

— Игра! Тринадцать: двенадцать в первой партии, впереди Белова-старшая, — отвечивал им судья.

Я останавливалась у судейской вышки при переходе, наливала в ладонь воды из графина и смывала слезы злости, делая вид, что умываюсь.

— Ай да мамочка! Никогда такого не видела, — бормотала всем вокруг тетя Клава, когда ОНА выиграла у меня первую партию.

Я играла хорошо, я была, я совершенно не ошибалась при смэшах — но ОНА все подбирала, чуть ли не из-за сетки.

Через три часа после начала встречи начал сереть воздух, акация невыносимо пахла, морочила мне голову и отвлекала. Мальчишки устали свистеть и поносить маму.

— Это для вида. Все равно она тебе проиграет, — говорила мне тренер «Буревестника» при переходе.

Но я давно уже поняла, что ни для какого это не для вида, что она решала лечь костями, но выиграть. Ух, с каким рвением освобождал ее городской совет от работы для поездок на соревнования! Каким она была командным игроком — землю грызла! Вот так она играла со мной сейчас. Даже еще более люто.

И все-таки я выиграла вторую партию, когда было уже совсем темно. Доигрывание перенесли назавтра. Зрители гудели. Мы шли в раздевалку по разным сто-

ронам корта, окруженные каждая своей толпой: вокруг меня — сборная и стадионские мальчишки, вокруг нее — оба слесаря, все инженеры, доценты, актриса и старый седой профессор с фотоаппаратом и теннисной ракеткой.

Мой одорукий знакомый направился было ко мне, потом остановился и только смотрел нам вслед.

Утром она разбудила меня и сказала:

— Вставай готовить себе завтрак. Я ничего не собираюсь делать. И ракетки твои я не беру. Выкручивайся, как знаешь. Я должна развивать на тебя спортивную злость. На одну минуту опоздаешь — ваковр.

Народу собралось еще больше, чем вчера.

Утром я уже не была на тренировке, а целый день жила по такому внутреннему режиму, как при самых ответственных состязаниях, экономя силы. В школе я нервничала, отвечая по истории, и на переменках ни с кем не разговаривала.

В мрачном молчании мы переоделись и вышли на корт одновременно, любезно пропуская друг друга вперед.

Размялись.

Разыграли подачу.

И я обрушила на нее весь свой технический арсенал, приобретенный на городских, республиканских и всесоюзных сборах под руководством лучших тренеров в упорных каждодневных восьмичасовых тренировках, пока она сидела на работе и проектировала электрические станции, подстанции и сети для металлургии Урала, Сибири, Индии, Венгрии и Дальнего Востока. Я ее

«приделала» в третьей решающей партии со счетом «шесть: два».

Приняв все поздравления сборной и восхищенные выкрики мальчишек, ощущая, как улеглось ожесточение и начинает улетучиваться торжество, я взяла свои вещи в гардеробе и впорхнула в открытую дверь раздевалки — и тут же вышла обратно, подождать немного на лавочке: мама стояла там, прижав кулаки к стене, и плакала.

КРЕСТНИКОВ И. М.

В библиотеке у бабушки теплый стоячий воздух между стеллажами, отгораживающими голый деревянный прилавок, за которым она принимала и выдавала книги, пах клеем и пылью. За стеллажами, у стены, стоял крытый цветной бумагой столик с витиеватым подсвечником и массивной стеклянной чернильницей, три скрипучих венских стула, табурет, выкрашенный белой масляной краской, и в углу — трухлявое кресло, из которого неугомонно сыпались опилки. На стене — литографическая «Незнакомка» Крамского, упитанная, здоровая, отстраняющая гордостью и притягивающая влагой своего самовлюбленного взгляда. Три старые библиотекарши сменяли друг друга, но то и дело прибредали сюда, в клетушку, в неурочное время, и в стоячем теплом воздухе читатель, оформляя свой детский абонемент за прилавком у дежурной библиотекарши, слышал тихий шелест их приглушенных голосов и позвякивание ложки о чашку.

Библиотека была родным домом Виталия, начиная от короткого, фамильярного знакомства с бабушкиными сослуживицами, кончая хозяйской осведомленностью о порядке, составе, состоянии на сегодняшний день стеллажных угодий. Более того, если ему случалось обзавестись книжкой — а в те поры это случалось, и нередко, разными судьбами попадали к нему во владение книги с чердаков, книги, купленные родителями в Германии, книги, обмененные на другие книги, мячи, шайбы, книги, купленные им на толкучем рынке, — он прочитывал книжку и, если она ему нравилась, делал надпись в правом верхнем углу чистой подложки: «Из книг Бархатова Виталия» и относил в бабушкину библиотеку. На книжку приклеивался карманчик с внутренней стороны обложки, Виталий любил это проделывать сам, проставлялся инвентарный номер, и, наконец, — самое-то увлекательное, дельное — Виталий определял ее место на стеллажах. Имелась тоненькая ученическая тетрадь в библиотеке в надписью: «Книги, принятые от читателей в дар». Там фигурировало название книги, автор, имя дарителя, его адрес, год рождения, год дарения и раздел, в который она направлялась на стеллажи. Например: «Чарльз Диккенс. «История двух городов» Крестников И. М. 1887 Лесной проспект 42 кв.6, три звонка. 1951. Зарубежная классика.»

Крестников был дружок Доры Константиновны, одной из библиотекарей. Но придумал это все Виталий сам, то есть не придумал — он даже не думал нисколько, что из этого может выйти, а так получилось, что он стал приносить к бабушке в библиотеку свои книжки и наклеивать на них карманы, чтобы она могла их, эти

книжки, выдавать абонентам. Бабушка принимала у него не все. Например, не взяла книгу Чарской «Княжна Джаваха», «Макса и Морица» не взяла. Приходилось эти книги оставлять себе, распространять через двор, давать девочкам для прочтения в женской школе.

— Но почему? — не понял Виталий в первый раз, когда такое случилось.

— Есть книги, которые детям читать не рекомендуется. Ты разве не знаешь? Дети до шестнадцати лет, и так далее.

— Да это вполне детские книги, я же их читал, не говоря уже о том, что это вообще по-моему глупо — запрещать детям...

— Ты что, посадить бабушку хочешь? — властным тоном, не терпящим возражений, сказала третья старуха, Вера Михайловна, заведующая. Бабушка беспомощно взглянула на нее своими младенческими голубыми глазами и озабоченно нахмурилась.

Виталий постарался поскорее закрыть рот, который у него непроизвольно открылся от изумления, и придал своему лицу вид, будто он все понимает: да, да, конечно...

На некоторых его книгах, принятых библиотекой в дар, уже стояли штампы — в правом нижнем углу чистой подложки, или на титульном листе: ПРОВЕРЕНО 1949, ПРОВЕРЕНО 1951... Безусловно, это было нечто, связанное с тем же неясным, что и «Военная тайна» Гайдара, но... от слова «проверено» почему-то холодела спина.

— Шамиль, — сказала бабушка. — Шамиль в царское время рассматривался как преступник, ну это-то ты

легко можешь понять? Как английский шпион, потому что царскому правительству он был враг, что ж тут такого... Конечно, мало приятного, вместо тиши да глади непрерывно вести военные действия. Но ведь на самом-то деле Шамиль хотел чего-то для своего народа, наверное? Или наоборот, я уже не помню, это он сейчас считается английским шпионом... Ну а Чарская в этом мало разбиралась. Она считается исторически недостоверной.

— А Вальтер Скотт?

— Вальтер-Скотта можно.

— Что можно?

— Приносить в библиотеку.

— Да я не про то спрашиваю, он исторически достоверен или нет, по-твоему?

— Так в предисловии к каждой книжке все написано, — затрясла бабушка руками на уровне висков, Вера Михайловна захохотала грубым мужским хохотом — у нее вообще были повадки и голос заскорузлые, обветренные, неприпудренно мужские, а Дора Константиновна, красавица, любимица Виталия, в белой блузочке с бирюзовой брошью под воротником, огорченно и грустно посмотрела на него долгим взглядом, в котором он вдруг прочитал такое глубокое страдание, что решил прекратить и больше не приставать к ним.

Интересно, кто ж такое на самом деле был Шамиль? И что у него было на уме? Может ли кто теперь знать об этом что-нибудь путное, действительное? И какое, собственно, им всем до него дело?

Когда внизу, в долине с виноградниками и садами все занято карательным войском, остается один путь —

наверх, в горную высь, по тропкам, неведомым чужаку и опричнику, обывателю и трусу. Как звонки голоса снегов, сердоликов и сланцев, перестуки копыт! Светлый вождь Робин Гуд, вечный друг бедных и детей, скачи, скачи под зеленым плащом леса, не останавливайся никогда, не оглядывайся, не задумывайся, иначе наползут на тебя хмурые нечленораздельные мысли о невозможности победы, о невозможности добра, о невозможности справедливости... Только свобода тебе дана, ниспослана свыше твоею знатной судьбой, начертана молнией на песке неразборчивой жизни племен и народов. Свобода — и леди Мэрион, леди-любовь с мечтательными глазами, в которых чудесно искажаются все линии жизни и приобретают мерцающий облик бездонности, карий или светло-зеленый, танцующий, черно-синий...

У его сестры Саши были серые, большущие, сухо блестящие глаза. А Женька Сухарев был влюблен в актрису, которую звали мисс Оливия Хэвиленд. Ее фотография, видимо, трофейная, вымененная им на что-то, украшала его селечную стильную комнату, будучи приколотой кнопкой к стенке прямо над столом, за которым они и обедали, и учил он уроки. Мисс Оливия Хэвиленд была изображена в белом платье, с ямочками на щеках, с современной прической — густые темные волосы, подстриженные по моде начала сороковых годов. Виталий просто диву давался, как он узнал ее на фотографии, настолько у нее не было ничего общего с героиней их любимого голливудского фильма. Они были с Женькой на толкучем рынке, изучали книжки, и вдруг Женька возбужденно вскричал:

— Смотри! Лэди Мэрион!

Какими судьбами могла она тут очутиться, на послевоенной ленинградской барахолке, да и была ли это на самом деле она, одному Богу известно — то ли завезена была из павшего райха, то ли прислана в письме из буржуазной Риги, или Вильно, или Дерпта чьими-то родственниками, оставшимися там после семнадцатого года, но фотография была превосходная и изображена там прелестная мисс была великолепно: простая, крупнолобая и крупноногая, в высшей степени аристократичная, веселая и добрая... Собственно, это в тот же миг, только взглянув на нее, они и поняли, может быть, раз навсегда, что такое настоящая аристократка. Или какую она должна быть.

Что тут греха таить — Женька страдал, по-настоящему страдал на почве своей любви, и она была всегда здесь, с ним, под полоской тени от газетного абажура на голой лампочке и смотрела на его страдания добрым, вызывающим доверие взглядом, ей не приходилось стыдиться ни своего простенького белого платья с косым вырезом, ни прямых, ровно подстриженных волос. Это-то и была настоящая леди.

На даче Тайво в Кабли, в комнате под крышей, он лежал и смотрел на косо убегающий от его головы вверх потолок, дверь на веранду была открыта, ходунгом ходила цветная занавеска на окне с головками негров и негритянок, сосны шелестели, как шелестят на ветру только сосны; комната была пуста, гола, чиста, ничего кроме хорошо, аккуратно обструганной и покрытой лаком лежанки поперек комнаты у двери и встроенного в боковую стенку шкафа, светлого, древесного,

лакированного, с разногабаритными полками и раздвижным отделением для одежды — другой мир, другая жизнь, и все-то они умеют, эти эстонцы, все-то у них прелестно, красивенько, опрятно.

Собирался дождь, всю пахло песком и морем, свежестью, прохладным летом Прибалтики. Внизу шумели, говорили по-эстонски. Он устал за день — подолгу с ними разговаривать было трудно, напряжение колоссальное, пока вникнешь в мысль, в то, что каждый хочет сказать. Даже Тайво, который прекрасно говорит по-русски, почти без акцента (а в школьные годы, когда Виталий только познакомился с ним, Тайво говорил очень смешно, все слова коверкал), даже Тайво, кажется Виталию, не все тонкости мысли улавливает в разговоре, выходящем за рамки быта. А говорить страшно всем хочется. У них много есть чего ему высказать. Вот они и высказывают. И он устает, ужасно устает — и морально, и физически.

Сегодня солнце было только с утра, жара была редкостная, даже представить себе трудно, что еще сегодня с утра была такая жара. Виталий лежал на пляже, все время мокрый и холодный от воды, читал. Тайво остался дома работать, рассчитывая пойти на море вечером. Жена Тайво Анн с ребятишками отошла подальше, но все равно их писк и яростная суета держали на приколе внимание и утомляли. Рейн с Иваром катались на доске. Карин пеклась на солнце с семи утра, ее коричневое тело, кажется, всегда там валялось — на одном и том же месте, метрах в сорока от него сейчас, — как косяга. Потом Анн с ребятишками пошла пораньше домой готовить обед, спустя некоторое время он поплелся за

ней вслед — помочь чистить картошку, а то неудобно; Тайво тоже чистил, дети крутились тут же на кухне и лезли под ножи, и никто им ничего не говорил — так тут у них, у эстонцев, принято, не кричать на детей, ничего им не запрещать: интеллигентность, говорят они, формируется в возрасте до шести месяцев, если мир по отношению к живому существу не агрессивен; они болтали без умолку, плели всякую ерунду, сравнивали картофельные очистки с кораблями, спрутами, ягуарами, питонами, армией Щорса. — Откуда они могут знать про Армию Щорса? — А черт его знает, в школе, наверно, учат или по телевизору показывали. Превосходно пахло из кастрюли с капустой и укропом: сваривается вилок, разрезанный пополам, килограмм картошки, масло — и вся орава накормлена. Масла, конечно, много нужно. Ну, хлеб. Редиска, у них огород, несколько грядок редиски. И бидон молока. Виталий каждый день после обеда брал велосипед Тайво и ездил за молоком. Машину он водить не умел. Виталий ездил в магазин, стоявший при дороге километрах в четырех от поселка. Там редко бывало что-нибудь путное, чем можно бы порадовать публику, например, колбаса, яйца или окорок. Но изредка бывало. Сразу раскупали. Туристов была уйма на побережье. Так что лучше уж было ездить на автобусе подальше, на латышскую границу, там магазин был побольше и получше, но мяса и там не было. Они без него обходились. Молоко, печенье, каша с молоком — вечером. Коньяк с кофе.

В Вильнюсе, когда они познакомились с Тайво, их возили однажды в свободный от игр день на автобусе посмотреть окрестности. Виталий уже не вспоминал,

как в первый день литовцы обозвали их свиньями на вокзале и как потом, однажды вечером, Тайво подрался в Яунимо Садас с парнями, которые с открытыми финками приступились к двум русским девчонкам. Но Тайво захотелось вдруг пить. Он сказал: давай, попросим во дворе воды! И тут Виталий вспомнил все и промямлил растерянно:

— Попроси... Я не хочу пить. А ты попроси, конечно.

Тайво постучал в калитку, к ним вышла женщина. Тайво жестами показал, что хочет пить.

— Вода, — присовокупил он по-русски.

Женщина кивнула и оглядела их с Тайво, взглянула на середину улицы, где толпились еще несколько девочек и мальчиков, повернулась и пошла по дорожке в дом. Ее так долго не было, что Виталий предложил Тайво пойти дальше и напиться где-нибудь в ручье или в речке, может быть, где-нибудь у колодца, ребята ушли уже вперед с тренером, как бы не упустить их из виду.

Но женщина как раз показалась на дорожке. Она несла большой молочный бидон, литров на пятнадцать, четыре или пять кружек болтались на всех ее пальцах свободной руки и под мышкой у нее был круглый, темный, поджаристый хлеб. У Виталия моментально выступили слезы на глазах — так уж он, видно, был устроен в детстве.

— Эй! — крикнул Тайво ушедшим вперед ребятам и помахал им рукой, чтобы шли назад. Они вернулись и, переминаясь с ноги на ногу (русские), застенчиво ждали, когда подойдет их очередь. Два армянских мальчика и эстонцы первыми приняли молоко из рук хозяйки, как ни в чем не бывало, отломали хлебушка и, сказав

спасибо, все с самыми разными акцентами, спокойно уселись вокруг нее на травке, прямо на уличной деревянной травке, а она, хозяйка, расспрашивала — едва различимыми обломками русских слов — кто они и откуда.

— Нравится Литва? — спросила она, улыбаясь, у Виталия, и он приложил руки к груди и закивал, как китайский болванчик.

Когда картошка с капустой поспели, все они уже были здесь — за большим хорошо обструганным вскрытым лаком светлым столом, в большой комнате с камином, на полке которого красиво расставлены были керамические пепельницы и цветы, с длинным рядом паралоновых подушек вдоль стены, обтянутых клетчатой шерстяной тканью, с низким белым светильным шаром над столом, с удобными резными табуретками. Все это они делают сами, ну если не сам Тайво, то какие-то умельцы, наверно, дорого, а может, и не очень — но все-то они умеют, и все у них красиво и продумано: культура, навык, мысль в этом направлении вертится непрерывно и накатанно. Ничего этого в России нет. Один Петербург. Они смеялись, болтали, расхватывали картошку с капустой, масленка за пять минут опустела, но Анн преспокойно взирала на нее, считая, видимо, обеденный лимит исчерпанным и не собираясь начинать новый килограмм, привезенный Виталием вчера из латышского магазина. Они говорили по-эстонски, дети шумели и в конце концов их отправили заниматься (у обоих имелись задания на лето по каким-то там предметам, по английскому, по русскому, по эстонскому).

А солнце тем временем заволкло тонкими кисельными облаками, потянуло в открытые окна прохладой, зашумели сосны, масла Виталию не досталось, он чувствовал себя несколько отчужденно, но в то же время внутренне довольство, уют испытывались им, как и всегда, когда он приезжал к Тайво — в Таллин ли, в городскую квартиру, где он раньше жил с родителями, в новый ли их с Анн кооператив в Пирита, сюда ли, в Кабли — Виталий был «друг детства» и вряд ли кому-нибудь могло прийти в голову оспаривать права их дружбы — даже Анн, даже детям, не говоря уже о прочих друзьях, посвященных в легендарные вехи двадцатилетней истории их отношений. Например, в подробности матча между их командами. Когда они в Вильнюсе, уже сдружившись и не разлучаясь ни на минуту, вдруг обнаружили в турнирной таблице, что таллинская команда идет на ленинградскую к самому концу соревнований, к борьбе непосредственно за места. И как Виталий запустил в этой встрече последние решающие мячи в корзину. Теперь они вспоминают об этом со смехом, а тогда было все очень существенно, серьезное жизненное переживание... Хотя он и знал уже, что Тайво относится к баскетболу не более, чем к игре, и будущее свое не собирается связывать со спортом — все ж таки это была модель неумолимости в постановке неких жизненных вопросов: он своими руками способствовал крупному огорчению друга, друзей своего друга Тайво, которые два дня не могли отойти от траурного настроения по случаю проигрыша ленинградцам. Победители смеялись и ликовали, получая призы и всходя на пьедестал почета, а они — команда «Калева» — стояли

хмурые и насупленные, только Тайво с любопытством крутил кудрявой белокурой головой и всё рассматривал с упоением: и оркестрантов, и флаги, и чемоданы с фотоаппаратами, которые давали в качестве призов за первые три места.

Виталий не особенно наедался за восхитительными вегетарианскими обедами в Кабли. И хотя он к этому более или менее привык, ему казалось, что дрянные котлеты в ленинградских уличных столовках сытнее. После обеда стало окончательно ясно, что на море идти бесполезно: сгустилась серая облачная пелена от края и до края неба, Тайво надел свитер, Анн накинула шаль, стали варить кофе. Приехала из Таллина Маре на своем кремовом «москвиче»: просто удивительно, как они здесь все умели заколачивать деньги, обыкновенные интеллигентные люди, не воровали — просто она в консерватории имела доцентскую ставку, в детском хоре имела ставку и наваривала плюс к тому в рабочем Доме культуры. Ей было лет тридцать шесть, школьная подруга Анн. Она была одинока и ценила свою самостоятельность. Истая феминистка. Или Карин. Архитектор. Художественный институт с отличием. Серебряная медаль на всесоюзном конкурсе молодежных проектов, международные премии. Лучший курортный комплекс на побережье по ее проекту. Гонит индивидуальные заказы со страшной силой, пол Кабли построила — по дешевке, по дружбе с Тайво, а вообще — семьсот-восемьсот рублей проект. Бацает их по десять штук в месяц кроме работы на основном производстве, в проектом совучреждении на инженерной ставочке сто шестьдесят рублей. Русские так не могут почему-то.

Правда, Карин все пропивает. Это и русские могут. Правда, Карин и пропивает все не так, как у нас. Потягивает она ежедневно не просыхая. Сидит, чертит и потягивает. К десяти вечера уже на бровях и бедокурит до полуночи, а то и за полночь прихватывает, если случается сорганизовать приключение. Купается в городских фонтанах в белом американском костюме. Потом приходит домой, стирает костюм и в семь утра она уже на пляже, лежит, как коряга, на одном и том же месте каждое утро — загорает. Ей тоже лет тридцать семь, пятилетний сыночек от не известного никому гражданина сербской национальности. Сейчас сыночек в лагере с детским садом. Мужа — ни-ни. Был один, со студенческих лет, но дело это кончилось резанием вен и во психушке. Сейчас она уже выставила бутылочку «Плиски» на стол, и Рейн с Иваром хлопнули в ладоши.

Виталий не участвует в их попойках. У него нет таких денег, и он считает неудобным пить с ними на халяву. Да и вообще он не пьет. Непьющий, что называется. Отталкивание от мамы с детства способствовало стойкому иммунитету. Сестра Саша пьет по начальственному своему положению в командировках и в производственной компании, по советским праздникам пьет в обществе мужа и ближайших друзей, своих же ящиковцев, но и их не назовешь пропойцами. Так пьет весь начальственный состав, может, даже и все советские трудовые люди, черт его знает. Виталий ведь и человек не трудовой, и не пьет.

Рейн даже имел с ним стычку на этот счет. В самом начале их знакомства. Лет десять тому. Когда Тайво защитил кандидатскую диссертацию и по этому случаю

позвонил Виталию и позвал его в Таллин. Виталий поехал. Может быть, не надо было. Но он радовался за Тайво, гордился другом — молодым ученым мужем археологии, и для него это тоже был праздник. В «Глории» к нему пристал Рейн, которого он на этой ресторанной пьянке увидел впервые:

— Вы почему не пьете?

— Так.. Вообще не большой охотник. Желаю вам здравствовать.

— Тайво, — Рейн был уже под градусом, но в достоинствах, о которых Виталий столь наслышан был от Тайво, убеждали все его стати превосходного бородатого экземпляра, — Тайво! — крикнул Рейн через стол, — почему генерал правящей нации не удостоивает выпить с нами?

Виталий почувствовал, что покрывается красными пятнами

— Я не генерал, — сказал он тихо, глядя Рейну прямо в глаза. Но глаза Рейна, зеленовато-мутные, не реагировали на его слова.

— Нет, ты выпьешь! Не уйдешь отсюда, пока не выпьешь со мной на брудершафт!

Все замолчали и смотрели на Виталия. Рядом с ним сидела тогда за столом маленькая Тийно, третья слева во втором ряду на выпускной школьной фотографии Тайво. Виталий много чего знал про нее, о чем она не подозревала. Например, какое на ней было платье на выпускном вечере и как оно намокло под дождем, который разразился к утру, и как она сказала Тайво во флигеле Кадриорга, куда их пустили обогреться и обсухнуть, при свечах, в темноте, что не может его поцело-

вать, потому что любит вот уже три года Вальдура Кристиана из одиннадцатого «Б».

— Но ведь он дружит с Майрой! — воскликнул Тайво. — И притом...

— Ну и что, — ответила Тийно. — Это не имеет значения.

— Не обращайтесь на него внимания, — склонила Тийно головку к Виталию. — Он в белой горячке. Мы все тут в белой горячке, вы разве еще не поняли?

Тийно была в белом платье, очень коротеньком, модном, с ажурной голубой шалью на плечах. На руке у нее сияло обручальное кольцо, волосы уложены в свежую, парикмахерскую прическу. Менее всего при взгляде на нее могла прийти мысль о белой горячке — благополучный буржуазный вид, хорошенькая маленькая мама очаровательно одетых в комбинезончики крошек, куколка. Сестра Саша уже окончательно и давно к тому времени определилась в безобразно одетую ломовую лошадь, деловую бабу с белыми от соли подмышками, регулярно, раз в год уродующую себя «практичной» химической завивкой.

И тем не менее он уже многое понял, многое знал. Но не все. Что же он теперь, должен на коленях ползать перед бородатым самовлюбленным и озверевшим от отчаяния Рейном Вятесмяэ?

— На брудершафт с тобой я выпью, не буянь, — сказал он ему, наклонившись через стол. — Хотя бы я затем и подох, хотя бы у меня даже пробадение язвы, выпью. Ну и что? И это будет все? И ты будешь этим полностью удовлетворен, что ли?

— Н-нет, — покачал у него перед носом длинным тощим пальцем Рейн. — Не держите нас за дураков, как говорят в Одессе. Ты не просто выпьешь со мной на брудершафт, а ты не уйдешь отсюда, пока не выпьешь со мной на брудершафт. Это говорю тебе я, Рейн Вятесмяэ. Это мое баронское слово.

— Врет, — склонилась к Виталию с другой стороны коротко стриженная голова Карин. — Он всю жизнь это всем врет. Вятесмяэ — не баронская фамилия. Это смешно слышать эстонцам.

— Слушай, отстань от человека, — схватил Рейна за шиворот подоспевший с торца стола Тайво. — Что ты мне праздник, понимаешь ли, портишь? И вот так он всегда, скотина, — повернулся Тайво к Виталию. — Видишь? Во всей красе! Сам уже слетел со всех должностей, на которых побывал, худрук генпроекта был, сволочь, в тридцать три года — у вас такое бывает? И притом без блата, беспартийный, просто за свои красивые глаза! Вылетел! Напился на банкете в ратуше, порушил экспонаты и вылетел. И теперь он хочет, чтобы я тоже отовсюду вылетел, за компанию с ним. А как же! Скучно одному. Вот так-то, Вителий. Так мы и боремся за свободу, про что я тебе и говорю. И слава Богу, если у вас такого нет.

— Вот-вот-вот, все вы карьеристы собачьи, — подхватил Рейн. — Я один гордый человек, моя аристократическая кровь не позволяет мне есть с пола.

За столом давно уже все стулья были в беспорядке, кое-кто танцевал.

— А что ты делал, интересно, в пятьдесят втором году в Берлине? — Рейн обошел стол и сел на пустое

место рядом с Виталием, как только Тийно пригласил какой-то, сказали, знаменитый эстрадный певец, в которого все девушки влюблены.

Виталий усмехнулся и обнял Рейна за плечо. В пятьдесят втором году отец привез ему из Берлина велосипед «Диамант». В пятьдесят шестом из Венгрии — бежевую мутоновую шубу сестре Саше. Под Новый Год, уже изрядно выпив со своими сослуживцами по академии, он плакал:

— У нас на глазах разрезали Витьку на куски, и мы не имели права даже пальнуть по ним — приказ...

Потом у него был сердечный приступ, первого января. Мать к этому времени была в полной отключке, скорую вызывала сестра Саша, она еще не была к тому времени замужем, училась в институте, никуда не ходила, сидела все праздники дома, писала конспекты.

— А в шестьдесят восьмом году в Праге, — качал у него тощим пальцем под носом Рейн, — ты тоже ни сном, ни духом?

— Не был, — пожал плечами Виталий. — Вообще никуда не выезжал ни разу за границу, кроме как в Эстонию. И не попаду. Наверняка. А вот ты мне скажи — ты бы что делал в пятьдесят втором году в Берлине? А в пятьдесят шестом году в Будапеште — тебе сколько было лет? В аккурат восемнадцать? Или как? А если бы ты не поступил в институт и загремел в армию? Неужели ты не думал об этом? Ну скажи?

— Нет-нет-нет, — отшатнулся от него Рейн. — Я не мог попасть в армию. Я не мог не поступить в институт. — Он налил себе рюмку и выпил. — Я же гений. Ты раз-

ве не знаешь? Тебе Тайво не сообщил? Самое существенное обстоятельство — то, что я гений. И я не мог...

Ну что с ним было разговаривать, если он не хотел ставить вопрос ребром. Разве это способ мыслить? Разве так до чего-нибудь додумаешься? Мысль должна свободно сканировать на все триста шестьдесят градусов, она, во-первых, должна уметь это делать, должна уметь снять все внутренние запреты, внутренние и внешние, включая моральные. Если хоть что-нибудь ты будешь мыслить как не могущее браться в рассмотрение, это уже не мышление, это рабство мысли. И как они этого не понимают, просто непонятно. Во-вторых, мысль пережевывает жвачку ограниченной информации, которой располагает субъект, и об этом всегда следует помнить. Не то чтобы мы располагаем неполной и искаженной информацией — это уж само собой, но н и к т о не располагает полной информацией, и из этого каждый должен исходить. А каждый, наоборот, считает, что знает все, потому что слушает «Голос Америки». Смешно!

Теперь, спустя восемь или десять лет, в Кабли Рейн уже не выглядел таким уж респектабельным. Он не носил больше импортных костюмов с жилетами, вид его яснее ясного говорил об отсутствии средств: форменный бородатый бич в латаном самовязанном свитере и дешевых вьетнамских брюках, пионерских. Но он гонял на виндсерфинге, пил «Плиску», которую выставляла Карин, вяло и как бы не ценя еду ни во что, щипал ножом и вилкой картофелину на своей тарелке, сдобренную раскованным жестом зацепленным в масленке большим куском масла, ловко объедал селедочные го-

ловы и умно беседовал о музыке, философии, архитектуре, живописи... Собственно, сегодняшний послеобеденный сыр-бор разгорелся в ходе разговора о Шопенгауэре, Ницше и Шпенглере как звеньях одной цепи. Виталий доверительно излагал мысли Рейну, который мало того, что сам завел разговор о закате европейской культуры, еще и вставлял реплики одобрения, подтверждения и даже подбрасывал цитаты. Но вдруг он вскочил, схватил чашку, машинально поставленную Виталием на каминную полку, и завопил:

— Что вы за люди? Как можно вас понять? Чего можно от вас ждать? Как можно доверить вам страну, жизнь, будущее детей? Вот ты, рассуждаешь о Шпенглере, умный, начитанный, мыслящий человек — как же ты не видишь, не чувствуешь, что этот предмет, — он потряс чашкой в воздухе, — по форме, по функции, по дизайну — неотделим от этого предмета, — он схватил со стола блюдце от чашки. — И ты преспокойно можешь выпить кофе и шваркнуть чашку без блюдца куда угодно, и тебя при этом не коробит, не трясет, твое эстетическое чувство молчит и позволяет тебе это сделать — человеку, который только что говорил о Шпенглере. Как это можно понять, ну скажи? Что мне думать о тебе прикажешь?

Тайво сказал что-то резкое по-эстонски, Рейн умолк на минуту, и они все на него набросились, а Виталий сидел в стороне от стола, совсем один в кругу своей растерянности и задумчиво смотрел на чашку, валяющуюся на боку на блюдце, куда из нее стекал остаток кофейной гущи. Ему неожиданно пригрезилось воспоминание о том, как фрау Ханна приучает его держать в

правой руке нож, ловко выхватывая у него из рук вилку всякий раз, когда он норовит захватить ее правой рукой, послевоенный нищий ледяной Петербурх поплыл перед его глазами, и он почувствовал, что в них погорячело — встал и пошел из гостиной в холл, поднялся по лестнице к себе в комнату, лег на постель и слушал ветер, начавшийся дождь — а они все кричали и кричали там, внизу.

На лестнице послышались шаги. Он определил по походке — тяжеловатой, полумужской, небрежной — что это Карин, она ступила на веранду и приблизилась к его двери. Чуть-чуть приоткрыла дверь, закрыла снова и постучала довольно решительно: даже если бы он спал, должно быть, проснулся бы. Но он не спал, в комнате было сумрачно, густо-серо, влажно, дождь снова закапал, трепыхнулись занавески с негритянскими головками, когда вошла Карин и села на его топчан. Она была в джинсах и майке, перепоясана свитером с болтающимися спереди рукавами.

— Холодно, — поежилась она. — Неужели лету конец? — Достала из заднего кармана плоскую бутылочку и поставила ее на пол.

Виталий молчал, рассматривая ее интересно освещенный блеклым светом силуэт на фоне окна.

— Повеситься можно, — сказала Карин, — как все мелко. По-моему, надо самим справляться со своими проблемами. Не понимаю, почему мне не дают этого сделать.

Надо думать, она имела в виду свои три попытки к самоубийству, три «привода» в психушку, на основании которых ее родственники угрожают отобрать у нее по суду сыночка, что коротал теперь две смены в детском

лагере в Эльве. Родственники Карин делали, делали вид, что она не пьет, что им ничего об этом не известно, что она — почтенная представительница одной их лучших семей Эстонии, и вдруг сразу, когда она в третий раз попала в психушку, напившись снотворных таблеток, пригрозили ей судом.

— Это уже значит, я семь покрывал станцевала, — говорила тогда Карин, — если они решили выдать свое болото на позор.

Теперь она вытянулась рядом с ним на топчане и погладила его волосы.

— Ты не думай, — сказала она нежным голосом, — я не питаю к тебе биологической неприязни. — Развязала рукава свитера, живо скинула тапочки и джинсы и нырнула под одеяло, вытащив его недюжинным рывком из-под Виталия так, что он едва не скатился с постели.

— Послушай, Карин, — сказал Виталий, поднимаясь и подсовывая одеяло под ее голую загорелую ногу. — Ты снова тощищу себе хочешь нажить?

— Чего нажить? — переспросила Карин, потянув его за руку.

— Тоску, — сказал Виталий, присев на край топчана и перехватив ее руку так, чтобы хоть он ее за руку держал, а не она его. — Я не хочу, чтобы тебе из-за меня было паршиво. Я к тебе очень хорошо отношусь.

— Ну и я к тебе очень... Ты разве сомневаешься?

— Карин... Тебе нужен человек, который мог бы защитить тебя от жизни.

— Что ты не этот человек, мне ясно, — засмеялась Карин и, отвернувшись, потянулась за бутылочкой.

Хлебнув из нее, она ее завинтила и поставила на полку в изголовье постели.

— Ты просто бравируешь, — сказал он, обнимая ее.

— Витек, я похожа на сумасшедшую? — припала к нему Карин. — Я что, по-твоему, не понимаю, что мне уже никто не поможет? Только мне уже никто и не нужен... Прошел тот момент. Прошел, Витек. Я сама себе госпожа и хозяйка, чего и тебе желаю. Тебе этого очень не хватает, Витек. Ты пока еще несчастный... А я уже нет. Вот! — и она ласково прикоснулась губами к краю его губ, и он обнял ее покрепче, отгоняя от себя мысли, чтоб не вышло конфуза, черт подери, и Карин сказала ему в конце концов снисходительно-насмешливо и тепло, как говорила своему мальчику, наставляя его на пути истинные:

— Вы все как советские экскаваторы. Никакого понятия. Жалко, что ты скоро уезжаешь. Тебя бы обтесать, глупый. Совсем школьник.

Они не обратили внимания на то, что внизу уже некоторое время было тихо, не слышали шагов, и стук в дверь раздался совершенно неожиданно. Виталий вздрогнул и испуганно приподнялся на постели.

— Йа, — сказала Карин. — Входи.

В двери показался Рейн. Он сощурился и долго вглядывался в представшее перед ним. Потом вошел, прикрыв дверь, и присел на топчан со стороны Карин, сразу потянувшись к бутылке: и как только он ее углядел в таком сумеречном освещении.

— И самое интересное, — сказал Рейн, — что я ее любил ведь, эту шалаву, — он по-родственному хлопнул

то место одеяла, под которым рисовалась длинная нога Карин. — Тебе это известно?

— И откуда ты только все эти словечки да присказки знаешь, — без всякого подъема заметил Виталий, которого всегда поражала прыткая русская речь Рейна, чрезвычайно чистая и быстрая, даже ускоренная какая-то.

— А что ж ты думаешь, наших отцов и дядьев не гоняли по сибирским трактам, голубчик? — без всякой агрессии откликнулся Рейн и продолжал начатый монолог: — Серьезно любил, благородно, рыцарски... Когда она втюрилась в этого дебила Отта, своего муженька. И потом любил, когда она из-за него руки на себя наложила, и я таскался с ней по всем кабакам города Таллина и заливал ее горе водицей... И потом еще ее любил, когда она показала мне нос и отчалила с одним мерзавцем из Пярнусского театра... Ты, небось, не знаешь этой истории. Это ее второй психушечный привод был, дуры безмозглой. Да я и сейчас ее люблю, только чего я ей простить не могу, так это Ивара... Ангел был, а не мальчик. А сейчас — видишь, что стало? Конченный человек. Из вырезвителей да из больниц не вылазит. Институт бросил — ты разве не знаешь? Вот так-то, не лезай в воду, не зная броду, дурак. Думаешь, Рейн Вятесмяэ тебя ненавидит, третирует тебя? Рейн Вятесмяэ на тебя изумляется — и-зум-ля-ется, понял? Как можно еще во что-то верить и что-то в себе сохранить, в такой стране живя? А ты сохранил, я же вижу, чувствую. Как? Каким образом? Что у тебя в башке — ничего не понимаю, хоть убей...

— Не надо быть предателем, — сказала Карин, включая лампочку у изголовья лежанки. Маленький розовый свет обыскрил ее стриженую голову, упал на поникшие плечи Рейна, притемнил окно, отгородил комнату от соснового смарагдового фона.

— Это я-то предатель, я-то, а не ты-то? — унылым риторическим тоном откликнулся Рейн.

Карин подскочила на кровати и, натягивая майку, начала орать на него по-эстонски — сущая трамвайная хамка, очень экстравагантная. Рейн вскочил на ноги и тоже начал орать и махать руками. Виталию надо было выбраться как-то из-под одеяла — он был здесь явно не при чем. Он потянулся за махровым халатом Тайво, висевшим на крючке, Карин предупредительно, автоматическим жестом помогла ему снять его, продолжая обжигать Рейна словесными очередями. Виталий не испытывал к ним больше ни вожделения, ни обиды, в душе его стало вдруг неслышно тихо — тишиной равнодушия. Он надел халат, вылез из-под одеяла и вышел из комнаты. На веранде было уже совсем серо. Дождь тихо посвистывал мелкими, редкими росинками. Виталий спустился в холл — там никого не было, из темной гостиной доносился запах смолистых поленьев, виден был отсвет камина на стене. Интересно, где могли быть дети? Он надел кеды, валявшиеся в куче обуви у лестницы, и вышел прямо в халате под дождик. »Потом высушу», — подумал он и пошел к морю.

Вода оказалась не так холодна, как ожидалось. На пляже кое-где горели костры — два-три нешибких дымящих огня вдоль побережья. Их жгли, должно быть, туристы. Дождь, и правда, был очень маленький. Не-

ожиданно в поле зрения оказался знакомый силуэт Тайво. Он положил на поваленное дерево полотенце и стал раздеваться. Трудно было определить, видел ли он Виталия. Виталий поднялся с коряги и пошел туда, где Тайво уже брел по лодыжку в воде и хлопал себя руками по бокам.

Двадцать лет назад они стояли вдвоем на башне Гедимины в Вильнюсе и смотрели на город, на зеленую травку у основания башни, и Тайво сказал:

— Мы с тобой никогда не забудем, наверно, этот момент — когда мы стоим вдвоем, и смотрим на одни и те же вещи, и чувствуем одно и то же, хотя это и трудно выразить словами. Я просто вот чувствую, что мы братья, и вдруг встретились — так неожиданно, так счастливо! Вот так у меня как-то в душе. Нет?

— Да, точно! — сказал Виталий.

Сейчас же, подходя к тому месту берега, от которого все дальше и дальше в море уходил Тайво, Виталий думал — зачем, почему я здесь? Зачем здесь Рейн, Марре на своем автомобиле «цвета белой ночи», которым она так хвасталась? С какой стати здесь Ивар, ничем серьезным не занимающийся парень под тридцать? Что они трудяге Тайво, без пяти минут доктору, по четыре месяца в году проводящему в экспедициях? — а они и в то время, время его отсутствия, умудряются сидеть гуртом в его теплой таллинской кооперативной квартирке в Пирита или здесь, на даче в Кабли... Что у них общего, да и есть ли? А что же тогда их держит вместе? Дачу никто из них строить ему не помогал — кооператив нанял столяров и каменщиков, и все было сделано в лучшем виде, в финском духе, как говорит Карин; доставать

колбасу-икру-тряпки, что очень сближает некоторого рода жителей России, в этой компании вообще не культивируется... Может, именно это и сближает? И еще — кто его знает, о чем они говорят по-эстонски в его присутствии? Может, у них общие национальные идеи, общая этическая, философская платформа? А у него с Тайво? Черт его знает... Что-то, что-то есть... У него, по крайней мере, с Тайво.

Он вошел в воду и направился к Тайво, подбирая полы халата. Ему хотелось поговорить с ним.

БЕЗДЕЛЬНИКИ, ЧРЕВОУГОДНИКИ, ПРИЖИВАЛЫ

По утрам за отцом заезжал армейский газик и увозил его на службу в академию. Саши в это время уже не было дома — она училась в первую смену. Виталий просыпался по будильнику, который звенел через коридор от них с Сашей, в спальне родителей. Отец сразу нажимал на кнопку и вставал, мать оставалась в постели. Отец приходил к ним в комнату, будил Сашу, стараясь не шуметь: просто трепал ее по плечу и целовал, наклонившись. Она шевелила головой, садилась, вытягивала вверх руки и жмурилась. Отец уходил на кухню, зажигал там плиту и ставил чайник. Иногда из спальни доносился голос матери:

— В холодильнике винегрет, пусть доедают...

Отец старался ходить по комнате тихо, чтобы его не будить, и он делал вид, что его не будят и что он спит. За окном стояла темень, в которой шаркали ногами прохожие. Валик его дивана загораживал лампочку под белым абажуром, которую включали у Саши над кроват-

тью. Она шуршала трусиками, чулками в резиночку, застежками и наконец выходила в коридор, щелкнув его по голове двумя пальцами. Он молчал и делал вид, что спит. Он был как гость в этом доме. Трудно сказать, отчего это было. Может, потому, что он долго прожил без них, особенно у бабушки на Лесном... Дом был теплый, у его дивана находилась в стене голландская печка, которая не топилась ввиду работающего парового отопления, но была начищена, сияла латунно и замечательно. Утренний мир, в котором он одиноко участвовал, укрытый по подбородок одеялом, был отменным. Пахло фиалкой, холодная струйка промозглого воздуха из форточки, которую первым делом распахивал отец, обвеивала лоб, надувала мгновенные полнометражные сны о жизни, протекающей где-то там — в городе, в мире — в его отсутствие, и хотелось вставать и побыстрее в нее включаться.

Когда уходила в школу Саша и уезжал отец, он шел на кухню, доедал винегрет, пил чай, потом умывался и чистил зубы. Он теперь подолгу причесывал свой чубчик мокрой расческой — в ванной находиться было очень приятно, тускло горела лампочка в стеклянном колпаке, тихонько жужжала вода в газогрее, в зеркале на стене туманно отражался его лоб со светлым взвихренным чубом, который он обихаживал, укладывая его вбок и вверх, как у порядочных молодых людей, коих он наблюдал в кинематографе. Он стал носить длинное пальто и кепку, обматывал шею шарфом вдвое, беспокоился о перчатках — не потерял ли, поднимал воротник до затылка.

Женька Сухарев почти у него не бывал — он сам ходил к нему, но разумеется, теперь они виделись не столь уж часто. Было такое ощущение, что Женьке как бы нечего у них делать — сразу же, как только он впервые переступил порог дома на Марсовом Поле и сестра Саша сказала ему «здрасьте», поджав губы, в воздухе как бы повисла скука, которую усугубила мать, принеся им в столовую тарелку с бутербродами и чай. Но они ходили порой в кино, как в добрые старые времена, все в ту же «Аврору», обменивались книжками, и вообще на улице им по-прежнему было о чем поговорить. К тому же Виталий в новой школе начал играть в баскетбол.

Причесавшись, он садился учить уроки, а в соседней комнате начинал «говорить» телефон — мать вела там свою особую дневную жизнь, протекавшую неспешно и противно. От нее пахло перегаром, духами, к ней приходила парикмахерша, ее часами причесывали, стригли ей ногти, даже и на ногах, они вели тошнотворные душевные разговоры, причем Виталий ясно чувствовал, насколько они лживы и льстивы со стороны парикмахерши, с которой мать пыталась обсуждать романы Вершигоры, Вирты и Симонова, бывшего ее кумиром. Она давала парикмахерше почитать какие-то отдельные номера «Знамени», «Октября» и «Невы», которые они с отцом выписывали регулярно, так же, как и газеты, «Известия» и «Правду». Для детей — для него и сестры — выписывалась «Комсомолка». Виталий пытался ее читать, но у него ничего не получалось: он почти не понимал газетного языка. Он решил, что молод еще, слишком это, наверно, серьезные государственные дела — газета.

Мать время от времени опрокидывала рюмочку, стоявшую тот же рядом, на столе, и угощала парикмахершу Лидочку, но та отказывалась, а потом, после прически и маникюра, мать давала ей сотню и просила сходить в магазин, и та соглашалась.

В магазин ходила и прачка, Наталья Ивановна, но покупала продукты, водку — почти никогда. Но вот именно почти, потому что иногда покупала. Это все казалось загадочным для Виталия — они же знают, что мать губит себя, что пить ей нельзя, запрещено отцом и врачами, и они в такой любви непрестанно объясняются друг с другом — особенно Лидочка с матерью, почему же не отказаться, не сказать: «Простите меня, Мария Федоровна, я не могу этого сделать, я спешу на работу», как говорит она иногда, когда мать просит и Наталье Ивановне сделать прическу, берясь за нее заплатить.

Мать не ходила почти никуда. Хотя собиралась часто, иногда даже доходило дело до покупки билетов в филармонию или Мариинку. (Их покупал у себя на работе отец). Но за полчаса до того, как надо было выходить или по крайней мере вызывать такси, она говорила:

— Виточка, сбегай к бабушке, снеси ей билеты, что-то мне не можется сегодня, куда уж мне такой развалине в балет...

Ему было ужасно стыдно, но в то же время он знал, что бабушка обрадуется и пойдет, прихватив по дороге Дору Константиновну, и что скорее всего они опоздают — «немножко, едва упростили билетершу впустить потихонечку», но все равно никогда не догадаются, как и почему все это так делается: бабушка понятия не имеет

и не может иметь об обстановке на Марсовом. Она почти у них не бывает. Ее приглашают специально, на Седьмое Ноября, на Первое Мая и на отцов день рождения, и мучительно слушать, как родители никак не могут выбрать день и час, когда ее принять:

— Ну не седьмого же непосредственно, вместе со всеми, — фальшивым голосом говорит мать. — Зачем старой женщине, да еще такой тихой и хрупкой, как твоя мать, сидеть тут с твоими солдафонами и слушать, как они песни горланят... ей, театралке, меломанке старого воспитания это ни к чему... Она от ужаса заикаться начнет, вас послушав. Да тут еще твои немцы, вечно они на седьмое приезжают. Я думаю, мало приятного старой ленинградке, пережившей блокаду, видеть твоих процветающих немцев... Я думаю, ее надо позвать восьмого днем, чтобы часам к шести она уже ушла. Потому что не может же быть, чтобы и восьмого кто-то не нагрязнул.

Наконец, время выбрано, бабушка приходит с Ириной, их с Сашей сестрой, вернувшейся из Свердловска, из детского дома — можно пригласить и твоего Женю, говорится ему, вообще, ваших с Сашей друзей, на что Саша неизменно цедит сквозь зубы:

— Нет у меня никаких друзей, а были бы, так я от стыда бы умерла вас им показывать. Меня оставьте в покое, не вмешивайте. Меня и дома не будет, учтите. Можете тут без меня очки бабушке втирать. Я не желаю вас покрывать, врать не желаю. Оставьте меня в покое.

Итак, бабушка приходит с Ириной.

Мать, как правило, в постели — она «приболела», но на столе в столовой накрыто, в доме орудовала Нататля Ивановна.

Ирина — грустное существо. Она некрасива, бледна, даже голубовато ее круглое, как у матрешки, лицо с круглыми большими глазами, глядящими кротко, преданно и восторженно-благодарно, так что хочется под диван залезть от ее взгляда. Она везде подолгу топчется, начиная с прихожей, и производит только те действия, которые ее упрашивают производить:

— Ну входи же, входи...

— Проходи сюда, Ирина...

— Раздевайся, Ирина... Снимай шубку, шапочку...

На Ирине кроличья серая шубка, Сашина, такая же шапочка с бомбончиками на концах шнурков, которыми она завязывается под подбородком, и такая же муфта. На ногах у нее фетровые ботинки, такие же, как у бабушки, только маленького размера. Бумазеевые шаровары под школьной формой, которые она снимает в прихожей. Она ровесница Виталия, даже чуть постарше его, но ему она кажется недоразвитым существом младшего школьного возраста.

— Садись сюда, Ирина...

— Ешь, Ирина...

Всё, больше ни одного движения она не делает сверх продиктованных действий, ни одного слова не скажет, даже в туалет не сходит, пока находится у них в гостях. Бабушка рассказывает, как хорошо Ирина окончила четверть — всего две тройки, остальные четверки, и Саша, которая никуда не уходит, потому что ей абсо-

лютно некуда уйти из дому на праздники, а сидит тут же, за столом, говорит:

— И ни одной пятерки? — таким изумленно-надменным тоном, словно сама она не знает других отметок. На самом деле это не так. Переехав к родителям, Виталий с изумлением обнаружил, что Саша — хорошистка, чего он никак не мог предположить, настолько она производила на него впечатление совершенной особи. Это значило, что она училась на четыре и пять, без троек. При этом Виталий ловил себя на том, что произвольно относится к людям с тройками, даже с непомерным количеством четверок, особенно к тем, кто старается и зубрит, как к существам низшим, и у них немедленно состоялся с Женькой разговор о равенстве.

— Что же получается, — сказал ему Виталий, — что в природе никакого равенства нет? Вот Саша красавица, а Ирина — нет. Вот ты отличник, а я — нет. Значит, нам Бог дал сразу же не поровну?

— В определенном смысле да. Но в определенном и нет. Вот, скажем, ты мне дашь в глаз, или я тебе — больно будет одинаково. Все мы смертны, в этом наше величайшее равенство, и сравниться с этим никакое неравенство не может. В страдании все мы равны.

— А если все-таки придумают что-нибудь, чтобы человек стал бессмертен, пока мы вырастем? Наука ведь страшно работает сейчас над этим... Тогда останется одно неравенство?

— Трудно сказать... Мир настолько изменится от подобного открытия, что его надо будет осмысливать заново. На это уйдет, может быть, еще тысяча лет.

— Неужели они допустят, чтобы Сталин умер?

Женька помрачнел, и Виталий помрачнел тоже.

— Сразу видно, что ты не ленинградец.

— Почему? — покраснел Виталий.

— В Ленинграде столько умерло людей... Кто-то же в этом виноват?

— Гитлер, конечно.

— Так что, по-твоему, и Гитлера наука должна была бессмертным сделать?

Помолчали.

— Дилемма, — сказал Виталий, и Женька усмехнулся коротким жестким смешком.

— Простые деревенские ребята, — объяснял отец бабушке про свою академию, — офицеры-воспитатели перво-наперво их приучают в общежитии ноги на ночь мыть...

— Деревенские люди очень опрятны, — качает головой бабушка. - По крайней мере в наших северных деревнях, сколько я помню.

— Что ты там можешь помнить, — машет рукой отец. — Разоренные черные избы с гнилой соломой вместо крыши? Да и видела-то ты петербургские дачи, а не русские деревни. Приживалы вы все были при большом нищем народе. Да и сами вы были нищие, только гонору хоть отбавляй.

Бабушка поджимает губы и ничего не отвечает.

Наконец, появляется-таки мать. Она в атласном халате с красными и синими цветами по черному полю, держится за голову. Подойдя к бабушке, обнимает ее и вдруг из глаз ее начинают капать слезы.

— Плохо мне, мама, — говорит она бабушке. — Опять на вас детей, боюсь, оставляю. На старенькую. Что

же вы такие скучные? — восклицает она вдруг капризным тоном. — Саша, Виталик, что вы головы повесили и смотрите на Ирину букой? Саша, поиграй на пианино, включите приемник... Для чего ты, интересно, учишься в музыкалке?

Отец поспешно включает приемник, находит первую программу, и раздаётся какое-нибудь пение, вроде: Простор голубой земля за кормой гордо реет над нами флаг отчизны родной. Вперед мы идем и с пути не свернем потому что мы Сталина имя в сердцах своих несем!

Воспоминания об отчем доме накрепко связались у Виталия с песнями такого рода. Теперь неясно, когда их перестали петь — вождь умер в марте под эти песни, потом менялись в них слова, но дух этих песен не менялся никогда — дух его школьного детства.

На улице начинает быстро темнеть, свет в столовой давно зажжен, и бабушка торопливо собирается в дорогу. Они с Ириной одеваются, мать кладет им в большой бумажный пакет с надписью «гастроном» бутерброды, завернутую в пергаментную бумагу ветчину, коробку с пирожными из «Севера». Саша стоит в прихожей, облокотившись о дверную притолоку — поза ожидания их ухода, навсегда врезавшаяся в память... Да была ли когда-нибудь Саша у бабушки на Лесном? — он никак не может этого теперь припомнить. Мать завязывает на Ирине шапку, поправляет ей волосы, чтобы не падали на глаза — засовывает их под шапку. Виталий тоже одевается, и они уходят. На улице синие сумерки конца ноябрьского дня, стынет густой синий воздух над Марсовым, продуваемым из конца в конец ветром, горят лам-

почки иллюминированного Ленэнерго. Они пускаются в путь по Лебяжьему мосту пешком до Литейного — бабушка ходит еще бодро, маленькими шажками, как девочка. Ирина шагает степенно, вдумчиво, осторожно, с другой стороны от бабушки, как бы даже боясь оказаться рядом с Виталием. Они доходят до трамвайной остановки на углу Пестеля — здесь болеелюдно, и становится чуть-чуть повеселее. Притягательно светят окна в больших старых домах, кажется, что там должны жить какие-то совсем другие люди, чем те, которых он знает, — жизнерадостные, умные, у которых много интересного в жизни. Не для них носит по голой Фонтанке ветер остатки сухих сморзшихся листьев, не им обвеваает ноги сварливый холодный воздух, не им поднимать воротники и мечтать оказаться где-нибудь подальше отсюда, где время не плывет мимо тебя под черным флагом нечеловечности, бессмысленности всех твоих ежедневных действий... Где? — неизвестно. На соревнованиях по баскетболу, например.

Они приезжают к бабушке, Виталий раздевается, ходит по комнате: на его столе, где он учил уроки, сладострастно подражая бабушке за ее библиотечной конторкой, аккуратной стопкой сложены тетрадки Ирины. Он берет их в руки, заглядывает в них. От них веет старательностью и бездарностью. Сама она немного оживляется дома, бегаёт в тапочках по коридору и даже прокатывается, как по льду, по дороге на кухню. У соседней пищит младенец. Виталий подходит к окну и смотрит на темный запорошенный снегом двор с не залитым еще катком. Неужели все забыто, ушло и никогда не вернется? Что же это — все? Не поймешь, не уловишь.

Он стучится к соседям, они обнимаются с ним, говорят, что он растет не по дням, а по часам. И правда, он чувствует, что изменились масштабы их комнат, они сами... Из больших, взрослых, всемогущих они превратились в маленьких замотанных людей с морщинами у глаз и беспомощной неказистостью жалкой одежды, обстановки... Простые работяги.

Им включили паровое отопление, печку топить больше не нужно, отпала необходимость в угле, дома ему делать нечего — там наверняка уже пришли отцовские сослуживцы, с которыми очень скучно: они теперь говорят сумрачно, серьезно, все спорят о том, что будет, что может быть — сократят или не сократят армию, придется или не придется им уходить на пенсию, но Виталия это не задевает, поскольку он считает, что отец с матерью живут очень плохо, а с ними и он, и сестра Саша, и хуже им быть не может.

Чтобы доставить бабушке удовольствие, он спрашивает у Ирины, что им задали по физике, и та с готовностью открывает тетрадь и достает учебник. Он решает с ней задачки, потом подходит к книжному шкафу, рассматривает свои книги: «Дети капитана Гранта», «Робинзон Крузо»... Детство. Но у Саши, отмечает он про себя, и этого нет. Читает про суворовцев, про нахимовцев. А в школе проходит «Рудина», «Отцы и дети». Впрочем, это уже было. Что она читает сейчас? Кажется, Веру Панову. К бабушке в библиотеку она не ходит, но иногда просит его взять какие-нибудь книги по школьной программе. Серой, непроницаемой юдолью скуки представляется ему вся жизнь, бывшая и предстоящая. и он уходит от бабушки в самом паршивом расположе-

нии духа. Но домой ему тоже ни к чему, и он идет к Женьке Сухареву.

Время течет под ногами, он чувствует его тяжелый, уносящийся мимо поток, медленно, с трудом переступая ступени — по две сразу — в Женькином третьем подъезде.

ТОСКА ОЧЕНЬ СВЯЗАНА С ОТТАЛКИВАНИЕМ ОТ ТОГО, ЧТО ЛЮДИ НАЗЫВАЮТ ЖИЗНЬЮ, НЕ ОТДАВАЯ СЕБЕ ОТЧЕТА В ЗНАЧЕНИИ ЭТОГО СЛОВА. В «ЖИЗНИ», В САМОЙ СИЛЕ ЖИЗНИ, ЕСТЬ БЕЗУМНАЯ ТОСКА. «СЕРА ВСЯКАЯ ТЕОРИЯ И ВЕЧНО ЗЕЛЕНО ДЕРЕВО ЖИЗНИ». МНЕ ИНОГДА ПАРАДОКСАЛЬНО ХОТЕЛОСЬ СКАЗАТЬ ОБРАТНОЕ: «СЕРО ДЕРЕВО ЖИЗНИ И ВЕЧНО ЗЕЛЕНА ТЕОРИЯ». НЕОБХОДИМО ЭТО ОБЪЯСНИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ВЫЗВАТЬ НЕГОДОВАНИЯ. ЭТО ГОВОРЮ Я, ЧЕЛОВЕК СОВЕРШЕННО ЧУЖДЫЙ ВСЯКОЙ СХОЛАСТИКИ, ШКОЛЬНОСТИ, ВСЯКОЙ ВЫСУШЕННОЙ ТЕОРИИ, УЖ СКОРЕЕ ФАУСТ, ЧЕМ ВАГНЕР. ТО, ЧТО НАЗЫВАЮТ ЖИЗНЬЮ, ЧАСТО ЕСТЬ ЛИШЬ ОБЫДЕННОСТЬ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ЗАБОТ. ТЕОРИЯ ЖЕ ЕСТЬ ТВОРЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ, ВОЗВЫШАЮЩЕЕСЯ НАД ОБЫДЕННОСТЬЮ. ТЕОРИЯ ПО-ГРЕЧЕСКИ ЗНАЧИТ СОЗЕРЦАНИЕ. ФИЛОСОФИЯ (ВЕЧНО-ЗЕЛЕНАЯ ТЕОРИЯ) ОСВОБОЖДЕНА ОТ ТОСКИ И СКУКИ «ЖИЗНИ». Я СТАЛ ФИЛОСОФОМ, ПЛЕНИЛСЯ «ТЕОРИЕЙ», ЧТОБЫ ОТРЕШИТЬСЯ ОТ НЕВЫРАЗИМОЙ СКУКИ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ. Николай Бердяев. УМСА PRESS 1949

В десятом классе — Саша училась уже в электротехническом им. Ульянова (Ленина), так всегда дома и произносилось название вуза, с величайшей гордостью — отец обнаружил у Виталия на диване «Имморалиста» Андре Жида, и дома разразился величайший скандал,

может быть, самый даже крупный и надрывный из всех домашних скандалов, которыми они время от времени «пускали себе дурную кровь», как объясняла это Наталья Ивановна, прачка.

— Откуда у нас в доме могла оказаться эта мерзость? — строго спросил его отец, потрясая книгой Жида, когда Виталий вернулся однажды вечером от Вадика Целикова, где они слушали новую пленку с Дейвом Брубекком и Дизи Гиллесли.

Виталий опешил. До сих пор отец, казалось, совершенно не вникал в мир его интересов, и Виталий полагал достаточно очевидным то, что интересы эти вне компетенции отца — слишком уж по разным концам разнесло их за столом жизни, обидно, Виталию всегда это было немного обидно, но что уж тут поделаешь, так сложилось. И тут такая неожиданная атака.

— Это моя книга, — спокойно постарался ответить он, но голос его с самого начала дрогнул.

— Откуда ты ее мог взять, эту мерзость? Кто снабжает тебя запрещенкой? Назови мне этого мерзавца!

Саша хихикнула, лежа на своей кровати в халате поверх одеяла с «Очарованной душой» Ромена Роллана в руках.

— Ты что, знаешь, кто ему дал эту книгу? — повернулся к ней отец.

— А где он вообще все книги берет! — скорее утвердительно, чем вопросительно откликнулась Саша со своего ложа, не меняя позы и не вынимая изо рта мизинца, который она упорно, параноически обгрызала вокруг всегда объединенного ногтя.

— А где он берет все книги? — растерянно спросил в свою очередь отец.

— А ты его спроси, — ответила сестра. — Спроси, где он берет все свои книги.

— Где ты берешь книги? — почти дружелюбным, спокойным тоном спросил отец, будто это вдруг его действительно заинтересовало с чисто познавательной стороны.

— Это моя книга! — с неистовой яростью вдруг бросился на книгу Виталий, но отец не выпустил ее из рук и спрятал за спину. Из рта у него пахло обедом, кислой капустой, рюмкой коньяку.

— Где ты ее взял, вот что я спрашиваю, — сказал он. — Тебе известно, кто этот человек?

— Конечно, известно! — горячо выпалил Виталий. — Потрясающий писатель, умница, лауреат Нобелевской премии, французский Достоевский...

— Вот, вот, — сказал отец. — Полный набор гнили. Да будет тебе известно, что он враг, злопыхатель, обливал грязью Советский Союз. Ты же еще не жил тогда на свете, ты ничего не знаешь... Это злейший наш враг, фашист, а ты его ко мне в дом! Мой сын!

И он немедленно схватился за валидол.

— Но я хочу знать! — попробовал как можно спокойнее, но твердо поговорить по существу Виталий. — Понимаешь, папа, я хочу сам все знать и сам обо всем думать. Пойми, папа, ум на то и дан, чтобы проникать по всем направлениям, и вверх, и вниз, и вправо, и влево... Меня не устраивают ваши этикетки на непроницаемых свертках в черных пакетах. Очень жаль, если ты так же воспитываешь своих деревенских отпрысков, на-

биваешь им голову опилками. Это ложь, пойми. Мысли о том, о чем пишут люди, которых вы запрещаете, все равно приходят нам в голову. И будет только хуже...

Он остановился, потому что отец хватал ртом воздух, страшно вытаращив глаза, и у Виталия успела мелькнуть ужаснувшая его мысль, что вот сейчас у отца будет сердечный приступ, и он, Виталий, станет его убийцей. Держась за сердце, отец кричал:

- Бездельники! Чревоугодники! Приживалы! Тешить бреднями себя, вместо того, чтобы у станка... в поле... Народ свой кормить, одевать, защищать... Дело делать! Дело! Руками шевелить, а не языком мести, как помелом... Только удовольствий ищите в жизни! Неужели ты не понимаешь, что весь этот твой джаз, все эти твои книги — опиум для души, все вы наркоманы ума и чувств. Что если вам дать волю, вы проваляетесь с книжкой в руках всю жизнь, не поднимаясь с дивана... Что вы — саранча, настоящая саранча на шее трудового народа. Чтобы духу этой книги здесь не было, слышишь, духу — и подобных ей книг, иначе можешь убираться куда угодно, к своей милой бабушке в ее курятник, это будет тебе даже полезно — пойди, поработай, прокорми их с Ириной, сразу узнаешь, что почем... Тунеядцем растешь на отцовских хлебах — и отец еще у тебя и лгун! Я, о котором никто слова худого за всю жизнь не сказал, кроме благодарности, от людей ничего не слышу — и вот, дождался от собственных детей... Мог ли я когда-нибудь думать!

— Это все бабушкино влияние, — раздался вдруг из столовой голос матери, раздраживший Виталия как никогда: он спокойнее всего чувствовал себя, когда за-

бывал об ее существовании, хотя бы ненадолго, и сейчас, во время перепалки с отцом, он меньше всего о ней помнил. А она, оказывается, все время была там, за открытой дверью, в столовой, неизвестно, под каким градусом. — Говорила тебе, не надо его к бабушке отправлять, она его барчуком воспитает... Вот и любуйся.

— Но и там буржуазный дух еще плотно держался, я же сто раз тебе объяснял!

— Надо было его в Харьков отправить, к тем дедкам.. Я тебе говорила!

— Кулак бы вырос, тоже хорошего мало.

У Виталия саднило в душе, он запомнил слово в слово все, что говорилось в этот незабываемый вечер в отчем доме, один из худших в его душевной, неблагодарной памяти, пытающей его постоянно, сколько он себя помнит, адреналиновыми разливами раздражения и злобы, испытанными в детстве, в юности и надиктовавшими ему о себе представление как о чудовище, монстре с нечеловеческой внутренней повадкой, душевнобольном. У него почти не было того, что называют светлыми воспоминаниями детства. В сущности, ему всегда хотелось любить своих родителей, и он чувствовал себя несчастным.

Хотя можно было к этому времени понять уже все слабости отцовского сознания и то, что его не переделаешь — отнестись к ним снисходительнее, спокойнее, сочтя его жертвой эпохи, в которую он вырос и воспитывался, не спорить с ним, махнуть на него рукой... Но в том-то и дело, что не было еще никакого ясного понимания эпохи, он был один на один с собою, со своей

бедной совестью, которой не на что было опереться, и она металась а потемках своих противоречий.

Еще раньше, осенью пятьдесят шестого года, отец пытался утаить от них газету с докладом Хрущева. Вынул ее из почтового ящика и спрятал. На обычный вопрос матери — «А где же сегодняшняя «Правда», ты что, на работе ее забыл?» — отец, забравший по утрам газету из почтового ящика, наивно соврал, что сегодня газеты не было, видно, почтальонша проштрафилась. Виталию это было смешно, он все уже знал о специальном выпуске «Правды» на четырех разворотах: ею махал после уроков один мальчик из девятого-Е, и Виталий пошел к бабушке в библиотеку, где попал как раз на чтение доклада Крестниковым И. М., 1887 года рождения, дружкой Доры Константиновны, пришедшим специально для этого. Отец же возвращался с работы поздно, в девять, а то и в десять вечера, и на что он мог рассчитывать в своем наивном порыве, трудно предполагать — может быть, что назавтра выяснится, будто все это — и сталинские репрессии, и вчерашняя «Правда» — было дурным сном, и все опять отменят.

Учителя в школе долго молчали, но потом постепенно взяли курс на новую линию партии, и отец начал с такую же пеной у рта, как и раньше, ратовать за кукурузу. Пока в шестьдесят втором году не покончил с собой его бывший фронтовой товарищ в Новочеркасске, отказавшись расстреливать рабочую демонстрацию. Первый инфаркт отца, по убеждению Виталия, был вызван этим известием. Он месяц пролежал в больнице и прямо среди учебного года поехал в санаторий Ворошилова.

МИТЯ

*Так и узнал я однажды про этого «божьего
зверя, господня волка...*

И. Бунин

Темнело, она выходила на улицу под тополя и айланты, накинув шерстяную жакетку, вязанную бабушкой, в чистом вечернем воздухе жизни звучали голоса, за деревьями мелькала чья-то белая рубашка — Жюльен Соррель, ведут на казнь, Я — ТЕБЕ, один другому выносит смертный приговор, двое подходили друг к другу с лицами, смелость любовных гримас на которых поражала: она воочию видела миг, когда люди забывали о том, что они некрасивы, и вели себя, как красивые, как отборные особи, как в кино. Они хотели, они настаивали на том, чтобы мир продолжался ими, такими, как они, и никто не мог помешать им в этом.

Она, в девятнадцать лет, чувствовала себя неспособной на любовную гримасу и тихо шла под тополями улицей девятнадцатого века, неизвестно куда, в очах своей души рисуя другой век, другой вечер и человека в полном смысле слова, и душа ее незаметно для нее самой вписывалась в те картинки, в тот век, вступала в равноправное общение с теми людьми, и она не знала, каким век этот был по счету, был ли он прошедшим или только будущим — он был бессчетен, лишен вещных примет.

А когда прогулка кончалась, она приходила в университет, ей становилось грустно, будто накануне ее опоили отравным зельем.

Она изо всех сил нажимала на кнопки удовольствий, доступных ей, — и становилась той самой Зоей Беловой, которую прочили в мужи на кафедре математики. И никто не подходил к ней под тополями с любовной гримасой, никто не заговаривал, и неизвестно, заговорил ли бы наконец, если бы не Гранатуров, без любовной гримасы, с философского. Был ли Гранатуров влюблен в нее тогда? — этого не знает никто, даже автор, поскольку Гранатурины никогда не говорят о своих чувствах, вообще, ни о чем, лично их касающемся: они говорят только о вещах, удаленных на приличествующее расстояние — не менее чем в век или в несколько сотен световых лет.

Гранатурины могут приходить к вам в гости хоть каждый день, могут сидеть по шести часов на вашем диване ежедневно из года в год, не закрывая ни на минуту рта, они могут даже приносить вам цветы на Восьмое Марта, пластинки Баха и Моцарта, могут каждую неделю приглашать вас на концерт в филармонию, потом исчезают, и вы так никогда и не узнаете (без всякой боли), почему все это было, почему выбрали вас, именно вас: Гранатурины не говорят никогда комплиментов, они просто — они вообще люди запросто, без требовательности и безо всяких претензий — переливают в вас поток — ток — своих непрерывно генерируемых мыслей, будто вы — нагрузка, без которой эта электростанция не могла бы работать. Но почему именно вы? — этого вам узнать не дано.

Гранатурины охотно гуляют с вами по улицам, паркам и скверам — они в большинстве своем перипатетики, охотно и запросто, совершенно между прочим, по-

дают вам пальто и руку, когда вы выходите из троллейбуса, и однажды, идучи с Гранатуровым, вы видите, как он раскланивается с кем-то, высоким и бледнолицым, в несколько экстравагантной шляпе — на улице стоит октябрь, тополя облетели — и Гранатуров, помолчав, говорит:

— Этот тип, между прочим, пообещал царский подарок к Новому Году: кристалл цианистого калия...

Вы изумленно оглядываетесь, но ничего, кроме шляпы, мелькнувшей уже вдалеке, и чего-то удивительно знакомого, не видите — и вы опускаете глаза и начинаете чувствовать, как мокрые листья ускользают из-под ног, походка ваша становится медленной и тяжелой, туман буквально липнет к вашим щекам, тяжелеют даже глаза, но тянет вас почему-то не Гранатурова спасать, а к этой загадочной шляпе, мелькнувшей в однообразном в своем многообразии потоке людей.

И вы понимаете, как вы окончательно плохи, несете в себе корни той же самой черствости и того же самого эгоизма, которые отвращают вас в окружающих.

Но поделаться с собой ничего не можете: в вас просыпается корыстолюбие, вам хочется, чтобы таблетка досталась вам, а не Гранатурову, и Гранатуров, почти единственный на свете, сложивший у ваших ног столько всякой всячины, столько Баха и Моцарта, становится с этой минуты только знакомым шляпы...

Так или иначе наступает день, когда она в гостях у Гранатурова в тот как раз момент, когда раздается звонок — и входит Шляпа: чудесный уличный дух, фея из «Золушки»...

Что за странное стечение обстоятельств, что за умысел стоит за всем этим, что нужно от нас Богу?

— Богу от нас ничего не нужно, потому что его нет.

— Ах, да я знаю. Я же это просто так говорю: я же не знаю, как это называется, чему все это надо и все мы нужны.

— Уверяю вас, никому вы так уж особенно не нужны, кроме разве что одного какого-нибудь идиота, которому вы вдруг покажетесь средоточием Добра, Красоты и Женственности.

Конечно, эта фраза заставляет вас страдать — и вы говорите с болью в голосе:

— Я нужна обществу...

— Ну разве что обществу, — ласково смотрят на вас.

И тогда вы взрываетесь:

— Потому-то вы и обещали Гранатурову цианистый калий?

— А! Да нет, не потому. Я ему дам, конечно, таблетку какого-нибудь пургена — разве жалко? Да он ведь и ее не выпьет. Есть две вещи, очень и одинаково трудные: жить и умереть. И есть одна очень легкая вещь: жить кое-как и ныть о смерти.

— Так вы на самом деле добрый?

— Какое добро! Какое зло! Господь с вами! И этому вас на физфаке учат? Бетховен оказался для него слишком «мясным», Толстой банальным — да что там перечислять, вы, вероятно, и сами хорошо знаете этот набор двадцатилетнего джентльмена, идеалиста и натурфилософа одновременно.

Но Зоя не знала, узнавала впервые, во все глаза, глаза в глаза — а глаза были карие, тенистые, густая русая челка задириста, от Мити веяло ветром, песчаными дюнами и хвойной смолой, чем он и отличался от Гранатурова.

Он проводил ее домой, и это было больно, потому что смолистый ветер проносился мимо и уносился прочь, в дюны, дальние, желанные и недоступные.

Больно было в последовавшее за тем время вспоминать застывшие прекрасные и жутковатые мгновения: вот он стоит, поставив ногу на перекладину стула и, опершись о колено локтем, отвергает Бетховена; вот он несется по улице рядом с нею — торопится сбить ее с рук, и ему абсолютно все равно, поспекает она за ним или нет — никакой разницы между добром и злом, презрение к воспитанности, насмешливый парадокс в каждой фразе; холодные слова — и выражение лица, худого, ласкового, где-то-не-сейчас-задумчивого, а сейчас улыбающегося ей общительно и обрадованно.

Однако, остановившись у детской площадки — они совсем уже подошли к ее дому — он перестал улыбаться, поддел носком башмака совочек в снегу и сказал почти зло:

— Кстати, что вы, собственно, предпочитаете: мертвого льва или живую собаку?

Они долго стояли там, у детской площадки, пока она думала: кто такой мертвый лев? Кто — живая собака? Что надо ответить, чтобы был не лев, не собака, а он, Митя, овевающий хвойным ветром? Она так боялась ошибиться, что даже засмеялась, а он сказал:

— Если бы мы умели говорить правду...

Конечно, все бы они хотели, чтобы им говорили правду — но ах, она ведь повидала уже кое-что на своем веку: у нее ведь была Галя, ее школьная подруга, которая влюбилась однажды, и вела себя по правде, и как ужасно это кончилось! Или что такое правда? Правда — это, наверно, ужасная слабость.

И приходилось выбирать между каким-то ненужным мертвым львом и совершенно неизвестной, рискованной живой собакой...

— Что же теперь говорить об этом великолепном льве, если он до такой степени мертвый... — и это было искренне, это было правдой.

— А как же математика? Это ведь типичный мертвый лев!

— Не-ет... Я об этом не думала раньше, но... Там мертвым львом приходится довольствоваться за неимением живой собаки.

— Ого! — и он оторвался, наконец, от совочка, от детской площадки, и они пошли дальше, и остановились перед парадным ее дома — старый порог у двери — и постояли еще немного:

— Понимаете, эта живая собака — а я точно предпочитаю ее, точно, — она запрятана где-то в звездах, в веках, то ли там, то ли здесь — и приходится рыться в прошлом, копать в небе, исчислять ее бег — чтобы понять, что тебя, живую собаку, вообще ждет впереди: это как игра в горячо-холодно, понимаете?

Митя кивнул. Он задумчиво смотрел на нее и больше не улыбался; но ничего не сказал, попрощался и ушел задумчивый.

И вот она одна, и проходят дни, и она чувствует, что ничего не понимает — ничего не понимает в жизни, ничего не понимает в Мите, она ставит пластинку на проигрыватель — ставит Шопена, странные мысли приходят ей в голову: светлый прозрачный Лик наполняет пространство комнаты, письменный стол покачивается на волнах Его доброты, грустна Его улыбка-свет:

— Решай: я исполню. Они будут строители, без страданий, и безразлично будет им, что строить. Бесстрастно будут они возводить бесстрастные, равные им ячейки, ячейки без пятен бессонницы и без морщин тоски; бесстрастно будут разбирать и замещать построенное. Это будет им все равно: работа будет их бог. Выбери: я исполню.

— Но может быть, останутся «Баллады»? Десятый опус? Соната номер два?

— Нет. Я не все могу. Я могу лишь потянуть за веревочку, и перестроится витраж калейдоскопа.

— Значит, над тобою есть другая сила?

— Нет. Надо мною — нет. Есть — подо мной, и вокруг меня; в моей душе лишь семь цветов души; из них же каждый разросся в лес.

Сплетясь ветвями.

Над лесом я не властен.

Корни леса уходят вглубь веков и вглубь вселенной.

Мне непосильна эта глубина.

Я вечен и мгновенен.

Так что ты хочешь?

— Какими туманными речами ты говоришь со мной! Значит, не ты определил, чтобы мой бедный ум был не яснее твоих речей?

— Не я. Я знаю только цвет твоей души. Твой ум — былинка леса. Так хочешь что-нибудь?

— Нет, ничего...

Но в коридоре раздался звонок, зашлепала по старому, глухому дому девятнадцатого века бабушка, цепочка лязгнула, громыхнула щеколда, голосов не было слышно, но она знала, она точно знала — что это пришел Митя Тремолов. Но что же тогда такое мертвый лев? И кто — живая собака?

Откуда — ветер, откуда — сосны, откуда — дюны?

Тополя в снегу, на носу январь, Новый год: год ее двадцатилетия... Тополя в снегу, окна заиндевели, розовый мороз... Откуда же — ветер, откуда же — дюны?

Ах, вот откуда: он — биолог, аспирант! Летом собирается на опытную станцию в Среднюю Азию.

Она спохватывается и опускает глаза. Кажется, они слишком долго смотрели друг на друга.

— Садитесь, пожалуйста, — неуверенно говорит она.

Но он, напротив, начинает ходить по комнате, пританцовывая, берет с полки то одну, то другую книгу. И о каждой что-нибудь говорит. Ах, Зоя знает уже, как он необычайно умен, этот юноша. Гораздо умнее ее однокурсников, потому что они только умеют. Умеют решать задачки, осваивать материал. Умеют впопад пользоваться этим. А Митя — живет: cogito ergo sum. Как и Гранатуров, конечно. Гранатуров тоже очень умный человек, но только Гранатунова ум его делает несчаст-

ным, а для Мити все, о чем он говорит, как бы отстранено, как бы не имеет с ним ничего общего, и знания он добывает для того только, чтобы вооружиться ими... Ну, может быть, и не вооружиться, конечно: вооружиться — это против кого-нибудь... А тут... Тут... Когда она сообщила ему (как пароль):

— Во многом знании много печали,
он усмехнулся:

— Естесь-но. И посему так же естесь-но человеку стремиться перешагнуть этот порог — перейти ко всезнанию. Там печали будет меньше.

Он умел поразить каждым словом. Казалось, он совсем другого порядка умственной одаренности, чем она, чем те, с кем доводилось до сих пор сталкиваться.

Наверно, ему с ней совсем не интересно, вот он и танцует по комнате, чтобы быть от нее подальше. Ее жалкие пятерки по математике — разве они могут тут что-нибудь значить? Вот, наверно, человек, который рожден, чтобы быть великим. Живой.

— В двадцать лет все полагают быть великими, — небрежно поясняет он.

— А потом?

— Стареют, естесь-но. Маются. Уходят в себя. Становятся угрюмыми. Вот товарищу Гранатурову это предстоит на днях. Открытие того научно-медицинского факта, что сознание — не его исключительная индивидуальная прерогатива, а общее поголовное свойство человечества.

— Поголовное? А откуда же берутся те, кто так бездумно живет?

— Да оттуда же, друзья мои, оттуда же, — тут он стал у ее ног, и даже коснулся их, но не обратил на это внимания, а только взлохматил свою густую русую шевелюру, — как узнает публика, что другие тоже, значит, мыслят, и перешибить их в этом деле весьма затруднительно, так и пропадает азарт... Кукса такая обволакивает: пусть их, значить, другие и мыслят себе, и без меня там теперь обойдутся, а моя хата — с краю... Я вот, положим, этот соблазн весьма испытал-с. Представьте, попадает юноша из какого-нибудь эдакого Саратовского или там даже не Саратовского, а не знаю какого, потому что даже и Саратовским трудно назвать, университета — я то-есть — в Ленинград, на стажировку, положим. Ну-с, считает себя этот юноша, сын аптечной провизорши, великим человеком в Саратове, да и как не считать, индо первое, к примеру, что его страшно в этом Ленинграде удивляет, так это то, что каждая вторая морда — приятна. Каждая третья поражает какой-то особой чертой, то ли тонкостью, то ли бог его знает чем, чего он отродясь на мордах не видывал. На кафедре нашего юношу тепло встречает сам академик Л. и без боли доказывает ему, что он балбес, но, ученье — свет. И если работать двадцать часов из каждых двадцати четырех, то можно, в принципе, стать нормальным человеком. Тут же присутствовали и остальные прочие представители этой кафедры, ученики и отпрыски, публика разнокалиберная, но страшно талантливая, как при коммунизме. Кстати, Л. таков человек, что ни разу в жизнь свою не поставил своей фамилии ни с одним своим аспирантом рядом, ни в одной статье: балбес, мол, писал, балбес пусть и подписывается. Ничего такого. Сам же он

ежемесячно тискает по статейке, старый слон, да каких! Аспиранты все, как редиска, на его идеях, все ребята с бородами, бороды самых разных конфигураций, случаются между ними и поляки, и кенийцы, и индонезийцы, и югославы, и индийцы, наконец. На кафедре говорят в основном по-английски. Вижу я этого всего и вроде как никну от вьюношеского пессимизма. Чувствую себя среди них как осел на ипподроме. Кстати, как Л. делает открытия: подходит на кафедре к одному типу, и говорит: спорим на две бутылки, что в эволюции должны появиться особи с тетраплоидным набором хромосом. Тот говорит: давай. Через две недели Л. кончает свой эксперимент и выпивает коньяк — по бутылке на брата. Красота! Студенты, кстати, его так обожают, что далее некуда. Естесь-но, я его тоже заобожал до полного размагничивания, решил то есть плюнуть и отчаливать, матросом. Ихтиологом не взяли. Познакомился даже для этого с одним шведом. Так вот после двухдневного рейса по многочисленным кабакам я, представьте себе, впал обратно в манию величия — вернулся. Может, шведский моряк тут и не показатель, я не знаю. Но только его подход к женщинам мне не понравился. Дюже. Что-то там такое было, что толкнуло меня обратно, в объятия злой науки. Так что я даже, более того, заниматься начал, при всем своем пакостном состоянии и внутри и снаружи, при отсутствии памяти и так далее. И так по привычке ко всему этому, что понял, наконец: может, это и есть нормальное состояние гомо сапиенс. Включая и прогулки над Невой с целью прыгнуть. Смехота, да и только. Страшное это дело — противоречие между желаниями и возможностями. Тут, как говорят в

народе, чем ниже способности, тем выше потребности. Но так разнервничаешься в другой раз, что руки дрожать начинают невзирая на полную непьющность. Вот, к примеру, Гранатуров говорит про тебя, будто ты с неба звезды голыми руками хватаешь...

— Ах, да что этот Гранатуров знает! Он же имеет в виду только пятерки по математике. Как они мне надоели! Они же никак не связаны со счастьем, понимаете?

— Стрьянно. Во-первых, я считаю, что впрямую... Во-вторых, я считаю, что стремление к счастью — вообще пагубная мораль, и ложная цель, и заблуждение человечества на протяжении всей мировой истории...

— Ах, да не то счастье совсем. Я о своей душе говорю. Но это совсем отдельно от души. От жизни. Есть, конечно, отдельные связующие моменты между математикой и жизнью. Но я не умею этого объяснить. Иногда я думаю — может, я не туда пошла.. Но все же эти отдельные моменты существуют, хоть я и не могу вам этого объяснить. И только они-то меня и волнуют. Все остальное — ради них, ради этих моментов, ради этих узлов. Подсобные вычисления, так сказать..

— Прекрасно же сказано! И про всю, по-моему, науку. По-моему, мы так способны-таки уразуметь друг друга!

А дюны и сосны оказались рассказами об экспедициях, о лете в бамбуковом бунгало, о коне Голубе. Отношения с Голубем страшно отдавали печоринскими эмоциями, но женщин в рассказах не было.

Не было в рассказах никаких женщин, математика забрасывалась, часами, до поздней ночи в тусклой

комнатушке в старом доме девятнадцатого века царили сосны и дюны. Обросший, худой, небритый Митя в длинных, никогда не виданных сапогах скакал на коне, переходил вброд ледяные горные реки, снова цокали копыта, тревожным предчувствием наполнял ее сердце сухой язык цикад, приходилось оставаться одному, спать на мешке со змеями, и снова раздавался цокот копыт.

Одна змея была в короне. Взгляд ее изливал изумрудный свет. По ночам она выползала, очерчивала магический круг и, обвив его руку, не отлучалась. Смотрел в темноте в ее изумрудные глаза, прожил тысячу жизней, понял, что есмь на свете суета и тлен, а что — собственно жизнь, природная влага жизни, неизбежная. На что стоит тратить силы, а что надобно посылать к черту.

— А радиофизика, интересно?

— Что радиофизика?

— Насчет природной влаги жизни?

— Ну конечно, есть. Смотря как повернуть, конечно. Но вообще-то есть это в ней... Освободился от пустых бесплодных страстей...

(Значит, были пустые бесплодные страсти. Наверно, любовь имеется в виду. Или то, о чем рассказывал — шведский моряк, бороды и озабоченность осла. На ипподроме.)

По ночам они гуляли и разъезжали на электричках — на юг и на север, кончался март, и казалось, он не испытывает к ней никаких чувств — пустых, бесплодных страстей, ровно никаких: он был как бы все время не здесь, он был среди сосен и дюн, а она терзалась пустыми бесплодными страстями.

Но в глубине души тлео ощущение — не то чтобы подозрение, а какая-то почти наверняка кем-то сообщенная информация — что именно этого и хочется ему больше всего: чтобы она терзалась лютой страстью к нему, и чтобы притом эта ее лютая страсть казалась ей бесплодной, безответной, и он как бы не очень еще доволен результатами, хотя и блаженствует порой, усмехаясь мимолетным признакам и слегка прищуриваясь — и тогда лицо его выражает неподдельное счастье.

Он давал ей читать книги, вечно забывая в них какие-то бумажки, она возвращала книги, возвращала бумажки, не разворачивая, и порезы от этих сложенных вчетверо бумажек саднили: содержание их таило в себе бесчисленные угрозы. Он быстро прятал в карман четвертинки тетрадных листков, хмурясь и подтверждая тем самым: что-то есть еще в его жизни, о чем ей знать не положено — и это потому именно, что к ней он не испытывает никаких чувств. И в совершенном противоречии с этим обидным чувствованием уверенно в глубине души прозревалось: в целеустремленности, с какой дается ей это почувствовать, есть своя особая цель — и эта особая цель и есть цель его блаженства. Так что она никогда, ни за что не намерена была развернуть ни одной такой бумажки. Лучше умереть.

Потому что в глубине души что-то бунтовало против этого его блаженства.

Хотя сам факт его блаженства доставлял неизъяснимое блаженство.

Она совершенно не могла понять, счастлива она или изнурительно, непереживаемо несчастна.

Однажды он развернул один такой вчетверо сложенный лист бумаги, при возврате ему книги, между страниц которой он был засунут, и, бегло оглядев его, протянул ей, с лицом, небрежно-любопытствующим; она долго не могла собрать взглядом букв — была в форменном шоке: на листке было стихотворение, открытая его душа... Которую оставив на руках у нее, он удалился.

Надоели бури в океане,
Надоела ветра суета,
Надоело. Брошу все скитанья,
Бросив якорь в гавани Креста.
Я забуду, как ломались мачты,
Как от шквала рвутся паруса,
Как на дно морское море прячет
Моряков печальные глаза.
И на тихих улицах покоя,
Сняв берет, смиренно постою,
И крестясь обветренной рукою,
Псалм негромкий небу запою.
Этой ночью кораблей обломки
Выплюнет сердитая волна,
И людей, исчезнувших в потемках,
Океан не выдаст имена.
Кажется, ослабевают качка,
И надежно держат якоря.
В первом порте поменяю мачты,
И обратно, в южные моря.

Ему надоели бури в океане, вот оно что. Он хочет бросить якорь, но знает, что не усидит на нем долго: или как? Может, и наоборот — не очень-то ясно, что это может значить: что надежно держат якоря. В первом порте поменяю мачты — и обратно в Южные моря... Она что, вот этот вот самый «первый порт»? Но уж никак не якоря, одно ясно. И боль жуткая. Ломота в пояснице, сердце разрывается, душа изболелась. Ах, забыть бы этого Митю в одну прекрасную ночь: уснуть крепко-крепко, без сновидений, и на утро не вспомнить, кто это вообще такой — этот пижон несчастный Митя Тремов. Только об этом одном она, кажется, теперь и мечтала.

Вследствие чего, видимо, на стенке у нее, над диваном, был повешен, прикреплен маленькою булавочкой, вероятнее всего даже специально принесенной для этого случая, — аккуратно отпечатанный на машинке, красивый белый лист:

Если ранней весенней порой
захотят побродяжничать ноги,
хватит пыли на старой дороге,
на забытой тропе в Марлборо.
Эти тропы не чинят —
кто же ходит там ныне?
Словно жизненный путь:
вьется он как-нибудь,
и приводит дорогою старой
только в гости к ирландцу О»Хара;
это даже не путь, не наметка пути —

это просто возможность идти да идти... ¹

И опять это было про то же — что все равно он уйдет, уйдет... Ну и пусть! Ранней весенней порой... А вот ей уже — чего бы ни захотели ее ноги — никуда никогда не уйти, оказывается! Такая вот у нее профессия, оказывается. И она сама ее выбрала. Даже не подумала об этом — ни о какой то есть ранней весенней поре. И это стало ей тихо-грустно.

Вслух же — как всегда — о совсем другом:

— Однако поэзией считаешь заниматься праздным?

— Отчего же, если кто ничего другого делать не способен. Однако, тщу себя мечтой приспособиться к другому. К науке, может быть. Енто куда как необходимое человечеству.

— Так может, совсем упразднить поэзию?

— Не на того напали, мадемуазель. Напротив того, пропагандирую пенье души в качестве всеобщего ежедневного обихода. Что и демонстрирую на собственном своем примере. Естественникам это как-то естественнее. Многие были.

И казалось уже почти ясным:

он посвятил себя науке,
выбрал бунгало,
экспедиции, эксперименты, статьи (стихи),
женщине в этой жизни места нет,
и даже если я и нравлюсь ему (немножко,

¹ стихи Генри Торо, автора популярной у интеллектуалов того времени книги «Жизнь в лесу»

иначе зачем бы приходил вообще) —
нам все равно не быть вместе:
он — мертвый лев!

Если я хочу живую собаку, следует подыскать себе
кого-нибудь другого.

Но я же не хочу другого! Я же люблю его!

— Может быть, мертвый лев — это и есть моя
участь? А я хочу живую собаку? Как бы это узнать?

— Чтобы подчиниться участи? Уж лучше не знать,
— сказал он, обняв ее за плечи и глядя прищуренными,
следящими глазами. — Ты-то сама такая живая. Мне
тяжело с тобой.

— Мне тоже с тобой тяжело.

— Так что же нам делать?

— Не знаю...

И они неожиданно поцеловались, но никакого об-
легчения не наступило, а стало еще тяжелее.

И легче уже так и не стало. До того самого дня, по-
ка он уехал, наконец, в эту свою летнюю экспедицию,
чему она была почти рада — так он измучил ее, этот
молодой карьерист чувства, как однажды, совершенно
неожиданно для себя, назвала она его мысленно. Про-
сто откуда-то извне были кем-то запущены в путаные
лабиринты сознания эти два слова.

Я — ТЕБЕ

Ты, ты, ты...

Я, я, я...

Я стояла в красном платье из лохматой бумазеи перед зеркалом, треснувшим и разъехавшимся от слишком близкого разрыва бомбы, и выходила из берегов, читая басню про ягненка и волка. Я выходила из берегов, потому что ягненок был явно прав, а волк — явно зловреден, позади же стояло ведро с горячей водой и половой тряпкой. Я очень кричала и очень жестикулировала, нападала и кротко беззащитно отступала и, конечно, грохнулась в ведро. Вода расплескалась и смерзлась на полу, от меня шел пар. Всем было ясно, что я, негодная девчонка, заболею, в виду чего бабушка меня отчаянно отколошматила.

Отколошмаченное «я» было явно право, а бабушка — явно зловредна.

«Я» росло помаленьку и с каждым годом становилось правее. Оно оставалось непогрешимо правым и единственно заслуживающим внимания до майского утра сорок пятого года, когда, подкармливая его правоту, мама сбила ему гоголь-моголь. Ему и... себе тоже. «Я» было потрясено. Оно не стало есть яйца. «Какая у меня девочка растет, — горевала мама, — обиделась на меня из-за гоголь-моголя.»

«Я» забилося в угол и напряженно исследовало опыт. Открытие состояло в том, что до сих пор мама никогда не ела яиц не оттого, что взрослым нельзя, а по

какой-то совсем другой причине. И «я» потеснилось немножко.

Наступил день, когда, казалось, «я» исчезло, растаяло. Возникло «ты».

Апрельские закаты — ты, запах весны — ты, ты — жаворонок, и «я» годится только затем, чтобы «жаворонка» — испеченную бабушкой весеннюю венскую булочку с глазочком-изюминкой — доставить ТЕБЕ, — Галя, девочке из соседнего класса.

А сердце разрывалось от любви. И этот сердечный надрыв был забытое «я», и оно надорвалось — нарвалось на мечту, тайную, темную, бесконтрольную, внезапно выплывшую из раны: о смерти Галиной мамы. Ведь тогда — оп, лоп! — Галя живет у нас моей сестричкой. Моей!

ТЫ — МОЕ.

И девочка Зоя, вселившаяся в меня. Крики ночами от непрерывного ощущения непреодолимой и непереносимой боли. Сколько времени требуется на то, чтобы обвести солдатским ножом кружок на груди, преодолевая сопротивление живой и нежной ткани?.. Я — Зоя. Любой, кому придет в голову, может сделать со мной любое, что придет в голову.

Трамвай за поворотом лязгал цепями, железо рельсов о железо колес — там-тамы в джунглях. Сколько времени снимается скальп? Голова надорвана этим всю жизнь: один другому — я — тебе — снимает скальп. И между ними возникают отношения.

А гуманные гильотины? Судья в мантии встает и оглашает:

Я — ТЕБЕ.

Так мое «я» входило в мир. Оно погружалось в него плавно, всю губкой «я». Плыли мимо вереницы лиц в клубах вопросов — я — тебе:

- что этот может захотеть — я — тебе,
- что этот может полюбить — я — тебя,
- на что способен для ТЕБЯ тот, тот, тот...

«Я» стало почти ботаником: пришло полное равнодушие к себе, а сердце разрывалось от любви, боли, отчаяния мира.

Мое «я» перестало жаждать. Но оно — теплое, живое и больное, и, став частью мира, стало еще больней. Оно принимает пинки и подачки как членораздельные звуки вселенской речи, и в те мгновения, когда со всю ясностью из хаоса добра и зла — любви и себялюбия — выпадают кристаллы и касаются кожи, слуха, зрения, сердца моего «я» — частицы мира, оно само перерастает в мир и принимает бой или взрывается благодарностью. «Я» перестает быть ботаником и принимает бой в соответствии с правилами его этики, возвращенной из зерен ума и сердца и политой дождями живых и умерших душ.

И каждое «я» в каждом «тебе» жаждет любви и справедливости — потому что каждое «я» — частица мира.

Но и тогда дело очень часто кончается мелкой сварой между жаждами.

Я — ТЕБЕ.

ЛЕС

Чего я ждала, что представляла себе, когда, страшно волнуясь перед распределением, еще и еще раз перебирала в уме «места»? У большинства людей на курсе были четкие и ясные мотивы, доведенные до известной однозначности: «остаться дома», «попасть в столицу», «дают квартиру сразу», «предприятие первой категории», «быстрый рост», «классно развита моя тематика»... Из дома я давно замыслила сбежать, тематики у меня не было, один телячий восторг перед любой, квартира меня не привлекала нисколько, потому что я давно уже, с самого первого курса, мечтала об общежитии, столицей моей был Ленинград, а еще точнее — Эрмитаж и Царское Село, где я побывала в двенадцатилетнем возрасте, и никакого пересмотра ценностей к моменту окончания университета не произошло — но смутно мне мерещилась возможность использовать данный момент для перехода к высшим формам жизни, по крайней мере, более высоким — за государственный, так сказать, счет: посредством распределения.

Что я понимала в ту бессонную ночь под высшими формами жизни — сказать чрезвычайно трудно: то были обыкновенные детские грезы. А ведь наши детские грезы — что это было такое? Великолепно красивые, превосходного ума люди вокруг, в свитерах и джинсах, страшно важная работа, ты в вечной спешке, в напряжении всех своих душевных и физических сил, никогда не успеваешь как следует пообедать, седовласый уче-

ный пристально следит за твоим невероятно быстрым развитием — ведь должен же когда-то прийти его черед, имеется в виду, развития, а следовательно, и седовласого учителя? Наконец, принц — из одной с тобой лаборатории, или по крайности из лаборатории рядом. И — новый упоительный взлет все тех же самых, дремлющих пока что, духовных сил... Словом, все тот же голубой цветок Генриха фон Офтердингена, совершенно независимо от того — читан он или не читан в грезоческом детстве.

Тревога мамы, ее кроткий затравленный взгляд и жуткое моторное возбуждение в предвосхищении сборов тут уж в расчет совершенно не берутся, и если и замечаются с болью, то сама эта боль как бы служит гарантией напраслины ее опасений, не имеющих, в сущности, никакого отношения к происходящему. Ее ведь не только не собираются бросить и забыть — но напротив, мысленно включают в обиход высших форм жизни, как если бы речь шла о собственном чемодане или скелете. А расстояния, как известно, в таких делах и вовсе не имеют значения.

Вот в виду этих-то целей и с такими видами на жизнь я и попала — естественно, совершенно по доброй воле, если не считать участия своего грезоческого энтузиазма, — в поселок Мирный, выстроенный в ста километрах от Свердловска вокруг научно-экспериментального комплекса.

И как только я туда приехала, я сразу же увидела там все, к чему стремилась: пятиэтажный корпус НИИ среди высокого хвойного леса, и в нем — Риту Богомолу.

Взглянув на нее, я тут же решила, что она по крайней мере доктор наук при всей своей молодости. Джинсы, свитер — прекрасный серый свитер из деревенской шерсти — все это было, но больше всего меня привлекло серьезное выражение ее длинненького худого лица. Пожалуй, слишком серьезного для двадцати двух лет. Она сидела перед осциллографом и грызла кончик ручки. Скорее всего, поля притяжения между людьми питаются энергией наших скрытых положительных эмоций, в таком случае это наверняка была энергия моего восхищения серым деревенским свитером, худобой ее сосредоточенного лица, подобранными аптекарскими резиночками густыми черными волосами, совершенно прямыми. И вот именно она должна была со мной заговорить — я бы никогда не осмелилась в силу своего восхищения.

Все разошлись на обеденный перерыв, я осталась одна в пустой лаборатории. Окрыленная возбуждением от новых впечатлений, я оглядывала из окна солнечный простор сентябрьского леса и вдруг осознала, что не могу выйти за ворота и зашагать по нему куда глаза глядят, и не смогу этого сделать ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра — вообще, когда вздумается, а только в выходной день... Эта мысль меня страшно поразила — а я и не задумывалась ни о чем таком никогда раньше... И вдруг на меня напал страх, какого я не знавала, мысля о высочайших формах жизни и темпах развития своих душевных и физических сил — страх, что этого-то — невозможности выйти на простор солнечного леса и пойти куда глаза глядят — я и не выдержу. И до меня дошло, что я далеко от дома и никого больше не интересуется,

обедала я или нет, почищены ли мои башмаки и достаточно ли я получаю витаминов — то есть как раз все то, что возмущало дома.

Кто-то набрал код дверного замка, зажужжало реле, и вошла Рита в удивительном непромокаемом балахоне с капюшоном. Она порылась в ящике стола под осциллографом, взяла книгу и как ни в чем не бывало спросила:

— Вас в каком общежитии поселили, в старом или в новом?

— Не знаю, какое оно. Там вот, за кинотеатром на автобусе.

— Значит, в новом. Старое здесь, рядом с институтом. Можете считать, что вам крупно повезло — в старом горячей воды нет. Старики ужасно протестуют, когда молодых специалистов поселяют в новую общагу. Считают это несправедливым.

— Может быть, они и правы, — откликнулась я, немного удивившись, что неужели здесь, в этом инкубаторе по развитию сил, могут иметь место хоть какие-то несправедливости. К тому же, вчера, когда меня поселяли, я, ничего не зная про горячую воду, ни о чем таком не задумываясь ни разу в жизни, была бы рада и старому, да вообще какому угодно общежитию.

— А, да не переживайте вы, — сказала Рита после паузы, которая произошла оттого, что она слишком сосредоточилась, вглядываясь мне в лицо. — Зато они квартиры получают раньше. Пошли лучше ко мне на грибы, благо я-то живу как раз здесь, рядом.

Тут я окончательно расстроилась из-за того, что меня поселили в новое общежитие с горячей водой.

Но оказалось, что Рита вообще жила не в общежитии, а в хибаре — так она называла свой дом.

— Я ее купила на подъемные, — объяснила она, когда мы, шурша опавшими листьями, шли уже по солнечному простору. — Люблю собственность. Конечно, постольку поскольку. В смысле независимости и покоя.

В довершение всего хибара стояла на опушке леса, метрах в пятисот от рассадника цивилизации — так Рита назвала мимоходом институт. Снаружи хибара была хоть куда — такая бревенчатая прелесть в три окошка (так, конечно, выражалась я). Среди елок, осин и берез. Мне и в голову не приходило усомниться в прочности бревен, подумать о том, каково здесь зимой в сорокаградусный мороз, пока печь не топлена. Да и вообще. Туалет, например. Все это я оценила позже. Но странно, тем не менее теперь ничто не замутняет того первого золотого впечатления в пышный сентябрьский день среди елок, берез и осин. Звенели синицы, шелестел лес, сиял матовым светом лиственного шатра, осенявшего хибару — царила синетвердая безоблачная вечность, дальность безбольная и бесхлопотная. О господи, чем мне тут вдруг представились безутешные школьные слезы по ночам при мысли об Уимблдоне — что мне, например, сколько ни молоти по мячу, никогда не выиграть Уимблдона, с тем и умереть. Я просто-таки не понимала, как могут люди жить, ежедневно забывая о подобных непоправимо удручающих обстоятельствах, какая таинственная, недоступная мне цель придает им сил вставать каждое утро, чистить зубы и отправляться на тренировку. Я же, разбитая рыданиями, плелась на стадион, ничего не видя перед собою от горя, с риском

угодить под шумный утренний транспорт, кое-как добиралась до Рабочего Городка, и Павел Никодимович, тренер, просто не понимал, что со мною случилось после вчерашней вечерней тренировки, когда он подумал уж было, что вот, наступил-таки триумфальный момент, победа разума над серсепореллой, количество перешло в качество, никто не верил, что ей имеет смысл заниматься спортом после полиомиелита, а смотрите-ка, как славно заиграла. Виктория! Он ведь обо всем на свете, и о нас в том числе мыслил такими категориями, наш бедный провинциальный шут Никодимыч. В хибаре же у Риты моментально представилось, до какой степени все это тлен, суета и вечное томление духа. Как говорил все тот же Никодимыч. И только в хибаре у Риты я узнала, что это слова Экклезиаста. Потому что кроме печки, двух раскладушек и стола — нормального городского стола, правда, старенького, стульев с металлическими ножками, общепитовских — имелся сундучок, целое богатство. Перевязанный ленточкой Джек Лондон — приложение к «Огоньку» двадцать четвертого года, желтолистый, ломкий, как осень за окнами, изъеденный мышами Мамин-Сибиряк — полное собрание сочинений, Кнут Гамсун, Мережковский, Сергеев-Ценский, Надсон и библия. Еще там было страусовое перо. Старые письма — бабушки, дедушки, прадедушки, папы, мамы, школьных подруг. Рита ничего не выбрасывала. Новенькие, сияющие золотым тиснением корешки Тургенева, Пушкина, Чехова красовались на виду, на самодельной крашеной этажерке, и медовые отсветы дня на этой величайшей по моим понятиям красоте бытия — книгах — отогрели мой дух, застывший было в нехоро-

ших мыслях о трудовой дисциплине. Господи боже мой, да ведь то, куда я приехала по распределению, сулило теперь такую полную, такую пламенную жизнь, поскольку Рита, приведя меня к себе в хибару, открыла мне столь широким жестом доступ в самое лучшее общество на свете.

И если добавить к этому, что грибы я ела здесь впервые в жизни, и были они тушеными с картошкой и с луком в печи, в настоящем глиняном горшке, который был извлечен ни больше, ни меньше как ухватом (взглянув на этот предмет, я сразу же поняла, что к нему-то и приложимо это чисто книжное, по крайней мере для меня, слово) — можно ли и тогда поверить, как я была счастлива, переполнена блаженством, возбуждением жизни...

Бескорыстным, несуетным возбуждением, и хотя Рита задавала мне вопросы чисто практические, например, «Сколько они вам дали окладу?», в свете осиновых листьев эти вопросы терялись, меркли, и я отвечала на них машинально, как приветом на привет:

— Сто рублей.

— Могли дать сто десять. Придерживают десятки на переманивание.

Но мне это было тогда все равно. Придерживают, так придерживают. Я ведь вообще еще ничего не заслужила. Удивительно и то, что позволяется теперь ежедневно входить в эту прекрасную солнечную лабораторию с венгерскими осциллографами, включать их, организуют, наконец, твой ум разумно поставленной задачей, направленной к той общей народной цели, которой сам ты не в состоянии ни исчислить, ни осмыс-

лить до конца, но счастлив до смерти которой служить — да еще вдобавок ко всему, сверх того, так сказать, собираются платить тебе какие-то неведомые сто рублей. И нет ли доли нашей собственной вины перед самим собой в том, что мы не в силах бываем по прошествии лет вернуть себе этих ощущений?

Рита, сложив в таз с водой грязные тарелки, сняла фартук и надела свой удивительный черный балахон с капюшоном, который наваял мне теперь, неведомо почему, монашій клубук, и мы отправились в обратный путь.

Сама не пойму, к чему и зачем начала я наше знакомство с того, что вдохновенно приврала о чудесах воспитания в школе и в университете, обрисовывая гигантские фигуры необыкновенных личностей, окружавших меня до сей поры. Именно с той минуты и с того дня у меня начала развиваться необъяснимая страсть приписывать все плоды своей умственной и душевной жизни кому-то другому, как бы не отвечая за них, за их доброкачественность, что ли. Рита же, хотя и принимала все как должное и до некоторой степени известное, иногда пристально взглядывала мне прямо в лицо, слегка сощурившись и чуть поджав губы с тем выражением, какое я уж изучила в ней за этот час — начиная с вопроса об общежитии. Узкое лицо ее даже слегка бледнело при этом и обозначались слабые веснушки. Глаза, зеленовато-бежевые какие-то, очень ясные, смотрели чуть-чуть сквозь прямые редкие ресницы, и зрачки жестко, холодно суживались. Какое же это было чистое, ясное, богатое худенькое лицо — и все-то в нем было и хрупко, и крупно, и прекрасно вплоть до прямых

черных прядок, отлетевших от затянутых резиночками хвостов и разметавшихся будто в бреду по лбу и вискам.

Пожимая плечами, она говорила без улыбки какие-то все же приветливые вещи, слегка нахмурившись.

— Кое-кто вам тут будет очень рад, я думаю. Какая-то часть населения, хотя и не очень многочисленная, но все же... Не из нашей лаборатории, конечно.

Эту часть населения я очень быстро обнаружила всю, одного за другим, у нее в хибаре — и именно по мере того стали в коридорах института выпадать знакомые лица, появились поклоны и приветствия по утрам: место переставало быть чужим.

И сутки были насыщены до предела — их не хватало — жизнь лилась через край.²

Ведь ко всем, как потом окажется, несложным заданиям, решаемым стереотипным путем в пять минут, вчерашний студиозус определенного типа подбирается от яиц Леды, тут по столам разбрасывается тьма литературы, выводятся давно выведенные теории, ум накаляется и страсти кипят. И все это, по счастью, у меня было, и было именно там, в округе Ритиной хибары, и даже трудно себе представить, что те вчерашние студиозусы тоже теперь выросли и научились работать просто, по силам, сноровисто и неглубоко.

Были даже люди, которые вечером в хибаре добивались доискаться, связано ли сделанное днем с абсолютным добром или, как и все на свете, по диалектике природы, зависит от того, как повернуть и в чьи руки вложится. Особенно популярным предметом была у

² Известная романтическая повесть Л. Тика

них скрипка Эйнштейна.³ Слух об этой скрипке дошел даже до начальника лаборатории, молодого башкира из вчерашних ленинских стипендиатов с язвенно-желудочным цветом лица, так что он даже усвоил себе привычку язвить, именно пуская в ход скрипку:

— Но ведь кроме скрипки еще что-то должно или нет быть в инженерере? Знания, например. От вас же от всех толку, как от козла молока, хоть для добра, хоть для зла. Все одно месячный план не в состоянии выработать.

И отчего это все так там случилось, что я его, Якима этого, возненавидела постепенно и ощущала явственно полную тайную взаимность — не знаю, ни понять, ни объяснить не сумею никогда. А ведь он бывал и прав в чем-то и до какой-то степени. По странной закономерности приверженцы скрипки, действительно, не склонны были из кожи вон лезть ради исполнения служебной буквы и часто вызывали всякие нарекания, относясь ко многим разным вещам так сказать философически. Особенно ярым филоном, может быть даже во всем институте, был Саша Мизгирь, в то же время один из самых страстных популяризаторов скрипки Эйнштейна, на какую-то деятельность, не щадя живота, он направлял всего себя в виде бесконечного перекура на лестничной клетке.

³ То, что Эйнштейн играл на скрипке и был, таким образом, музиален, то поколение советских интеллектуалов считало главной причиной, по которой он отказался от заказа на разработку атомной бомбы, в отличие от Оппенгеймера, чистого «технаря».

Рита не любила Сашу Мизгиря. То есть, может быть, она и никого не любила из тех, кто приходил по вечерам к ней в хибару, но о Саше она даже в его присутствии отзывалась очень пренебрежительно. Человеком без царя в голове окрещивала она его неизменно, и это было тем более удивительно, что все преклонялись перед его просвещенным мозгом. «Два Вити-экзистенциалиста», которых никто иначе и не называл, некурящие, просто-таки в ущерб своему здоровью — а были, действительно, здоровы и костисты, к тому же йоги — часами простаивали руки в карманы на Мизгиревой лестничной клетке, серьезно и молча, как пасущиеся бычки, поглощая информацию и дым бесконечного «Севера».

Прозвище свое они получили еще до моего приезда, видимо, в виду того, что имели в своем чемодане переведенную ими еще в институте — они приехали из Горького — статью Сартра о существовании и сущности. И хотя понять из этого перевода было чрезвычайно трудно и даже невозможно, что же чему предшествует — сущность существованию или существование сущности, это именно обстоятельство даже как-то подчеркивало, для меня во всяком случае, непреодолимую дистанцию между моей неразвитостью и высокой культурой их умственной жизни, поэтому спросить попросту, что же там чему предшествует, было никак невозможно, это значило выдать себя с головой. Я и так чувствовала себя там, в хибаре, как на шиле — разве что я знала, кто такой Дизи Гиллеспи. Строчки-то о смелом Гиллеспи знали все, особенно «от черной печали до твер-

дой судьбы»⁴, но я даже знала, кто это такой — Дизи Гиллеспи. Это был, конечно, кое-какой плюс, что и говорить, но внутренне я уже прекрасно понимала, чего мне не хватает в жизни. Казалось даже временами, что этому стоит посвятить жизнь, но я тут же спохватывалась в ночных мечтах об этом — а как же работа?

К тому же было многое другое, что меня смущало в постановке этого вопроса, и связано было в основном с Ритой. Она сильно сбивала меня с толку в моем прямолинейном устремлении к развитию. Сама она подобной устремленности никак не проявляла, а казалась мне заполучившей полный и законченный объем души откуда-то даже не из книг, а еще до рождения. У нее была своя особая манера жить, сложившаяся, казалось, еще до хибары, быт, привычки, мнения... Она будто знала нечто неведомое ни для кого из нас — тут я даже вынуждена причислить себя к куда более начитанным товарищам, и это нечто постоянно стояло перед ее мысленным взором и служило той самой меркой, которой отмеривалось пренебрежение к посетителям хибары.

В печи у себя она пекла изумительные пироги. Вообще можно даже так и выразиться: жизнь у нее в хибаре была праздничной, вкусной. На свежем хрустящем полотенце давался на деревянный голый стол пирог с черникой, или пирог с грибами и с рисом, или пирог с морковью, или с солеными огурцами и луком, или с наперченной и продушенной каким-то немислимым ароматом печенкой, или с творогом и лимоном, или с кура-

⁴ Строчки Иосифа Бродского, которого, явствует из текста, персонажи прекрасно знали уже в то время

гой, или с редькой, тыквой и репой, или со шпинатом и яйцами, или пустой калач, пышный, теплый, пахучий — и большая эмалированная кружка молока, человек на десять, которые никогда не заставляли себя долго ждать несмотря на все Ритино к ним пренебрежение, и я только диву давалась, когда и где она могла научиться всей этой магии, настоящему чародейству — да еще урвать при этом время, чтобы выучиться на радиофизика. А как она вязала! Какие шила юбки, жакеты, джинсы, курточки, рубашки, платья на своем столетнем ручном зингере из самых невероятно дешевых материалов, которых никто не догадывался покупать и которые в изделии Ритином да и на Рите являли вдруг поразительные заморские достоинства. Черная брезентовая куртка с капюшоном и массой всяких карманов, карманчиков и молний, сшитая мне ею, до сих пор является одной из самых любимых моих вещей, вымытая дождями и выстирана до туманной белесости, и прожжена на кострах, и украшена навеки следами пятен сосновой смолы — и все же каждый раз, влезая в нее, я испытываю неизбывное удовольствие и любовь к вещи.

— И откуда только это у тебя? — недоумевала я. — Ну ладно, вкус, замысел, чувство цвета — мечтательная, так сказать, сторона дела — это еще понять можно, это душа. Но покрой, строчка, выделка — это же технология, культура, черт побери, тут тысячелетия нужны, а когда вокруг без слез не взглянешь в этом как раз отношении, то откуда это вдруг у тебя?

— Тоже может быть и душа, — снисходительно смеясь, отвечала она, легко и быстро-быстро крутя ручку зингера. — И даже философия, если хочешь, а ты

ведь хочешь, я тебя знаю. Просто, может, вырабатывающая себя душа, а не плачезерцающая. Та себя выражает, и именно в беспомощном скулеже, да еще и на мир жалуется вечно — а это ведь одна из вечных мыслей, как вы говорите — что мир неисправим, ни на что вокруг без слез не взглянешь, — а эта вырабатывает себя в шве, в снопе, в вязанке хвороста для очага, для себя в том только смысле, что для тех, кого она любит или, может быть, даже только хотела бы любить. Она как правило не нуждается в имени, в славе, в свете рампы, тогда как та, другая, обязательно почему-то нуждается — да и понятно, волны слез совсем уж ни к чему, если никого не захлестывают, для себя их мало. Эта же всегда способна прозябать и мириться. Да и как правило она прозябает и мирится. Есть там у вас какие-нибудь такие философские теории? А может быть, это у меня просто от моих родственников-немцев, в крови.

И правда, в лице у нее было что-то нерусское — какая-то вытянутость овала, хрящеватость и крупность носа, тонкость ноздрей, да и кожа — хотя и здоровая, лесная, но все же тонкая, легко бледнеющая, синеющая, желтеющая, зеленеющая и даже чернеющая. Как я была поспешна в своих этнографических заключениях, я поняла только потом, когда густеющая и постепенно наполняющаяся жизнью рощица рассказываемого или упоминаемого ею обступала уже меня старым, выдавшим виды запущенным лесом, со всем его буреломом, пожарищами и порубками — которые, вполне возможно, и стремилась теперь в своей жизни привести в порядок Рита, во всяком случае, тогда мне так показалось, такое я вдруг нашла объяснение ее манере жить и при-

вычкам, и взглядам на вещи вкупе с ее исключительной добросовестностью в отношении работы.

Ее бабушка по отцу, урожденная Щербакова, в 1904 году семнадцати лет вышла замуж за фон Венка, что тогда ее вдовому, со дня на день ожидающему смерти отчиму Хованскому казалось просто благословением небес. Хованский и раньше-то, когда в свое время женился на Щербаковой, вдове губернского чиновника, с сыном-студентом и двумя маленькими дочками, располагал средствами не большими, чем должностной оклад уездного адвоката. Саша, Ритина бабушка Александра Александровна, была о ту пору младшей девочкой пяти лет, и таким образом Хованскому она оказалась наиболее близким, полностью на него возложенным жизнью ребенком. А к тому времени, как не за горами стало казаться выданье, он остался уже вдвоем с нею в старом своем саратовском доме, повидавшем многолюдье семейного быта (Щербаковы и дом уж свой городской продали и прожили, а с деревенской собственностью расправились и того раньше) и теперь печально скрипевшем половицами о ненадежности Сашиного положения в мире сем — хотя бы даже и в этом твердокаменном доме и пусть даже с десятью тысячами, которые он, хоть сейчас умри, оставлял за нею, считая двух других детей, давно разъехавшихся по России и обзаведшихся семействами и собственностью, как бы снятыми с его счета. Но Саша беспокоила его чрезвычайно — поскольку сами свойства ее характера внушали какие-то невнятные, щемящие опасения. Она была слишком весела, непозволительно беззаботна, и Хованский видел своими глазами, а не то и слышал свои-

ми ушами, что ее почитают за дурочку. Это отдавалось болью всякий раз особенно по неуважению Хованского к почитавшим, по отчетливому его, уверенному пониманию, что и вообще-то подходить к этому ясному, лучистому характеру с такую обструганной меркой — и есть первейшая глупость на свете. Но молодое окружение, самое даже пустое по глазам и ужимкам, корчилось в разнообразном никчемном пустозвонстве — вертелись столики с блюдечками, вызывались тени Цезаря и Шиллера, от них непонятно чего хотели и те столь же непонятно вещали, и Саша, со своим крупноживущим, пышущим экстазом дружелюбия, по-деревенски румяным радостным лицом, носящаяся по дому весь день в предуготовлениях, а весь вечер в жизнеобеспечении любого такого собора в доме, действительно, не вникала ни во что, кроме свежести кренделей, и салфеток, и праздничного сияния с подъемом вычищенных любимых серебряных ложек с виньетками. Может быть, ей недостает образованности, угрызался Хованский, и по окончании гимназии ее надо было отправить в Петербург, в Москву, может быть, отдать на какие-нибудь женские курсы. Но он не имел родни в столицах, отправить же девицу одну-одинешеньку на произвол номеров, — нет, нет, никак он не мог на это решиться, никакие требования времени не способны были скрутить его устаревшего, страшно привязанного к Сашке сердца. Да ведь и выйдя из университета эти почитавшие ее чуть ли не дурочкой молодцы, как он посмотрит, никакой серьезной работы не ведут, очень жалко прозябают в ведомствах и вертят столы, в мозгах путаница самых мелких неудовлетворенных претензий и фраз из Шил-

лера, схваченных на лету, на слух, из альбомной переписки. Духота провинции, которую и сам он претерпел в молодости, скрутит постепенно и их — а вот Саша-то, ее-то румянец да солнечность нрава, ее обнимающая жизнь безо всяких подразделений и чинов душа — вот с нею-то, с нею-то что станется, сложи он на груди в один прекрасный день свои восковые уже руки, которые только — он прекрасно отдавал себе в этом отчет — и ограждают ее от безобразия жизни. Победить эту жизнь никакою любовью нельзя — на этом он порешил уже окончательно и давно по всем своим неудавшимся попыткам и стремлениям, по страшному семейному разладу со старшими Щербаковыми, по издевательствам службы над всеми своими гражданскими идеалами. Но все же он верил еще в мир вдвоем, в сердечные узы, выросшие из тождества несчастий, врозь пережитых, верил, что узы эти способны оградить от непоправимой жизни, способны дать даже большее, чем многолюдное человеческое собрание: полное взаимопонимание и надежную верность. Этой единственной верой, которой удалось уцелеть в нем, он обязан был, конечно же, союзу с Ириной Анатольевной, Сашиной матерью — поелику случается между двумя, пусть хотя бы даже чрезвычайно редко, стало быть и вообще в границах божеского жизнеустроения возможно. А ведь вот то, обо что расшибаются с незапамятных времен наши умы — общественное благо, человеческое счастье, мир, справедливость, братство — так того ведь не наблюдалось никогда, нигде, ни на едином примере! Стало быть, божеское жизнеустроение и заложило все это зачем-то только в умы, а не в возможности жизни, в какую-то часть

умов, зачем-то — того только может быть ради, чтобы хоть как-то пролонгировать род человеческий в условиях основного, неколебимого закона — бессчетного, безразличного поголовного истребления. Весенне-осенний закон листвы: бессчетное рождение, бессчетная случайная гибель в течение космического своего летнего срока, бессчетная же глобальная гибель на фазе октября — вот и все братство... Тем только и жив этот вечный бесконечный косм. И если и есть в чем-нибудь хоть малейший смысл, так это в Сашкиной бездумно-вдохновенной улыбке соседнему зеленому листу, в ее торопливом возбуждении праздновать каждый день затем лишь единственно, что это день мая, и то же будет в августе и в сентябре — когда все эти умники будут подавлены, холодны и унылы, замкнуты в скорлупе своего разбитого тщеславия, и не только руки уже никому не подадут в несчастье, ибо никого несчастнее себя уже не признают — но даже не улыбнутся, ни на миг то есть не вспыхнут ни малейшим светом, а Сашка все будет хлопотать, начищать до блеска семейные серебряные ложки с виньетками — с его, Хованского, вензелем — и будет светить, светить... Так вот он ощущал беспечный ласковый нрав своей падчерицы, и умирать было страшно, видя, как далек от верной ее оценки беспощадный угрюмый мир.

Мысли свои о мире и положении в нем Александры Александровны (далее этого он и не шел) Хованский доверял своей хозяйственной книге, в которой Сашенька, по Ритиным предположениям, и я склонна с нею согласиться, ни разу в жизни не набралась терпе-

ния разобраться, хотя она и сохранилась среди последних ее вещей.

Понятно, что когда Саша, познакомившись в Ялте с фон Венком, человеком добрым, обеспеченным и в летах, была тут же просватана и зажила своим домом сравнительно недалеко, в Самаре, где фон Венку после длительных жизненных неудач наконец удалось что-то и куда-то вложить (Александра Александровна ни тогда, ни впоследствии так и не разобрала, что и куда) — Хованский был очень доволен и умер спокойно, завещая Александре Александровне все что мог вкуче со старым скрипучим Саратовским домом.

Рита охотно верила бабушке Саше, когда та рассказывала ее маме, что фон Венк был прекрасным, исключительно заботливым мужем и добрейшим человеком, веселым и душевным, что она с ним горя не знала, и если ей в чем и не повезло в жизни, так это в том, что фон Венк был уже в возрасте и так скоро оставил ее с двумя крошками на руках. Но ведь весь ужас в том, говорила Рита, что и Богомоллов, второй бабушкин муж, тоже был прекрасным, исключительным человеком и очень любил бабушку, а все было, как было, и видимо, не могло быть иначе.

Овдовев в 1910 году, Александра Александровна уступила уговорам родственников и отпустила старшего сына Виктора в частный немецкий пансион, поверив, что в России мальчик не сможет получить должного воспитания. Да и в Самару явились родственники-немцы — бабушка Саша сама их и вызвала в панике перед совершенно невнятными ей делами на предприятии. Сама же, подхватив трехлетнюю Верочку, верну-

лась в Саратов, в дом отчима с единственной прислугой Дарьей, кухаркой Хованского, с которой Александра Александровна не разлучалась с самого своего детства. И как находит Рита, если кто и направлял ее в жизни действительно в сущих ее интересах, так это Дарья. Однако же Дарья средств, естественно, не имела, и разобраться в юридических правах бабушки Саши была не в состоянии, да и какое это имело бы значение, сама подумай? — усмехалась Рита, не особенно вдаваясь в вопрос. Факт тот, что она жила себе тихо с Верочкой и Дарьей, и даже Викторчик приезжал к ней на лето, и она ни на что не жаловалась, говоря о той поре, кроме как на ужасную грусть и чувство неисчислимых потерь, которые подкосили ее душевно, и она забыла уже давно, что это еще собственно цветущая молодость ее идет — ей не было и двадцати пяти лет. А чувство у нее было такое, что она доживает жизнь, и не дай Бог детей не успеть поставить на ноги. Вот с таким-то, кажется, чувством она и вышла замуж за дорожного инженера Богомолова, поскольку он ее просто к жизни воротил — такой был прекрасный, великодушный, жизнедышащий человек, хотя и совершенно в другом ключе, чем фон Венк. Как же не в другом, усмехалась Рита, когда через пять лет наша бабушка среди всего своего жизнерадостного семейного благополучия, окруженная детками — тремя уже, не считая прозябающего в немецком пансионе Витеньки, и беременная моим папой, была как громом поражена арестом Богомолова и ссылкой его на каторгу. Витеньку тем временем перестали уж выпускать на лето из Германии, да и родственники фон Венка с самого начала войны уехали из Самары, как они пола-

гали (в письмах к Александре Александровне), временно.

Как она жила все это время, одному Богу известно. Во всяком случае, Ритин отец, росший голодранцем, отзывался об этой их жизни с презрением и горечью, которые Рита передавала мне уже с горечью собственной своей:

— Посадит нас всех на лавку и рассказывает про балы у губернатора, да еще при том поет и танцует, а мы сидим, голодные, уставимся на нее, будто дремлем. Целыми днями, бывало, держала нас в этом нашем тихом оцепенении. И хохочет, и изображает всех в лицах. Какая-то тронутая была.

Было это все — и пение, и танцы, и лавка — уже в Сердобске, куда Богомолеры переселились после революции: в двадцатом году вернулся отец, в чахотке, с кровохарканьем, построил в Сердобске дом, просторный, деревянный, утопающий в снегах, с лавкой, с чьей-то лошадей у порога, запряженной в сани, — и умер. Старая ломкая фотография с потрескавшимися уголками — желто-белая, солнечная, дом отделан замечательно веселой нарядной резьбой, тишина, ни души, и только лошадь, кажется, дремотно пожевывает и покачивает склоненной своей головой.

От одного только этого слова — Сердобск — у меня перехватывает дыхание, угасает все в мозговых моих клетках, кроме видения тихого снега, разыскренного солнцем, крепких саней, свалявшейся, поношенной лошадиной гривы — и почему-то приглушенное двойными стеклами нехитрое пианино доносится издали, едва различимая полька Балакирева.

Рита родилась в мае, накануне войны, в Свердловске — родители ее недавно окончили индустриальный институт и только-только собирались выходить из нищеты, и у ее мамы тотчас же, как только передали о Бресте, пропало молоко. Отец отправил их с Ритой к бабушке в Сердобск и ушел на фронт. В доме у бабушки Саши оказалось и вовсе пусто, так что она сразу же отправилась в деревню за молоком. Взяла кошелку, банку, накинула шаль — и отправилась. Вернулась она к вечеру, очень веселая, рассказала Ритиной маме, какую замечательную мамку нашла Ритусе, со звездой во лбу, здравомыслящую, каштановую, буренку. И поскольку бабушка Саша вернулась без шали, рассказывать Рите о балах она уже, видимо, не имела возможности.

Но маме Ритиной немножко еще рассказывала. Во всяком случае, Ритина мама страшно к ней привязалась, считая ее пустышкой, болтушкой, но человеком ангельской доброты. И уже за то они должны сказать ей спасибо, — полагала она, имея в виду ее сыновей, — что она сумела каким-то образом, вопреки поветрию жизни, укоренить у них в мозгах склонность к образованию, хотя и не имела никакой возможности дать им его. Как-никак, Саша Богомоллов — хирург, Петр — симферопольский Богомоллов — доктор наук, папа — инженер. Но они ведь не ценят этого, считают, что сами выбились в люди, а мамаша их только голодом и морила. На редкость не дружное семейство. Никогда не видела, чтобы братья до такой степени не имели житейских контактов. Даже не переписывались. Жен друг друга в глаза не видели, не говоря уже о детях. Ведь как ты себе это представляешь, говорила она Рите, что у тебя полно братьев

и сестер где-то по Союзу. Борис и Анна в Симферополе, Герман в Москве, а еще ведь... Но да это уж — ладно.

Рита никак себе этого не представляла. Она их никогда не видела, даже на фотографии.

— Все Богомолы ужасно здоровые, просто гиганты, — тем не менее говорила она. — Русаки, кровь с молоком.

Откуда-то все-таки было у нее такое представление, но откуда?

Отец ее, говорит она, невыносимо сдержанный человек. Жить с ним нельзя, она вполне понимает маму, хотя ясно, что мама совершенно не понимает отца. А его и нельзя понять, потому что он никогда, ни при каких обстоятельствах не выражает своего истинного отношения к чему бы то ни было. А оно на самом деле страшное, вот в чем все дело. И вынести его в одиночку, ни с кем не делаясь — тоже нужно иметь мужество. Мама же вообразила себе, что он малодушен, нытик, пессимист, меркантильный скопидом, самовлюбленный эгоист, безответственная кукушка, Нарцисс, неудачник, претезант.

— Толстой, — говорит она, — писал, что человек представляет собой дробь, в числителе которой то, что он есть на самом деле, а в знаменателе — что он о себе воображает. Павел Иванович, если исчислять его этой дробью, просто ноль. Он ведь воображал о себе в молодости, что он гений. И способности у него были, слов нет. Голова, и так далее. В институте он ходил в звездах. Он знал только две отметки в жизни — «два» или «пять». Но боже мой, другие, которых он просто не брал в расчет, оказались в чем-то гораздо более спо-

собными, и он теперь дуется на весь свет, как мышь на крупу.

Рита понимала отца совершенно иначе, хотя и считала его конченным человеком. Общего развития ему не хватало, культуры, духовности. Оба они жертвы своего времени, и отец, и мать. («Будто бы мы с тобой не жертвы! Все люди — жертвы.») Слишком мелкие цели он ставил перед собою в жизни, а когда приходил к ним, ощущал, конечно, ужасную пустоту и неудовлетворенность, потому что рассчитан-то был природой на тихое, постепенное и кропотливое умственное прозябание с его тишейней бесконфликтной натурой, холодно-замкнутой в своем скептическом и довольно-таки безучастном восприятии жизнеустроительского буйства, с его неспособностью выносить малейшего повышения голоса ровно физической пытки. Быть с его характером директором завода, главным инженером, управляющим трестом по каким-то там заграничным поставкам, вообще любая чисто практическая деятельность — просто чепуха какая-то. Наверно, это его голодное детство развило в нем тягу к жизненному успеху такого сорта. А может быть, ничего другого в жизни не подвернулось под руку. Но никакого жизненного успеха не получилось — одна тоска и деградация. Теперь вот, накануне пятидесятилетия, вздумал кандидатскую диссертацию защищать, как мальчик. При его-то мнительности. Ну, защитит он ее — конечно, господи, из любого его плевка в сторону техники можно что угодно раздуть — но толку-то что? Жизнь-то упущена, разошлась на верхи, на пятки, на плевки — на верхоглядство. И он же это чувствует, понимает, страдает — вот что самое тяжкое в нем,

чего мама вынести не могла. Конченный человек, одним словом. Может быть, как раз в том, что он от этого всего куда больше страдает, чем от того, что мама от него ушла. Не знаю. То есть, это Рита, конечно, говорила, упрямо сдерживая осуждение, приподняв одну бровь:

— Не знаю. Обо мне он и вовсе, по-моему, минуты в жизни не думал. «Ах, какая ты выросла красивая! Кто б ждал — была таким рахитичным уродцем, когда родилась. Какая чудная девочка! Хорошо мамочка воспитала, умница она у нас», и так далее. Слова худого о маме я от него не слышала. Между тем более несовершенных людей свет не видывал. Мама — совершенная норма, посредственность, но не из худших, наоборот, она очень в общем хороший человек — чего о папе как раз с уверенностью и однозначно вовсе не скажешь. Господи, дам что там говорить — одно слово рабфаковка, энтузиастка тридцатых годов. Знаешь ведь ты это поколение?

— Ох уж знаю. У самой мама такая.

— Свято воплотившее в себе идеалы во всей их безгрешности... Ничего кроме ватника, да обмороженных рук, да госпиталей, да тифозных детей, да превышения всех сил человеческих у себя на производстве не дождавшееся от жизни. Теперь оглядываются по сторонам, да и понять ничего не могут — где же идеалы-то? Ужасно расстраиваются. Я с ней не могу получаса, выматывает, выжимает, как лимон. Крикуха, моторный момент развит до невозможности. Активность действия уму непостижимая. Особенно коллективного. Умственный инфантилизм страшный. Эмоциональная раздражимость на уровне вопля — и в проявлении чувств, и в

восприятию. Больной ребенок, голодный, раненый, лишенный крова — чуть на глазах, вызывает у них немедленную реакцию, безотказную, без рассуждений. Тут они прыгнут в огонь, положат всего себя... Тупость же к психологическим нюансам — полная. Общая, поколенческая. Не забывай, России лет шестьдесят было не до Достоевского. Чехов, и тот на прилавках валяется. Я ведь помню еще груды книг по магазинам — все свое детство. Первых после войны раскупили, по-моему, Диккенса и Джека Лондона. Где-то в середине пятидесятых исчез Пушкин. А потом уж пошло дело. Очереди на подписки, и так далее. То ли еще будет, помяни мое слово. Париж заселяется вновь*. Я с ней просто не могу, хоть режь. Отец же, по-моему, должен был просто органически, химически, нервно не выносить ее, противу всяких доводов разума. Но ведь она не могла об этом знать, даже догадываться не могла — он же не способен участвовать ни в какой перепалке, никаких требований к окружающим, даже самым близким, высказать. Просто в генах не заложено такой возможности — пуститься в скандал или перепалку по житейскому, кухонному поводу. В душе — о, это другое дело. В душе он, мне кажется, на все способен. Ну просто на все. Там нет святынь, миражей, никаких таких иллюзий насчет любви и добра. А она жала и давила — это же трактор, а не поколение — перевоспитывала, перепаживала, ей требовалось веры, борьбы за справедливость. Перевоспитывала, перепаживала, перековывала орала на мечи. Но это, должна тебе сказать, такое врожденное орало, что перековать его невозможно. Хрусть, и все. И никакой веры вообще. Никакого добра. Вообще, все Богомолы

несчастливы в личной жизни. По-разному, но ужасно. Тот вот, московский, который хирург, даже в сумасшедшем доме сидел — жену ножом саданул, кортиком своим военным. Только потому под суд не попал, что она его выгородила и из психушки вызволила. Куда уж там им было о бабушке Саше думать... Когда ее нашли, в доме не было ни крошки. Ну ничего, пусто, только вот этот вот сундучок да та самая лавка. Да портрет Петра Ивановича маслом, да ящик из-под шампанского, от последнего приезда Александра Ивановича оставшийся. Бутылки она, конечно, все подавала. Даже стульев не было. Даже кровать продала. Словом, умерла голодной смертью. Я ведь видела этот пустой дом. Жутко. Вот чего я маме никогда не могу простить, так это бабушкиной голодной смерти. Сыновья — с них и спросу нет, с ними все ясно. Но ведь мама — она прожила у нее с ребенком — со мною, то есть — всю войну, она с ней сблизилась, полюбила ее. Она преспокойно оставляла у нее ребенка, меня, то есть, на два года, когда вернулась после войны в Свердловск, а ведь это почище, чем просто кровное родство. Да и потом я проводила у бабушки Саши каникулы... В первом классе, во втором — а когда перешла в третий, отец меня отправил на лето по какой-то министерской путевке на Черное море... А зимой бабушка умерла. Я так думаю, это потому только, что умерла Вера Эрвиновна. Только год бабушка без нее и протянула.

— А кто такая Вера Эрвиновна?

— О, это была замечательная старуха. Бабушка водила меня к ней в гости. К нам она никогда не приходила. Вообще мы с бабушкой знаешь как жили! Просто как

подружки... Эх! Брусника-черника-малина-грибы-орехи... Даже рыбу ловили вдвоем, честное слово. Она все жалела, что не умеет стрелять из ружья, а то бы, говорила, мы с тобой горя не знали. Ну да ничего, зато мы вегетарианцы. Бог вегетарианцев любит, посылает им долгую жизнь. У нее был палисадник перед домом, маленький, и она сажала в нем картошку. Но все же маргаритки и ноготки у нее там тоже росли, и клумба одуванчиков. Знаешь, как красиво! По весне вся золотая, потом вся серебристая, потом бабушка аккуратнейшим образом срезала все отцветшие стебельки, а из листьев делала салат с жареным хлебцем. И яблоня была. Бабушкина любимица. Бабушка все мечтала посадить под ней куст пионов, когда деньги заведутся.

Как ясно я все это вижу: Сердобск, деревянный дом с резным карнизом... Рождество, Пасха, Троица... Полька Балакирева. Темноватые комнаты, густые медовые комки света на выпуклом сундучке, на лавке, на точеной Ритиной фигурке в бумазейных шароварах, обвязанной клетчатым платком. Профиль высокой худой старухи с пугающе большим орлиным носом, с острым подбородком, с тонкими резными ушами, гладкие седые волосы, собранные в пучок, хрустящий белый фартук, штопаное шерстяное платье в талию с белым воротничком. Стремительно проскальзывает она мимо окна, заслонив на миг свет, поворачивает голову, ее тонкие ожесточенные губы медленно расползаются в улыбку, как занавес сказочного театра фей, в руке является волшебная палочка — то просто скалка, тесто катать, но для меня уже не имеет ровно никакого значения, что мне это известно. Она заливается смехом, ску-

лы ее розовеют — дивное свежее лицо с искрящимися радостью темными голубыми глазами, какой свет, какой пирог с черникой, какая елка с бумажным Арлекином на ниточке, с горсткой орехов в берестяной корзинке, с ее собственными бусами на ветках, со свисающей поверчивающейся сосулькой начищенной серебряной ложки с ломающимися лучами от самодельных разноцветных свечек на узоре вензеля: Н. Х. Запах хвойной смолы, вяжущий горький вкус еловой иголки, когда любопытствуешь взять ее в рот и раскусишь... Все эти корзины, кошелки, удочки, старые фотографии, письма, перевязанные выцветшими ленточками, с мелким страшно знакомым русским старинным почерком, будто писаны все одною и тою же рукой — бисерно, ровно, раскидистой тонкоперой вязью черными выгоревшими чернилами.

И вот идут они, взявшись за руки, тихими переулочками Сердобска, скользя и шаркая по снегу валенками, Рита такая маленькая рядом со своей долговязой подружкой, идут молча, погрузившись каждая в свое душевное напряжение. Скользить и шаркать им приходится порядком от их крайнего к лесу, почти на отшибе стоящего дома до центра, до главной улицы, оживленной, людной, с магазинами. На ней они замедляют шаг, и квартал-другой проходят чинно, гуляючи, не шаркая. Бабушка еще больше выпрямляется, даже расстегивает верхнюю пуговицу пальто с облезлым лисьим воротником, разворачивает вязанный платок на шее, чтобы вольнее дышать чистым новогодним воздухом, оглядывает с ног до головы Риту, поправляет сбившийся на сторону клетчатый платок, которым та перевязана по-

верх пальто под руки. Бог весть откуда я так хорошо знаю этот клетчатый платок, только он лилово-коричневый, или, пожалуй, лилово-желтый, но часть клеток непременно лиловых.

За углом, в одном из центральных переулков, они входят в подъезд двухэтажного коммунального дома с обшарпанным, запущенным фасадом, поднимаются во второй этаж, бабушка звонит, три звонка. Им открывает такая же высокая, такая же худая женщина в таком же шерстяном платье в талию, темно-синем, с белым воротничком. Однако она совсем не старуха, Рита ошибается, как это часто бывает с детьми, у нее просто рано состарилось лицо, розовое и тонкокожее, очень строгое, чуть даже нахмуренное. У нее вид школьной учительницы, смотрящей сквозь пальцы на детские проказы и сосредоточенной на программе. Что соответствует действительности — она преподавательница немецкого языка, одинокая, кажется, старая дева. Кто она бабушке Саше, откуда они знают друг друга — все это неизвестно, об этом и речи не заходит. Ритина мама, когда жила в Сердобске, тоже заходила к Вере Эрвиновне, и когда Рита болела тифом, кажется, Вера Эрвиновна все же появлялась у них в доме, и даже плакала, но это было во-первых очень давно, во-вторых, Рита была в бреду.

— Здравствуйте, - говорит Вера Эрвиновна, и ее узкие змеистые губы начинают медленно расплываться, углы их уползают куда-то вверх, и на свежерозовых морщинистых щеках являются ямочки, которые сразу ее молодят и очень оживляют. Волосы у нее почти совершенно седые, небогатые, гладко зачесаны и собраны в узел, и профиль робкий, востроносый и очень домаш-

ний. — С праздничком, с Новым Годом! — улыбается она, широко раскрывая перед ними дверь и отступая таким образом.

— С Новым Годом, Вера Эрвиновна! — разносится по длинному коммунальному коридору звонкий детский голос Риты. — С Новым счастьем! Желаю вам всяческого благополучия, здоровья и трудовых успехов на благо...

— Входите же, входите, — радостно, суетливо топчит Вера Эрвиновна. — Спасибо, детка, спасибо, милая, вот хорошо-то, что пришли, а то я готовлюсь, готовлюсь к празднику, а теперь думаю — придет кто, нет?

Они идут по коридору, бабушка тихонько подталкивает впереди себя Риту, проходят одни, другие, третьи закрытые двери и наконец, в конце коридора бабушка берется за латунную до блеска начищенную ручку двери Веры Эрвиновны и, войдя, начинает развязывать Ритин платок на спине, и Рита мнетса, потому что ей хотелось бы поскорее скинуть валенки, но она не уверена в том, прилично ли это. И ей приходится ждать, пока бабушка, словно заряженная обоймами стрекочущих фраз, не разрядится хотя бы немножко, потихоньку распутывая Ритин платок, расстегивая на ней пуговицы, разматывая кашне:

— А у нас елка, представьте себе. Да, да, и по моим понятиям очень хорошенькая. Я тебе, Верочка, к следующему Рождеству непременно тоже срублю в лесочке, просто обязательно. Я, ты знаешь, все думала-думала об этом, но топорик, знаешь, тот мой топорик, что еще, собственно, по-моему, даже Ванин еще топорик или не Ванин, может быть, и даже не знаю, откуда

он в доме, но ведь это такая необходимая вещь, топорик, как посмотришь — где теперь раздобудешь, ума не приложу, а я же замечательно умею — впрочем, я умею даже рубанком, меня Ваня учил как-то учил — ну ни в коем случае сначала не получалось, сразу во всю глубину норовила хватить, и ну никак, никак не могла в толк взять, в чем же тут хитрость. Ваня сам по себе ведь был только умный, ты знаешь, это удивительное дело, до чего не умел человек понять чужой глупости, вообразить, где у человека промашка в уме. Ритуся, ну что же ты, неужели так тебя всю с ног до головы раздевать бабушке — большая ведь уже, детка, а это же так уныло, соскучиться можно, раздевая тебя, а у нас праздник, нам хочется побыстрее, повеселее... Ну! Давай-ка, скидывай валенки...

Вера Эрвиновна тихо и осторожно посматривала на Риту, расставляя на столе, на белой, сурового полотна, вышитой простыми белыми нитками скатерти чашки с блюдами, все их переменяла, стараясь получше подобрать друг к другу, из битой-перебитой разносортной посуды, доставала из буфета завернутые в вышитую салфетку серебряные ложки с вензелем, начищенные до блеска. хлопоты, хлопоты— шаровары снимались, поправлялись чулки, надевались принесенные с собою из дому в мешочке сандалиии, ее вели мыть руки, бабушка перевязывала помятые под платком банты, велела расчесать перед зеркалом челочку — чубчик, как называла бабушка. Вера Эрвиновна тихо, осторожно и внимательно следила все их движения, принимала участие в них лишь изредка, на правах хозяйки — подавала разве что мыло, которое хранилось в комнате, в шкафу-

чике, указывала полотенце над умывальником. Наконец, все было готово, расставлено — посреди стола красовался нарядный, пышный морковный пудинг, торт, как называла его бабушка, на маленькой тарелочке, специально для Риты припасено оказывалось пирожное с маргариновым кремом на сахарине, из кухни приносился чайник, ставился на стол и тут же поверх него сажалась лоснящаяся от толстомордой улыбки баба с облупившейся на щеках краской, в вышитом переднике. Все чинно усаживались за стол, и тут Рита совершенно неожиданно обнаруживала рядом со своей тарелкой яркое, праздничное пятно книжки с картинками, она всплескивала руками, поднимала глаза сначала на Веру Эрвиновну — та улыбалась, спокойно поводя ложкой в воздухе — потом переводила взгляд на бабушку, которая весело, возбужденно посмеивалась, наблюдая за нею, и опустив глаза, зардевшись, Рита говорила некое общее «спасибо» — оно адресовалось как бы и к бабушке, приведшей ее в этот чудесный щедрый дом и вообще организовавшей весь праздник, без чего праздников не было бы вовсе.

Потом рано или поздно бабушка отводила Риту на станцию, сажала ее на поезд, ставя рядом с ней корзиночку с пирожками, с банкой соленых грибов, с кулечком орехов, в Свердловске ее встречал отец, брал корзинку, и как-то брезгливо и недовольно поморщившись, говорил:

— Ну-ка, попробуй ее понести. Больно тяжела для тебя, наверно?

И даже когда Рита отвечала:

— Нет, ничего себе, — он все равно брал из нее банку с грибами и клал к себе в портфель, а корзиночку отдавал Рите. Потом он отводил ее к маме, и Рита начинала изо дня в день ходить в школу, целую вечность не видя ни отца, ни бабушки, ни Веры Эрвиновны.

Потом узнавала от мамы, что умерла Вера Эрвиновна. От рака. Узнавала, что Вера Эрвиновна была такой хороший человек, лучше всех Богомоловых вместе взятых и перемноженных, бедная женщина, никакой своей жизни, всем ради них пожертвовала, ведь это же была их сестра, Верочка фон Венк, но они с бабушкой больше всего боялись их родство обнаружить. Вообще, такая трагедия, что и говорить, так жалко ее. Узнала Рита от мамы, что умерла бабушка, что соседи нашли ее мертвой, умершей около недели тому назад. Кто-то вдруг обратил внимание, что давно ее не видно, и решил сходить узнать. Дверь дома оказалась даже и не запертой. Бабушка лежала на лавочке, под одеялом, одетая с ног до головы, укутанная клетчатым платком, с белым воротничком, и уже совершенно окостенела. В доме не было ни крошки, и все вещи были проданы. Мама была в ужасе. Она была уверена, что сыновья ей все же помогают — они ведь все такие обеспеченные, а она ведь потому и не хлопотала о пенсии за Богомолова, что за них боялась — что ляжет на них тень от ее первого брака, если вдруг начнут выяснять. Никуда никаких заявлений она вообще не подавала. Даже подпись свою, если приносили телеграмму, боялась поставить. Такая трусиха была. Может, они ей и помогали, конечно, — сказала она какое-то время спустя, когда весть о бабушкиной смерти притупилась, и мама боль-

ше уже не плакала, вспоминая об этой вести, — но ведь бабушка Саша такая была, прости ее господи, беспечная, что ничего, небось, не откладывала, заработков никаких не имела. Любая заминка — и вот тебе и все.

Но оказалось, что бабушка Саша была не совсем уж до полной безнадежности беспечная. Оказалось, у какого-то нотариуса в Сердобске имелось завещание по всей форме — дом и все, что в нем еще оставалось, то есть сундучок и старый зингер, было теперь Ритино. Отец, видимо, совершенно шутя, счел однако своим долгом спросить у десятилетней Риты:

— Ну что, Гретель, намерена со своим наследством делать?

— Я буду там жить, — очень серьезно ответила Рита, чем страшно всех изумила. Отец сначала расхохотался, потом нахмурился, и ничего не сказав, проводил ее домой, к матери — дело было в воскресенье, он водил ее в оперетту, на «Корневильские колокола».

— Какие там кровные узы, — говорит Рита. — Такая же чепуха, как национализм. Притча о голосе крови. Все ужасно условно, текуче, переменчиво. Способствовал семейный клан выживанию, вот и пропагандировались инстинктивно эти кровные узы. Узаконивал себя инстинкт на уровне сознания. Расширялись клановые интересы — до столкновений расширялись, вот именно, как Земля заселялась и приходилось тесниться, вот и возникла проблема защиты с другой стороны, в противовес — национальная общность тут ощутилась. Они же сами не замечают, как вопрос по сути дела ставится сейчас уже расово — а все еще продолжают ненавидничать на национальном уровне, делить вчерашний

день. Вот уж действительно! Я, например, наверняка татарва — без этого и обойтись не могло: все ведь волжане. А чувствую я, спроси, какой-нибудь такой особенный голос крови? Да никакого. Я одно только чувствую, причем совершенно ясно — что все это племя безутешное, безмозглое — один несчастный клан, глупый до невозможности, у которого один-единственный враг — это вечность, то есть тот самый Бог, которого человеческий ум так страшится, что никак не удается ему подумать о нем как следует без того, чтобы не наделать в собственные свои штаны.

И мне вдруг пришло в голову, что может, это и есть голос крови — это ее ощущение. Но только какой же из кровей — русской или татарской? А может, подумала я, вот именно голос их слияния, да плюс еще внутриутробное внушение немецкого родства... Голос ассимиляции! Я так обрадовалась озарению, с такой любовью окинула взглядом точеную Ритину фигурку и длинненькое лицо, которое, как я понимаю, не столько, может быть, и красиво в полном смысле слова, сколько обладает удивительной способностью с первого взгляда делаться родным. Есть такие лица, знаете ли.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

Трудно себе представить, чтобы Рита когда-нибудь — пусть хотя бы и в детстве — была в кого-то влюблена, хотя она уверяла меня, что в детстве она постоянно была в кого-нибудь влюблена. Вообще же разговоров о любви она не выносила — по крайней мере общезит-

ских обсуждений любовных сюжетов друг друга и окружающих.

— Впечатление такое, что ничто другое их не волнует, — говорила она с тихим, злым презрением, вынимая на миг пальцы из ушей, чтобы перевернуть страницу книги. Это когда мы с ней сидели вдвоем на одной кровати, закутавшись одним одеялом, и все были дома.

Рита никогда не участвовала в этих общих разговорах, она была по природе своей интимным собеседником, и только вдвоем становилась живым человеком с собственными чувствами и мыслями, а не сводом цитат и формул. Естественно, у меня могло возникнуть даже ощущение, что только вдвоем со мной, но при явлении подобной мысли я напоминала себе, что ведь вдвоем с другими я ее просто не наблюдаю.

Сейчас, когда я вновь и вновь переживаю, время от времени получая ее редкие, замкнутые письма, память о ней — я ловлю себя на том, что, кажется, все же не знаю, какая же она. Но в промежутках между письмами, если у меня спросить, кто такая Рита — я скажу, что Рита Богомолова была способным, умным и несчастным человеком. Видимо, я обязательно скажу «была», хотя прекрасно знаю, что и сейчас есть. Но это потому, что она существует для меня только вдвоем со мной, а без меня — ее как бы и нет. Я ведь уехала оттуда, а она там осталась. Она не верила, что можно изменить что-то в своей жизни, переехав с места на место. «Есть люди, — говорила она, — которые настолько в детстве пережили все, что в дальнейшем им ничего другого не остается, как исполнять обязанности жизни — бесстрастно и бессобытийно, как часы, заведенные на какой-то опреде-

ленный срок, пока их не заменят другими... Ведь в том-то и секрет Господней бесконечности, ты же знаешь. Поняв это однажды, уже невозможно отделаться от понимания также и того, что страсти — всего лишь пружина этих часов, уловка Вседержительства. И больше ничего.» Когда она так говорила, мне, как ни стыдно в этом признаться, хотелось ее ударить — вразумить таким образом, но попытка вмешательства пресекалась мыслью: раз она так чувствует, значит, для нее это правда, — эта вообще-то, для всех людей — неправда, особенно для женщин. «Вот только любить я не могу по обязанности жизни, — задумчиво объясняла она, — а значит, тем и кончится дело — в одиночестве, без даже детей, не говоря уж о прочем... Некому будет глаза прикрыть». Тут мне ее снова хотелось ударить. «Говорить такие вещи в двадцать семь лет — просто пижонство», — зло обрывала я ее. Она переводила взгляд на меня из пространства и снисходительно смеялась. Вмешательство мое снова пресекалось мыслью: ведь вообще-то Рита куда как не пижонка, а уж об обязанностях жизни и говорить нечего — только и покидало ее лицо так выделявшее ее глубокое тоскливо-сумрачное выражение, когда она сидела за своим столом в лаборатории и работала. Тогда выражение ее лица сменялось совсем другим — тоже глубоким, но покойным и умным, немного даже отвлеченным, особенно в вечерние часы, когда все расходилось исполнять те свои обязанности жизни, коих ни у меня, ни у Риты не было.

За пять лет, проведенных ею под Свердловском после университета в нашей скромной лаборатории — конечно же, скромной, глубоко провинциальной, где не

писалось ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной», откуда не посылали на гастроли в Америку с освещением этих гастролей во всех популярных литературно-художественных изданиях, — за пять лет здесь успело составиться и укрепиться мнение, что Рита Богомолова «тянет в науку, как мужик», и когда я говорила ей, что надо бы податься куда-то в центр, в аспирантуру:

— Я ведь совершенно не сомневаюсь, что будь ты в потоке, попади в благоприятную точку жизни — потрать на это какие-то организационные усилия, ты бы...

Она морщилась:

— Да, да, можешь не сомневаться, что я тоже не сомневаюсь: уж я бы... Может, ты и права, как всегда, но меня это как-то не вдохновляет. Я совершенно случайно инженер, становиться совершенно случайно докладчицей на симпозиумах — это уже слишком.

Потом она снова смеялась своим снисходительным смехом и добавляла как бы в шутку:

— Я все равно уже убедилась, что не найду себе жениха на самом блестящем симпозиуме. Что я там забыла в таком случае?

Мне становилось жутковато от этих ее шуточек. И вообще жутковато было вдумываться в нее, в то, как выглядит она и ее жизнь — за последние пять лет — со стороны.

Жутковато было наблюдать, как она входит в воду — летом, в отпуске, когда мы однажды поехали с ней по путевке на Байкал.

Пустынный вечерний пляж, солнце обдает ее спокойной-унылую фигурку почти сиреневым светом из-за кедров на западном склоне, песок изрыт синеватыми

тенями, четверо мужиков с наколками распивают у палатки, и только черные глубоко молчащие кедры да я — видят, что такое эта Рита. И кто только вырезал ее нежно-костлявые, сладостные конечности, худую, трогательно-гладкую, будто детскую еще спину, медово облитую загаром? Кому это понадобилось и для чего? С кем говорит его легкая и такая мелодичная кисть с подрагивающими, словно крылья бабочки, пальцами?

Пришвартовался к нам — так называла это Рита — парень из Петропавловска.

— Да бросьте вы, глупости это все! — сказала она ему, когда дело дошло до того, что мы делаем по вечерам. — Ничего мы не делаем, и делать нам совершенно нечего, раз мы в отпуске, и придумать вы тут ничего не в состоянии.

— Ну почему? — в последний раз попытался закрепиться на позиции парень с наметившимися уже в тоне нотками поражения. — Может, могу. Откуда вы знаете?

— Ну что, что вы можете? — приветливо, почти снисходительно, почти весело перешла в наступление моя Рита. — Позвать нас в ресторан? Так мы не пойдем. Мы сыты по горло санаторской столовой.

— И подруга? — взмолился взглядом парень, но Рита не дала мне расчувствоваться.

— И подруга. В кино мы не ходим на что попало, в карты не играем, водку не пьем, что вы еще можете предложить?

— Конечно, в таком случае вам трудно угодить, — без излишней ненависти капитулировал парень, и лицо его, было оживившееся, когда он увидел эту облитую

медовым загаром статуэтку-Риту, приняло скучное, как на работе, выражение. Сразу стало видно, что он про- раб на стройке, или мастер на буровом участке, или су- довой механик, словом, трезвое ответственное лицо. Впрочем, до биографии дело не дошло. Он посидел еще минут пятнадцать из приличия и ушел, с очевидно испорченным настроением.

Да, доброй Риту трудно было назвать. Не была она добра ни к девицам в общежитии, ни к бабам в лабора- тории, как она их называла, ни к дамам, как она же их же там же называла в других случаях жизни, ни к, тем более, соискателям. Как она называла. Да и где же сыс- кать не соискателя — мужчину, который способен был бы переживать саму женщину, а не себя в виду нее? — возможно, такое чувство только и можно испытывать со стороны, не влюбившись — как я переживала Риту, скажем, в тот день, вернее, в ту ночь, когда от страха за нее чуть с ума не сошла.

Дело коснулось одной из так называемых Ритой девиц: но не из общежития, а местной — лаборантки из Ритиной группы, самой, может быть, грубой, ленивой, с поросшими чертополохом мозгами, из тех, про которых Рита говаривала:

— Не знаю, что с ними делать. Объяснять им, что мат — это плохо — самое бесполезное и неблагодарное занятие на свете, пока они сами являются той социаль- но-психологической почвой, на которой вырастает тру- щобный натурализм. Объяснять им, что весь их внеш- ний облик, и каждый поступок, и не поступок — свиде- тельствуют о тех несчастьях их жизни, в которых вино- ваты они сами — жестоко и цинично, потому что это

лишь отчасти так. А они пока способны понимать лишь нечто абсолютное, как Кащей и Баба-Яга. Как те фильмы, которые они смотрят по телевизору.

Девушка, которую перестали брать в командировки после того, как в одной из них она устроила себе почти принародно выкидыш и чуть не умерла от заражения крови, однажды не является на работу. После обеденного перерыва становится известно, что у нее отравилась и повесилась мать-продавщица, то ли на почве недостачи, то ли на почве злостности одного из любовников. Сначала отравилась уксусной эссенцией, а потом, исцарапав себя всю в мучениях, повесилась.

Я узнала обо всем этом вечером, в общежитии, в уже укомплектованной до обозначенной двойственности версии — я как раз осталась поработать дома, используя накопившиеся отгулы. Только поздно вечером, явившись после кино, «девицы» рассказали мне, почему до сих пор Риты нет дома.

В лаборатории сразу же начали совещаться насчет организации похорон: собирать деньги.

— А где сама Алла? — спросил начальник лаборатории, молодой талант из недавних ленинских стипендиатов Куйбышевского авиастроительного.

— Дома, — сообщила подруга не вдруг пришедшие к рассказу сведения. — Она утром пришла, пропуск взять, чтобы на работу идти — у парня у своего была, убежала специально накануне, потому что мать выла и плакала, и поносила всех на свете, а больше всех Аллку. Аллка материлась с ней, материлась, а потом устала и ушла к парню — он там же, почти что в Лучишках

живет. Недалеко. Пешком можно дойти. Утром возвращается Аллка пропуск взять, а она уже висит. Мать. Вся синяя, в ссадинах, клочок волос с кожей выдран, и бутылка из-под эссенции тут же по горнице катается, если на кривую половицу ступишь. Аллка позвала баб, и когда я обедать домой приехала, все уже всё знали и там у них были. Аллка сказала мне, что лучше уж и никаких денег не надо, а пусть придет кто-нибудь на ночь с ней сидеть, потому что никто из деревенских не останется. Никому тут они не нужны. Никто они никому, и мать все терзали всю дорогу. А Аллка вся распухла от слез, будто сама мышьяку напилась, глаз совсем не видно.

Тут-то и выяснилось, что идти к Аллке практически некому. У всех семья, детей надо забирать из сада и все такое, а Вова — один-единственный холостой ведущий программист — Вова боится.

— Я что угодно, — сказал он: так и вижу, как он это сказал, будто сама там присутствовала, — но с мертвецом в пустом доме, в Лучишках каких-то — этого я не выдержу. Это явно не для меня, я очень чувствителен к таким вещам.

И он рассказал попутно пару эпизодов из детства. Это я тоже легко могла себе представить, поскольку все эти эпизоды давно нам уже известны во всех подробностях. Вова тоже рос в деревне, и в институт поступал прямо оттуда. Насколько он был способным ребенком, можно судить по эпизоду на вступительных экзаменах. На вступительных экзаменах в университет он то и дело говорил «тахитут икс» и «типитут игрек», а когда математик, принимавший экзамен, уразумел, наконец, что

речь идет о максимумах и минимумах, и выяснил, откуда Вова родом, то и поставил ему пятерку.

Попутно же я сразу вдруг оценила — как прострелило — до сих пор не совсем ясные для нас странные некоторые поступки Вовы. Когда, например, он, тихий и настойчивый специалист, обиняками доводил до сведения Главного конструктора, как ему трудно работать с одной «богемной», как он ее называл, математичкой из Горьковского университета именно за счет ее богемности, несобранности. И с другой математичкой, бывшей сельской учительницей, тоже трудно — не та подготовка. В общем, он все один да один — кругом один. Вся странность этих поступков заключалась для нас в том, что он и словом не обмолвливался при этом о том, что было у всех на виду: одна математичка, «богемная», «кидала» ему, отрываясь от «Жизни в искусстве» Станиславского, идеи, каких ему, Вова, и не снилось при всей его чувствительности и дарованиях, а другая — «не с той подготовкой», сидела сиднем, отлаживая программы их всех, и Вовины, и «богемной».

И еще Вова — туда же — ходил было, в самом начале, в числе Ритиных соискателей, но довольно быстро бросил это безнадежное занятие.

Теперь же его чувствительное сердце исключало единственного в его лице практически возможного кандидата на отсидку ночи с восемнадцатилетней полурехнувшейся от слез девицей и ее мертвой изуродованной матерью. В пустом доме. В Лучишках о пяти дворах. Среди ноябрьской распутицы.

Рита ничего не знала о своем чувствительном сердце в связи с мертвецами — ей не случалось до сих

пор видеть умерших. Так уж случилось. Что она могла думать и предполагать по этому поводу — я даже не берусь представить себе, зная ее много больше остальных, будучи ее интимной собеседницей. Она сказала, как передают, совершенно спокойно, ну совершенно, без всякой паузы, без малейших колебаний:

— Я поеду к Алле. Вы там когда собираетесь появиться?

«Интереснейший характер, — говорил тот же Вова. — Чувствуется сила в женщине, жестокость. А на вид хрупкая такая, эфемерная. Декадентка.» Ну, Вова! Кстати, не уверена, тот ли это характер. То есть, если понимать под характером что-то первичное, природное, заданное в наборе генетической информации, что ли. Но вот впечатление от нее у Вовы было правильное. То есть глазами Вовы, ушами, поджелудочной железой, его чувствительным сердцем.

Спохватившись, что девиц, вернувшихся после работы и еще плюс к тому после кино, я выслушиваю слишком уж долго, я приступила к выяснению непосредственно местонахождения Лучишек. Оказалось, что проехать туда можно было бы только от здания института, с пересадкой, на двух автобусах, ходящих по реденькому расписанию, от общежития же все гораздо сложнее. Но это почти уже не имело значения, поздно было думать слишком уж настойчиво об автобусах. Автобусы грозили отвлечь. Я попросила нарисовать мне что-нибудь типа карты местности. Но девицы, общежитские девицы, оказалось, сами в Лучишках никогда не были, они только слыхали, где они, и я, собрав пять топографических сочинений, проинтегрировав их мыс-

ленно, стала экипироваться соответственным образом — командировочный тулуп, резиновые сапоги на две пары носок, шерстяной деревенский платок на голову. На Рите же, соответственно, ничего такого не было — она поехала туда с работы, в своей полишинели, как она называла свое бобриковое пальто студенческих еще времен, и в любимых югославских сапогах на пластике.

— Ты что, неужели правда собираешься туда на ночь глядя? — никак не могли поверить в реальный смысл моих сборов девицы. — Так ты попроси кого-нибудь из ребят, пусть проводят!

Я махнула рукой,

— Неохота. Да и кого попросишь? Кому это надо и кто это выдержит?

С Ритиными соискателями все было ясно в этом смысле — слишком это был обиженный народ, да и не имела я права подавать им лишней надежды, отягощать Ритину жизнь, и так унылую от безрадостного их соискательства. Своих же у меня там и вовсе не было.

— Ну идем, к Пете зайдём. Так, на всякий случай. По пути на выход, — предложила одна настойчивая Таня. — Он ведь такой хороший человек!

Я засмеялась.

— Бедные хорошие люди! Всегда им больше всех достается.

Очень уж мне не хотелось эксплуатировать хорошесть Пети Родимцева, хотя и ясно было, что он всегда пойдет, с любым пойдет, всюду пойдет. Но вот к Лене Первенцеву мы все-таки зашли. Не то чтобы он казался мне таким же хорошим, а по совсем другой причине: я была на волосок от того, чтобы он вот-вот примерещил-

ся мне самым лучшим на свете, и в тот момент я даже нашла возможным зайти к нему, вообще-то старательно его избегая.

Леня страшно изумился, увидев нас. Он не мог отлипнуть от дверной ручки, и я уже не знала, предлагается ли быстро сказать у порога, в чем дело, или нам можно зайти. Наконец опешившим тоном мы были приглашены, и Леня очень уместно спросил:

— Ты откуда узнала, в какой комнате я живу?

— Ну так. Слыхала.

— Ты представляешь, Первенцев, она хочет туда идти. Ну не сумасшедшая? — взяла дело в свои руки Таня.

— Куда? — Леня, наконец, сосредоточился целиком на Тане, и обстановка стала почти естественной.

— В Лучишки. К Аллке Немчиновой. Ты что, ничего не знаешь?

И Таня начала опять все рассказывать. Я уже не чувствовала, что время теряется зря, — впервые за этот день все подробности рассказа казались мне крайне необходимыми, а в какой час выступить — с Леной — было уже не так существенно.

То же нашел и Леня.

— Ну, просидит она там одна на три-четыре-пять часов дольше, чем сидит уже до сих пор, разве это меняет что-нибудь в корне? Действительно, не дело ты затеяла. Завтра на работу, и все такое. Зря ты всполошилась. По-моему, Ритка поступила вполне естественно, и нечего панику пороть. Не прирежут же ее там? Это людей надо бояться, а не безлюдья. Точно Татьяна говорит, ни к чему это все. Одни нервы. Интеллигентщина.

Иди домой и ложись спать. Никуда твоя Рита не денется. Уразумела?

Я уразумела. Хотя и понимала, что вдруг это не происходит — в таких случаях: уразумение. Понимала, что понадобится вырезать автогеном еще месяцы и месяцы — ну, полгода, при хорошем самовнушении — какой-то чепуховый, никчемный образ, сложившийся тайными неисповедимыми путями самым странным, а может быть, и самым тривиальным романтическим образом: хороший город Ленинград! Самый любимый мой город, я всегда о нем тоскливо мечтала, с детства, узурпировав его в качестве духовной родины в своем восхищении перед всем тем, что называла русской интеллигентностью — а под нею я очень просто понимала глубоко осознанное мужество ответственности за формы жизни: за формы человеческого существования в себе и вокруг, в любых, самых жутких объективных условиях. И то, что Леня был из Ленинграда, выпускником знаменитого Ульянова-Ленина электротехнического, придавало до сего момента особый шарм, пророческий смысл моему недолгому увлечению... «Последние жертвы романтизма — имя нашему поколению», — говорила Рита.

Не помню, чтобы я думала о том, что впереди. Мною владело все то, что осталось у меня за спиной, и странно — я ничего не боялась. Сердце прыгнуло, когда кончился привычный, типовой, в пять лет выстроенный каменный городок и завыла собака среди горбатых дворов в неизвестной, неизреченной глубокой темени.

Потом кончились и собаки. Невидимым коридором встал лес вокруг бетонированной проезжей дороги, по

обочинам которой сторожили меня непонятно какими органами чувств ощущаемые чудища пней. В ненастной, стылой безлунной ночи все было черно, неподвижно, тяжело.

У железнодорожного переезда — а до него надо было еще идти и идти — мне следовало своротить с дороги и продолжать путь по шпалам; потом, добравшись до пересечения полотна с другой дорогой, повернуть по ней направо; и там уж я могла, если не заблужусь, прийти в Ступино — село, от которого до Лучишек оставалось уже километра три, если правильно сориентироваться и идти прямо на юг, овражистым перелеском. «Это людей надо бояться, а не безлюдья» — я вдумывалась и так и этак в эту фразу, стараясь извлечь из нее хоть какой-то внятный мне сейчас метафизический смысл, и старалась отдаться чувству пространства, всеми силами души доверяла себя земле, по которой иду. Но, хотя ничего не было видно, я ощущала, наоборот, его сжатость, тесноту, на что никогда не обращала внимания раньше, в городах, по которым ходила всю свою предыдущую жизнь; пространство подавляло меня.

Я страстно и терпеливо, почти молитвенно ждала железнодорожного переезда, не зная еще, что там и случится чудо.

Когда кончился лес, я оторвалась от проторенной колеи и обнаружила вдруг, что одна — на границе между землей и небом; страшно влекущий ток, воронка ветра, головокружение — и я чувствую, что меня тянет сорваться и упасть вверх: ничто не удерживает, не схватывает вокруг. Я очутилась первый раз в жизни в поле — в открытом, бесконечном, непроглядном. И понять

как следует, что же это такое — что увлекает куда-то, а что — держит все-таки на этой вязкой, холодной, кое-где успевшей подмерзнуть равнине — показалось мне невозможным. Я успела ощутить только будто бы силу противоборства трех измерений — и беспомощный объект его, лишенная свободной воли личинка, я ухватилась, как за спасительную рейку, за сознание своего ближайшего направления: Рита, Лучишки — человеческое притяжение это и есть любовь, должно быть. Мне было куда и к кому идти в ту ночь — и это было великим счастьем, которое ощущалось как ужас, темень, заброшенность и бесприютность. Но я хотела дойти и шла, значит — побеждало измерение Риты, притяжение души.

Гиль, не правда ли?

Дом был темен — трехкомнатная деревянная изба. В ней слабо светилась — Рита. Это была та комната, и никого, кроме нее и Аллкиной матери, не было там. Свеча стояла рядом с Ритой, и там — только слабые отблески на миллионе дробящихся мелких объемов простыни и лица.

Увидев Риту, я вдруг поняла, что не могу ни постучать, ни окликнуть ее: почувствовала, что не должна допустить тех неизбежных секунд, в какие повергну ее, пока она не поймет, что это я. Собственно, к этому и свелось теперь все содержание этой ночи и память о ней.

Она спокойно сидела в углу, на табуретке, видимо, сжившись с пространством текущих минут и какими-то внутренними силами уравновесив все в нем. Мгновенный звук, шорох мог все завалить, и я стояла, оцепенев,

переживая ее в этот возможный миг. Я решила посидеть на лавочке под окном, пока не рассветет, — свой душевный выигрыш я уже получила, свою корысть извлекла: мне было спокойнее здесь, чем там, в общежитии. Увидела все своими глазами, и успокоилась. Даже хорошо, что никто из мужиков не увязался за мною — начали бы стучать, орать, проломил бы нервы.

Аллка спала, как оказалось, в глубине дома — Рита напоила ее валерьянкой, прямо из бутылочки, и уложила.

Аллка спала и набиралась сил на тот невиданный горестный вой, в который впала на гробе ненавистой своей матери, не желая выходить из могилы и обваливая на себя землю. Мы с Ритой не видели этого — мы не были на похоронах.

Я же получила на днях очередное замкнутое письмо — о делах, которых в сущности и нет; не в обычаях Риты писать о выполнении квартального плана или о новых занавесках, которые она, вполне возможно, и купила для своей однокомнатной квартиры, куда переехала, наконец, из общежития. В письмо была вложена открытка: Рита на развалинах Афин. Развалины очень красиво так сняты. Рита вмонтирована. Такой скромный сюр, в духе современных эпигонов. А на лице-то у Риты, оказывается, уже морщинки! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

— Какое лицо! — молвит Викентий, прийдя в гости и увидев фотографию на столе. — Жили же на свете женщины!

— Да они и сейчас там живут, — усмехаюсь я.

— Может быть, может быть, хотя и представить трудно...

— И даже, в известных обстоятельствах, конечно, — я думаю, такой вот как ты мог бы ей даже понравиться, — почти бездумно роняю я, дабы ободрить Викешу в его вечной беспредметной унылости.

— Ну да, ну да, чего ведь в жизни не бывает, оно конечно... Но ведь ехать далеко, дорого, да и за границу не пускают...

МОЛОЧНИЦА

Я ношу молоко по домам, а не свекровь и не Паша, потому что я — красивая, а это очень важно. Я думаю всегда о своем платке, какой стороной ляжет рисунок, если не в те дни, когда ни о чем не думаю: голова ватой забита, и все мне равно.

По-разному это бывает. Часто, что и вовсе ни от чего. Павел только злится, только злится, а что могу поделывать? Знаю я, если жена у тебя красивая, всегда весела — ты кажешься себе сильным и ладным — так все заслужил и устроил.

Ну, да я же молчу ему про то, чего только ни вижу в разных домах. И как все на меня действует. Ведь что говорить? Что на роду написано, тому и быть. А другое все могу себе только думать. Это уж его не касается, и тут сама себе хозяйка.

Хотя бы с тою худенькой женщиной из серого дома. Все это так интересно у нее. Видать, одна она живет. Дома застанешь редко ее, но а мужа у нее нет.

Несколько раз видела одного, но он же в гостях. Да не просто в гостях, а, как и я, все не может привыкнуть.

Право, она чудная, так и не знаешь, как с нею быть.

Я ведь тоже сперва ее не разобрала. Кричу себе на этаже: «Молоко!» Голос звонкий, и всегда была этому рада.

Открыла она свою дверь и только и сказала: «Зайдите сюда, пожалуйста».

За порогом очутившись, я оробела немного. Комнатка ее маленькая, и все не так, как у других. А отчего — понять не могу. И до сих пор. Будильник громче тикает как будто, и книжек больше — ничего другого нет, одна ее постель. В кухонке всегда свет горит.

И сразу спросила меня:

— В эту кружку не поместится два литра, вы не знаете?

Я не сказала ничего — для чего спрашивает, неизвестно. Тогда она достала банку литровую.

— А такую банку вы знаете? Вы ей доверяете?

— Здесь литр, — говорю.

— Хорошо. Тогда я ее помою — это ведь ничего, что мокрая, как вы думаете?

— Если вода чистая, ничего.

Она походила по комнате, искала кошелек свой, подошла ко мне и посмотрела в глаза.

— Ах, вы еще не вылили в кружку. Тогда давайте я попробую.

В кружке у нее осталось места на пол-литра. Я ей так и сказала, и еще банку наполнила из своего бидона.

— А сколько я вам должна?

Я сказала — шестьдесят копеек, а сама не пойму, почему, ведь надо было сказать семьдесят, и разницы в этом почти нет. Торговаться бы она тоже не стала, сразу видно.

— Спасибо за молочко.

И тут на меня такая неохота напала кричать своим зычным криком у нее на этаже. Я медленно спустилась в другой коридор, и только в конце его снова залилась.

— Молоко! Кому молоко!

На следующий день я дала отстояться ведру и сразу к ней пошла, никуда не заноса. Но ее не застала, а потом постепенно о ней забыла, пока опять однажды не открыла она на мой крик.

— Ах, это вы. Здравствуйте.

Тут у нее сидел молодой человек, но не тот, что в гости потом стал ходить, а совсем другой. Иногда и теперь приходит, да только он не в гостях, а я так думаю, они с детства знакомы.

Один раз он был со своим мальчиком. Мальчик играл на ее диване, а они говорили. И он за ее молоко мне заплатил, папа этого мальчика.

Но в тот первый раз, его застав, я ужасно обозлилась на нее — за то, что специально к ней ходила, а ее не было, за этого мужика, которому она неизвестные для меня говорила слова, а главное, что снова спросила:

— Сколько я вам должна?

Я и сказала, что семьдесят копеек.

Потом уж она не спрашивала, так меня всю в краску прошибло, когда ей оставляла гривенник.

Павлуша мой все пошучивает — видать, мне какой инженер приглянулся в сером доме. «Уведет мою Катерину».

Я себе все молчу.

А то попросила его лоток для птиц сколотить — ей, конечно, — так опять он сказал: «Что, в институтах этому не учат?»

Это он без зла. А все же молчу. Да и что скажешь?

Однако, болит у меня сердце за нее. Ведь не век тут она одна будет в своей комнатке сидеть, кормить птиц, да с мальчиками чужими играть. Глядишь — и уедет.

ЗНАКОМЫЙ МОТИВ

Много прожито лет, и всегда были осень, зима, весна и лето.

И сейчас осень, под вечер перешедшая в зиму снегом и хрустом слюдяных луж. В тихую минуту задумчивости, если выдастся вдруг такая, одни и те же мгновенья растягиваются в памяти сменяющимися друг друга картинками, всегда одних и тех же дней мгновенья, и в этих картинках я — она: она, о которой знаю больше, чем может знать один человек о другом.

Она в сухих кустах чертополоха, прячется в почернелых лопухах, сторожко слушает звук погони и, убедившись в своей одинокости, спускается с холма к холодной уже цветом и видом реке. Игра становится посторонней, и она, уже не казак, уже не разбойник, продирается сквозь сухие бамбуковые стебли кукурузы,

сбившись со стрел, крестов и не подбирая больше записок...

Следует майский вечер, беззвездный, темный, с особенно матовым зернистым свечением фонарей после дождя; ускользящие проблески заката, легкое дрожание плеч, подрагивание легкого платья — страдания какой-то очень юной, совсем забытой любви. Ни эта любовь, ни тем более предмет этой любви не вспоминается толком — только по-прежнему переворачивает все внутри лунный блеск луж под уличными лампочками да искривленный силуэт мокрой черной вишни на углу переулка.

И вполне взрослая зима. Опустошенное усталостью возвращение с работы по шпалам железнодорожного полотна. Розовый сухой воздух, розовые рельсы, длинно и ровно уводящие взгляд к двум фигурам на ясной снежной равнине дороги. Маленькие домики с сухими снежными и розовыми крышами. Горящие четырьмя рядами стекла только что покинутого здания. Одинокий квадрат бензоколонки с красными предметами. Розовый край неба.

Все плоско, сухо, морозно, а любовь — тяжелая и настоящая — сосредоточилась в двух фигурах: его и другой, отделенных блеском бесконечных рельсов.

И как бы ни хотелось вспомнить другое, вспоминается опять это, только эти, навсегда данные картинки. Хочешь, наконец, стать другой — благодарней и справедливей; удается годами, пока снова в растерянности не начинаешь узнавать хруст чертополоха, шелест лопухов и оглушительный треск стеблей кукурузы, снова упиваясь всем следующим и снова сердясь.

НА ЮГЕ МОЕЙ ДУШИ

Еще суббота и воскресенье хороши возможностью видеть сны.

Ближе к полдню, когда полный провал сна сменяется раскрашенной дремотой, ты живешь часа три иной жизнью — морфической прививкой чувств.

Ты оказался вдруг в родном городе, в Таганроге. Имеешь возможность оглядеть его с высоты птичьего полета и неожиданно убедиться в законченном, только ему одному присущем виде. Сравниваешь его с каким-нибудь чудом архитектурного ансамбля, никогда не виденного тобою, например, с Оксфордом, и убеждаешься в правильном выборе места на земле, где бы ты мог родиться, а затем — получить образование и воспитание.

Ведь ты был так молод — семнадцать лет!

Белые улицы, чистый цвет известняка под граненым светом солнца, многогранники кварталов в двойной теневой обвод — улиц, расцвеченных зеленью акаций по обе стороны седоватых от пыли гладких плит.

Этажи слоятся ярусами в фижмах дикого винограда. Громадные террасы для вальса, витки поржавелых столбцов проглядывают сквозь листья и лиловые граммофончики паутели. Размеры домов чередуются со статью фуги или небывалой по красоте специальной функции.

Венчает сказочный город здание в пятнах света и глубоких прохладных теней — таганрогский радиотехнический институт.

Рио-Таганейро — называют город студенты.

Успокоительные мерные звуки реют рядом, над оранжевыми прямоугольниками кортов среди цветущего гребенщика и белой сирени. По краю площадок на крупнозернистый песок ложатся четкой тенью стрелчатые веточки гледичии, красивые ладони конского каштана.

— Мама! — кричу я во сне, сидя на уютной лавочке в кремовых кашемировых шортах, в высоких шерстяных носках и сухой, пахнущей утюгом майке с английским воротником. — Иди же скорее, пока не заняли площадку!

— У меня нет мячей, — отвечает она.

Я не вижу маму, но она рядом где-то, в своем полотноном платье выше колен и в полном моем распоряжении. Для меня не существует проблемы партнера — особенно ценю это во сне.

— Есть мячи, совсем новая тройка. Идем же...

На корте рядом с нашим с удивлением узнаю нынешнего своего начальника лаборатории. Оказывается, не такой уж он худой, и с радостным подъемом говорю ему о неправильном движении локтя при подаче; показываю правильное, можно сказать, совершенное движение с вылетом вперед руки, «задней» ноги и всего тела за ними.

На круглых скамьях ярусами сидят люди, я ношусь по корту в уже мокрой холодящей майке и одновременно слушаю не то лекцию, не то музыку... В стороне, на садовой скамейке, сидит высокий худощавый человек в длинном пальто и в шляпе, с дореволюционной тростью в руке. Его всегда знобит, даже на солнце. Осо-

бенно на солнце. Лицо из моего сна. Лицо из всех моих снов, кажется...

После окончательного пробуждения стараешься оградить себя от смены впечатлений — от яркого окна, от разговоров. Стараешься удержать действие прививки — маму, лет мячиков, неуловимый секрет гармонической красоты города, приснившегося тебе, из любого уголка которого видно сверкание чешуйчатого ослепительного моря — между домами, деревьями, столиками уличного кафе, между зубчатыми арлекинами тендов, натянутых над столами.

Но разговоры и яркое окно мало помалу берут свое, атмосфера сна улетучивается. И тут же морозное окно начинает тускнеть, давая понятие о прошедшем розово-снежном прозрачном дне с узкими и прямыми столбами дымов; в открытую форточку залетает мороз, гомон детворы со двора; когда-то и он мне еще приснится?

ВЕТЕР НАМЕЛ

Ветер намел — не подойти к автобусу. А не подойти а автобусу — так и не выбраться из этой снежной пус-тоши. Или выбраться — совсем другим, если пойти пешком, с уже сейчас замерзшими ногами. Сначала, первые два километра, сносит вбок, уносит — возвращаешься к обочине, и снова уносит — землю из-под ног: скользко, или тебя самого? — не разобрать. Потом будет дуть в лицо, в лицо — до слез, против всякой охоты. Солнце покажется — слезы подмерзнут.

Снег струился здесь всю ночь по всему полю, от дороги и к дороге, разлился пеной в крупных звездах — озерками, островками, шапками, подушками — по насту. В начале зимы — вдруг наст. Не пушит, не греет, не снежит. Сияет ровно и безразлично с головоломными трассами поземок — от дороги, к дороге, вокруг дороги, вдогонку дороге, и уже не видно... А наст все сияет.

Был снег — мягкий, как вата.

Белую, белую вату обмакнули в чистый, чистый клей. Щедро выкатали в свежих слюдяных блестках — на елочных ветках, на костюмах девочек-снегурок появилась блистающая бутафория — приглашенный на елку наст. Холодный наст в поле, ты все равно — чище, с сияньем до рези, все равно белее, как бы чист не был клей, бела — вата, слюда — свежа. Я это знаю теперь.

Тогда — не знала. За что же принимала я бутафорию? Я не помню.

В автобусе так хорошо и тепло по пути в маленький город, на пути в большой город, что легко представить, как бы здесь прошло мое детство.

Мой папа был бы... Кем? Да кем, например, был отец Чука и Гека? Мой папа был бы просто офицером или просто инженером. Но это в городе, в большом городе — просто инженером. Человек, по роду деятельности живущий в снежной пустоши, — совсем другое дело.

Я бы ходила в школу пешком — первые два километра сносит вбок, потом — ветер в лицо, и ты шагаешь, в черной шубе, с ранцем за спиной — вон один такой превратился в точку. Он не задерживался на остановке,

проходя мимо нас. Кроме шубы — круглая шапка, шерстяные штаны и валенки.

Потом что-то начинает кружить и кружиться: иногда не пойти в школу. Ездил бы: редко — в большой город, что мне там делать, чаще — в маленький. Постояла с грустью у игрушек. Шары, огненные и синие, — не бутафория, но уже детство. В кино — грусть. И снег — мягкий и грустный.

И все-таки видела его. Вел из школы брата, вываливая в снег. Я постояла и поехала домой.

Ничего не знает обо мне, но знает — меня: следящий взгляд, единственные косы из-под шапки. Кто он? Остается мысленно учиться в одной с ним школе.

Много лет спустя узнала его в одном балбесе, с которым толком и говорить не умела — такой пустельга.

Автобус идет так долго, что успела бы провести юность, но мысли сбились. Поглядываю на часы.

Пойди я пешком: первые два километра — ветер сбоку, потом — в лицо. могли оказаться совершенно другие детство и юность. Может быть, более героические, только не могли не кончиться минутой возвращения из сияющей пустоши, со вчерашней пургой, сегодняшним льдистым и солнечным утром и — когда еще попаду в нее? — с неизвестностью.

БАР «КАРОЛИНА»

Она входит, осторожно отворяя дверь, чтобы не скрипнули петли, и Сережа вскакивает, берет у нее из рук сумку, достает свертки, надкусывает колбасу.

Она прислоняется к стене, к пальто, только что повешенному у двери, прикрывает устало глаза.

— Подожди, я тоже голодна.

В кухне соседская теща, или, возможно, свекровь просит позволения зажечь бывшую в употреблении спичку от ее конфорки, чтобы зажечь соседнюю конфорку для себя.

— Светочка, вы постриглись под мальчика?

— Давно.

— Как, как?

— Я давно постриглась. Простите.

Сковородка после третьей смены воды не отмылась.

— Светочка, у вас не сгорит?

Она погасила конфорку, вылила воду из сковороды и, спрятав грязную сковороду в стол, вернулась к себе в комнату.

— Куда-то ежик делся, — говорит она.

— Я выкинул его. Он был грязный, — Сережа поднимает голову от своего занятия — он паяет приемничек.

Она садится у стола на краешек стула, задумчиво счищает сухую шкурку с тонкой колбасы, откусывает от нее кусочек, отламывает кусок от ковриги хлеба.

Сережа выключает свой паяльник. Он забирается с ногами на диван, держа в руках и колбасу, и хлеб. Со стола берет графин с водой. Розовый солнечный зайчик соскальзывает в хрупкий кадычок.

— Открой компот, — говорит она и плачет.

Мальчик тихо продолжает есть; он привык к ее слезам, только снующий челнок с колбасой замедляет

ход, опущенные глаза мальчика прилепляются взглядом к хлебной крошке на желтой холщовой скатерти, и наконец, когда нежные детские челюсти его останавливаются совсем, он отворачивается от стола к своему приемничку, и лицо его облегченно расслабляется.

За окнами — двумя окнами их маленькой угловой комнаты — равномерно развешены по двору лампочки под жестяными, качающимися на ветру козырьками. Они освещают снег перед котельной, на снегу — колеблющийся узор теней от веток, серо-сиреневую стену соседнего дома с движущимися, копошащимися вдоль стены голыми ветками

Стоит погасить в комнате свет — она знает, она делает так, когда мальчика два вечера в неделю не бывает дома — двор светло и снежно заблестит, засинеет близко и живо небо. Это — и лучше, и хуже: душа вдруг заторопится куда-то, в то время как ей, телесной Светлане Анатольевне, и пойти-то некуда.

Дальше, за широким зевом двора, полного густой темноты, глядят на дорогу бесплотные светляки фонарей. Временами прошумит машина, роняя лиловые отблески под фонари, извлекая из темноты двора убегающие сугробы.

— Ты надолго? — спрашивает мальчик, когда она подходит к двери и снимает с коренастого гвоздя пальто.

— Да нет. Прогуляться. Хочешь?

Сереза отрицательно качает головой. Ну что ж. Ему некогда. У него еще все впереди. Странно, что у нее растет такой спокойный, серьезный, вечно погруженный в какие-то положительные занятия мальчик. На-

верно, если бы это был ее ребенок, он был бы совершенно другим. Наверно, был бы требовательнее, капризней. Хотя сама она не была ни требовательной, ни капризной. Но только все-таки она была другой. Но и все у нее, особенно в детстве, было другим — обстановка, в которой она росла, была разве такая? Она не может даже раздобыть ему хороших книжек, о каких мечтает.

Хотя он ничего этого и не знает. Думает, его отец погиб на войне. Спрашивает о нем. Конечно, он был наверно очень хороший парень, его отец, который действительно погиб на войне, даже уже после окончания войны, в Праге. Но что она может рассказать о нем? — не осталось даже его фотографии. Только и остается говорить, что он был очень хороший — его отец, Василий Степанов. Разве у такого мальчика мог быть плохой отец?

Она медленно выходит на улицу. Останавливается, оглядывая ближайший перекресток.

Сесть на автобус — остановка через три дома — поехать на площадь, к театру? Она была там три дня назад, и ничего-то в тот вечер там не произошло и не случилось.

В задумчивости она побрела налево — от остановки прочь, увязая в неубранном с тротуара снегу. За угол, в темень короткого глухого переулка. Высветила его фарой машина, повернувшая сюда с улицы следом за нею. За рулем сидел угрюмый, навсегда огорченный шофер в облезлой шапке, и машина была облезлая, с надписью «связь».

Нечего ей делать в этом темном глухом переулке. Он был бы хорош и нужен, если бы прогулка совершалась лет через двадцать, после трудов и уютных домашних дел, с мужем, поседевшим в кабинете над книгами и рукописями, дедом Сережиных деток — трехлетнего мальчика и годовалой девочки. Они крепко держались бы друг за дружку — рука об руку — она и дед, вещающий о египетских раскопках и фаюмской живописи, и в глухом переулке им было бы уютней, покойней: она лучше бы слышала его хриплый, горячий бубнеж.

На улице, с которой свернула машина связи, показалась еще одна, черная, ухоженная, тускло блиставшая никелевой отделкой в снежном пейзаже улицы. Она замедлила ход, и водитель, высунувшись в окошко, спросил улицу — нужна оказалась именно их улица, соседний серо-сиреневый дом.

Из-под кроликовой шапки выбивались совсем Сережины светлые волосы, смотрели серьезные русские глаза, выдавшие страшное, все понимающие в жизни, казалось, до самого ее донца и — решившиеся раз и навсегда на добро.

Она указала — рукой в синей варежке — улицу.

Могло случиться: нужна не только их именно улица, нужен их именно дом. В жизни бывает все. Нет такого чуда — его невозможно придумать, — чтобы оно не оказалось возможным в жизни. Возможно все — как самое невероятное, бессмысленно ужасное, так и любое чудо. Поэтому мог оказаться нужен и их дом.

Тогда бы ей пришлось подойти ближе, совсем вплотную к машине, чтобы продолжать говорить:

— Это рядом. Здесь, за углом...

Не стоит и думать об этом. Как не стоит мечтать, что Сережа бы вдруг открылся — в разговоре с отцом, и она бы наконец поняла его и узнала, что у ее мальчика на душе. Почему он не любит театра, стихов и музеев, почему ему скучно с ней — скучно от Моцарта — скучно в лесу — скучно даже, когда она дома. Так она чувствует.

Больше, собственно, нет никаких перекрестков — ни глухих переулков, ни гулких улиц, залитых светом. Да и на что они ей? По этим улицам хорошо гулять в двадцать лет — что-то в них пьешь, в этих улицах, пьешь и не можешь напиться. Даже непонятно, что: российские главные улицы не отличались никогда ни духом возвышенной стройности, ни духом довольства, гармонией малых чисел. Россия — не Европа, и не была ею никогда. Нет у нее этого прошлого, уюта малых чисел — не может у нее быть ностальгии заката. У нее возможно только будущее. Вся русская тоска, моя тоска и Сережина, непонятного мальчика, сына — это тоска по будущему. Что ж из того, что я не властна над ним! Эта невластность — что-то и она означает, откуда-то происходит и к чему-то ведет, даже если я и не постигаю ее причин и ее смысла. Я ведь не Блок же, который что-то хотя бы чуял. И уж тем более не Пушкин, который строил, как Петр Петербург.

Никаких не остается улиц, да и не надо; разве что вот кафе на углу — стекляшка! — и рюмка мадеры.

Это ведь еще счастье, что я не спилась безнадежно, намертво. Это Сережа спас меня — маленький лазаретный малыш. Поносник. Разве его можно было не взять?

Поносника шестимесячного, при смерти. Даже и в голову не приходило, какой он там, от каких родителей, что за человек теперь и что за человек будет...

Проклятая дверь у этой стекляшки, вечно примерзает — не открыть никак.

— От уже совсем и обессилела? Мало каши ела! Отцу-матери скажи, чтоб поливали и кормили хорошо, а не в стекляшке!

Конечно хорошо бы, что и говорить, чтобы это была не стекляшка — а бар «Каролина» какой-нибудь, и чтобы вместо этих пьяниц сидели там кино-денди, отменно выглядя при этом. Приятные в обращении. Но ведь и они — конечно, пока не влюбишься в одного из них — дураки в большинстве своем, и в баре «Каролина» — тоска и скучища. Разве что выпьешь рюмочку мадеры — много ли мне надо: четверть стаканчика! Устанешь сразу, как собака, дай бог до дому доплестись — и уже никаких мыслей, никакой тоски... Великое блаженство сна на собственной постели.

— Смотри-ка, пьет чего-то настоящее! Вот это товарищ в жизни и на производстве! Девушка, может, дайте с нами беленькой, а? Ну вот, обиделась. Чего обижаться, обижаться-то чего? Чего уходить? Никто не гонит! Мы красивых не обижаем. Ну и уходи, сука задрипанная!..

Была терраса дачи, остекленная летними бликами, туда выставлялся рояль, играла Наташа «Баркаролу» — в июне; в июле же мы любили подобрать косынкой волосы, надеть легкие черные шаровары, строго оценить остроту косы и на взгляды прохожих отвечать улыбками, достоинством глаз и бровей — вы угадали: днями

окончили свои экзамены, эта твердость зрачков — от напряжения мыслей и нервов, и отсветы в них нашего подражания старинно-изысканному деду-Архимеду, читавшему курс. Нежность же подбородков и мягкость очертаний губ — от только что игранной и слышанной «Баркаролы»...

Но вот чего не угадали, дорогой прохожий, — не представили нас на электрических столбах, с «кошками» на ботинищах, — а потому и вообразили, что бросим косу и убежим от первой усталости на затененную кружевную веранду, к поскрипыванию соломенной качалки, к прохладной глянцевої салфетке на корзинке с разнофигурными булочками и пирожками.

Ошибаетесь, прохожий! Мы намерены непременно осилить склон холма, и знаем заранее, чем потчевать друг друга завтра утром ввиду ломоты костей вселенской и атаки сибаритской философии.

Звучал на нашей террасе «Июнь, и «Июль», «Август»...

Над берегом речки натягивало ветром тучу и становилось так похоже на близкий дождь, что торопливо натягивая сарафаны, боялись не успеть, промокнуть и озябнуть.

В дорожной пыли шевелятся мухи, солнце из последних сил выжимает над губой соленые капли пота, кузнечики прыгают из травы на пыльную дорогу, засохшая шкурка ужа вдавлена в автомобильный след.

Скошенная трава полегла широко, хочется взять упавшие наземь грабли. Косят солдаты в майках, повязанных вокруг голов.

— Здорово, девчата! Какие же загорелые! Идите познакомиться. Не хотите? А то нам ой, как тяжело, — и смеются.

— Уморилась вся! — пропищал белобрысый.

Добежим до лопухов под своей террасой, распрыгаются от нас копеечной величины жабки, тяжело капнет на них, на горячую скамейку, на мягкую дорожку привозного гравия. Окно в доме будет уже густо залито. Будет рябить в нем, дрожать бег капель; соединится тьма из-за леса с береговой тучей, и станем вслушиваться в бормотание и всхлипывание дождя поутру и в вечер, томясь невозможностью понять, хотим ли мы его окончания, или какого-то полного, небывалого разбега.

И все прошло, прошло. Оказались эти предвоенные годы проклятыми, о чем и не подозревалось на терраске. А сдула все как будто война — и после не было уже ни «Времен года», ни Наташи, заваленной в бомбоубежище, ни следа подражания старинно-изысканному Архимеду, погибшему в составе штрафбата, осталась же одна бесконечная беготня, теснота и усталость с не успевающей проясниться откладываемой на потом надеждой...

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ

— Чем вы занимаетесь?

— Пишу стихи, перевожу. Я полагаю...

— Никаких «я полагаю». Стойте как следует. Не прислоняйтесь к стене! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! У вас есть постоянная работа?

— Я думал, что это постоянная работа.

— Отвечайте точно!

— Я писал стихи. Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю...

— Нас не интересует «я полагаю». Отвечайте, почему вы не работали?

— Я работал. Я писал стихи.

— Нас это не интересует. Нас интересует, с какими учреждениями вы были связаны. И вообще: какая ваша специальность?

— Поэт, переводчик.

— А кто признал, что вы — поэт? Кто причислил вас к поэтам?

— Никто. А кто причислил меня к роду человеческого?

— А вы учились этому?

— Чему?

— Чтобы быть поэтом. Не пытались кончить вуз, где готовят... Где учат?

— Я не думал, что это дается образованием.

— А чем же?

— Я думаю это... От Бога.⁵

— Ирина, Ирина, Ирина!

Она сидит рядом с его раскладушкой в темненькой сатиновой юбке в цветочек, в шерстяных носках и спортивных тапочках, свет из-под занавешенной лампы пробивается на старый замухрышенный ковер в залысинах, растворяется в полумгле бабушкиной комнаты, на табуретке рядом с его раскладушкой — большая белая чашка с Адмиралтейством на боку, с ложечкой, от нее под-

⁵ Стенография суда над Иосифом Бродским в 1964 году

нимается пар, пахнет малиновым вареньем... Его продолжает бить озноб, хотя он укутан двумя одеялами, под которыми хрустит чистая простыня. Голова гудит, жаркий туман распирает его мозги, глаза болят изнутри.

— Я ничего не сделал, понимаешь... Ничего! Ничего!

— Я знаю, Виталик! Я знаю, ты не мог ничего сделать, я никогда не поверю, так и знай, что бы мне ни сказали. Я никогда не поверю! Ты всегда должен это знать, на меня ты всегда можешь положиться! Я скорее умру...

— Да нет! Ты не понимаешь, Ирина... Я ничего не сделал... Ничего не сделал... Хотя должен был! Должен! Мне уже двадцать три года.. А я еще ничего... Я был несправедлив к тебе. Ты должна меня не любить, наверно.

— Что ты, Виталик! Ты даже не знаешь, как я тебя люблю! Все самое хорошее в жизни я видела от тебя и от бабушки. Вы с бабушкой — мое самое святое, вся моя вера в людей от вас, я бы вообще не хотела жить, наверное, если бы не было таких людей... Все люди хорошие, Виталик! Люди замечательные! И ты — самый замечательный из всех!

Распущенные волосы придавали ей вид гувернантки, ухаживающей за раненым гарибальдийцем, довершали эту аллюзию гравюрки в рамках, развешенные над диваном, да и весь вид бабушкиной комнаты, перегруженной старыми петербургскими вещами, в полутьме навевал в воображении живо дышащий мир прошлого, к которому, казалось, принадлежала и Ирина. Он вспомнил вдруг, что у ее деда — мужа бабушкиной

сестры — был дом в Финляндии, который, возможно, существует и по сию пору. Деревянный двухэтажный дом, окруженный садом, вблизи водопада — шум воды доносился то слышнее, то тише, в зависимости от ветра. Дедушка купил этот участок у мельника, который жил ниже по течению. Богатый был человек, говорила бабушка, покачивая головой. На старой коричневатой фотографии, обломанной по углам, светилась лужайка перед домом, господин в соломенной шляпе, в светлом летнем костюме держал за руку девочку в полудлинном платье со свободно повязанным широким поясом, картинно отставившую от себя серсо с накинутым сверху колечком. В открытом окне верхнего этажа выставила локти на подоконник и улыбалась в ладони молодая красивая дама с высокой прической: бабушкина сестра, а может быть, это была еще их мать, а бабушкина сестра опиралась на серсо на этом снимке, все путалось, было плохо различимо в тумане времени... Мы ездили туда каждое лето, пока я не вышла замуж и не пришлось заниматься своей дачей в Удельной, которая, сказать по правде, много требовала хлопот, особенно от меня, потому что я первые годы после замужества занималась исключительно хозяйством... Дом с обеих сторон густо затеняли деревья — по краям фотографии. За домом, за садом простирался хуторской выгон, у нас не было никаких проблем с продуктами. Прислуги почти не держали — только кухарка-финнка служила, она же стирала, да два мужика с хутора присматривали за домом и садом, за весьма умеренную плату через мельничную контору — вот и все.

Блестящие нити дождя треплются среди деревьев

И негромко шумят, и негромко шумят в белесой траве.

Слышишь ли ты голоса, видишь ли волосы с красными гребнями,

Маленькие ладони, поднятые к мокрой листве.

Проплывают облака, проплывают облака и гаснут...

Это цветы поют и поют, черные ветви шумят:

Голоса взлетают меж листьев, между стволов неясных,

В сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад...

Девочка-память бродит по городу, наступает вечер,

Льется дождь, и платочек ее хоть выжми,

Девочка-память стоит у витрины и смотрит в былые столетья,

И безумно свистит этот вечный мотив посередине жизни...

К этому моменту времени уже умерла бабушка, Ирина работала и училась в вечернем институте, в геолого-разведочном, это было очень популярно; Виталий почти не бывал на Лесном. Женька Сухарев поступил в Бонч-Бруевича, еще больше отдалился — у него сразу появились друзья на курсе, он с головой ушел в лаборатории и коллоквиумы, и вдруг выяснилось, что Виталию не к кому пойти, даже некому позвонить в этом городе. Баскетбол он забросил, когда готовился в университет — с утра до вечера сидел в библиотеке, дома ему было тошно, обстановка не располагала. Постоянные шуршания и хождения по дому матери, ее неожиданные пьяные откровения по телефону какой-нибудь жене бывшего отцовского сослуживца его раздражали и угнета-

ли, не было сил сосредоточиться на занятиях. Он с утра старался уходить из дому, как какой-нибудь бездомный. Философский факультет он выбрал в радужной надежде получить возможность общения с выдающимися умами, разомкнуть наконец уста и говорить о том, что ему интересно, с теми, кого это также интересует, но очень быстро понял, что представлял себе все совершенно не так, как оно на самом деле. С первой же лекции их строго-настрого предупредили, что марксистско-ленинская философия не допускает словоблудия о свободе, нравственности и абстрактном гуманизме. Методология подготовки кадров, преданных делу пролетариата, ни в какой мере не отвечала горестному томлению ума, в котором пребывал он последние школьные годы, и он сразу почувствовал, что никто не допустит здесь тех вопросов, взыскивал по которым его дух. Они казались неуместными, неприличными в стенах и в атмосфере факультета. С первого семинара стало понятно, что он не туда попал, хотя он и не отдавал себе ясного отчета в том, чему хотел учиться и кем хотел стать. Более или менее представлялось ему, как и кем он хотел стать — и этим своим представлениям он соответствовал еще в меньшей степени. Бывало, упреки отца ранили его особенно больно, потому что он признавал умом их справедливость: он носил в душе тайную неприязнь у матери, к отечеству, к окружающим людям, ничего не зарабатывал, ничего не заслужил, а е л и п и л, действительно, с этим спорить не приходилось. Это был бесспорный факт. Но он любил город, в котором жил, его камни, каналы, трех старух в библиотеке, сирени на Марсовом Поле, даже серый ноябрьский туман

и дожди, и ему все мечталось, что он еще просто не встретил людей, которых мог бы полюбить и которыми мог бы восхищаться. Именно первым таким человеком в его сознательной жизни стал Бродский.

А меж домами льется серый дождь,
свисают с подоконников цветы,
а там, внизу, вышагиваешь ты.
Вот шествие по улице идет,
и кое-кто вполголоса поет,
а кое-кто поглядывает вверх,
а кое-кто поругивает век,
как например, усталый человек.
И шум дождя, и вспышки сигарет,
шаги и шорох утренних газет,
и шелест неприглаженных штанин
(неплохо ведь в рейтузах, Арлекин!),
и звяканье оставшихся монет,
и тени их идут за ними вслед.
Любите тех, кто прожил жизнь впотьмах
и не оставил по себе бумаг
и памяти какой уж ни на есть,
не помышлял о перемене мест,
кто прожил жизнь, однако же не став
ни жертвой, ни участником забав,
в процессию по случаю попав.
Таков герой. В поэме он молчит,
не говорит, не шепчет, не кричит,
прислушиваясь к возгласам других,
не совершает действий никаких.

Не совершая никаких действий, Виталий познакомился с этими стихами, не совершая никаких действий. В аудитории у рядом сидящей девочки в тетрадке, в университетском сквере на скамейке — в конце концов, у него начало сжиматься сердце и передавать ему сигнал, стоило услышать знакомые хрипловатые ритмы новых стихов Иосифа. Так его все называли. Все были причастны ему, со всеми с ними хотелось подружиться, но не удавалось: Виталий был слишком застенчив. Он только слушал и запоминал. И только на суде выяснилось, что Иосиф жил в доме Мурузи, на углу Литейного и Пестеля, где Виталий столько раз простаивал на трамвайной остановке по дороге к бабушке. Они были, можно сказать, соседи! Он впервые его увидел на суде, его поразило, что это оказался не вечно простуженный, чахоточный скелет, кожа да кости, жмующийся к подворотням в потертом пальто с поднятым воротником, каким он представлял его себе — настоящего поэта, затерянного в большом городе, да еще автора этих одиноких, отрешенных от обыденности элегий, а сильный, здоровый рыжий с крупной, прекрасной формы головой, в хорошо сидящем пиджаке. Он был красив, спокоен, породист. Он казался биологически более продвинутой, развитой особью по сравнению с теми, кто его судил. Судили его за тунеядство, а на самом деле, понимал Виталий, именно за то, что он был более развитой, более высоко организованной личностью, за то, что он был талантлив. На его месте мог оказаться Виталий, узнай кто-нибудь, что у него на душе. Но он молчал. Не предпринимал никаких действий. Не писал. Он был только персонаж Иосифа Бродского.

Судья Савельева говорила Сашиним безапелляционным тоном, тоном лекторши по истории КПСС, тоном его непосредственной начальницы в научно-исследовательском институте, куда его распределили: тоном человека, уверенного в своей правоте, не знающего сомнений, никогда ни о чем не задумывающегося, знающего заранее, о чем бы ни шла речь, ответ на любой вопрос, чующего печенкой: позиция, которую они заняли в жизни, такова, что оппоненту деваться некуда, а стало быть, и нечего особенно распетукивать и разводить церемонии. За ними сила Лубянки, Армии и Кремля, такой это был тон. Возможно, поэтому они были нетерпеливы в разговоре и быстро раздражались. Все, что говорилось на суде, было как две капли воды похоже на все, что он слышал от родителей, от школьного начальства и в университете на комсомольских собраниях, на всяческих пропесочиваниях в деканате. Потрясало, что это говорилось не ему, который, возможно, и был никуда не годным человеком и неблагодарным тунеядцем, а гениальному юноше, которым, казалось до сегодняшнего дня, гордится весь город, — Иосифу!

— ВСТАТЬ! СУД ИДЕТ! —

Виталия чуть не вывели в перерыве дружинники. Он с холодной, отвратительной вежливостью сказал им, что ничего не делал и что его прислала комсомольская организация научно-исследовательского института. Он боялся, что приговора ему узнать будет негде — в «Вечернем Ленинграде» не станут его печатать, тем более, если он будет оправдательный. А он ведь должен быть оправдательный — справка из Союза недействительна, положительные показания — известных в городе, име-

нитых, крупных литераторов, свидетели обвинения не доказали ни пьянства, ни нетрудовых доходов, только дневниковые записи про Маркса... Неужели за это можно посадить человека в тысяча девятьсот шестьдесят четвертом году?! Дружинники потоптались и отвалили. Приговор оказался обвинительным: «Бродский систематически не выполнял обязанности советского человека по производству материальной собственности и личной обеспеченности, что видно из частой перемены работы. Предупреждался органами МГБ (ах, вот оно что! Он, оказывается, уже давно у них на крючке!), а в мае 1963 года милицией. Обещал поступить на постоянную работу, но выводы не сделал. Писал и читал на вечерах свои упаднические стихи. По справке Комиссии по работе с молодыми поэтами видно, что Бродский не является поэтом. Его осудили читатели газеты «Вечерний Ленинград». Поэтому суд применяет указ о тунеядстве и постановляет: сослать гражданина Бродского Иосифа Александровича в отдаленные местности сроком на пять лет с применением обязательного труда.»

Прямо «обезьяний процесс»! Его судили люди, которые вполне серьезно, в процедурном порядке спрашивали, можно ли самоучкой выучить чужой язык, люди, которых он опередил в своем развитии на века... А может быть, на вечность? Может быть, этой стране никогда не преодолеть уродств своего массового сознания? Стокгольмская ратуша также видала в своих стенах толпы непробиваемого быдла, да и сейчас, скорее всего, не из светочей одних ума состоит их хорошо накормленное и отчищенное от навоза население — но они научились уважать культуру, у них прочно установ-

лена в обществе интеллектуальная иерархия, они принимают ее слепо, не размышляя, и налаженная социальная жизнь не дает им постоянных поводов восставать против укорененного уклада. Они принимают его, этот цивилизованный уклад жизни, как естественную среду своего обитания. Для России это кажется недостижимым, даже здесь, в Ленинграде шестьдесят четвертого года — а если представить себе окраины... Когда он в Таллине садится в поезд и глядит в окно, в определенный момент сердце его екает — вот он, телеграфный столб, врытый в землю под немыслимым каким-то углом, просто противоестественно, дровяной развал, залежи ржавого металлолома на пространствах гигантского размаха: он въехал в Россию. И сердце наполняется тоской безнадежности. О, судья Савельева! Ты выступишь в историю, в вечность... Свидетели, общественные обвинители, конвоиры — все вы народ, вы вершите суд над собой, вы присуждаете себе жизнь, которой живете, славные россияне с приплюснутыми лбами и фиолетовыми сосудистыми сопелками, задранными ноздрями, вы, потельщики Гостиного Двора и Пассажа, едоки картофеля* и созерцатели Адмиралтейской иглы! Ваш час пробил, вас вызвали в Суд, и вы можете говорить! Что вы объявите нам, к чему присудите наше прекрасное и могучее отечество?! Отечество Толстого и Достоевского, Чаадаева и Владимира Соловьева, Розанова и Филонова, Бердяева и Платонова? Что вы знаете о них, отвечайте? Не так ли вы травили Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Мандельштама? Не с вами ли пытался объясниться Чацкий, не вас ли жалел и лечил Чехов, не

вас ли великий и святой граф Лев Николаевич прочил в иконы праведные? Не все ли вы одно и едино?

А эти, другие — в зале, и те, что толпятся на улице, не попавшие в зал, — они не в счет, они никто для вас, для истории, не они вершат сегодня суд, и я среди них, они просто не существуют в вашем сознании. Мы люди без родины. Дайте же нам кусок отчизны, на котором мы могли бы жить и дышать... Мы сироты, у нас нет своей страны, нет столицы, нет земли, на которой мы могли бы работать... Она абстрактно только есть, в неземных эмпиреях, где звезда с звездой говорит... Понимаешь? Но ведь сердце человека ищет земной отчизны!

— Виталик! Зря ты так переживаешь. Я, конечно, в этом не разбираюсь и никогда ничего такого не думала, но... Может быть, все не так плохо, как ты говоришь. Там ведь сосны, леса... Разве это плохо для поэта?

— Где?

— Ну, куда бы его ни послали. Он проживет несколько лет, как все люди. Узнает, как это. Разве это плохо? Я в интернате мечтала об одном: чтобы мне показали, как там вообще... Ну, есть ли там что-нибудь за стенами. И какое. Когда нас водили в баню, в кино... В театр даже водили, знаешь, там было не так уж плохо, как можно подумать, — «Али-баба и сорок разбойников», кукольный — я никогда не могла запомнить дорогу, просто не понимала, как мы попадали вдруг к этому серому вот дому посреди квартала, далеко ли это от нашего интерната, близко ли — ничего такого не понимала, понимаешь, потому что я не представляла себе остальной город, меня никогда не пускали в нем по-

бродить просто так... Я мечтала стать бродягой, когда вырасту. И вот стала. Я ведь что хочу сказать... Ты не думай, что ему будет так уж плохо. Вряд ли его будут бить или мучать. Ты мне поверь, я ведь много чего видела. Он же не в зону... Это радоваться надо! Если бы в зону, это было бы совсем другое дело. Там эки просто убийцы, а то было бы все нормально. Не люди они потому что. Есть люди, а есть не люди. Это в поле сразу видно. Один ломается на бревне, другой на хворостине, но все на чем-то да ломаются... Это так страшно видеть, когда через восемнадцать суток голода за пригоршню фасоли трясется просто человек, который Пушкина цитировал. Там совсем другое, весь мир перевернут совсем другой своей стороной, будто его перевернули, ну, наизнанку. И думаешь потом — какая же сторона его лицо, какая — подкладка? В Ленинграде зимой, когда придешь в филармонию и слушаешь Шопена, и все вокруг вежливы и интеллигентны и понимают какие-то там вещи, которые в музыке выражены, — нежные и утонченные переливы души, когда человек один в комнате? Или в поле, в пятьдесят градусов под песчаным завалом, когда вдруг дерьмом оказываются совершенно не те, от кого ожидал. Там вообще как-то нет правил, я не вижу правил, может, у меня нет способности видеть? Я хотела бы быть такой умной, как ты, там есть что понимать. Там так интересно. Не знаю, удалось ли мне объяснить... Когда я оказываюсь в лесу, в степи, на открытом пространстве после города, особенно в лесу... Честное слово, у меня будто душа вырывается из груди и летает себе на воле, где ей и положено, чувствуешь, что это так, просто физически... Неужели это плохо для поэта?

Виталий неожиданно рассмеялся. И тут же кольнула — и больно кольнула — мысль: я тут способен при всей непоправимости случившегося смеяться, а он там, наверно, не способен.

— Что же, по-твоему, всех поэтов для пользы дела надо перво-наперво в тюрьму?

— Да я же и говорю, что все же не в тюрьму, что надо радоваться! Виталик, я же только хотела... немножко тебя утешить, чтобы не было так тяжело, так невыносимо... Я же чувствую твое состояние... Сказать, что на самом деле все, может, и не так плохо... Если подумать. Могло быть хуже. В т е времена.

«Дура ты, Ирина», — вертанулось в голове, но он придержал язык: все-таки она из самых хороших побуждений, и вряд ли там, в суде, она бы разорялась на стороне обвинения: «я лично с Бродским не знаком, но хочу сказать», «ему надо заменить многие свои мысли», «его надо лечить принудительным трудом»... Даже если бы ее и обязали на производстве. Хотя кто его знает?

Виталий поднялся с раскладушки, оделся и пошел прочь.

Комната бабушки — больше не его дом. Теперь это дом Ирины. В нем Иринины мысли, ее незлобивое дыхание, ее пустота... От бабушки, от бабушкиного мира остались только вещи. Но они молчат, они не в состоянии ответить ему на главный его вопрос: всегда ли так было, был ли этот народ умнее, добрее и лучше? Да и бабушка, что могла бы сейчас путного и окончательного сказать ему бабушка?

— У Елисеевых продовольственные подвалы были под пол Петербурга. Оборудованные, со свежим воздухом, с обсушкой, с охлаждением...

— А куда же они делись?

— Небось, Чека себе забрала. И потом — столько народу теперь в городе, на всех не напасешься...

— Ветчина у Вейденбаха имела ту особенность, что ее можно было достаточно долго держать на льду, и потом — она не солонела...

— В гостиной стояли часы Павла Буре... Так и не пойму до сих пор, куда они могли деться. Разве что жилконтора унесла, когда дедушку хоронили... Ничего не соображала. Кто хотел, тот и приходил с обыском, что хотели, то и забирали — знаешь, как было... Дедушкиных хозяев, купцов Столяровых, по всей империи магазины, огромная фирма, первые пенсии своим служащим по старости — так их на плот посадили, всю семью, с младенцами, с собаками даже, и по реке в море... Дедушка твой, он же был управляющий их петербургский, инженер-экономист по-нынешнему, пытался их образумить: что же они вам-то, дескать, плохого сделали, как сыр в масле катались в их заведениях, ничего: когда толпа возбуждена, разум бессилён. Страшнее этого, по моему мнению, ничего в природе нет — возбужденной, натравленной толпы. Из хама не сделаешь пана, дело тут непоправимое.

— Я и не знал, что дедушка... Он что же, был богатый или как?

— Все это относительно. От зависти мы не страдали, одно могу сказать. А уж в силу каких обстоятельств — потому ли, что достаток был, а он, вне всяких сомне-

ний, был, или по свойствам своего развития... Другое дело, что страна была все время накалена, сколько себя помню, с самого детства.

— Так почему же вы не эмигрировали? Ты же французский знала?

— Ну это тоже теперь просто сказать... Не очень-то было ясно, что будет. Многие надеялись на их идеалы, все-таки интеллигенция во главе стояла. И потом: на какие же средства было эмигрировать — устраивать новую жизнь... Не все могли уехать. Не могут же все уехать из такой большой страны...»

Двор был затянут сиреневым маревом позднего апрельского вечера. Сколько он провалялся у Ирины? В окошке у Женьки свет был слабый, дальний — может быть, мать спала и горела лампочка за шкафом у изголовья его кровати. Виталий давно не был у них — Женька месяца три как защитил диплом и работал в ящике — с восьми до пяти.

Виталия шатало, плащ был влажный — хотя он не помнил, чтобы выходил куда-нибудь и попадал под дождь. Сосала под ложечкой противная тревога о службе — он пропустил немало присутственных дней, вторников и пятниц. Необходимость объяснения с начальницей вызывала тоску. Вдруг и окончательно подавило неожиданное желание затеряться в лесных урочищах, не принадлежать никакой стране, жить, как Глан* — собственным промыслом. Желание тем более странное, что он и топор-то в руках теперь вряд ли удержал бы, так его трясло и знобило, и ничего-то далее колхозной картошки в природе и на зуб не пробовал, не говоря уже об урочищах. Однако, хотелось в урочищах.

Он поднялся к Женьке, тяжело опираясь на перила. Снова вспомнил бабушку — каково же ей было ходить по этим лестницам, а она и виду старалась не подавать. Он позвонил в дверь условным звонком, по которому Женька определял, что это именно он, Виталий. Соседи тоже знали этот их звонок, придуманный еще в детстве, и всегда на него открывали — сказать Виталию, если Жени нет дома. Иногда Женька выходил уже в пальто, когда матери нездоровилось, и они шли в улицы разговаривать свои разговоры.

— А я ничего и не знал, — сказал Женька, когда Виталий рассказал ему о суде над Бродским. — Сидишь теперь целый день, как в консервной банке. На всю жизнь социально и политически обезврежен, — усмехнулся он, и Виталий ясно почувствовал, что Женька действительно потерян для жизни, и увидел, как на ладони, его будущее: защитится, женится, получит квартиру, получит лабораторию, получит отдел... Одного он не предположил — что еще и в партию вступит. Но он тогда еще не понимал, что одно без другого не бывает.

— Ты извини, — сказал ему Женька где-то около одиннадцати. — Я теперь встаю в шесть тридцать, что к ночным бдениям не очень-то располагает. Позвони как-нибудь на работу, с пяти я свободен — можем в городе пересечься...

Деваться было некуда, кроме как возвращаться домой. Он им даже не звонил, но к тому времени дело это было привычное. Он не представлял себе, как с ними встретится, как разожмет губы для хоть каких-нибудь слов.

Случилось так, что на него мало обратили внимания: мать была героем дня. Сюжет состоял в том, что отец на днях обнаружил ее водочный тайник, вылил водку и бутылку наполнил водой. Пришли гости, он выставил перед нею на стол эту бутылку. Она покорно выпила несколько рюмок, а потом разбушевалась и все-таки напилась. Теперь шла развязка: мать называла отца тюфяком и пентюхом безмозглым, Сашу садисткой, отец называл ее крокодилом и драцефалом, и она отделявала его по лысине тапочкой. В столовой, куда Саша выставила Виталия спать, едва ей исполнилось шестнадцать, терпко воняло мочой: у матери давно уже отказала система канализации.

Виталий даже плаща не снял — посмотрел на них посмотрел и ушел из дому. Вырулил на Невский, подумал, где бы поесть. Город в центре был довольно светел, но пуст. Он опять остро почувствовал, так же, как когда возвращался из Таллина, чуждость и холодность Ленинграда по отношению к ленинградцам. Эсты везде в своем городе вхожи, как к себе домой: в кафе на телевидении, в ресторан гостиницы, в клуб художников. Они знают, где поесть и согреться в любое время дня и ночи, — ныряют в подворотню и оказываются в дешевой и вкусной, а главное, чистой и даже нарядной столовой какой-нибудь проектной конторы, к которой не имеют никакого отношения. Там, конечно, действуют все советские запреты: вход по пропускам, вахтеры — все это там тоже есть, но есть и пароль, отмычка, позволяющая им все-таки в большей степени, чем нам, чувствовать себя дома у себя в городе. Отмычка эта — эстонский язык.

Русский язык никуда привести не может и ничего не в состоянии отворить. В нем не осталось ни доли сезамости. Он обезображен, осквернен, убог. От него страдают уши. Когда он слышит мысленно бабушкин ровный голос, произносящий отлично сшитые между собою неброские и в то же время будто бы устаревшие слова, ему хочется плакать. Бывает, он заходит к Доре Константиновне, которая еще жива и носит еще свои бирюзовые серьги и камею, только Крестникова похоронила — Виталий помогал перевезти кое-что из его вещей: книги, старый секретер, сундучок с бумагами, картины Клевера и Жуковского в современных рамках с металлической окантовкой. Иногда она звонит и приглашает его на пирог в какой-нибудь из церковных праздников, и он даже сопровождает ее в храм, хотя сам, к сожалению, совершенно не сведущ в канонах православия, но сейчас ночь, хотя и белёсая, и идти к старушке в коммуналку как-то неловко, хотя может статься, она его и поймет, и соседи не осудят. Интересно, возможен ли в Эстонии этакий дикий, безобразный случай, как с Бродским — в культуре ли дело, или только в режиме? Да и возможен ли там Бродский?

Он шагал в сторону Литейного, рассчитывая на угловую бутербродную-автомат, которая, по идее, может работать хоть всю ночь. Еще издали он увидел, что она освещена, но когда он подходил к ней, прямо у него под носом — шагов десять оставалось — выкатилась из-за стойки служивая чувахлайка в ватнике и принялась запирасть за девицей, высокой и восковой, с полным целлофановым пакетом бутербродов. Виталий поспешил приналечь на дверь и употребить по привычке

вежливость, но баба разоралась на всю ивановскую и дверь не отперла. Виталий вспомнил тут все, что пережил в последние дни, и злость его обратилась вдруг на девицу — на тех в ее лице всех, кто умудряется приспособиться к этой дикой стране и поспевать к последним бутербродам. Он смерил ее презрительным взглядом и отвернулся — оставалось идти дальше, на вокзал.

Девица, стоявшая во все время сцены возле, помавивая пакетом, шагнула за ним вслед и тронула за рукав.

— Хотите? — сказала она, приоткрывая пакет.

Виталий остановился и оглядел ее снова. В смешанном кисейном свете серовато-белесого неба и давно уже зажегшихся неонов ее длинные волосы, разбросанные по плечам, казались лунными, и глаза, удлинненные и как-то дополнительно как будто вырезанные к вискам, мерцали пульсирующим блеском, тонкий кряж выпуклого носа поблескивал, как и круглый выпуклый подбородок — она сияла, точно только что умытая, среди бесприютной ночи, и тревожно хмурила длинные брови.

— Не стесняйтесь, — сочла она нужным добавить, еще припустив небрежности и приветливости своему хриловатому голосу. — Мне много не надо.

ПИРЕТРУМ

Предпраздничный день на работе. Входит Главный конструктор в лабораторию — добр, смешлив и смотрит тепло.

В самом деле, мы давно ничего не жгли, разве вот вчера — измеритель мощности, но это прибор вспомогательный, ходовой, каких много, и в счет не идет. Давно мы не путали соединений; впрочем, изделие еще не собрано и не упрятано в герметичный корпус, так что и в этом отношении рано пока держать нас в грозе, а главное, предстоят четыре нерабочих дня в результате календарной накладки, а сроки поджимают, и ясное дело, лучше уж нам прийти на работу в субботу и воскресенье благодушно и радостно настроенными, чем по принуждению, да еще в грозе.

— Ну что, — излучая тепло темными своими уютными глазами, говорит Валерий Викторович, — девятого комплекс. У вас кто придет? Рита, Володя... Конечно, вы, Зоя?

Конечно, Зоя! — потому что Рита и Зоя торчат здесь безотказно. У нас никого нет в этом городе под С., живем мы в общежитии и лучше всего нам на работе. Хотя и обиды острее всего — здешние, производственные обиды, а все-таки самые лучшие часы проводишь здесь, особенно, когда много работы и некогда думать ни о чем постороннем. За мной и за Ритой числится даже определенный рекорд: однажды во время испытаний мы провели четверо суток в институте. Спали — понемногу — в кабинете Валерия Викторовича, ключ от которого оставляется нам во время испытаний. «Конечно, вы, Зоя!»

— Нет! — смеюсь я и позволяю маленькому лукавству просочиться в голос. — Я буду девятого ноября вдыхать туманы южной осени и есть великолепные мамины пироги.

Нерасшифрованная тень едва уловимо набегаёт на красивое полное лицо, но я слишком занята мыслями о своей поездке — не замечаю, уходит Валерий Викторович сразу или немного погодя.

Не дожидаясь даже конца рабочего дня, убегаю много раньше времени, пользуясь правом свободного выхода для испытателей — мне ведь надо успеть в С. по крайней мере до часу дня, чтобы успеть ещё сегодня прилететь домой, к маме с бабушкой.

На улице сиверко, попадается разорванный лёд. Меня беспокоят трудности с авиабилетом.

Мне везет, и я улетаю, не потеряв и получаса.

В родном городе трамвай завозит меня совсем не туда, — изменился маршрут, и, выскочив из него почти на ходу, добираюсь до дому пешком, проходя мимо публичной библиотеки — приюта моих отчаянных детских дисгармоний и самых лучших моих знакомств, — с фонтанным гротом из песчаника во дворе и с тихими лампами-«подхалимами» в жарко обжитых залах.

Пересекаю переулок, в глубине которого, так как он, горбась, ныряет в западную сторону города, призрачно догорали летние дни, будто джинны в зелёной бутылке.

Прохожу бальзаковские доходные дома и серый короб проектного института, где работает моя подруга и три-четыре знакомые девочки. При этом я снова горжусь тем, как заметно представлена в нашем городе архитектура конструктивизма.

«Воротики» из электрических опор обхожу, протиснувшись у каменного забора — в детстве ходить под ними считалось дурной приметой, все равно, что встре-

тить пустые ведра. Суеверное неточное ощущение упрямо избегает иронии, — я дорожу им. Я почти боюсь его утратить и как бы не начать культивировать его в следующие приезды.

С нашей улицы своротили, умники, асфальт — на дожди глядя; старые, гнилою ветхостью вопиющие заборы сняли, заменив их нелепо выкрашенными в голубое крепкими, работающими досками. Когда-то, когда еще они сгниют, или их снесут, оставив вольное пространство акациям, откроют дворы с диким виноградом и айлантами!

Это только начало. Начало досады, какой предстоит предаваться еще четыре дня. В благословенном крае то сделано не так, то не по-моему, и кто только занимается, ей-богу; а если не имеет достаточно средств, то отчего не возместит их недостаток своим эстетическим гением и любовью к делу рук своих? Отчего? Ведь можно красиво соорудить и дворец, и кукольный дом.

А не крадут ли? Господи, господи, как бы это уладить, упорядочить, умыть, причесать, сплотить, упразднить, изжить, кое-что убить...

... нет, нет, нет, нет!

Цветик, синий цветик в окне — побеги к бабушке сказать: увидел, идет, отворяйте!

В парадном запахе кошек, он напоминает мне позвонить «своим» звонком. Трезвон раскатывается по ветхой, рыхлой штукатурке стен большого коридора и замолкает. После долгой тишины, вызывающей во мне внезапную тревогу, — стоя перед запертой дверью на лестничной площадке, я живу только слухом — там, в невидимости, кто-то зашлепал, торопливо волоча за-

костенелые ноги, и сердце мое бешено забилося. Бабушка! Поворот ключа неожиданно энергичен, порывист — а я с первого раза даже и не умею отпереть нашу капризную дверь.

Смеется, — узнала почти сразу, глаза проясняются.

— Баба! Ну как ты? Здоровая? Где мама?

Мама на работе. Мама, во-первых, никогда не удирает с работы, а только задерживается на ней, во-вторых, она не знает о моем приезде.

Я говорю бабушке виновато, что ничего не успела придумать и купить ей в гостинец, кроме этой пустяковой коробки конфеток, — удрала с работы с одной повседневной сумочкой, имея в ней только зубную щетку.

(И не имея полной суммы на обратный билет — знаю про себя.)

Бабушка улыбается, кивает — ничего, ничего, спасибо!

— О! Эти конфеты мне по зубам. Знаешь, знаешь, чем порадовать бабушку. Какая же ты худая! — всплеск рук.

На самом деле я гораздо толще, чем мне бы хотелось.

— Зоя, это же очень серьезно. В чем дело? Тебе не хватает денег, так напиши, бабушка всегда пришлет. Ты близка к дистрофии, это даром пройти не может. Ты же не будешь способна ни выносить, ни выкормить ребенка. Какая же ты женщина? Кстати, еще не собралась замуж? А прическа ужасная. Я как увидела тебя, как ты по фотографии в этой прическе разгуливаешь, так и рухнула оземь. Такие волосы остричь, боже мой, такие волосы. В мое время...

В квартире тихо. Шелестят письма, листы тетрадей, которые я достала из ящика бельевого шкафа. Шкаф остался в квартире от прежнего жильца, архитектора Турковского, бежавшего с немцами. Кое-где его облезлые планки выщерблены, на боковой стенке сереют останки переводных картинок — мне было четыре года, когда нас здесь поселили.

Не знаю, сколько времени я так сижу перед шкафом, на полу — бабушку совсем не слышно. Она стала мучительно тихой, покорной.

За что я ненавидела ее в детстве?

Кое-что помню, конечно:

— Нет, это безобразие. Я пойду в гороно. Если не существует школ для одаренных детей, это не значит, что нужно преследовать и усреднять Зою. Снизить отметку за какую-то глупую скобку! — при верном ответе! Пойду в гороно!

Я висела на ее платье и умоляла не ходить в гороно. Мама плакала.

— Если ты будешь так разговаривать со мной, не соблюдая никаких норм вежливости и такта, я выброшу вас на улицу. Идите, куда хотите. Мы с дедушкой могли бы жить широко, интересно, если бы ты не появилась на свет и твоей золотой маме не пришлось искать у нас приюта. А раз ты воспитываешься у меня, изволь не расти свинопасом, а играть не меньше двух часов в день!

Я швыряла ненавистную скрипку, плевала в пол перед бабушкой и начинала собирать вещи. Дедушка задышался с катающимися из стороны в сторону глазами.

— До чего дошло — плюет в родителей! Вот до чего избаловали. Я всегда говорил: бить надо!

Бабушка бралась за ремень, на котором дедушка правил бритву; дед сгребал меня в охапку и швырял, как котенка, в мою комнату, посылая с порога в накалившуюся красавицу-бабушку свои войлочные туфли:

— Поздно теперь! — кричал он тонким голосом. — Раньше надо было думать. Не смей трогать ребенка!

Приходила с работы мама, садилась со мною на узел вещей и плакала — упрекала меня в жестокости, в грубости невозможной, спрашивала у меня, что же нам теперь делать?

Прильнув к маме и спрятав нос у нее под подбородком, я горячо шептала:

— Давай уедем отсюда вдвоем! Далеко-далеко, в такой город, где еще дают прописку, и я буду работать и учиться в вечерней школе, и тогда мне дадут квартиру. И вот увидишь, я никогда не выйду замуж, потому что ты будешь у меня на руках, и у меня не будет возможности. («У меня на руках» — было бабушкино выражение.)

— Тише, тише, а то бабушка услышит! — зажимала мне рот рукой мама.

— Какие были жемчуга, — доносился из соседней комнаты задумчивый бабушкин голос, — шестнадцать ниток! Они могли бы перейти по наследству к Зое, если бы наш теленок-дедушка не сдал их большевикам в партийные средства.

— Ненавижу ее, — шептала я, и мама ясно смеялась, прикрывая настольную лампу цыганской шалью:

— Дурочка! Какие там жемчуга, ни у кого ничего не было, все это они сочиняют теперь. У них брат был चाहоточный преподаватель словесности, мать безработная, и сами они, три сестры, из последних средств учились в Смольном институте. Вот и приходилось выходить замуж в восемнадцать лет за приказчиков, и уезжать из Петербурга в провинцию по назначению фирмы, чтобы выжить. А в девятнадцатом году она моталась по всем митингам от Богатынской до вокзала, читала свои революционные стихи, и все кругом распевали ее песни. А дедушка переписывал ей ноты от руки. Она ж забывала их и заставляла писать на одни и те же стихи разные мотивы.

Меня кормили из отдельного блюдца первой дорогою клубникой бабушка с дедушкой, и эту клубнику, и это отдельное блюдце я ненавидела тоже.

Наконец, я не представляла себе, что смогу когда-нибудь простить ей слово «шлюха» в адрес совершенно не вспомнить кого. Как и не представляла себе этой ее нынешней беззащитной тихости, и той грустной нежности, с какой глажу редкие волосенки и целую темную трясущуюся руку.

Мои собственные пороки — наверно, отцовские: не зная его, лишена была ненависти к ним.

Тишина соседней комнаты заставляет меня встать и открыть дверь.

Люстра с хрустальными подвесками, большей частью разбитыми, зажжена и днем: квартира темна. Неуклюже заслоняет большой дверной проем кованый сундук — «английский», — укрытый потемневшим от времени хвостатым покрывалом. В зеркальной нише

буфета вижу углом стоящее хрустальное блюдо, окантованное серебром, круглый стол, за ним бабушку. Она дремлет над пасьянсом. На коричневом бархате скатерти белеет дощечка с ломтиками лука, приготовленного для моего любимого лукового супа.

По другую сторону ниши вижу часть граненого графина с трещиной в глубине толстой крышки. Теплый свет зелено и красно преломляется в графине, в пятигранных стеклах буфета, в проглядывающих сквозь них бокалах и рюмочках. Упираются в стекла пожелтевшие черенки от битых ручек сахарниц, чашек, молочников.

Раздается унылый, но все же притягательно-романический бой, и к виду комнаты прибавляются часы — они в стиле буфета. Этот десертный буфет, часы и несколько стульев были тем немногим, что уцелело от бабушкиной квартиры, разбитой бомбой немецкого изготовления.

Разбиты были и спальня, и кабинет, так что большой письменный стол из мореного дуба был заказан дедушкой уже здесь, вместе с открытыми, подеревенски отесанными стеллажами. Стол поставлен неудобно, при переходе из комнаты в комнату, поэтому им не пользовались никогда. Уроки я готовила на подоконнике, а также читала, и можно сказать, двадцать лет жизни провела перед своим окном.

Бабушка писала письма, изредка стихи и рисовала акварели на своем окне, а мама с дедушкой после обеда раскладывали свои работы на круглом столе, сняв льняную обеденную скатерть.

Пианино уцелело не совсем, но его все равно перевезли в квартиру Турковских; оно простояло здесь

двадцать лет с треснувшей декой, и сколько ни настаивал его сам Эфрос, все же нет смысла упоминать, что это был прекрасный инструмент немецкого изготовления.

В четыре часа я ухожу — встретить с работы маму, пойти с нею в кино.

На улице светит солнце. Оно никогда не бывало в нашей квартире, но я очень хорошо узнаю его по упрямому теплу, комками налетающему в холодном ветре, по распаленному характеру поведения жителей, по их загару вплоть до ноября и по массивным их телам.

Завтра праздник. На ветру сухо летят бумажки, листья акаций. Пробно вспыхивают цветные гирлянды в ветвях деревьев, на столбах, развешенные во всю ширину проспектов.

Старик с белыми усами, нагнувшись и покраснев толстым лицом, неровно красит свое рабочее место — уличные весы — белой краской из жестянки, аккуратно поставленной на газетку поверх асфальта.

Тесны людские водовороты у дверей магазинов, торопливо и в крике полнятся продуктами сумки.

В положенном квартале небрежно гуляют щеголи, щеголихи и подростки — их зрители, старательные их ученики. Здесь легко определить, какие сапожки завозили нынешней осенью на областную базу, какие плащи, туфли и сумки — и какие не завозили, оставив их в небрежении своем предметом мучительных вожделений.

У мамы на работе меня рассматривают, шепчутся — большая, мол, уже и не меняется. Сколько же тогда нам? — ай-яй-яй-яй!

Маму зовут откуда-то, она приходит, видит меня и, поцеловав, начинает собирать вещи. Все летит с ее стола. Уже в двери начинает кому-то объяснять, как считать напряжение на «том» участке цепи.

— Идем! Завтра праздник, он все равно забудет. Пошли!

Маму любят ее подчиненные, мои сверстники. Мне это приятно, я приветлива, на вопросы отвечаю открыто. Мне нравится на работе у мамы. Я усаживаюсь за ее стол, пока она, вернувшись, достает какую-то схему и снова запирает шкафы. Я рассматриваю эту схему, плакаты над столами.

После кино мы ссоримся: по-разному поняли фильм, и каждая считает, что другая не понимает вовсе.

Мы ко всему всегда относились по-разному: к книгам, к событиям, к вещам, к спорту, к людям и к деньгам.

Теперь к деньгам и к людям я отношусь точно так же, как моя мама.

Но все же мы ссоримся и разными дорогами возвращаемся домой.

Я долго не засыпаю, сидя у окна в темной комнате, ожидаю позднего трамвая, чтобы послушать, как он стучит, лязгает на повороте. Может быть, хотя бы теперь я смогу понять, почему этот отдаленный звук трамвая за поворотом еженощно «напоминал» мне о звуке там-тамов при снятии скальпа и возбуждал представления о непереводаемых на человеческий язык ощущениях от удара ножом, от кипятка в котле, в паровозной топке японцев, от попадания в тебя, во все части твоего тела, даже в рот и глаза, десяти пуль одновременно?..

Я имела неосторожность сказать маме в прошлый приезд:

— Этот трамвай за углом, десятка, всегда вызывал во мне мысли о смерти. Ужасный звук.

— Я думала, ты поумнеешь с возрастом, — огорченно заметила мама.

В этом смысле, конечно, именно с возрастом я и поумнела: в этот приезд я догадаюсь уже ни за что не сказать ей такого.

Окно, перед которым я жду трамвая, наскучило мне за целую жизнь, до тех двадцати лет, к которым я возненавидела его, считая истоком и воспитателем угрюмой своей натуры, пребывающей в глубокой меланхолии все свободное от внешних усилий время — в спячке непостижимой, беспричинной меланхолии.

Позже я узнала у других окон, в самых разных местах, что окно моего детства было волшебным.

Мне встречались совсем примитивные окна — три доски вдоль и три поперек, с ровным светом за стеклами, с продовольственным магазином внизу, на улице. Изредка входили туда люди и выходили обратно, и даже сталкивались в дверях, и ничего не выходило из этого: окно оставалось только рамой крашенных досок, тюлевая занавеска оставалась занавеской, и магазин — скучной свечной лавочкой. И мне нечего было делать возле этих окон больше пяти минут.

Случались окна, о которых я не помню, чем они были занавешены, — так жадно смотрела сквозь стекла: на брезжащий свет незнакомых улиц, осторожные голоса машин в узких готических переулках, свет фар,

дождливое шлепанье о сырые плиты площадей, уличные светильники, автобусы.

Но только это одно на северную бессолнечную сторону окно моей комнаты имело душу и делало со мной, что хотело, не отпуская от себя часами.

У него я слышала шорохи, крики, плач — звуки, дававшие понять, как велик тот мир, где я присутствую, присутствуя в нем у этого окна. Ни у какого другого — не бывала я в стольких местах сразу, а была только там, где была.

Ни перед каким окном листья акаций, освещенные тусклой лампочкой, не вили теней так одинаково из лета в лето, белые цветы не пахли так же — и помню, и забыла, и вспоминаю... Ни перед каким не рос на моих глазах айлант, а дом напротив — старел и оседал.

Нигде не слышала тех голосов, не видела той же густоты и прозрачности теней, голых черных веток, рисующих по стенам и потолку закат, и ночь, и множество видений, немислимых вне этих стен, погружающих незаметно, всецело в чувства тишины или страха, грусти или сладости — или изводящей тревоги, пока не отпустит окно и не засмеется тихо. Позволит очнуться, заняться, уснуть, уйти...

Я снимаю покрывало со спальной тахты, приоткрываю одеяло и, устроив себе «домик», сплю — и постепенно теряю контроль над сном.

Мерещится мне звук. Накинув халат, подхожу к окну. Нет никого на улице. Такая глубокая ночь, даже праздничная гульба утихла и еще не началась.

Никто не бросал и не бросит спичечной коробки в мое окно. Ни он, ни кто-нибудь другой.

Кто-нибудь другой? Это новость. Значит, пришло время кого-нибудь другого.

И тогда понимала, что придет такое время. Только не представляла себе. И вот оно пришло, раз так подумалось.

Но мне не нравится кто-нибудь другой. Мне по-прежнему нравится он — то «филин-утешитель», то «девяносто восемь христовых ран».

Сколько раз все кончалось для меня у этого окна, пока не летела вновь коробка спичек и высокий голос, вибрируя, меня не оживлял:

— Зойка! Ну и давно же я тебя не видел. Даже голова болит.

Значит, теперь вот все действительно кончилось.

Впрочем, может — не кончилось, а только начинается? Настало то ровное «навсегда», о котором он говорил, а я не очень-то верила: что сколько угодно всего на свете, но мы с тобой — это мы с тобой. Не видясь год, или два, или десять — навсегда останемся мы с тобой.

Может, все, чего я не понимала, не в состоянии была понять в наших странных отношениях — было для этого? А он — Митя, мой филин-утешитель и девяносто восемь христовых ран, — знал и понимал, и распоряжался нами, этими нашими странными отношениями так, чтобы «навсегда»? (Потому что в другое «навсегда» он не верил:

- Это счастье, что я догадался не завести с тобой роман...)

Для этого уходил вдруг, иногда даже не попрощавшись и всегда — не назначая никаких встреч, и появлялся, когда уже переставала ждать? Для этого в биб-

лиотеке, в филармонии, в университете учтиво раскланивался и, перекинувшись парой фраз, проходил с друзьями мимо?

Никто ничего не понимал, вечно заставая его у нее в гостях, и спрашивали:

— Что за странная тайная связь с Тремоловым! А ведь он тебе изменяет! — и игриво грозили пальчиком.

Очень близкие не спрашивали. Очень близкие говорили:

— Дмитрий принес вчера блестящую статью. На этой неделе — вторую. Как это тебе удалось его засадить?

Или:

— Давно ты не видела Тремолова? Его разыскивают в университете, скажи ему.

Темен барельеф выступающих из стен людей, дверной проем дышит перекатами тел, как пузо удава. Я ищу бабушку и маму, но их нет. Это явственно, очень явственно и трезво удивляет — в глубине меня живет знание о том, что они должны быть.

Наконец, толпа расступается. Входит человек в ватнике, в сухих серых сапогах, неся перед собой на согнутых руках скрипичный футляр.

Футляр приоткрыт, и я в страхе тороплюсь рассмотреть его содержимое. Ничего не получается, пока человек в новеньком ватнике гостеприимно и широко не распахивает футляр, установив его перед тем на нашем круглом столе.

Аккуратный бесформенный комок медвежьей шерсти рыхлится в нем. Возможно, это аморфные гор-

стки бурого мха, но мне они все-таки напоминают мохнатого медведя.

Это мой дедушка. Я его любила совсем особенно, совсем не так, как маму. Вот между нами не вышло за всю жизнь ни одной перебранки — мы никогда не беседовали задушевно.

— Зубы, зубы надо было снять, — ропщет подворье.

Закуски из темных овощей: лакированные листья петрушки прикрывают фигурные ломтики светящейся черно-красной свеклы; меня тускло возмущает вилка, потревожившая алмазные капли уксуса. Морковь, свекла, темный хлеб — все порезано машинками и ножами разной конфигурации. Дедушка питал пристрастие к бытовой технике, и масса прекрасных устройств первых советских выпусков — стиральная машина, холодильник, пылесос, полотер, слуховой аппарат, транзисторные приемники — бездействуют или выходят из строя у нас дома.

И вот я на дебаркадере, окружена влажной речной мглой. Человек в ватнике забирает скрипичный футляр и уходит с ним, пошатываясь — дебаркадер качает волна.

Огни погашены — весь город провожает дедушку.

Я иду следом за ними — за человеком в ватнике с футляром; деревянные одностворчатые воротца скрипят передо мною трехпалыми лапами петель.

Пересекаю черный свежий сад. Вхожу.

Пыльная лампа в сетке прикреплена к потолку. Прошу человека в ватнике еще раз показать мне футляр.

Он говорит, что надо помыть руки, пройти за перегородку и поискать там.

Заглядываю туда. На темных стеллажах отремонтированные туфли, башмаки, босоножки. Помещение удивительно сухое, лишено запаха, даже самого воздуха, кажется, лишено оно.

Я отказываюсь от своего намерения...

Осторожно и ласково будит меня мама. Она вернулась с праздничного шествия и ожидает возможного прихода знакомых. Кроме того, возможно, я захочу посмотреть парад по телевидению и буду недовольна, что меня не разбудили.

Все, про кого она говорит, толсты и лысы, я знаю их имя-отчества, их солидные мнения, почти всегда несколько осуждающие, уж так повелось с детства, моего и их детей, моих ровесников. Поэтому, когда она называет имена, да еще уменьшительные, да еще и клички, я не сразу могу сообразить, о ком речь. Что Славка, например, — Вячеслав Григорьевич Шахов, член-корреспондент, Витька — это Водолей, проректор военной академии, Ика — Илья Давидович Цвайг, гипертоник, главный инженер их института. Все они с нею учились, или годом-двумя младше; среди них есть те, которые любили в то время, в тот год ее, есть тот, кого любила она. Все это известно по разным рассказам, а видела некоторых я всего раз или два в жизни. И уже лысыми и толстыми, слегка осуждающими.

— Ика-то был совсем молодой специалист, только окончил весной. Никакой брони на него не было и быть не могло. Как узнали, он митинговал на столе, кричал «No pasaran! Все пойдем, не пропустим!» И ушел доб-

ровольцем — первый. С ним еще не так много ушло. А потом уж повалили все, добивались, чтобы бронь сняли. И так было странно слышать, когда Витька про Ику говорил потом: «Как это он из плена вернулся живой? Это только еврей мог.» Витька-то сам *No pasaran* тоже кричал, вместе со всеми, правда, на несколько месяцев ушел позже, на него бронь была. Ну а Славик — и вовсе никому непонятно, как в саперы попал. Он еще диплома тогда на руках не имел. А только роет он как-то на укреплениях канаву, в солдатах, ковыряет мерзлую землю — мимо лейтенант идет, из нашего института тоже парень.

— Шахов! — говорит.

Не было же человека в институте, кто бы о Славке не знал. Славка вытянулся, отдал честь — и снова копать. А лейтенант — ну рапорты писать. Дошел до самого верховного командования, что, мол, нельзя и невозможно жертвовать на передовой такими из ряда вон головами. Ну, Славку отозвали в военную академию, он там как раз почти всю войну и проучился, на фронт уже не попал.

А лейтенанта того ровно через месяц убили.

Время моего пребывания дома уплотнено и расписано, как у государственного деятеля. Я должна провести несколько пресс-конференций: в кругу школьных подруг, в кругу университетских друзей, в кругу просто знакомых; должна встретиться за завтраком с сыном маминой сотрудницы, желающим знать, какие возможности в жизни даст ему поступление на физический факультет университета.

Я серьезна и искренна в ответах, слежу за точностью выражений, чтобы смысл не исказился и не обманул общественность: помимо трансляции, работает запись.

— Как посмотрел Свердловск на Прагу?

— Что Свердловск думает о Солженицыне?

Я общаюсь только с теми, с кем общаюсь. Откуда мне знать — Свердловск это или не Свердловск? Яким, например, начальник лаборатории, впечатление такое, никак не посмотрел на Прагу и ровным счетом ничего не думает о Солженицыне. Разве что поборники скрипки Эйнштейна в курилке — но да что они значат и какое вообще имеют значение?

Но все же мне, типичному молодому человеку с кой-какими своими особенностями, не удастся достаточно ясно ответить на вопрос, к чему я стремилась и что нашла. Что я могу сказать сыну маминой сотрудницы? Безумно трудно выбрать профессию. В его возрасте это куда легче. Ведь если я и знаю что-нибудь путное из радиофизики, все равно это такая малость по сравнению с грузом жизни, который накопился во мне исподволь, и начинает создаваться впечатление, что это и есть истинная профессия каждого человека — жизнь под солнцем.

— Тогда может быть лучше подать на мехмат? — спрашивает мальчик.

В самолете разболелась голова до желания выстрелить в нее, и очень не хочется в общежитие. Попасть бы прямо на работу, в испытательный зал! Увидеть, как кое-кто начнет искать у себя в карманах пирамидон — почти все начнут искать, зная даже, что нико-

гда никакого пирамидона у них в карманах не было. Интересно, заглянул бы в карман своего коричневого пиджака Валерий Викторович? — Хотелось бы!

Подхожу к общежитию и понимаю, что все время надеялась встретить где-нибудь Митю, и теперь мне его не встретить.

И все же, зимой я почти не живу, несмотря на двойной слой ватина, подведенный под пальто бабушкой.

Меня встречает в коридоре комендантша, одетая в белый крахмальный передник поверх длинного сверкающего платья со шлейфом. Она вошла со стороны сада: в руках только что срезанные розы с длинными узкими бутонами.

— Ну что? — говорит она ласково мне. — Как?

— Здесь не растут на клумбах ромашки, которые называются пиретрум⁶...

— Так тебе хочется вернуться?

— Нет.

⁶ Пиретрум — мелкая южная ромашка со стойким запахом, на основе этого свойства из нее изготавливают дуст, средство против домашних вредителей.

Часть 2 МИРНАЯ ЖИЗНЬ

РИВЬЕРА

Веранда шашлычной была как бы пуста, хотя за столиками и сидело несколько компаний — будто застывших в стоп-кадре, безмолвных, с нешевеливающимися полуулыбочками на лицах. Воздух мучил неподвижным душным ароматом кипарисов и магнолий. Перед темными очками зияла спокойная, райская, голубеющая пустота. От отпуска оставалось три недели — десять дней я уже промотала у мамы с бабушкой, провалялась в мокрой простыне — жара стояла как раз-таки под сорок градусов — на полу своей комнаты за чтением, встретила с двумя-тремя приятельницами школьных лет, на улице, случайно, никого не было в городе — лето, отпуска, многие уехали работать, как и я, по распределению, в другие города. А от отпуска ожидаешь всего — ожидаешь прожить немыслимую, иную жизнь за эти тридцать восемь дней (двадцать четыре рабочих, плюс выходные, плюс отгулы), но не знаешь, что же для этого предпринять, а время идет, и вокруг пусто, мертвенно, глухо — как на Байкале, куда мы однажды подались с моей сослуживицей Ритой в предыдущий отпуск (их-то и было в моей жизни пока что всего только два).

Я поднялась с пластмассового стула и потихоньку, не торопясь, без всяких предвкушений двинулась снова на пляж. Загорать сегодня больше было нельзя, чтобы не повредить шкуру, озеленевшую и осеревшую в долгих свердловских зимах, но купнуться еще разик можно.

Ривьера знакома мне была отлично — столько времени я провела здесь на сборах и соревнованиях, столько теннисных приятелей и приятельниц имела в свое — разумеется, школьное еще — время, облазила все санатории, все прилежащие горы, вплоть до Хосты, наперечет знала все растения Дендрария, собрала не один гербарий субтропической флоры, но теперь, по прошествии стольких лет, чувствовала себя не то чтобы одиноко, но словно в каком-то скафандре, глухо отделявшем от мельтешащих вокруг чуждых и каких-то посторонних людей, мешавших смотреть, нюхать, вживаться в пустынную траву забвения, пространство неистребимой памяти. Жизнь была прожита, оказывается, притом давным-давно. И сейчас я смотрела из своего послесмертия на эти дивные ливанские кедры и кипарисы и умилялась трагической красоте того пейзажа, на котором разворачивалось столь неудавшееся действие моей жизни.

На горячем валуне в самом дальнем конце пляжа, где никогошеньки кроме меня, резиново и тяжело дышит ящерица, прекрасно завораживая, глаза в глаза, оказывая какое-то магическое воздействие на склад моего мышления, моих бедных сузившихся от постоянной и слишком определенной работы мозгов, юная саламандра в роскошно вытканном сером наряде: мне больно от нашей неслиянности, от ее беззащитности и беспечности, с какой она греется на узурпированном пляжниками солнце, прямо на злачном курорте, на задворках привилегированного санатория «Светлана»; тут же она смешит меня своей брюшковатой юркостью, раз — и нету, как бы в ответ моим мыслям, и в заключение

нашего нежного диалога я вздыхаю, удрученная жесткой, непостижимой мерой между приспособленностью и гибельностью нас под этим громадным лабораторным золотым фонарем с ласковой скорпионьей хваткой.

Купальник высох, и надо или снова лезть в воду, или предпринять что-то иное, какой-то придумать поход — оказывается, я, с детства привыкшая жить по расписанию, по режиму, в теснине четких извне заведенных дел, совершенно не знаю куда приткнуться, будучи предоставлена самой себе — только читать и способна, притом лежа! Что-то калечное, право, чувствую я в себе во время всех этих отпусков, праздников, бесцельных поездок — не способный к р а з в л е ч е н и ю социум: homo teleologicus.

На почту заходить рано — написать мне могут только моя сослуживица Рита или мама, да и то, если случится что-то непредвиденное, но не в первый же день по приезде, да я здесь самолетом к тому же, раз — и нате: умопомрачительный запах цветущих альбизий, пальмы у моря, опалово-лунный морской вокзал с теплоходом «Россия» у причала, и все такое.

Жилье я нашла себе сразу же вечером — подъехала к морскому вокзалу и согласилась без всяких колебаний на занавешенную кисейными розочками терраску, преудобно отъединенную от всего остального жилища, битком набитого отдыхающими. Дом располагался на Виноградской улице, рядом с Ривьерой.

У меня, разумеется, было много знакомых в Сочи, все это были теннисисты и родители теннисистов, в разное время приглядывающиеся ко мне как к возмож-

ной будущей невестке — и я им, само собой, нравилась, меня у в а ж а л и (их, конечно же, слово): отличница, комсомолка, спортсменка... Но в том-то и дело, что меня мало вдохновляли их отпрыски, даже если я и восхищалась их теннисным дарованием. Как правило, дело ограничивалось первым же письмом после окончания соревнований или сборов, бескорыстной и самоотверженной починки ракеток, босоножек, молний на сумке, пополнения рядов моих болельщиков и обмена адресами: при виде грамматических ошибок в первом же письме меня брала оторопь, и я никогда не ответила ни на одно из них. А при следующей встрече на соревнованиях была приветлива и шутила, как ни в чем не бывало, и за починку моего инвентаря брался следующий мастер спорта или кандидат в таковые. И все это сходило мне с рук, сама не знаю почему. Видно, в виду известной всему миру незлобивости русского народа.

Пойти же, практически, было не к кому, и я с замиранием сердца вступила на гравий парка «Ривьера», в тугом облаке прелестных и щемящих воспоминаний.

Корты были пусты, только на одном из них, дальнем, ковырялись двое. У стенки не было никого, и я решила завтра же зайти в спортивный магазин на Ленина и купить себе ракетку и тройку мячей. Пока же села незаметно на лавочку за кипарисами и наблюдала за приезжими (это было ясно) любителями. Играли они ничего, в силу второго мужского разряда, даже техника была.

— Два мяча до полбанки, — крикнул один из них, — и только попробуй зажить, век матери не видать!

— Не кипятись, старик, сначала выиграй хоть раз в жизни по-честному.

— Появились болельщики, так ты и выпендриваться!

Я оглянулась — никаких болельщиков не было и в помине: пустые корты.

— Девушка просто на свидание пришла, дурак!

— С тобой?

— Нет, с тобой!

— Вот и со мной, да, вот и со мной!

Я совершенно стусевалась за кипарисом, просто перегнулась вся, чтобы за ним исчезнуть. Но шаги приближались.

— Интересуетесь? Хотите, научим! Изумительная игра, между прочим. Очень прекрасно развивает.

Паника взбаламутила все мое нутро. Я давно уже отошла от настоящего тенниса, а три года и вообще не держала ракетку в руках. В нашем медвежьем углу даже и думать забыла о его существовании. Было ужасно стыдно.

— Боюсь, я даже по мячу не попаду, — сказала кто-то, видимо, я.

Глаз поднять не было сил от паники и от стыда.

— Да ничего, ничего! Мы очень мягкие, терпеливые тренеры! Ну, берите ракетку, пошли к стенке.

Что-то он не был похож на мягкого, терпеливого тренера — суховатое презрительное лицо знающего себе цену блондина. Я колебалась. К стенке пойти вдруг захотелось страшно. Но я ведь действительно не попаду по мячу! То-то будет стыдоба... Я не выносила унижений, даже когда проигрывала Анне Дмитриевой. Это

ведь была трагедия моей жизни, наконец-то я от нее избавилась, и вот они тут снова... Настоящий силен, этот горбоносый, отметила я про себя. Но к ракетке как-то потянулась. Я была в шортах, в тапочках — не было решительно никаких препятствий... Взяла ракетку, потрясла ею в руке — она была тяжеловата, верных четырнадцать унций, даже с хвостиком, — накинула на плечо пляжную сумку, и мы пошли. К стенке.

Минут пять горбоносый объяснял мне, как надо становиться боком, захватив ракетку удобной хваткой, и встречать мяч впереди себя. Его товарищ помалкивал и безразлично сидел в тенечке, попивая минералку из бутылочки. Я взяла в руки наконец-то предоставленный мне тренером мячик, встала боком, совсем близенько от стенки, и тихонечко стукнула по мячу, чтобы приладиться к ракетке и почувствовать, на каком я свете.

— Хорошо чувствуете мяч! — через некоторое время ободрил горбоносый. — У вас вполне может получиться, если постараться как следует!

Я чуть-чуть припустила силу удара — так, просто слегка отжала тормоза и отошла подальше.

— Да вы способная! — ликовал мой новоиспеченный тренер. — Так пойдет дело, мы уже сегодня сможем попробовать на корте...

Другой молодой человек как-то тут странно хмыкнул, чем и привлек мое внимание: он тоже был блондин, но какой-то дымчатый, с коротко стриженными курчавыми волосами и удивительно мягкими и кроткими карими глазами. Он тихо чему-то веселился, допивая свою минералку.

— Да?? — открылилась я. — Давайте попробуем!

— Ну, давайте, — неуверенно отпрянул под моим натиском инициатор комедии. — Вообще-то людей по-настоящему месяцами у стенки мурыжат.

— Но она же способная, — подал вдруг голос кареглазый.

И я опять потащила было свою пляжную сумку обратно на корт, но вдруг у меня на плече polegчало, я оглянулась и увидела, как курчавый надевает ее на свое костлявое, но сильное плечо. Какой-то удар в грудь почувствовала я именно в тот миг — хотя с чего бы? Разве можно сосчитать все моменты в жизни, когда мне помогали нести сумку, портфель, чемодан... Я была такая взрослая, целых двадцать четыре года. У меня подходил к концу срок молодого специалиста, на который я завербовалась — распределилась то бишь — в глухой таежный поселок, на ящик под Свердловском. Битком набитый молодыми талантами, каждый день помогавшими носить то прибор, то стул, то стол, то стремянку, то мешок с картошкой — в колхозе.

— Счет в теннисе очень сложный, — работал со мной на ходу презрительный и горбоносый силен. — Сразу, конечно, вы ничего не поймете. Но пока надо попробовать без счета, хоть это и скучно. Искусство требует жертв.

— Да? — неожиданно для себя откликнулась я и почувствовала, что готова на какие-то жертвы, смутно предчувствуемые, при слове «искусство».

— Конечно, — сверху вниз посмотрел на меня силен. Он был очень хорошего роста и прекрасных сухощавых статей. — А вы не знали?

Я отправилась на заднюю линию, и курчавый про-
бормотал мне вслед: «Посмотрим, посмотрим, как вы
плохо в шашки играете». Я взглянула на него искоса и
неожиданно для себя широко улыбнулась.

— Караул! — кричал через какое-то недлинное
время силен. — Что же это такое делается? Откуда та-
кая прыть? Вы что, доканать меня решили? Я же так не
могу! Ох уж эти мне начинающие, никогда не знаешь на
корте, чего от них ждать!

— Особенно, когда они мастера спорта! — подал
голос с лавочки другой.

— Нет, правда? — остановился на минутку, опер-
шись на ракетку, и обалдело посмотрел на меня трени-
рующий меня доброхот.

— Неправда, — смеялась я. — Все это было давно и
неправда. И не мастера, а только кандидаты...

После чего я выиграла у него пару сетов, довольно
легко, хотя и давно не тренировалась, но в первый раз
после большого перерыва играешь как-то собраннее,
точнее, лучше, чем ты способен на данный момент иг-
рать вообще — а потом, уже на следующий день все
разлаживается, рассыпается, увядает и хнычет. И тут
они поинтересовались, как меня зовут.

— Зоя, — сказала я и продолжала молча стоять
потупя глазки.

Они сказались Сашей (силен) и Сережей. Я кивнула.

— Так, ладно, — не оставлял ни на минуту делово-
го тона Саша. — Пора бы уже и поесть. Как вы на это
смотрите, Зоя?

Я никак на это не смотрела — мне было совершенно безразлично, надо было только купнуться после двух сетов, хотя бы даже и вечерних.

— Пойдемте, я покажу вам где душ, — предложила я.

— Здесь есть и душ! — изумился Саша. — А мы думали, только море.

На кортах «Ривьеры» был душ, но его всю жизнь таили и запирали от отдыхающих. Когда-то у меня был даже собственный от него ключик. Теперь же мы влезли в окно, и это оказалось очень знаменательное действие — куда только мне потом не приходилось лазить — и в окна, и в горы, и в закрытые кинозалы — с этими двумя.

Чистые и голодные, в шортах, с ракетками мы шли по парку, в котором собиралась уже вечерняя толпа, жаждавшая танцев, мороженого, шампанского, сама не знала чего, но чтобы ее развлекли и ей показали. Нам был никто не нужен, мальчики хотели есть, а на Ривьере, как я поняла по их колебаниям и хмурящимся бровям, все было дорого. И я повела их в маленькую чебуречную в переулочке рядом с моим домом, о которой никто, как правило, не знал — кроме тех, кто жил в непосредственной близости. Здесь не было ничего, кроме чебуреков по шестнадцати копеек и лимонного напитка, но им, как и мне, оказалось, больше ничего и не надо. Мы успели как раз к закрытию, и когда вышли на улицу, платаны на Виноградской накрывала стремительная темнота. И мы побрели к морю.

Магнолии пахли своим невероятным ночным запахом, томным и страстным, кусты лавровишни мрачно

сторожили дорожки, по которым мы пробирались напрямик, нам пришлось поплутать, прежде чем мы оказались на том самом месте, где мало кого можно было увидеть даже днем и где только несколько часов назад у меня не было никого на свете кроме ящерицы.

— Солнце скрылось на западе, — запел вдруг Саша чистым, высоким и негромким тенором, — за полями обетованными... И стали тихие заводи синими и благоуханными... Где-то дрогнул камыш, пролетела летучая мышь...

— Боже, как красиво! — воскликнула я. — Кто же это сочинил?

Саша и Сережа быстро переглянулись друг с другом и отчего-то погрустнели.

— Был такой поэт, — сказал Саша серьезно и совсем не заносчиво. — Расстрелян за участие в Кронштадском бунте против большевиков.

— Да нет, что Гумилев — я знаю. Я про мелодию говорю!

У одного из мальчиков на нашей работе, которые приехали из Горького и которых называли Вити-экзистенциалисты, потому что они перевели статью Сартра и давали всем желающим ее почитать, был, среди прочих сокровищ, старый, девятьсот девятого еще года сборничек «Жемчуга», и там как раз-то и было это стихотворение, «Заводи».

— А, мелодия, — презрительно сказал Саша. — Мелодия моя... Рыба плеснула в омуте... И направились к дому те, У кого есть дом С голубыми ставнями С креслами давними И круглым чайным столом... У вас есть дом, Зоя?

— У меня? — я вдруг задумалась. — Не знаю... Пожалуй, нет...

— Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз, — неожиданно подключился к разговору Сережа.

— У вас тоже? — почти обрадовалась я.

— Я один остался на воздухе, — продолжал Саша петь, причудливо ведя свою мелодию, — смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, А вечером плакать, Потому что люблю тебя, Господи...

У меня действительно ком стал в горле, и мы просто сидели на теплой гальке и долго молчали.

Всю ночь я лежала у себя на терраске без сна, думала и ворочалась, сбрасывая простыню. О чем я думала в ту ночь? — О Саше? О Сереже? — и о них тоже, но как-то смутно, нечетко. Мысли клубились, как облака в небе. Искрилось под луной море, плыла по нему темная лодка, большая, почти корабль, но без парусов, такая гигантская шаланда, грустная каракатица, с глазами, полными слез, с нее доносилась музыка, которую я не могла как следует расслышать, — и вот можно сказать, я всю ночь пыталась расслышать эту музыку, расслышать и расшифровать, понять, узнать ее значение для меня.. И не могла. Еще я не могла дождаться утра, чтобы побежать поскорее в магазин купить себе ракетку и мячики.

Потому что мы договорились встретиться на кортах в шесть.

Играли в американку (кто проигрывает, вылетает), и я провела на корте весь вечер, обыгрывая то одного, то другого. Получалось у меня уже вполне прилично.

Зато вечером, когда мы сидели у моря и Саша рассказывал, как он в прошлом году был в Коктебеле, жил в доме Волошина, куда пустила его родственница Макса, смотрел на его пейзажи с его веранды, которая как рубка корабля, и разбирал его рукописи — я почувствовала себя вдруг таким убожеством. Про Волошина я совсем ничего не знала, даже стихов его не читала, не говоря уже о пейзажах, к тому же у Саши в рассказе мелькали неизвестные мне имена: Бакст, Бенуа, Добужинский... Мне рассказать было совершенно нечего — не о том же, как я по четыре дня не выходила из монтажно-измерительного корпуса на испытаниях. И я рассказывала про Риту, про ее немку-бабушку, про двух Вить-экзистенциалистов, про статью Сартра, которую они перевели. И в заключение спросила — а как они считают, сущность предшествует существованию, или существование предшествует сущности?

— А черт его знает, — задумчиво молвил Саша. — Но безумно интересно.

Сереза же молча смотрел на меня во все глаза, и в его кротком каштановом взгляде я уловила некий, как мне показалось, ужас. И тут же зареклась хоть когда-нибудь, кому-нибудь заикаться об этой проклятущей сущности.

От него исходило тепло, и я его постоянно чувствовала. Кроме того, он был такой милый со своей дымчатой курчавой головой — прямо как эрдель-терьер.

— Ужасно хочется собаку, — сказала я вслух, буквально ни с того ни с сего.

— И мне, — откликнулся вдруг Сереза. — А какую бы вы выбрали, если бы... у вас был дом?

— Эрдель-терьера, — ответила я не задумываясь.

— Понятно, — кивнул Сережа. Может, догадался?

Саша стоял на пригорке над морем и декламировал хорошо поставленным голосом, так, как я не любила — как актеры читают:

О! Кто мне возвратит вас, буйные надежды...
Вас, нестерпимые, но пламенные дни!
За вас отдам я счастье невежды;
Беспечность и покой — не для меня они!
Мне ль быть супругом и отцом семейства,
Мне ль, мне ль, который испытал...

И я подхватила с этих слов, чтобы прочесть по-своему:

Все сладости порока и злодейства
И перед их лицом ни разу не дрожал?
Прочь, добродетель, — я тебя не знаю...
Я был обманут и тобой...

И спросила с ласковой ехидцей — не в адрес Лермонтова, который был моим любимым поэтом, а в адрес Сашиного чтения:

— Вы часом не артист?

— Боже мой, Кайдановский, — подхватил неожиданно мой насмешливый тон Сережа. — Что делается?! Публика тебя совершенно не знает... Это же как?

— Узнает, узнает, — изломив бровь бросил, Бог ведает, в шутку или всерьез, Саша с заметно передернувшимся лицом.

Я притихла. Вот дура-то! Мало ли, кто он там такой — что я могу знать об этом в своей уральской дыре? Просто срам.

— Не расстраивайтесь, он только едет в Щуку поступать, — успокоил меня Сережа, будто прочел мои мысли.

— Да-да-да, а вот он уже — готовый Шишкин, которого только могила исправит, — желчно, но тем не менее дружески отпарировал Саша.

Значит, Сережа художник, решила я. Час от часу не легче. А я — обыкновенная, не блистающая внешностью, ничего не достигшая в жизни неудачница, похоронившая себя в глуши, занимающаяся мало кому интересными делами, да и работать над диссертацией не дают: план, «гонка вооружений», баба.

На следующий день они неожиданно нашли меня на том месте, про которое я им рассказала — где одни только ящерицы пекутся на солнышке и никого из отдыхающих, потому что оно отгорожено сеткой от пляжа санатория «Светлана» и бетонной стенкой — от пляжа «Ривьера». Но в том-то и дело, что надобно знать: в реденькой эвкалиптовой рожице, заросшая кизилловым кустом, в стенке имеется дырка! И я это знала. Иногда кое-кто перелезает через стенку, но не так уж и часто и не в таких уж подавляющих психику количествах. Кое-кто приплывал морем.

Морем-то и приплыли Саша с Сережей. Притом Сережа держал в зубах полиэтиленовый пакет с фотоаппаратом. Ни дать ни взять эрдель-терьер!

Я была потрясена и очень взволнована, увидев их выходящими из воды. Им захотелось меня увидеть!

Притом без всякой корысти иметь в моем лице классного курортного партнера на теннисных кортах! — это ошеломило. Я страшно обрадовалась и обезумела от счастья.

— Привет, привет! — кричала я как ненормальная, вскочив на ноги.

— Ну и где же ваша саламандра, — деловито осведомился Саша. — Или мы нарушили ваш элитарный тет-а-тет?

— Нет, что вы, нет! — умирающим от беспокойства голосом уверяла я. — Она вообще сегодня не приходила. Видно, я уже надоела ей пуще горькой редьки. («И теперь страшно боюсь надоест вам», чуть не добавила я, но вовремя прикусила язык.)

— Так, — тем временем подал голос Сережа. Он так редко открывал рот, что я моментально к нему повернулась с большим нетерпением. — Снимается крупняк!

Его милое лицо заслонял огромный какой-то фотообъектив, каких я сроду не видывала, а Саша, увидела я боковым зрением, моментально подобрался и преобразился непередаваемо: Боже мой, он же играет фильм, да какой интересный, восхитительный, где так много невысказанного, внутренняя драма, неуловимые ценности жизни и ускользающие цели, и я — его героиня! Я прямо рот разинула от изумления. Причем, по моему, в самом буквальном смысле.

— Между прочим, я Зою снимаю, — саркастично заметил из-за фотоаппарата Сережа.

— Глупо, глупо, в высшей степени глупо, — взгорячился Саша, такой ведь спокойный и холодноватый! —

Купальник — совершенно не тот реквизит для этой натуры. Тут нужна шаль, понимаешь, шаль, серое платье под горло, высокая прическа, стоечка...

— Сам дурак, — бросил Сережа сквозь зубы, продолжая щелкать кадр за кадром, а я крутила головой от одного к другому.

— Или белое платье, в мелкую серую розочку, шляпа, с а-а-агромадными полями... Между прочим, Зоя, завтра едем в парк Драчевского, учтите.

— А как же теннис? — спросила я упавшим голосом.

— Денечек пропустим, а может, даже и успеем. Мы же не к Уимблдону вас готовим, можете день не поиграть? Вы же в конце концов в отпуске, неужели не хочется что-нибудь посмотреть?

Значило ли это, что меня берут тоже?!

— Очень хочется, — неуверенно промямлила я, — но...

— Нет денег? Мы все берем на себя, не бойтесь... В жизни ни за что не платили и платить не собираемся. И на электричках, и на автобусах, и на катерах, и даже на ракетах — могём. Мы все могём.

— На, снимайся через зеркало, — отдал тем временем Сережа Саше фотоаппарат и пошел обратно в море. Нырнул с разбега и исчез. Я всматривалась в обширное сияющее на солнце пространство до рези в глазах, но Сережи нигде не было.

— А вы пишете, я знаю, — сказал неожиданно, как нельзя более невпопад Саша. — Небось, стихи?

— Ой, нет! — испугалась я. — Что вы!

Я даже и не думала никому признаваться в том, что строчу время от времени какие-то неожиданные вирши, которые потом вызывают у меня одну только тяжелую неприязнь своей излишней откровенностью, еще в школе в каком-то сомнамбулическом состоянии перевела для себя и двух-трех девочек, интересующихся, несколько стихотворений Байрона и Шелли, и конечно же, лорда Альфреда Теннисона — и даже одно стихотворение Шекспира, про музыку. Или в расприрающем душу коловращении лиц, слов, мыслей, строчек, звучаний, пятен света и теней, воображаемых разговоров, вопросов, ответов... И все время пытаюсь написать роман. Но кому это интересно?

— Нет-нет-нет, не впутывайте меня в это дело. Я тут ни при чем.

— А что, физики довольно презрительно относятся к фиглярам?

— Знаете что, Саша! — я очень прямо посмотрела ему в глаза. — Я не физик, а вы не фигляр. И давайте больше не будем об этом, хорошо? Вот где лучше Сережа? Что-то я его не вижу. (Я постаралась сказать это как можно спокойнее, чтобы не выдать своей тревоги и своего повышенного к Сереже внимания.)

— Да он уже в Гаграх, не волнуйтесь, — бросил Саша. — Вот я и не пойму, кто вы такая...

— Как в Гаграх?!

— Да он плавает, как дельфин. О прошлом годе снимал в экспедиции на Тихом Океане, для Шнейдерова, так когда сеть на колеса траулера намоталась ненароком — случаются такие дела в море, знаете ли, никто, окромя Сергея, не выдержал, включая плавсостав и во-

долазов, во всем этом деле разобраться и всю ее тихо-нечко и терпеливо поразрезать... Так что не дергайтесь. До сих пор не могу ему простить всего того спирту, какой на него был отпущен в результате всех этих дел...

— Саша! — осторожно спросила я. — Вы не из города Р?

— Из него самого... А как вы догадались?

— Тоже потому что... До некоторой степени.

- До какой?

— Ну так... Вряд ли когда-нибудь туда вернусь.

— Я тоже, — сказал Саша. — А что нам нужно, вы не знаете?

— Я-то не знаю, это точно, — горько сказала я. — И знаете, что я вам скажу?

— Ну, так и быть, скажите...

— Получим не то, что ждем, а то что... то что в нас и к чему стремимся — не достигнем никогда.

— Надо же... Кассандра. Ладно. Посмотрим. Вас же в Р. не было, вы даже на сцене меня не видели. Так что я все же поеду...

— Куда?

— В Москву, в Москву, в Москву... Куда же еще?

— Нет, конечно, поезжайте! Саша, что вы!

Рита моя конечно бы сказала: Куда-а? Зачем-ем? И была бы права. Это прекрасно, что он поедет! Мне почему-то стало грустно. Может быть потому, что люди едут в Москву, к чему-то стремятся, а я ничего в жизни не понимаю и вечно иду в одну сторону, а попадаю в другую. Ведь я собиралась так интересно и насыщенно жить в Свердловске!

Но никакого белого платья в серую розочку и никакой шляпы «с агромадными полями» мне было совершенно не нужно и не хотелось нисколько... Чего же мне нужно в жизни? — вдруг спросила я у себя, и не придумала ответа.

И вдруг, когда появился Сережа, мокрый и чуть-чуть запыхавшийся, мне показалось: хочу, чтобы всегда было как сейчас — море, теннис, парк Драчевского и Сережа и Саша, или такие же, как они. И чтобы не нужно было выбирать между ними всеми. Никогда!

Гардении пахли тонкими причудливыми страстями, а розы — будто тень запаха тех же самых роз, будто все уже позади, и я вспоминаю Сережу, и этот день, и запах роз, а он где-то вдали в тот же самый миг вспоминает обо мне. Вот по этому чистому гравию, наверно, по мании Саши, мне и следовало идти, тихо и степенно, в белом платье и с зонтиком, но я была в белых шортах, желтой майке и белой жокейке. Невдалеке кричали павлины, но разобрать, в какой стороне — я не могла.

— У меня есть товарищ, очень ученый биолог, на исходе аспирантуры. Твердит о невозможности биологической связи с духовной женщиной. Потерпел на этой проблеме некое жизненное фиаско, и теперь упорно развивает тему. Культура, говорит, в очень интенсивной закваске перешибает инстинкт, парализует его и ведет к вымиранию вида. Не оставляет места ни инстинкту продолжения рода, ни инстинкту власти. Все вырождается и деструктурируется.

— Этот ваш товарищ, — холодно отвечаю я, — имеет неадекватные представления о действительности

и плохие аналитические способности. Я бы даже взялась предположить, что его имя начинается с буквы Д.

— Да? — обалдело смотрит на меня Саша. — Боже мой, как же я сразу не догадался! Хотя что-то такое было, мерещилось, особенно когда вы сказали, что вы из Р. Я вас будто узнал по его описаниям. Так все было не так?

— Совсем, совсем не так. И не будем об этом.

— И вере, и любви равно далекий ныне, — раздался вдруг неожиданно рядом голос Сережи, нырявшего в кусты в поисках кадра, — От смертной он бежит, не подойдет к богине, Как будто сам себе он приговор изрек. И сердце у него — как древний храм в пустыне, Где все разрушил дней неисчислимый бег, Где жить не хочет Бог, не смеет человек ⁷...

Лотос посреди пруда и ненюфары. Здесь, по мании Саши, следовало бы быть в прозрачном золотистом сари, с темной отметиной на лбу. Все проходит. И это пройдет — лотос в пруду, зной, жужжание, счастье, щелчки фотокамеры...

— Встретил парня со своего курса, говорит, члены привезли себе Франсуа Трюффо из Белых Столбов. Будут крутить в шесть часов в Доме Творчества, здесь недалеко. Можем сходить.

— А как?

— Влезем в окошко к Вадику. Я договорился. А в зал там уже пускают всех, кто в доме...

Ажурный букет полевых цветов на краю стола, Швейцарские Альпы, утренний туман, тропинка, веду-

⁷ Сонет Адама Мицкевича «Резиньяция» в пер. В. Левика

щая к дому... Жанна Моро, которая не может выбрать между Жюлем и Джимом... Любовь чувственная и близость духовная... «Гете показал нам в «Фаусте», в первой части, что означает принятие инстинкта, а во второй части — что означает принятие Я с его зловещими глубинами»⁸ — это я читала еще в университете, ведомая Гранатуровым, другом-призраком с философского, бестелесно.

— Боже, какое кино, — стонала я по дороге на автобусную остановку. — Я никогда не видела такого кино. Я даже не представляла себе, что бывает такое кино!

— Что, понравилось? — торжествовал Сережа.

— Не то слово, — буйствовала я. — Не то слово! Я бы всю жизнь отдала, чтобы сделать такое кино!

— Вот тебе и раз, — засмеялся Саша, но как-то не весело, желчно.

— Я вам еще много чего покажу, если приедете в Москву, — ликовал Сережа.

И я моментально притихла. Как это могло случиться? — Ну просто никак. В Москве у меня никого не было, еще в Питер я как-то и могла бы поехать к родственникам — но в Москву... Это было невероятно. Я сразу опустила на землю. Кто я? Что я? И что мне делать со своей жизнью?

— Хотя я, между прочим, ни в коем случае не Жюль, — нашел нужным добавить зачем-то Сережа.

— Я бы тоже долго не выдержал, боюсь, — задумчиво и серьезно поддержал его Саша.

⁸ К. Г. Юнг «Психология бессознательного»

— Разве что ради ребенка...

И мы надолго замолчали. Пока не пришел автобус.

Но уже через день-другой Саша скакал на лошади, Сережа с другой лошади снимал его настоящей кинокамерой, а я сидела в своей белой жокейке на лавочке, рядом с любопытствующими совхозниками, и умирала от страха.

— Никогда не думала, шо артисты, — говорила нестарая, но страшно морщинистая старуха в белом платочке, — могут такое, не хуже наших.

Меня распирало от гордости.

Чувства сменялись молниеносно — мне было то грустно, то весело, как, кажется, никогда в жизни, то вдруг я забивалась куда-то вглубь себя и хмуро и прибито смотрела на них исподлобья, будто бы даже немного их ненавидя — таких удавшихся, талантливых, счастливых, какой никогда не быть мне самой и каких и рядом-то со мной быть не может — а это маленькое наваждение пройдет, и останутся пепел и дым у меня в душе — и как я тогда буду жить? Надо и виду не подавать, что они мне нравятся, особенно Сережа. Особенно Саше не подавать.

Наступили непогожие дни. Сначала хмарилось, пляж отпал, и мы с самого утра пропадали на кортах, потом сидели у них на «голубятне» — они снимали чердачную комнату, мансарду, на горке напротив «Светланы» — пили «Изабеллу» дикого разлива, приносили пакет чебуреков на целый день и разговаривали.

Саша никак не мог определить свое амплуа.

— Лейтенант Глан,⁹ — сказала я ему.

— Белогвардеец?

— Ах да нет, совершенно не из той оперы. Ему все были одинаково противны. Он не считал даже, что женщина принадлежит своему мужу.

— А кто говорит, что принадлежит?

— Принадлежит-не принадлежит, а побивать время от времени следует, — вставил Сережа, и мы все очень весело рассмеялись. — А ты, конечно, садист, и играть тебе надо садистов. А то все метят в положительные герои, а это глупо.

— Я не мечу, — кратко отозвался Саша. — Ричарда третьего я бы сыграл.

И зачирикал на гитаре «Ваньку Морозова». В окошко чердака с отдернутой занавеской, странное, живописное, вытянутое в ширину и не застекленное, заглядывала пышная глициния, листья просвечивали, серо-желтый светящийся день перламутрово длился в сознании, как горячая и нежная струя Леты, которую переходишь вброд — с рождения и до смерти.

— Всех нас рождают на одном берегу, — зачем-то заметила я.

— На каком? — живо любопытствовал Саша.

— Известно, на каком, - я почувствовала, что продолжать эту тему неприлично, дурной вкус говорить о подобных вещах.

Ночью разразился ливень. На терраске сделалось даже прохладно, и я завернулась в байковое одеяло, висевшее на спинке кровати. За кисейными занавесоч-

⁹ Герой романа Кнута Гамсуна «Пан»

ками было черным-черно, только мерно, как моторы, шумела вода. Нервы мои совершенно расстроились: я с ужасом представляла себе, что в один прекрасный — или чудовищный? — миг кто-то из них может остаться со мной наедине и поставить вопрос ребром. И тогда я потеряю обоих. Потеряю это счастье, единственное в моей жизни, не гаданное-не жданное, и опять останусь одна-одинешенька в чужом и странно-мельтешащем пространстве окружающей жизни. Я не могла, я не хотела, я не способна была претерпеть близость с женщиной, как положено это маленькой хорошенькой самочке. Все во мне протестовало и щерилось звериным просто каким-то оскалом. Сублимация, твою мать! — стукнула я кулаком по застекленной раме и заплакала. Я рыдала так же бурно, как дождь за окном, я не видела выхода из того внутреннего тупика, в котором вдруг себя ощутила, и только к утру внезапно успокоилась.

Скоро надо было вставать и ехать в Сухуми. На электричке, так как морской транспорт не работал.

Буду делать вид, что ночью ничего не произошло.

ЦИРК ЗОВЕТ

Вся беда была в том, что я никогда не задумывался о цирке. Не ходил в цирк и не задумывался о нем — никогда. И соглашаясь снимать большой, феерический фильм под условным названием «Цирк зовет», все еще думал не о цирке, а о том, что настоящий кинооператор должен овладевать любым материалом.

О цирке я подумал только на первой съемке, когда пригласили массовку после представления, и воздуш-

ные гимнасты остались, передвинув заранее завтрашнюю репетицию на час позже. В этот вечер уже поздно было думать, смогу ли я снять феерический фильм о цирке. Его нужно было снимать. И снимать феерически.

А вечер был с теплым летним дождем, душным, будоражащим. Я медленно шел на работу в цирк, разминая свое воображение загадочным свечением сумерек на Цветном бульваре, щурил глаза, опуская и поднимая за занавесом занавес — из тумана, из неона, из сети черных, огромных, кристаллических звезд. Я плыл на крыльях своих предубеждений, не подозревая, что это предубеждения, а думая, что так оно все и есть.

Что «цирк — это Иллюзия с большой буквы», а дрессированные животные — это «победа разума над силой», что «цирк нужно увидеть вдвоем с ребенком, тогда ощутишь его смысл».

И против массовки предубежден я был ужасно. Знал, что это праздные в большинстве своем люди, какие-то специалисты по массовкам. Есть у них бандерша, с невероятными затратами энергии узнающая обо всех заказах на массовки. И всегда видел одни и те же лица, из фильма в фильм.

Впрочем, у меня существуют четыре крупных плана в совершенно различной обстановке и в разные времена года такой пожилой массовочной пары: у дамы хрупкий вид королевы парламентского государства, на ее аккуратной дымно-русой головке красуется очаровательная белая гофрированная белая шапочка с плотно прилегающей вуалью, вышитой крохотными серыми розочками. Постоянной ее принадлежностью является более или менее скрытое одеждой шелковое жабо, в

раструбах которого прижата к худой груди тяжелая камера. Я подолгу рассматривал эту камеру на моих крупных планах, потому что она образует удивительный ансамбль с лицом женщины. Выражаясь своим профессиональным языком, я бы сказал, что эта женщина и ее камера вместе представляют законченный образ.

Спутник женщины на моих крупных планах в трех фильмах снимался в клетчатой куртке сюртучного покроя, с бабочкой, один раз, на стадионе, он в беспечно сдвинутом канотье, а на четвертом крупном плане, в метро, он грустен, одет в темный, совсем заглаженный костюм, и кажется, будто у него насморк.

Я торопливо пробегаю мимо толпящейся в фойе массовки, боясь остановиться на ком-нибудь взглядом. Знаю я эту публику: подойдет, задаст безобидный мимолетный вопрос, и стоит тебе ответить — что именно ты снимаешь и что снял до этого, — и ты уже стал собеседником. В твоих руках одно — тактичным ли быть собеседником, добрым, либо хамом. А тебе просто хотят высказать свои горячие взгляды на искусство, узнать твои мнения, понежиться в твоём обществе, вспоминая, как случилось и пальто Тарасовой подавать на девяти дублях, и с Андреевым играть перекур, и как один замечательный режиссер — не запомнилось, кто именно, ведь работал почти у всех, ходит только к замечательным режиссерам на съемки — говорил, что в лицах из массовки удастся встретить иногда ту естественность, какой добиваешься всю жизнь и никогда не можешь добиться полностью.

К тебе запросто подходят, когда ты куришь, обдумывая следующий план, и подходят к камере, сообщая,

если это «конвас», что все стоящие операторы предпочитают «конвас», а если «Родина» — то стоящие кинооператоры предпочитают «Родину». И не дай бог тебе заикнуться, что всему свое место: такая реплика — очевидный мосток к философическому раздумью о своем месте всего на свете.

Фойе грязное, темное и тесное. Запах конюшни, опилок и пота должен вдохновлять, как задумано в сценарии. Мне не дурно и не противно, запах мирный, уютный и не станет помехой.

Арена убрана, и кресла пусты. Какое жалкое поднебесье! Болтается тускло в нем одно тонкое кольцо и два обтянутые позолоченной да посеребренной дутой шиной снаряда — якобы космические корабли, на которых осуществляют по одному, по двое и вчетвером «полет к звездам». Снаряды эти со шмелиным жужжанием кружатся над толпой зрителей, озаряемые фосфорическим светом, все выше и выше; один из воздушных гимнастов «выходит в космос», зацепившись высоко под куполом за утлое и тусклое кольцо крючком, и, встав во весь рост на подвесной трапеции, прыгает вниз, поддерживаемый двумя металлическими тросами, совершая «мягкую посадку», улыбается и машет приветственно рукой в ответ на глубокое тревожное «а-а-ах!», каким сопровождается его прыжок.

На втором дубле массовка уже играет это «а-ах!»; умница эта массовка, потому что ведь для гимнаста второй дубль ничем не отличается от первого.

И одеты все так, как оделись бы на представление, зови их цирк по-настоящему.

А я заработал бутылку коньяку на этом прыжке: гимнаст побился об заклад с клоуном, что меня стошнит, когда зотормозят после спуска мой «космический корабль», с которого я, крепко-накрепко приремненный, снимаю все его полеты. «Все это не так просто, — сказал гимнаст. — Моя сестра так вообще разбилась насмерть при таком прыжке на гастролях в Саратове». Клоун подошел ко мне после второго дубля и спросил у меня формулу воды, которую пил из бутылки.

— Аш-два-о, — улыбнулся я.

— Правильно. А вот аж-восемь-двенадцать будешь пить ты, хотя выиграл я.

Ни гимнаст Слава, ни клоун Аркаша коньяка не пьют. Никогда. Или почти никогда. Они на него только спорят.

Я взял бутылку из рук Аркаши и посмотрел сквозь зеленое стекло на безобразные снаряды-корабли, ничемно болтающиеся над ареной. Они ушли глубоко в океан, в Туруханскую впадину, и превратились в бати-сферы.

Когда начинаются съемки, время перестает делиться на дни. Оно исчисляется отснятыми эпизодами, полезными метрами и прерывается необходимостью есть и спать. А день все один.

В тот день невозможно было пользоваться транспортом, а я, как назло, спешил: был день рождения моей жены, и я хотел успеть зайти перед съемкой на рынок — купить несколько бледных, любимых ее роз с длинными бутонами. Но невозможно было ни идти, ни ехать — Москва хоронила космонавтов.

За две остановки до Сретенки мне удалось вдавиться из улицы в троллейбус, и меня усадили рядом с пожилым рабочего вида человеком, приехавшим специально из Тулы — «надо же похоронить ребят да поспросить у народа, что же там случилось. Вот и отправили меня. Освободили с работы». В руках он держал измятую трубочку вчерашней «Правды» с тремя траурными молодыми портретами.

Безрассудная досада злобно пересушила мне гортань: ясно, что ему не попасть на Красную площадь, и помочь ничем не могу.

Кто-то принялся самым дурацким кухонным манером пересказывать ему слухи, домыслы; выяснилось — я, собственным своим голосом несу всю эту лишнюю какой бы то ни было достоверности галиматью.

В троллейбусе парило потным отчаянием города.

Снаряд, к которому я был прикреплен, несло по кругу. Это было приятнее и менее страшно, чем ожидалось, и я успокоился, пока не начал чувствовать «подъема орбиты» и не вздрались ряды кресел.

Мгновение остановки были великом покоем — покоем перед прыжком, и я успел понадеяться, что хуже не будет.

Впадая в обморок, забыл, что камера привязана, а когда очнулся, не мог точно сказать — пересиливал ли страх за камеру или ощущение выпадания желудка, и я припал глазом к визиру, ловя объективом «космонавтов».

Но они не очнулись и ничего не смогут передать точно — так я и сказал в конце концов этому человеку.

Розы же были только белые, и я купил одиннадцать штук этих белых, нынешним утром начавших распускаться в саду роз, а кто продавал эти розы, не могу вспомнить, поэтому не могу вернуть два рубля, оказавшиеся у меня лишними после расчета: похоже, торговцы плохо считали в тот день.

— Наташа, — сказал я, набрав телефонный номер в автомате тут же, у рынка. — Могу я увидеть тебя сейчас?

— У тебя что-нибудь случилось?

— Нет, просто позвонил, вдруг ты свободна и тебе хочется мороженого?

— Я смотрю телевизор. Сережа, почему Елисеев в светлом костюме? Или я обозналась... И такой спокойный.

— Вполне возможно. Вполне допустимо, Наташа, быть в светлом костюме и спокойным.

— Я выйду сейчас. Ты где? Как ты думаешь, выключить телевизор, или пусть будет?

— Конечно, пусть будет. Или нет, не надо. Зачем это? Выключи обязательно. Я тебя жду на углу, на Трубной, в нашем сквере. Я в светлой рубашке. В светлых брюках. Спокойный, и с букетом, который не будет тебе вручен. Это можно?

— Да. Можно, Сережа. Я ведь знаю: у Зои сегодня день рождения. Я тебя поздравляю. Я приду.

Наташа плакала, сидя перед телевизором.

Всегда все вижу, живя вдали от нее — когда не выспалась, когда голодна, когда совсем не спала. Может быть, мы сказали друг другу что-то новое в этот день? Нет, и нового ничего не случилось.

Она снова не прошла творческий конкурс в театральный институт, куда поступает третий год. И в этом не было ничего нового, ничего неожиданного. Это было просто тяжело, и об этом не говорилось: помочь не мог — не фея, и у меня нет волшебной палочки.

Рядом на скамейке сидели двое — высокий, плотный с буйными бровями над всепонимающим взглядом и задавленный, узкогрудый, мусолящий и отплеывающий клочки «Памира». Разговаривали. Мы ни слова не пропустили, пока они не распрощались.

— Что же ты думаешь, если, положим, и было плохо. Разве признаются, что плохо? Вот и досиделись. Давно пора было их спускать. Ну и потом — разгерметизация.

— Думаешь, было? — кашлянул искуренный.

— Ну, кто его знает, пока точно не объявят. Всякая любая машина, пока новая...

— Да-а. Вот и Гагарин, говорят, на новом самолете грохнулся. А чего, спрашивается, понесло? Будто у нас испытателей на хватает. Говорят, по пьянке.

— По пьянке или не по пьянке, а если ты пилот мирового класса, мастер, а машина новая: интересно. Как не сесть?

— Да-а, — прокуренный сплюнул. — Возили бы себе золонину автоматами, оно и хорошо бы. Чего людей гробить?

— Они бы, может, и возили.хлопот-то меньше. Опять же, и толков. Да только человека не удержишь. Пойдет.

— Интересно это все. Узнать бы больше — про Марс этот, и про автоматы.

— Так ведь если ты все узнаешь, гляди, бросишь коров пасти!

— И то верно, народ смущать нельзя. Я вот в воскресенье грибов взял кузовок. Мало еще их, да я кузовок взял. Белых совсем мало. Подберезовые есть, но рыхлые. Головы червивые. Дождя много, значит.

Время от времени на одном из пустых кресел появляется Зоя. Значит, наступил глубокий вечер, она давно уже закончила работу, где занята системой спутниковой связи, была или не была в кино, купила или не купила новую книгу, а по тому, как она одета, я вижу, идет или не идет дождь. До конца съемки она сидит в первом ряду и старательно скрывает спокойствием свое отношение ко всему, что видит и слышит.

Когда ей что-нибудь нравится, она этого не скрывает. Она не любит этого скрывать, и с тех пор, как я заметил такое ее свойство, она только думает, что не вмешивается в мою работу, спокойно и тихо сидя рядом.

— Обрати внимание, — сказал я режиссеру, глядя на Зою. — Все куда-то летят. Преимущественно, в космос. Ты не интересовался, зачем? Или, готовясь к этой картине, ты читал про цирк, а не про космос?

— Старик, спроси у меня что-нибудь полегче. Я вообще готовлюсь к картине очень по-своему. А читать, тем более про космос, это, по-моему, вредно. Читать вообще необходимо посредственным людям. Гении могут не читать.

Я давно уже обнаружил — с крайним удивлением, — что моя жена Зоя, действительно, самый обыкновенный живой человек. С массой слабостей. Она боится хо-

лодной воды, не ест продуктов из холодильника, много читает, работает как раз в той области, о которой шла речь, и от нее — из одной ее журнальной статьи — я узнал, что человеческое существование на земле — конечно, так же, как и отдельная человеческая жизнь. Но человек стремится вывести ее за пределы Земли, передать эстафету своего опыта, своей культуры, своих открытий и дорогие сердцу истины окружающей вселенной: стремится передать информацию, как называлось это у Зои в статье. Только приспособившись к обывательскому сознанию, говорит она, мы поясняем, слегка лукавя при этом, что можем что-то получить от космоса. На самом деле мы всеми силами стремимся передать в космос как можно больше информации о накопленных человеком ценностях. Но до этого еще далеко. В стремлении к этому мы извлекаем пока из космоса только маленькую пользу.

От своего режиссера я узнал только цены на ондатровые шапки в закрытом распределителе.

В полночь съемка кончается, мы едем домой.

В пустой троллейбус садятся вместе с нами несколько человек из массовки

— Посмотри, — расширяет глаза Зоя. — Посмотри скорее, какая женщина!

Я незаметно поворачиваю голову и вижу королеву парламентского государства с серым шелковым зонтиком в руках. Ее величество не дарит ласковым взглядом сидящих в троллейбусе. Ее величество печально смотрит в окно и через несколько остановок встает, идет к выходу, с достоинством опираясь на поручни кожаных лавок.

Мы с Зоей тоже приехали. Я спрыгиваю с подножки, привычно протягивая руку к двери. Ниже своей ладони вижу другую, маленькую, дрожащую ладонь: в нее доверчиво ложится рука королевы. Я знаю, какое сейчас у Зои лицо, и молча веду ее вслед за старичками.

— Зачем вы вышли из дому? — говорит королева.
— Евгений Романыч! Вы же совсем больны.

Клетчатый сюртучок сморщился на спине от смеха. Евгений Романыч подставил себе подножку своей маленькой тросточкой и перепрыгнул через нее.

— Нет, Катенька, не запирайте меня! Я болен только, когда не вижу вас, когда вы не приходите ко мне и не позволяете вас сопровождать. Как я жалел, что остался дома! Но расскажите же поскорее, что было у нас сегодня на съемках. Вы дали сахар медвежонку?

— Нет, Евгений Романыч, нет. Вот ваш сахар. Мне не удалось.

— Катенька, голубушка, но вы бы потихоньку, в перерыве между дублями. Ведь это такое удовольствие — дать мишутке сахар, умоляю вас.

— Нет, Евгений Романыч, нет. Никакого удовольствия я не могла испытать. Вы только представьте: выбегают на арену шестеро дюжих молодцов в жаровых рубашках, волокут вот таким вот манером, — королева взяла за ошейник медведя, — впереди себя тощих заморенных зверей с вытертыми до кожи шеями. Играет бравурная музыка, молодцы кричат и гикают: оле-оп — привет! И мишки выстраиваются между ними, старательно прямя свои ноги, вытягивая свои негнущиеся ручки с растопыренными пальцами и жалобно, тоскливо ревут этот самый свой привет. Каждый из них полу-

чает сахар. «Маша, — говорит дрессировщик. — Ты, я вижу, засмотрелась на маленькую балеринку. Тебе тоже хочется танцевать? Да? Моя хорошая, ты так любишь танцевать! Ну, можно, можно, потанцуй, пожалуйста». И Маша издает все тот же жалобный тоскливый рев и со стеклянным взглядом, только что пот не течет со лба, несколько раз приподнимает ногу по хлопкам дрессировщика. Получив сахар, оседает на своих натруженных ногах и торопливо волочит по опилкам облезлый задик за кулисы, где она сможет, наконец, упасть на четвереньки, не получая побоев.

— Катюша, дорогая, я бы ни за что не отпустил вас на медведей, зная, как это вас расстроит. Но ведь медвежата — это совсем другое дело. То — старые, уставшие медведи, в конце концов, и людям не лучше в их положении. Но медвежата...

— Конечно, медвежата бегают на задних лапах будто бы даже и с удовольствием. Их детская резвость, детский переизбыток сил делает их поведение похожим на игру. Но ведь они играют не во что хотят. Их бьют, давая понять, как следует играть.

— Разве не прошла на ваших глазах и моя жизнь, Катя? Екатерина Михайловна, милая. Давайте же будем просто жить. Ведь это такое удовольствие — дать сахар мишутке. Мокрая мордочка, холодный благодарный носик, мягкие лапы. Ведь это радость, чистая радость, и все.

— Идем, — сказала Зоя. — Идем. Тебе нельзя это слушать

— Дело не в том, — ответил я, отпирая дверь. — Я могу снять феерический фильм о цирке, кто бы что ни

говорил вокруг меня. Дело в том — надо ли, чтобы он был феерический?

— Так ничего другого не остается. Нет никакого выбора. Иллюзия с большой буквы. Только если мы сделаем все возможное, нам, может быть, кое-что и удастся.

— И Евгений Романыч не отводит глаза своей Катюше?

— Как хорошо ты говоришь, Сережа! Тебе бы никогда раньше не понравились такие люди. Нет, Евгений Романыч вдохновляет свою Катюшу жить...

Порой мне трудно бывает понять свою жену Зою. Мне тяжело с ней — то взбудораженно-активной, то угрюмо и подавленно часами пролеживающей на диване с неподвижным взглядом, устремленным на плакат, написанный ею когда мы только что поженились и она переехала в Москву, в «головной институт» из Свердловска, — ВЕТЕР ПОДНИМАЕТСЯ, НАДО ПЫТАТЬСЯ ЖИТЬ!¹⁰

А я люблю свет, радость, поток энергии, картины импрессионистов.

Не исключено, что это из-за нее в моем «Цирке» появился глубокий, драматичный коричневый фон, который я раньше ненавидел у старых живописцев. Это был даже не фон, а бесконечное темное пространство, бездна, опровергающая купол цирка. И в этой коричневой тьме летели, искрясь, мои гимнасты и гимнастки, струились за ними жемчужно переливающимися крыльями воздушные подробности их костюмов.

¹⁰ Фраза Поля Валери

Все нашли, что получилось очень красиво, хотя мало кто придал этому значение.

ТОЛЬКО И ВСЕГО

Повезло ночью не работать, но спать все равно не удалось: соседка по комнате расхворалась.

Я, услышав ее умеренные стоны, лежу себе молча, только несколько раз повела головой по подушке — хотела дать понять, что проснулась. Она тихонько окликнула меня и попросила как-нибудь вызвать доктора. Это оказалось легко против ожидания — из городка в семидесяти километрах от нашей гостиницы прошенная по телефону помощь явилась через десять минут в виде большого молодого врача в медицинской шапочке и в тулупе.

Я заструсилась впереди, чтобы помощь не заплутала в коридорах.

Выяснив, что страдает пациент болью в левой почке (долго нам не верил, пока не исстукал Катю всю), доктор наш сделал ей укол для успокоения боли. Я поняла, что больше ждать от него нечего, но он все не уходил, продолжая обращаться ко мне с громкими, отрывистыми фразами. Я думала — в ожидании результата от укола, чтоб не сидеть в молчании.

Так оно, наверно, и было вначале, но доктор наш увлекся беседой, которую я, через силу находя слова, стремилась сократить, все поглядывая на скрюченную Катю, но ее заинтересованные глаза очевидно поощряли доктора. Возможно же, он постепенно почти выпус-

тил ее из внимания. Изредка мы оба вопрошали ее урывками, полегчало ли.

Начал же он с того, что спросил отрывочно:

— А вы что, из Средней Азии сюда приехали?

Уж почему именно из Средней Азии, я не допытывалась.

— Нет, из Москвы.

— А отчего же домой не едете спать?

— Работаю и ночью.

— Что же это за работа такая может быть?

— Такая уж.

— Вот тебе и ищи после этого, где лучше. Вы хоть кончили что-нибудь, техникум или институт какой?

— Давно уж окончила.

— Какой-нибудь сельскохозяйственный?

Я теперь жалею, что не сообразила подтвердить его подозрений.

— Вот-вот-вот, — вдохновился он именно с этой минуты. — Мечешься, стремишься, выбираешь. А чего, спрашивается, добиваешься? Вот и я... Мечтал хирургией заниматься. И ведь занимался. До десяти полостных операций дошел. Скоро квартиру обещали — в Калуге. Да нет же, думаю, чего так на месте сидеть. И к Москве хочется поближе. Вот и приехал сюда. Москвы я, конечно, никакой не вижу: день весь занят на химическом заводе в амбулатории, ночью, вот, в скорой помощи подрабатываю. Комнату дали восемь метров несмотря на ожидание потомства. Эти восемь метров у меня знаете, где? У самого завода живем, жена токсикозом мучается — хоть домой не приходи.

— Может быть, эти мрачные тона у вас пройдут, если к хирургии вернуться?

— А, хирургия. Конечно, я о ней очень сожалею. Но знаете, сколько я получал? Девяносто пять рублей. Занят день и ночь, в поту постоянном. А друг мой — анестезиолог, так прилично зарабатывает, что пенсия у него куда больше моей выйдет.

— Помилуйте, какая же пенсия, когда вы только-только начали. Еще ведь неизвестно, что впереди.

— Какое там неизвестно. Все известно. Неизвестно знаете когда было? Очень давно.

Он умолк.

— Ну как? — спросила я Катю.

— Немного лучше, но совсем не прошло, к сожалению.

Доктор продолжал сидеть. Подоспела горячая вода, я положила грелку под Катину спину. Она было прикрыла глаза, но снова впилась ими в лицо доктора, лишь он затрубил:

— Очень давно было все неизвестно. Я жил на юге России до института.

— Я знаю, — вырвалось у меня.

Он встрепенулся и жарко обдал меня своим тяжелым взглядом. Грузные плечи его приподнялись, и весь он несколько распрявился

— Вы были такой смуглый мальчик. Учились в соседней школе. Мы все вас знали за вашу красоту и еще за ту... — я замялась было, но воспоминания мои уже взяли свое. — Вас всегда видели вместе. Только вместе с Таней. В садике за школой вы зубрили к экзаменам. В клубе старшеклассников пели дуэты из Верди и Чайков-

ского. У вас был легкий черный велосипед, и вы неизвестно что на нем вытворяли. У нее — у Тани — был темно-зеленый, с яркой сеткой на заднем крыле. Чаще же вы ехали не спеша до самой водокачки, и многие то обгоняли вас и возвращались, то ехали за вами. Ваши велосипеды сближались рулями... До водокачки ведь далекий был путь...

— Подумайте. А я вас и не знал.

— Ничего удивительного. А ваша жена... не Таня?

— Нет, — махнул он толстою и красной рукой. — Да хоть бы и Таня, так что?

— Просила бы ей кланяться, — улыбнулась я. — Она меня, наверное, помнит.

— Только, только и всего, — бурчал он, надевая тулуп.

С час после отъезда доктора нам с Катей удалось поспать. Потом она снова поднялась от приступа рвоты, боль возобновилась, и Катя все сокрушалась, что так глупо испортила мне ночь. Я переменила грелку, спросила, кому позвонить из ее сослуживцев, и пошла на работу.

Дня через два приступ Катю отпустил. Она ходила, как тень — зеленая, похудевшая, но улыбалась, как ни в чем не бывало.

— Это у меня бывает, — говорила она. — Почки больные, наверно.

— А лечишься?

— Да что ты! Как можно лечиться? Где? Ты что, не видела? Так, сдала какие-то анализы в районной поликлинике, и дело с концом. Бабушка говорит, наверно, у меня нефрит. Не знаю.

ДОМА

Его знобило. Неизвестно почему.

На улице стоит двадцатиградусный мороз, это верно, но прекрасно чувствуешь себя в другое время. Например, в Воркуте, где он служил в армии, только приговаривалось зимой: здорово. Здорово и сердцу, здорово голове, и рукам легко. Бодрит. Чувствовал себя мужчиной, ловким парнем, не в пример хлюпикам вроде этого еврейчика Эдика, глотавшего пилюли.

Однако, теперь он вспомнил про Эдика с новым чувством: странно, что не пришло тогда в голову набить морду этому Эдику. Там, в Воркуте, были ему совершенно безразличны пилюли, и медицинские книги, и вся эта симуляция. Даже благодушно выпил с Эдиком бутылку водки на прощанье — ведь все-таки его списали — и смеялся рассказам о ложных телеграммах, о двойных стипендиях, о том, как пересдавались экзамены по унесенным в кармане билетам и как уморительно был Эдик пойман на чем-то деканом и выгнан из института.

Потом он провожал Эдика на поезд, они обнялись на прощанье. Передал привет Эдикиной матушке и, странное дело, на перроне, когда самому тоскливо хотелось домой, был рад за Эдика.

В часть вернулся прогулявшись, чтобы согнать хмелек, все обошлось, и про Эдика забыли.

Теперь же, когда его знобило в ожидании электрички, Петр диву давался на всю эту сволочную исто-

рию, на свое зубоскальство и благодушие, а требовалось только одно — набить этому Эдьке морду.

Он-то аккуратно отслужил свой срок. У него были значки отличия, он придавал им значение там. Там все придавали им значение, кроме разве что нескольких умников и маменькиных сынков: для них загудеть в армию оказалось случайным несчастьем, крупной жизненной неудачей.

А теперь Петр и сам не придает значения своим значкам.

Он торопится войти в электричку, не обращая внимания на кудахтанье толстух в толстых пальто на вате, нагруженных съестными припасами. До дому далеко, он устал, каждый день устаёт, и жадно выглядывает оставшиеся свободные места. Хочется, чтобы было потише, потеплее — ближе к середине вагона и не с края скамьи. До одного такого приходится пропустить старуху, старательно семенящую к лавке.

Наконец, Петр усаживается, правда, с краю, и прислушивается к своему ознобу. Он знает: согреется, закружит в голове водянистое малиновое облако, проявится ощущение изможденности на лице, выплывут мысли красивые и приятные.

Уж тогда-то он вспомнит — так всегда бывает — другое, еще не знает, что именно, но уж конечно, не начальника своего Билибина, проходимца и выжигу, и не эту дуру инженершу, умничает она так, что тошно от одного ее пронзительного голоса. Конечно, он сорвался сегодня по телефону, но как она ему осточертела! Если б кто-нибудь влез в его шкуру и почувствовал, как она ему осточертела, он бы сразу понял — послал Петр ее

очень даже близко, а сил сдерживаться почти уж нет. Ни сдерживаться, ни вообще видеть их всех.

Что толку поступать после этого в институт? Быть Билибиным или этой хвостатой чертовкой? По крайней мере, он честно зарабатывает свои деньги, да еще любит этими рожами за них, а не мухлюет и унижается, как Билибин за его лишние тридцать рублей. Хоть бы и триста, туда же их. Да не давит других, с чего одного он бы, Петр, повесился, а они — ничего, пуще покрикивают.

Нет, он будет думать про другое, только согреется сейчас. Лучше всего — пусть это будет Нина, с блестящей вымытой челочкой и без нравоучений, может быть, на лыжах, в своих синих брюках и пятнистой брезентовой куртке, будет наступать на его лыжи, как в прошлое воскресенье, и может быть, снова скажет то, что сказала тогда, на горке.

Все еще знобило, хотелось есть. Выпить бы немного водки или купить пару горячих пирожков, чтобы все наступило скорее — только согрейся и начни пристально смотреть на мелькающие зеленые лапы елок, на тягучую полосу зычного розового неба.

Но вместо этого входит мороженщица, сухой ледяной пар вьется за тележкой по вагону, и Петр сильно бьет ногой по белой деревянной тележке.

Еще в этой яркой ярости, в ледяном тумане слышит крик мороженщицы, видит удивление немых лиц, поднятую от журнала голову, ощущает толчею вокруг себя и хватание за рукав, и только появление чего-то синего, суконного и красный кант начинают кое-что прояснять для него и ставить на место.

ДЕТСКАЯ СКАЗКА

В пустоте вагона поздней электрички раздается нежное мокрое чавканье: мальчик лет пяти-шести, в буденовке, потребляет апельсин, беседуя с мамой. Над буденовкой висит на крючке наполненная апельсинами авоська.

— Мама, а как все-таки удалось Ленину буржуев повыгнать?

— За Ленина потому что были мы все, а нас было больше, чем буржуев. И потом, мы ведь какие были люди? Мы были сильные, здоровые, мы все ели, что попадалось — кашу, так кашу, борщ, так борщ — ничего на тарелках не оставляли. А буржуи — те были хлипкие, бледные, капризничали по чем зря и перебирали — то им не так, это не этак.

— А все ж-таки они воевали. Не такие уж они были слабые.

— Ну конечно, задавались, вот и воевали. Гонору-то хватало воевать. А так вначале и не разберешь, кто чего стоит. Вот до чего серьезного дойдет, и выясняется, что на борще да на каше куда дальше поедешь.

— А давай я тебе сказку расскажу. Хочешь?

— Хочу, конечно. Про что рассказывать-то будешь?

— Про Мальчика-с-пальчика. Жила-была одна семья, очень бедная. У мамы с папой только-то и было, что маленький кусочек земли, да — с пальчик — сыночек. И ржи даже нет на кусочке посеять, а кругом война — гражданская, и кушать нечего. Видит такое дело Мальчик-с-пальчик, что мама с папой могут с голоду

умереть, если не он, и пошел добывать ржи. Думает — маленький я, с пальчик, кому до меня дело?

Идет-идет — реку прошел, идет-идет — гору прошел, идет-идет — видит красный отряд. Подобрал его с земли Красный Комиссар, говорит:

— Нельзя тебе идти, ты мальчик, а кругом война. Мы должны тебя беречь, ты нам еще пригодишься, когда нас убьют.

— Нет, — говорит мальчик, — я пойду, потому что папа с мамой, если не я, с голоду могут умереть. Вы меня, дядя Красный Комиссар, понять должны.

Сделал ему Красный Комиссар исключение, но с собою буденовку дал — наденешь, говорит, буденовку, все вокруг поймут, что ты наш, а значит, хороший, и будут тебе одно только хорошо делать.

Идет-идет мальчик, заходит в лес, а в лесу изба стоит рубленая, входит в нее мальчик, а там — Баба-Яга. Ну, думает мальчик, пропал, а Баба-Яга оказалась как раз очень добрая. Взглянула и говорит:

— Что же ты такой худой, такой бедный. Садись поешь, да я тебя помою, да спать ложись на печку, позади моего мальчика.

Сама против с-пальчика села и, вздыхая, ему рассказывает про то, про это, да про мужа-Гробосека в красных партизанах.

А ночью слышит мальчик, скрипит дверь, входит муж-Гробосек из красных партизан.

— Отчего это, — говорит, — жена, у тебя человечинкой пахнет?

— Нанюхался ты на своей войне, вот тебе и пахнет.

— Нет, — говорит Гробосек, — чую, кого-то ты опять кормила-угощала, вкусный где-то лежит. Хорошо ли, плохо лежит, а не дам ему пропасть.

Слышит такое Мальчик-с-пальчик, взял, да и надел буденовку на гробосекова сыночка, и плачет — жалко сыночка. Ведь неизвестно, в кого он у них уродился. Да, мам? Но делать-то, с другой стороны, нечего. Правда, мам? Ну что было делать, мам! Да и не съест же в самом деле Гробосек своего сыночка!

А утром Баба-Яга и говорит:

— Ну и довоевался же ты, Гробосек! Детей своих убиваешь, ешь!

Смотрит Гробосек — правда, от его сыночка одни трусы да ботинки. Как он тут пошел Бабу-Ягу бить-убивать, а Мальчик-с-пальчик за буденовку, и на дорогу.

Бежит-бежит, везде про отряд про красный спрашивает, уже все силы от бабкиной кормежки ушли. Поднимает тут его Красный Комиссар с земли, говорит:

— Что это с тобой?

— Там Гробосек жену свою убивает, — кричит Мальчик-с-пальчик, — детей своих ест! — кричит.

— Нет. Не может того быть, — отвечает Красный Комиссар. — Не может красный партизан такого делать. Одурачила тебя буржуйская Яга.

— Пойдите посмотрите, — умоляет его Мальчик-с-пальчик.

Долго Красный Комиссар не соглашался, на дела ссылался срочные. Но Мальчик-с-пальчик так просил, так умолял, такой был красивый, что согласился Красный Комиссар.

Ввел их Мальчик-с-пальчик в избу, вот, говорит, сами видите, как Баба-Яга привязана к скамейке, избитая, плачет, а на печке трусы с ботинками.

Поцеловал Мальчик-с-пальчик Бабу-Ягу на прощанье и пошел своей дорогой — рожь добывать папе с мамой.

ИВАН И ВАЛЕНТИНА

В конце концов я поняла, что это дежурные, зловредные гостиничные дежурные нарочно переселили меня, чтобы насолить и посмотреть, что из этого выйдет: так, просто увидеть, каково это будет ей, Валентине, если они поселят к ней кого-нибудь, и, надеялись они, Ивана нельзя будет на ночь оставлять. Вот тогда и посмотрим.

А я, когда меня переселили, как увидела этот синяк у Валентины под глазом и физиономию Ивана, тут же к этому синяку приложенную, сразу ужасно переполошилась. А уж когда канистру со спиртом их увидела, да выслушала их ночной храп — затосковала смертельно, недоумевая, и за что же мне чаша сия.

Но все же Ивана в комнате у нас она оставлять стала не сразу, а только через два дня, видимо, приглядевшись ко мне и определив, что «девчонка своя», как выразился Иван к моему великому удивлению, хотя от спирта я отказалась, играть в дурака — тоже, равно как и петь с ними песни, и по всем законам командировочной жизни никак не могла при этом рассчитывать быть хоть кому-нибудь тут, в гостинице, «своей».

Когда же через два дня после моего злополучного переселения наступил мой черед работать на испытаниях, и домой я вернулась в пять утра — уже в том состоянии, когда чуть не выпала из машины и отперла чужую дверь своим ключом, но храп мужской меня остановил, — у моей же двери на меня обрушилось двухголосие храпа — так только могут храпеть здорово напившиеся мужик и баба — я поняла, что в этой командировке жить мне окончательно предстоит с этой четой.

Как потом объяснила мне Валентина, их супружество не было узаконено, а посему им не предоставляли отдельного номера в гостинице, когда они приезжали в командировку. В командировку же на космодром они, как и мы все, приезжали часто и надолго.

И постепенно я поняла, как страсти, самые разнообразные, кипят в них и вокруг них. И вот оттуда и ее синяк — а поначалу казалось непонятным и невозможным, чтобы это могучий Иван, льнувший к ней теленком, битый по мордасам, бегающий бегом по любым ее прихотям, мог быть автором этого синяка.

По утрам я кашляла и чихала, маялась головной болью, постоянно высовывающей меня в окно, за которым, как и я, полуспала сильно простывшая северная июньская ночь.

Иван ни одного кашля моего спокойно слышать не мог. Предлагал дать выпить пирамидон, биомицин, норсульфазол, супрастин, энтерферон — все это у него было.

— Ты ему верь, — говорила Валентина. — Он у нас врач.

— И самое интересное, как я им стал. Чинил мотоцикл в сарае — было это лет тому десять, жил я в бараках, в Соломенной Сторожке, когда возник этот крик. А перед тем я уже кончал, и Ильич сказал: давай я сбегаю. Это пятьдесят лет ему, ты понимаешь. А Ильич — друг был моего отца. Ты слышь, Валь?

— Да понимаю, Ванюша, понимаю.

— Так вот, я как раз и умыл руки в бензине, когда этот недорезанный крик возник. Бегут — Клавка кровью истекает. Это она не могла, значит, до белья достать, так дура, ветер такой — на штакетник полезла, а его, белье-то, от палисада сносит. Вот и артерию пробадила — села на кол. И все вокруг кудахчут. Ну, я терпеть не могу этих всех причитаний. Обматерил, выгнал — вену ей зажать. А она туда ж — бьется: стыдно ей. Я уж тут ее так матернул, сразу затихла, лежит. Ну и пришлось трусы рвать, а что ж. Так когда скорая помощь приехала — минут через сорок, врач говорит: держишь? Ну, держи, с двух сторон перетянул, теперь, говорит, отпускай, а я и не могу — рука зашлась. А то, потом уже, ехали в машине, года три с тех пор прошло. Стоят. Голосуют. Двое, и она — вот уж, я еще подумал: куда теперь им ездить, идиотам, ведь вот-вот родить должна. Ну, она и начала — в машине. Машину остановили, муж ее стоит — плачет, все за голову держатся — а баба орет, без сердца остаться можно. Я выматерил его как следует, этого ее муженька, нож у меня был, ну а у Горького я ж читал, как это он был повитухой, и тут ребенок уж и пищит. Затянул я пуповину с двух сторон, да так аккуратненько ее отбрил, что красота. Ему, ворюге, говорю — снимай ру-

башку, не видишь — не во что дитя заворачивать. Потом уж до больницы их довезли.

Вот так он стал врачом, этот Иван, монтажник на ракетном заводе.

И не могла я на них жаловаться, чтоб меня переселили, чего, безусловно, и добивались эти зловредные гостиничные дежурные.

Уже вечером он снова был налит спиртом и страстью, и Валентина твердила ему:

— Пойдем, Вань. Там же ребята ждут песню допеть.

— А ты меня можешь не тронуть одну минуту? Ты мне можешь дать успокоиться? Ведь нервы — они не железные.

— Господи, ты никак снова Зюкина бил?

— Пришлось приложить. И если он еще под дверь придет — смотри. Обоих опять убью.

— А я-то причем, Вань? А, Вань?

— А уж это мне и через силу не разобрать. Только руке дай отойти.

— Ну чего тебе от него надо? Чего ты бьешь его? Ведь должен же он был техзадание принести! Ну зачем тебе это?

— А так, для восторга.

— Разбей стекло возьми.

— Не для того его в третьем веке до нашей эры изобретали. Никакого восторга тут быть не может. Ничего, — продолжал он, — пусть поплачет, Зюкин твой.

— Что значит поплачет, — засмеялась Валентина. — Где ж это видно, чтоб мужчина плакал? Зоя — ты можешь себе такого представить?

— А я, — сказал Иван. — я-то плакал. Это тебе можно. Это тебе ничего.

— Ты, Вань, совсем другое дело, — заметила Валентина так понимающе, так ласково, что я опустила глаза перед ними, — тебе, Вань, можно. Ты — другое.

— Да, и плакал я пять раз во всю жизнь, — продолжал он настаивать. — Первый раз это было в сорок втором, когда в лагере узнал о гибели отца, мать о чем только в сорок пятом узнала. Второй раз — это ты поняла? — когда бежал с Байкала, и меня к десяти годам штрафного приговорили. В третий раз я плакал, когда хоронил бабушку, в четвертый — когда дедушку. Это ты поняла? И вот теперь я из-за этого Зюкина и тебя плакал в пятый...

И опять я не могла на них жаловаться администрации гостиницы, хотя опять не выспалась, хотя днем они то и дело запирались изнутри и не отворяли ни на чей стук, и приходилось мне гулять, читать в вестибюле, работать в чужих номерах под щелканье карт и клекот вина. Дежурные же, зловредные дежурные, все спрашивали у меня с затаенной надеждой:

— Ну как? Как вам там в новой комнате? Хорошо устроились, спокойно?

— Спокойно, — отвечала я, глядя им прямо в глаза. Ведь у них полгостиницы пустовало, у зловредных!

ВЕЧЕРОМ

И кто пускает этих стариков на улицу, кто выпускает их одних в такой мороз, позволяет им толкаться в метро в часы пик и разъезжать в электричках? У меня всегда

неприятности из-за них, они умудряются омрачить любой покойный момент, стоит появиться одному такому возле меня, да еще норовить упасть с лестницы по катку ступеней.

Я жду, когда он зацепится клюкой за ком снега, слежу за ним, чтобы не упал — а там стоит автобус на стоянке, единственный автобус, без которого ни мне, ни этому старому с батоном хлеба в авоське не добраться до места живыми. К автобусу надо успеть, надо бежать — а я не могу: ноги приросли ко льду, и я тащусь поодаль от старика, не желая его обогнать.

В автобусе выясняется: он понятия не имеет о том, что автобус не имеет нужной ему остановки и туг на уши.

Его выталкивают сообща там, где считают нужным, и это действительно правильный для него путь. Я осторожно соскальзываю за ним со ступенек метровой высоты.

Толстый ломоть тумана за автобусом рассекает с одной стороны старик с клюкой, а с другой — голубой блеск фар: еще один автобус сзади. Не выдержав, тяну его за рукав. Если бы это была старушка, было бы легче. Со стариком — другое: он огрызается, выдергивает руку.

У него нет варежек, руки белеют до сердечной боли, но что-то стесняет меня и не дает предложить свои.

Тяну, веду его — злится. Боится обмана, вырвал руку опять. То же продолжает меня стеснять, не дает ждать долго. Он стоит на улице, упрямый, а я удаляюсь, все удаляюсь.

Может быть, это правильно, может быть, гораздо правильнее, чтобы спросил дороги у других, не у меня одной — у многих.

ВОЗВРАЩЕНИЕ С КАМЧАТКИ

Очень странным оказалось увидеть в окно автобуса, как из милиции выходит Нос в синем форменном плаще «болонья» с какими-то там погонами, — в струящемся водами Авачи камчатском поселке увидеть парня из далекого своего южного города, с которым росла на одной улице далеко ускользнувшими днями. Зато совсем не странно было стоять среди падающего снега в дымящемся купальнике на берегу дымящегося источника, на Паратунке, стирать мокрый снег с объектива ФЭДа в надежде воспроизвести все-таки белесые сопки в белесом пространстве тумана, съевшего небо и землю. Именно так и думалось — удивительно, почему не странно и не чудесно. А как же мне? — и было никак, очень хотелось домой.

Но пришла телеграмма начальства, пригвоздившая еще на две недели к удивительной земле Камчатке, на самом краю света.

Еще раз съездила на Паратунку в свободный от работы день, увидела дорогой самых настоящих геологов. Дорогой, построенной американцами и имеющей, как говорят, какое-то лекальное продолжение на Аляске.

Съездила в Петропавловск перенести себе дату вылета, купила там несколько книжек, каких никогда не достать в Москве, бежала на морвокзал, боясь опоздать к отплытию стоящего там большого белого кита с выпу-

ченными глазами иллюминаторов. Увидела его утром, и он поразил воображение. Судя по тарифу цен, наполнен он был такими же, как она, командированными. Внимательно прочла весь тариф еще утром, и теперь, когда махала рукой уходящему в океан белому зверю, хорошо помнила, куда сколько стоит билет и каким классом.

За пять-шесть поездок из своего поселка в Петропавловск успела заметить, как нравится ей этот город вечером, и пообедав в степенной кофейне с тюлевыми гардинами, приценившись к нескольким непомерно большим тортам, с особенным удовольствием спустилась по щербатым ступеням из третьего яруса города, как бригантина, во второй, из второго — в нижний, на главную улицу; прибрела к грузовому порту и уселась на лавочке — ожидать, как пойдут плясать белые гармоника огней по черной воде бухты, ради этого пропустила несколько автобусов к себе в Елизово.

До отъезда домой успела увидеть на Камчатке двух совершенно одинаковых собак-двойняшек дворовой породы с одним и тем же белым пятном на боку, и это поразило ее необыкновенно. Успела увидеть дегенеративного ребенка прямо на улице, хотя и до того, как продлили командировку, ее поражало здесь заметное присутствие таких детей.

Наконец, подала телеграмму в окошечко с треснутым стеклом, считая, что больше не задержится, раз парень, сменивший ее на измерительной станции, благополучно добрался, наконец, на этот край света, именуемый удивительно Камчаткой.

Но не так-то просто добраться и с Камчатки до Москвы, особенно, если летишь через Ледовитый океан: то погода нелетная, то нет запасного экипажа.

Пилот должен спать через каждые десять часов полета, это его обязанность, и пассажиры, хочешь-не хочешь, приглашаются в гостиницу, «где вы можете отдохнуть, почитать в нашем красном уголке или поспать, по желанию, в номерах, которые Аэрофлот предоставляет вам бесплатно. Наш вылет в пятнадцать часов. Женщин прошу следовать за мной».

Проследовала вместе во всемирной по известкового цвета плитам посадочной площадки, вглядываясь в редкие крестики деревьев на плоском теле тундры в серовато-розовом свете неотступно следующего за ними от самого Елизово дня. Остановилась перед витриной Союзпечати. Странно было видеть, как легкомысленно смеялся Никита Михалков с обложки «Советского экрана». Его светло-песочная щегольская дубленка казалась страшно неуместной в Тикси.

Вот фотографии своего мужа вовсе не удивилась, хотя и не знала, что там вышел на экраны его новый фильм.

Теперь он как раз собирается, наверно, ехать в аэропорт встречать ее, а ей нужно идти в предоставленный Аэрофлотом номер на шестнадцать коек в поскрипывающем двухэтажном дощатом доме и спать, положив на глаза полотенце, чтобы хоть немного казалось, будто ночь.

Понимала, что неразумно ожидать, чтобы тебя встретили, если самолет опаздывает на тридцать восемь часов, но когда в Шереметьево буйный запах си-

рени и тополей коснулся ее, охватило ощущение пустоты перрона со снующими озабоченными людьми, одетыми почти по-летнему, боль без всякого спросу выросла в глубине ложбинки между ключицами, и глаза задрожали и защемили, сопротивляясь слезе.

Но встречала километровая стежа берез, переступком своих веток-гирлянд вмиг перестроила, и напевая что-то весеннее, любовное, она уселась в автобусе у открытого окна, и самым удивительным оказалось то, что когда приехали в аэровокзал, прямо рядом с этим окном стоял на автобусной остановке Сережа. Она высунула руку, но не смогла дотянуться до него, хотя он стоял совсем близко.

— Сережа!

Муж ее мельком глянул на окно автобуса и отошел от него подальше, к кабине водителя, что-то спрашивая у него. Она обиделась и решала, стоит ли ехать теперь, после этого, домой, если тебя не было здесь три месяца, пока не увидела, как Сережа с шофером подошли к багажнику и Сережа вытащил оттуда ее чемодан.

Она подошла к двери, и муж подал ей руку.

— Здравствуй. Тебя кормили в самолете?

— Кормили. А что?

— Тогда можно, я немножко поем?

— Можно, конечно.

Он вынул из портфеля недоеденную франзольку; стало заметно, что он небрит, чистая рубашка надета поверх грязной, а из-под брюк высовываются штрипки тренировочных, в которых он имеет обыкновение ходить дома.

— А я проспал, а когда проснулся, позвонил в Шереметьево, — сказали: самолет принят. Я понял, что опоздаю, если поеду в Шереметьево, и приехал сюда. Кстати, сейчас Кедрин должен подойти.

— Что, тоже меня встречать?

— Нет, он улетает в Красноярск.

— Так ты пришел его провожать? Если б знала, ни за что бы тебе не крикнула. Зачем же ты стоял возле автобусов?

— Не знаю. Я еще не проснулся. Я вчера весь день здесь просидел, и всю ночь, и цветы куда-то потерялись. Они все объявляли, задерживается. «Рейс задерживается», и никто ничего толком не знал. А утром сегодня я так устал, и пошел домой, и заснул. И вот... проспал. Зоя, хочешь, я журнал тебе куплю — «Иностранную литературу», с Дос-Пассосом?

— Хочу, конечно!

— Тогда добавь мне двадцать копеек.

— Возьми, пожалуйста!

— Так у тебя есть деньги? Тогда добавь мне шестьдесят, у меня, наоборот, есть двадцать, а шестьдесят мне не хватает.

Она засмеялась и увидела подходящих Кедрина и Наташу. Наташа, поцеловав ее, вынула из букета, который был у нее в руках (наверно, Кедрин купил), одну из роз, с самым длинным бутонем, и протянула ей.

Вернулся Сережа с Дос-Пассосом, смущенно пожал руку Наташе.

— Зоя, это великолепно, — шумел Кедрин. — У нас же есть целых двадцать минут, чтобы распрекрасно сообразить на втором этаже!

— Старик, мы поедem домой, так хочу спать, — сказал Сережа.

— Счастливо тебе, Кедрин! Наташа, заглядывай к нам...

К метро шли так медленно, что Зоя успела вспомнить все утренние и вечерние перестановки сопок, какие случались в феерической атмосфере удивительной земли Камчатки — «от разреженного воздуха», — пояснил капитан, — и невозможно было понять, какая же перспектива реальна, и сколько на самом деле километров или метров до Корякского вулкана или Авачи; сопки то взбираются друг другу на хребты у тебя над головою, то дразнят из призрачной дали еле заметными размытыми очертаниями, словно бы ты и не видел явственно только вчера их черные грани и снежные рас­трубы; то вдруг им приходит в голову обступить тебя со всех сторон такой грандиозной декорацией немисли­мых цветов, будто ты в гостях у Бога... Но однажды утром поджидает тебя на обычной твоей дороге голый и влажный вулкан с парящей у переносицы вуалькой и голосом неслыханного тембра рокочет над тобою, —

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана...

И как же будет странно — еще более странно, чем встретить в Елизово Носа из шестого-бе в милицейской форме, — если она никогда больше этого не увидит. Н и к о г д а б о л ь ш е.

ХИППИ МОСКОВСКОГО УЕЗДА

Не могу утверждать, что я его знаю. Я его видела однажды у одной знакомой, и все. Перед его появлением Наташа сообщила о нем следующее:

— На порог не пускала бы этого Элвина, да вот из-за Гришки терплю.

Актер Гриша, запутавшийся в любовных тенетах и обрывках информации здоровенный мужчина двадцати пяти лет, сопровождаемый огромным ньюфаундлендом, сообщил еще кое-что:

— Глупости. Элвин — человек. Элвин — вождь.

— Григорий, ты бы позанимался, пока явится твой Элвин. Времени ведь до проб у тебя всего ничего.

— Наташенька, алма матер ты моя драгоценная, да я же всю дорогу сижу, как бобик на привязи. Как Багира сижу. А толку что? Не возьмут меня на эту роль, не возьмут. Гений буду, не возьмут. Чувствует сердце.

Родители Гриши в отъезде, и Наташе, соседке, детской Гришиной любви, оказывающей влияние, оставлены деньги на пропитание сына и собаки Багиры вкупе с родительскими мольбами за Гришей следить, пить ему не давать и Свету, жену, доведшую до ручки, на порог не пускать.

Элвин робко заметил с порога, что денег у него нет, а выпить немного хочется, и тихо, учтиво мне поклонившись, сел в углу стоящее кресло, за дверь. Так что Грише оставалось только вытянуть у Наташи два рубля, собрать бутылки и бежать в магазин, воспрянув духом.

Не поднимая головы от книги, рассмотрела я длинный оливковый галстук розовыми алтынами, с раструбом, беззащитные американские ботинки времен сиротских подарков мадам Рузвельт, желтые, с длиннющими шнурками, зацепленными за крючки. По состоянию длинных волос Элвина, по зеленоватой коже удлинённого лица с глубоко посаженными грифельными глазами легко было догадаться, что, как и у меня, у него какая-нибудь протухшая сырая комнатенка во дворе колодцем, да и та не его. О ванной, горячей воде и тому подобном говорить не приходится. Но оставалось непонятным, зачем такие грязные руки. Костяные от худобы и картинно грязные.

Мне сделалась приятной мысль о побежавшем в магазин Грише — ведь не оставят их в этом доме с водкой за пустым столом, а значит, все будут есть, и Элвин тоже. Ввиду этого он помоеет, конечно, руки.

Но мои надежды не оправдались, и это казалось странным в сочетании с изящным изгибом его хрящевого носа.

Зато за столом, по просьбе Гриши, Элвином были исполнены стихи собственного сочинения. Он выступил с ними, не жеманясь:

— Это совсем простые, детские стишки. К сожалению, не имею возможности сопроводить их гитарой, но вообще они распеваются под музыку.

Встань, проснись-ка,
Ленин-дедко,
Обосралась
Пятилетка.

Наташа встревоженно посмотрела на меня, считая, видимо, что мне, работающей на ящике, совершенно ни к чему слушать подобные опусы. Но я вела себя совершенно спокойно.

Спокойно, укутанная теплым шерстяным пледом, сидела я в кресле с книгой на коленях, высушивая феном помытые здесь, у Наташи в ванной, волосы. Читать скоро стало невозможно: стемнело за окнами, и Элвин с Гришей зажгли свечи, поставив на пол рядом с собою подсвечник. Они сидели, вытянув громадные ноги, и между ними слонялась Багира, которую они время от времени кусали и били наотмашь по голове. Багира оскаливала зубы, вскидывала голову, но тут же глаза ее угасали, осмотрительность брала верх над гневом. И она уходила на кухню, собираясь, наверно, никогда больше не возвращаться. А Элвин с Гришей вскидывали навстречу друг другу руки и взреывали: «Зиг Хайль» и «Лав Йес», одно следом за другим

Так прошло часа четыре, и между ними состоялась беседа:

— Ты в трансе, Эл?

— Я уже давно в трансе, и впадаю в него все более. Я чувствую, что сделаю та-та-та вокруг себя, если мы не найдем способа попасть в Иностранный Легион.

— А как туда попадешь? — Зиг хайль, — это надо сначала на американке жениться — лав йес. А ты против женщин.

— Ради Иностранного Легиона можно было бы. Знаешь, сколько там платят! Правда, остались еще зулусы, что стреляют отравленными стрелами. Шрамы очень некрасивые, я на пляже видел.

Я вышла в прихожую и начала одеваться, надеясь, что в троллейбусе, в котором я должна буду добираться по широким асфальтированным все-таки дорогам, под отблескивающими огнями вывесок, где-нибудь на улице Герцена увижу может быть еще людей, которые хотя бы кажутся интеллигентными.

Проводив меня до лифта и нажав на кнопку, Наташа спросила:

— Ну, как тебе Элвин?

— Почему он, собственно, Элвин? Он кто?

Наташа усмехнулась:

— Да Алешка же Москвин.

— А вообще-то он что-нибудь делает, или нет?

— А как же. Студент архитектурного института. Впрочем, это еще не значит, что делает. Да?

— Но туда поступить трудно! Надо много рисовать и много заниматься. Он на каком курсе?

— На четвертом. Раньше он и занимался, даже отличником был. Да и теперь, возможно, отличник. Впрочем, не знаю.

Троллейбуса долго не было, и за это время к остановке успел подойти Элвин. Меня он не узнал, или незнание это входило в его кредо. Он поднялся следом за мною в машину, прошел поближе к кабине и сел на пустое сиденье, прислонив голову к стенке и прикрыв глаза. В своем светлом коротком плащике не по сезону, с поднятым воротником, с изможденным необычным лицом, он был для меня словно на одной картинке с теми, совсем другими, садящимися в блестящие автомобили, открывающими тяжелые двери отелей, поворачивающимися поляризованными фильтрами очков,

кого я и видела-то, собственно, только на картинках. А Элвин был живой, здесь, рядом, ходил по знакомым, выступал.

КОМАНДИРОВКА

Согласен, многого еще не понимаю. Иногда кажется: вот уж утвердился в чем-то и прекрасно все понимаю, но вдруг перестаю понимать.

Мне двадцать с небольшим, я оболтус, ничего не имеющий за душой; даже не могу до сих пор понять, кем бы хотелось быть. И когда Семин внушает, что я одарен чувственно, но слаб волей, то есть лентяй, прекрасно это понимаю, и может быть, так оно и есть.

Семин, конечно, не слаб волей, энергии у него в избытке. Впрочем, он талантливый архитектор, я это признаю, — не когда вижу его и слушаю, что он мне внушает, а когда вижу и слышу его законченные проекты. Слышу — это его жена говорит: если в проекте есть архитектоника, то он зазвучит. И у Семина звучит.

Конечно, мне не раз приходило в голову, по крайней мере до последней нашей совместной командировки: может быть, я ему завидую, Семину? Мне ни разу еще не случалось кому-нибудь позавидовать в моей прежней жизни, все обстояло как раз наоборот. В том-то и была вся печаль.

Если бы у меня хватило ума хоть раз в жизни позавидовать, скажем, моему старшему брату, со мною, возможно, все обстояло бы теперь в полном порядке, я спокойно и трудолюбиво корпел бы над дипломным проектом, вычерчивая турбину в разрезе и с нестраш-

ной тревогой подумывая, что впереди еще семь листов, а я вот застрял на втором.

Но все мое несчастье заключалось в том, что в последних классах школы я с ужасом и презрением наблюдал жизнь брата после окончания им энергетического института, пока он не женился и жил еще с родителями, то есть с нами со всеми — со мной, с мамой и с папой.

Студентом он еще походил на человека — довольно много читал, иногда способен был «давить диван», как называл это папа, сутками напролет, пропуская лекции, не поднимаясь даже обедать, а терпеливо, стоически дожидаясь, пока я вернусь из школы и притартаю ему из кухни пару разогретых на сковородке пирожков до десять копеек и стакан чаю. И хотя в семье считалось, что он как старший обязан заботиться об обеде вовремя и толком, то есть с мытьем рук перед едой и не из кастрюли, а я как младший обязан мыть посуду, меня нисколько не расстраивало и не обижало, когда он вместо этого давил диван, уплетая пирожки и даже не интересуясь, как будет обстоять дело со мной. Мне не приходило в голову расстраиваться, так как читал он интересное и интересно; я же старался только об одном — обойтись минимальной необходимостью покидать нашу маленькую комнатенку с диваном, дабы оказаться на месте в случае, когда брат внезапно нарушал тишину, не отрывая глаз от книги, безо всяких предисловий:

— Слушай, «все эти мысли о бренности и ничтожестве, о бесцельной жизни, и проч, все эти высокие мысли, говорю я, душа моя, хороши и естественны в старости, когда они являются продуктом долгой внутренней

работы, выстраданы и в самом деле составляют внутреннее богатство; для молодого же мозга, который едва только начинает самостоятельную жизнь, они просто несчастье! Несчастье!.. По-моему, в ваши годы лучше совсем не иметь головы на плечах, чем мыслить в таком направлении»¹¹ А? Что скажешь? И ведь никто его не заставлял, никакими постановлениями не предписывали быть идейным... Несчастье, понимаешь ли, душа моя, что это за человек, который так порицает: несчастье, говорит он! Не вина, а беда! Вот ведь люди были, ни о чем не боялись говорить. Хоть бы даже он и не решает тут, а и то ценно, что мы, оказывается, тоже люди, а не обормоты какие-нибудь. Люди, понимаешь ты, душа моя, со своими естественными, свойственными человеку несчастьями! И уж легче, уж светик какой-то дружеский проливают тебе в душу. Ты хоть понимаешь это, поросенок?

— Угу, — незамедлительно откликнулся я, дую на только что склеенную магнитофонную ленту; и всегда немного огорчился в это мгновение. Огорчений было два, я так и не смог никогда к ним привыкнуть и перестать огорчаться.

Первое огорчение состояло в том, что вот выступление брата и состоялось, оно уже окончено, и неизвестно теперь, сколько предстоит прождать следующего.

Второе огорчение проистекало оттого, что я этот рассказ читал, а этого там как будто и вовсе не было написано. Да и где бы там могло такое быть? Я помню

¹¹ Рассказ А. П. Чехова «Огни»

этот рассказ, правда, без имен, как всегда, но помню, что там чувак один напивается сатуринского и ведет себя как скот с одной до того несчастной женщиной, что она с тоски задачки по алгебре решала, хотя аттестат у нее давным-давно лежал в кармане, а детей вроде бы учащихся не было. А он, этот скот, за руки дергает, волоком в отель тащит... Ужасный скот. Это я хорошо помню. И главное, что он был в нее влюблен в школе, записки писал. Бр-р-р... Мне прямо физически было нехорошо, когда читал. И женщину очень было жалко. Хотелось встретить ее где-нибудь на улице, узнать в лицо, и все переиграть по-своему: помочь ей, например, сумку нести, и никогда с нею не разлучаться. И грустно было понимать, что это было очень давно, что она умерла, и ей невозможно уже ничем помочь.

Но то, что читал брат, было совсем из другой оперы, было так умно и значительно, что никак не вставлялось в этот рассказ... про этого скота. И мне хотелось снова все перечитать и поразмыслить.

И так со всеми книгами.

Когда же к брату приходили его сокурсники, и я был «мальчиком на магнитофоне», меня это тоже ничуть не обижало и не расстраивало: я с большим интересом слушал все, о чем они говорили, а иногда записывал на пленку их споры, когда они увлекались и не замечали включенного магнитофона, а потом слушал и вдумывался...

Там, например, был интересный тип, доказывавший, что в культе личности виновата мировая буржуазия. Это было его излюбленной темой. Когда я склеил потом несколько кусков из записей разных вечеров, по-

лучился целый трактат. И там было все очень логично. Особенно интересно он говорил о толстовстве. Он утверждал, например, что никто до сих пор не понимает этого великого учения. Что оно было заострено вовсе не в ту сторону, как полагали толстовцы и как полагают до сих пор их противники. Толстой исходил из общей для всех времен предпосылки, из той великой и очевидной истины, что цели определяются уже самими средствами. Что низкими, злыми, основанными на ненависти и подавлении средствами нельзя достигнуть любви, высокого разума жизни и свободы. Что средства воспитывают, мол, по пути достижения целей. И что посеешь ветер — пожнешь бурю. И вот, говорил Толстой, вернее, этот парень из энергетического института, не противьтесь злу насилем. И что при этом великий старец Лев Николаевич обращался к своему классу, призывая его не противиться тому, что для этого класса казалось злом: обобществление земель и заводов.

Но конечно, его никто не послушался, и в первую очередь его же собственная семья, и очень скверно сделали, потому что в результате, раз так дальше продолжаться не могло, — а не могло так дальше продолжаться, утверждал тот парень, потому что не могло дальше ухудшаться: некуда было, — раз не могло, то и Россия не в состоянии была дожидаться, пока другие раскачаются, и в этом-то и было ее величайшее историческое несчастье. Парню этому приходилось всегда кричать, потому что все очень шумели, сильно с ним спорили и все время порывались повернуть разговор по другому историческому пути или перескочить сразу на ежовщину — ему приходилось криком утверждать ло-

гику того простого факта, что после семнадцатого года капиталисты стали не те, они стали вынуждены считаться с рабочим классом, а мы вынуждены были развиваться в тисках военного режима из-за враждебного окружения, и вот в результате у них в странах от нашего существования происходит все самое лучшее, что только возможно в тех условиях, а у нас от их существования — все самое худшее, в том числе и ежовщина, и весь сталинизм в целом.

Но едва только брат окончил институт, его совершенно все это перестало интересовать. Казалось, теперь его интересовало только одно: отсыпаться в субботу и воскресенье. Вечерами он приходил с работы злой, подурнел, стал неряшливо одеваться, и мама стала замечать это вслух, а пока он учился, маму даже беспокоили в нем задатки пижона, как она выражалась. Но брат только махал рукой в ответ на мамины наблюдения и кисло, апатично морщился: мол, чего уж там, когда уж там и для чего уж там.

В нем проснулась страсть к домашним обедам в выходные дни, и он часами способен стал обсуждать с родителями меню. Меня это отталкивало, я хамил, демонстративно не приходил к обеду, и мама даже плакала из-за этого: «Не стало семьи. Где нет встреч за одним столом, там семьи нет. Там есть сборище бесконечно одиноких, антагонистически неживчих типов под одной крышей. В двухкомнатной квартире это невыносимо».

Действительно, это стало невыносимо: наша с братом комнатка с диваном и никогда теперь не убиравшейся раскладушкой превратилась для меня в казарму;

стоило мне ровно в одиннадцать не выключить лампу, я получал выговор в самом враждебном тоне. Я был уже не поросенок, а свинья под дубом вековым, дармоед, не знающий, что почем и где раки зимуют. Особенно жутко было выслушивать прогнозы о том, что вот уже скоро, скоро я пойму, какая это чушь, чем набита моя пассивно жующая овес чувственных удовольствий голова, и что жизнь совсем в другом, независимо от того, нравится мне это или нет.

Я разлюбил брата, страдал от этого и ни за какие пироги не хотел походить на него. Ни в чем.

О техническом вузе я думал с отвращением, так как он представлялся мне прямым путем к этой казарме со всегда теперь пустым и унылым кожаным диваном и покрытой серым шерстяным одеялом раскладушкой. А я мечтал выбраться из этой казармы. Но как и куда — понятия не имел.

Чтобы иметь хоть какую-нибудь возможность жить вне дома, требовались деньги. Деньги нужны были всюду — даже встретиться с ребятами, послушать маг нельзя бесплатно: нужно купить бутылку, пусть даже сам ты не пьешь при этом вовсе. Нужны джинсы. Нужен приличный свитер. Нужны отличные башмаки, если ты человек понимающий, а пальто и шарф уже могут быть любимыми. Чем старше и старомоднее — тем лучше.

И я решил, что сначала надо потрудиться, узнать, что почем и где раки зимуют, а потом уж видно будет, куда из казармы. В том смысле, что оглядеться требуется, чтобы в худшую не угодить. Как это, кстати, и вышло еще раз у брата, когда он женился. Я там у него и пятнадцать минут выдержать не могу: мне душно, тоскли-

во и безумно скучно, все вместе. Я затягиваю потуже шарф, зажимая себе при этом рот, чтобы не закричать, и бегу.

Бегу, куда глаза глядят. Дождь ли, снег ли, туман — я бреду, засунув руки в карманы, посреди узких мостовых — в том настроении я попадаю в узкие, старые улицы, по которым мало ездят машины; останавливаюсь на мостах и подолгу всматриваюсь в темные силуэты домов с бесчисленными живыми светляками окон, пока сердце не отойдет и я не начинаю снова верить и ждать.

Во что я верю и чего я жду — этого я объяснить не смог бы и самому господу Богу, не то что капитану Павлу Михайловичу из органов, но он меня каким-то чудом и так понял, без объяснений, когда я загремел к нему в весьма милой компании по поводу валютных махинаций... Хороший человек Павел Михайлович, чего-то ждет от меня. Устроил вот в архитектурную мастерскую к Семину... Порекомендовал, пардон! А компания действительно была мне милой: воспитанные, начитанные ребята с киностудии, где я тогда работал. Так я ему и рассказал. Капитану ГБ. Он меня три раза вызывал, и на третий раз наговорил кучу комплиментов, назвал чистым, добрым мальчиком и рассказал про валютные махинации, от чего я, по правде, ахнул. Казалось, Павел Михайлович был безумно рад, что я ни сном, ни духом не причастен к махинациям; я же был убит и впервые в жизни презрение к собственной ничтожности перевесило во мне презрение к окружающим, так сильно мучившее меня и отравлявшее мне существование в последние годы. Что же я такое, когда прихожу в ужас и изнеможение от мыслей о необходимости пожизненно-

го, восьмичасового «вкалывания» без возможности проваляться на диване сутки с «Дон-Кихотом» или неожиданно, по настроению, махнуть за границу; когда я разлюбил своего брата за то, в сущности, что явилось следствием его честного труженичества, выжимания себя до последнего на производстве, — и мне оказалась мила компания каких-то гадов, отбросов, страшно сказать: валютчиков! Что же я такое в этом случае, горестно вопрошал я себя, и бесконечно получал от своего разума самые неутешительные ответы.

До Генплана, до мастерской Семина, где я только не работал! Работал осветителем в Зале Чайковского — сначала нравилось, потом надоело: показалось, что тупею, самоуничтожаюсь; пошел в столярный цех по объявлению, оттуда и забрали в армию, как раз к тому моменту, когда я только-только начал хоть что-то уметь и понимал это дело так, будто обстоит здесь примерно как с виртуозами и простыми оркестрантами, только безо всякой звездности: без афиш, гастролей и славы, и одному Богу известно, что же заставляет этих двух-трех столяров, каких я там наблюдал, быть такими невысказанными виртуозами.

Армию перенес легче, чем ожидали мама с папой, да и я сам: служил в расчете радиолокационной станции, понимал, зачем это надо вообще и помнил все время о том, что временно; потом пошел с рыбаками в море, проплавал лето и был горд и доволен; можно сказать, впервые после детства был счастлив; были минуты счастья, во всяком случае; потом — киностудия и вся эта история с милой компанией; и вот — Семин.

Вернее, Женя, жена Семина.

К Семину я поступил сперва копировщиком, и уж потом сам Семин решил растить из меня проектировщика — а может быть, это Женя решила, есть у меня такое тихое подозрение, а Семин, как и в других многих случаях, оказался камуфляжем, говорящим рупором.

Как бы то ни было, он стал уделять мне очень много внимания как раз после того случая, который познакомил со мною Женю.

Она пришла однажды среди рабочего дня к нам в мастерскую, но, собственно, откуда мне было знать, что это Женя, жена Семина? Вошла довольно взрослая девица в узкой черной шубе и робко спросила:

— Анатолия Львовича нет здесь?

Никто ей не ответил: и так видно, что его здесь нет.

Она вышла в коридор, а через несколько минут появилась вместе с Карповым, архитектором из другого отдела.

— Леня, — спросил меня Карпов, — вы не знаете, где Семин?

Я пожал плечами, слегка разогнув спину, и, взглянув на женщину, вдруг сказал, сам не знаю почему, — ведь мне какое было дело, «младшему копировальщику»:

— Здесь он, сейчас придет, — а я и понятия не имел ни о чем таком. — Вы раздевайтесь, подождите. Вон его стол!

— Да я знаю, — застенчиво ответила женщина и неуверенно расстегнула шубку. Карпов терпеливо стоял около нее, ожидая, очевидно, когда она сбросит шубку с плеч, чтобы повесить ее на вешалку. Как будто заме-

тив это, она заторопилась и потом поблагодарила его с совершенно свойским выражением, сказав при этом:

— Ну иди, иди, я подожду.

Я ощутил необъяснимую двойственность в этой женщине и угадал, что она здесь своя, хотя мы, те, кто в этот момент находились в комнате, ее не знаем. Но дело было не в этом — я ощутил в ней самой смесь поведенческой неуверенности со спокойным сознанием какой-то своей тайной силы. Что это за сила, на первый взгляд определить было невозможно, потому что она никак не проявлялась в молчащей, опустившей тяжелые египетские какие-то веки и даже слегка сгорбившейся Жене. Но меня то и дело тянуло взглянуть на нее, пока она сидела за столом Семина, ожидая его прихода. И за десять-пятнадцать минут я умудрился так привыкнуть к ее лицу, что мне показалось диким и неестественным, когда на этом же месте явилось лицо Семина; Женя сидела теперь ко мне в профиль, и они тихо о чем-то договаривались. Профиль оказался неожиданно хрупким и как будто источал свет. Семин кивал и хмурился. Потом, напряженно сморщив лоб, поднялся из-за стола, и я слышал, как он сказал:

— Пойдем-ка ко мне в кабинет.

По дороге он прихватил с вешалки ее шубку, — и по этому жесту я догадался, что это жена нашего Семина.

Через некоторое время раздалось два звонка — значило, что Семин зовет меня, и я отправился к нему.

Он был уже один и встретил меня странным замечанием:

— Кошмарный сон эти эмансипированные жены. Совершенно непонятно, кто лет через пятьдесят будет рожать детей, — и тут же перешел на производственную тематику. — Отложи пока все эти чертежи, что ты сейчас делаешь, хорошо?

И хотя я понимал, что в присутствии кого-нибудь более стоящего он бы не позволил себе такой ремарки вслух, я почему-то обиделся и расстроился совсем не из-за себя, и даже не из-за кого-то, а из-за чего-то, чего я не мог определить.

Он решил переделать проект, как он сказал, довольно основательно, и работы было много. В связи с этим Семин спросил, не смогу ли я прийти к нему домой в субботу или в воскресенье, но лучше в субботу, так как воскресенье желательно оставить про запас, на случай полного завала.

Я охотно согласился, и он взглянул на меня несколько удивленно и, кажется, внимательнее обычного.

Дверь мне, когда я к ним пришел, открыла Женя, очень приветливо меня встретив, — не в пример тому, как встретили ее у нас в мастерской! — и я сразу почувствовал себя совершенно в своей тарелке. На ней был надет светлый кухонный фартучек с латышским орнаментом, в руке она держала остро отточенный карандаш.

Когда мы вошли в их единственную довольно темную комнату с кульманом, Семин стоял среди развешенных по стенам ватманов своего последнего проекта и кусал ногти.

— Ну давай у Лени спросим: Леня, красиво? — и Женя показала на кульман. Там красовались сильно, почти совсем измененные фасад и профиль здания.

— Очень, — сказал я, вглядываясь в лист, и улыбнулся. Что же оставалось? Было красиво, изящно и серьезно, как большая соната. Препрежнее оформление здания носило характер легкой музыки, развлечения на водах, и это не так соответствовало, как я сейчас понял, размерам, назначению и месту, где ему предназначалось строиться.

— Что же я, сам не вижу, — слегка раздраженно сказал Семин, — или это не я «рисовал»? Дело ведь не в том, а во времени... Уже почти все спроектировано

— Но Толя, я же тебе помогу! Ленечка, ну скажите, разве мы ему не поможем?

Я пожал плечами. Что мог сказать на это я, «младший копировальщик»? Я же понимал, что дело не во мне, а во всей группе — в пяти человеках, которые заняты на этом проекте.

— Если мы за два дня, засучив рукава, все пересчитаем и переделаем основные планы, останется всего ничего... Леня, как вам это кажется?

— У меня эта два дня совершенно свободны, — снова пожал я плечами. — Если вам удастся использовать меня с толком, я буду только рад.

И мы принялись за работу — я на пару с Семиным, делая под его диктовку все, что он мне велел, а Женя организовала себе рабочее место на длинном, как оказалось вполне универсальном столе и принялась за конструкторскую часть.

Обедали мы на кухне. Мне многое было любопытно и хотелось бы узнать, где работает Женя, кто определяет выбор книг, которые я с удивлением и радостью разглядел на простых самодельных стеллажах, но задавать вопросы я не решался, а только отвечал на те, которые задавались мне, и получилось, что я рассказал что-то совершенно не нужное тут никому про брата, про папины инфаркты, и даже, странно, про то, как он воевал.

После тех ударных воскресников я и стал бывать у Семиных, поскольку он решительно принялся за меня, со всею своею исключительной энергией, переставил мой кульман к себе в кабинет, чтобы я был под боком и мог его спрашивать в любой момент. Наконец, когда я стал уже довольно самостоятельным, он даже взял меня с собой в творческую командировку в Эстонию, меня и Люду, нашу чертежницу.

Люда появилась у нас совсем недавно, и Семин, как мне кажется, обратил внимание на нее перед самой нашей командировкой, когда она заявила на работу, прогулав неделю.

Она сказала, что была больна, очень серьезно, но к врачу не обращалась.

— Я вам не могу этого объяснить. Вы не поймете, — говорила она в кабинете Семина, в котором стоял теперь мой кульман.

Он усадил ее, открыл окно, предложил сигареты. Постоял у окна.

— Допустим. Допустим, я могу себе представить такие обстоятельства. Но ведь они возможны у всех. Что же делать?

— Оформите мне эту неделю за свой счет.

— Хорошо, что у вас есть такой счет — счет мужа, или папы, или еще чей-нибудь. А как же другие, у которых нету?

— У меня нету, — тихо сказала Люда. — У меня ничего нету, кроме мужа, которого я кормлю.

Семин наклонился к ней, воплощенное участие, так что и я бы на ее месте, возможно, тоже сказал:

— Мой муж писатель. Пишет, а никто не издает. Перебиваемся кое-как какими-то рецензиями, моей зарплатой. Вы себе не представляете этого, Анатолий Львович! — она положила голову на ладонь, ушла мысленно далеко от нас с Семиным. По шее скользнула прядь из прически, рука обнимала синевато-белую коленку, уныло глядевшую из-под темной ситцевой юбки в цветочек. Застежек у юбки не хватало, в узенькой прорехе торчал край бледной выцветшей кофточки, в такой же цветочек полевого горошка, как и юбка.

Семин подписал заявление задним числом и взял ее с нами в командировку, в Пярну.

За окном наступила Эстония, песчаная и ровно-зеленая, как и раньше, когда я уходил отсюда в море, но Люда видела эту землю впервые, была счастлива и благодарна Семину. Уже в поезде она собрала его наброски в маленькую папочку, сказав, что раньше, когда она безгранично верила в своего мужа, она ходила за ним следом и так же собирала каждую его строчку.

— А теперь? — участливо спросил Семин.

Люда образовала складку над своими золотисто-мохнатыми бровями и мгновенно ушла от нас далеко-далеко.

Когда она вернулась, мы пошли в вагон-ресторан, и там они говорили о книгах: о литературе. Я слушал, и хотя читал почти все, о чем они толковали со знанием дела, молчал, иногда закрывая глаза, как бы записывая на магнитофон и представляя, каким смыслом звучал бы такой диалог в фильме или книге. Я был очень этим занят, и оттого молчал.

У Люды на брюках не хватало застёжек, была сло-мана «молния», и краешек той же, стираной и выгла-женной кофточки, торчал в прорехе. Ноги и туловище от пояса были у нее толстоваты, я бы на ее месте не носил брюки, но женщина с такими влажными большими гла-зами, с такой независимостью и нежно-мохнатыми зо-лотистыми бровями, наверное, может себе это позво-лить.

По тому, как она пила коньяк, я понял, что она пьет вообще, и все у нас еще впереди. Как-то вдруг сразу я понял причину ее недельного прогула и, мне кажется, Семин понял тоже.

Мы два дня провели в Таллине, Семин показал нам все, что нашел нужным, в городе и окрестностях, днем мы сидели в генплане и смотрели проекты его знако-мых архитекторов, вечером гуляли и поздно, к ночи, встречались со знакомыми Семина в клубе художников. После клуба мы обе ночи провели в мастерских и в гос-тях.

Одни знакомые архитекторы говорили об эстон-ской национальной проблеме — что эстонская культура утратила свои корни, и это страшно, так как они обрече-ны становиться славянофилами либо западниками, ли-бо погибнуть. Другие знакомые архитекторы вместе с

Семиным ругательски ругали новые кварталы Москвы и Таллина, вместе с Семиным оплакивали московские соборы и церкви и дружно открывали рты и напрягали глаза, когда Семин набрасывал на салфетках мотивы новой Москвы.

Люда нравилась всем, пила со всеми коньяк, особенно хорошо понимала обреченность, умела выразить это глазами и какими-нибудь одним-двумя словами, после которых оставалось только раствориться в метерлинковском молчании, как называла это Люда. Непосвященному трудно было бы, наверное, понять, что это такое и зачем, но я-то был посвященным, хотя и не показывал виду: мой любимый отрывок о молчании я знал едва ли не наизусть, и мне было совершенно ясно, что ничего невыразимого сейчас передо мной не скрывалось, наоборот, все было выразимо чуть ли не одним-единственным словом, но я молчал.

Когда мы вышли в последний раз от Иоганнеса, глаза ее стекленели, кофточка светлым клином выбивалась в темноту, и волосы струились из прически за воротник. Частил дождик, была очень сырая, серая туманная ночь. У нас оставалось еще два часа до первого автобуса в Пярну.

— Ты их не понимаешь. Ты не можешь их понять, — говорила Люда Семиному, бережно ведущему ее. — Какая страшная жизнь!

Она остановилась, отшатнулась от Семина, воздела руку по липе, со всего размаху пригвоздила себя к стволу. Пальцы ее таинственно шевелились и шуршали по коре.

— Я ненавижу их, ненавижу! — Люда плакала с застывшим белым лицом и стеклянными глазами. Слезы ее искрились, словно струйки дождя в этой туманной ночи. — Когда они собираются каждый вечер, напиваются, гибнут, превращаясь в ничто под одной крышей — они так сливаются в моих глазах, в моем несчастном, обреченном сердце: одно и то же, одно и то же, и все — гении! Мне хочется включить газ, понимаешь, чтобы всех, всех разом, вместе со мной — утешить и успокоить...

Семин не был пьян, ручаюсь, и говорил трезво — как трезвый с трезвой:

— Ты думаешь, я удачник? Да? Ха-ха-ха. Да, удачник. Безумно одинокий удачник. Мне даже не с кем превратиться в ничто. Не говоря уже о том, чтобы претвориться во все одновременно: в небо, в землю, в Бога, которого мыслю, как и может только мыслить современный человек, знающий научные истины с пеленок, и архитектор, который все-таки к нему стремится. Это ты можешь понять?

— Могу, — выдохнула она, глядя мимо, далеко-далеко, расфокусированными стеклянными глазами.

— Неправда, никто не может этого понять. Я стремился найти это в архитектуре, в заигрывании линий с плотью, материала с воздухом. Я стремился найти это в своей жене, теперь я стремлюсь найти это в тебе. И буду стремиться, пока все не кончится...

Я больше не слушал их. Думалось мне только о жене Семина, и остальные две недели я думал только о ней. Невольно внимание мое обострялось до дрожи в висках, если Семин рассказывал о ней, — а он довольно

много о ней рассказывал, но я никак не извлекал из его слов сути.

Люда и не добивалась сути, а завоевывала Семина каждым жестом, каждым смехом, каждым выбором супа и суфле, каждой своей позой — в море, на песке, на скамье, в шезлонге азария и рассказывала, рассказывала, рассказывала — ее жизненных несчастий, томлений и перепадов психики хватило бы на десять Семиных. А главное, она не хотела жить, она ничего не хотела и не уговаривалась о встречах на следующий день — а только махала рукой. У нее был порок сердца, от которого умирают рано, а Семин хотел, чтобы она жила. Он хотел этого каждой утренней газетой, каждой складкой на щеке и на рубашке, каждой песчинкой, вытрянутой из штиблет, каждой вновь вставленной в фотоаппарат пленкой, каждой сосновой шишкой, каждой...

Но я уехал на неделю раньше их, потому что из дому не было писем. Это могло значить, что мама спокойна за меня на этот раз, и это было хорошо, но это же могло значить, что у папы инфаркт, а это было плохо.

Семин просил зайти к нему домой, сказать, что он жив, но задерживается — писем он не писал, и я уехал.

Я вошел в комнату, на голос, и не решался заговорить.

За окном, в синей прозрачности вечера медузами неясных очертаний качались паутины, свитые тополиным пухом. С верхнего этажа доносилась приглушенная речь киногероя и чувствовалось, что сейчас запюют.

— Зажгите, пожалуйста, свет, — сказал голос. — Справа.

Оказывается, она сидела за столом, в темноте, перед открытым окном. Рядом лежал открытый Волошин — «Венок сонетов».

— Мне стало скучно читать, и я погасила свет.

Я пожалел старика. А ведь с чего бы? Он пожил в свое удовольствие и позволял себе полную пренебрежность. Но какие у него были все же синие прозрачные вечера вокруг чистых, чуть тронутых синим вечером золотых гор! В стихах этого не было, нет, я понял это только сейчас, увидев Женю, спрятавшуюся от книжки в живую темноту вечера за окном.

Я передал ей все, что было велено, и спросил, как дела на работе.

— На работе? — удивилась Женя. — На работе как на работе — когда хорошо, когда плохо. — И она улыбнулась короткой открытой улыбкой. — Как хорошо, что вы пришли, Ленечка. А то я совсем уж тут... Как ваш папа? Ведь вас так долго не было дома — две недели!

— Да, спасибо, — ответил я и стал опять, не знаю зачем, рассказывать про его инфаркты, а заодно зачем-то и про валютные махинации, то есть про Павла Михайловича.

Она слушала, скользя глазами по деревьям за окном, паутинам, потягивала ноздрями запах тополя и мяты, приносимый из сквера — они жили на первом этаже, и я не заметил, как заговорил о Семине, о его новом проекте и о его человеческих слабостях.

— Какой бы он ни был, — тускло заметила Женя, — он сделает прекрасный проект. И этот, и следующий, и каждый.

Я разозлился на нее.

Я ведь знаю теперь Женю. Я знаю Женю очень хорошо, и даже когда ничего уже не понимаю, остается она — с этим тусклым скромным голосом, с ее лесным косноязычием и все поясняющими руками — с ее тяжелым, тупым молчанием и сонными египетскими веками, когда она сидит вот так вот и делает вид, что ее вовсе нет. К чему это, не понимаю, зачем это нужно — постоянно делать вид перед всеми и в том числе перед собой, что Семин — все, а она — ничто? Потому что так положено: мужчина должен быть главой, должен быть сильнее, умнее, значительнее — вот чего ему тут не хватало! Разве без этого обмана она не могла бы быть счастлива и разве она счастлива так?

Я вот не нужен ей почему-то, потому что мне мало лет, потому что я глуп и через меня нельзя вещать. Потому что я — не Семин, а я! Да, конечно, я прекрасно понимаю, что мне еще очень далеко до того... до того... чтобы я мог взять ее за руку, стиснуть ее запястье и увести отсюда. Чтобы я мог иметь на это право. Но зато я вижу ее всю, какая она есть, во весь рост, а не так, как Семин изображает ее на фотографиях. Ведь как он ее фотографирует, это только посмотреть! Вот, мол, ты какая никудышка, мышиный горошек, и тебе стоит вечно Бога молить, что он послал тебе такого незаурядного мужа! И она ему в этом потакает. Значит, правда, правда, боится его потерять. Почему вот она не спрашивает у меня, как мы там проводили время и отчего это муж ни разу не позвонил, не написал ей ни одного письма?

Я с болью чувствую свое бессилие, глядя на узкую, слабую, бесконечно дорогую мне фигурку и на беззащитные плечи. Мне хочется сказать ей, как она необык-

новенно великодушна, вообще велика и прекрасна, и как нуждается в этом каждый человек на свете, и я тоже. В том числе. Но как это можно сказать и с какой стати? Боже правый, ведь она не уйдет со мною, да и куда мне ее увести, что я такое? Чем я могу потрясти ее, увлечь от этого насиженного места, от этого узкого длинного ее стола, от Семина, в которого она так верит и которого я теперь окончательно ненавижу?

И вместо этого всего, что бушует во мне и отчего, я сам это чувствую, неестественно клонится мое тоскливое лицо, словно под тяжестью родинок с левой стороны подбородка, я говорю смущенным голосом:

— Странная вы сегодня, Женя. Вид у вас какой-то... расстроенный. Я вам ничем не могу оказаться полезен?

Она поднимает увеличившиеся как будто за две недели глаза и спокойно, строго смотрит на меня в упор:

— Ну что вы, Ленечка. Нисколько. Сонный вид... вот какой!

Я ухожу и до самого утра слоняюсь где попало, не в силах даже позвонить и предупредить маму.

Я не хочу быть никем — хочу быть ею, и когда хожу по дорожкам Нескучного сада, вглядываясь в хоровод темно-зеленых листьев, постепенно, как в проявителе, проступающий на фоне рассветного неба, не умею ничего — умею только любить. И думать: милая, я не то сказал тебе, милая, милая Женя! Если б я мог сказать тебе правду — что вид у тебя странный от глаз, от совершенно новых черточек в лице, которое я так хорошо знаю! Ведь я не о себе, ты понимаешь?

Ты слышишь, запели птицы. И что-то изменилось в саду и в небе, в листьях деревьев и в траве. Я это так прекрасно понимаю, чувствую и понимаю, что мог бы стать всем, всем, чем бы ты захотела, — для тебя одной могло бы произойти столько всего, столько изменений, каких не властно вызвать больше ничто на этом свете... Мог бы — если бы ты захотела, я чувствую это так же ясно, как то, что Семин — безумный, безумный удачник и трудно теперь сказать, стану ли я архитектором, несмотря на те не совсем ясные для меня способности, которые обнаружили во мне ты и Семин. Разве что, уйдя из генплана, вернусь в столярный цех и стану пробиваться в архитектурный. Но сколько на это потребуется времени, сколько сил! Что станет с тобою за все это время?

МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Лицо перед его очками, заряженное смертельной ненавистью, распалось в дрожащий калейдоскопический набор фиолетово-красных зияний. Голос изрешетил барабанные перепонки, и Санаев бросил всякую попытку понять, что же такое вменялось ему в вину. Зажать же уши казалось неудобным.

— Послушайте, Вера, давайте-ка расстанемся! — раздраженно выпалил он в мимолетной паузе.

Тишина изобличила упорно звонивший телефон. Санаев снял трубку. Звонил Борис, приглашал в кино после работы, в гости к себе — после кино. Мы с ним виделись вчера, подумал Санаев, выслушивая программу своего вечера, позавчера же на весь вечер при-

ходили помолчать Татьяна с Григорием. Читать при них неудобно, тетрадь свою заветную с неоконченным выводом открыть — тем более. Ведь это — оскорбить их, расстаться. Я этого совсем не хочу: они хорошие люди, я привязан к ним. Татьяна галстук принесла, будто бы просто так. Мило, деликатно. Вера какая-нибудь — та бы так и брякнула: увалень, вкуса у тебя нет никакого, такие галстуки носишь, что друзьям смотреть невыносимо... Как бы это не забыть про альфу: то, что я третьего дня понял, спать ложась, — нельзя задаваться было единицей в исходных данных. Альфа не равна числовой единице, это отвлеченная пока что для меня должна быть единица — альфа, взятая йот раз, равняется единице, что и надо внести в исходные данные. А я все еще не внес и не записал этого нигде — после бутылки водки у Бориса голову поднять от подушки не было мочи.

Трубку опустили. Санаев растерянно прищурился на свою, отстранив ее от себя, — обиделся он, Борис, что ли? Ну и черт с ним! Если это такой друг — войти не желает в положение, — черт с ним. Вот, скажем, пытался посоветоваться с ним про альфу, — а в математике подозреваю его посильнее себя, ведь степень докторскую имеет, — и что же? Перевел разговор на горные лыжи, книжку про них всучил. Надо теперь не забыть отдать эту книжку, да еще не выдать, что не открыл ее.

— Вера, вы не видели, на столе у меня книга лежала, по горнолыжному спорту?

Его осадили две фары, посаженные косо, размашисто.

— Ах да. Так что это вы написали мне? Заявление об уходе? Куда уходе, Вера! Я и сам рад от вас заявле-

ние написать. Пойду вот завтра и напишу — директору от ведущего специалиста Санаева, об уходе от старшего инженера Салитдиновой. И заплачу при этом. Вас это устраивает?

— Пожалуйста, пишите. Это ваше личное дело, — скрежетнуло в ответ.

— Так ведь жаль человека, которому на мое место прийти придется. Съедите вы его, убьете. Разорвете кроваво собственными руками.

— А об этом и на профсоюзном собрании поговорить можно, Павел Александрович, как вы сотрудников своих оскорбляете. Что я вам, фашистка какая-нибудь, или собака?

— Ну хорошо, прошу прощения, если вы иносказаний не понимаете. Но нужно же эти схемы кому-нибудь выпустить? Ведь пока вы тут шумели, четверть дела можно бы пройти.

— Пусть ваша Люда выпускает. Или еще лучше — сами. Нечего тут любимчиков разводить. Это вам не гарем. А то одни сидят, понимаете ли, целый день, голову подперев, а другие мотаются как соленый заяц.

— Бог знает, что вы плетете, Вера. Ну хорошо, положим, я эти схемы поручу Игорю, хотя это вовсе не его блок, а ваш испокон веков. А завтра что мы с вами будем делать? Если блок ваш, то почему Игорь должен бумажки на него оформлять?

— Вы меня не проведете, Павел Александрович! Нашли дуру. Они там что-то сидят, читают, глубокомыслие изображают, а когда очередь придет бумажки оформлять, то и те блоки все мои станут. Знаю я эту вашу политику. Долго меня дурили, да поняла наконец.

Сообразила, представьте себе. Не считайте всех дурнее себя, Павел Александрович!

И тут Санаев все-таки зажал уши, как ни отвратителен был ему этот постыдный жест, а главное, как было известно по опыту, не помогало он нисколько.

— По-моему, вы не имеете никакого права каким-то молокососам давать более квалифицированную работу, если у вас есть старшие инженеры, проработавшие по девять лет!..

Может быть, действительно отпустить ее на производство, как она просит в заявлении? Ей там, пожалуй, лучше будет. Впрочем, человеку всегда находится от чего страдать — и в бедности и в богатстве, в любви и в нелюбви, в чужой среде и в своей собственной... И должен же кто-то сдавать в производство блоки? Определенно застучала вчера Фетисова с его физкультурницей — или по дороге их вечером встретила, или физкультурница приходила к ним на тренировку, показывала Фетисову, как на ногу опираться, не перегружая голеностопный сустав. Видит Бог, как бы рад он, Санаев, выдать наконец Веру за этого проклятого Фетисова. Или за кого-нибудь, за кого-нибудь, честное слово! Ну чем она не взяла, не понимаю? Высока, стройна, длинные ноги. Разворот плеч этакий... мужественный. А что, красиво. И голос звонкий...

Отчаяннее всего то, что вот и время позволяет сесть наконец за стол, заняться альфой до обеда, да и обед прихватить, — переменить начальные условия, пройти быстренько заново сделанную часть вывода, подставляя везде альфу равной йот вместо единицы, да и двинуться наконец дальше с божьей помощью. Но все

внутри дрожит, в животе мутится, и Санаев идет в коридор, курить.

Пересекая бетонный плац по выходе из института, Санаев останавливается несколько раз, меняет направление, даже возвращается на проходную, пытаюсь понять, что же это его так тревожит; наконец осознает, что это вид «Запорожца» вот уже минуты три обращает вспять его шаги — серенького «Запорожца» в редющей толпе машин, Бориса «Запорожца». А ведь теперь, когда преодолел наконец заминку с начальными условиями, можно бы за вечер семнадцать верст отмахать... Да уж, видно, что-нибудь такое он мямлил, раз Борис так его понял, что уже здесь. Нужно уметь сочетать деликатность с решительностью, а это никогда не было ему под силу.

И он садится в машину.

Встретив приветливый взгляд Бориса, мучительно конфузится, тискает в задумчивости руку верного своего товарища, похлопывает его усталый зашей с седыми волосками.

— Ну, что же мы сегодня будем смотреть?

— Что наметили, Паша, то и наметили. Ничего не переменялось. Билеты у меня в кармане. А после кино, — Павлик! — такое мясо мне удалось достать! Молочнейшая телятинка. И Светланка нам с тобой его сегодня! Представляешь? В горшочках. Под грибным соусом. А?!

Тут еще Санаев промолчал, но после фильма, изъеденный раздражением и скукой, повел атаку, мобилизовав все правила своего светского идеала:

— Старина, ты свою жену огорчаешь. Мне Света говорила, какая у нее неделя заваленная. Собиралась ри-

совать, рисовать и рисовать. Я так не могу, старина. Премного уважая женщин одаренных, да еще и трудящихся, я к Светлане Михайловне и на глаза не в состоянии показаться. Пойду-ка я домой, да и позанимаюсь, может быть, часик-другой. А то зайдем ко мне, посмотришь вывод. Пока еще, конечно, все очень громоздко, но все-таки, может быть, тебя и заинтересует. И Света поработает без нас весьма покойно.

— Э, брат Павлик. Выводами я сыт своими. Помочь тебе, само собой, не помогу, ибо в голову твою мне не влезть и весь ход мысли не узнать. Разбираться же долго очень, — Борис снял руку с руля и обнял Санаева. — Да и устал я, Павлик. И Света устала. И скучно ей. Только и радости, что тебя иногда увидеть. Ведь целый день сидит одна и рисует. Мы в кино — а она рисует.

Солнце хладнокровно заехало по очкам — машина повернула с Бульварного кольца и понеслась на запад. Ослепленный сияющей призрачностью белых, беспорядочно вспыхивающих ребер стеклянного проспекта, не видя и не чувствуя людей за стенками верткой кибитки, Санаев съежился и попросил приоткрыть окно, потому что холодно и солнце печет ужасно

— Сейчас Светлана покормит, отдохнешь, — Борис жестом попросил прикурить сигарету. — Домой я отвезу тебя, честное слово.

И как это помогло ему оскандалиться? Ведь расплевался же на веки вечные! С Борисом-то сладится: он тут ни при чем и понимает, что ни при чем. Но Светлана!

Что, собственно, Светлана? Каждый волен думать, что думается. Не резон это для таких глупых, безнравст-

венных выходок — вскакивать, за шапку и долой! Теперь тащись полтора часа до тетрадошки до своей.

Зато вырвался. Ну и славно. Поработаю недельку без единой души, потом позвоню, и все уладится. Ну, не любит женщина Чайковского — да и Бог с ним совсем, с Чайковским. Не нуждается, право, он в моей защите да горячности. Но ведь не в нем только дело, — зрело-то это весь вечер, и не один.

Я с ними не сошелся, вот что. Но почему? Неужели в самом деле оттого, будто живопись она не любит, художников — ненавидит? Ведь это и наврать на себя недолго. Но зачем? Зачем, спрашиваю я, врать именно то, а не другое? Все и так с достаточным уважением относятся к ее картинкам. Ирке своей я все книги с ее картинками скупил. Или ей этого недостаточно? И нужно ее понять? И злой горбун нуждается в большем понимании, чем горбун добрый? А я хочу найти себе доброго горбуна, и понимать его, и хвалить его жаркое...

Уголок же укромный, в котором теплится чувство благодарности к Борису, не зависит от сегодняшнего жаркого и восходит к тихому осеннему дню два года тому назад.

С утра было так пасмурно, что сидели на конференции при зажженной люстре. Прижимался к стеклам ватный туман, светло бороздили его прозрачные струйки. А когда Людмила, делая свой доклад, замолкала, выписывая на доске формулы, раздавалось с улицы хлюпающее шарканье прохожих. В сущности, следовало Санаеву самому делать этот доклад, но он посчитал уместным выпустить с ним Людмилу ради одаренности ее и перспективности, ради желания заниматься рабо-

той серьезно. Посчитал, что если что и не так будет с этим докладом — докладом по общей их работе, — то ей, совсем еще молоденькой, вчера со студенческой скамьи, простится, а уж если выйдет все так, хорошо и отлично, — то и зачтется, и в будущем весьма пригодится. Даже можно будет выпустить статью ей, содержащую этот самый доклад, — пора начинать копить публикации для защиты. А то, что ей необходимо будет защищаться, Санаев тоже уже решил и смотрел на это как на дело свое ближайшее и насущнейшее.

А вышло вот все как-то не совсем так. Работа их вызвала интерес, на какой Санаев и не рассчитывал, за тискали Людмилу вопросами и дискуссией, уровень которой оказался ей не под силу. И до того она взмокла и запуталась, что он с места, не вставая, начал подсказывать ей, кричать. Она смотрела на него отчаянно ввалившимися глазами и вдруг заплакала. Девчонка ведь совсем еще была, в юбочке модной. Это теперь она набралась такой большой самостоятельности, что высокомерно пеняет Санаеву на все подряд, как вот сегодня, когда они в коридоре перекуривали этот его скандал с Верой: «Да и ты недалеко от нее ушел. Диалог на уровне!»

А тогда, на той злосчастной конференции, Борис был в президиуме секции, и в том их злосчастном катастрофическом положении он встал, вытащил Санаева на кафедру, предложил Людмиле тут же рядом стул и налил ей стакан воды. И как только он сориентировался в проявлении такой вот доброжелательности, великодушия — это ведь не каждому бы в голову пришло, другие рады бы и позлорадствовать, утопить девицу, чтоб «не

перла в науку», как у них принято выражаться. Борис же сказал потом Санаеву только то, что ситуация была слишком очевидной, хотя страшного для Людмилы он ничего в ней не усматривает. Только действительно не понимает, хоть тут его убей, почему это Людмила должна была выступать и зачем это Людмиле защищать эту тематику в диссертации, а не самому Санаеву.

После доклада же Людмилиного был объявлен перерыв, и Борис подошел к Санаеву и заговорил с ним, да так, будто они всю жизнь знакомы. И в гости к себе Санаева Борис пригласил в тот же день. Славный был день! В стекла серенького «Запорожца» шлепались мокрые листья, испытывал Санаев наслаждение хорошо и тепло устроенного человека, имеющего возможность оценить красоту краткой перспективы туманной улицы, тускло трассирующих фар и хоровода зонтиков из окна машины.

И дом их восхитил Санаева в тот вечер. Не было Светланы, но присутствовал стиль ее, дух — в виде черной кашемировой шторы, расцвеченной диковинными значками, старинного шведского бюро и кресел да свисающих по стене бисером с золотом шитых старинных опоясок, свезенных сюда каким-то образом из, видимо, самых глубин русских губерний.

А теперь вот и значки эти дурацкие, надуманные, и трухлявость кресел — все раздражает...

Не поздно приехать на дачу и в двенадцать, но это имело бы смысл при возможности до десяти, скажем, здесь, на работе, позаниматься. Но такой возможности нет... Куда это девалась его бумажка, список продуктов и так далее? Лиза когда звонила, он читал книгу, и тет-

радь лежала, открыта на странице с граничными условиями... Нет ее в тетради. Книга была — «Методы современного анализа», и он сдал ее в библиотеку. Ничего не остается другого, как вспоминать, что такое в списке значилось... Курица... Нет, ничего больше не вспомнить, а пунктов было девять. Бежать в библиотеку? Книгу мог уже кто-нибудь взять. Два пункта из девяти уж позволительно и не выполнить. Колготки Ирочке чистые и штанишки — это стереотип, этого не могло там не быть, хотя он, собственно, и не знает, требовали колготки или не требовали? Ну, курица, ну, колготки. Нет, надо бежать в библиотеку. К тому же книгу эту невредно захватить на дачу... Что-то он вспомнил было, три вещи. Какие же?

Надо положить перед собой лист бумаги и все, что в течение дня будет приходить в голову для полезного использования на даче, записывать.

Доведись в электричке сесть, можно бы и поработать немножко, но дачный сезон чреват гитарами, байдарками и вмятинами на спине.

Глубоко погружившись в душный мясистый вагон, Санаев обмяк в толпе и мысленно зашел довольно далеко в своем выводе. До окончательной формулы оставалось несколько безделиц.

Дорогой же к дому отвлекал маячивший среди дачных улиц липовый дух. Исчезал он — прорастала мыслишка, скользила вдоль изгороди жасмина, провожала лепестки шиповника в неспешном полете.

Ведь вот как оно интересно получается: вся его жизнь, если посмотреть на нее со стороны, уходит на эту борьбу за возможность работать. Все его лучшие си-

лы, вся молодость — и только крохи их достаются самой работе как таковой.

Неожиданно плодотворным оказался ужин, особенно окончание его — одинокое, уютное мытье посуды на террасе, при керосиновой лампе. Вышла помочь жена. Он обнял ее, приласкал. Лаская, додумывал свой вывод и отдавал себе отчет в том, что додумывает. Потом же отдал ясный отчет, что кончил на сегодня думать.

В излучине ольшаника над рекою потрескивал соловей, луна за окном покачивалась среди сада. В лепете ночного света вспыхивали сиреневым сиянием тонкие женские волосы... Тонкие, пахнущие травяным шампунем, льняные.

И было очень хорошо.

Но почему льняные? У его Лизы волосы русые, тускло, почти темно-русые! Он протянул руку и включил белого эльфа, парящего над диваном. Так и есть! Но как же могло быть хорошо от льняных волос? Ощущение скверны, причастности ко всеобщей человеческой порочности вовлекли его в тоскливую, кислую обиду.

— Лизавета, ты никак волосы себе выкрасила?

— Хи-хикс, Павлик! Ты меня подводишь. Побилась об заклад, что ты вообще этого не заметишь. Ну и как? Ведь правда, давно следовало догадаться до такого цвета?

— Нужно будет посмотреть днем. Но не в том ведь только дело — идет или не идет. Неужели ты не понимаешь? Как ты могла решиться на такой серьезный шаг без меня? Прекрасные волосы были, русые. Я к ним привык.

— И к этим привыкнешь, чудак. Ну, не привыкнешь, восстановлю. Хотя и будет жаль, честно признаться. Мне как будто родиться надо было с этим цветом, так хорошо.

Хорошо заносить Ирку до середины реки и делать вид, что бросаешь ее с размаху в воду. Малышка пищит и цепляется за тебя цыплячьими пальчиками, оттягивая кожу на плечах.

— Ну что ты пищишь? Можешь ты мне объяснить? Чего ты боишься?

— Не знаю, папа, ой! Ой! Не знаю, только не бросай!

— Но папа же с тобой — даст он тебе утонуть, как ты думаешь?

— А вода же холодная, и всю речку нагреть ты не можешь. Не можешь? Ага, не можешь!

— Фу, пискля. Никогда не научишься плавать.

Лиза всякий год собирает совершенно одинаковые букеты — клевер, омежник, люцерну с голубыми колокольчиками драпирует воздушным кружевом лютиков и ставит в глиняный кувшин, давая им свободно распастыся, на полу терраски или на темном, пятнистом от солнечных бликов окне столовой. Распахнутый сад, дождевой желоб и мушки просвечивают сквозь букет. И Санаеву, только что досадовавшему на необходимость возвращаться домой — класть Ирину спать, когда день в самом разгаре, — уже хочется вернуться и скорее увидеть букет поставленным на окошко.

Пока разогревается обед, можно будет записать все, что придумалось здесь, на речке, а потом можно вернуться часа в четыре и купнуться разика два.

Он переодевает своего ребенка в сухие полосатые штанишки, выбрав из двух имеющихся под рукой пар именно те, что привезены им самим из Москвы.

Они огибают излучину, стараясь обнаружить в ольшанике знакомых по ночному свисту соловьев. За поворотом речного рукава на них обрушивается гвалт байдарочных состязаний, и Санаев трусливо обходит со спины Веру, громовым голосом призывающую Фетисова «добавить лева». Вот же, думает он, никто здесь не зажимает уши, никто не мешает ей орать. Веселые, добрые люди, не то что я.

ОЗЕРО

Во дворе гостиницы противно пахло карбидом, и Я повернула, уже от самой двери, к озеру.

Озеро загораживают насыпи песка, грязного, почвенного, смешанного с суглинком: городок непрерывно благоустраивается. Главный конструктор, Светлов, говорит, когда мы ходим этой дорогой и видим на боку лежащие телеграфные столбы:

— Это так удобнее связь.

И все смеются.

Рытвину за навалом пересекает тонкая жердь, Я побежала по ней, торопясь в ожидании запаха озера.

И он возник — прелый запах растений, застоявшихся в воде.

Сладкий обморок разливается в Я от неба, леса и воды с небом и лесом.

Десятый час вечера. Солнце близится к закату, окружая протуберанцами каждую далекую веточку елей.

В воде лес, протуберанцы и розовые облака дрожат, изламываются, соединяются вновь и звучат, покачиваясь влево и вправо

Я прячется за деревьями, отходит от них, чтобы стволы оказывались между Я и солнцем. Полосы воды меняют при этом цвет...

На корму привязанной к берегу лодки прилетает серая пичуга. Тоненькая и длинноногая, она ритмично танцует и кланяется во все стороны, танцует и кланяется; взлетает, нежно посвистывая. Так тих ее голосок в глубокой тишине воды и леса, — досадно перебивают его голоса с другого берега.

Через мгновение Я испытывает острое счастье от голосов, тянет тот берег, будто останавливаешь себя с трудом, чтобы не броситься озером — туда, где эти люди, голоса.

Я останавливает себя с трудом.

Где эти люди, голоса.

Броситься озером туда.

Броситься озером.

Песок еще сохраняет тепло. Я раздевается и идет в воду. До дальнего берега не доплыть, нечего об этом и думать — озеро велико. Там окружает его лес высокими темными елями... Так вышло, что теперь их — именно их — вспоминать когда-то в с е г д а. Эту бедную землю. Потому что другой не видал.

На шевелящейся глади озера лодка. Она далеко и близко. В ней двое — монах с нимбом вокруг клобука и молодой инок. Я их знает и не боится. Они всегда здесь, каждый вечер.

Я знает и то, что никто их не видит, кроме Я. Так было всегда, сколько Я приезжает сюда, на космодром, и приходит к озеру. С самого первого пуска. Они неподвижно и молчаливо сидят в лодке.

Когда Я задумалась обо всем этом?

... Занавешено большое трюмо. Они с мамой и бабушкой приехали сюда, в эту большую, старую полупустую ленинградскую послеблокадную квартиру, потому что дедушка Игнатий, муж бабушкиной сестры и мамин дядя, был п р и с м е р т и, и вот теперь он умер. Пол усыпан елочными ветками. Пахнет хвоей и еще чем-то, незнакомым. Он долго м у ч и л с я, и ему к о л о л и м о р ф и й. Все плачут, и Я неудобно, что в душе ничего, кроме давящего камня очень большого размера. Даже неясно, как он помещается в этой маленькой груди. И Я тоже старается плакать. Сидит боком, подобрал под себя ноги, в старом кресле-качалке перед окном, и растирает кулаком глаза. Перед Я на полу, обняв качалку, стоит на коленях старая няня — может, даже дореволюционная, Я слышала о ней всегда, сколько живет на свете: Дуся. Чья она няня, ясно не вполне, во всяком случае, Я не имеет к этому отношения. Я впервые увидела ее здесь, в Ленинграде.

— Бог дал, Бог взял, — тихо говорит Дуся и крестится.

— Кто? — переспрашивает Я.

— Господь.

— Господ всех перебили в семнадцатом году, — вспоминается, может быть, только теперь, в воспоминаниях, чье-то дворовое.

— Господь — это господин?

— Да, хозяин нас, грешных...

Да было ли это сказано?

— Хозяин земли...

— Русской?

— Да всякой. И неба, и звезд, и Луны, и всего, что ни есть на свете...

Я чувствует, что Тот Берег приблизился, но так ничтожно мало, что нет смысла продолжать грести к нему. Я поворачивает вспять, как раз через то плечо, с какого древняя длинная лодка.

— Зачем же Он позволяет, чтобы мы мучились и умирали? — громко спрашивает Я у старика в клубке.
— Он что, злой?

Я знает — старик не ответит. Это всегда так.

Кожа быстро высыхает на берегу, а купальник нет. Он начинает холодить нутро. В глубине живота, в глубине крестца. Там, где что-то страшное происходит в теле, возможно, сейчас уже — страшное и непоправимое: н е и с п р а в н о с т ь. Сбои, сбои... И — стоп-машина.

Я кладет закладку в книжку, заворачивается в одеяло (гостиничное) и стягивает с себя мокрые трусы. Производить это неудобно и неловко, тем более что на дорожке к озеру появляется изломанный протуберанцами силуэт. Военный. Это старший лейтенант Крысь, Я знает.

Но время еще есть, потому что он обойдет по дуге, кромкой леса — он всегда так делает, Бог весть почему.

Фуфайку спортивного костюма Я натягивает прямо на мокрый лифчик, укладывает в сумку одеяло и книжку и идет домой.

На лестнице кружится голова. Звонит в каком-то дальнем номере телефон. Открывается дверь на втором этаже, из нее несется хохот и кто-то кубарем скатывается с лестницы — с болтающейся пустой авоськой, небрежно засунутой в карман.

Я достаю из-под ковровой дорожки ключ и отпираю номер.

По другую сторону гостиницы — за окном — шумно: машины, дети. И тучи серые тесны и ровны. Как будто то ясно-закатное, чисто алеющее небо над озером было небом другого города. Другого городка. Другого космодрома.

Я ложится на койку и долго рассматривает небо.

Сейчас постучат. Сказать «я не пью» — пробовала, это их обижает.

Придется терпеть и сидеть.

Там, где эти люди, голоса.

Сколько раз так было, не сосчитать. А когда это началось? — Я не знает.

Только надо следить за лицом, и все. Просто немножко улыбаться.

Может быть, Я их не любит?

Нет. Нет, нет и нет. Не то.

А что же? Я не знает.

— Я не пью, — говорит Я и чуть не плачет.

— Отстань от нее, — говорит Крысь. — Пойдем потанцуем?

Теперь Я должна идти с ним танцевать, просто обязана. Я не пьет, но Я танцует. С этим ничего не поделаешь. Это факт.

А Крысь танцует плохо. Как на танцах. Это ужасно тоскливо. Время этого танцевания ползет, как отвратительная змея, перемалывая косточки, уничтожая время жизни удивительного создания по имени Я.

— Надо же что-то делать вечером, — говорит Крысь. — Надо как-то отдыхать.

Сказать Я нечего.

— Я, например, так выкладываюсь на работе, что дома читать что-нибудь серьезное уже просто не в состоянии. Так, картишки, телевизор... Хочешь шампанского?

— Я же не пью, — улыбается Я.

— Я знаю, — кивает Крысь. — Это я уже усек. Поэтому и говорю — шампанского. Хочу с тобой выпить знаешь за что? — Бокалов у них нет, да что там бокалов... Залитый водкой стол, соленые огурцы прямо на клеенке. Крысь наливает доверху два стакана. Но шампанское здесь в гастрономе — ух! Масандра. А не пьет Я спирт. Вот в чем ее командировочная беда. Даже разбавленный. Даже водку. — Давай выпьем, — говорит Крысь, — чтобы у меня снова появился смысл жизни. Ты меня понимаешь?

Я знает, что имеет в виду Крысь. Его вывели из отряда космонавтов. По состоянию здоровья. То сеть не то что он чем-нибудь заболел — слава Богу, нет, — а просто по худу пьесы, то есть по ходу тренировок выяснилось, что его физические данные не на том отменном уровне, какой требуется для подобных испытаний человеческого организма. И Крысь пребывает по этому поводу в большом расстройстве. Уже полтора года как.

Работает в столице, в Центре управления полетами, к в а р т и р у д а л и, но все равно расстраивается.

— Там у них такие отдельные коттеджи, — говорит, бывало, Крысь. — Есть что пообещать будущей жене.

Я не понимает Крыся. Он для нее загадка. «Мифический мальчик» — то есть окончивший московский инженерно-физический институт. Стало быть, очень умный — по определению. Да он и красивый даже — в биологическом смысле слова. Что называется, отменный экземпляр человеческой особи. Национальное достояние. Я даже боль испытывает порой, так в нем чего-то недостает. Как в национальном достоянии.

А может, все наоборот? И теперь все будет хорошо — в дальнейшем. Только бы отмереть поскорее таким, как Я?

Наши желания — источник нашей энергии. Очень болезненный вопрос. Очень важный. Может быть, Бог — это резервуар энергий, которыми пронизан Космос, универсум. И испытывая желания, страстные желания, мы настраиваемся на волну тех или иных энергий?

— Что значит, цель жизни? — осторожно спрашивает Я, танцуя с Крысем. И напряженно ждет ответа.

— Ну, ради чего ты живешь, — отвечает Крысь каким-то печальным, неудовлетворенным голосом. — Да ладно. Чего уж там. Надо уметь расслабиться, правда? Все равно все разбито и поломато. Миром движут секс и деньги.

— А тебе космос нужен зачем? Вот тебе, лично?

— Ну ты даешь. Ежу ясно.

Я подождала, не скажет ли он еще что-нибудь. Но Крысь замурлыкал песенку, под которую они танцева-

ли: «И чтоб никто не догадался, и чтоб никто не догадался, что эта песня о тебе», — со значением подхватил он припев.

МЫ УКЛАДЫВАЛИСЬ В ГРАФИК, И НАМ НАЗНАЧИЛИ ДЕНЬ И ВРЕМЯ СТАРТА.

— МНЕ ЭТО НЕ НРАВИТСЯ, — ГОВОРИЛ СВЕТЛОВ. — ЧТО-ТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ. ВСЕ СЛИШКОМ ГЛАДКО. ТАК НЕ БЫВАЕТ.

И Я ПОДУМАЛА — УЖ ТЕПЕРЬ ВСЕ, РАЗ ОН ТАК СКАЗАЛ. ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГЛАДКО.

НО СЛУЧИЛАСЬ КАТАСТРОФА: ЛОПНУЛА В ОДНОМ МЕСТЕ ПРУЖИНКА. ЭТО ГРОЗИЛО ОСТАНОВКОЙ РАБОТ НА МЕСЯЦ, А ТО И НА ДВА, ЕСЛИ ОТПРАВЛЯТЬ ВСЕ НАШЕ И З Д Е Л И Е, КАК ПОЛОЖЕНО ПРИ ПОЛОМКАХ, ОБРАТНО: НА КОСМОДРОМЕ НЕ ПОЛОЖЕНО ПРОИЗВОДИТЬ ПОЧИНОК, КОСМОДРОМ — НЕ ЗАВОД.

ВСЕ РУГАЛИСЬ НЕЩАДНО. КРИК БУДОРАЖИЛ Я И ОЧЕНЬ СМЕШИЛ.

ИЗ ГОСТИНИЦЫ ПРИЕХАЛ ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР.

— ТРИДЦАТЬ ЗДОРОВЕННЫХ МУЖЧИН И ДВЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ МОГУТ ПРУЖИНКУ ОТКУСИТЬ И ПОСТАВИТЬ ДРУГУЮ? — СКАЗАЛ ОН НАСМЕШЛИВО.

ОЛЕГ ПОЕХАЛ В ГОСТИНИЦУ ИСКАТЬ ДИНАМОМЕТР, ЛЕВИТОВ, МЕСТНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬ, МАЙОР, ПОЗВОНИЛ ДОМОЙ ЖЕНЕ: ПРОСИЛ ЕЕ НАЙТИ МАЛЕНЬКИЕ ТИСОЧКИ. ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЛЕЖАТЬ В СЕРОЙ СУМКЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ.

СПАТЬ СОВСЕМ НЕ ХОТЕЛОСЬ — В ЭТУ НОЧЬ И ТЕМ БОЛЕЕ В СЛЕДУЮЩУЮ: С ЧУВСТВОМ ОЛИМПЕЙСКОГО ЧЕМПИОНА БЕГАЛА Я НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ, НА ПРИЕМНУЮ

СТАНЦИЮ, СМОТРЕТЬ ГРАФИКИ ПАРАМЕТРОВ СВОЕЙ СИСТЕМЫ, КОГДА ИЗДЕЛИЕ, НАКОНЕЦ, СНОВА ВКЛЮЧИЛИ.

К УТРУ ОТЯ ОСТАЛСЯ КОМОК ЧИСТОГО ЗВЕНЯЩЕГО ТУМАНА. ОН УСПЕЛ ПОЧУВСТВОВАТЬ СОЛНЕЧНОЕ ТЕПЛО И РАСТАЯЛ ПОД ГОСТИНИЧНЫМ ОДЕЯЛОМ.

Сегодня озеро совсем другое — ничего в нем не осталось от тихого нестеровского покоя, иночной темноты леса и грустных отсветов.

Сегодня это молодое озеро, в настроении энтузиазма движения, здоровья, бодрых сил.

Ярко солнце. Над звучащей гладью зеленой воды вибрирует смех. Вьется песок, поднятый волейболистами. Много лодок. Дети верещат в воде.

Каждые полчаса проходит военный патруль — выгонять детей из воды.

— Дядя, почему купаться нельзя?

Солдаты улыбаются:

— Не положено, и все. Приказа не было.

— Вот дураки. Такая жара, купаться не разрешают, — и тщательно вываливаются в песке; снова лезут в воду, пищат, гомонят.

Откуда-нибудь раздается детский крик и подхватывается со всех сторон:

— Патру-у-уль!

— Мужики, атас!

— Патруль в штатском!

— Офицерский патруль!

— Патруль, переодетый в Фантомаса!

Это дети офицеров части. Офицеры части, вероятно, выходили к командованию с этим вопро-

сом — об учреждении прибрежного патруля, пока вода еще холодна.

Вода холодна, но манит в себя, и в ней очень хорошо.

Днем лодка со стариком и иноком не видна на водах ни вдали, ни вблизи. Но она где-то здесь, Я чувствует ее присутствие, может быть, за округлым лесистым выступом, где озеро чуть сужается, образуя своей поверхностью линию горизонта, за которой на недолгое время прячется ночью распухший солнечный шар.

Я отплывает недалеко от берега и чувствует, как и всякий день, ничтожность собственных сил, свою физическую хрупкость и утлость, полную власть над своим физическим существованием этих непомерных стихий — леса, воды, неба, судьбы, человеческой ярости. И, не испытывая судьбу и не стремясь к спортивным достижениям на водах, Я поворачивает вспять, неожиданно едва ускользая из-под весла сзади показавшейся лодки с парой упитанных командированных — тотчас их отличишь от местных поджарых, незатейливо подстриженных вояк.

Пусть на этот спутник и можно будет поставить в случае необходимости какие-то военные вещи — какие-нибудь лазерные пушки, орудия, уничтожающие противника дотла убойным жестким излучением — Я не может нести за это ответственности, Я ведь ничего об этом не знала.

Эта мысль не приносит Я никакого успокоения. Ответственности перед кем?

Он создал эту землю и все, что на ней, и их на ней — чтобы они были. Это единственное, что очевидно.

Что Ему, так или иначе, у г о д н о, чтобы они б ы л и. И хотя Он молчит, Он во всем этом как-то я в л е н. И вот весь вопрос — как? Где Он, а где — не Он, а еще кто-то другой... Другой Гете и Блока, другая воля, Воланд — или все это они же сами: мы. Среди которых и Я. Замешана во всем этом деле.

Людям удобно сваливать все на Дьявола. И взваливать все на Бога.

А если допустить, что никакой третьей силы нет — есть только Он, творческое начало мира, — и они: мы?

Может быть, это какая-нибудь хорошо всем известная ересь? Я ничего не знает об этом.

Это атеистическое воспитание... Приходит новый человек, не тронутый догмой, и внове чувствует Бога, явленного в сегодняшнем мире как он есть. Человек не может быть атеистом. Даже при атеистическом воспитании: слишком уж много над ним неподвластной ему мощи. Смерти. Не чувствовать ее, забывать о ней может только кретин, букашка-однодневка. Все молятся в какой-то момент своей жизни, даже очень дурные люди. Я не встретила еще ни одного человека, который осознал бы себя дурным. Ни одного подлеца, считавшего себя подлецом. С таким же успехом можно считать себя ангелом небесным, гением добра, атеистом, усовершенствователем вселенной — все что угодно...

Когда Я вышла из воды, на берегу рядом с ее вещами сидели двое: Крысь и Олег Кривошеев, конструктор. Он ведал всеми механическими частями спутника. Он очень гордился тем, что он чистый технарь, и все остальное его просто не интересует. «Все это лирика, — бывало, говорил он самым удивительным образом в

ответ на любую попытку рассуждать кого-нибудь из своих коллег. — Давайте ближе к делу». Особенно было у него в ходу огреть этим своим крылатым выражением женщин, которых у него в конструкторском бюро было девять из десяти. Он слыл очень знающим, носил очки, чувствовалось, что он культивирует этот свой особый технарский шарм и манеру обрывать ближнего на полуслове. Я его побаивалась и при нем особенно старалась не предаваться н и к а к о й л и р и к е.

Речь у них с Крысем шла о том, что двое беглых заключенных изнасиловали на днях жену офицера части и привязали, избитую и растерзанную, к дереву, надев ей на голову ее же грибную корзинку. И было это совсем недалеко от КПП — контрольно-пропускного пункта в зону космодрома, тем не менее никакой патруль на нее не наткнулся, сколько она там ни кричала, а нашли ее случайно местные мужики-рыболовы, тайком лазающие в зону по своему промысловому делу.

— Вот уже два дня как всех подняли на ноги, — говорит Крысь. — Так что никаких грибов, слышишь, никаких прогулок — облава идет по всей окрестности. Ясно?

— Откуда же они здесь взялись? — спрашивает Кривошеев.

— Должно быть, из Няндомы сбежали, или откуда подальше, — предполагает Крысь. — Места-то вокруг — зона на зоне. Нашли место для космоса.

Крысь, наверно, думает что Россия — это здание Генерального Штаба на Арбате, Щелковская ветка метро, на которой он живет, ну, космодром Байконур с клопами в гостинице и с дикими тюльпанами в степи —

да еще, может быть, Крым, куда он ездит в отпуск дикарем (а два раза был по путевке министерства обороны, сам хвастался). А может, ничего он об этом вообще не думает. Бог его знает.

А Я их видела. В Няндоме. Когда ехала в командировку на этот новый космодром в самый первый раз. Зимой. Они стояли строем под охраной у шлагбаума, а поезд отправлялся со станции. Я стояла у окна и рассматривала их очень внимательно: Я впервые столкнулась с н и м и лицом к лицу. Ошеломляло то, что они выглядели совершенно обыкновенными людьми. Только со специфическим цветом лица — серым, с желтоватыми, зеленоватыми оттенками, безжизненными, бескровными. Господи! — в тяжелой жалости выло нутро, — да неужто вот этот, крайний, в суконном полушубке, в лице которого Я не вычитала ничего кроме надрывающей душу покорности и терпения, — неужто он тоже что-нибудь такое с о т в о р и л, за что Ты не мог бы его простить?! Да уж не п о л и т и ч е с к и е ли они все? Колонна одних Солженицыных?

— А это разве не лирика? — вырвалось у Я.

— Что? — отсутствующе посмотрел на Я Крысь.

— Не понял? — прищурился из-под очков Кривошеев.

— С СИГНАЛОМ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ, — ГОВОРIT ПОЛКОВНИК ТОНОМ, ИЗ КОТОРОГО СЛЕДУЕТ: БУДЬ У НЕГО, ПОЛКОВНИКА, ВРЕМЯ, ОН РАЗОБРАЛСЯ БЫ С СИГНАЛОМ В ПОЛМИНУТЫ. ВСЕ СТОЯТ ВОКРУГ С ВИНОВАТЫМИ ЛИЦАМИ.

МЫ В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ВКЛЮЧАЕМ СХЕМУ, И СНОВА НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ: СБОРНАЯ СОЮЗА ИГРАЕТ С

ИТАЛИЕЙ, И МЫ ВСЕ ВРЕМЯ ЗАБЫВАЕМ ПОДАТЬ ПИТАНИЕ.

Облака стремительно несутся над стоящим высоко на ракете спутником, и Я знает, поднимая голову: сейчас должно начаться крушение, все начнет падать, падать — на Я... От слишком быстрого лета облаков... Но вместо этого стройная ферма плывет навстречу вместе с основанием, тихо и ласково до головокружения, плывет нескончаемо, и Я роняет голову на руки, лежащие на перилах площадки.

Далеко внизу, под стартовой площадкой таится в ельнике речка, проглядывает сизо из оврага. Поблескивает ржа на малахитовых заводах, и пахнут д о с а м о г о н е б а купавы.

На корму привязанной к берегу лодки прилетает серая пичуга.

Песок еще сохраняет тепло.

Озеро велико.

Его окружает лес.

На шевелящейся глади озера лодка.

Она далеко и близко.

В ней двое.

Я так боюсь Тебя, Господи!

В БУНКЕРЕ ПОЛНО НАРОДУ: ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА, НАЧАЛЬСТВО КОСМОДРОМА... РАЗРАБОТЧИКОВ, ИСПЫТАТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕК ТРИДЦАТЬ... ДРУЖЕСТВЕННЫЕ ФИРМЫ... НЕ ПРОТОЛКНУТЬСЯ К МОНИТОРАМ.

НО ВДРУГ, СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО В ТОЛКОТНЕ И ШУМЕ ЗВУЧИТ СПОКОЙНЫЙ-ПРЕСПОКОЙНЫЙ ГОЛОС МАЙОРА ЛЕВИТОВА:

— ПЯТИМИНУТНАЯ ГОТОВНОСТЬ...
ВСЕ РАЗОМ ЗАМОЛКАЮТ И САДЯТСЯ КТО КУДА.
И Я ВСЕ ЭТО УВИДЕЛА: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОНИТОР,
РАКЕТУ С РАЗВЕДЕННЫМИ ФЕРМАМИ.
ДЕСЯТЬ, ДЕВЯТЬ, ВОСЕМЬ, СЕМЬ, ШЕСТЬ, ПЯТЬ...
— ГОСПОДИ ПОМОГИ, — ГОВОРIT КТО-ТО РЯДОМ.

ПЕТЕРБУРГСКОЕ НЕБО

Трудно себе представить, что можно и сейчас пойти на Лиговку, найти этот дом, подняться с черного хода по лестнице, на которую ни одна дверь не выходит, кроме той, чердачной, на самой верхотуре... Страшно почему-то. Пойти страшно, подняться по лестнице страшно. А между тем дом существует. Он его видит порой из окна трамвая, не доезжая до Обводного. Не может же быть, чтобы там и сейчас кто-то жил. Прощай, позабудь, и не обессудь. А письма сожги как мост.

Люся занимала чердак под видом мастерской. Огромная, чисто выметенная пустота. Сразу же у входа, у двери выгорожена кухня, ванна устроена за хлорвиниловой шторкой. Входишь, и далеко в углу, даже законы перспективы ощущаются в размахе пространства, на четырех чурбачках матрац — универсальное ложе, диссидентское, богемное, студенческое. Всяк, кто горд обладанием этой волшебной вещи, купленной в любой мебельной забегаловке за семнадцать рублёв, а еще лучше, найденной на помойке — уже вне рамок общества, независим: у него нечего отнять, и он присягает на этом диване своей независимости. Это его единственная

собственность, вкупе с десятком книг: Марина Цветаева шестьдесят первого года, Франсуа Вийон, Жюль Ренар, Братья Гонкуры... Шекспир. Почетная собственность. Узнав о существовании списка запрещенных Крупской книг и ознакомившись с этим списком, возглавленным Иммануилом Кантом, Виталий, хотя у него волосы встали дыбом, хохотнул: о н и погорели на Шекспире, шутил он потом всю жизнь. Не введя. Не внеся его в этот ленинский список.

У Люси не было и того. Даже, то есть, Шекспира не было. Зато к окну приварен был фрагмент решетки, откинутый вглубь комнаты, в дух захватывающем художественном исполнении: достойный Санкт Петербурха фрагмент. Свисал с него якобы на цепи, а на самом деле на камуфлированной в цепи проводке опять же немислимо художественный канделябр, сочетавший в себе подсвечники и патроны для лампочек Ильича. Все это было хитро придумано и в высшей степени лихо устроено, что сразу же вызвало неясный укол ревности: не девичьих рук дело. Но освещал здорово — и над койкой, когда читаешь, и таинственно, сходя к порогу на нет, всю жилплощадь, ежели развернуть решетку к стене с окном, перед которым стоял шаткий голый столик, забросанный листами ватмана. Остальные три окна тонко вписывали белесое петербургское небо, белую ночь. Стена против света вся обкноплена рисунками, Люсиными и не Люсиными, так что у него, никогда не сталкивавшегося с искусством в домашних условиях, зарябило в глазах, и все сразу безоговорочно и чрезвычайно понравилось.

Сесть было не на что, если не считать единственного, развернутого к столу стула, массивного, ободранного и старинного, с прямою резной деревянной спинкой и прямыми, готического пошиба, ножками. Хозяйка была так бледна, перламутрова, голубовата, что казалась лунным призраком в своем фантастическом жилище — длинные, по пояс светлые волосы, светлое, бледно-серое одеяние — иначе не скажешь про все, что шила себе сама и носила Люся — и чуть светящиеся, как нимбы на старых картинах, окна, распахнутые на затихшую Лиговку, в небесную светлую ночь: он будто смотрел какой-то диковинный, старинный, несоветский фильм, и притом не про себя, но в высшей степени петербургский.

Впрочем, наваждением казалась вся та ночная встреча, и при том испосланным, выручающим: протянутая с небес рука, дабы вытянуть из поглотившего было до болезни душевной болота и уныния. Так что девушка с бутербродами была фея, и притом всемогущая. Что она страшно бедна, а он сын генерала — не приходило в голову. Долго не приходило. Он был здесь странник, обездоленный и бесприютный, а она — хозяйка замка и бесчисленных сокровищ, он учуял их сразу всей имеющейся звериностью чутья, о равноправии не могло быть и речи. Он в первый раз в жизни нюхнул запаха свободы. Ее свободы, Люсиной. Так что же ему — захотелось отобрать эту ее свободу, или ей причаститься? Глупости, конечно, так ставят вопросы в дурных романах, по большей части западных: никто на самом деле не беседует со своей совестью в словах, словами. И вообще, если говорить вполне честно, он чувствует

только обиду и горечь, и никакой вины. Вообще не чувствует так называемых угрызений совести. В этом стоило бы разобраться, но он не верит больше системным, логическим выводам. Мысли бродят, как облака; с раннего детства это брожение, кружение, коловращение мыслей — самая упоительная часть существования, его, по крайней мере, существования. Чувства он любит меньше — они ошеломляют, ослепляют, лишают последней защиты, последней хитрости, сдержанности. Мысли легче хранить при себе. Мыслями можно жить наедине с собой, тогда как чувства требуют выхода. Конечно, он понимает, что у других людей, иного психического склада все, может быть, и иначе. Но он судит по себе. Он привык судить по себе. Кое-кто, безусловно, счел бы это дефектом его сознания, если бы кому-нибудь вообще пришло бы в голову заинтересоваться его сознанием, типом его сознания, вообще заинтересоваться им, фактом его существования.

Лет в тринадцать, еще живя у бабушки на Лесном, он задумал роман: оказывается, по природе вещей человек бессмертен. Но бессмертен он только как носитель добра, потому что именно он является носителем добра. И поскольку ни один из живущих не справляется, то умирают. Как это выяснилось? Жил один профессор. (Главный герой романа, профессор университета с обликом Крестникова И. М., 1887 года рождения. Видимо, это было верховное существо в иерархии его детских представлений периода преклонения перед Дорой Константиновной: профессор университета). Он жил и жил, и не умирал, хотя ему было уже сто тридцать лет. И на кафедре стали задумываться, в чем дело. Один его ас-

пирант, молодой гений, обожавший Крестникова и преклоняющийся перед ним, догадался: Крестникову удалось во всех обстоятельствах жизни сохранить порядочность. Он был эталоном порядочности, за что молодой гений им так и восхищался. Он помаленьку стал восстанавливать его биографию, разыскивать документы, сопоставлять — и все сошлось. Трудно было выдумывать конкретные обстоятельства и поступки: тут пришлось поломать голову и над освобождением крестьян, и над турецкой войной, и над революцией семнадцатого года. Но Крестников умудрялся во всех обстоятельствах своей жизни, вплетенной в трагический антураж истории, сохранять порядочность (личную порядочность) и справедливость. Конечно, он потерял на этом свое имущество, доходил до крайней степени нищеты и бывал на грани гибели, но всякий раз поступал единственно добродетельным образом, не входя ни в какие нравственные компромиссы в защиту своей жизни, и оставался тем не менее жив. Молодой гений поделился своим открытием с приятелем, аспирантом другого ученого, которому Крестников застал руководство кафедрой, и приятель молодого гения вместе со своим ученым шефом сделали простой логический вывод: чтобы избавиться от Крестникова, его надо поставить в такие условия, в которых сохранить порядочность невозможно — как ни поступи, все чревато либо ущербом для кого-то, либо ущербом для науки. То есть им не надо было, чтобы он непременно умирал, но другого пути пробиться к руководству кафедрой, и, следовательно, проводить свою линию научных исследований, у них не было. Роман закончить не удалось, как раз на этом мес-

те приспели события переезда в Ленинград родителей, и вскоре его забрали на Марсово Поле. А там уже начались совершенно другие настроения и мысли, к тому же баскетбол поглотил весь его суточный резерв времени.

Люся рисовала тушью на ватманах и делала гравюры. На беленом потолке, очень высоко даже для баскетбольного роста Виталия, было написано пальцем по побелке: Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Виталий заметил надпись, разумеется, не сразу, и было жутко больно, чувство обмана, капкана, предательства... Господи, разве можно во всем этом разобраться!

Она ходила по своим нищим покоям как бесплотная серебристая тень и улыбалась тонкой подозрительной улыбочкой — мол, знаем мы вас. А Виталий и само себя не знал. Оказавшись ночью наедине с малознакомой девушкой в ее жилище, он не придал значения времени суток. Он чувствовал себя как потерявшийся в толпе щенков, которого подобрали. У него было одно желание — не возвращаться к родителям. И чувство бездомности.

Никогда он не думал, что так легко и блаженно, так немучительно сможет переступить страшную черту. Они как будто вошли в подводное мягкое царство, и все немножко качалось перед его глазами. Вошли же вместе, держась за руку, и сестра наконец-таки отступила. Он больше не видел ее перед собою. Впервые. Он был в ином жизненном измерении, здесь были другие законы. Здесь глядели один на другого с улыбкой, здесь смеялись и танцевали в длинной серой тунике, называемой платьем, под тихий свист чайника, и мягкий майский свет ночи, подлунного моря, мерцал во всех

четырех окнах, здесь целовались и любовались друг другом, здесь все было можно: глубоко вздохнуть, забывшись от напряженного, мешающего желания и прижаться к Люсе. Он весь дрожал, как будто все его мускулы раздробились на мельчайшие осколки, и каждый дрожал особой, неподвластной ему и независимой дрожью. Она должна была понять его, она должна была его пожалеть. Ему было так хорошо, и он был так беззащитен. И все это она как будто почувствовала без всяких слов и поняла. И когда он сказал утром:

— Я не хочу домой. Я хочу остаться здесь у тебя,

— Хорошо, — ответила она. — Оставайся, — и положила голову ему на плечо, уже когда они стояли, стояли у двери, и он уходил, придумывая, куда ж бы ему теперь уйти, и решил, что заглянет на работу, хотя сегодня не был его присутственный день. Он поцеловал ее так робко, так благодарно, как будто не был выше на голову и сильнее в два раза, — да он так и не чувствовал, он чувствовал, что она может сделать его абсолютно счастливым, если захочет, а может и не захотеть.

Если бы его спросили, он бы сказал, что те ночи были скорее всего — неземная прекрасная музыка, и только на улице она сменялась звонками трамваев и каким-то специфическим шелестом уличной толпы:

шаги и шорох утренних газет,
и шум дождя, и вспышки сигарет
и шелест неприглаженных штанин —
неплохо ведь в рейтузах, Арлекин! —
и звяканье оставшихся монет,
и тени их идут за ними вслед.

Только на работе он подумал о том, что денег мало. Мать не забирала у него зарплату — его девять рублей, но как бы давала ему понять, что если будет очень нужно, попросит. Отец же строго-настроено запрещал давать ей когда-нибудь какие-нибудь деньги, и он не давал, определенно зная, что на водку. Он покупал себе книги, ел в городе, когда не хотелось домой, — и денег, в общем-то, хватало.

И вот он снова оказался на улице один и вспомнил вдруг, что еще вчера ему некуда было идти.

— Боже, как ты мне нравишься! — говорила Люся, когда порой они нежились в постели вечером, после не слишком переполненного впечатлениями дня, когда счастье их объятий было, казалось, единственным их достоянием на свете. — Ты совсем не похож на других мужчин.

— И большая у тебя статистика?

— Что значит?

— Ну, много других мужчин имеется в виду?

— Ты хочешь знать, знаю ли я мужчин? Или сколько их у меня было? Это разные вещи, согласишься.

— Но... Трудно представить одно без другого, — задумчиво и меланхолично говорил Виталий, стряхивая пепел в пустую консервную банку, стоящую у него на груди.

— Остановимся на том, что я знаю мужчин, и при том не с лучшей стороны. Ты совсем на них не похож!

— И чем же? — настораживался он.

— Трудно объяснить. Было бы легче объяснить это женщине, но с женщинами я не говорю на такие темы.

Да и не с кем. Еще никогда не говорила. У нас в языке и слов-то приличных нет для таких объяснений.

Он настораживался все больше.

— Видишь ли, — Люся поворачивалась к нему и целовала его в плечо, в голое плечо, немного замерзшее. — Ты совсем не животное.

— Как это? — обижался Виталий.

— Ну так. Ты в высшей степени человек, со всеми вытекающими отсюда слабостями.

— Да? И какими же?

— Пониженным инстинктом самозащиты.

Как-то само собой разумелось для него — и это было следствием его глупости, — что она на его стороне в этом вопросе, что это ужасающее открытие, если она и верно подметила, — не минус в ее глазах, а даже напротив, нечто вроде ордена себе услышал он своими ослиными ушами в этом признании, что-то вроде мягкого, нежного обещания всегда обнять его и прижать к себе крепко-крепко, что бы там ни случилось, на любых поворотах жизни. Он теперь был не один. Их всегда будет двое. А человеческая пара, если верно найдена вторая половина, это такой крепкий орешек, что только молотом его можно раздробить — морально же он необорим. Здесь ошибка казалась невозможна — Люся воплощала в себе все, что он искал; красива ровно настолько, чтобы каждую минуту его восхищать: руки, ноги, поворот головы, выражение лица. Иногда в ее задумчивости и всегда готовом к улыбке взгляде он читал подтверждение своих давних, давних, детских еще чувствований и догадок о жизни. Обо всем было не переговорить так сразу, но пунктир составлялся, и каждая

новая черточка прибавляла чувства уверенности, чувства твердой почвы под ногами, торжества чуда над реальностью — хлябь восторга, веры затягивала его все безвозвратней: он уже не мог без нее существовать, дышать, жить, двигаться, что-нибудь делать, производить какие-нибудь действия в своем дне.

Она рисовала переплетающиеся ветки деревьев, и птиц, запутавшихся в них, прозрачные струи воды, льющиеся с беспредметных высот в разбитый кувшин, надтреснутую скрипку и развалины замков, заросшие невиданным, сюрреальным бурьяном, в котором проглядывали бабочки с рожицами несчастно-озлобленных уродин жизни. Она говорила, что рисует правду, хотя считалось, что она не-реалистка. Получалось, что мы пленники этой земной красоты, обреченные больные туземцы, вместе с животными, как у Мелвила, обманутые гармоничностью форм. Которые и разоблачались. А что тогда? — Т о г д а он не задавал себе этого вопроса, а просто узнавал ее болезненную правду в ее художествах, и радовался узнаванию. И эти-то узнавания более всего и служили обретению им уверенности, что найдена вторая половина, что он теперь не один, что их двое, и они — необоримая хранящая сила. Спасительная для него. Ну не осел ли? Даже простой, линейной логики не выдерживает это рассуждение, а ему казалось тогда обретением сложной психической гармонии это узнавание ее мыслей, п о н и м а н и е ее. Вообще-то невозможно понимание одного человека другим, как он считает теперь.

И конечно, стихи Бродского. Люся знала его, ее подруга была влюблена в него (безответно, но это не

имело значения). Оказывается, Люся с подругой тоже были на суде, в том самом зале (предопределенность их встречи, мистическая, конечно — а как же!)

Те, кто приходил к ней — их гости — составляли теперь среду его обитания. Он не пытался прислушаться к себе, естественна ли для него эта среда, он принимал ее с огромным подъемом и энтузиазмом, точно начисто позабыв, что те же типы в университетской гуще, притягивая поначалу, вызвали потом какое-то своеобразное уныние ввиду интеллектуальной несостоятельности, ввиду осязаемого отсутствия внутреннего напряжения, поиска. Претило их самодовольство, подбивание бабок в мирообъяснении под свои исходные данные: вот мы — по определению, изначально — лучшая часть человечества, на которую все должно равняться в обществе, а раз этого нет — общество говно. С ним надо бороться. А раз силенок нет с ним бороться, его надо не замечать. Презирать его устои, ходить в рваных штанах — вопиющим укором, эпатажно, а заодно и жить, как получается, даже если получается как-нибудь этак на счет какой-нибудь глупой обывательницы-инженерши, или взять в долг и не отдать: эпатаж. Ведь все виноваты изначально, по определению — перед ними, всеми этими что-то пишущими, рисующими, философствующими... Перед лучшей, то есть, частью человечества. Лучшей по определению, изначально. И все, что мучило Виталия и портило ему постоянно настроение и аппетит, — для них было априори. Они возвели себя в ранг некой самозванной аристократии, к коей Виталий не мог принадлежать по причине устоявшегося неприятия их грязноватых возлияний и нестрогости суждений. Но в то же время и

несколько комплексовал по этому поводу, что мол а вдруг да нет у него какого-то шестого чувства да тридесятой жилки для адекватного восприятия сего поэтического настроения.

У Люси они бывали запросто, но сама она не напибалась до поросячьего визга; приносили с собой — она только площадь предоставляла, то есть, пол, на котором сидели; обилие любви и взаимопонимания страшно подкупало: ему всю жизнь этого хотелось; информация носила ошеломляющий характер: все подробности хождений по мукам Ахматовой и Берггольц, дело Пастернака, самиздатские первоисточники... Здесь пережиты были суды над Даниелем и Синявским, Галанским и Гинзбургом, Прага... Сюда вернулся Бродский из Норенской, просидел целый вечер и промолчал, хотя только о нем и говорили; он же пил, и притом не слабо; Виталий молчал тоже, как и в большинстве случаев.

Да что говорить, может быть, главную часть жизни прожил он с Люсей, и надо только благоговеть, а он обижается и упрекает... Но ведь больно же. До сих пор незабываемо больно, и не проходит, хотя и говорят, что время лечит все.

Информация же, хотя исходила из третьих-четвертых рук, и ясно было, что они не деятели, а именно переносчики информации, информация была главной краской их костюма: де, вчера были у Тани, вернулся Бродский из Ялты, его снова вызывали... Костя Азатовский под колпаком... Эткинда выживают с работы.

И Виталий решил занять активную позицию. Не ему судить, насколько у этого решения были фрейдистские корни, то есть при чем здесь Люся. Конечно, он думал о

ней. Конечно, они «поговорили серьезно». То есть, он сказал ей однажды, что у него нервы не выдерживают сидеть связанным по рукам и ногам в этом липовом якобы социологическом отделе этого липового института якобы обществоведения; что на самом деле это просто синекюра, отсидка и заливание баков фальшивками, и он не о том мечтал для себя в жизни. И в связи с этим он решил податься в журналистику: там дело живое.

Опять были белые ночи, она плавала в сером воздухе своей мастерской в своем сером хитоне. Возможно, это было через четыре года после того, как он остался у нее навсегда, возможно, через пять. Конечно, многое изменилось за это время. Он привык к близости с нею, к физическому присутствию ее в своей жизни — не представлял себе, что когда-то было иначе. Чувствовал себя неотделимым от нее. Соответственно, и ее — неотделимой от себя. По-прежнему боготворил все, что она рисует. А красивой она стала такой, как никогда раньше: она теперь лучше питалась. Как ни мала была его так называемая зряплата, а все-таки необходимость заботиться о нем приводила к тому, что у них всегда был какой-нибудь худо-бедно, да обед — он покупал гуляш в кулинарии, так же, как это делала мать, ходил на рынок за картошкой и зеленью, приучил Люсю есть сырой лук и винегрет. Приносил из дому, где иногда бывал, яблоки и апельсины. В то время как раньше она в иной день ничего не употребляла в пищу кроме кофе и сухонького ближе к вечеру, принесенного вместе с водкою визитерами. И все же были какие-то странности в их «гражданском браке»: например, она не желала регистрироваться. Настолько, говорила, презирает это

государство, что не хочет быть повязанной никакими его институтами. По этой же причине она не шла работать даже на Ленфильм, куда после окончания Института Музыки, Театра и Кино ее через приятелей брали. Нет, сказала она, буду рисовать, если закажут, по договорам. В результате нарисовала две мультяшки и фильм-сказку. Деньги давно проедены. Хочу быть вольным человеком. Каждый день ходить отсиживать, когда работы нет, не дура. Чихала я на их долбаную зарплату. Так что куда уж ему, Виталию, было конкурировать с Ленфильмом.

Когда он заикнулся о том, что хочет познакомить ее с родителями, она нарочито грубо захохотала:

— Да ты что, Талик! После всего, что ты о них рассказывал?! И с сестрой?! Я же не выдержу, я же им такого сказану, что ты сам всю жизнь жалеть будешь. Не стоит, не связывайся, зайчишкин. На кой ляд они нам нужны? Разве нам с тобой плохо живется?

Он находил, что живется им замечательно, прекрасно, образцово-показательно живется, просто выставляй их на всемирную выставку как идеал любви и душевного соития. Только вот надобно как порядочный человек и гражданин отечества занять активную позицию.

— Но это ж биться головой об стену, — сказала Люся. — У тебя что, две головы? Можешь попробовать, конечно, если хочешь скурвиться. Это там в два счета.

— Если бы я хотел скурвиться, я бы давно социологическую диссертацию защитил, — возразил Виталий, удивленный и даже как бы уязвленный ее неполной компетентностью в делах его нравственной жизни. Ну

ладно бы умственной — своим рассуждениям о Бердяеве и экзистенциалистах он, положим, если ее и подвергал, то только разве что в виду подначек ее же собственного окружения, и к ней как таковой никогда ни с чем таким не приставал, — но вот хотел или не хотел он скурвиться — уж об этом она бы должна была знать.

Он написал статью, как он считал, чисто публицистического свойства и пошел с нею в «Звезду» (не исключено даже, именно потому, что этот журнал выписывала мать). Время, когда он работал над статьей, было и остается лучшим временем его жизни. Люся рисовала, он писал. С десяти до пяти, потом жарил картошку. Святое семейство!

Писал о главнейшем — игра ва-банк! Говорить так говорить. Не может быть, чтобы они отмахнулись просто так от того, что он собирался сказать. Даже если заберут в ГБ, он и там повторит все то же самое. Перед любимым начальством. Чем выше начальство, тем лучше. То, что он собирается сказать, должно проникнуть в умы — нет, в души, одними умами тут не обойдешься! — самого высокого начальства, у которого в руках рычаги.

Он писал, что несмотря на то, что Земля молодая планета, на что так уповают ученые, она находится в глубочайшем кризисе, угрожающем ее существованию, если не принять экстренных мер. Это кризис культуры. кризис духовности, кризис религиозного сознания — кризис цивилизации, одним словом. Причем Запад на этой финишной прямой намного впереди Востока. Но и Восток не способствует, не создает никакого такого палиспаста основным критическим тенденциям. Просто болтается в хвосте все того же стремительного движе-

ния к срыву всех естественных процессов. Как младенец, как неофит рассуждал он о металлургических производствах, о дымах, о единственности и невозможности атмосферы, о взрывоопасном тупике технического прогресса... Откуда же было ему знать, скольким и до него затыкали глотку на эту тему? Он писал о кризисе государственности. О безнравственности политики. Он не думал тогда, что не один стучится в эти двери. Он считал необходимым это высказать, раз такие мысли приходят ему в голову, и все сходится, с какой стороны ни возьми. И весь вопрос в том, в состоянии ли человечество изменить свое сознание, то есть взяться за ум раньше, чем катаклизм разразится и оно исчезнет с лица земли, а возможно, из мироздания. Но это не могло быть его вселенским заданием, пунктом программы, так сказать, — самоистребление всегда грех и разрушение творческих посылов, какова бы ни была их природа, не будем сейчас об этом. Он написал такую статью, перепечатал ее на машинке у себя в институте (наконец-то нашел ему применение к пользе общественности) и пошел с нею в журнал. Статью взяли. Читали два месяца, в течение которых он представлял себе, как будет защищать ее положения и внутренне готовился. Тушил гуляш с картошкой. Завел щенка. Сдал очередной отчет о липовых социологических исследованиях, по которому выходило, что каждый второй молодой специалист в стране овладел профессией, о которой мечтал с детства. Он не понимал, как это могло получиться у статистиков — такая чушь. Но получалось — все было заанкетировано: система глупейших вопросов и не менее тупых, формальных ответов. Как будто их тут же заберут на Лу-

бянку, если что не так. На самом деле люди стеснялись и не желали, чтобы у них ковырялись в душе. Вот и все. Щенок жрал много. Выходило накладно. Но хотелось создать для Люси уют и душевный комфорт. Он привык, чтобы в доме была собака. Люся брала щенка в постель — матрац на чурбачках вполне к этому располагал, и тот барабанил по ним обоим горячими мягкими лапами.

Шокировало, что т а к у ю статью все никак не прочтут: мир гибнет, а им никакого дела. Обыкновенные обыватели. Сидят, попивают чаек на работе — прямо как у них в синекуре. А уж листья начинали срывать с деревьев, кончилось лето, без макинтоша, в одном пиджаке не отправишься на работу. Дело с активной позицией страшно затянулось. Не увольняться же из богадельни никуда, на зиму глядя. Люся — на жердочке, он — на жердочке, это уже слишком. Даже в качестве протеста против бессмысленности и уродства этого государства. Ему требовался гуляш с картошкой, не то что Люсе, которая могла не есть. Щенку тоже.

Однажды, придя в очередной раз в отдел публицистики, он застал на месте человека, который ч и т а л его статью. Трудно было сказать с уверенностью, на гуляш тому хватало или нет. На нем был потертый свитер, не без хиппового шика. Это могла быть маска, сценический костюм. Он был плохо побрит, но со следами тщания.

— Вы понимаете, — сказал он. — Судя по вашей статье, вы неглупый человек, только очень молодой. И я позволю себе роскошь так с вами и разговаривать. Как с человеком умным. Ну скажите пожалуйста, ну кто вы такой, чтобы ваши глобальные помыслы тиражировать

в сотнях тысяч экземпляров. Вот если бы у нас была частная лавочка — тогда другое дело. Один плетет то, другой это — и никто ни за что не отвечает. У нас же орган, вы посмотрите на обложку, орган государственной политики. И вдруг — какой-то мальчик сказал... Так, как вы пишете, позволяется говорить разве что академику какому-нибудь с мировым именем. Таким тоном и о таких вещах. Это немного смешно, простите меня. Но я вам добра хочу. Вы мне глубоко симпатичны. Начните с малого. Хотите, я вас отправлю в командировку. В Сибирь, на Сахалин. Соберете материал, напишете проблемную статью. Это высший пилотаж в журналистике — проблемная статья. Все мы начинали с репортажей. Но раз вы такой умный — то попробуйте. Дерзайте!

— А зачем ехать? — угрюмо спросил Виталий. — И так все понятно. Один уже ездил в конце прошлого века. Ничего не изменилось. Я бы так вообще отдал этот Сахалин японцам, чем гробить землю.

— Ну знаете, с таким подходом. Это несерьезно. Я вас принял за серьезного человека.

— Вы искренне считаете, что только несерьезный человек может считать экономическую политику в отношении окраин колониальной?

Сотрудник отдела публицистики оглянулся. Это было так явно, что Виталий чуть не рассмеялся. Но не рассмеялся, так как был слишком подавлен.

— Пойдемте в буфет, — неожиданно сказал сотрудник. — Попьем кофе.

Заплатив за обе чашки и растворив сахар, он продолжил:

— Понимаете, можно написать проблемную статью, избегая таких вот резких ярлыков, перегибов. Тем более, если вы человек со вкусом. Корректно, по сути дела. Так, как вы хлещетесь словами, только дурные газетчики ломают. Только они это делают на своем политическом жаргоне, а вы — на своем философском. Сейчас идет совсем другая струя... Чтобы стать профессионалом, надо постичь множество тонкостей, условностей профессии. Искусства публицистики, я имею в виду. А вы думали, что можно прийти с улицы и так вот базарить, как на кухне... определенного толка. Вы думаете, мы бы тоже не хотели? Я имею в виду, распустить язык и болтать, что в голову придет. Но мы боремся, серьезно боремся за лучшее в определенных, не нами заданных условиях. Это всегда так было, искусство всегда считалось с установлениями властей, церковью, соблюдало каноны — но создавались же великие произведения. Бах, Эль Греко, Веласкес... Только и делали, что писали портреты начальников. И умудрялись же, умудрялись сказать что-то свое. Подумайте. Сейчас же, как только надумаете, отправлю вас в командировку от журнала. У вас есть слог.

Виталия задел намек на кухню... определенного толка. Имелась в виду Люсина мастерская. Может быть, они тоже под колпаком у ГБ? И эти два месяца ушли вовсе не на чтение статьи, а на запрос в картотеку органов? И теперь его вербуют? Сотрудник казался подозрительным, двусмысленным. Виталий поплелся пешком на Лиговку. Накрапывал дождик, неприятно намокли носки в прогалах между башмаком и штаниной. На душе было паршиво.

— Господи, ну что ты хочешь, — сказала Люся. — Сразу видно, что ты еще не нюхал объятий Совдепии по-настоящему. Остатки комсомольских иллюзий. Не говорил он тебе еще, что у него жена и дети на печи плачут?

— Да, говорил, — удивленно вспомнил Виталий.

— Ну, полный набор беспартийного джентльмена. Значит, он даже и не начальник отдела. Даже и не зам-начальника. Просто шесть. Так, поболтал со скуки. С умным человеком. Приобщился.

— Грубо, Люся, — вяло запротестовал Виталий. — Может быть, что-то и верно из того, что он сказал. Только сил очень много надо. Целеустремленности и верности себе.

— Ну, Талик, ну ты и хохмач! Что ж это они — от целеустремленности и от верности себе пишут все, что они пишут? Весь этот мрак и маразм в стране — от их целеустремленности и верности себе?

— Нет, Люся. Не то, конечно. Не так все прямолинейно. Понимаешь, мне кажется, диссидентское движение обречено. И оттого что почвы у него нет — а это действительно так, «страшно далеки они», то есть вы, от народа... Так это было, есть и будет видимо, до скончания века. Но это отдельный вопрос. И сильно смотрите на Запад. Запад нам не помощник. Он сам у гробовой доски, но дело даже и не только в этом. Ты же читала мою статью. Там все это написано.

— Не заметила. Довольно безобидная статейка, по моему. Слишком абстрактная, вот им и не по зубам.

— Ну как же, ну как же, — ерошил волосы Виталий. — Я же для того ее и писал, чтобы вы поняли. Мир сей-

час — два конца одной и той же палки. И на обеих — тупик. Этот режим нельзя взять извне, потому что ниоткуда нет истинного света. Его возможно одолеть коридорами власти, но это будет страшное крушение, космическое. Драка в волчьей стае. А надобно искать истинный свет, вот о чем эта статья.

— И он, по-твоему, в народе? А если народ — говно? Может, и хорошо, что мы от такого народа?.. Чем дальше, тем лучше?

Виталий повалился на топчан. Он так прекрасно помнит этот день, потому что лежал и думал: вот мы с нею близкие люди, ближе нельзя, но и между нами возможны разногласия. Как выразить то, что в душе? Вот она рисует, и я прекрасно чувствую, а я — не могу. Ни рисовать, ни объяснить. Недоумок. Невыразимо. Не-не-не... Далеко не уедешь на этом не-е-е... Как достичь «ДА!» — всему, что есть в тебе и вокруг. «ДА!» — Богу и сотворенному Им миру, каков бы Он ни был — Бог. А мир? — мы не можем мириться с ним, каков бы он ни был. А вдруг — уже в который раз посетила его всегда ужасавшая мысль — мы, то есть культура, совершенно неправильно представляем себе Бога? — То есть не атеисты, а именно религиозные представления совершенно то есть ложны. С атеизмом ему как бы давно все было ясно — это чушь, и вредная притом. Человек религиозен по природе, в силу ограниченности сознания и творческих сил. Он не может не чувствовать на себе дыхания превосходящей его понимание Природы, сил, вихрящихся в верхних и нижних безднах. В силу этого он не может быть атеистом, а может, и бывает, только самодовольным и самонадеянным болваном, разруши-

телем. Атеизм разрушителен неизбежно, поскольку посягает на неведомые ему механизмы, думая, что никто ему не указ. Но вдруг и Бог — это трансцендентное вихрение сил — совершенно иное нечто, чем тысячелетиями судили о нем земные мураши. А может, именно так и «задумано» — чтобы в боли, в страдании, в постоянном упоении кровью... Может, упоение кровью как раз и требуется, чем больше, тем лучше... Стадо баранов, растимое специально на убой, на пищу Господнюю... Во обеспечение Вечности и бесконечности в о п л о щ е н н о й: в этом и весь смысл творения, и нет другого. И весь тебе истинный Свет. Пока это стадо баранов существует — есть и Он. Не будет стада — молчащая механическая вселенная, то есть что значит вселенная — никем не заселенное молчаливое духовное пространство, обескровленное, обезболенное, театр законов Кеплера. И надобно только возлюбить быть этим бараном, и породить из себя, из своей плоти еще несколько барашков — вот и все, что требуется.

Ему стало страшно, и он вскочил. И те, кто приносили в жертву плоть баранью, как бы вместо себя, отсрачивая тем самым жертву себя... Признавая тем самым право Бога на себя... На барана, на корову, на ближнего... И любое убийство, ведь в основе его — гнев, праведный гнев: а-а-а! Раз сегодня ты, а завтра я, так пусть же сегодня ты! Ты, сука, сволочь, жрешь, радуешься жизни, отобрал у меня то-то и то-то... Получай, а мне отдай свое — до завтра, до моего завтра. Только то, что есть — а ничего больше и нет — для плоти, во плоти и крови. Иное все — для духа, для бесплотной то есть тени в театре законов Кеплера. Иное все — бес-

кровное, как во сне, только в образах, как в искусстве, без боли... Боже мой, да единственное наше зло — это боль, даже не смерть, а именно боль, и притом плотская боль... Чисто человеческое, и только человеческое понятие — зло. А значит, и нравственность — кровная, истинная потребность человеческой жизни, чисто человеческая, и никакой тут Бог совершенно ни при чем! Природой-то, Богом этим самым, вихрением сил — все дозволено, но тем более не дозволительно в собственных его, человека, интересах! Ведь это ему — больно! Ему, ему нужна эта чертовая, пардон, эта... эта... ненаглядная наша нравственность, и никому больше! Вот почему — не дозволено, ни в коем случае не дозволено, потому что заступиться-то некому! За человека некому заступиться, кроме него самого, вот в чем Тайна Творения: что он, человек, — баран на бойне Вечности, Агнец Божий. Господи, какая же любовь во Христе, этом Александре Матросове между людьми и Тайной Творения, должна связывать людей, чтобы они жили свою короткую жертвенную жизнь сносно. Сносно, достойно, прилично: делились друг с другом, пестовали, лечили, поддерживали, держали за руку умирающего и провожали его с любовью... Он хотел рассказать все это Люсе, но чувствовал, что у него не получится — как-то невыразимо.

Надо было увольняться из синекуры и впрягаться в лямку малых дел ценой больших усилий, по совету сотрудника. Грело то, что, может быть, там он и встретит, найдет, обретет свой круг — идейно близких людей. Потому что Люсино окружение было очень далеким. Об институте, синекуре то есть, и говорить не приходилось.

Блатная контора, куда попадали люди совершенно определенного толка — совобыватели, возомнившие себя интеллигенцией. На самом деле цель жизни была у них одна: чтобы в лучшем городе из возможных, на лучшей улице, в лучшем доме, и чтоб не дуло. И иметь при этом респектабельную видимость, в том числе и для самих себя. Вот и весь академический кодекс. И как он мог туда затесаться? — Ну да, он же рассуждал... Смешно вспомнить. Доктор наук из этой лавочки подошел к нему после госа и сказал:

— Познакомился с вашей анкетой. Не хотели бы заняться совершенно новой областью обществоведческих исследований?

О, ради Бога! Почему бы не заняться для начала хоть чем-нибудь? Тем более, что состояние общества, прямо скажем, в шестьдесят-то третьем году заслуживало всяческого внимания. А что оказалось, в результате? Липа, сплошная липа! По анкете выбрали — сынка комиссарского, проректорского, чтоб идейно и морально устойчив, и четко бы мог зазубрить устав: что, о чем и как исследовать, дабы в результате этих исследований получалось что надо. Не дай Бог выяснить что-нибудь эдакое, вдруг противоречащее исходным положениям основоположников. Цитата — и к ней иллюстрация, вот и все исследование. И уж так, будь добр, разработай методологию, чтоб все сходилось. Вот тут-то тебе как раз и достойная творческая задача. И пока-то он в этом разобрался! Это же не вдруг стало так уж ясно... Но ведь теперь-то уж ясно? Так чего же мы ждем?!

Золотые вдруг дни, In den einsamen Stunden des Geistes Ist es schon in der Sonne zu gehen An den gelben

Mauern des Sommers... Георг Тракль, которого как раз читал и, восхищенный, переводил с листа Люсе: В часы одиночества духа... как прекрасно под солнцем... вдоль желтых лета оград... Это буквально были желтые, тугие еще купы вдоль оград Летнего сада, сквера за Русским музеем... В сером мраморе спит сын Пана сном непробудным... Что нам, спрашивается, этот Пан? У нас если и был когда-нибудь свой кто-то — давно выветрился из крови. И как там уж его звали — не вспомнишь. Однако же, безымянно, но чувство живет: чувство утраты. Беспредельно безмолвье опустошенного сада... Мертвый солдат умоляет нас помолиться... Бледным ангелом входит сын В опустошенный дом своих предков... Сестер, что уходили далеко, спящих нашел перед домом своим, возвратившихся из печальных паломничеств... О как волосы их свалялись в кишасщем червями дерьме... Эти псалмы в час полуночных огненных ливней Когда чернь крапивой стегала по кротким глазам!

Впрочем, точнее, точнее. Это еще не сейчас, это позже. Немного позже.

Сейчас Люся в невероятно любимой коричневой шали с цветами, блеклыми и роскошными, как с декадентских натюрмортов Сапунова. Обернута шалью поверх серенькой своей льняной хламиды. Тут есть немножко лукавства: под хламидой — шерстяное белье, штопанное-перештопанное. Мужское. Он не знает, чье, но давно смирился. Главное, что они счастливы. Вдоль желтых оград лета. Заходить в антикварный на Невском и неожиданно цепко схватывать в руку блестящий рисунок Юрия Анненкова, живьем. У Люси розовеют скулы. Она шепчет ему на ухо:

— Двадцать рублей, Талик! У тебя есть?

У него есть, есть у него! Но ведь если уйти из синекуры — то и не будет. И что тогда?

Россыпи книг, мирискусники, сборнички Ахматовой и Кузмина, Станислав Пшибышевский, которого Люся желает рисовать. Где же это все было, где тлело, в какого объема шкафах, в два ряда: бабушкин выцветший абажур, и тот — ветхий- ветхий, а тут встречаются частенько нетронутые обложки, просто как новенькие! Уж не нераспроданные ли тиражи? Невероятно! Сейчас миллион тисни — разлетится. Или нет? Вот тут-то тебе и предмет социологического исследования — да существует ли еще ниточка связующая дней? Да знает ли кто-нибудь еще за пределами столичного града Питера, кто такая, скажем, была эта самая Зинаида Гиппиус, и чем она дышала? Знает ли, скажем, отец? Или мать? Или сестра?

Он приезжал не Лесной, к бабушкиным соседям — теперь Ирининым — и убеждался, что нет, не знают. Они читают, но... «Семью Рубанюк». И Ирина не знает. Отец знает: Гиппиус — оголтелая контрреволюционерка, сбежала с Мережковским от заслуженной расплаты. Смылись. Натворили дел — Керенского подпевалы — и умыли руки. Слабенькая, слабенькая ниточка, но все же есть: слышал, что такие вообще были. Сестра не слышала. Она теперь «не могла себе позволить растекаться по древу»: «специалист должен быть подобен флюсу»: та область акустики, в которой она теперь работает (распределилась на ящик), не терпит отлагательства. Виталий знал: танки эта не терпящая отлагательств область. Его трясло.

Вернувшись домой после социологического опроса, он твердо решил уйти в журналистику.

И тут ему повезло (впрочем, кто теперь может сказать — что было удачей, а что — крушением судьбы, шаг за шагом). У Люси была подруга в Москве, художница на телевидении (вместе учились). Она приехала о ту пору в Ленинград с мужем и пришла к ним в гости. Муж ворочал делами в министерстве (тяжмаш, гигантская отрасль) и, среди прочего, рассказал про Пресс-центр, ребята в котором «поднимают серьезные проблемы в экономике, экологии, загребают и социальный срез в пределах возможного и вытесняют понемножечку с полос газет трескучую штампованную браваду серьезным, фактологическим подходом.» Прочее же было: приятная, располагающая внешность Витольда (как и подруги-художницы), диссидентские подначки и все тот же поток информации — кто куда свалил и кого посадили. Ничего им не сделать, у них никакой социальной базы. Этот строй потому-то и стоит крепко, что он действительно народный. В том смысле, что народ вполне устраивает — пусть хоть половина в лагерях, там им и место, лишь бы каждую пятилетку понижение цен. Какое циничное рассуждение, заявил возмущенно Виталий. Не может быть таким великий русский народ. Он просто ничего не знает.

— Да все он знает! — отмахнулся Витольд. — Все он чувствует и чувствует, у всякого народа великий инстинкт. Просто он ненавидит интеллигенцию как класс биологической ненавистью, перенесенной еще с господ его рабским генетическим кодом. Россия исторически за-

пущена, в силу патологически задержавшегося крепостничества, и боюсь, что необратимо.

Сейчас такое положение, сказал он. что этот строй не взять ни извне — весь шар вдребезги разнесем, — ни изнутри: нет никакого серьезного сопротивления, достаточно массового, и никогда не будет, как я уже сказал. Другое дело, что лет этак через двадцать-тридцать он сам даст крошечную экономическую трещу, и об этом стали догадываться сейчас уже и в сферах, близких к верхам. Но если до этого допустить, крушение будет погребальным для всего этого государства. От него одни щепки останутся, страшно отсталые, обугленные и безнадёжные в мировом плане. Единственный путь — постепенное реформирование сверху, но для этого должна развиться серьезная, влиятельная оппонирующая группа в коридорах власти, чего пока что не наблюдается... Но что неизбежно.

Они приехали на своей машине, Витольд водил прекрасно. Разъезжали по окрестностям, предпочитали старые названия: Ораниенбаум, Куоккала, Царское. Люся чувствовала себя с ними удивительно свободно: она с в о б о д н а и от этого, думал Виталий. От социальных комплексов. В своей серенькой хламиде как ни в чем не бывало входила в ресторан «Астории», куда пригласили их Витольд с Верой пообедать. Поездки их вчетвером выливались в «именины сердца» — золотая листва, дворцы, амурчики, прекрасное знание осматриваемого материала — Люсей и Верочкой, и преподнесение этого материала Витольду, так что и Виталий оказывался охвачен познавательным катарсисом. На природе они выглядели очень красиво — Витольд в простой куртке и

приличествующих путешественности хлопчатых штанах не подавлял чиновностью, все было мило, естественно, просто. В такой-то обстановке Виталий и расспросил поподробнее о Пресс-центре — нельзя ли как-нибудь заделаться что-нибудь ленинградским корреспондентом?

— Приезжай, позвони, — небрежно откликнулся Витольд. — Вообще, приезжайте вдвоем, — воодушевился он тут же, и таким образом сразу поставил Пресс-центр в зависимость от Люси.

— Нет, серьезно, — настоял Виталий. — Я приеду в самые ближайшие дни. Я настроился.

— Давай, — откликнулся Витольд. — Познакомлю с начальником, сам выясняй, что и как. Я, честно говоря, от этого дела далек. Шапочное знакомство.

Это звучало опять же таки мило, поскольку очевидно было, что Витольд летает выше какого-то там начальника Пресс-центра.

По благу этот или не по благу, прикинул Виталий. Решил: при его целях и задачах это не имеет значения. Мелочи.

Трудно сейчас представить себе, но это, кажется, был самый спокойный интервал в его жизни. Он хотел действовать, и все. Остальное у него было: любимый человек рядом, каждый день, каждая минута — содержательны, целостны, наполнены: то, чем они с Люсей жили — как это ни трудно сформулировать — вполне идеально совпадало с его внутренней ценностной шкалой. Ее окружение, довольно чуждое и воспринимаемое, с течением времени, критически — не в счет. Она прекрасно дышала и прекрасно рисовала рядом, сама

была прекрасна, целый день, собственно говоря, на это и уходил. Плюс мысли.

В общем, он собрался в Москву. Вставал вопрос о том, где преклонить голову. В Москве жила еще одна кузина, внучка другой бабушкиной сестры, уехавшей из Петербурга еще до революции, но он даже адреса ее не знал: жилплощади она не имела — «не дали,» — что-то где-то снимала с неизвестным ему мужем-киношником, да он и видел-то ее давным-давно, в детстве, так что и на улице бы вряд ли узнал.

— Вера прекрасно вышла замуж, — помнится, сказано было ему дома после обеда в «Астории».

— Она стоит того, — ответил он, не задумываясь. — Она не так красива, как ты, но в вас много общего.

— Красива? Вера? — Люся ласково смеялась над ним. Часто. — Талик, ты ничего не понимаешь в женщинах. Верка всегда пользовалась успехом. Ей было из чего выбирать. Она же страшно сексуальна. Неужели ты не чувствуешь?

Ему слегка кровь бросилась в голову.

— Нет, я не чувствую.

У отца были хорошие, верные друзья в Москве, старые однополчане, частые его гости и, кажется, служебные покровители. Но это он отверг сразу. Оставался вокзал.

Черт с ним. Не это пугало. Выдержит ли респектабельность Витольда это испытание? У него тогда не было еще окончательного ощущения, насколько «серьезные проблемы экономики» с «фактологическим подходом» серьезны и важны для самого Витольда, насколько органично связаны с его житейской прагматикой.

К тому же Люсе приснился сон (билет до Москвы был уже у Виталия в кармане). Он сразу задумался над этим сном, но оценил его много спустя. Хотя и сейчас еще он бы не смог сформулировать открывшегося ему много позже смысла этого ее сна.

Как будто она идет в дорожной экипировке, в шортах, с кем-то — но не помнит, с кем, — в прекрасный солнечный день по жаркому, жаркому плоскогорью. И вдруг на нее обрушивается водопад. Но не сильный, губительный, а приятный и освежающий, как морская волна в жаркую погоду. Я, рассказывала Люся, прижалась к отвесной скале на краю плато, схватилась за ветку попрочнее — это оказалось деревце осины — и подняла голову кверху, к солнцу, подставляя лицо под теплые, чистые, голубоватые струи. И тут я увидела сквозь радужные потоки наверху, на скале надо мною, немножко сбоку, человека с собакой. На нем были высокие охотничьи сапоги, и он сказал, что эта земля — его, и он приглашает нас в свое поместье как гостей.

Это оказался Глан, лейтенант Глан. Да, именно так, ни больше, ни меньше: лейтенант Глан в собственном поместье! Величиной с небольшую европейскую страну. Ее поразила пустынность долины, в которую они спустились — знаешь, как на Пицунде вокруг Дома творчества: изумительное место, и никого рядом. И тут нам открылось море — серебристое северное море. И дом на берегу. Двухэтажный белый дом с опоясывающей верандой. Представляешь? И Глан сказал, я уже не помню, как это было в словах, но смысл тот, что я могу здесь остаться жить, если захочу, и безо всяких условий, просто если захочу как следует, а это узнается.

— А пока отдыхайте. Там, на втором этаже, выберите себе комнату, какая понравится. В доме никого нет.

И вот я уже на втором этаже, и там никого нет. Я иду и смотрю на двери. На одной написано «Белые платья», на другой — «Розовые», на третьей — «Зеленые платья». И я не вхожу ни в одну из дверей, потому что думаю: ну что же это, ходить всю жизнь в розовых платьях. И тут в конце длинного коридора, на балконе, появляется он, и на лице у него ласковая, но и немного насмешливая улыбка.

— Я вам помогу найти дверь, которая вам подходит, — говорит он и постукивает пальцами по перилам. — Странно, что вы ее не видите. Она прямо перед вами.

И тут я поднимаю голову, и действительно, прямо передо мной дверь, на которой написано: «Я». Я оборачиваюсь, а его уже нет на балконе. И я думаю, во сне: «Что бы это значило? «Я» — это я имеюсь в виду, или он, или кто-нибудь еще, о ком я и представления не имею? И у меня страшно заболела голова. Ты же знаешь, я не люблю умных разговоров, я люблю запахи, цвета, ощущение влаги и тумана, люблю в и д е т ь перед глазами красивое, а тут — «Я»! Мое ли это «я», или лучше ходить в розовых платьях, все время их перекраивая? Я потрогала эту загадочную букву, она была такая холодная и неживая, как металлическая, и вдруг, под моими пальцами, она потеплела, стала розовато-перламутровой и такой приятной на ощупь, как будто кто-то коснулся пальца лепестком цветка, и запахло лилиями. И перед моим взором пронесся в одно мгновение Невский проспект, пустой и прекрасный, как в са-

мую лучшую из белых ночей, и Париж, и Венеция, и даже Лозанна — уж не знаю, как я ее узнала, но только это была она, мне откуда-то стало известно. И все они были пустые. И прекрасные, будто все их нарисовал Франческо Гварди. И я вошла.

И сразу надела белое платье. Выкупалась в душе, и надела. Там было так много всего, в этих шкафах, что у меня не было времени разбираться. Я наскоро выбрала простое белое платье, какое мне, я знаю это просто как художница, профессионалка, очень идет, и надела. Но не было зеркала. И, однако, я видела себя как бы со стороны, и находила, что неплохо. У меня никогда раньше не было такого платья. Оно мне только присниться и могло.

И вышла на веранду, к обеду. Или к ужину, может быть, не знаю, только на веранде к этому времени было целое общество. Человек двадцать. И по-моему, я точно в этом не уверена, все мужчины. Нет, было несколько женщин. Но такие тусклые, что даже не интересно. Только одеты все очень хорошо. Все сидели за столиками, сервированными столиками с едой. Понимаешь? С цветами. С бутылками, с прекрасной посудой — ну все как должно. И один из троих, сидевших со мною, обратился ко мне и сказал:

— Вы, наверно, представляете себе, где вы?

— В том-то и дело, что не представляю! — ответила я, а тот человек просто наклонился и поцеловал мне руку, без всяких объяснений. И тут подошел он и тронул меня за плечо. Я обернулась к нему, его улыбка была все так же насмешлива.

— Вы?! — спросил он. — Вы?! Неужели это вы? Неужели?

— Наш друг Глан... — начал тот, кто говорил со мной перед этим, но дальше я ничего не поняла. Тогда он присел с нами пятым и сказал:

— Знаете, Дориан, что вам дальше ходу нет?

И тут я проснулась. Было такое тревожное, но и такое обворожительное чувство, что будто бы должно со мной случиться что-то такое, такое... Но ничего не случилось!

ИСПОРЧЕНО

Небо выстужено до радуги. Над землей клубятся пары. Плотные белые облака обнимают шпили трех вокзалов, грузовики и трамваи. Случается, фигурки людей целиком поглощены морозным дыханием, выскакивают резко, неожиданно, прямо на красный свет.

Песковатный торопится встретить после работы жену и, чтобы добраться живым до места, сворачивает в холл гостиницы «Ленинградская», пообогреться. Изображая интерес к сувенирам и к Союзпечати, Песковатный не прерывает своих мыслей о том, что к зиме в конце концов нужно готовиться как следует. Носили же раньше и шубы на лисьем меху — почему они исчезли, неизвестно. Впрочем, кое-кто встречается из мужчин в заграничных дубленках, ну да в широкой продаже их нет, и не о чем говорить. Но почему он до сих пор не сделает определенного волевого рывка для приобретения пальто из хорошего, плотного драпа, на вате, с воротником их меха, — непонятно.

Ирина, впрочем, тоже ведь жалуется, невзирая на такое именно пальто и сапоги «Аляска» мехом внутрь. Все дело в том, спохватывается Песковатный, покидая теплую вертушку гостиничных дверей, что она-то вечно опаздывает, а ждать приходится ему. И вот сегодня, уж в такой предельный мороз, пусть только на минуту появится позже, чем положено ей быть!

Но Ирина на месте. Они приближаются друг к другу и мысленно целуются.

— Ах, как я люблю, Гриша, — говорит она, — закончить иногда работу вот так, раньше обычного. За-

стать солнце, спихнуть Андрюшку бабушке. Ведь мы пошляемся с тобой сегодня, верно?

«Пошляться» всегда значит только одно: магазины с заходом в кафе, сбитые сливки. Причем путать Ирина не любит — или тряпки, или книги с пластинками. И Гриша никогда не заводит собственных планов. Вот с этой минуты он определился: отыщет и купит сегодня «Системотехнику», раз они идут в книжный.

Они чуть не теряют друг друга в метро, и в магазине Песковатный не выпускает из своей руку жены.

Никакой «Системотехники» не оказывается, и они поднимаются наверх, к беллетристике, строя друг другу подножки.

Оказывается, распродано несколько книг, выписанных у нее на карточках из годовичного плана издательств.

— Но вчера я спрашивала у вас по телефону про Киплинга, вы сказали — не поступал. А сегодня — распродан! — жалуется Ирина продавцу.

— Было всего десять экземпляров, — заученно отвечает серощекий продавец, не взглянув на нее.

Ирина растерянно прячет в сумочку свои карточки и говорит человеку в натянутой на уши потертой шапке — он понимающе улыбался все время:

— И всегда вот так. Всегда.

— Очень вам сочувствую, — откликается человек в шапке. — Я сам не достал Киплинга.

— Правда? — Ирина оживилась, отошла от прилавка вместе с ним. — А вот вы скажите мне, пожалуйста. Вы ничего не знаете, был такой поэт, Мандельштам? Я про него в журнале прочла. Мне очень понравились его

стихотворения. Два. Ну вот, они мне понравились, и я увидела его в тематическом плане. Выписала — я все выписываю — и жду. Но — нету. Год кончился, а все нету. И не распродан, а просто не было. И в том году, и в этом. Ничего не знаете?

— Не знаю. Понятия не имею. Сам четвертый год жду.

— Ну, простите пожалуйста. Большое вам спасибо. Прощайте. — И Ирина уныло пошла в другой отдел разыскивать своего мужа.

— Отчего ты так расстраиваешься, не понимаю, — пытался урезонить ее Песковатный. — У тебя прекрасные книги. Все классики. Лучше Пушкина или там Достоевского все равно ничего не выйдет на днях, не беспокойся. И потом, ты все-таки инженер, а никогда я не видел у тебя такого загнанного вида по поводу какой-нибудь «Системотехники», положим. Не поверю, что ты так идеально следишь за своей специальной литературой — в книжном магазине тебе нечего делать, кроме как расстраиваться из-за каких-нибудь поэтов, издаваемых по десяти тысяч штук на пробу узким специалистам.

— Конечно, конечно, Гришенька, ну все правильно. Я не расстраиваюсь, не думай.

Из магазина пошли уже без всякого плана, никуда не направляясь и не договариваясь.

— Больше всего я боюсь, что ты плохой инженер. Уж очень ты легкомысленная. Послушай, Ирина, мне было бы очень неприятно узнать, что ты плохой инженер.

— Уж я постараюсь, — засмеялась она; смех был родным, интонации тоже были родными, и от этого снова стало празднично, хорошо. — Я постараюсь, чтобы до тебя это не дошло.

Дома дружно приготовили ужин. Песковатный вынул из портфеля мясо. Помыл его, порезал тонкими ломтями очень острым ножом — таким острым, что Ирине запрещено было им пользоваться.

Вошла в кухню Ирина и попросила стянуть с нее сапоги «Аляска». После этого пришлось снова помыть руки.

Сочные куски телятины Песковатный слегка отбил и бросил на сковородку. Она тем временем не успела очистить и двух картофелин, и картошку тоже пришлось чистить самому. Потом он подставил скамейку к одному из высоко вделанных в стену белых шкафов и выбрал маленькую банку с маслятами из громоздившейся там батареи припасов. Всякое действие в доме радовало его — после многолетней очереди на квартиру, после скитаний по общежитиям и бесконечной смены дорогих, грязных и зависимых от хозяев частных квартир.

Наконец, все было приготовлено на белом кухонном столе. Песковатный внес второй стул из комнаты, но есть пока не начал, глядя на яркие с мороза круглые щеки Ирины, на мелькание вилки в ее руке и ямочки на руке и щеках. Протянув руку к «Спидоле», Песковатный пошарил по шкале и задержался немного на какой-то передаче, а когда хотел ее переключить, было поздно: Ирина смотрела в угол остановившимися глазами и руку его от «Спидолы» отвела.

«Уважаемый господин доктор, — звучал в их маленькой светлой кухне голос невидимого диктора, — мы обращаемся к вам из последних сил и потому, что больше помощи нам ждать неоткуда. Мы близки к смерти от полного отсутствия витаминов и недостаточного питания. Может быть, вы найдете способ хоть чем-нибудь помочь нам, когда узнаете, хотя бы куском хлеба.

От пятого барака Василий Смирнов».

И другая записка хранится у доктора Глигорича:

«Господин доктор! Нет на свете таких слов, чтобы выразить наши чувства к вам. Вчера мы получили от вас продукты. Впервые за много дней ели. Мы плакали. Вы продлили нашу жизнь на несколько дней, а может быть, спасли нас.

От пятого барака Василий Смирнов».

Судорога пробежала по лицу Песковатного. Слез ее он вообще терпеть не мог. Теперь бессмысленно уговаривать ее есть.

Он ушел в комнату, хлопнул дверью и долго прижимал ее к притолоке. Ей очень просто испортить что угодно, даже такой хороший день, несмотря на лютый мороз, когда она в кои веки раз не опоздала.

— Ничего не понял, — сказал Сережа. — Я — Песковатный?

Мне некуда уйти поплакать, как моей героине: мы живем у добрых знакомых, точнее сказать, у моей сослуживицы в маленькой комнате — осенью мы отдали деньги вперед за предполагаемое жилье, а соседи по коммуналке нас не пустили там жить, и мы остались на бобах. На работе мне кое-кто сочувствовал, и Диана

сказала: «Ладно, не отчаивайся, из любого положения можно найти выход. Пока мой ребенок у бабушки, поживете у нас, в Иерусалиме. А тем временем что-нибудь себе подыщете». Так что я не могла ходить к ним плакать в большую комнату, где они лежат на диване и смотрят телевизор совсем про другое.

Поэтому я проглотила ком и сказала Сереже:

— Нет, ты — поэт Манделъштам.

И тут же почувствовала, что он обиделся, на что я совершенно не рассчитывала. Мне ведь было так грустно, и все.

Я понимала: он хотел сказать, что это моя вина, что ему непонятно, я должна писать, чтобы было понятно — и ему, и всем, тогда меня будут покупать, и я смогу бросить работу. В общем, он хотел мне же лучше.

Я представила себе, что будет, если я напишу этот рассказ так, чтобы всем было понятно: я считаю, мы так же все виноваты в гибели Манделъштама, как немцы в нацизме... И про многое другое.

Нет, считает Сережа (я знаю), это не выход — сначала надо добиться, чтобы тебя покупали, не говоря ничего такого, а потом, став на большой-большой шкаф, плюнуть. Эту теорию большого шкафа я слышала уже давно, от его сокурсников по ВГИКу. Теперь они разъехались по разным студиям и, сколько я знаю, перебиваются с хлеба на квас, берясь за любое что угодно, лишь бы тянуло на приличные постановочные.

Но в данном случае дело не в этом. Я в отчаяние оттого, что не могу иначе выразить то, что чувствую, — будет совсем, совсем не то. А он не понимает. А если он, Сережа, не понимает — кто же поймет? Ведь он са-

мый умный, самый красивый, самый Сережа. Ведь он столько времени знает меня, говорит со мной, дышит одним воздухом. Читает те же книжки. Смотрит те же фильмы. Нам нравится одинаковое! И при том я ему не нравлюсь. На что же рассчитывать?

Мне было абсолютно не на что рассчитывать. На большой шкаф мне не встать, это ясно. Но не это расстраивало: мне там нечего, на большом шкафу, делать. Мне всего хочется здесь. На полу. На земле. На берегу речки Истры. Вот в чем мое отчаяние.

Такой ветреный день. Фортка распаивается то и дело, в вентиляционной трубе — ведьмовский шабаш; я безотчетно суюсь в ванную, к трубе, и в ней приглушенно и неопределимо кто-то поет на этом шабаше. И играет там музыка; я никогда не слышу такой у наших соседей. Она приносится издалека, из каких-то совсем других квартир.

На улице ветер оказывается горячим против вчерашнего холода. Нетерпеливо обхожу дома, развернув борта пальто.

Я стою на высоком Истринском обрыве: *Auf die Berge will ich stehen...*¹² Внизу река неверно полосатится по солнцу и слепит против света. Взгляд пробегает по длинному монастырю, с зеленой кровлей, белому, как мрамор. Стоят дома — в одном из них живу. В большом дворе с холмами, елями, котельной по ветру стелется белье. Равнение — на стройный самолет, рвущийся навстречу облакам. Он чуть скрывается за призрачной вуалью переплетающихся веток. С его высокого, далеко

¹² Стать бы на высокой вершине — Г. Гейне

врезающего парк пьедестала съезжают дети. Дети разных возрастов, но нет такого малыша, который бы не знал, взлезая на эту пирамиду, — кто и что здесь над рекой увековечены.

Сама Россия выбирает, чем, и когда, и кто ей нужен.

Я стою над обрывом. Ветер. Глаза засыпаны песком и чуть слезятся. Я знаю цену длящейся минуте: она возможна только в воскресенье; за Воскресения свои хочу увидеть и услышать, что может здесь случиться каждый день.

Мне кажется спокойно и легко: я занесу в тетрадь свою единственную жизнь по воскресеньям. Когда умру — останется тетрадь. Так ясно все! И больше ничто иное не имеет ни малейшего значения. Лишь этот ветер. Гордый самолет. Струющийся песок. И отрешенный скит по строгому и дружному соседству со стеклянным, год назад построенным заводом.

И необыкновенно это место на земле. Величественнее и краше мне не нужно.

— Ничего не понял, — говорит Миша. — Про что рассказ? Что она хотела этим сказать? Что вообще случилось, что испорчено? Ни одного события. Разве может быть рассказ без события? Это все равно, что масло без хлеба. Кто такой Песковатный? Кто такая Ирина? Кто такой поэт Мандельштам? Ничего непонятно! Рука у нее есть, это видно. А вот писать не умеет.

— Поэт Мандельштам, — разворачивает свою роскошную рыжую прическу Лина, — это был такой поэт, расстрелян за участие в Кронштадском бунте. Стыдно не знать.

— А я хочу сказать, — выползает из-за стола и покачивается, как оса, худенький динозаврик Верочка, — что настроение есть, и мне почему-то не по себе. Очень бы хотелось узнать, в чем дело. У них, видимо, какие-то семейные неполадки. Эта вот страшная передача по радио. Вы на нее обратили внимание? Обратили? Вот женщины на такие вещи обращают внимание, а мужчины нет. Вот про что этот рассказ. И вообще, мне Зоя нравится, пусть она знает.

— Да таких передач по сто в день! — басит, не вставая, Скрыпник (это значит, что он, в общем, недоволен: когда он воодушевлен, у него ясный, красивый баритон). — В том-то и дело, что таких передач по сто в день, и читатель так же не обратит на эту передачу никакого внимания, как и ее Песковатный, и вот именно, просто напраслину на мужиков возводит, и все. Понял, прекрасно я понял этот рассказ, я все понимаю, что она пишет, но одобрить я этого не могу. Надо, чтобы рассказ куда-то звал, к хорошим, добрым вещам, а здесь... И так уж никакой управы на этих баб нету. Ну что это, посмотрите: он у нее и печет, и режет — и все мало, ей еще надо, чтобы он в голову к ней влезал каждую минуту и соломку стелил при каждом ее шаге. Ну разве так можно жить? Кто он тогда будет? Тряпка! Но она же хочет, чтобы он был господь Бог, вот чего она хочет!

— Подождите, подождите минуточку, кто она? — вмешивается Виль (Юрий Валентинович болен, и мы со Скрыпником ходим к Липатову, в его семинар). — Что-то я ничего там такого не вижу. Это вы про Ирину? Или про автора? Вы вообще рассказы свои собираетесь публиковать в реальных, исторически сложившихся усло-

виях? Или ждете, когда вас вражьи голоса на панели подберут за две копейки? Так им же тоже нужна четкая агитка, понимаете ли, ясная, четкая агитка, неужели непонятно? С такой рукой — и не стать богатой женщиной! Богатой, свободной, не зависимой ни от какого выжившего из ума склеротика! Просто глупо, безнадежно больная, и никакой врач не поможет...

Я их ужасно люблю, включая болеющего, что меня очень тревожит, Трифонова. Действительно, собираюсь ли я публиковать свои рассказы? Или прав Скрипник, мне нужен только господь Бог: рассказал Ему, что у тебя на душе, а там... Он-то уж во всяком случае разберется, какая бы там ни была техника письма. Ему-то это все... до лампочки.

Или нет? Мысли же Он и так «видит».

Небо над Тверским бульваром выстужено до радуги, над землей клубятся пары. Фигурки людей поглощены морозным дыханием, выскакивают резко, неожиданно, прямо на красный свет. К зиме нужно готовиться как следует, просто околеваю от холода. Какие же, в конце концов, нужны вещи, чтобы я не мерзла в этом климате? Не знаю, не знаю, только на мои рассказы, какими бы они ни были, их все равно не купишь. И командировочный тулуп сдала, уволившись с ящика.

ТАЛАНТ

Читальный зал Литературного института всегда почти пуст. Упокоен он в тихом уютном флигеле, теплый, светлый, окнами в кусты сирени, и Скрыпник приспособился здесь писать. Это единственное оказалось место, где никто не мешал, куда никто не приходил. Только что заглянет иной раз Боров, и то здесь от него отвязаться легче, чем во дворе или в коридоре: покажешь на одного-двух рассованных по залу первокурсников или заочников, конспектирующих первоисточники, приложишь палец к губам, и Боров как-то даже и опешит. Потом опомнится и начнет мотать головой — выйдем, мол, но уже бессловесно, без рева своего обычного. И ты его, тоже бессловесно, вытолкаешь за дверь, при большой поддержке укORIZненного взгляда дежурящей библиотечарши, и все. Ни до драки, ни до милиции дела здесь не доходит.

А перед тем у Скрыпника писать вообще долго не получалось. Можно сказать, после повести после своей первой, которая называлась «Первая любовь», написанной в армии, и с которой он сюда поступил, ничего путного он не родил за три года. Зарабатывать на жизнь он устроился в столице по лимиту, содержал и кормил служебных собак, жил отшельником в общежитии лимитчиков, встречался с девушкой в Рублеве, из местных, сначала — милой, веселой, озорной, потом как-то вдруг поглупевшей, ставшей вульгарной, лживой какой-то, ускользающей от прямых ответов на самые простые вопросы, и Скрыпник увидел ясно по матери по ее, работавшей в пекарне и таскавшей домой под платьем

сахар, масло и яйца, по брату, отгружавшему хлеб в булочной, что — женись он сейчас, и вся его жизнь будет загублена, пущена под откос, и ничего тут уже не втолкуешь, ничего не поправишь. И тут она, девушка, возлюбленная его, сказала, что беременна. И пошла еще новая передряга, которая ему показала, как жениха, его, они хватают — семейство — льстивыми, прибауточными лапами крепко, и поскольку он все-таки намекал на то, что нет, пока не нужно, поживем-увидим, брат-грузчик вовлечен был также, и Скрыпник нешуточно был избит, со свернутой челюстью оказался в больнице и милую свою бросил, не пошел больше к ним, а ее, когда пришла, матерно выгнал. Потом только узнал стороной, через лимитчиков, через общагу, что ребенка у нее никто никакого не видел. И Скрыпник на этот счет успокоился, хотя и затосковал в целом после этой истории заметно.

На еду Скрыпнику хватало из зарплаты собачника, на одежду — нет. Но он не обращал на это внимания, не страдал, купил себе за двадцатник пальто на рынке, в скупке, великоватое, длинное, ходил в линялом солдатском ха-бе и в сапогах. Собирался не пить и стать хорошим писателем, потому что не видел смысла в том, чтобы стать плохим.

Ему не хватало литературного общения, хотелось дружбы, споров. В семинаре, который он посещал раз в неделю, все казались тусклыми, непроявленными. Никто не писал ничего интересного. На мастера на своего Скрыпник молился, считал его лучшим писателем современности, чувствовал его какую-то глубоко затаенную порядочность, но также чувствовал, что семинар

ему скучен, безразличен. В том числе и он, Скрипник, со всем его обожанием.

Он не знал, что и думать о себе — талантлив ли он, нет ли? После первой вдохновляющей радости поступления он скоро понял, что само по себе оно ничего не значит: были поступившие все беспомощны и, как ему казалось, безнадежны. Почти все — по крайней мере, шестеро из восьми в его семинаре. И было Скрипнику глубоко неясно, как они здесь оказались. От мэтра разъяснений на эту тему не поступало. На лекции на общеобразовательные ходили всем скопом, курсом — прозаики, поэты, драматурги, и было не видно, кто есть кто. Но лица ничем не отличались от лиц лимитчиков, это он отметил про себя сразу. Вначале это радовало — никакой ущемленности, все обычные, нормальные парни, как и он — а он-то думал, а он-то боялся. Но к третьему курсу все как-то приелось, и стало скучно. Хотелось яркости, искусства, хотелось ощутить хотя бы вчуже — что же это такое: талант.

Вот мэтр, например, может быть, даже гений, но он тих, прост, внешность бухгалтера. Так это же очень хорошо, в этом какой-то особый шик невероятной человечности. Строгий, серьезный. И с книгами его, невзрачненькими, точными, с полным попаданием в десятку жизни, это вполне совпадало. Мэтр был вне подозрений.

И тогда-то, на третьем курсе, он снова стал вдруг писать, прямо во время сессии.

Сдавали экзамен по английскому. Тяжелый случай. Астраханская школа на окраине, армия, то-се. Еще на

вступительном экзамене, последнем из четырех, англичанка сказала:

— Не хочу грех на душу брать, вдруг вы гений. Говорят, такие случаи бывают. Говорят, Шукшин вообще ничего не читал, даже Толстого. Так что зайдем по баллу у каждого предыдущего предмета, сложим с заслуженной единицей и встретимся на гесе. Память у меня хорошая, учтите.

И вот эта встреча предстояла. Скрипник сидел в очереди в аудиторию перед началом. Была половина десятого. Он старался исчислить, что вернее — идти в первой десятке, или в последней, или, может быть, затесаться в середине. В первой десятке обычно идут отличники, чтобы побыстрее отстреляться. И это знают все — в том числе и преподаватели. Так что человек, заходя в первой десятке, уже как бы создает момент ожидания, предвзятости. В жизни многое на этом строится. Но если бы он хотя бы читал прилично, остальное — ну, неточный там перевод, путаницу в грамматике — преподаватель списывает за счет нездоровья, не-формы, рассеянности и так далее. Скрипник подозревал, что его познания в английском слишком жалки для такого расчета, но насколько жалки, точно определить не мог. Скорее всего, последняя десятка, которая предумышленно ждет от преподавателя усталости в борьбе со злом и апатии, — это и есть его законная десятка. Правда, именно на долю тех когорт всегда выпадают истерические двойки, особенно поскольку имеешь дело с женщиной. Она вдруг ужасается, всплескивает руками, берется обоими указательными пальцами охлаждать себе виски и твердит не переставая:

— Нет, такого я еще не видела. Это что-то беспрецедентное.

Уж будто бы!

Контрольные задания он аккуратно передирал, ошибок анализировать даже и не пытался — а зря, конечно, сейчас он задним числом вдруг подумал, что так ведь можно было и английский выучить: лучше анализировать чужие ошибки, чем делать свои. Литературный перевод — О»Генри — переписал из книги, слегка его искажая по ходу дела, насыщая «переводизмами», а экзамен на первом курсе сдавал аспирантке, дождавшись, когда врагиня уйдет обедать. И сдал-таки, с Божьей помощью и самой аспирантки. Так он же не один такой, успокаивал себя Скрыпник. Все — с завода, со стройки, после армии. На всем курсе найдется три-четыре лица, после технического вуза, за которыми можно предполагать знание каких-то там иностранных языков. Главное ведь — литературный талант.

И тут раздалась американская речь. Вот в том самом виде, как слышишь ее по радио. Скрыпник повернул голову и увидел заведующего кафедрой, который разговаривал — на превосходном америфоне — с парнем с их курса. И тот отвечал! Они «болтали». Появилась преподавательница, и завкафедрой вошел вместе с нею в аудиторию. Дело принимало серьезный оборот.

— Слышь! — сказал Скрыпник парню, по фамилии Лукин.

— А? — отозвался тот и разразился еще одной американской пулеметчиной, видно, по инерции.

— Лукин, — не обращая внимания, продолжал Скрыпник. — Ты что же это, поэт или прозаик?

Лукин померк.

— Идем, — сказал он.

Они вышли из коридора, прошли вестибюль, Скрыпник следом за Лукиным, во дворе сели на скамейку среди сиреней, и Лукин стал вытаскивать из нагрудного кармана пиджака паспорт.

— Смотри, — сказал он, перелистнув несколько страниц. Скрыпник не знал, зачем — может, он обиделся.

— Да чего мне смотреть. Я так просто спросил. Интересно.

— Видишь? — Лукин сунул ему под нос какой-то большой, на полпаспорта, штамп. — Читай! Видишь? Магаданская область. Понял?

— Не-а, — ответил Скрыпник.

— А вообще-то поэт.

— А откуда же ты так хорошо язык знаешь?

— Там выучил. Один такой батя развил, был там.

— Ну и что?

— Ну и ничего. Слушай, — и Лукин запел стихами. Стих его заструился, как речка, как серебряная речка, потом взлетел и летел, летел, уже довольно бессвязно для Скрыпника, а душа, дрогнув, вдруг пустилась в какой-то свой, но все-таки как-то связанный со стихом Скрыпника путь. Стихи были о любви.

— Да ты поэт, — взволнованно сказал Скрыпник.

— Поэт-зэк, — криво усмехаясь, откликнулся Лукин. — А ты? Тоже поэт?

— Да нет. Я так. Прозаик. Но тебя же уже отпустили?

— Ну. Только без права. У меня мама на Горького живет. А я — пока — в Магаданской области. Спасибо, ректор взял на заочку. Непонятный мужик. Сам же посадил, сам же и взял.

— А за что?

— Да уж не за старушку-процентщицу. А так, по глупости. А со старушкой, с ней разве что. Никаким топором ее теперича не возьмешь. Согласен?

— Может, ты и прав, — сказал на всякий случай Скрыпник, потому что ничего не понял. Парень был явно шизанутый. И надо было идти сдавать английский.

— Ну, пойдём, выпьем, — сказала Лукин. — Рубль есть?

— Есть, — неуверенно отозвался Скрыпник. Он всегда очень хорошо помнил, что решился не пить и стать хорошим писателем.

— А два? — спросил Лукин.

— Знаешь что, — сказал Скрыпник. — Давай, может, сперва сдадим английский, а потом посмотрим.

— Вот тут ты в корне не прав, — у Лукина глаза зажглись, когда он начал читать, и продолжали гореть. И Скрыпник с безошибочной точностью наконец ощутил, чего же ему не хватало до сих пор: именно таких сияющих глаз вокруг, в семинаре, где-нибудь в жизни, хоть в одной ее точке. — Надо пропустить, а потом идти сдавать. Ты ведь небось не знаешь английского?

— Очень плохо.

— А пропустишь, сразу все вспомнишь. Вот увидишь. Век матери не видать.

— Обижаешь, начальник, — улыбнулся Скрыпник. — Похож я на человека, который не знает, чего и как?

— Все понял, — хлопнул его по плечу Лукин. — Прозаик. Глубокий прозаик. Ну ладно, пошли. Только по-быстрому.

Самым смешным оказалось то, что Скрыпнику пришлось помогать Лукину переводить текст. Тот даже словарь взял в руки вверх тормашками и не мог там найти ни одного слова. Но до текста у него даже и дело не дошло, он грянул пулеметной американщиной в упор — преподавательница только вяло отбрехивалась стереотипными учебными фразами, которые понимал даже Скрыпник, и побыстрее поставила Лукину пятерку.

Так что Скрыпник с того и начал.

— Я вот помогал переводить ему текст, и сам не успел, — сказал он, махнув рукой в сторону двери, за которой исчез уже Лукин.

— Да, я видела, — задумчиво сказала англичанка, с нежным, женственным любопытством разглядывая Скрыпника, его белокурые волосы, плечи. — Давайте вашу зачетку.

Лукин сидел в коридоре прямо перед дверью аудитории.

— Слушай, а три рубля у тебя есть? — спросил он.

— Есть! — ликующе отозвался Скрыпник.

Лукин быстро поднялся со стула и крикнул, слегка задрвав голову:

— Борев! На выход!

Из-за угла коридора, из мужской уборной, появился длинный нескладный некто с невозмутимым кувшинным рылом, присоединившийся к ним и оказавшийся Боревым. Скрыпнику пришлось представить себе, что он в разведке, дабы подтвердить свою психоло-

гическую готовность «не пить и стать» в любых условиях, даже в условиях пьянки, и они пошли.

Ребята они оказались в этом отношении не опасные. Они быстро пали. Но и в павшем виде, ползая по траве Страстного бульвара, Лукин продолжал читать стихи и разглагольствовать о Мандельштаме. Боров же ревел трубным жутковатым ревом. На какой-то ноте он вдруг напрочь забил Лукина, и Лукин замолчал. Сел в траве, разумно сцепил руки, положив локти на колени. Сказал Скрыпнику печально:

— Видал? Сын министра.

И вдруг рявкнул на Борева:

— Графоман, сволочь! — и закатался по траве, плача настоящими слезами.

Боров ревел. На недалеком перекрестке милиционер, освещенный городским светом, вертел головой. Скрыпник сказал Лукину:

— Надо уходить. Мент.

— Боров, пошли, — сказал, поднимаясь на колени, Лукин.

Боров замолчал. Но не встал. Лежал он под кустом, глубоко, в темноте — не вдруг и увидишь.

— Давай, я отведу тебя к маме, — сказал Скрыпник. — А потом вернусь за ним.

— К маме нельзя, — отвечал Лукин. — Если б ты знал, сколько моя мама вынесла, ты бы никогда так не сказал. Какая она была красавица, умница-красавица, певунья. Я ее помню. О, я ее такой помню, какой ты ее уже не увидишь. Во всем сиянии памяти. Даже сейчас. Даже в дупель. Ты в нее влюбишься. Это нельзя. Спущу

с лестницы. Ты ведь поэт? Надоели вы мне все в ус-
мерть.

Борев заревел.

— Вот его, — сказал Лукин, — очень даже просто отдадут папе. Всегда отдают, без малейшей царапинки. Папа у него крепкий, все выдержит. А мама... Моя ма-
ма... Ты не понимаешь.

— Нет, я понимаю, — запротестовал Скрыпник. — Ты думаешь, если я не поэт, то я и ничего не понимаю? У тебя колоссальные стихи, старик, и я готов подтвердить это даже в милиции.

— Да они знают, — безжизненно отозвался Лукин. — Им-то что? Пристегнут условные два года, и дело с концом.

Милиционер твердо шагнул в их сторону.

— Мент, — еще раз попробовал Скрыпник.

— Надо спрятаться, — сказал Лукин. Он достал из пиджака Борева какой-то не то документ, не то записную книжку, положил ему на грудь, и они отползли за кустами к скамейке.

— Уходить уже поздно. — сказал Скрыпник. — Сядь прямо. Молчи. Только сиди, и все. Желательно, нога на ногу.

Борев лежал за четыре куста от них, с другой стороны. Милиционер нашел его сразу. Он ревел. Им были не видны действия милиционера, но было слышно, как он вызвал по рации машину.

— Вы с ним? — кого-то за кустами спросил милиционер.

— Ну что вы, — ответил женский голос. — Мы до-
мой идем. Из кино.

Действительно, народу прибавилось. Кончился сеанс, и Скрипник рискнул примкнуть к толпе, обхватив Лукина за плечи и прижав к себе. К счастью, Лукин был мал ростом и худосочен — тащить его было легко.

Через три дня в институте, когда они сдавали литературу, Боров был в мужской уборной. Он продавал женскую вязаную шапку. Скрипника он не узнал.

— На каком он курсе? — спросил Скрипник у Лукина.

— Так его же выгнали, — ответил Лукин, тусклый, понурый и угнетенный.

— А чего он здесь делает?

— Так. Ошивается.

— Он пишет?

Лукин криво усмехнулся и неопределенно повел головой. Потом взял вдруг Скрипника за грудки и сказал:

— Слушай. Ты, салага. Пьяные не пишут, понятно? Все это туфта.

— Ну, может, гении, — предположил Скрипник.

— И гении.

— А как же Блок?

— Никакой он был не пьяный, очень даже трезвый был мужик. Хитрая бестия.

— А как же ты?

— Я — другое дело. Рубль взял?

И именно в те дни Скрипник снова записал, в читалке, твердо зная, что виной тому — Лукин, его стихи гомозили в нем, поджаривали. Он написал три хороших рассказа, и мэтр — мэтр! — сказал, что наконец-то он со спокойной совестью ставит ему зачет по творчеству.

— Эти рассказы можно даже попробовать опубликовать, по-моему.

— Но ведь они не проходные.

— А вы что, специально так их писали?

— Н-нет...

— Тогда откуда же вы знаете?

Скрипник не нашелся, что ответить, потом долго думал на эту тему, хотелось поговорить с мэтром, но мэтр был замкнут, занят, рассеян, болел... На самом деле Скрипник носил уже в несколько редакций свою повесть. В одном месте ему говорили о недостатках рукописи, в другом — о забитости портфеля, в третьем — что вещь непроходная. И он понял, что на абордаж их не возьмешь. Мечталось написать что-нибудь такое, чтобы мэтр сказал:

— Дайте мне вашу рукопись, я попробую что-нибудь сделать.

Но на четвертом курсе мэтр много болел и в конце года умер, пятидесяти с небольшим лет. Скрипник так и не успел, так и не решился поговорить с ним ни о чем таком особенном.

Сидя в читалке, он писал:

«Почему мы все так закрыты друг для друга? Что нам скрывать?»

Скрипник остановился. Не хотелось задеть память мэтра, хотя бы даже и безымянно. В старых высоких окнах томилась за кустами сирени желтая слякоть смурного ноябрьского дня.

«Да, многое есть нам, что скрывать. Одним — бедность, другим — богатство, но главное — мысли, наши мысли...»

Вот Бореву нечего уже скрывать: ничего не скроешь. Он и ревет, подумал Скрыпник, но не написал. И еще подумал: почему я заговорил с Лукиным, но не мог заговорить с мэтром? Я остался теперь вообще совершенно один. Но другого ведь и не было, и быть не могло.

Был Лукин. (Борев не считается). Были собаки (слишком много, и всех надо накормить и почистить). Был курс (где-то за толстой призмой стеклянного чисто видового восприятия).

В тот вечер, после английского, он хотел было Лукина взять с собой в общежитие, но тащить его через весь город было несподручно, и у метро Скрыпник передумал и спросил:

— Где твой дом?

— Нет-нет-нет, — запротестовал Лукин.

— Ладно, ладно, — сказал Скрыпник. — Можно же войти тихо, пай-мальчиком, и прямехонько в койку. Что же у тебя, нет совсем силы воли?

— Эх, старик, ты —...

Лукин разразился длинным матерным периодом, не лишенным все же, как уловил Скрыпник, некоего чисто стихового, не прозаического, ритма.

Дом оказался рядом, и Скрыпник довел Лукина до квартиры, посмотрел, как он вставляет ключ в замочную скважину, и пошел вниз по лестнице, насвистывая. Сам он был вполне, только голова на следующий день болела, потому что пили дрянь.

От частых повторений все одного и того же, в том числе и стихов, Скрыпник утомился, Лукин его больше

не вдохновлял, да и оказалось, что стихи все старые, написаны — до того.

Это была падаль, он понял. Хотелось с ними развязаться. Давал рубль и не шел. Выталкивал Борева из читалки. Ректор специально наказал вахтерам не пускать в институт Борева, потому что тот воровал вещи. Но Боров заходил в читалку, появлялся, говорят, в общежитии, как призрак своего кораблекрушения — ведь когда-то же он не пил и что-то, наверно, писал. И вот он — больной алкаш, букарь, корчится на виду у всех, и никто не может его придавить, а он здоровый, длинный такой.

Скрипник еще увидит через несколько лет Лукина, все на той же улице Горького, у распивочной стойки в кафе, грязного, воняющего мочей, как он будет клянуть у буфетчицы:

— Плесни, будь человеком. Я верну.

— Да что ты можешь вернуть, — презрительно, безо всякого раздражения будет отвечать буфетчица. — Если все считать, что ты берешь. Не дам я тебе. Не дам.

И тут Лукин увидит Скрипника, одетого прилично, по-человечески, и с дамой. С приличной дамой. Не исключено даже, с известной Лукину дамой. С писательской дочкой из следующего за ними выпуска. Лукин ослабитесь. На секунду лицо его станет счастливо-глупым, через секунду — печальным и умным, потом он что-то еще вспомнит, почувствует и поймет, и разразится матом, обращаясь к Скрипнику, но, надо понимать, в адрес буфетчицы:

— Видел стерву, — пропуск, пропуск и пропуск — для печати, но не для буфетчицы, не для дамы Скрип-

ника, писательской дочки, не для присутствующих в кафе. Дама-то Скрыпника — она за себя постоит и ответит, с большими пропусками в печати. Постоит даже, не исключено, и за Скрыпника, и ответит: я сама выбираю, с кем мне спать, я могу себе это позволить. — Стерву, дуру жопорожую видел? — как защемленный дверью, разразится Лукин. — Да я бабами не интересуюсь, скажи, — будет он призывать в свидетели Скрыпника. — Я по другой части, ты же знаешь. Он знает, — неожиданно обратится он к даме Скрыпника. — Почему ты меня не представишь? — скажет он Скрыпнику.

Но Скрыпник не ответит ему на все кафе:

— Да потому что она сама выбирает, с кем ей спать, — разумеется, Скрыпник так не ответит, он давно решил не пить и стать, и он скажет:

— Надя, это поэт Лукин. Колоссальный талант.

— Был, — скажет Лукин и поцелует руку. — Скажите ей, пусть нальет.

Летучее неприятное впечатление. Ненадолго. Скрыпник давно развязался с Лукиным, да и близки-то они особенно не были. (А с кем — были?..) Так, студенческие годы, Лукин, собаки, писать было негде, писал в читалке, в тихом пустеющем флигеле при литературном институте, писал наивно, смешно, все — про себя, как на духу:

«Неужели я мерзавец, негодяй? Я ведь бросил беременную женщину, бросил, да. И страдал, когда бросал, не за нее, а хотел только избавиться от всех неприятностей, связанных с нею. Это ли не мерзавец, негодяй? Но не может быть, не может этого быть, отчего же я так чувствую небо, и землю в черемухах, и этих вот

птиц, малых сих», — писал Скрыпник от имени лирического героя. В старых высоких окнах томилась желтая слякоть смурного ноябрьского дня. Писал наивно, бесхитростно, непроходное, — никакого профессионализма.

ДНЕВНИК ВИТАЛИЯ БАРХАТОВА

25 окт.1973 года «В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу с о з н а л: какое право она имела производить меня, без воли моей на то, сознающего? Сознającego — значит страдающего: но я не хочу страдать — ибо для чего бы я согласился страдать? Природа через сознание мое возвещает мне о какой-то гармонии в целом. (То есть благостном состоянии, отсутствии зла или, как комментирует Розанов — воздаянии за добро и зло в загробном мире). Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я, — хоть и знаю вполне, что в «гармонии целого» участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит, — что я все-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. (По-моему, задумано так, что этого согласия не требуется, никто его не испросил ведь у человека и не испрашивает по ходу жизни). Но если выбирать сознательно, то уж, разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне нет ровно никакого дела

после того, как я уничтожусь — останется ли это целое с гармонией после меня, или уничтожится сейчас же вместе со мною. И для чего бы я должен так заботиться о его сохранении после меня — вот вопрос. (Комментарий Розанова: если я весь, без остатка и окончательно, исчезаю по смерти, как могу я любить? Я не более способен к этому, чем мое брэнное тело, которое, конечно, никого не любит, но лишь страдает и наслаждается. Любовь, поэтому, есть жизнь; точнее, нами... обнаружение бессмертной жизни, никогда не кончающейся связи с родом человеческим. От себя вспомню здесь о том, что и род человеческий может быть не вечен).

Пусть бы лучше я был создан как все животные, т. е. живущим, но не сознающим себя разумно; сознание мое есть именно не гармония, а напротив, дисгармония, потому что я с ним не счастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе всего подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные, то есть — есть, пить, спать, устраивать гнезда и выводить детей. Есть, пить и спать, по человеческому — это значит наживаться и грабить. Возразят мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было доньше. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устраиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это уж, конечно, никто не сможет мне дать ответа. Все, что они могли бы ответить — «чтобы получить на-

слаждение». Да, если бы я был цветок или корова — я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом непосредственном счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества: ибо я знаю, что завтра же все это будет уничтожено — и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество обратится в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья — не от нежелания согласиться принять его, не от упрямство какого-то из принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество осталось бы вместо меня вечно — тогда, может быть, я все же был бы утешен. Но ведь планета наша не вечна, и человечеству срок — такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, — все это тоже приравнивается завтра к тому же нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубокое неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное, и тем более мне невыносимое, что тут нет никого виноватого.

И наконец, если б даже и предположить эту сказку об устроенном, наконец-то, человеке на разумных и научных основаниях — возможно, и поверить ей, поверить грядущему, наконец-то, счастью людей — то уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам ее, истязать человека ты-

сячелетиями прежде, чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна. Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить все это завтра в нуль, несмотря на все страдания, которыми заплатило человечество за это счастье, и главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознания, как скрыла она от коровы, — то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только посмотреть, уживется ли подобное существо на земле, или нет? Грусть этой мысли, главное, в том, что опять-таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а все произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться.

Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе как в гармонии целого, которой я не понимаю и, очевидно для меня, и понять никогда не в силах, —

так как природа не только не признает моего права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне во-все — и не потому что не хочет, а потому что н е м о ж е т ответить, —

так как я убедился, что природа, чтобы ответить мне на мои вопросы, предназначила мне м е н я же самого, и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе), —

так как, наконец, при таком порядке, Я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика, подсудимого и судьи, и нахожу эту комедию со стороны природы совершенно глупою, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унижительным, —

то, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание — вместе со мною к уничтожению... (А так как природу истребить я не могу, то истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого)» Ф. Достоевский «ПРИГОВОР», окт. 1876 года.

Ну так вот, теперь уже и могу, и истребляю — вместе с собою природу! Вот это победа так победа — победа разума, Федор Михалыч. А Вы и не подозревали?

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СОНЕТ

— Вы действительно все это собираетесь написать? — сказал ему академик, тот самый академик с мировым именем, который так требовался сотруднику «Звезды». — Тогда я дам вам такие цифры, которых ни у кого нет. Вы блеснете ими. Вы сразу станете звездой журналистского мира. Вы знаете, какие это цифры? У-мо-помрачительные.

Этот дядя, поначалу показавшийся Виталию настроженным и постным, явно впал в эйфорию. Сразу стало ясно, что он человек духа. Славянско-еврейский гибрид, с немецким корнем фамилия, русское окончание

прилеплено. Что ему эта страна? Какое ему дело до сотен тысяч русских в Украине, которым атмосфера вокруг металлургических производств на десятки лет сокращает жизнь и порождает нежизнеспособное потомство? Виталий, собирая материал, побывал в Кузбассе, в Кемерово, на «родине Ильича» Днепропетровске, в Асколе. Почему ему не безразлично то, что безразлично власти на всех ее ступенях? Хотелось спросить, поговорить с ним об этом. Но как-то неудобно. Не принято говорить на эту тему. Будешь причислен либо к антисемитам, либо к сионистам. «Третьего не дано».

К академику он попал по заданию Пресс-центра: у него теперь было к с и в о — малиновое удостоверение личности, на пухлой обложке которого свежесолотел тиснение «ПРЕССА». Сотруднички приравнивали свое к с и в о к ГэБэшному удостоверению: проходишь в ресторан, на кинофестиваль, в закрытую зону отдыха — куда угодно. Попадаешь к любому начальнику. К академику Ц. у Виталия было еще и письмо с просьбой помочь собрать материал, подписанное зам. министра. Начальник Пресс-центра устроил — не исключено, ввиду протекции Витольда. Это был первый такой материал. П р о б л е м н а я с т а т ь я.

— Что вы написали? Вы рехнулись? — зашипел вышеозначенный начальник, когда с т а т ь я была готова. С визой академика Ц. на чистовом экземпляре. — Вы в психушке никогда не сидели? А язык, язык! Не продерешься, абзац — одно предложение на полстраницы. Публицистика требует простоты, понятности всем — и простому рабочему, и министру. Кто это станет чи-

тать? У нас народное государство! Партийная пресса! Народность и партийность — вы вообще когда-нибудь слышали этот тезис? Или вас что, на парашюте забросили? Так. Завтра приходит Гатов, он с вами разберется.

Гатов уже тогда был легендарной личностью в узком журналистском кругу (теперь-то о нем слышал всякий как о видном деятеле крутой перестроечной прессы, особенно после того, как его сына убили — якобы неизвестно кто). Тогда, в Пресс-центре, он отсиживался, отхватив партийный выговор с занесением, в должности замначальника. Вообще же был известным журналистом. Сотруднички, журфаковцы в своем большинстве, страсть как его уважали.

Гатов разобрался, но не до конца. Впрочем, все это было потом, — это не до конца. В настоящий момент Гатов заявил начальнику, жалкому кондовому референту министерской верхушки — то есть, тому, кто пишет все их дебильные доклады:

— Это материал выдающийся. Поднятые здесь проблемы мало того, что имеют общенациональное значение, к тому же осмыслены философски. Если бы мы публиковали такие материалы, их бы перепечатавали на следующий день «Тайм» и «Шпигель». Но мы не публикуем, вы правы. Вы правы, необычен для нашей прессы такой язык — для него нужно иметь за спиной семь колен интеллигенции, петербургской интеллигенции, такой привкус у этого языка. Ни газета «Правда», ни газета «Известия» такого материала не потянут. Не продерутся через синтаксис. Я подумаю о судьбе этой статьи.

Насмешливый тон Гатова вкупе с его серьезной, сумрачной даже физиономией возымели свое действие: начальник сник. То есть, вернее сказать, у него челюсть отвалилась — такое это было выражение лица. Видно было по всему, что он ни о чем таком понятия не имел — в журналистику он вообще пришел из милиции, трупы видел, следы зверств — он об этом рассказывал, часто рассказывал, говорил, сердце не выдерживало там работать, в угрозыске. С сердцем у него явно что-то было, или с кровообращением что ли — фиолетово синюшный весь он был, и не пил. В рот не брал. Ненавидел пьющих. Он был страстный, сознательный патриот, и слова Гатова в нем отозвались, задели. Этот эпизод дал большую фору Виталию, при всех его неудачах: три года корреспондентской зарплаты.

Впрочем, Гатов тоже был гибрид. Черт его знает, какой.

Помнится, было уже к тому времени лето. Виталий приехал из Питера на две недели — отчитаться, встретиться кое с кем, пособирать материал (останавливался он теперь в одной из так называемых гостиниц министерства, попросту, в общежитии для командированных). Стоял в очереди в стекляшке напротив Ленинки, точнее, напротив бассейна на месте Храма Христа-Спасителя, внимательно разглядывал очередь (его все интересовали). Привлекательно выделялся тип младоинтеллигентского образца с под стать себе девушкой: простая стрижка, лицо без косметики, ромашковая красота богатых столичных курсисток. Разговаривали, оба с серьезными и близкими по содержанию лицами — от чего защемило сердце: уж не предчувствие ли? Но тогда на

этом не заклинился, а поразило другое: когда подошла их очередь, они устроили настоящий скандал, все с теми же серьезными, ума-палата лицами.

— Посмотрите, что вы мне дали? — спокойным, но достаточно громким голосом младо-интеллигента начался этот интересный скандальчик.

— А что? — настороженно, но уже агрессивно ответила раздатчица.

— Это я вас спрашиваю, любезная: что вы мне дали? Я заказывал гуляш, а это что?

— Это гуляш и есть, — повеселела раздатчица. Ее словно бы отпустило. — Гуляш это, милой, а то что же еще?

— Это безобразие, а не гуляш! — грянул малый, такой с виду интеллигентный. — Это отходы от краденого, да и то с недовесом! Позовите заведующего!

— Щас вот, разбежалась! Тут людей, не продохнуть, а я ему побегу к заведующему. Вишь, какая шишка нашлась на ровном месте! — визжала раздатчица. — В ресторан иди, если тебе не жретя, что всем! Иди-проходи, следующий!

— Кончай ты! — загудела очередь. — Время же! Не хочешь, отвали!

И тут произошло самое потрясающее: в скандал вступила девушка. Вопреки предположению Виталия, что ей очень стыдно за своего приятеля, она повернулась к очереди, откинула свои аристократически просто подстриженные волосы и возвестила хорошо поставленным голосом:

— Как вам не стыдно! Мы боремся за вас, за ваши права, а у вас не хватает человеческого достоинства по-

нять, почувствовать, что вас всех — слышите — всех до единого в этой очереди сейчас оскорбили, смешали с грязью. Вот эта леди, полюбуйте на ее обличье, проанализируйте, что в ней осталось от человека, от прекрасного русского человека, который, по всем прописям, бесконечно добр, отзывчив, широк душой и пребывает в Боге!

Перед парой к этому моменту давно уже стояли два отборных гуляша (из имеющегося в наличии), две с верхом наполненные тарелки, рукой самого начальства, приспевшего на ор, а очередь все молчала.

Парень взял свои гуляши на поднос, расплатился у кассы, и они спокойно сели за свободный столик и продолжали дружелюбно разговаривать друг с другом, как ни в чем не бывало. Чувствовалась большая закалка. Так кто тут журналист, публицист, гражданский заступник? — растерянно сказал себе Виталий, страшно заинтригованный, и сделал все — сколько нужно выждал, незаметно замешкавшись, — чтобы подсесть за их стол. Это ему — вот когда, может быть, по-настоящему повезло: это ведь как считать, — это ему удалось.

Преодолевая свою застенчивость и в который раз думая о том, что так-таки и нет у него свойств характера, необходимых для журналистики, он попытался завязать разговор:

— Простите пожалуйста и не сочтите бестактностью, но меня страшно заинтриговала сцена, которой я был свидетелем. Сразу скажу, я полностью на вашей стороне, но интересно... в чем ваш пафос. Виталий. Меня зовут Виталий. Виталий Бархатов.

Девушка так пристально его разглядывала, что он счел нужным добавить:

— Клянусь вам, я не из органов.

Парень мрачновато усмехнулся и коротко бросил:

— Георгий.

И продолжал есть.

Начал есть и Виталий. Ела, глядя в свою тарелку, девушка.

— То есть вы хотите сказать, что вам непонятно, как можно из-за гуляша устроить сцену? — миролюбиво уточнил Георгий.

— Нет-нет, — заторопился Виталий, хотя ему, точно, было непонятно, — я совсем о другом. Ну я же чувствую... чувствую, что не из-за гуляша. Тут что-то другое. Но что?

— Из-за гуляша, — кивнул Георгий. — Хочу порядочный гуляш, ну, хотя бы такой, как значится в меню.

— Да нет, этого не может быть, — вырвалось у Виталия.

Девушка рассмеялась и отставила тарелку (совершенно пустую).

— Вот он, русский человек во весь свой благородный рост, — сказала она как бы никому, но тоном пренебрежительным, и Виталий подумал: нет, я все-таки не могу... ни с кем. Даже эти люди, даже они — нет, они не дружелюбны. Я не могу с ними.

— Я просто хотел с вами познакомиться, — обиженно сказал он. — Вы показались мне интересными людьми. Когда-то я вычитал у Уолта Уитмена, что если встретишь на улице человека, с которым хочется пого-

ворить, почему бы не остановиться и не поговорить с этим человеком.

— Когда-нибудь вы все поймете, — миролюбиво отозвался Георгий.

— Я сейчас уже хочу вас понять, а не когда-нибудь.

— А вы что, считаете, что между макро и микро-уровнем нет никакой связи?

— Я не физик... не биолог... но и не идиот. Разумеется, я так не считаю. Даже если положим, что все свойства русского коммунизма проистекают из свойств русского характера. Но как же быть с остальным соцлагерем?

— Допивайте компот, — сказала девушка, поведя вокруг себя глазами, но не поворачивая головы.

Виталий послушно допил, и они молча встали и вышли из кафе.

— Вы куда-нибудь спешите?

— Нет-нет, — быстро ответил Виталий, хотя у него была куча дел. — Я могу вас проводить. Может быть, присядем здесь, в скверике?

— Лучше иди, — сказал Георгий, и они спустились на набережную.

— Их сделали рабами за эти пятьдесят лет, или они дали так себя прижучить, потому что рабы, генетические рабы, и иначе управлять ими не можно?

— Вы читали «Грядущий хам» Мережковского?

— Читал.

— В каждом народе есть и то, и другое, и пятое, и десятое. На какие кнопки нажимать, такая и музыка. В каждом народе есть вся полнота возможностей.

— Но есть и национальный характер. Предрасположенность.

— Опять-таки, и к тому, и к другому, и к третьему. А тоталитарное государство — некий универсальный механизм власти. Форма государственности, применимая к любому народу, к любому.

Виталий долго и внимательно слушал, не вставляя ни слова. Это был серьезный разговор, не то что бытовое ерничанье на Люсином чердаке. Другие люди. От них исходила эманация внутреннего напряжения, чего так не хватало Виталию в богемной компании Люси. Радовала их простота, отсутствие всякой вычурности. Они перешли уже Большой Каменный мост и прогуливались вдоль стен Кремля, когда чуть было не поссорились.

— Знаете, что меня настораживает, — сказал Виталий. — Большое совпадение терминологии и трактовок с западными источниками. Например, радио «Свобода». Просто, будто с чужого голоса поете.

— Ну вот и вы заговорили, как на Лубянке, — презрительно и уже не дружелюбно заметила девушка. — Скажите еще, с вражьего голоса.

У Виталия тоскливо заныло под ложечкой. Он хотел найти с ними общий язык, но не хотел, чтобы условием этого общения стало непременно поддакивание. Вот, например, эта превосходная особа (ее звали Катя). Она, судя по всему, способна только подхватывать то, что говорит Георгий. Ничего отдельного, своего у нее быть не может. Организованное, партийное мнение. Он очень быстро это почувствовал. Через полчаса беседы. Для него это неприемлемо, но и рассориться с ними не хотелось.

— Простите, ради Бога. У меня и в мыслях не было вас обидеть. Я постараюсь объяснить, с большой надеждой на понимание. Меня все это страшно тревожит, поверьте. Так вот, я хотел сказать, что требуется, и непременно требуется для всякого успешного движения внутренний, имманентный процесс. По прописям со стороны, как бы они ни были верны в своей описательности, ничего глубокого, сущностного произойти не может.

— Тогда надо вообще сидеть сложа руки, — немного все еще задетым тоном сказал Георгий. — И потом, знаете что я вам скажу: раз это находит у нас отклик, значит, правда. Ведь фактаж у них наш. Они оперируют теми событиями, которые происходят у нас в стране, только никто о которых не знает. Они только информируют мир о наших подспудных процессах. А эти процессы вполне имманентны, по-моему. Гинзбург, Галансков, Синявский, Юлик Даниэль — они ведь не через границу заброшены, они абсолютно советские люди. Юлик даже воевал, вы знаете об этом?

— Нет, не знал.

— А вообще, вы их читали?

— Да, читал.

— В Пресс-центре?

— Нет, другими путями. В Пресс-центре в основном журфак. Все как один карьеристы. Конъюнктурщики.

— Такое доходное место?

— Да вроде бы нет. Но рассматривается как трамплин для большой журналистской карьеры. При известных обстоятельствах. Скорее можно предполагать...

И подумал о Гатове. Как хорошо бы их познакомиться.

Сейчас не вспомнить, когда, но явно позже узнал, что Георгий — физик-ядерщик, сахаровский мальчик из самых близких и активных. Когда вошел в эту компанию, постепенно, тогда и узналось — унюхалось, услышалось, почувствовалось. От него не прятались, но и активничать не призывали — какая-то дистанция была, некий негласный барьер. Да, кажется, он услышал о Георгии по той же «Свободе». Хотя и так понимал, что к чему.

В тот же день они занятно расставались:

— Хотелось бы встретиться с вами еще.

— За чем же дело стало?

— Телефона нет в общежитии. Только на этаже. Да и потом, я в Москве периодически, наездами. Пишу все сию в Питере.

— Очень загадочно, — небрежно обронила Катя. — Вообще, вы страшно похожи на подсадную утку, знаете?

Вот те и раз!

— А вы что же тогда со мной хороводы водили?

— А почему бы и нет? — улыбнулась Катя. — Нам скрывать нечего. Мы ничего противозаконного не делаем.

К Георгию тянуло. Расставаться с ними, правда, не хотелось. Высокий, подтянутый, какой-то славяно-булгар. Такую прекрасную, громоздкую плоть жалко было в застенок. Не говоря уже о Кате. Хотелось знать, что они и как. Помочь при случае. Опять заныло под ложечкой. Зашевелил корни волос страх — нутряной, инстинктивный.

— Пожалуйста, могу вам дать свой телефон, — пожал плечами Георгий, — звоните лучше до десяти утра, потом я чаще всего в бегах.

Так и непонятно было, что у них с Катей. Это уж когда он встречал с ними то ли восемьдесят первый, то ли восемьдесят второй — увидел Катиного мужа, которому надо было домой пораньше: дети дома одни и в Лефортово с ранья передачу жене нести... Все были физики. Половина — бывшие. Гоша был уже в Штатах. Половину из них выслали, половину — посадили. Сахарова взяли под арест в Горьком. С кем-то из них — человек пять их было в электричке — Виталий поехал утром хоронить Надежду Яковлевну Мандельштам. Такой вот был Новый год. Пели про Ванинский порт: там были друзья.

— Хотелось бы на них посмотреть, — сказала Люся, когда он в тот раз вернулся из командировки и рассказал о своем знакомстве.

— В том-то и дело, что на них нечего смотреть. Они самые обыкновенные.

— А тебе, наверно, слабо — заняться настоящей борьбой?

— Не в этом дело...

Она ведь не любила «умных разговоров», и он спросил только:

— А ты бы приходила в Кресты на свидания?

Она улыбнулась своей прекрасной, «джокондовской» улыбкой и сказала:

— Ну, если в Кресты — то отчего же не прийти! Но ведь в Крестах долго не держат, сам понимаешь...

В общем, он что-то уже почувствовал в этот свой приезд из Москвы, только не мог понять, что это было. Какое-то притупление реакций, какая-то скука — ее скука — в его присутствии, что ли. Она сидела и рисовала, потом варила, потом стирала, выворачивала его карманы в поисках грязных носовых платков.

— Ну и рвань же мы с тобой, — сказала как-то.

Это невозможно объяснить, но он ходил по городу в конце того лета и чувствовал, что Люси нет с ним, она не участвует в этом его хождении. И он не знал, где она. Ему хотелось побежать домой, на Лиговку — на чердаке не было телефона, — но он умирал себя рассуждением: не надо ничего специального — как бы проверять, как бы следить, все должно идти, как идет, как должно. Она прекрасно знает, что значит для меня. Что я просто погибну, чуть что. Она это знает.

Чем бы я мог не угодить ей? Я обожаю все, что она рисует, влюблен в сам факт ее рисования. Все эти ее замки, окошечки, домики, принцессы со злыми лицами и говорящие трупы орхидей... Мне ни разу не приходило в голову, что это все и ко мне может иметь отношение: мы с ней ведь — это мы с ней, отдельный мир, в котором все навсегда и навечно, истинно, прекрасно, самодостаточно и взаимосовершенно. Конечно, она заслуживает куда большего успеха, чем признание узкого круга близких друзей и коллег, — но ведь для меня она единственная и гениальнейшая художница всех веков и народов. Неужели не это главное, и есть что-то еще, о чем я не подозреваю?

Конечно, он не в ладах со своими родителями, и семьи в полном смысле слова нет. Но вряд ли это много

значит для Люси, которая и со своей матерью почти не видится — там отчим, маленький ребенок, чуждая ей социальная среда (отчим — слесарь на верфи, мать — учетчица: пролетариат. Любви к ним Люся, судя по всему, не испытывает. Типичная история, увы).

Но ведь зато их отношения с лихвой восполняют все травмы детства и того, и другого — они ни разу не поссорились, ни разу не сказали друг другу неласкового слова: кому скажи, не поверят. Правда, у них нет ребенка. Но это только потому, что Люся не хочет, говорит, им слишком тяжело живется, чтобы обрекать на такую жизнь еще и младенца. Ему, правда, не живется тяжело: он счастлив. Он всем доволен. Он считает, что главный подарок — любовь — ему дарован небесами. Ему остается только думать о мире, о бытии, что и есть, по его убеждению, истинное дело человеческой жизни и чем он, в сущности, и занимается все то время, что не спит. И вполне естественно, что он страдает от несовершенства бытия, от несовершенства страны, в которой... все это происходит. Это же в порядке вещей! Тут не надо вносить никаких корректив — надо жить, напрягать интеллектуальную и сердечную мышцу, страдать, вдумываться. Ну словом, чем они с Люсей и занимаются, чем и жива их любовь — лучшая и совершеннейшая на свете вот именно в качественном отношении, в своем вот этом нравственном что ли звоне.

Так он думал наяву, но тем временем ему как бы снилось когда-то: будто он показывает кому-то — скорее всего, это Люся: бесконечно любимое, единственно важное для него существо — родовой дом своей семьи. Мрачноватый деревянный дом, в котором он и сам как

бы давно не был, столь неожиданны отдельные фрагменты, интерьеры этого дома, виды из окон. Вот они в переходе между двумя анфиладами комнат: три высоких окна проливают рессеянный мартовский свет на застекленные шкафы, встроенные в простенок и содержащие старую бумажную рухлядь: школьные тетради многих поколений (ему это отчего-то известно), стихи его бабушки, старые книги Тютчева и Фета в тисненых переплетах, потрескавшиеся фотоальбомы. С одной стороны, все очень запущено, с другой — чарующе обжито, не хочется ни малейших изменений. Рояль в парусиновом чехле и старая кушетка, обтянутая потертой китайской парчой с вышитыми на ней птицами и цветами. Большое зеркало с крапинками больной амальгамы, в котором туманно, коричнево-сизо отражен он сам и ОНА, его спутница. У него круги под глазами, волосы спутаны, он как бы давно не стрижен. Она опрятна и светла, как Пюви-де-Шавановский антик. Он что-то знает об этом доме, об этом месте, что пытается довести до ее сведения, но все слишком неожиданно, чтобы он мог осмыслить что-то.

— Тут есть, — говорит он, — задняя часть дома. (Он знает, что есть, но не может вспомнить в точности, что он имеет в виду).

Они проходят галерею, проходят по темной деревянной лестнице, и на площадке этой лестницы между этажами есть высокое окно в задней стене дома, откуда открывается яркий, светоточивый вид на Храм во всю ширь горизонта с четырьмя ярусами горящих золотом куполов. Храм стоит как-то даже несколько голо, несколько сдвинуто в отношении окна, и в то же время он

— как витраж в задней стене сумрачного, темновато-коричневого в целом дома. Виталий сам поражен этим видом и застывает в удивлении говоря Ей:

— Видишь?

— Здорово! — отвечает ОНА, и он чувствует утровку, деланность в ее ответе.

Она берет его за руку, не задержавшись ни на минуту у окна, и весело тянет его дальше, вниз по лестнице, вниз под горку — по пологому спуску холма она приводит его, прибегает с ним к теплому, желтовато-грязному морю, кишашему людьми, и говорит:

— Виталик, я хочу, чтобы ты был счастливым, чтобы ты узнал, что такое счастье! Ты видишь, как здесь весело, как здесь много народу, как здесь тепло и светло! Не грусти! Тебе больше никогда не будет грустно, и тебя никто никогда не обидит!

Она сбрасывает свое светлое платье, и оставшись в ярком желтом купальнике, заходит в веселое, полное барахтающегося люда море, а он, одетый, идет следом за нею в теплую, густую от мути жижу, и ему страшно стыдно, одиноко, неуютно и безнадежно...

Все это происходило тем самым временем, как нервно, тревожно, раскаленно — чувствовалась точка судьбы, ее ступень: если да, то дальше в горку, если нет, то очередной затык, неизвестность и мрак — длилась и длилась эпопея с его пресловутой статьей. Гатов отправил его с ней в популярный научно-публицистический журнал, сказав ему скупно, сквозь зубы, как бы даже конспиративно, что там есть порядочные люди, большие умницы, хорошо, он уверен, его встретят и отнесут-

ся по достоинству. А уж удастся ли им что-нибудь сделать... Там видно будет.

Так оно все и было. Встретили его ласково (ясно, с телефонной подачи Гатова и очень близко к тексту угадывалось, с какой: придет парень, не дурак, затюканный маразмом, интеллигентный и стеснительный, возьмите статью, поговорите помягче, прочтите, поддержите и посмотрите, что можно сделать, — по моему... и т. д.), статью прочли быстро, вызвали (из Питера, он каждую неделю звонил), сказали:

— Получил истинное удовольствие от вашей статьи. Спасибо вам за нее. Гражданское, человеческое спасибо. Написана здорово. Материал серьезный, источники достоверные. Ц. молодчина, пошел ва-банк. Значит, почувствовал в вас достойного идейного компаньона. Мы ведь его очень хорошо знаем: чертовски осторожная бестия, но отличный дядька. Пустим по начальству. Звоните.

И, между прочим, тут же прислали в Пресс-центр письмо на бланке журнала: мол, товарищ Бархатов написал выдающуюся проблемную статью на базе данных вашей отрасли, просим наградить из фондов поощрения. Статья, при условии опубликования, будет представлена журналом на премию года. И подпись (все того же малого, что ласково встретил). При всей комичности пассажа у Виталия на сердце скребли кошки — все то кукольное, не соответствующее его затратам, его вкладу: разрыву с родителями, отказу от нормальной советской малым довольственной жизни, от синекуры, их с Люсей полуголодному существованию. Чувствовалось, что те ребята и сами слабо верят в возможность

опубликования статьи, во всяком случае, стилистика их поведения не предполагала с их стороны сколько-нибудь самоотверженной борьбы и жертв (за него, подразумевалось, при всем их уважении к материалу). Они просто снисходили к нему, приязненно снисходили, как к дураку, как к блаженному, какими сами не были и не собирались быть.

— Таленький, — сказала однажды вечером Люся, когда они лежали, обнявшись — вернее, это он обхватил ее за любимые, цыплячьи от худобы плечи и как бы вложил все ее костлявенькое тело в футляр своего живота, изогнувшись и положив на ее бедро свою коленку. Почему-то было тихо — тихо на улице, на Лиговском, хотя час был не такой уж и поздний, может быть, оттого, что шел снег, крупный, мокрый и все же пушистый, и Виталий, глядя на него, думал о том, как снова придется ему ходить с мокрыми ногами. У Люси хотя бы были резиновые сапоги — грибные, но она носила их и в городе в непогоду, а вот он все не мог сподобиться купить себе школьные лыжные ботинки за десятку: никак не мог найти своего размера. — Что ты так переживаешь из-за всего этого фуфла? Не будь совком, брось с ними заигрывать. Все равно они тебе ничего не дадут покушать, если ты не напишешь черным по белому, какие они хорошие. Да еще и три раза в одном абзаце. Они же этого добиваются, неужели не ясно? Чтобы ты себе всю морду говном измазал. Тогда дадут тебе покушать, дадут сберкнижку завести, чтобы на машину откладывать. Получишь садовый участок на предприятии, ну там, в министерстве — и стройся. Даже подмосковную прописку дадут.

— А ты откуда знаешь? — он спросил это просто так, почти автоматически, совершенно не настороженно, как бы и думая о другом, но что-то его задело. Правда, совсем не то, что сказалось. — Я совсем с ними не заигрываю, Люся! Неужели ты еще не поняла, что я серьезно. Что для меня вообще все серьезно. Даже слишком.

— Вот именно, даже слишком. А от серьезного до смешного один шаг. Только не вздумай опять обидеться, я это не в укор тебе говорю. Я совершенно не собираюсь советовать, как тебе жить. Это твое дело. Мне просто жалко тебя, что ты так убиваешься. Из-за фуфла.

Виталий успел уже заметить к тому времени, что одни присоветывают тот образ действий, какой свойствен им самим в подобной ситуации, другие — прямо противоположный. Поэтому очень сложно однозначно судить о человеке по его советам. Сам он тоже принадлежал со временем такую особую манерку: советовать с насмешливым взглядом все то «самое лучшее», что должно вести к житейскому выигрышу и от чего сам он начисто и давно отказался. Но только это пришло к нему позже, немного позже, опосля всех этих историй. Люся советовала ему не как единому с собой целому, а как кому-то постороннему, это и задело. Так задело, что теперь, в ретроспективном уяснении всех деталей, он вспомнил этот разговор как определенную веху.

— Журналистика вообще гадость, — считала Люся. — В ней может успешно подвизаться только барахло, выжига и подонок. Понимаешь, это во всем мире так. Во все времена. Недостойное белого человека занятие.

Талик, ты пойми. Все подонки в той или иной степени. Ты хочешь невозможного.

— Но как же тогда жить? — он задавал этот вопрос уже чисто риторически, забыв, что Люся плохо способна абстрагироваться.

— В себе, только в самом себе.

И тут он об этом вспомнил. Да, ну конечно — она-то точно жила в себе, в этом не было ни малейших сомнений.

Он приехал в Москву и узнал, что статью ставят в шестой номер журнала на следующий год. В шестой! Боже мой, это же еще когда будет! Они что считают, что он двуличный? Что он дотянет до июня, находясь в таком отчаянном положении (чисто психологически)?

Начальник, однако, услышав эту весть, приободрился.

— Ну, парень! — сказал он Виталию. — Поздравляю! Победителей не судят. Я, например, и не мечтал никогда появиться в таком популярном издании. Любимом публикой. Познакомишься с Главным, и к тебе не подступишь! Пошли обедать — я тебя угощаю.

Они ходили обедать в гостиницу «Белград», благо она была рядом, в столовую для служащих. Проходили по пандусу для автофургонов в подzemелье и попадали, через кухонные подвалы, в чистенькую уютную столовую, удивляющую дешевизной (относительной) и вкусной едой: для своих. То же, и даже лучше, разнообразней и наваристей было в столовых и кафе министерства, куда они были вхожи по своим удостоверениям. Боже, как же это, оказывается, отлично и удобно — вписываться в систему, узнал Виталий. Впрочем, он уже испы-

тал в командировках закулисную сторону иерархической кухни: он, как корреспондент, да еще и министерский, принимался всюду на «самом высоком» уровне: директор, зам. директора, главный инженер. Ими же направлялся к определенным лицам: скажем, к начальнику такого-то цеха. Тот предъявлял ему своего «фирменного» Героя социалистического труда, и дело было замечено по многолетнему сценарию. Соответственно, в лучших гостиницах города ему предоставлялся номер-люкс, обед подавали в директорском кабинете рабочей столовой, иногда со столом человек на пятьдесят — на соответствующих заводах, «флагманах». Поначалу он чувствовал себя Хлестаковым, атмосфера — один к одному. Но быстро сориентировался и научился находить нужных ему людей — минуя директорский кабинет, проходил прямо в общий зал, подсаживался к первому встречному молодому специалисту из ИТРов — а это вычислялось легко, и узнавал все обо всем: кто-что, у кого про что можно узнать, с кем интересно поговорить по этой-то и по этой-то проблеме. Все это были абсолютно другие люди, чем те, к кому адресовал директор. Виталий заметил также, что главные инженеры — совершенно другой контингент, чем директора, тут пролегал траншей — по интеллекту, по культуре, по мировоззрению. Если тебе нужно содержательное общение по конкретным вопросам — иди к главному инженеру. Только они все куда-то спешили, в то время как у замдиректора (как правило) всегда находилось время для министерского корреспондента. Это была серенькая, приглушенная иллюстрация к Шестьдесят шестому сонету Шекспира.

Начальник даже подхватил его под ручку на улице, по дороге в столовую «Белграда».

— Кто знает, — весело говорил он Виталию, — может быть, линия понемногу начинает меняться. Может быть, не совсем сверху, а откуда-нибудь сбоку, из середины. Знаешь, есть люди, которые представляют такие данные наверх, что призадумаетесь. В общем, в том же русле, что и твоя статья. Даже пострашнее. Говорят, я конечно не могу называть источников, нация находится в процессе деградации. Но это, конечно, между нами...

Вот оно то, что называется «неплохой мужик», думал Виталий. Способен радоваться за человека, которого так разносил намедни. Говорил он в общем примерно то же, что и Витольд. Очевидно, это был министерский фон подшушукивания по коридорам и в курительных. Витольд — начальник отдела огромнейшего министерства огромнейшей страны, начальник их Прессцентра — референт министра, а ведут себя, как школьники, боящиеся розги. И вся психология их такова. Ну и потеха, ей Богу!

Что касается Виталия, ему давно уже — он не помнил точно, с каких пор — было совершенно ясно, что трещина, которую произвел Хрущев на двадцатом съезде, расколола фундамент и является роковой для режима. Но весь вопрос в том, сколько времени он будет разваливаться исподволь, потихоньку, от посадки к посадке, от невозвращенца к невозвращенцу, от кровавого танкового позора к позору; и до какого позора способен дойти. И не погребет ли шестую часть суши под обломками, когда рухнет. И будет ли это на веку Виталия, или еще дольше протянется.

Пока же Шестьдесят шестой сонет длился и длился.

ДОМ

Дом твой, любовь твоя — каменный это мешок: можешь сквозь стены пройти в любых направлениях, какие в состоянии придумать. Никто не остановит тебя.

Стены окружают бесчувственной вуалью. Стоит самой бесчувственно войти — и у тебя есть твой мешок, есть куда стремиться от натиска улиц, обеденных столов, кульманов и опутанных злоядной электрической паутиной приборов, вооруженных дикой, непостижимой логикой кратчайшей трезвости, вечно ускользающей от тебя.

Мерещатся мгновенные промельки злорадства, зависти и умысла на разноцветных табло — кинься через улицы, мимо равнодушного резинового хода проезжих, очутись, наконец, в своем каменном мешке, чтобы ощутить себя свободной, окруженной вуалью гладких стен, не имеющих запаха и цвета, не таящих ни понуканий, ни просьб.

(Стоит успеть спрятать перед порогом глаза)

Золотишко радости на открытой ладони случается тебе внести в свой дом — вырастают из стен тысячи мягких, нежных лапок, хватающих монеты прикосновениями дивной доброты, и от одного знания, что лапки эти ласковые — твои, смеешься и плачешь, неправдоподобно для этой юдоли озаряется твое лицо.

Но стоит забыть спрятать навидавшиеся за день глаза, стоит Богу послать боль, превозмочь какую может

лучше устроенная душа, не твоя, — и стены оцетиниваются холодом, презрением и упреком. Пронзительно скрипнут петли, и каменный мешок вывернулся своей изнанкой, леденевшей тысячи лет.

СЕКСОПАТОЛОГИЯ

Клу сидела, обливаясь потом, в ванне с горячей водой, ждала следующей схватки. Она напилась таблеток, которые дала ей Ева, соученица по университету, чтобы устроить выкидыш, и теперь проклинала все на свете, потому что это оказалось вовсе не так легко и просто, как говорила об этом Ева: «Они меня раз пять уже выручали. Правда, один раз не получилось, поздно было». У Евы все, казалось, было легко и просто — она хотела, выходила замуж, хотела, не выходила, спала, с кем хотела, вообще, делала что хотела и ничего не боялась, никого не стеснялась, действовала решительно и уверенно, словно получала на то несомненное одобрение свыше, и всегда была хозяйкой положения. У Клавдии боли были невыносимые, на третьей схватке она решила, что умирает, потому что нереальным казалось, чтобы живой человек мог вынести и пережить подобные ощущения: сердце разрывалось и выпрыгивало через гортань, отнимались ноги и на несколько мгновений она ослепла и видела перед собой бездонную черную яму, расцвеченную красными мерцающими запятыми. Надо было вызывать скорую помощь, но от одной мысли о том, как им, наверно, не захочется ехать ночью по очередному звонку очередного, как они, наверно, все-

гда думают, симулянта и как им придется объяснять, что с ней такое приключилось, она отказывалась от этой возможности и предпочитала умереть здесь, в этой чужой, соленой от ее пота ванне. Ева говорила, что должно быть схваток десять-пятнадцать, самая тяжелая шестая, потом будет все легче и легче, но выкидыш, кровь может пойти не сразу, а через день-другой-третий, что у нее начинается все быстро, тут же, потому что, слава Богу, слабая матка, а вообще бывает по-разному. Некоторым не помогает, потом приходится все равно делать аборт, что очень болезненно. Удивительно, до чего Ева все знала в Москве — и куда пойти сдать анализы на мышах, и где взять нужную справку, и где не надо платить, а где — надо, и сколько, и кому, и в каком виде отдавать деньги — в конверте или внутри справки, или просто сунуть трешницу в регистратуру. Знала все адреса, как куда ехать и где кого спрашивать, в какую аптеку идти с этим рецептом, а в какую — с тем, что сказать скорой, чтобы забрали в больницу, и в каком районе вызывать скорую, чтобы попасть в больницу с обезболиванием. Клавдии даже в голову никогда не могло бы прийти, что все так устроено на свете, что такое вообще может существовать. Просто как будто бы не Ева иностранка, а сама она иностранка.

Родители назвали ее в честь Клавдии Шульженко этим ужасным плебейским именем, и Клавдия неприязненно относилась не только к самой певице, но и к праздничным концертам по телевидению, в которых она еще пела, закрывая косыночкой старческую шею. Говорят, она сидела при Сталине, как и певец Владимир Козин, ее, конечно, очень жалко, но Клавдия — не то

имя, которое ей хотелось бы носить. С легкой руки Евы в университете многие стали называть ее Клу, но и к этому имени она не могла привыкнуть, ей казалось, что оно совершенно не выражает ее внутренней сущности. Хотя чье имя выражает? Найти бы такую мысль, на которой можно сосредоточиться настолько, чтобы она заглушила боль, но все мешается в голове, о чем бы она ни думала, едва начинается очередной приступ, — видно, не та у нее сила духа. Вообще, она слабая, и ребенок ей совершенно ни к чему. Это единственное, что ей понятно — ради чего она терпит сейчас весь этот ужас. Чтобы не пошло под откос вообще все — вся жизнь...

Вот, начинается снова, издали накатывает эта боль, сначала глухая, нутряная, будто бы выносимая, как обычные месячные, а потом... Потом... Уже нет никакого потом, кричать страшным криком тянет изнутри, в груди, в животе зарождается этот крик, но кричать нельзя, нельзя, молчи, потому что это чужая квартира, это... Чья же это квартира? Что это вообще такое? Где это все?.. Не может быть, чтобы это было на той же самой планете, где она родилась, где на день рождения дарят шоколадного зайчика и летом цветут в лесу колокольчики, где детям шьют красные платица с присборенными юбочками и надевают на них белые колготки... Чтобы эта девочка потом в этих белых колготках истекала вот так страшно потом, что все волосы ко рту прилипли... Как будто бы поможет, если закричать... Странные инстинктивные желания... Откуда они берутся? По незнанию... Все это ОН привлекает человека с самого детства... Зайчиками... Сиренью... Маками в степи... Любовью... Все обман... Самый большой обман — это

любовь: чтобы шли на пытку и плодили ему новых опытных зайчиков... И зачем ему все это надо? Жизнь? Эти страшные страдания? Смерть? Ей ничего этого не надо... Не надо мне, не надо... Пошли только, чтобы кончилось все... Умоляю, милостивый, всемогущий — ничего не хочу, пусть все кончится, все, сейчас, что-нибудь в голове пусть лопнет, и тьма... Больше ничего не хочу. Все я поняла, все узнала... Не хочу больше ничего, не хочу-у-у... Кажется, повернуло на убыль... Это очень больно, но не так... Значит, эту схватку выдержала... Выжила... Господи, неужели я еще жива... Не верится... Не может этого быть... Как глупо все, Господи. Это же родовые схватки, настоящие родовые схватки. Как я раньше не догадалась.

Самый большой обман — это любовь. Его поддерживают все — в книгах, в кино. Все эти книги писали мужчины, кино снимают мужчины. Бог — слово мужского рода. Ну не смешно ли? Когда она была маленькая, ей казалось, что для ее папы нет ничего невозможного: он мог достать любое лекарство, устроить маму в санаторий, когда у нее обнаружился туберкулез, доставал все подписки, получил квартиру со всеми удобствами и телефоном. Был совсем как Бог. Мама ничего этого не могла, ничего ни в чем не понимала, хотя они и работали в одном учреждении. Клу считала их интеллигенцией, и все считали, и сами они себя считали. Смешно теперь представить себе, кто они такие рядом, скажем, с дядей Алеши, послом в Норвегии, говорящим на пяти языках в своем величественном кабинете. Жалкие провинциальные обыватели. Жалкие мамыны старания принарядить ее в детстве. С двенадцати лет ее водили в

ателье по крайней мере дважды в год — одно летнее и одно зимнее н а р я д н о е платье! Показать бы Еве эти платья, ее фотографии в этих платьях... Она говорит всем, что у нее нет фотографий, что она никогда не фотографировалась. Когда она вспоминает мальчика, в которого впервые в жизни влюбилась, она зажимает пальцами уши, чтобы не вспоминать. Это был небольшого роста мальчик с греческой фамилией Манасис, худой и всегда улыбающийся. Продолговатые ямочки на его впалых, смугло-розовых скулах и темные миндалевидные глаза, в каждом из которых горела в глубине ночная звезда, сводили Клу с ума, когда она видела этого мальчика и тем более, когда она его не видела. Он денно и ночью ошивался на набережной, и Клу ходила туда иногда, чтобы на него посмотреть. Он носил вылинявшие сатиновые штаны и местного производства рубашки, их у него было штук пять, Клу знала их все наперечет. Валя Манасис. Смешно вспомнить. Троечник. Работает теперь, наверно, на паровозном заводе — а где же еще? — или подался в морячки. Или в таксисты. Не век же ходить в сатиновых штанах, наверно, думает. Как будто полированная мебель мариупольского изготовления — это лучше. Она тогда посмотрела фильм Марселя Карне «Набережная туманов», осенью, в октябре, ей все казалось, что Жданов — это Марсель и что можно встретить человека, который сразу увидит, что ты — это ты, в каком бы окружении ты ни находилась. Но Валя Манасис не обращал на нее внимания, хотя кажется, обращал, то есть он всегда на нее смотрел, когда она проходила мимо, но кажется, ничего не понимал и думал о другом. Интересно, что он думал, когда перестал

ее встречать — что все это было? Что все это значило? Впрочем, ничего это не интересно, слава богу, она одумалась и поняла, что мальчики в Жданове — не Марсели Карне, а просто солдаты. Худшие из рабов, без малейшей искры сомнения в душе, самодовольные в своем телятнике. Был еще один мальчик перед тем, как она уехала учиться в Москву.

Конечно, она понимает, что сейчас, когда ей так плохо и больно, все представляется ей в мрачном свете, но ведь то, что она думает сейчас, останется с ней навсегда, она просто узнала правду о жизни, которую от нее старательно скрывали, чтобы заманить в ловушку этой детородной бойни, в которой они все барахтаются, послушные своему инстинкту. Послушные Богу и своим установлениям, условностям, по которым живут.

Когда она познакомилась с тем мальчиком, казалось, все, что пишут о любви, не только правда, но на самом деле любовь даже и лучше, ее невозможно описать. Действительность всегда двоилась в ее глазах. Что правда? Что ложь? Как на самом деле? Последняя ли правда то, что сейчас — эти неправдоподобные мучения здесь, в чужой ванне, когда она, как раздавленная бульдозером свинья, потеряла все человеческие точки отсчета, — или та цветущая у моря глициния, аккуратно подстриженные черные волосы, свежий запах одеколона и весны, лодка с мотором, неизвестно кому принадлежавшая, таинственные телефонные звонки, всегда неожиданные, задыхающиеся, спешные, как и была юность внутри у нее, у Клавдии, на фоне ровных, однообразных дней школы и родни, маминых и папиных знакомых, сослуживцев, соседей — «Здравствуй. Это я.

Я на углу, на Ленина, у будки. Можешь выйти сейчас же?» На нем всегда была свежая белая рубашка, бросающая отблески на его счастливое, безмятежное лицо, он всегда мучительно, резко исчезал — самое позднее в половине одиннадцатого, она заметила. Он как будто не любил с ней целоваться, а любил разговаривать, один раз даже бил себя по щекам, когда они слишком уж разобнимались вечером в парке, за танцплощадкой. Парк, танцплощадка, билетная будка на углу — все было жалким, бездомным, неприкаянным. Ей хотелось очутиться с ним в настоящем путешествии, останавливаться в отеле, фотографировать Неаполитанский залив:

— Эта русская пара из десятого номера очень милая, она так хорошо воспитана, а он просто красавец. Обворожительные дети...

С первого же курса, как только поступила на психологический, она записалась в кружок английского языка в Доме учителя, участвовала в театральных постановках... Но самыми заядлыми там оказались малоинтересные старухи, которым вообще непонятно зачем все это было нужно. Там было скучно. Только когда у них на курсе появилась Ева — на втором курсе, она перевелась из Варшавы ввиду своего замужества с Джако, который учился во ВГИКе, — Клавдия впервые в жизни увидела настоящих иностранцев и ей иногда удавалось поговорить по-английски, хоть немножко потренироваться. Американцев она все равно понимала очень плохо.

Он говорил, что играет в футбол в специальной команде, которая здесь на сборах, и живет в спортгородке. Поэтому он очень занят и живет по режиму. Потом она увидела его в городе в курсантской форме. Обык-

новенной курсантской форме. И дело не в том, что он ей врал. Это бывает с мальчиками, это она могла понять. В конце концов, им так же, как и нам хочется чего-то лучшего, чем есть на самом деле. Но она не могла понять, как можно служить войне. За надбавку. За погоны. Как можно хотеть стать офицером и гонять солдат. Как можно хотеть самому стать солдатом. Она ненавидела войну и презирала военную форму. Это было для нее ударом. Она не сказала ему, что видела его в форме. Но он и сам почувствовал, что что-то случилось.

— Что-то случилось, Клав? Почему ты такая?

— Какая? Я обыкновенная. Ничего не случилось.

— Ничего? Правда, ничего? Посмотри на меня. Ну вот, я же вижу, что что-то случилось. Ты... познакомилась с кем-то за эти дни? Да?

— Это единственное, чего ты боишься? Нет, ни с кем я не познакомилась. С кем тут можно познакомиться? Все известно, как свои пять пальцев. Это тебя может не волновать. Я скоро уеду...

— Куда?

— Поступать... Куда-нибудь.

— А как же я?

— Ты... Мы ведь разные существа. Раз-ны-е.

— Вот как? А мне казалось, что одно...

И потом, в следующую встречу:

— Значит, ты меня бросаешь... А я даже не представляю, как я смогу теперь жить без тебя. Неужели это так обязательно — куда-нибудь ехать. Можно же учиться и здесь. Неужели ты думаешь, легче найти человека, который тебя любит по-настоящему, чем факультет? На кого ты хочешь учиться?

— Не знаю... Я хочу уехать отсюда. Ты вряд ли меня поймешь.

— Подождала бы немножко. Уехали бы вместе. Через три года.

Она насмешливо хмыкнула.

— Я не крепостная. Меня еще не посадили на цепь.

— Разве я к тебе так отношусь?

— Да нет... Я же говорила, ты меня не поймешь.

Потом было ужасно тяжело, потому что он переживал, сох и хмурился.

— У меня будет отпуск летом, и я поеду с тобой.

— Куда?

— Поступать. Болеть за тебя.

Ей было неприятно, что он так скулит, и противно себя, что это ей неприятно: любовь — дар небес, и надо принимать ее с достоинством и благодарностью. А он начал ее тяготить. Ей хотелось, чтобы он говорил о чем-нибудь легком, разделил ее надежды, не предъявлял своих прав на нее — и чтобы они, наконец, расстались, дружески и просто. Объяснить ведь ему невозможно, что жизнь тускла и тосклива, что у людей как будто шторы на глазах и они не видят, что впереди только смерть, и ведет к ней узкий коридор, из которого ни вправо, ни влево — все заказано, ничего не может случиться иного, чем каждодневная рутина — достать, не достать килограмм мяса, какая разница? Все их заботы кажутся ей такими дикими, когда жизнь, в сущности, ужасна, бессмысленна, жестока, в ней все борется не на жизнь, а на смерть, она вся воплощение войны и вражды — эти крики продавщиц, эти склоки в очередях, потасовки из-за каких-то польских покрывал, просто покрывал на

кровать, представляешь себе? И они мирятся со всем этим, мирятся с тем, что бессмысленно ходят куда-то каждый день и делают какую-то ерунду, отец так и говорит, что все, что они делают — это коту под хвост, работать они не умеют, умеют только орать друг на друга и сваливать на дядю, что умеют они только умирать, русские люди умеют только умирать, а не жить... Они мирятся с тем, что бабушка, когда умирала от рака, две недели на крик кричала на весь дом, и ее даже в больницу не взяли — места там нет для умирающих, пусть умирают дома, пусть вообще умирают где хотят и как хотят, и рожают в муках, и умирают в муках, и все те сорок миллионов, что погибли на войне и в лагерях, все равно бы уже умерли в таких же точно муках, и все двести миллионов обречены, а люди живут и как будто ничего знать не хотят об этом, зато что-то у них считается прилично, что-то — неприлично, а вот по-ее — так ходить в военной форме неприлично, потому что это признавать, что война законна и что есть какие-то правила войны, что ее всегда возмущало, как это язык у людей поворачивается: по законам войны, это чудовищно.

Вообще, в жизни столько чудовищного, и никто на это как будто не обращает внимания, никто, она еще не встретила человека, который бы думал, как она. Родители ей совершенно чужие люди, они как бездумные пчелы, они обучают ее мелким житейским установлениям их улицы, из дома, их города. Это смешно. Она не хочет жить, как они. А он хочет. Он просто мечтает жить, как они. Ничего она ему не в состоянии объяснить. Обидно ужасно, что чувства, эмоции привязывают тебя к чужим людям, мешают тебе думать, понять все, как

есть; что ей трудно с ним было расстаться, хотя она уже и понимала то, что понимала; трудно было сидеть вечером одной дома и думать — вдруг он все-таки позвонит, хотя она ему и сказала, что занята и надо срочно писать сочинение. Она чуть было не попала на эту удочку, чуть было не сдала в последний момент билет, так ей было тоскливо одной уезжать в неизвестность и жечь за собой все мосты их встреч и выяснений отношений. Но теперь она ничуть об этом не жалеет. Еще бы не хватало — все то же самое, что сейчас выносить тогда, или чуть позже, покориться участи, ехать с ним по его назначению куда пошлют — а куда его могут послать, неизвестно — и там жить взаперти, нянчить младенца за младенцем и ничего больше в жизни не увидеть. И вот такими же были бы роды в каком-нибудь сибирском городишке или на Дальнем Востоке — кругом море крови, крики, стоны, и никто ничего — так положено, такие законы войны, даже антисептика не обеспечена. И она знала бы, что страдает ни за что, просто из послушания их законам войны, и еще ребенка своего собственного обрекает жить их жестокой мясорубочной жизнью... Раз всем наплевать... Раз такое может быть... Чтобы с такой болью, с такими страданиями они бы смирились. Да еще культивировали бы их... Они обожают боль, пытки... Сладострастно вожделеют обрезать на них... Сейчас им посмотреть на нее — было бы одно удовольствие! Им бы хотелось, чтобы она кричала, визжала, как свинья... А-а-а! Во-от! Ребенка надо родить, а ты все хотела, как полегче! Вот тебе полегче! Так тебе и надо! Дрянь, отщепенка... Так бы и дала тебе еще

пинка... Гинекологиня в университетской поликлинике так и сказала:

— Так бы и дала тебе пинка. Так бы извозила тебя ремнем, будь я твой отец или мать. Показала бы тебе аборт. Жизнь убивать, калечить себя смолоду. Самое дорогое на свете, материнство. А им плевать теперь. Погуляла — и ни за что отвечать не хочу. Не дам я тебе никакого направления, иди куда хочешь жалуйся на меня. Да и нет у тебя, кажись, ничего. Просто задержка и все припухло. А и было бы, не дала...

Этот раз ей не выдержать, это ясно... Паралич разбивает, говорят... Говорили... Каждый думает, что не его... А это как раз ее... Как раз...

— А-а-а-а!

Она опустила голову в воду, чтобы заткнуться, чтобы не услышали о н и, она даже не знает, есть ли здесь соседи, и вообще, есть ли здесь кто-нибудь... Есть ли кто-нибудь вообще на свете... Как страшно умирать вот так, как собака на помойке... Никто о тебе не вспомнит, никому ты не нужен... По пятьдесят копеек соберут... Мать жалко.. Она не имела права, пока мать жива... А-а-а-а!

— А-а-а-а! Мамочка! Прости меня! Боженька, боженька, ты же видел все мои мысли! Я же никогда никому не хотела... Такого... Наоборот... Я наоборот... Почему же ты допускаешь такое над нами... Господи, чем мы тебе не угодили!

Она старалась говорить и кричать в воду, и захлебывалась, и вода лилась у нее из носа вместе со слизью, с соплями, она почувствовала, как что-то полилось из нее в ванну и ужасно завоняло. Она дрожащими руками

рванула изо всей силы затычку, но затычка не подда-лась — руки не слушались ее, в них не было никакой силы. Она потянула за цепочку — цепочка оторвалась. Чужая ванна... Это была чужая ванна... Она нащупала маленький литейный изъясн в затычке и подковырнула ее, обломав ногти, но этой маленькой боли не почувст-вовала. Почему-то из пальца пошла кровь... Этого ниче-го она не понимала. У нее внутри продолжало рвать и выталкивать наружу ее живот, как будто на него давил сорокатонный домкрат. В ванную, кажется, стучались... Наверно, это галлюцинация.

— Эва...

Это Джакомо! Это он так говорит — нежным, почти детским голосом: «Эва»... Клу пыталась открыть кран. Ничего не получалось, не хватало сил.

— Эва! Эва, открой! — тарабанил в дверь Джако. Он долго кричал по-итальянски. Ему практически было все равно, на каком языке говорить. Он свободно пере-ходил с английского на французский, с французского на итальянский. По-русски он говорил, как немногие рус-ские еще умеют говорить: грамотно, сложно и тонко. Но ругался он очень смешно.

— Открой, тебе говорят, шлюха международная! — неистовствовал Джакомо. — Я тебя везде обыскался, обзвонил пол Европы! Звоню в Варшаву, родители в обморок, делают вид, что ничего такого за тобой нико-гда не водилось... Мама мне сказала, слышишь, моя мама мне сказала, что тебя видели два дня тому назад в Монте-Карло. Можешь даже не отпираться, два дня на-зад, с этим аферистом Фибихом, дядя Антонио был там

на конгрессе собаководов, он вчера прилетел в Рим и сказал маме...

Да-а-а, это квартира Веры, тети Джакомо... Тетя Вера, она живет здесь испокон веку. У нее посадили мужа-коммуниста и сына, они оба погибли в сталинских лагерях, но у нее есть внуки, невестка и внуки, и у невестки есть новый муж, и у него тоже есть какие-то родственники, которые являются родственниками тети Веры. В общем, целая орава итальянских коммунистов, осевших в Москве еще с тридцатых годов. Тетя Вера в санатории для старых большевиков. Поэтому она, Клавдия, здесь... Не поэтому, а потому что ей не надо этого ничего... Ей надо написать диплом... Получить диплом... Не вылететь из седла.

— Эва, что с тобой! — испуганным голосом пролепетал вдруг Джако. — Почему ты молчишь? Тебе плохо? Но я же слышу, что ты там, что там льется вода! — хлопнул он по двери ладонью.

Только теперь Клу, когда боль пошла на убыль, смогла включить душ. Странно, она только что кричала, как резаная, а теперь у нее не было сил напрячь связки. Она хрипло сказала севшим голосом:

— Это я, Джако... Это не Ева...

— Что ты надумала на этот раз? Послушай! — жалобно, своим обычным почти детским голосом сказал Джакомо. — Открой мне, давай поговорим спокойно! Ты же знаешь, я никогда не сделаю тебе ничего плохого, хотя бы ты довела меня до любой последней черты! Ты же не можешь меня бояться, ты не должна меня бояться! Я все пойму, я все способен понять! Я не хочу,

чтобы с тобой что-нибудь случилось, Эва! Открой мне, если ты еще жива, заклинаю тебя всем святым!

— Это я, Джако... Это не Ева, — шептала Клу. Он замолчал. За дверью стало тихо.

Клу перевалилась через край ванны и потянулась за полотенцем. Джакомо учился на режиссерском факультете. Он был внучатым племянником кого-то из основоположников итальянского неореализма, она все путала, кого именно. Перед этим он окончил колледж при Сорбонне. Стипендию ему платила итальянская компартия. Сто рублей в месяц. Видимо, и там требовался блат, чтобы попасть учиться за границу. Все везде одинаково. Все очень случайно. Руки и ноги у нее дрожали, трясся подбородок и не слушался язык. Она сбилась со счета, но кажется, все-таки последняя схватка была не такой тяжелой, как предыдущая. Все было очень далеко от нее, вся жизнь, люди, их проблемы и вожеления. Когда человек умирает, догадалась она, ему все равно, ему ничего не интересно. В щелку между дверью и притолокой просунулось лезвие столового ножа и скрежетнуло по задвижке. Задвижка отодвигалась туго, Клу не подумала об этом. Вообще, она не думала, что может умереть от этих невинных таблеток, на которые Ева сама выписывает рецепты. У нее пачка заверенных печатью рецептов, она выписывает себе, что хочет. Она прекрасно разбирается в медицине. То есть их всех, конечно, много тут чему учили — и анатомии, и физиологии, но у Евы есть просто пачка заверенных рецептов. Они вместе проходили практику в одном отделении клиники, работали с дефективными детьми, и Ева запаслась, по дружбе. А Клавдии такое даже в го-

лову не приходило, да и дружбы у нее ни с кем там такой уж не было. А Ева дружит со всеми. Они поразительно открытые с Джакомо, у них нет ни от кого никаких секретов, и их все любят и все с ними дружат. А Клавдия живет, как в пустыне. Она не представляет себе, что будет, когда уедет Ева. Она останется совершенно одна на свете. Одна как перст. Она вцепилась рукой в лезвие ножа и прохрипела, приложив к щели губы:

— Джакомо... Это я, Клавдия! Я не могу открыть задвижку, подожди немного...

— Клу, это ты! Господи! Что ты там делаешь? Как ты там очутилась? А я... А я... Эта дрянь опять удрала с Фибихом. Я потратил все деньги, всю валюту... Даже рубли. Ты не представляешь себе. Я чуть с ума не сошел. Опять она с ним. Я выследил их по видео. Я давно придумал скрытый элемент у нее в сумочке... На пудренице. Как ты думаешь, она его любит?

— Нет, Джако, нет, — прошептала в щель Клавдия.
— Подожди немножко.

Она отодвинула задвижку и опустилась на пол: ее опять скрутило.

— Клу, что с тобой? — воскликнул Джакомо, распахивая дверь. Она видела только его ноги и край пальто в елочку: он даже не разделся. — Почему ты не отвечала столько времени? Тебе плохо?

— Плохо, — отозвалась Клавдия, свернувшись в клубок от боли. Вены у нее на висках, казалось, сейчас лопнут. Джакомо опустился на одно колено и прикоснулся к ее плечу. Он такой худенький, щуплый, а она — здоровая русская девка, он не сможет ее даже поднять. Ева тоже маленькая, худенькая, с коротенькими-

коротенькими белокурыми волосиками. Они как два эльфа, а лопают дай бог каждому. Все русские деньги проедают на лангеты в кафе «Прага». Когда не хватает рублей, проедают валюту в «Национале». — Чего тебе дать? — спросил Джако, — валерьянки? Сердечных?

Клавдия молчала.

— Вызвать скорую? — предложил Джакомо.

— Нет, ни за что. Лучше умру, — выдавила из себя Клавдия.

— Да что ты! Думаешь, они тебя сразу на Лубянку, что ли? Так плохо тебе? Ну все, звоню в скорую.

— Нет, нет, нет, Джако, нет... Ты не знаешь... Они сами, как Лубянка... Ты не знаешь наших больниц. Не надо, умоляю тебя. Что угодно, только не это. Помоги мне... Я не могу встать.

Он обхватил свою шею ее рукой и начал приподнимать ее, поддерживая за талию. Из нее опять полилась какая-то вонючая жидкость. Джако уложил ее на Верину кровать, одной рукой отдернув покрывало. Клу трясло. Было очень холодно. Говорить она больше не могла. Она старалась подоткнуть под себя полотенце, чтобы не испачкать чужую кровать. Джако вытащил из-под нее половину одеяла и обернул ее им. Накинул сверху покрывало. Притащил из прихожей Верину драгую шубу. Клу все трясло и трясло. Джако позвонил в скорую.

— Мы же цивилизованные люди, — сказал он.

Клу корчилась от боли, но кажется, все же было легче, чем раньше

— Где Эва? — спрашивал Джако. — Ты знаешь, где она?

Клу отрицательно мотала головой.

— А как ты сюда попала? — спрашивал Джако. Как на допросе, подумала Клавдия. Она не могла сообразить, что ему ответить. Нужно ли ей что-нибудь соврать, чтобы выручить Еву, и что именно. Ева дала ей ключи от Веринной квартиры три дня назад, и она понятия не имела, что Евы нет в Москве. В общежитии Ева вообще не засиживалась. Редко там ночевала. Приходила переодеваться, менять вещи, сдавать постельное белье в прачечную. Все считали, и Клу в том числе, что Ева живет большей частью в общежитии у Джакомо или с Джакомо у его тети Веры. Хотя Клавдия кое-что знала о других ее похождениях — например, о ее романе летом после третьего курса с Жаном-Мари, журналистом, с которым она познакомилась в самолете по дороге домой, в Варшаву, и из-за которого она приехала в Рим к Джакомо на три недели позже, чем они договаривались, и Джакомо прилетел в Варшаву, поговорив в очередной раз с ней по телефону, а ее родители сказали ему, что она уже улетела в Рим, он вернулся, а ее там еще пять дней не было. Жан-Мари был женат, у него было трое детей, Ева была замужем, и это у них считалось в порядке вещей. «Я бы все равно никогда не вышла замуж за этого человека, — говорила Ева со своим милым лепечущим и картавым выговором, — но поспать с ним очень интересно, он в этом понимает толк. Не то что Джако.» Клу почти с благоговением выслушивала подобные реплики Евы, потому что представляла себе, каким же она, с ее советским воспитанием должна была быть профаном в этом вопросе даже по сравнению с бедным Джако, особенно в те времена, когда она тол-

ком не представляла себе, откуда дети берутся и зачем замуж выходят. Самым главным в вопросе любви представлялись ей цветы, с которыми приходят на свидание, и билет, который тебе покупают в троллейбусе. А это было очень приятно, и ожидалось с замиранием сердца, что остальное — еще приятнее.

Но и это было теперь от нее очень далеко. Она не понимала, к чему стремилась Ева, что ей нужно было. Хорошо, она говорила, что в Польше тускло, мрачно, одна бесконечная борьба, как скорпионы в банке, а жизни никакой, и не предвидится ничего, кроме очередного повышения цен, очередного решения партии и очередной забастовки. Но вот она вышла замуж за Джако, вырвалась в мир, но ее продолжает точить какой-то червь поиска. Поиска чего? Джако, по старым представлениям, из графской семьи, и Ева, можно сказать, теперь графиня; Джако очень хороший, нежный человек — джентль, как говорят англичане, сугубо мирный, артистичный... С ним очень интересно — в мире кино, мыслей, искусства. «Чем кончается «Макбет»? — смеясь, рассказывает он. — Вы представляете, перед экзаменом, уже перед самой дверью вдруг как вцепится в меня и говорит: «Джако, быстро, чем кончается «Макбет»? Я ему говорю — не кончается он, не кончается, по сей день на улице стоит, спроси у моей тети. А он мне: «Ты понимаешь, старик, я из Воркуты, после армии... Там даже библиотеки порядочной нет, понимаешь...» Джако все читал, абсолютно все — Адорно и Ортегу-и-Гессета, Ясперса и Хайдеггера, Бакунина, Бердяева, не говоря уже о Фрейде. Он сделал на третьем курсе курсовую работу, этюд, одночастевку — идет по

улице демонстрация со знаменами, с бумажными цветами, воздушными шарами, с лозунгами, и на домах — портреты вождей, абстрактно, не резко — какие именно вожди, не видно, а за окнами, на которых эти портреты висят, в темной комнате сидит у телефона девушка и нервничает. Она встает, подходит к окну, но там ничего не видно, она смотрит слепыми глазами в сквозную ткань портрета, ломает пальцы, доносятся с улицы звуки музыки, и она бросается к телефону, снимает трубку, но там молчание, она долго слушает это молчание, потом идет в ванную и режет себе вены... Все показано очень эстетично, изображение становится призрачным, призрачным... Ему сказали, что это пижонство и что если бы он не был иностранец, ему поставили бы двойку, а так — композиция нормальная, работа с актером и оператором хорошая, смонтировано четко. Ни про что. Клу только сейчас поняла, про что был этот фильм. Значит, Джако понимает. Зачем же он вызвал скорую?

Он звонил к себе в общежитие, к ним в общежитие и спрашивал, не появилась ли Ева. Потом заказал международную, попросил Рим и долго говорил с кем-то по-итальянски. Как раз в это время позвонили в дверь. Джако быстро сказал «чао» и бросился открывать, и когда он вернулся с врачом и сестрой, Клу увидела, что он ожидал Евы. Боже, какой он смешной! Просто дурак.

— В чем дело? — резким деловым тоном спросил врач, оглядываясь вокруг себя в поисках стула. С его растоптанных ботинок на микропоре стекала вода. Клу ужаснуло, что ее сейчас заберут и некому будет протереть Верин пол. — Что такое? На что жалуетесь? — нетерпеливо повторил врач. Сорокалетний московский

врач, который, может быть, никогда и не выезжал из Москвы, потому что он здесь прописан, разве что в отпуск. Что он думает о жизни? Что он думает о тех вопросах, на которые так неожиданно и так животно, до выворачивания кишок напоролась Клу? Что он думает о боли? Вдруг этот человек, посмотрев на ее зеленые щеки, спутанные рыжеватые волосы, жидко желудевые глаза, трясущиеся руки и рот, все поймет? Вдруг он защитит ее, возьмет под свою компетентную и добрую защиту? Потому что ему станет жалко ее?

— Н-не знаю, — сказал Джако. — Я так и не понял.

Врач придвинул стул, стоявший у окна, и сел. Хозяйский, уверенный жест понравился Клу, но не понравилось, что осталась стоять медсестра. Она обратилась к ней:

— Я выпила таблеток... Сейчас мне уже лучше. Только ноги отнялись...

— Как их таблеток? — сухо, с ударением спросил врач. Клу сказала.

— Так. Что сейчас чувствуете?

— Озноб. Сильный озноб. И голова болит.

— Одевайтесь, — врач встал. Клу растерянно оглянулась на Джако. Все ее вещи были в ванной.

— Я... Я не могу пройти до ванной, — сказала она, не попадая зубом на зуб.

Сестра сказала Джако:

— Принесите ее вещи!

— Я не знаю, где ее вещи! — схватился за голову Джако. — Клу, в чем ты сюда пришла?

— Наденьте на нее что-нибудь, — поморщился врач. — Все равно что.

«И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь...»

Кажется, это было как раз то, что ее сейчас интересовало: они, древние то есть, считали, что все от Змия, а Господь Бог тут вовсе даже и ни при чем: «Сказал Змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, когда вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло... И сказал Господь Бог жене: что ты сделала? Жена сказала: Змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Жене же сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою»...

Клу отложила книжку и опустила ноги в тапочки. Вчера утром у нее снова начались схватки, правда, не такие сильные, вполне выносимые, а когда они прошли, она встала на ноги и пошла. Значит, можно было и не вызывать скорую, все прошло бы само собой. У нее только и успели, что взять на анализ кровь и мочу. В субботу и воскресенье врачей в больнице не было, и ей было стыдно находиться здесь и есть. Правда, она почти

и не ела — не хотелось. И даже не тошнило. Все было будто бы нормально, и даже не верилось, что самое страшное еще впереди. А вдруг они выгонят ее отсюда и не станут делать ей аборт, и у нее родится какой-нибудь урод с обрубками рук и ног — говорили, что и такое бывает от этих таблеток, если они не подействуют и вовремя не принять меры. А похоже, что они не подействовали, и все, что она вынесла, — было зря. Ей хотелось расспросить кого-нибудь, но вокруг были чужие. Они говорили о неправильном положении плода, о низком гемоглобине, несколько из них лежали на сохранении беременности. Все их мысли были направлены на материнство. Когда они спросили у Клу, что с ней, она пожала плечами — мол, сама не знает. Утром они спросили у нее, почему она не идет есть, и когда она сказала, что у нее ноги не ходят, они принесли ей кашу в палату, отвели ее в туалет под мышки и снова принялись расспрашивать, что с ней такое. Она опять сказала, что не знает.

— Но ты беременная или нет?

— Беременная, наверно, — безнадежно откликнулась Клу. Они засмеялись. Это неприятно поразило.

— Разберутся, — развязно сказала одна из них, бывшая толстуха, видимо, беременная, и возможно, не в первый раз. Клу вдруг ясно ощутила, что все это не для нее.

Им, стало быть, на заре человечества, сразу бросились в глаза и показались странными три вещи: «в муках», «в поте лица» и «в прах возвратишься». Три эти вещи сочли они неестественными, требовавшими дополнительного объяснения как привнесенные в сотво-

ренный мир позже, за яблоко это несчастное, впрочем, оказывается, даже и не сказано, что яблоко, а — «от древа познания добра и зла». Что бы это значило? Разве Христос не «познание добра и зла» нес людям в учении своем? (Евангелия она прочла еще вчера: Джакомо, собирая ее в больницу, положил ей в целлофановый пакет с яркой картинкой тапочки, конечно, Верины, как велела ему медсестра, халат — Верино старое кимоно, зубную щетку, мыло и Библию, великолепную старую Библию на русском языке, с ятями, Клу даже не подозревала, что у тети Веры такое может быть, все-таки, она коммунистическое чудо-юдо, а если бы даже подозревала, никогда бы не осмелилась попросить).

Или, может быть, людям не положено вникать, как обстоит с этим делом — с Добром и Злом — на уровне Бога, а то, что им положено понимать под Добром и Злом, и преподал им Христос? Но тогда зачем же этому проклятому дереву было стоять в земных Эдемских пределах? Ведь сначала Бог сотворил небо и землю, из глины сотворил Адама, и все, что там происходит, происходит в рамках географии Малой Азии и Северной Африки, даже Всемирный потоп... Это, все-таки, тот Бог, который гуляет в Эдемских садах, — Бог явленный, каким и мы видим и слышим Его во всяком проявлении жизни, даже и сейчас, в циничных репликах этих, в ловушку жизни попавших теток, которые по-своему мстят Ему за свои страдания... Наверно, Бог неявленный, Бог вечный и бесконечный — вне Добра и Зла! Звезды не добры и не злы, они — холодны. Единственный индикатор Добра и Зла — это боль, это отражение в сознании отношений боли, это чисто человеческие мерки... Зна-

чит, я свободна в своем выборе в тех пределах, в которых он не приносит боли ближнему... А зародыш, который во мне, — это ближний или дальний? Говорят, в нем уже Вечная Душа... Семя вечности, космическое зернышко Жизни. Но зато я избавлю его от муки существования! Но и от Пути... А я сама, что за Путь я прошла? Понять, что ты живешь в хлеву, на скотобойне — Путь это или не Путь? Я никого не люблю, все мне противны, кроме Евы и Джакомо, может быть, его тети Веры... Да и то... Джакомо и Вера немножко жалки, Ева — страшновата, Алешу я презираю... Его ребенка, от-него-ребенка заранее вижу чем-то ничтожным, бездарным, блатным недоразумением... А если у него еще и не будет влиятельных родственников — мало ли, как оно может случиться, — так он вообще будет каким-нибудь подзаборным алкоголиком, амебой, размазней, каков, в сущности, и Алеша, если снять с него заграничные тряпки, раздеть, так сказать, догола. Нет, это не любовь. Сначала просто казалось. Вот эти самые тряпки, вкрадчивые манеры на фоне всеобщего хамства. А теперь — бр-р-р... А уж теперь — и вообще бр-р-р-р...

Просто поразительно, до чего она одинока. Ей даже некому позвонить из больницы (если не считать Алеши, разумеется, но да с ним уже все кончено, это ясно, она даже решила не заикаться ему о том, что с ней случилось, — слишком это унизительно, поставить себя в зависимость от его «человеколюбия», чисто внешнего, и хороших мин, лучше все взять на себя. Она не сомневалась, конечно, что Алеша поведет себя «как надо», то есть поставит вопрос и о замужестве, и об аборте — но самое страшное сейчас это как раз выйти за него замуж,

это и значило бы для нее кончить свой путь, или Путь — это ведь ей неизвестно. Только Алеша — это угнетение души, она его с трудом выносит в последнее время). Вот уедет Ева, и она останется вообще одна как перст. И может быть, до конца жизни больше ни с кем не встретится, не подружится. Она никогда не проявляет инициативы — боится неизвестно чего... Высокомерия, наверно. Хотелось бы ведь дружить с теми, кто выше тебя, а они всегда могут посмотреть на тебя сверху вниз. Замкнутый круг, из которого нет выхода. Ева — та сама подлетела к ней на переменке, прелестная маленькая полька в строгом, но по самой последней моде парижском джерси и черных элегантных сапогах — итальянских, конечно. Прическа — класс, густые белокурые волосы, постриженные коротко-коротко и лежащие безукоризненно на башке, просто непостижимо, как они это умудряются. На курсе больше ни одной человеческой стрижки, кроме Евиной — все какие-то пороссячьи самоделки или вообще трепаные ходят. Сама она тоже ничего путного, кроме давно вышедшего из моды начеса, придумать не в состоянии. Чувствует себя страшной колхозницей. Вообще жить почти не хочется. Того врача, который забирал ее на скорой, она больше не видела.

Клу встала, оправила койку и медленно выпрямилась. Ноги держали ее, хотя и дрожали и были немного ватными. Она могла идти, это было великим счастьем, спасибо, Господи, и на этом — пожалел, отпустил, припугнул. В конце коридора было окно, перед которым стояло кресло — в приемные часы на нем обязательно кто-нибудь сидел, даже по несколько человек, а в вос-

кресенье люди практически шатались целый день по палатам. Кресло было занято. Она подошла и тихонько стала у другого края окна — внизу за пыльными стеклами зеленела пыльная сирень, солнце, жестокое апрельское солнце точно розгами наказывало зрение и даже нюх — Клу уверена была, что задыхается от пыли. Между кустами вдруг во весь рост встала на хвосте против света довольно крупная гадюка, солнечные искры сыпались от ее боков, простреливая виски, Клу, кажется, успела услышать свой дикий, пещерный вопль и потеряла сознание.

Позже, когда она пришла в себя, у ее постели сидела Ева. Маленькая фешенебельная Ева в белом брючном костюме, в очках-«хамелеонах» с поляризованными стеклами в этой гнусной, грязной больнице с семечками по воскресеньям, в которой даже не было горячей воды и ванной на этаже, а тетки, или бабы, как они сами себя называли, изощрялись в мате. Ева сидела, низко над ней наклонившись, и держала ее за руку. Когда Клу открыла глаза, Ева ее поцеловала в щеку и засмеялась.

— Ну? — сказала она. — Ни жива, ни мертва?

— Ева! — воскликнула Клу, и глаза ее наполнились слезами. — Где же ты была? Джако опять метался тут как безумный...

— Я же не виновата, что он дурак, — нахмурилась Ева, и Клу пожалела, что сказала не то, что надо. — Я была у Веры, поехала проведать ее, чтобы не скучала. Посмотреть на природу. Я природу сто лет не видела. В Москве как в каменном мешке, все давит, жжет подошвы.. Я в ней долго не выдерживаю, — она затараторила,

как всегда, быстро, то прикладывая указательные пальцы к вискам, то стуча ими по своим ключицам, то разводя в воздухе над головой. — Я знала, что она древняя, но не представляла себе, что она до такой степени разрушена, не представляю, чего вам бояться атомной войны, хуже не будет. Может, даже лучше. Этаназия — это достижение цивилизации. Как и таблетки от беременности, которых у вас нет. Прости, я очень жалею тебя. Это ужасно, какая ты чувствительная. Люди ведь не одинаково чувствительны к боли, ты знаешь? Плохо физиологи учишь... Вообще, тому что действительно надо, нас не учат. Но я много читала на эту тему. Даже народы в этом отношении разные. Я думаю, ты просто перепугалась. Не надо было ехать в больницу. Джако дурак. Ну ничего. Как ты сейчас?

— О, Ева! — Клу взяла ее за обе руки, летающие в воздухе. — Давай выйдем. — шепнула она ей. — Помоги мне встать.

— Нет, нет, нет, — так же шепотом сказала ей Ева. — Говорят, у тебя только что был обморок, перед моим приходом. Даже побежали за сестрой. Просто она еще не пришла.

— Да... — Клу откинулась на подушку. — Я не помню, что со мной было... О-о-о, вспомнила! Ева! Как ты думаешь, Ева, — она снова приподнялась, чтобы приблизиться, — здесь в саду, ну, в этом вот не знаю чём, что вокруг больницы, могут водиться змеи?

Ева отпрянула от нее.

— Черт его знает, — сказала она. — По крайней мере, в Варшаве в больницах змей нет, это я точно знаю. Но... А что такое? Ты видела змею?

Клу задумчиво покачала головой. Да. Она ее видела.

— Идем, я тебе покажу, — прошептала она.

Ева помогла ей подняться, и они вышли в коридор. Народ начал расходиться, навещающие уходили домой и больные возвращались в палаты. У окна не было никого. Свет в коридоре еще не зажгли, а солнце уже село, и трава светилась под окном среди помраченных кустов и крон, будто красивой картинкой был заставлен торец темного коридора. В просвете между кустами сирени стоял мальчик в полосатых трусах и такой же курточке, смешно прижимая к груди панамку, точно снятую шляпу, и смотрел вверх, на окно.

— Одевают детей, как арестантов, — пробормотала Ева.

— Вот там она и была, — сказала Клу.

— Кто?

— Гадюка.

— Конечно, тебе показалось. Просто нервы. На таком расстоянии разве можно увидеть в траве змею? Да еще вечером.

— Солнце светило вовсю. Я ее ясно видела. Может, это мальчишки принесли ужа. В детстве я почти не жила от страха перед мальчишками с их паршивыми ужами. Но таких огромных ужей не бывает, по-моему. Как ты думаешь, почему они их так любят?

— Кто?

— Мальчишки.

— Ерунда это все. Им просто делать нечего. Так что они тебе сказали?

— Кто?

— Врачи.

— Ничего. Только взяли анализы в субботу утром, и все. Не знаю, что теперь делать. А вдруг они все-таки не подействуют?

— Кто?

— Таблетки.

— Вряд ли. Они тебе делали промывание?

— Нет, не делали.

— Идиоты.

— Так что сказал тебе Джако? — они уселись вдвоем в кресло у окна, как сидели здесь недавние посетители, и Клу охватило вдруг чувство уюта и устроенности, несказанно ее удивившее.

— Ну что он мог сказать? Все мальчики кровавые в глазах. Параноик.

— Это же от избытка любви!

— Но жизни-то никакой. Вырвалась из одной тюрьмы, попала в другую. Уйду от него сразу же, как только окажусь на Западе. Пусть, если хочет, будет моим любовником. Но никак не мужем.

— Но ведь в Италии трудно с разводом?

— Это так в старых фильмах показывают. Сейчас совсем другое дело.

— Он тебя убьет когда-нибудь.

— Он же гуманист! Знаешь что, по-моему, ты сама в него влюблена, вот бы вас поженить.

Клу промолчала. Конечно, если бы она познакомилась с таким, как Джако, до Евы... Все на свете случайно, но почему-то, ощущает она, у нее нет никаких шансов на подобный случай. Одна из титулованных героинь Диккенса поучала свою воспитанницу, что замуж, ко-

нечно же, надо выходить по любви, но любить надо в том кругу, где деньги... Что-то в этом роде. Она же вообще вне круга. Одна как перст. Алеша не в счет, он с курса, на котором три калеки мальчиков, и с ним все кончено.

— На-ка вот, съешь шоколаду, — Ева достала из сумочки три шоколадки и пачку Селема. Шоколадки были фэргешные, и Клу подумала почему-то, что вряд ли Ева могла их привезти из подмосковного дома отдыха для старых большевиков.

— Не хочу, — сказала она, отодвигая их рукой, как плохо воспитанный ребенок. Ева бросила все это ей в подол.

— Завтра позвони мне сразу же после обхода. Я буду ждать твоего звонка у Веры. На аборт не соглашайся, это будет очень болезненно. Попроси отложить его хотя бы на неделю. За это время я попробую достать тебе столько новокаина, сколько нормально требуется, и задружу с врачом. В случае чего, дам им на лапу. Или подарю блок американских сигарет. Все будет о»кей, не трусь. От тебя требуется одно — не поддаться. Ну, попроси, заплачь, скажи, что плохо с сердцем. Поняла?

Клу кивнула.

— И сразу же мне позвони!

На следующее утро на обход пришел еще один новый врач — не тот, что забирал ее на скорой, не та полная женщина с сочной выпуклой родинкой на подбородке, которая осматривала ее вечером в пятницу, — видимо, то была дежурная, а теперь появился лечащий врач, который будет, видимо, разбираться с нею уже до конца. У него было желчное лицо несчастного человека,

сальные невымытые волосы, и его несвежий мятый халат казался засыпанным перхотью. Это почти обрадовало Клу, потому что стыдиться такого врача можно было лишь в минимальной степени. К ней он подошел в последнюю очередь — ее койка была крайней слева.

— Так, — сказал он, присаживаясь на ее кровать и перебирая бумажки в папке, которую принес с собою. — Фамилия.

Клу сказала. Он еще что-то поискал, и вдруг лицо его приняло злое, возмущенное выражение.

— А, это вы, — злобно прошипел он. — Нет у вас ничего, нет и не было никогда, понятно! Немедленно убирайтесь из больницы! Там уже выписка готова! У нас по сто человек на место страдающих людей, которым мы не можем помочь, а вы симулянтка, психическая, вам в диспансер надо на учет и штамп в паспорте. Вставайте! Вы хоть мужчину когда-нибудь видели ближе, чем на танцах?

Палата разразилась хохотом. Клу трясло, она опять стала вся мокрая, как там, в ванне. Все расплылось перед ее глазами, она хотела опустить ноги в тапочки, но с этой стороны койки сидел врач, и она опустила ноги на другую сторону, на пол. Попытавшись встать, она снова почувствовала, что ноги почти не слушаются, но решила не заикаться больше ни о чем и выбраться поскорее отсюда — туда, к Еве, которая все знает и все ей объяснит.

— Ну и блядь! — среди всеобщего смеха воскликнул кто-то, и постепенно до Клу дошло, что это шутка.

ТОЧКИ НАД І

— Как ты думаешь, если мы туда зайдём, нас не выгонят? Так хочется отдохнуть.

— В гостиницу «Европейская»? Может, и не выгонят. В холл все могут заходить. Ведь это гостиница.

— Даже если сразу увидят, что мы не иностранцы? И не элита? Там можно посидеть и покурить?

— И можно даже позвонить по телефону твоей сестре, с которой ты хотела повидаться.

— Да, хорошо бы с ними со всеми повидаться. Сто лет их не видела. С самого детства. Но я очень устала.

— Странно, от чего ты могла устать. Мы ничего же не делаем. Ходим себе гуляем по улицам и смотрим картины.

— Я не от этого, действительно, устала. Наверно, от домашней обстановки.

— Дома ты устаешь от домашней обстановки. Ты от всего устаешь и везде скучаешь. Последнее время.

— Последнее время? Дай мне, пожалуйста, огня. Расстегни пальто, чтобы потом не простудиться на улице.

— Последнее время ты превратилась в скучающую мадам, ищущую любовных походов.

— Seriously? Я произвожу такое впечатление? Ну да, я же забыла, ведь ты — доктор Дымов, отдающий себя науке и человечеству, а я — «ни жать, ни сеять, ни пахать»... Ну да. Ну да. Мой дорогой, скажи мне — что для тебя сделать? Мне хочется что-то такое сделать для тебя: большое, невероятное. Все то, о чем я промечтала все детство и юность, пока училась в школе и бегала в

кружки, и одолевала высшую математику — зачем? к чему? — я не знаю, что это такое и как его назвать, — мне хочется отдать тебе и сверх того еще сделать что-то, чтобы ты стал счастливым. Таким счастливым, какой не могу быть я. Потому что, ты правда лучше меня. Это правда.

— Все бы это сделалось само собою, если бы ты любила меня. Об этом не приходилось бы думать отдельно. Просто каждый день любила, варила борщ, родила бы мне ребенка и не рвалась бы поминутно куда-то, к кому-то...

— Кого нет, и наверное, не бывает...

— И кого ты заменяешь маленькими любовными интрижками под предлогом общих интересов.

— У меня нет ни с кем и не может быть больше общих интересов, чем с тобою, но и это не сделало нашу любовь вечной.

— Боюсь, что под вечной любовью ты понимаешь дурман крутой и черной страсти, которая ничем не дает заниматься путным, в которой вражды больше, чем любви. И слава Богу, что она не бывает вечной.

— Значит, все дело в том, что тебе есть, чем заниматься путным, а я болтаюсь.

— У тебя есть специальность. Не усидела на одном месте, поищи что-нибудь другое.

— Да-да-да. Послушай, возьми меня к себе. Я все-все буду делать для тебя.

— Но у тебя другая профессия, и у меня тебе нечего делать.

— Я научусь чему-нибудь.

— Тебе уже слишком много лет.

— Ты ведь сам говоришь, что не бывает безвыходных ситуаций. Ты большой, ты сильный, ты умный — сделай что-нибудь.

— Ты же только что сама жаждала сделать что-нибудь.

— Ах, что я могу. Я даже не могу — мысленно, конечно, — найти для тебя такую женщину, о которой мечтаю для тебя, совсем не такую, как я, и которая бы к тебе относилась, как я когда-то.

— Очень давно. Прекрасно все было.

— Сначала. А потом... Что было этим потом и кто в этом виноват?

— Тебе виднее.

— Послушай, любовь моя единственная. Нам надо разойтись. Все — к черту, и каждому — свое. Ведь это предательство — продолжать влачить эт-ту семейную жизнь и делать вид, что ничего не случилось. Ты не находишь? Мы слишком по-настоящему любили друг друга, чтобы с этим мириться.

— Ты чувствуешь, что ничего нельзя сделать? Помоему, все гораздо проще. Надо просто-напросто приходиться домой, и не поднимать телефонной трубки, и заниматься своим делом. И все будет прекрасно. Попробуй — и ты увидишь. Я тебе это обещаю.

— Да, я знаю, ты так и сделал в свое время. А я до сих пор думаю — каково было той женщине? Что с ней случилось?

— Ничего не случилось, успокойся. Вышла замуж. И с твоими ничего не станется. Все постепенно переженятся, пойдут дети, и все.

— Да, действительно, это будет уже совсем все. Я останусь одна. Буду приходить домой. Телефон будет молчать. Ты будешь заниматься путным. Мне будет лет сорок. А потом пятьдесят.

— И тогда найдется для тебя какой-нибудь искатель вечных истин. Будет, может быть, уже не такой умный, не такой высокий и не такой красивый, каким был я и эти все твои. Наверное даже. Хотя учитывая твою способность в тридцать быть очаровательней, чем в двадцать, следовало бы душить юных искателей истин в колыбели. Мне жалко тебя. Ты плохо кончишь.

— Я знаю. Всегда это знала. Слава Богу, что это не типично. Правда, слава Богу?

— Будем надеяться, все менее типично. А тебя просто-напросто посадим на цепь. Как ты на это смотришь?

— Все это не поможет. Ничего мне уже не поможет. Тяжело пожатье каменной десницы. Мы вернемся домой, и я буду жить одна. И конечно же, плохо кончу. Так и будет. Я решила. И буду себе любить потихоньку и тебя, и всех-всех-всех. Пока сердца хватит. Я ведь тебя очень люблю. Это единственное путное, на что я способна.

— Какая же ты дура. Посажу на цепь. Посажу на цепь, отлуплю и пойду в портерную за угол. Как только вернемся домой. Опять слезы?

— Не обращай внимания. Я просто устала. От домашней обстановки.

Часть 3
Падение дома Эшеров,
или
Сад под дождем (и снегом)

ПОСЛЕДНИЙ РИСУНОК НАДИ РУШЕВОЙ¹³

На белом листе тушью, тоньше волоса линией нарисован Аполлон, настигший Дафну. В его руках Дафна — его Дафна — покрывается узкими листиками незавершенного овала, овала с разрывом у исхода. Дафна — наполовину девушка со станом поющей лиры, но только наполовину — сладчайшая девушка-лира, наполовину же — деревце, деревце лавра.

Лицо Аполлона.

Лицо Аполлона.

Лицо Аполлона.

Разгадавшего промысел Зевса.

Но не с детства ли думаем мы о смерти? И в мыслях о смерти с детства — ужас, тревога и возмущение — детства. Позже — смирение. Смиранные мысли о смерти.

Лицо Аполлона, держащего в счастливых руках девушку-деревце, разгадавшего промысел Зевса, терзаемо последним отчаянием расставания с жизнью уже сейчас, а не далеким, будущим, неизбежным.

Уже сейчас.

¹³ Известная в 60е годы девочка-художница, внезапно умершая в 17 лет от инсульта (в 1969 г.)

НОКТЮРН

Она сидела одна за столиком кафе. Весенний полусвет на вечеряющей улице вызывал тоскливое желание попасть во все те места, где они бывали вместе не раз, и только один раз, и куда собирались заглянуть, да так и не успели... И где им было плохо вдвоем.

Впрочем, это ведь ей было плохо, потому что хотелось всегда в другие места, а как было ему?

Было впечатление, что ему все это равно. Может быть, она не знала, не чувствовала его, и, если вспомнить, то окажется что-то новое? Нет, оказывалось все то же: его холодное, бесконечно милое лицо, и ее тоска по другим, чем это, местам.

И лучше, чем вспоминать, представить себе, куда еще не успели они пойти вдвоем за восемь лет — не успели, и есть надежда на ее удовольствие от этих мест и на его удовольствие от ее лица, от всегда лежащей близко руки. Возможно, он захотел бы сказать ей что-нибудь именно здесь, именно за этим столиком у зарешеченного окна — о стоящем за окном лимузине, едва различимом в сумерках не освещенной еще улицы. Впрочем, он всегда хотел иметь машину, и откуда-то она об этом знала, значит, говорилось и о лимузине. Но ей, наверно, хотелось услышать о незажженном фонаре, но об этом он не любил говорить. Он видел и оценивал этот фонарь, если он стоил того, и точно прикидывал в уме, где нужно было бы расположить тень в кадре, а она рвалась куда-то. Кажется, она рвалась во

все его кадры, и каждую минуту ей хотелось быть с ним в другом месте.

Она понимала, что не заслуживает счастья, и виновата виной своей голодной неприкаянной души, выбросить которую на помойку было бы и можно, но не хотелось на за что на свете.

Ни за что на свете, и он мог бы любить ее именно такой, если бы хотел любить именно ее.

«САДКО»

Стоит мне приехать зимой в Истру хотя бы на неделю, быстро начинаю чувствовать — после Москвы — как рано темнеет, как остр мороз и страшновато на улице.

Дома тихо, слышен шорох в настольной лампе — «электрический ток бежит», и после нескольких дней этой уединенной тишины хочется навестить подругу, посидеть в другом, чем мой, доме, поговорить хотя бы о самых незначительных вещах.

Чтобы попасть к Лиде, надо пройти недалеко лесом.

Берег пруда залит зеленым сияньем млечной луны, ничем не отличающейся от солнца, только что покинувшего затянутое слоистой пленкой небо.

Самый Лидин дом, тепло освещенный электричеством, издали начинает пахнуть кексом, и хочется зайти во все четыре подъезда.

У Лиды, как и у меня, тихо, только на проигрывателе кружится пластинка. Лида сидит с ногами на диване, в длинной своей чудесной юбке, сшитой из старого пледа, и читает старые письма.

Я могу, ни слова не говоря, отправиться в ванную или усесться на кухне. Могу открыть холодильник — у меня нет холодильника, а у Лиды есть, хоть и крохотный, — проверить, что там у нее лежит, и лежит ли. Не у всякого есть такая Лида, согласитесь.

Но у меня есть. Ей тридцать три года, и живет она чудесно.

Впрочем, она не всегда жила так чудесно — раньше, когда она была еще замужем, и они очень любили друг друга, жили они ужасно: пять лет подряд, пока Леня учился, ели одну жареную картошку, посыпанную пивными дрожжами, и пирожки с повидлом; снимали в Москве комнату с косым полом, ободранными обоями и маленьким диванчиком в пятнах. Говорили всем, что им нравится так жить, а наоборот — иметь много денег, думать каждый день о том, как бы это вкусно пообедать, и занимать себя уходом за мебелью, за большой квартирой, беспокоиться, принимая гостей, об изысканности угощения и мыть после этого два часа посуду — тридцать шесть или семьдесят восемь предметов — им не нравится. Послушаешь их, так и вправду можно было подумать, будто только в этом дело. Впрочем, говорила так мне Лида и была при этом вполне искренна. А мужа ее я знала плохо: видела один-два раза, когда он уже не был Лидиным мужем, а помогал ей переезжать в Истру. У него большая дочка в другой семье, он давно перестал нуждаться, и даже наоборот — два или три сценария, принятые к постановке, дали ему возможность купить прекрасную квартиру, маленький автомобильчик, а кто моет семьдесят восемь предметов у него, я не знаю.

Зато Лида получила в Истре свою кукольную квартиру, правда, ведомственную, платят ей уже не сто, а сто двадцать рублей в месяц, и живет она чудесно.

Иногда я думаю, что она должна больше, чем другие, терзаться от знаменитой бесцельности существования. Но вот я прихожу к ней или вижу вечером, в лаборатории, где она работает и куда я захожу за нею, чтобы увести ее домой, как они сидят всей группой — Лида руководитель группы молодых специалистов, «малышей», — и ведут зазорные научные разговоры, каких не слышать днем в производственной спешке; и я забываю думать о бесцельности существования, и даже начинаю думать наоборот, только не знаю, что именно.

Дома у нее всегда кружится на проигрывателе новая пластинка, да и любая старая, будь то первая ее пластинка, фортепианный концерт Шопена, которой уже пятнадцать лет, — у нее в комнате звучит как новая. На стене у нее висит большое глиняное блюдо Врубеля — «Садко» — и от этого блюда Лида выглядит несусветной богачкой. Она сидит под ним в своей чудесной юбке — задумчиво, как Садко с гусями на коленях, нежна, как русалки с продолговатыми чуткими лицами Забелы, и тиха, как месяц, выглядывающий из-за леса.

Когда заходит разговор о тех или иных событиях в мире, и Лида, как правило, говорит: «Мне в этом трудно разобраться, я ведь ничего об этом не знаю», то кажется, что она знает все.

На работе она выглядит экстравагантно в каком-нибудь своем единственном, но уж в самом деле единственном платье или, чаще всего, в брюках, они являются любимейшей ее одеждой. На киностудии, где рабо-

тал у нее муж, она казалась чуть-чуть пуританкой — женщиной из другого, какого-то хрупкого и интеллигентного мира.

Среди наших сотрудников она заметно выделяется, если наблюдать ее долго, как я, в течение пяти лет. Не могу точно определить, чем именно, чувствую только, что мне бы всегда хотелось работать с такими людьми. Вместе с ними можно сделать все, во всем постепенно разобраться и никогда не ждать подвоха. И «малыши» — две девушки и один парнишка, только что окончивший университет, — ее любят. Правда, говорят они об этом мне, а не ей. Про нее они не знают даже, когда у нее день рождения.

Никому не приходит в голову, что по одной ее методике работает весь отдел. Такое впечатление, что еще при царе Горохе именно таким образом прогнозировали поведение автоматических систем.

В углу ее комнаты сложены книги. Немного ее любимых книг. И хотя это вовсе не портит чудесного вида ее жилища, я бы на месте молодого специалиста или на месте одного из ее женатых друзей сделала полки. И починила бы одну из конфорок в плите. Может быть, забила бы дыры в полу, если бы догадалась, как жутко, как нервно, до обморока боится Лида мышей.

Звонит ей знакомый из Москвы — слышу, как она его называет: Савелик. Савелик — один из женатых Лидиных друзей, недавно совсем женатых, в связи с чем Лида вот уже год или два не видела его. Лиде очень нравятся рисунки Савелика, она покупает все его альбомы, все детские журналы, если замечает в них его рисунки, а его книжка была буквально скуплена Лидой по

всей Москве, не говоря уже об Истре, и подарена всем отдельским детям независимо от возраста.

Положив трубку, Лида посмотрела мне в глаза, как женщина смотрит в глаза мужчине, разговаривая при большом скоплении народа и желая для него дополнить сказанное:

— Савелик сейчас приедет. Врубеля забирать.

— Что?! Но ведь... Он тебе так и сказал?

— Нет. Сказал, что очень давно не был в Истре, очень давно меня не видел, и сейчас приедет. Но времени совершенно нет, отдохнуть некогда, поэтому приедет на часок.

— Так при чем же здесь Врубель?

— Да, это я очень некрасиво сказала. Приедет он так просто, а Врубеля я ему отдам.

— Ты решила?

— Нет еще, но знаю, что отдам. Это его Врубель. Он у нас только потому оказался, что Савелик в общежитии жил, когда они с Леней его нашли. Теперь у него свой дом, столько красивых вещей — иконы, прялки, складни серебряные и распятия. У Савелика нюх на красивые вещи. Леня вовсе не при чем. Он просто пошел с ним вместе, когда они были в Ленинграде, и Савелик сказал: «Зайдем к моей бывшей хозяйке. У нее есть блюдо на чердаке, очень грязное. Она в нем картошку держит. Однако, сдается мне, что Врубель, хотя там вообще ничего не видно. Посмотри еще ты. А то ведь может и отдадут, зачем оно им?» Они пошли, Леня посмотрел, потер пальцем Водяного. «Врубель, — говорит. — «Садко». Сделано в Абрамцево. Без подписи, значит, одно из тех тринадцати, что по его клише рас-

крашены в мамонтовской народной мастерской». Хозяйка не хотела отдавать блюдо таким некрасивым. Предлагала сперва перекрасить — зять у нее маляр. И вот Леня из Ленинграда приезжает, а с ним что-то огромное в холсте. Я разворачиваю и... Садко! Уже помытый, блестящий от масла конопляного, настоящий Садко.

— Боже мой, Лида! Перестань, пожалуйста. Но что потом, какой у вас с Савеликом уговор был?

— Да не было никакого. Один раз он пришел, сказал, что хочет блюдо продать, а купить туристическую путевку во Францию. Лени уже не было, но я жила еще в Москве, на последней нашей частной квартире. Савелик спросил, где Леня, я сказала, что мы разошлись. Тогда Савелик сказал, что найдет деньги, а блюдо пусть у меня будет. Он ведь очень добрый, Савелик.

— Ну он просто в гости к тебе захотел. Соскучился, и все. Ведь он бы так и сказал — хочу блюдо забрать.

— Нет, не сказал бы. И не скажет. Ведь он его никогда и никогда не заберет, свое блюдо, если я не предложу, вот увидишь. Будет за ним ездить, ездить и никогда не заберет. А представляешь, каково, если там миллион или фабрика? Ведь это для них подороже, чем для нас с Савеликом Врубель. Не будем же мы звереть, как они. Посмотрю, найдется ли у меня бутылка вина, не то в магазин надо спуститься.

Вино у Лиды нашлось, очень вкусная румынская фетяска.

Когда Савелик приехал, места в комнате почти не осталось, так он был велик. Курносый, светло-русый,

розовый от стужи, он добродушно морщился и кротко улыбался и мне, и Лиде.

Лида держала бокал на полу, роясь в книжках. Волосы упали блестящей портьеркой на ее лицо, чудесная тяжелая юбка натянулась на острых коленках — Лида разыскивала книжки Савелика. Он, когда напал на хорошие книги, покупал по две — себе и Лиде, и обе отдавал ей: на хранение. Все это было раньше, разумеется, пока он еще не исчезал, чтобы жениться.

— Это твой Петров-Водкин, а это мой. Я его давала смотреть, и мне порвали. А «Письма» Ван-Гога ты забрал?

— Да. Лид, они у меня.

— Не могу никак твоих примитивистов найти. Слушай, Савелик, а как ты Врубеля повезешь? Ведь скользко. Его бы надо упаковать как-нибудь.

— Ничего, ничего, я так доведу. Я авоську захватил на всякий случай.

— Я его в простыню заверну.

— Что ты, не надо, не надо, ничего не случится, я уверен.

— У тебя ботинки скользкие? Ой, молния поломана. Подожди, у меня есть...

— Что ты, что ты, не надо, Лида, в них уже дырки кругом.

Савелику пора было на электричку, чтобы не очень поздно вернуться домой, и мы остались с Лидой одни. Она включила проигрыватель и поставила пластинку. Из тишины проявилось постепенно чуть брезжащее воспоминание о чем-то, утраченном навсегда, — Седьмая симфония Прокофьева, первая ее часть.

Подняв с пола свой бокал, Лида сняла с бокового простенка карандашный рисунок Савелика. На нем одинокий прохожий вжался в подворотню островерхого таллинского дома с висящим на цепи сапожком, и небо над домом было заштриховано, как дети изображают дождь, а окна светились в сумерках. Повесив рисунок на то же место, где висело блюдо, Лида уселась на диван с ногами и, держа обеими руками бокал, спросила:

— Ну, как дела? Что-нибудь принесла показать, или почитать тебе твои старые рассказы?

ПРЕКРАСНАЯ ФИГУРА НАПОЛЕОН

— Приходите, — сказала жена. — Приходите к нам сегодня же, сразу после спектакля.

— А почему бы вам не остаться, а не ехать так поздно и в такую даль? — спросил вечером муж, вернувшись после прогулки с собакой, и все засмеялись: в его кабинете давно была приготовлена для меня постель.

— Уж в этом разбираюсь лучше вас, — сказал на следующий день брат жены, тот самый, который рядом со мною стоял в очереди за билетами и рядом со мною сидел на всех спектаклях знаменитого, гастролирующего теперь у нас театра. — Наполеон — прекрасная фигура. Он сам считал, что мало сотни лет для понимания его свершений.

— Ну вот, сто лет и прошли... И сто пятьдесят даже. И даже сто шестьдесят...

— И человечество его превозносит, и помнит, и восхищается, и ярче имени в новейшей истории нет.

Ну что ж, ну что ж. Выходит, я не человечество: меня не пригласили в этот дом совсем, и это мне печально. Из-за Наполеона или из-за глупого пристрастия к словам? Только мне кажется, что я молчала.

Ах да, я говорила с братом о спектаклях: он отчего-то кусался.

На завтра у меня нет билета ни с кем рядом — ни с женой, ни с мужем, ни с братом.

И остается куст — за песчаным карьером позади дома.

Под матовым солнцем в тени гигантской пижмы голубеет ромашка. Песок прилипает к ногам. Вспыхивает бутылочная дребедень, грязня песок.

Пора перевести взгляд на силу листьев, с какой они держатся под сказочным углом к стволу — северный лавр, верба.

Ни один дождь, ни один ветер не опроверг закона листьев — тянуться вверх, уверенно чертить на небе вальс. Сухо втолковывают что-то ветру, кричат на него, разгневанные...

На полках в кабинете мужа среди книг по физике стоял Диккенс.

И я люблю Диккенса. Люблю английскую характерность его речи, неизгладимую переводом. Люблю божескую доброту. Люблю его доброту творца другой планеты, взирающего на нас с печальной слезой.

О чем же мы говорили? — Так, ни о чем.

ЛУНА

Она удалилась за те два часа, что я не смотрела на нее, и нестерпимо сверкает. Я замечаю, что иду по глубокому льду — по застывшей толще воды, среди черных оледеневших развалин сугробов, нагроможденных прихотливыми глыбами, по которым снуют звезды.

Из льда — из застывшей к ночи талой воды растут истонченные гребешки кристаллов, сосульками вверх и влево — к луне.

Но это только потому, что там же было солнце, разгорячившее сугробы.

Я чувствую неприязнь к луне. Она как музыка Хиндемита сегодня: сверкает ярко и не для меня.

Впрочем, желтая летняя луна между двумя холмами, при которой я ясно вижу унылую виллу Гэтсби, наполненную людьми, а меня к ним не тянет, по настоящему хороша у моря, где я была как-то раз одна, и шла по берегу так, чтобы проецировать на желтый круг пальмы. Луна была лучше в тот момент потому, что я твердо верила тогда, будто стоит только узнать друг друга, и этот тонкий звук, достигший предельной высоты, получит, наконец, отклик во всех регистрах, откатится в волне звуков, счастливый и успокоенный, чтобы вернуться опять вместе с теплой струей голосов.

Я больше люблю инструментальные ансамбли — квартет, например, — чем оркестр. Я больше им верю.

Но этот вечер у моря с желтой луной остался уже далеко позади, так же, как и зеленоватая луна над цветущими вишнями, спящим садом, глубоко заторможен-

ным лунным светом, так что и мысли, и желания застыли, замороженные, как листья на деревьях. Хотя расстояние между этими двумя вечерами с десяток лет, они одинаково далеки и одинаково ясны, будто нанесены на экран памяти одним лунным лучом.

Теперь ночь, ночь в деревне — двенадцатый час, когда навстречу мне, вслед за иноязычной ночной прелюдией, несущейся из ручного приемника, является медленно, с удовольствием гуляющий человек в полущубке. Он идет со своим приемником по застывшим на асфальте лужам один, молча. И весь эфир заполнен звуками круглые сутки для того только, чтобы он в любую минуту мог извлечь из своего приемника такую песню, какая больше всего отвечает его настроению — песню старого солдата или песню грустящего бобыля.

Сейчас в его приемнике сходит с ума и стоит на головах целый студенческий джаз.

НА ПОЧТЕ

Известный писатель сидел за круглым столом маленькой деревенской почты и с любопытством разглядывал присутствующих. Он отламывал у себя в кармане куски от только что купленной мягкой, холодной булки и поедал их один за другим, испытывая удовольствие от своего равнодушия к тому, как это выглядит со стороны, и от вкуса сдобного теста. Постепенно он смог отвлечься от натюрморта с борщом, парящего в воздухе, и сосредоточился на проникновении за видимую оболочку толстого беспечного мальчика с совсем-таки глупой физиономией. Когда с мальчишкой было покончено, глаза

писателя, мимолетно скользнув по мягкой шерсти какого-то старушечьего платка, скосились на девушку у стола с бумагой, и он повернул вслед за своим взглядом голову — чтобы избавиться от рези в глазах, простывших на морозе.

Он бы охотно использовал такой образ и наверно использует, если вообще что-нибудь попытается сделать из этой деревянными квадратами в жестком снегу деревни, из этой почты с щербатой горячей стенкой, пробирающей до замерзшего живота, и с этакой девушкой.

Лет ей тридцать. Большими обветренными руками оборачивает она несколько детских книжек бумагой, как копны вяжет — старательно готовит бандероль. Можно будет увидеть адрес, когда станет писать, но это и неважно — все и так видно. Лицо ее, замкнуто-тупое, сосредоточено на несложном деле, заворачивает книги с напряжением лба и шеи, доходящими до детского идиотизма. Стар клетчатый платок на голове, таких уже давно не носит никто, длинной же шерстяной юбке, доходящей до обгрызенных мышами валенок, могла бы позавидовать любая московская модница. Завернуты рукава большого, не по плечам, ватника, запястья, до белой коросты обветренные, жалостно тонки, жилисты, надорваны венки осклизлыми ведрами с детства, ноги растоптаны десятикилометровыми походами в школу через лес, через вымерзшее скользкое поле. Есть в ее неразвитом лбе роковое упрямство, ковшом горячим пролился в меня взгляд, брошенный бездумно, со всею сосредоточенностью ее радостно-трудной работы.

Выбранную перед тем в окошке открытку долго рассматривает и, вздохнув, пишет на обратной стороне одно или два слова. Взгляд, мгновенно оживший на моем лице, снова жесток и неподвижен. Заклеив бандероль, подходит к стойке и кладет на весы пакет, перегнувшись через барьер. Подперев рукою голову, будто засыпает — пока оформляет важная веснушчатая почтмейстерша ее отправление. Как завидую сну жизни ее здесь, в этих снегах — сну без зависти, без боли. Тоскует, конечно, она по любви, о суженом. Ведь для деревни — старая уже дева, тотчас видно. Но да ладные руки, лицо того самого склада, какое быстро становится родным, запоминается, въедается в душу, успокаивает. Много думал я, отчего это непонятной для нас загадкой было и остается — за что такое человеческое лицо полюбить можно и за что нельзя. И откуда красота его и отвращение. Как странно, что в этом как раз неразвитом лице с морщинками у глаз, с седыми отдельными волосками надо лбом, в лице потерявшей, может быть, надежду на любовь к себе, я вижу то неназванное словом выражение, какое одно только и служит притягательным магнитом для сердца.

Рука писателя скользнула в карман еще раз, но булка кончилась, и он забыл про нее, наслаждаясь глубокой напряженной туповатостью серых глаз, на него устремленных.

Вернулся в Москву только осенью, проведя в скитаниях и одиночестве долгие полгода. Не мог нарадоваться своему чисто убранному домработницей кабинету. В приятное возбуждение приводили посещения друзей, городские новости. Сам с удовольствием пошел в

гости к одному, другому приятелю. Одним словом, нервы успокоились совершенно и душа приобрела ту дивную отвлеченность от собственного раздражения и тоски, какая только и нужна для свободы ума в работе. Выгрузив из рюкзака свои тетрадки и записные книжки на письменный стол, перелистал их, перелистал собравшиеся в его отсутствие журналы, прочитывая кое-какие новинки за интересующими именами. Между прочим, прочел и рассказ молодой писательницы, давно похваленной мысленно за изящество стиля и неглупость, и в рассказе этом дошел до удивительных строк:

«Катя потянулась, отложила книгу. Свет рано было зажигать, и хотелось улицы, вдохнуть мороза, застать остаток дня. Идти же было решительно некуда. Подумав, Катя взяла из шкафа сказки, лежавшие там с тех самых пор, когда она маленькой девочкой приезжая к бабушке, перечитывала и пересматривала их каждое лето. Любила их Катя и теперь, не помня уж ничего, кроме райских яблок на картинке с точечкой завязи на каждом и чьих-то кружевных панталончиков. Повязывая вокруг шеи любимый свой, бабушкин еще, платок, думала Катя о многих своих детских книжках, и как всем и всегда, ей казалось, что нет нынче таких почему-то, и как бы хотелось подарить такую книжку маленькой девочке, какой, она еще не додумала, и пошла на почту. Она вообще любила ходить на почту, знала там всех, как впрочем всех в деревне этой знала она.

Печка чадила, и сидел, устало прислонившись к ней, незнакомец. Красная каемка вокруг намерзшихся глаз могла бы быть неприятной, если бы глаза голубыми были, но они темные. Однако, нет с ним такой ма-

ленькой девочки, и, заклеивая уже бандероль, вдруг пожалела Катя, что книжку не перечитала, так и не помнит ничего кроме райских яблок, все — наполовину розовых, хоть распечатывай и забирай назад, к теплему углу с электрическим камином, платок на плечи, но решила все-таки ее отправить девочке совсем неизвестной, такой, как незнакомец у печки, с одного взгляда на которого видна заброшенность давно дома не бывшего человека. И девочка Катей была выбрана наконец. Соседская — толстая, краснощекая, со множеством битых игрушек не подходила, потому что не верила Катя, будто одною незаметной книжкой можно поправить все поломки и вернуть все игрушки к жизни.

Но была девочка другая. Катя не знала этой девочки, но знала ее маму.

Уходя с почты, Катя заметила, что булку свою незнакомец съел, и почти засыпает. Думая, есть ли у него ночлег, чуть было не вернулась от двери, но спокойный взлет его руки из кармана и уверенная складка между бровей ее остановили, и она повернулась лицом к яркосинему воздуху, сгустившемуся твердому снегу и тут же забыла о незнакомце.»

ЗОЛОТОЙ ПЕСОК

— Ну что значит Бог? Чего только не называли этим словом! Не сомневаюсь, все это тебе известно. Но прошу тебя, говоря со мной, начинать именно с толкования этого образа. Выбрать хотя бы необходимое для дальнейшего разговора: Бог Ветхого Завета, Бог Спинозы,

Бог Канта, Бог Лейбница, Бог святой инквизиции — о котором речь? Или, может быть, об атмане или дао?

Яна повернула голову и сквозь ветки молоденькой бузины увидела тех, кто разговаривал: блондинку из соседней палаты и молодого мужчину, видимо, посетителя. «Какая противная, — подумала Яна. — С такой никогда ничего не случится. Как надменно она разговаривает».

Яна еще раз решила дойти до ворот. Не то чтобы она продолжала ожидать Юрия — раз уж он не пришел сразу, то теперь вряд ли придет, — но там видна улица и все входящие в больничный сад. Смотреть на них спокойнее, чем на парочки с цветами и авоськами, полными продуктов... Бр-р... Эти продукты.

А той противной блондинке, между прочим, не принесли ни цветов, ни продуктов. Сидят и курят.

Яне не хочется курить. И видеть ей никого не хочется. Тем более Юрия. Это так подло, что он не пришел. А может быть, он и прав. Чем он, собственно, это заслужил? Ничего плохого в полном смысле слова он ей не сделал. Да и не из-за него это вовсе. Но ведь все наверняка думают, что из-за него. А значит, и он так думает.

Хоть бы не пришел отец — снова говорить своим злым голосом, как она их опозорила. Хоть бы совсем их больше никогда не видеть! Если бы это было возможно! Это было возможно — две недели тому назад. А теперь — нет.

Темно-красные деревянные ворота больницы были приоткрыты, и за ними изредка мелькали люди. Но в

ворота никто не входил: все, кто собирался придти сегодня, уже пришли.

Придут, и плачут — как та старушка около студента с геодезического. Зачем это надо? Говорят, у него подозревают рак крови.

Яна пошла назад по другой дорожке. Теперь она огибала скамейку блондинки справа и увидела сидящих еще издали, сквозь ветки желтой акации. Акация цвела.

Ничего особенного эта блондинка собой не представляет. Ходит в сарафане, как будто она здесь на курорте. И халат поверх сарафана надевает. Шея такая дряблая, как у цыпленка. Не красится. Хотя, может, это она в больнице не красится? Ноги у нее ничего, конечно. Худые, но не страшные.

А парень симпатичный. Во-первых, он младше ее, а во-вторых — симпатичный. Но она с ним так разговаривает. Вот не придет к ней больше, будет знать.

Хотя в общем, они посредственные люди... Не элита. Это сразу видно: по одежде, хотя она-то, конечно, в больничном халате. Ну да один сарафан чего стоит. И потом, она же видела ее мыло, пасту, зубную щетку — без футляра. Все это и близко не лежало от тех домов.

Только что симпатичный парень, и все. И молодой. Может еще чего-то достичь.

В саду было тепло и влажно. Солнце светило тускло, наполняя кусты и кроны легким душистым паром. Сумасшедше разметались густые заросли ярко-белых, розовых и сиреневых флоксов. Пожалуй, Яна согласилась бы остаться здесь навсегда, если бы не приходили всякие... с блокнотами. И если бы психиатр, Владимир Иванович, хоть что-нибудь понимал. Но с ним так тяго-

стно и противно разговаривать, что хочется скорее выбраться отсюда куда-нибудь. Только не домой!

Если бы можно было вернуться к Вере... У них ведь так много места. Но теперь это, наверно, невозможно...

— Подвинься, мы с тобой заняли всю скамейку!

— Девушка, вы хотели сесть? Извините меня, я по рассеянности, — симпатичным интеллигентным тоном сказал парень и подвинулся ближе к тому краю, на котором сидела блондинка.

Яна вовсе не хотела сесть, вернее, она не думала о том, чтобы сесть, но теперь села.

— Положим, Витька вообще считает, что ты чересчур рациональна и убиваешь логикой. Но в этой подавляющей логике нет всего, что нас интересует. И становится даже скучно. Логика вообще до известной степени огрубляет все вопросы и перескакивает через тонкости, ответвления. И в этом я с ним согласен.

Яне казалось, что, разговаривая, они продолжают за ней наблюдать. Особенно он. Возможно, ему даже приятнее смотреть на Яну, чем на свою собеседницу. Он следит за ней, она — за ним. И Яна постаралась придать своему лицу выражение занятости какими-то своими мыслями, которых на самом деле уже не было — ее отвлекал их разговор. Хотя в нем не было ничего интересного — но просто звук голосов.

— Для Витьки вообще вся умственная жизнь ограничена возможностями речи, но это его личное дело, — сердито сказала блондинка. — Я хочу только, чтобы ты понял, почему, начиная с семнадцатого века, люди стали постепенно предпочитать конкретное знание. Ведь вас с Витькой умозрения тоже заводят в тупик, ваша ве-

ликая и свободная мысль, не очень образованная, проникает беспредельно — скажем, на уровне проблем, а ответов дельных никаких вы дать не в состоянии, даже самих себя удовлетворяющих ответов, не то что мировую общественность. Ну что же тут, действительно, хорошего? Конечно, мышление на уровне конкретного знания — это всегда ограниченное мышление, но только оно и способно давать ответы и положительные результаты. Что толку тревожиться о том, в каком субстанциональном виде мы способны переселиться во вселенную и соединиться с бесконечным, и каким образом мы соединяемся с ним во время своего земного существования, если мы ничего еще не можем об этом знать? Это же попусту тратить время, которое можно употребить с пользой.

— Да, но как управлять своими умственными тревогами? Ты это умеешь?

Яна решила, что сейчас уйдет, только послушает, что ответит блондинка, потому что возможность управлять своими тревогами была заманчивой.

— Ну, в каких-то пределах. Конечно, когда я была еще очень молода, еще в школе, а потом в университете, у меня просто руки опускались от мысли, что вот мы все все равно умираем, что жизнь — суета сует, что бы ни делал человек — все в конечном счете мышьяная возня и так далее. Готовить уроки мочи не было от этих мыслей.

Яне неожиданно стало интересно, что ей, этой противной блондинке с таким тусклым, устоявшимся загаром на лице — знакомо такое. Такое же, как и ей, Яне, которую никогда никто не понимал.

Никто не понимал, почему она не может вовремя приходить на работу. Почему она не делает корректуры в срок и не стремится заработать лишнюю десятку. Почему вот уже четвертый год она тянется в заочном институте на дохлые тройки, такая вроде бы умная и способная, и никак не сдвинется дальше второго курса. А ведь это все — от того же: сколько ни бейся, плетью обуха не перешибешь, и вся эта мельтешня никогда не выльется ни во что стоящее, а десятки в глазах Яны просто ничего не стоили. Это ведь такая малость — десятки. Разве они могут дать что-нибудь стоящее? На что-то стоящее требуются не десятки, это ясно. Тут десятками не обойдешься — стоит только посмотреть на все эти машины, дубленки, квартиры, загородные дачи на Пахре...

Считалось, что она — так, не от мира сего, и у всех это вызывало или ненависть, или уважительное презрение.

Дома — ненависть, в тех домах, где живут Юрий и Вера, в писательских, — уважительное презрение.

Но блондинка — симпатичный парень называл ее Томой — пошла, оказывается, дальше Яны. По ее словам, эти мысли больше не мешают ей работать, потому что она вошла во вкус процесса.

— Что я всегда вам всем и твержу: не рыба важна — важен процесс.

— Но и рыбаки разные бывают, Томочка. Есть, кто исключительно ради рыбы. И результатов достигают наивысочайших.

— Ну, еще надо посмотреть, что там за рыба и что там за результаты. Это ведь кому она кажется такой уж

осетровой — кто на нее взирает со стороны и судит по внешним признакам: получил, мол, человек Нобелевскую премию, стало быть, ради нее делал открытие. Купил себе Чехов домик — стало быть, ради него... А Циолковский, скажи, ради чего? А сколько всех-всех-всех, о ком никто-никтошеньки ничего ни сном-ни духом... Да вот зачем далеко ходить — возьми вот, скажем, том Гегеля, только что выкупила. Этих десять, двадцать человек, которые просто вот его на русский перевели за рубль пятьдесят книжка — их кто-нибудь вообще знает, спроси тут вокруг хоть кого? Какая тут может быть рыба, какая, скажи на милость, а воображения же у тебя достанет представить, что это все за люди, по макушку погруженные...

Это снова было неинтересно Яне, и симпатичный парень показался ей жалким. Вообще, когда мужчина и женщина сидят вот так вдвоем, наедине и несут черт те что — в этом есть что-то жалкое, импотентное. У них с Юрием ничего подобного не было. Разговоров вообще было мало. Она боялась рассказывать ему о себе.

Но эти ведь и не любовники: ясно. А таскается он сюда, к ней в больницу, оттого что нечерта делать. Ни пришей, ни пристегни, значит. Юрий не будет таскаться по больницам, Верин муж — тоже. Разве что Вера... Но она ведь и невелика шишка. Она же не Слонимский, а только жена Слонимского. Хотя и она не приходила еще сюда к Яне. Но она звонила и обещала прийти.

Яна встала и пошла.

— До свиданья! — услышала она, огибая скамейку.
— Поправляйтесь побыстрее!

Яна повернула голову. Парень и блондинка дружно смотрели на нее: один — с теплой, ласковой улыбкой, другая — серьезными пристальными глазами с твердыми крупными зрачками. Оба были очень симпатичные, какие-то... породистые. Яна улыбнулась и кивнула.

Неужели недостаточно вот этих гвоздик и флоксов, чтобы хотелось жить? — думала Яна, пересев на другую скамейку. Но ведь и там, у н и х в доме, было много такого, что ей нравилось. Пожалуй, даже слишком нравилось. И именно от этого не хотелось жить. Интересно было бы спросить об этом у этой... Томи.

Собственно, не такая уж она и блондинка. У нее красивые русые волосы, выгоревшие надо лбом. И где это она успела так загореть, интересно? Такая высокая, узенькая, будто яхта, в своем белом прямом сарафане. Эффектная женщина. Разве что немного резкая, с мужской повадкой. Особенно это чувствуется в разговоре. Но зато какая самостоятельная! Трудно ее представить себе в той мучительной тоске, которая так свойственна Яне. Почти постоянное состояние Яны.

Вот и сейчас, несмотря на таблетки.

И загорелой такой Яна никогда не была. А теперь — и говорить нечего. После всего, что с нею делали... Все эти трубки, колбы, уколы... Бр-р... Страшно вспомнить.

Странно, что вспомнить — уже страшно. Ведь когда она очнулась и увидела все это на себе и пока среди всего этого лежала — целых три дня гоняли и перегоняли ей кровь — страшно не было.

И теперь она, наверно, просто зеленая. И вдруг останется зеленой навсегда? Ну и шут с ним. Что она дала

ей, ее красота и необычность, о которой всю жизнь толкуют? — вот что дала: эту больницу.

Единственные спокойные часы здесь — эти вот, в саду. Когда она смотрит на густые зеленые листья, на небо, то голубое, эмалевое, то — как сегодня — жемчужно-серенькое, светящееся.

Или те облака... Надо же, она вспомнила их. В первый день, когда она встала и вышла в сад, сердце ее впервые шевельнулось после сна и безразличия — от вида облаков, которые неслись по воздуху и крутились вьюном, разрываемые ветром. Облака... У нее закружилась голова, и она поняла, что непоправимо жива. И вдруг обрадовалась этому.

Но все остальное, кроме сада, флоксов и облаков, наказывало и било за сделанное — и она горько жалела о том, что все так нелепо кончилось... Так нелепо возобновилось. Люди не сочувствовали ей, а ненавидели ее и презирали. И пользовались всякой возможностью дать ей это понять. Как терапевт Садычев, который постоянно бурчит:

— Еще и капризничает. Действительно больных и несчастных столько, что рук не хватает, а тут эти еще... Еще и капризничают. Другая бы на ее месте стыдилась.

А кто их просил? Она ведь не этого хотела.

Яна заметила, что снова плачет. Она отерла рукой слезу и прижала ладошку к носу. Как хорошо, что хоть из дому никто не пришел!

Сбоку мелькнуло что-то белое и застыло. Скосив глаза, Яна увидела Тому. Это ее сарафан виднелся под запахнутым халатом. Яна подняла руку выше, до самых глаз, и уперлась большим пальцем в переносицу.

Но кажется, эта счастливая, безмятежная Тома вовсе не смотрит на нее.

Нет, смотрит. И достает сигарету из пачки. И вдруг делает большой, решительный шаг к скамейке. И даже садится.

— Хотите курить? — спрашивает она, протягивая Яне пачку «Явы».

— Н-не знаю... Я так давно не курила. Может, попробовать — за компанию?

— Ну, за компанию, конечно!

И она протягивает Яне горящую спичку.

— Ах, как хорошо! — говорит Яна, затянувшись. — Только голова сразу кругом.

— Ну так вы бросьте, если не идет!

Какая смешная, то курите, то бросьте, — думает Яна и курит, молча глядя прямо перед собой.

— Нога ноет ужасно, видно, будет еще дождь, — говорит Тома.

— А что у вас с ногой?

— Да тромб. Знаете, что это такое?

— Слыхала. Неприятная штука.

— Ерунда. Только морока и всякие лишние мысли. Отвлекает.

— От чего?

— Ну, от работы, и вообще, от жизни.

Яна промолчала. Ее больница не отвлекала от работы. Вот уж о чем она ни разу не вспомнила. А теперь вспомнила, и ей стало очень тоскливо, что снова придется возвращаться на работу. Надо бы уволиться и найти какую-нибудь другую... Но ведь везде одно и то же. К несчастью, она уже поняла то, чего эта Тома, вид-

но, еще не понимает — что везде одно и то же: подлости, грязь, подсиживание. Хамство начальства. И что толку, если она станет редактором, а не корректором, добравшись, наконец, до третьего курса? Все это одинаково далеко от того, чего бы ей хотелось в жизни.

Видно, эта Тома все же посредственность, раз она способна таким важным тоном говорить о «работе». Такая же посредственность, как и все. Не станет она с ней разговаривать. Ну ее. Потом не отвяжешься.

— А что, у вас такая интересная работа, что вы даже в больнице не в состоянии о ней забыть? — спросила все-таки Яна, желая быть вежливой.

Тома молчала, и, повернувшись к ней, Яна натолкнулась на ее твердые зрачки. Странные у нее были глаза — грустные и жесткие. Золотистый свет от них разливался по всему ее ровно-загорелому лицу.

— Презираете службу?

И вдруг рассмеялась:

— Так я же не о службе говорю, а о работе. Ну да Бог с ней. Идемте обедать?

Они сидели за столом друг против друга и смеялись над толстой теткой из соседнего отделения, которая ела и плакала. Ей несколько дней тому назад удалили миндалины, и есть твердую копченую колбасу, за которой она стояла в очереди, убежав в магазин во время утренней прогулки, было больно.

— Да что же теперь — не жрать? — громко сетовала она. — Лучше подохнуть. Я ее так люблю, — призналась она нежным голосом, помахивая здоровым куском колбасы, и слезы так и текли у нее из глаз.

— А вот мне абсолютно все равно, что есть, — сообщила Яна.

— Э, подождите. Вот явится из экспедиции мой муж, он нам такое что-нибудь организует, что вы перемените свою точку зрения.

— Но не только же об этом и думать? Да еще и страдать из-за этого.

— Ну разумеется. Да и ни из-за чего не следует страдать.

— Даже из-за любви?

— Ну разве что из-за любви. Только знаете, что я вам скажу? И из-за любви не следует.

И Тома снова рассмеялась.

Поковыривая вилкой кусок вареного мяса, Яна думала о том, что эта Тома — отчаянная баба и очень, в сущности, смешная. Только она ее, Яну, пытается обдурить. И ей, Яне, это забавно. А это уже интересно.

Тома же, будто почувствовав ее недоверие, немного погодя сказала:

— Один умный человек заключил, что жизнь — это комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует.

Яне это понравилось.

— Никогда не встречалась с первыми, но про вторых — это точно. А кто это сказал?

— Некто Вальполь. Но какое это имеет значение, кто сказал, если вы сами в состоянии заметить, верно ли сказанное?

— Да нет, Тома. Это не все равно. Бывают такие моменты... Такие состояния... или возраст, например... когда душа мечется, нуждается в какой-то опоре. В ве-

ре, может быть. Тогда очень важно, кто сказал. Кто это сказал? Кто вообще все это сказал? Не знаю, понимаете ли вы меня... Я плохо говорю, не умею говорить. Вот если я знала людей, которых считала намного выше себя буквально во всем. И все, что они ни говорили, ловила, как откровения мудрости. Даже если сама думала об этом как-нибудь не так, я тут же мысленно с ними соглашалась: ведь я хотела бы быть подобной им. А раз они думают об этом так, значит, это и есть то, чего мне не достает до них. Ну, в общем... Знаний, образованности... Взгляда их... такого: сверху. Ну, одним словом, того, что определяет элиту. А потом замечаешь вдруг что-то не то... Боюсь сказать, подлое, но что-то... не возвышенное вовсе, не всеобъемлющее... И все рушится. Все афоризмы, все мнения. Понимаете? Душа приходит в страшную растерянность, и не умеешь ее вдруг слепить во что-то цельное, живучее, и не знаешь, как после этого... смотреть на всякие умные высказывания.

Все давно ушли из столовой, а Тома сидела, опершись лбом на руку, отодвинув от себя грязную посуду, и, поморщиваясь, смотрела на Яну. Потом она вытянула губы трубочкой и постучала по ним указательным пальцем.

— Идемте, — сказала она Яне. — Нас скоро начнут выгонять.

Они молча спустились по лестнице на свой второй этаж, и у Яны возникло вдруг ощущение пустоты и досады. И что ее дернуло за язык? Зачем она так раскрылась перед этой самоуверенной мужичкой, прячущей свою сущность за блестящими чужими афоризмами?

Такую же черствую и самоуверенную сущность, как и у всех остальных!

Тома остановилась перед белой дверью, задернутой сверху донизу занавесками, и неторопливо, но веско сказала, слегка коснувшись Яниного плеча:

— Вы рассказали мне целый роман. Я не хочу говорить вам что-нибудь и как-нибудь. Кое-что из вашего романа мне знакомо, кое-что — нет. Так вот, из того, что знакомо, знаю одно: только самостоятельность мышления способна быть нам надежным поводырем на этой жизненной тропе, которая никогда не бывает безлюдной, а в некоторых, особенно приманчивых кварталах, просто забита толпой. То, что вас тянет именно в эти кварталы, — об этом потом. Но сейчас — о самой самостоятельности... умственной самостоятельности.

«Опять о работе. Как это скучно!» — мелькнуло у Яны. Но горечь прошла. Она снова почувствовала себя выше Тома.

— А как же ее достичь, этой умственной самостоятельности? — спросила вслух, просто чтоб не обижать ее.

— Работать, — ответила Тома.

«Ну, так я и знала!»

— Разве в этом не смысл и цель жизни — расти над самим собою, каким ты родился и каким формирует тебя среда? Встать над всем этим, продвинуться, да и ее, пожалуй, продвинуть. По-моему, очень интересное занятие, самая главная, самая увлекательная профессия. А вы хотели как — избавиться от страданий за просто так, за здорово живешь, даром? Это не проходит! — она развела руками, проходя мимо Яны в дверь. — Ну, по-

шли по койкам. Я за вами зайду перед полдником. Хотите?

— Да, конечно, — обрадованно сказала Яна.

Повернувшись, чтобы идти к себе в палату, она вдруг подумала: Боже мой! Да ведь она просто-напросто все обо мне знает. Как мне это в голову не пришло? Все тут ходят, сплетничают, болтают друг о друге. Она специально мне все это говорила, имея в виду мое «дельце». Ну и пусть! Все равно я бы ей сама все рассказала — рано или поздно. Чего уж тут?

Яна проснулась от запаха гирлянды цветов, которую нежно надел ей на шею Юрий. В палате уже шумели. Она вспомнила, что она в больнице — потому что было все, что было, и повернула голову. На табурете около ее постели сидела высокая и тонкая, как мальчик, женщина. Яна пыталась вспомнить, как ее зовут, и вспомнила: Тома. Это — Тома. На тумбочке, в большой стеклянной банке, стояли цветы. Откуда они могли появиться? Полевые, медово-пряные, свежие?

— Какие необычные цветы. Откуда они?

— Из нашего сада. Тимьян, рута, мята. Горец, лютики. Неужели и лютики — необычные?

— Под шепот руты у реки, мыслями с кем-то в унисон, уходит время золотым песком из жаждущей моей руки¹⁴, — отозвалась Яна. — Красиво, правда? А я никогда не знала, что такое рута. Покажите ее!

— Да вот она. А вы любите стихи?

¹⁴ в тексте использовано стихотворение Вальдемара Вебера 1971 года.

— Я люблю все красивое. Только у меня ничего нет.

— Ну как же нет? А стихи? Мерьте температуру и пойдем в столовую.

— Это же не мои стихи. Это чужие. Просто я однажды прочла их в корректуре — на работе.

— Чужих стихов не бывает. Так вы литератор?

— Да, не поймешь. Корректор в издательстве. И корректирую совсем не стихи, а всякую галиматью... Статьи по экономике, например. Это, со стихами, было случайно, и я их запомнила. В основном, из-за этого непонятого слова «рута».

— Прекрасные стихи. Как там? — Под шепот руты у реки...

— Мыслями с кем-то в унисон

Уходит время золотым песком...

— Из жаждущей моей руки! А ведь мне это знакомо, как ни странно, — задумчиво молвила Тома. — Когда я окончила университет, я вдруг почувствовала себя такой оторванной от мира, беспомощной... А сердце билось очень яростно. Я ведь была деятельной молодой особой. Ну, сколько там у вас?

— Тридцать шесть и две.

— Я запишу. Одевайтесь.

Съев простоквашу, они снова спустились в сад. Тома взяла с собой толстый жакет-самовяз.

— Возьмите кофточку, — сказала она Яне. — Скоро станет прохладно.

— У меня ничего нет, — пожала Яна плечами. — Меня привезли сюда так... Их чужого дома. Я обычно сижу в палате по вечерам.

Тома, как было ей свойственно, внимательно посмотрела на нее и ничего не сказала. Конечно, она отдала ей свой жакет — но это было уже потом, когда Яна забыла об этом разговоре.

— А, вот же те цветы, что в букете! Я их раньше совсем не замечала.

— Это тимьян. Понюхайте его. Разомните и понюхайте! Ну и как?

— Очень здорово пахнет.

— Bloшиный! — рассмеялась Тома. — Bloшиный тимьян. Его раньше на Троицу собирали. Чабрец, мяту, тимьян. Усыпали ими избу. Вымоют все — и засыпят травой. Влажно, душисто — а на дворе июнь, солнце. Хорошо, правда?

— Да, красиво жили, — задумчиво протянула Яна.

— Красиво? — взвилась Тома, и голос ее стал резким, но тут же смягчился. — Это смотря как посмотреть. Поэзия нищеты — тоже красиво, конечно. Но ведь можно и есть вдоволь, и тимьяном — блошиным! — баловаться. Как у нас в доме, например. Главное, не страдать по всем этим поводам.

— Так вы не в Москве живете? — сдерживая разочарование, спросила Тома.

— Нет, конечно. Я же биолог. И муж биолог. Мы в заповеднике живем. Это гораздо лучше, чем в Москве. Вот увидите. Поправитесь, приедете к нам и увидите.

Как у нее все быстро. Уже в гости зовет! Как это непохоже на те дома. Туда — не зазывают. Туда сами ломятся, их танками держат — танками холодности, презрения, дистанцированности, швейцарами в подъездах — а они ломятся. Но ведь я не ломилась. Я не начи-

нающий писатель, не непризнанный художник, не окололитературная дама, держащая салон. Я попала туда случайно... Но я не могла там прижиться именно поэтому — случайный, пришлый человек. Человек не их круга. В сущности, пария.

— А вы не боитесь привязываться к людям? — спросила Яна вслух, слегка отвернув от Тома лицо, даже прикрывшись завесой волос.

— Уже грозитесь? — сказала Тома с коротким смешком.

— Нет, что вы! — Яна быстро обернулась. — Другие люди совсем другие... Чем вы. Они или болезненно тонкие, или самоуверенные. А вы — все вместе.

— Да ну, ерунда какая. Кому это известно, какой он такой? Почему вас Яной зовут? Какое редкое и красивое имя!

— Не знаю. Может быть, потому что родители из Белоруссии. Вернее, родители моих родителей. Они совсем простые люди.

— Родители родителей?

— Да все. Но это очень тяжелая тема. Давайте ее не касаться, хорошо?

— Это простые-то родители — тяжелая тема? Вот тебе раз! Люди делятся на хороших и скверных, а не на простых и непростых. Никогда не могла понять этого ходячего выражения — простые люди. Что это такое? Не знаю.

— Ну, темные люди, у которых много предрассудков, и они нетерпимы ко всему, что не укладывается в их понятия.

— Ах, вот это... По-моему, это самые сложные люди, каких только можно себе представить. Их ведь понять всего труднее.

— Ну вот, вы тогда можете понять, наоборот, меня. А вот они не могут.

— Значит, вам остается понять их. Все всех могут понять, стоит только вылезти из улитки эгоцентризма. Вы еще очень молоды и мучитесь болезнями роста.

— Не так уж я и молода. Мне двадцать семь лет.

— Это же не от возраста зависит, а от интенсивности внутренней работы.

Яна взглянула на нее остро, обидчиво, с огоньком — как маленький зверек, у которого желание наброситься сдерживается недостатком сил.

— Может быть, вы и имеете право так говорить, не знаю. Но, понимаете, они совсем недалеко от меня ушли. И после того, как я поняла, что никакие они не выдающиеся люди, а просто у них есть то, чего нет у меня, и только на этом основании они считают себя элитой, — я перестала себя считать такой уж неразвитой.

— Кто они? Ваши родители?

— Да нет. Совсем другие люди.

Тем временем они обошли уже весь весь парк вдоль забора и сели на низкой скамеечке между двух берез.

— Я пока мало что понимаю, потому что не знаю обстоятельств. Но вижу, что Вам тяжело. Вы не заняты никакой работой, больны и мучитесь. Это так понятно. Плохо, когда болезнь отрывает от дела. Правда? Но ведь нужно же когда-то осмысливать жизнь? А это всегда мучительно. Я вот здесь тоже о многом думаю. Хотя

моя болезнь не мешает мне читать, но все равно в полную силу здесь работать невозможно. Правда, у меня нет никаких обид на людей. Я ведь живу в заповеднике. Но вот, например, я вчера додумалась до одной любопытной вещи. Хотите, расскажу?

«Представляю», подумала Яна, но вслух сказала:

— Конечно, хочу.

— Я думала, представьте себе, о любви. Вспоминала некоторые вещи из своей, да и не из своей жизни: мне часто случается задумываться о том, почему и за что мне так повезло с моим мужем. У меня замечательный муж, и наша с ним жизнь настолько контрастирует со всем, что я вижу и слышу вокруг, что я невольно часто об этом задумываюсь. Так вот, я думала о доме, о сыне, о Борисе — вспоминала, как он часто любит повторять: «Равноправия не может быть никогда, потому что они могут родить, а мы нет». И пришла к выводу, что миф о сотворении Евы из адамова ребра сочинили мужчины, и поступили весьма ловко, присвоили себе пальму первенства, мотивировав тем самым свое господство. Не догадайся они до такого «хода конем», вся человеческая мораль могла бы развиваться в другом русле. Вы мне, конечно, возразите, что в других идеологических системах — например, в магометанстве или буддизме — нет подобного мифа, а рабство женщины налицо. Это рабство сложилось в эпоху культа силы, оно сменило матриархат на основе овладения средствами товарного производства. Но вернемся к той идеологии, которая воспитывала близкое нам во времени и в пространстве народонаселение. Ведь мы — продукты этой идеологии. Ее невозможно просто взять и отменить, не

докопавшись до декатысячелетних корней. Вы со мной согласны? Ведь самый бездумный, самый животный и неразвитый отпрыск мужского пола с материнском молоком и окружающим матом впитывает, что женщины для него созданы, да еще и из его же собственного ребра! Любое ничтожество — вы приглядитесь. Оценивают, торгуются, дерутся, покупают, бросают — и главное, при таком сознании, что осчастливливают любым своим хамством... ужасно. А ведь наука уже открыла, что в яйцеклетке способен самопроизвольно развиваться зародыш. Так что еще неизвестно, кто из чьего ребра, так сказать...

Яна не слушала ее. Все это было неинтересно и как-то... пошло. Почти так же пошло, как говорил с ней врач. Яна чувствовала, что перед ней такая же неудачница, как она сама. В жутком парусиновом сарафане — просто смотреть жалко. Точно уцененка из какого-нибудь занюханного сельпо. В Яне зашевелился блеклый, злой протест:

— Вот вы сказали, быть господами противно. Это неправда! К этому все стремятся на свете, все до единого. Мне вот приснилось однажды такое: большой барский дом, ну, усадьба, я выхожу на крыльцо, утро, я такая независимая, властная, отдаю всем распоряжения, проходя по двору к красивой коляске с красивыми лошадьми, и такая спокойная, уверенная, что все будет сделано, выполнено, уезжаю... Это было прекрасное самочувствие себя в жизни. Я бы не отказалась от него наяву. И очень многие умеют ведь его добиться. Например, высокое начальство.

— Ах, господи. Какая ерунда. А над тем высоким начальством — другое высокое начальство. А над тем высоким начальством — еще более высокие силы, обстоятельства... Да и барынька эта ваша дрожала, уверяю вас, перед соседним помещиком, у которого задолжалась. Почему вам этого не приснилось, не понимаю. И снятся же кому-то такие глупые сны! Только не обижайтесь, это я так, чисто риторически. Мы же не вольны в своих снах, правда? Это наше подсознание.

— Да я понимаю, — Яна сорвала веточку пижмы и растерла в ладони недоразвитые цветочки. — Хотя честно признаться, я в таких вещах ничего не понимаю. Когда мне приснился этот сон, я думала, это про мое прошлое. Кем я была в прошлом. А вы говорите как-то очень сложно. Я знаю мало, это правда, но все равно меня интересует то, отчего я настолько несчастна, что мне надо каждый день ходить на ненавистную работу, и почему у меня нет того, что есть у других и что так мне нравится.

Тома пересела со скамейки на траву и закурила.

— А что бы вам хотелось иметь? — настороженно спросила она.

— Н-не знаю, как это сказать, — красиво шевельнула бровями Яна. — Это не так просто передать на словах. Скажешь — красивые вещи, это будет не то. Будет пошло. Ну, в общем, красоту, путешествия, высокий уровень общения... Чтобы жизнь была красивой и в быту, и в образе жизни, и в отношениях.

— И от кого же это зависит?

— Как от кого? От окружающих, конечно... Вообще, от всего. Сам себе не может же человек составлять и

разные страны, и людей, и вещи... Разве что иллюзорно. Но меня это не устраивает: ведь это обман, как и все остальное. Те, кому это дается, обманывают этим других, кому не дается.

— Лучше бы, конечно, всем все дать. Но вот в природе почему-то — я имею в виду низовой уровень природы, животный — это не было предусмотрено. Была предусмотрена борьба за выживание, за жизненные блага. Людей слишком много, благ мало.

— Но почему им — в первую очередь?

— Человеческая очередь — это вообще вопрос гнусный, — ответила Тома ледяным тоном. — Я лично очередями избегаю. Просто из чувства человеческого достоинства. И мой муж тоже. По занятости. В свои экспедиции — тяжелые и часто опасные — он ездит без очереди, уверяю вас. Но я понимаю, — смягчился ее тон, — что вообще-то все это очень болезненно. А вы бы не хотели работать в ботаническом саду? — неожиданно спросила она.

Все-таки она с приветом, — подумала Яна. Вслух же она сказала:

— Это не зависит, где работать. Это везде одинаково.

— Видно, вы много размышляете?

— Да, такая уж у меня несчастная натура.

— Для таких натур самое лучшее приучиться как можно раньше к правильному умственному труду. Без этого их размышления очень непродуктивны и страшно изматывают психику. Но вы ведь литератор? Вы должны бы много читать? А хорошая литература, в принципе, тоже способна мощно организовать мышление. Только

очень, очень хорошая. Великая. Хотя и они в чем-нибудь, да ошибались. Но ведь их было так много, что если внимательно вникнуть и сравнить между собою их мнения, в результате откладывается нечто истинное. Те высшие ценности, на которые сподобилось сообщать наше человеческое сознание до сего момента. Только, конечно, это не происходит само собой... Я имею в виду, если просто пассивно глотать книгу за книгой.

Боже, какая ерунда! А главное, кто ей дал право так со мной говорить — совсем как с тем парнем, который приходил к ней утром, да еще цветы принес. Чудно! Есть в ней все-таки какое-то убожество, которое не дает возможности на нее обижаться... Как если бы она была, положим, горбатой. Хотя она такая стройная и в общем, когда приглядишься, даже ничего. Тем временем, думая так, она говорила Томе с упреком в голосе:

— Я не могу особенно много читать. Я быстро устаю. У меня вообще слабое здоровье. Вам легко говорить, вы, видимо, очень сильная.

— Ну, положим, я сильная, пусть. А вот Декарт был всю жизнь трупиком. Он уже и родился трупиком, от чихоточной матери.

— Я не знаю, кто это такой, — уже откровенно развязно сказала Яна, почувствовав себя, наконец, очень уверенно: явная шизофреничка, явная, надо от нее как-то отвязаться, да поскорее.

— Ну, пусть не Декарт. Пусть Шопен. Вы знаете, кто такой Шопен?

— Я, наверно, кажусь вам ужасной дурой. Но кто такой Шопен, я знаю. Я не Шопен. Но ведь и они — не Шопены.

- Кто — они? Ваши родители?
- Да нет, совсем другие люди.
- А разговаривать вы не устаете? — участливо спросила Тома.
- Да нет, я привыкла. Всю жизнь ведь приходится проводить в разговорах.
- Х-гм...
- Да, конечно. Люди есть люди. На работе — разговоры, сплошные истории, постоянные новости. Дома — тоже разговоры. Даже скандалы... Вы, небось, не знаете, что это такое?
- Не знаю, это уж определено.
- А на них уходит сил гораздо больше, чем на разговоры в течение трех суток без сна.
- Вы и это пробовали?
- Да ведь когда я у кого-нибудь из подруг, раньше трех мы никогда не ложимся.
- И о чем же вы разговариваете?
- Ну, у всех свои неполадки. У кого муж, у кого любовник, у кого ребенок... У кого недостача в магазине. Всех надо выслушать, посоветовать. А как же?
- Да нет, я просто спрашиваю. Мне интересно. Я ведь в заповеднике живу. Но только Яна, милая... Ведь жизнь — одна, и очень короткая. Вам это никогда не приходило в голову?
- Определенно, все знает, — подумала Яна.
- Мне другое приходило в голову, — сказала она вслух, — но вы этого не поймете. У вас для этого все слишком благополучно.
- Пожалуйста, Яна! Я вас решительно приглашаю к себе, как только вам можно будет выписаться. Скажите

мне, — она понизила голос, — чем вы больны? Если это можно, конечно.

Яна отстранилась от нее, выпрямив худенькую спину.

— Да я, в сущности... У меня болит, конечно, сердце... И вообще я дохлая. Но я не потому здесь лежу. Но неужели вы не знаете? Скажите правду!

— Нет, нет, я не знаю. Мне неудобно было об этом спрашивать сразу, пока мы не познакомились поближе. Но если вам не хочется, не говорите. Извините за мой вопрос.

— Я, видите ли, хотела умереть, — медленно произнесла Яна, вертя в руке голую былинку. — Раз не получается красиво жить, то хотя бы красиво умереть. И выпила много снотворного. Но моя подруга... Вернее, знакомая... или подруга, не знаю, у которой я в это время жила, неожиданно приехала с дачи. И ничего не случилось. Только еще больше неприятностей.

— Боже, какой ужас. Все было так непоправимо?

— Хорошо вы сказали — непоправимо. А другие спрашивают — «отчего ты это сделала?» Вера, эта моя подруга... приятельница, то есть, и все они — все у них в доме — думают, что от несчастной любви к их соседу. Наверное, думают. Вера не сказала мне этого прямо по телефону, но я догадалась, что они так думают. Но это так далеко от действительности. Может быть, это и имело значение... Но только как повод. Как толчок. Ведь что такое несчастная любовь? — это когда ее уже нет. Вообще, не бывает несчастной любви. Несчастьем бывает обнаружить, что человека, которым ты увлечен, нельзя полюбить... То есть не думать о нем дурно. Но и

это было не главное. Мне бы хотелось вам объяснить. У меня столько об этом спрашивают... И врач, и следователь, и Вера... А объяснить некому. А тем более родителям. Их эти мысли способны только еще больше обидеть и ожесточить. Я ведь их тоже понимаю. Кому приятно сознавать, что ты не в состоянии дать детям всего необходимого. Видите ли, когда я была совсем девчонкой и работала в магазине продавщицей, мне нагадала одна цыганка, что я уйду из своей семьи гораздо выше. Что у меня будет богатая и видная жизнь, и все подружки будут мне завидовать. Словом, перерасту свою семью и попаду в элиту. Я тогда не знала этого слова, естественно, и не знала даже, что такая существует. Знала только, что хорошо тому, у кого денег много, как у нас на работе говорили. Но потом я перешла работать в издательство, где мама была гардеробщицей, — уж больно в магазине было грязно и страшно, что засосет. И там оказались совершенно другие люди и другие интересы. Там я и услышала это слово. Сначала я не страдала от него. Тем более, думала я про себя, что мне ведь цыганка нагадала — я все равно туда попаду. В этот их прекрасный, блестящий мир с разговорами о разных новостях... Видите, здесь тоже — новости, как и в магазине. Слово одно, а содержание разное... Теперь-то я понимаю, что отчасти одно другого стоит... Дом кино, сеттеры и эрдель-терьеры, очень тонкий писатель, не правда ли... Вы не находите, нет? — Странно, у вас всегда был такой хороший вкус... Я-то думала, что уж вы-то будете способны его оценить. С таким нетерпением ждала, когда выйдет номер... Сам Главный его рекомендовал... Почитайте, вчитайтесь... Совершенно новое имя... Вы, навер-

но, были в тот момент не в его ключе... Ну конечно, он не гений. Но ведь гениев теперь нет... Я слушала и думала: как это хорошо, когда с твоим мнением считаются, когда становится вдруг так важно, что ты думаешь о ком-то, о каком-то писателе и его книге, будто от этого зависит, будет ли он считаться знаменитым и попадет ли в элиту. Но когда Вера — я не буду называть вам ее фамилии, хорошо? — стала приглашать меня к себе домой, я поняла, что туда никогда не пустят. Просто и легко это казалось на людях, при зрителях. Все становилось ясным постепенно... Ах, видно, я не сумею вам рассказать. Длилось все это три года — обсуждения покупок, какие мне и не снились, любовных историй, прохождения рукописей, денежные расчеты... А у меня — восемьдесят рублей зарплаты и, кроме меня, в семье еще два брата-школьника... Долги, ломбард — и я снова у порога очередной безысходности. А с их соседом я давно была знакома: он к ним заходил, ездил со мной в лифте, нравился мне, заметный такой мужчина, в разводе, и все. Он же, правда, и раньше оказывал мне какие-то знаки внимания. Но все это мельком, секундами. Женщина всегда это чувствует, если... Если она женщина, конечно. А когда Вера уехала со своей семьей на дачу этим летом и предложила мне пожить у них, поливать цветы, кормить кошку, — вспыхнул роман. Об этом я не буду рассказывать, это ведь было только что, последние два месяца. Я была очень увлечена... Да я и сейчас еще о нем думаю. Не люблю его больше, а мучусь. Ну вот, когда я стала не любить, а мучаться, и поняла, отчего, — это отчего и оказалось тем, что непоравимо. И вы единственная это поняли из всех. Я по-

няла, что я все равно неизмеримо ниже и ко мне снисходят... Поняла, что это было предрешено еще до начала отношений — то, что я неизмеримо ниже, а отношения все равно начались: с человеком «не их круга» они могут заигрывать, даже завести любовную интрижку — окружение легко это простит, но только с одним условием: чтобы не допускали чужих внутрь. И когда я поняла, что я для него — с улицы, а мои чувства — нечто вроде деликатеса, мне очень захотелось умереть... Хотя бы красиво умереть. Таблетки были, их маме выписывали. Вот и все. Я села в их роскошное кресло, налила себе вина, которое накануне принес Юрий... Настоящее французское, из валютного магазина. А Вера взяла да и приехала буквально на следующий день.

— Какая печальная история! И самое печальное в ней то, что вы оказались так незащищены... Умственно, я имею в виду. Ведь уверяю вас, этот ваш возлюбленный наверняка несчастный, неустроенный человек — потому что не на своем месте, слабый, неуверенный в себе, раз вы все это таким образом чувствовали. Вам бы это понять, пожалеть его, посмотреть свысока — а вы же еще и жертва. Ах, как досадно. Но теперь ведь все это позади, Яна! Вы сможете совсем по-другому построить свою жизнь.

— Что же позади? И что я могу в своей жизни изменить?

— Как что? Но вы мне так ясно и четко все рассказали, что я думала — вы все поняли теперь.

— А я думала, что вы поняли, — печально сказала Яна. — Что вы способны понять.

— Я оказалась неспособной? — улыбнулась Тома.
— Накиньте-ка этот жакет. Я сама его вязала. Неплохо, правда?

— Неплохо, — уныло отозвалась Яна. — Сколько времени?

— Ой, прозевали ужин. Но не огорчайтесь! У меня есть печенье и молоко в холодильнике.

— Да я не хочу есть. Смотрите, кто-то через забор перелез! Страшно, правда?

— Где?

— Да вон, за деревьями не видно. Мужчина. Совсем близко от нас. Давайте уйдем?

— Ну давайте, если вы боитесь.

— Тома! — негромко раздалось им вслед, едва только они пошли по мокрой от росы траве.

Яна оглянулась. К ним приближался, распахнув пиджак, высокий сухой мужчина в вольно сидящем сером костюме, с немного съехавшим на сторону галстуком. Его рыжие от загара зылысины поблескивали в вечерней, высоко лежащей полоске света, а лицо было еще темнее зылысин — по лбу проходила граница между более темным и менее темным загаром. Он так легко шел, что казалось, вовсе не отталкивался от земли, от травы, в которой почти не утопали его летние штиблеты.

— Ну вот, — сказала Тома, не двигаясь с места. — Это же мой муж. Он не ест женщин. Только не пойму, откуда он мог взяться. Борька! Как ты здесь очутился? Позвольте представить вам, Яночка: Борис Аркадьевич.

Борис Аркадьевич поклонился Яне, потом поклонился Томе. Еще раз поклонившись просто так, он сказал:

— Том, я того... Ты только не разноси меня, я сам все понимаю. Я через заборчик. А потому что выхода другого не было. Вернее, входа. Смотрю в щелку — сидят в вечереющем саду две красивые молодые женщины, беспредельно одинокие. Так поэтично. Не мог пройти мимо.

— Не испортив поэзии? — отвернувшись от него, но скосив на него глаза, сказала Тома и состроила вдруг смешную рожицу, страшно поразив этим Яну.

— Меня в таких случаях всегда интересует, стоили ли свеч игрок. А я не чаял до вас добиться.

— А за каким лешим тебя понесло на ночь глядя? Где теперь ночевать будешь? Как ты вообще попал в Москву? Уж не случилось ли что-нибудь?

— Ночевать я буду, как легко догадаться, у Маврина. В Москву я попал самолетом. Третий вопрос забыл. Да, не случилось ли чего-нибудь. Нет, у меня ничего не случилось. Случилось у них. И они меня вызвали. Удовлетворяет?

— Не вполне. Что же у них случилось?

— Ну ничего, Томик. Ровно ничего ужасного. На девять дней скостили срок. Но мы успели взять абсолютно все данные. Теперь — до следующего года.

— Хорошо они там живут? — она повернулась к Яне: — Это наблюдаемые им животные в жарких странах.

— Прелестно. Сам бы не отказался. Однако, что же это у нас с конечностью? Опять? Может, лучше взрежем единожды, чем из больниц не вылазить?

— Да чепуха это все. На днях выписываюсь.

— А молодая особа по имени Яна чем болеет?

Яна беспомощно взглянула на Тому.

— У молодой особы Яны пошаливает сердце, — легко произнесла Тома. — Немного. Дома был? Гаврика видел?

— Дома еще не был. Гаврика не видел. Ты что, не замечаешь, что на муже костюм с чужого плеча? Для пущей респектабельности.

— Ой, да, действительно. Мавринский, что ли?

— Вестимо.

— Он тебе и сказал, что я здесь околачиваюсь?

— Витька телеграмму дал.

— Опять Витька. Сам считает, что я чересчур рациональная, а сам телеграммы дает.

— И то, и другое, надо полагать, от чрезмерного почтения. Однако, я тут с вами совсем заболтался, а у меня портфель на улице. Схожу-ка я за ним.

— Как на улице?

— За забором. Я его там на всякий случай оставил, чтобы документов при себе не иметь. А то неудобно, сама понимаешь. Но как тут, я вижу, сторожат вас без ружья и чинов, то я за ним и сбегаяю. То есть, слажу. Ну, адье. Опять же, в случае чего, явлюсь завтра днем, в приемные часы.

Теперь понятно, кто они такие, думала Яна. В Москву их на порог не пускают. Провинциалы. А думают,

что они могут научить кого-то жить. Смешно! Какие жалкие люди. Умничают.

— Ка-акая прелесть! — ласковым голосом пропела она вслух. — Сколько же ему лет?

— Борису? Сорок пять.

— Сорок пять? Чушь! А вам, если не секрет?

— Какой же секрет! Из сорока семи лет секрета не сделаешь.

— Я думала, вам тридцать, — задумчиво проговорила Яна. — Ну, тридцать два, от силы. А сколько же Гаврику? Это же ваш сын, наверное?

— Гаврику? Гаврику десять. Да он приезжал сюда, мы с ним вас видели. Только мы с вами не были тогда знакомы. Но Гаврик — тот обратил на вас внимание, будьте покойны: «Мама, какая очаровательная тетя. Можно мне подарить ей цветок?»

— Правда? — обрадовалась Яна. — А вы что же?

— Не позволила.

— Как жаль!

— Я за него боялась.

— Как за него?

— Влюбится и будет страдать. Он к этому очень предрасположен.

Яна опустила глаза, потому что на них навернулись слезы:

— Из-за меня никто никогда не страдал.

Тома, устремив на нее свои пронзительные зрачки, мягко заметила:

— Но не Гаврик.

— Неужели правда? Вы тоже считаете, что тот, кто больше страдает — тот лучше? Ведь когда страдаешь,

кажется совсем наоборот: что ты недостойн, потому тебе и приходится страдать.

— Ах, Яна. Бывает и так, бывает и не так. Все дело в мотивах, во внутреннем содержании страдания. Чтобы это понять в себе, тоже надо много работать.

— Опять работать! — появился у них за спиной Борис Аркадьевич со своим портфелем. — Милая, очаровательная Яна, вас не уморила эта кошмарная женщина, которая всех неуклонно призывает работать, отчего мухи дохнут? Сначала мухи, потом тараканы, потом кошки, собаки, дети и так далее. Жить для нее — это значит работать, думать — работать, читать преинтересный роман — извольте, с ума сойти, работать, любить — работать, детей произращивать — уж конечно, работать. Работаю ergo sum. Держитесь меня — я предлагаю только съесть эту вкусную, ароматную дыньку, — и он достал из портфеля виноград, дыню и какое-то печиво трубочками. Из внешнего кармана портфеля он достал ножик. Из пиджака он хотел достать...

— А, черт! Пиджак-то чужой. А у меня должен был быть в нем букетик фиалок из Ниццы. Ни в коем случае не упускайте возможности побездельничать, как Рабле призывал не упускать возможности закусить и выпить в своей бесподобной книге, на написание которой, как он сам признается, потратил и употребил все то время, что Бог отвел ему для еды и питья.

Ну и парочка, — у Яны голова от них разболелась, подташнивало. Особенно от мужа — он говорил такими длинными, нескончаемыми фразами, что уследить за ними было просто невозможно.

— Борис, нам пора в койки. Мы режим нарушаем.

— Ну вот здрасьте! Когда вы тут сидели и кимарили над водоемом в своих кружевных мантильях — вы не нарушали режим. А стоило мужу появиться — уже режим нарушаете. Яна, вы слышали? И ненависть этой женщины преследует меня вот уже двенадцать лет. Ненависть и ревность. И стяжательство. Мол, принес виноград, из сумки выложил — так почто сидишь? Чего развалился? Кому это может нравиться?

— По-моему, это всем нравится, и по-моему, ее все любят, — льстиво, из вежливости откликнулась Яна.

— Кто? Те, что приходят сюда каждый божий день? — он повернул голову к Томе: — Маврин ходит? — Тома кивнула. — Так они же ругаться с ней ходят. Людям необходимо иметь с кем ругаться, как у каждого, у кого есть печень, должен быть свой орел.

— Борька, иди.

— Дай дыню доесть. И потом, собственно, почему — «Борька, иди»? Это вы идите, а я могу и на травке прилечь...

А вот это уже безвкусно. Яне стало их жаль. Живут в каком-то заповеднике, одичали.

— Я провожу его до забора. Хорошо, Яна? Вы не будете бояться? Меня все время будет видно.

— Да нет, я уже не боюсь...

Не то это все, не то. Элита не может быть такой... юродивой.

Она видела, как Тома медленно шла в своем прямом белом сарафане, слегка опираясь на руку Бориса, и что-то рассказывала ему — на руке ее, на волосах, на сарафане мелькали пятна света от фонаря. Она остано-

вилась, и по плавному мерному движению ее руки Яна вдруг точно почувствовала, что та произносит:

Под шепот руты у реки
Мыслями с кем-то в унисон
Уходит время золотым песком
Из жаждущей моей руки,*

и муж кивает ей, чуть-чуть наклонившись вперед.

Она не сказала Томе, что это стихотворение было в рецензии Юрия на какого-то молодого поэта, равшегося в литературу, как выразился Юрий. Он назвал его бездарным графоманом и разнес в пух и прах. Она просто перепечатывала рецензию, помогала, хотела казаться ему полезной. А эти безвкусные олухи носят теперь с такими же жалкими, как они сами, виршами. И зачем только она ляпнула... И вообще... Зачем...

ОДИННАДЦАТЫЙ

Наши истринские собаки совершенно не умеют переходить дорогу. Весной, когда сходит снег, в придорожной канаве объявляются пыльные мумии.

Вертявая дворняга длинной белой шерсти на моих глазах суется под всякую машину, остолбеваает перед ней на задних лапах, в ужасе раскинув передние, и, поджав хвост, возвращается обратно на обочину.

Десять шоферов на моих глазах десятью разными способами делают все, чтобы спасти эту дуру, которая мешает им работать. Одиннадцатый, последний в веренице, на моих глазах наезжает на нее с равнодушным лицом.

Вдалеке уже виден автобус, который я ожидаю.

УБИЙЦА БОЖЬИХ КОРОВОК

Солнце приблизилось к плотному краю туч, подхлотивших из-за горизонта ему навстречу. Целый день они тянулись друг к другу, и вот солнце скрылось за обрывком тучи. Ожидать его больше не приходилось.

Мальчик встал, надел джинсы, а когда отряхивал с ноги песок, увидел, как в песковороте следа барахтается божья коровка. Он быстро придавил ее рукой и засыпал песком. Тут только успело замкнуться кольцо мысли о том, что вдавленная в песок букашка могла уцелеть.

Божья коровка, действительно, показалась в осыпающемся с ее могильного холмика песке, и мальчик бросился ей на помощь.

Но одно из оранжевых надкрылий было надломлено у основания, из-под него торчала нескладывающаяся дымчатая сосулька крыла, и божья коровка не сдвигалась с места, быстро прогребая под собой песок.

Мальчик подставил ей палец и перенес ее на лист вербены, с которой, как он заметил, постоянно сыпались ягодки коровок. Коровка поползла так медленно, надкрылья ее так мучительно силились подняться, что мальчик поскорее ушел — от боли.

Вспомнил он про эту коровку только через несколько дней, снова придя на это свое облюбованное каникулярное место. Уже улегшись на песке, он вдруг представил себе, что она лежит где-то здесь, распустив бант своих надкрылий. Он начал искать ее глазами. Она лежала под веткой вербены, уткнувшись в песок, как низвергнутый истребитель. Сквозь ее истончившиеся,

потерявшие живую плотность распластанные надкрылья просвечивало солнце, и это напоминало старинные витражи.

Видимо, взгляд мальчика давно сфотографировал ее, но проявилось изображение только сейчас. Мальчику стало неприятно от близости ее трупика. Он отвернулся.

Потом он заметил, как муравей тащит крыло — переливающуюся на свету дымчатую витую сосульку. Мальчик повернулся к убитой коровке и увидел, что трупик ее переместился. И он уложил ее под белый, вымытый дождями камешек.

Когда он увидел другую, живую и сочную божью коровку, тормозившуюся с необычайной резвостью на листе, он вдруг ощутил поползновение бросить ее в песок и прихлопнуть рукой, чтобы все увидеть и пережить снова.

ДЫМ

Вокруг Москвы горят залежи торфа. Идут экстренные работы по локализации пожаров.

Началось для москвичей — если судить по мне — дивным парижским утром с вуалью на солнечных предметах. Вечером — ноябрь вокруг фонарей вкуче с жарой и дымком во вдохе. Удивительность погоды.

Потом — газеты. Введение в метеосводку прогноза «дымной мглы».

И как только газеты сообщили о бедствии — как только доползли газетные сведения до слуха — тут же

почувствовала гарь, дым и торф. Следующий день стал невыносимее предыдущего...

Впадаю в полубеспамятство в электричке.

Взгляд выпивает туманные провалы между ветками елей.

Едва добравшись до дому, наплакавшись над своей разрывной беспросветной жизнью, слушаю ноктюрны.

В серый мягкий туман двора, в угасающие призраки окружающих домов впечатаны фотографически черные силуэты августовских астр на моем балконе.

Слушая ноктюрны, размышляю, до чего Шопен был несчастен. И Шопен, и Чехов, и все о них.

Дождавшись душной темноты, укладываюсь с сердцебиением в подушку головой, и только коснувшись простыни, в состоянии представить, наконец, себя чьею-то фата-морганой и любимой. Хочу запомнить это на завтра — и не могу, задушенная тяжестью головной боли.

Могло быть и так, что представляла бы до конца эту историю прелестным парижским утром, не узнай о газетах и торфе. Со мною — могло.

Но торф загорался сам собой, стихийно, от слишком жаркого для торфяных широт лета и слишком активного солнца. Брошены туда мальчишки-солдаты на экстренные работы в бескислородном думу и огне.

И, вероятно, достаточно позвонить по ноль-один, чтобы узнать — не требуются ли туда добровольцы.

ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ...

Готфриду Бенну

Есть люди, в присутствии которых Поэзия начинает хиреть, хиреть — и постепенно погибает.

Сначала исчезает звук — от их болтовни, потом меркнут образы, и постепенно даже самые обыкновенные слова теряют свой смысл. На стуле, где задумчиво-сосредоточенная Муза подбирала свои аккорды, осталась одна серая выцветшая подстилка — истинный трон торжествующей Нелепости.

Славные они, эти люди. Их здравомыслие всегда увенчается в конце концов фразой — «Да и шут с ней, с поэзией. Хоть бы ее не было и вовсе. Что из того?» — даже если они и не скажут этой фразы вслух.

Они утомительны, как непрерывно занятый телефон, по которому вы пытаетесь дозвониться.

Между прочим, то же воздействие их присутствие оказывает на Любовь, хотя о ней они болтают разнузданно и особенно охотно.

БАЛЧУГ

— Вы, верно, удивлены моим приходом, — сказал вошедший, снимая вызывающе жалкое, вытертое и обмахрившееся на рукавах клетчатое пальто. Его узкое фарфоровое лицо за годы, что они не виделись, стало каким-то одутловатым, и розовизна его пугала. Вероника нервно поежилась, стянув концы шерстяного платка,

наброшенного на плечи, — она и так мерзла, да от слов вошедшего повеяло холодом.

— Проходите, Петр, — сказала она, посторонившись. — Как вы поживаете? Присаживайтесь. Я поставлю чайник.

Говорила она возбужденно, но это была совсем не радость от того, что она его видит, почувствовал Петр, а скорее подспудное желание не дать ему говорить, исключить каким-нибудь образом его визит из поля душевного зрения.

Он огляделся. В комнате было уютно, чисто — шкафы с книгами, письменный стол, телевизор, большой диван, заваленный рукодельными подушками. Да и квартира, которую он без труда нашел по данному Вероникой почтовому адресу, была в красивом голубом шестнадцатиэтажном доме, совсем рядом с метро, не так уж далеко от центра. Разумеется, квартира была не ее, а скорее всего, она ее снимала, видимо, за сумасшедшие деньги, но шить, вышивать, вязать она, судя по всему, умела, так что трудно было определить, что здесь ее, а что — хозяйское.

— Как поживаете, Петр? — опять поспешила завладеть инициативой Вероника, вернувшись с кухни.

— Худо, — сказал он без обиняков.

Тоскливый загнанный огонек пробежал по ее зрачкам, лицо сразу же осунулось и постарело.

— Как ваша кошка? — попробовала Вероника нащупать почву под ногами и как раз угодила в трясины:

— Кошка умерла. Я теперь совсем один.

— Я слышала, вы болели...

— Да, меня свалил диабет, и я еле выкарабкался.

— А не думаете ли вы, Петр, что это все от ваших голоданий и сыроедства?

— Не думаю, к тому же мой образ жизни был для меня единственной возможностью спастись — тогда. И от того. Я был неспособен вступить ни в какие контакты с обществом. Это показала мне армия. Ну вот, я и продержался, сколько мог, — а теперь, может быть, ресурс исчерпан, и пора погибать. Собственно, это отчасти зависит и от вас.

У Вероники ком встал поперек горла. Какой все-таки прохвост, ханжа, очковтиратель — этот якобы не от мира сего Петр, просочинявший всю жизнь про котят и собачек, про неземную бескорыстную любовь звездочек и кузнечиков. «Я дышу слишком разреженным горным воздухом» — не он ли пел десять лет назад, что не помешало ему, однако, взять с нее тысячу за фиктивный брак. Правда, настоящие дельцы уже и в те годы брали две, а теперь берут и три, и четыре, и пять. Это ей известно, конечно. Но к чему же он клонит, мерзость такая? Ясное дело, ей давно пора было с ним развестись, но из того, на что она рассчитывала в те годы, ничего не вышло: ей не могут дать жилья на работе, у нее по-прежнему нет денег на кооператив, потому что переводную книжку, над которой она корпела года два, выкинули из плана, и не появилось на горизонте ни одного живого существа, с которым можно было бы вступить в нормальный человеческий брак. Правда, на это она меньше всего и рассчитывала. К тому же тогда их с Петром сделка носила характер обоюдной товарищеской любезности: два хороших одиноких человека, едва знакомых (он принес в соседнюю детскую редакцию свои

вонючие стишки про кузнечиков и котят), разговорились, ожидая лифта, и обнаружили, поделившись своими затруднениями, что в силах помочь друг другу.

Его затруднение состояло, видите ли, в том, что он не выносил контактов с людьми.

(А кто их выносит?)

Он вытерпел школу, еле-еле вытерпел армию, хотя это был, по его словам, самый тяжкий кошмарный сон в его жизни, и вынес он его в запредельном состоянии. И то трудно сказать, вынес или не вынес, — мелькало порой ощущение, что армия его сломила, выявив окончательно и бесповоротно неспособность по каким-то неизвестным ему психо-биологическим причинам подчиняться требованиям общественной жизни. Вероятней всего, предполагал Петр, причины эти кроются в глубинах его мировоззрения, глубинах, может быть, даже и неведомых ему самому. Хотя кое о чем он и догадывался. Например, о том, что поведение армейских старшин ничем человеческим не может быть оправдано. Но если начать все расставлять по полочкам, получится плоско. А в общем и целом государственные напластования мировой социальной жизни настолько расходятся с естественным (каким таким естественным, спросить у него: ведь никто не знает, может быть, грабить и убивать — это и есть самое естественное!), что нельзя не признать — наша цивилизация от Адама была на ложном пути, и уже Иисус Христос почувствовал ее уродство во всей вещи силе, но увы, никого не спас своим подвижничеством, потому что действовал, играя на струнах того же самого инструмента, который признавал испорченным, негодным, — а именно, был по-своему демагогом. А

поэтому без второго пришествия и вот именно другого Христа — Блок это очень тонко подметил — дело никак не может обойтись.

Собственно, с какой же стати он ей изложил все это тогда у лифта, если он был такой замкнутый и нелюдимый? Трудно это сейчас припомнить. Впрочем, она с ним первая заговорила — видно было, что это автор, причем самый задрипанный и зажатый из всех, какие только бывают — а они почти все такие, их за версту отличишь от сотрудников и особенно от сотрудниц, не говоря уже о начальстве. И она с ним заговорила, потому что терпеть не могла всех этих блатных снобов, по знакомству пристроенных в издательство, а хмурого делового начальства, спущенного из ЦК, боялась, и по существу, поговорить ей было не с кем. Она почувствовала, что Петр на мозоль не наступит, если с ним заговорить, вот она и заговорила. И о тысяче, которая у нее есть и без которой можно преспокойно обойтись, в то время как без прописки жить вообще невозможно — тоже разговор завела она сама. Он все больше говорил про Христа и про Блока, и согласился взять тысячу, почти не раздумывая, — привык к иждивению, мать приучила, так объясняла себе это Вероника.

А тем временем стихи Петра похвалил Слуцкий, их показали Винокурову, и Евгений Михайлович написал на них, что не против взять Петра к себе в институтский семинар. Дело чуть было не сладилось, однако Петр не в состоянии оказался переступить через экзамен по истории, в том числе и КПСС, и оказался за бортом. Писать он однако продолжал помаленьку, даже два-три стишка у него были опубликованы за пяток лет, а стишки у него

были строчек по пять, много — по шесть, без рифмы, и в итоге он, может, рублей двадцать и заработал своими стихами за всю свою жизнь. Так что средств к существованию у него считай что нет, если он желает время жизни тратить на свое умственное развитие.

А посему живет он вдвоем с кошкой, о семье, естественно, не помышляет, потому что его несчастной маме, инженеру на ракетном заводе, матери-одиночке, вырастившей такого кретина, хватает и его одного. Сторожить-то он конечно сторожит — сторожует — через две ночи на третью, да и это очень хлопотно, а денег, семидесяти рублей, едва хватает на оплату кооператива, которым его наделила души не чающая в нем мамаша, да на пропитание кошки. Сам же он в стремлении к независимости потребляет капусту, морковь и сухофрукты — то есть сыроед и йог.

Все это до какой-то степени Вероника могла понять. Хотя сама она была существом общительным, коллективистичным, но тем не менее, сидел в ней с детства какой-то дьявол, который отклонял ее от нормы и подчинения то тем, то другим установкам извне. Сначала это были установки матери: «Кончай читать, неча свет жечь зря и глупостями голову забивать», «вставай, неча тюфяки топтать сызмальства, если хочешь идти в школу, надо вставать, корову подоить, горницу вымыть — а там тебе куска не дадут, а лишь возьмут». «Не потому, что нам с отцом жалко, а хлеб свой надо привычку иметь отрабатывать, чтобы жить». «Все в косах, она постриглась, позорница, хуже того нету, чтоб во дворе пальцем тыкали». Вероника мечтала хлеб их не есть и со двора уйти, и мать не любила. Отца же — непутевого,

пьющего, материнское горе — любила, и полубовниц ему прощала, даже сочувствовала ему и понимала его потребность в отдушине. Отец интересовался ее уроками, особенно физикой, сожалел, что не учился, когда было время, а гонял голубей, и говорил: «Эх, была б ты парень, подалась бы в техникум. А так, что ж, ступай в десятилетку, пока родители живы».

В школе же была своя жизнь, своя атмосфера, свои интересы и конфликты. Для Вероники не подлежало сомнению, что интересы эти выше домашних, а посему и конфликты задевали сильнее. И естественно, отношение к ней учителей было средоточием ее эмоциональной жизни тех лет. Тем не менее, при всех конфликтах и переживаниях, Вероника жила с постоянным ощущением своего умственного превосходства и над домашними, и над одноклассниками, и над учителями. В городе было три места, куда можно было отнести аттестат с медалью, не считая высшего военного училища, — педагогический институт, медицинский и инженеров транспорта. Вероника выбирала методом исключения: только не дети, только не трупы. Так она поступила в технический вуз, пройдя собеседование. Мать, конечно, по-своему прокомментировала это событие:

— Лишь бы не дома сидеть, лишь бы не работать. А дом хоть пропади, мать с ног валится — огород, сад, корова, а она все прыг-скок, умру, все пойдет прахом.

А Вероника сдавала начертательную геометрию, математику, чертила проекты, и все это нравилось ей, она обугливалась в эйфории своих умственных интересов и уже предвкушала, как будет жить свою жизнь: с размахом, с пользой, верша большие дела. И само со-

бой, поскольку человек она не рядовой, то и инженером рядовым быть не может — видела она себя где-то на капитанском мостике строительства, исследовательского отдела, научного центра с закатанными рукавами, громогласной, впередведущей, в непрерывном и неутомимом действии.

Окончив институт, она уехала на строительство на Байкал, бесповоротно порвав с огородом, садом и коровой, только раз в два-три месяца писала родителям письма.

Работала она в проектном бюро, на работу опаздывала, но делала все споро и большую часть времени «гуляла», а начальник сектора, молодой толковый парень, постоянно получал за нее «втыки», так что организовал в конце концов ради нее вторую смену, в которой, кроме Вероники, никто особенно охотно работать не соглашался, хотя порой кое-кого вечерняя эта смена и выручала. Вообще же отношения с начальством у нее складывались плохо, еще хуже, чем с учителями в школе, и от всех от них хотелось уйти, как когда-то от матери. К тому же встретила она там, наконец, — как ей казалось, впервые в жизни — с людьми, которые явно превосходили ее башковитостью, и ей довелось испытать восторг и преклонение — чувства, очень даже хорошо ведомые ее духовной особе страстного книгочеха — теперь уже перед живыми людьми, которым она говорила «привет» и которые заходили к ней на огонек по вечерам в поселке. И она с горечью определила по таинственному и недоказуемому ориентиру чувств, что есть какая-то неформулируемая, но тем не менее жесткая иерархическая закономерность в той области жиз-

ни, в которой теперь обреталась: закатывают рукава одни, башковитые — это совсем другие, а приказы спускаются от третьих, которых вообще никто не видит и не может поэтому судить о них с той или иной определенностью. И самым невыносимым было то, что башковитые расценивали приказы как кретинические, а закатанные рукава их исполняли.

В довершении всего ей случилось там влюбиться, да притом неудачно, и поскольку неудачи такого сорта — особенно, если они сопровождаются, как в ее случае, выкидышем и попыткой к самоубийству, не остаются незамеченными в подобных обстоятельствах, то есть в сравнительно небольших, даже если и больших строительных поселках, она по истечении своей трехлетней крепости, как называла она срок молодого специалиста, пристала к заезжей геологической партии и уехала с Байкала. И только через несколько лет узнала, сколь губительно для края оказалось грандиозное сооружение, в котором она участвовала, закатив рукава, хоть и с постоянными дисциплинарными нарушениями.

Переживания тех лет буквально вспарывали ее духовную утробу, и сбивчивые лихорадочные мысли просились на волю, в пространство, искали встречи и взаимодействия с мыслями других людей, чего в обыденной жизни не происходило в потребной для нее мере, и она начала писать, уже работая в Сибирском геологическом управлении и ведя кочевой образ жизни, что давало ей возможность тратить на писанину наработанное в партии время. И так ей удалось поступить издали в литинститут, в Москву, на заочку. Дело казалось решенным: она теперь писатель, и надо опять-таки закатить

рукава, а ничего ведь радостнее и нет на свете, как успела уже показать ей жизнь, несмотря на массу разочарований. Необходимо было разобраться, уяснить что-то для себя и для других — не этим ли должен заниматься писатель по природе своего дела? Кажется, так. Кажется по крайней мере ей тогда, что так. И все было вроде бы ясно.

Может быть, ей и нужно было оставаться с геологами и вести, что было сил, ту, уже теперь бесконечно далекую, тяжелую, но относительно чистую жизнь, законы которой откровенно сродни биологическим: выживает сильнейший, ведет лидер, побеждает воля. Хотя и там бывали свои неурядицы. Люди гибли в результате выдвижения на руководящую роль «ставленника», лидера формального, а не по существу. Но до поля «ставленников» доходило мало, они оседали в креслах. В поле наибольшим злом были «выдвиженцы», которые через поле двигались в столицы. Эти были страшнее «ставленников», потому что «ставленник» сориентирован хоть как-то приспособиться к среде, «выдвиженец» же пер, ни на ком вокруг не способный заострить внутреннего внимания. Наихудший тип формального лидера, по наблюдениям Вероники.

Но и ее прельстила столица. Заочники съезжались два раза в году, и очень много было «шороху» насчет Москвы. Постепенно их Среда. разношерстная, но объединенная более или менее одной жизненной проблематикой, стала ей ближе ограниченными корытами своей специальности технарей, появились знакомые киношники, художники, не процветающие, конечно, а, как и

она, подвизающиеся, не имеющие выхода на учреждения сбыта.

Но у каждого из них был какой-то свой внутренний мир, этакая интенсивная радуга выработанных в подземельях этого мира представлений о жизни и об искусстве, и они возбужденно интерферировали, эти миры, в общении, и Веронике казалось в ту пору, что она наконец-то попала туда, куда ей и нужно было.

Поэтому она не долго думая вышла замуж за одного из подвизающихся художников, как говорили, очень талантливого, и перевезла свои пожитки из Омска в его двенадцатиметровую комнату в Химках.

В комнате пахло красками и ацетоном, что было очень приятно, но вызывало у нее аллергию и кончилось астмой. Соседи по коммуналке, отвратительные запойные носороги, вызывали у нее еще большую аллергию, и она плакала от стычек с ними по несколько раз в день. Она устроилась истопником, как надюмили ее сокурсники, и они с мужем жили на ее зарплату. Он рисовал, ездил в Москву, пропадал по несколько дней, возвращался пьяный, небритый, матерился и скоро стал казаться ей таким же хамом и носорогом, как соседи, и она стала подозревать, что чувств у него к ней и не было никаких с самого начала, он просто искал дуру, которая взяла бы его на содержание, и вот эта дура нашлась в ее лице. Жизнь сделалась невыносимой, и опять стали лезть в голову мысли о самоубийстве. Она решила, стиснув зубы, дописать дипломную повесть, и если не удастся ее опубликовать, броситься с балкона.

Это была повесть про геологов, про гибельность несоответствия формального лидера требованиям Сре-

ды. Про то, чего нельзя доказать логически или исчислить на калькуляторе, а можно только почувствовать, уловить в атмосфере жизни и показать на художественной модели. Есть еще, конечно, статистический анализ, который исподволь осуществляет реальное общество в реальной исторической жизни, но на него уходят века, что и оборачивается муками поколений и большой кровью. Литература нагнетает ощущение жизни, способна, по крайней мере, его нагнетать, если ей дать волю, и общество, будь оно достаточно культурным, могло бы более или менее спокойно эволюционировать без взрывов и потрясений, пользуясь литературным сейсмографом, — но оно плевало на литературу. Замкнутый круг. Руководитель ее институтский остался недоволен вещью. Сказал, что написана она грубо и небрежно, к тому же слишком общо, и сколько ее ни правь, защитить ее будет трудно, потому что она в принципе непроходная. Все будет зависеть от рецензии. Он подумает, кому ее отдать.

После этого разговора Вероника весь вечер просидела на балконе, уронив голову на руки, благо мужа не было дома.

Было ли ей на что надеяться в ее положении? Только на рецензента...

Когда институтский руководитель назвал его имя, оно ей ничего не сказало, кроме того, что, кажется, у этого чувака куча книжек и он «член». Она не могла выдержать ожидания, слишком многое решалось для нее, и она позвонила рецензенту под благовидным предлогом, что де у нее есть еще время исправить недочеты и перепечатать рукопись. Он пригласил ее прийти. Лет

сорока с лишним в ту пору, он ей понравился сухостью, конкретностью своих замечаний, отстраненностью. Трудно было предположить, что А. В. после первой же рюмки коньяку, выпитой у нее на глазах, заговорит, в сущности, так же, как ее муж и носороги. Не только тем же языком, но и оперируя теми же ценностными категориями, если не ниже. Но до этой первой рюмки много чего произошло. Он защитил ее повесть, она поведала ему о безвыходном своем положении, он предложил ей пожить в отдельной его от семьи однокомнатной квартире, где он пишет; она согласилась, не очень уверенная в том, имеет ли это тот однозначный смысл, что она становится его любовницей. Оказалось, имеет, но для нее это вдруг обернулось счастьем любви, первым (и как потом оказалось, последним) в ее жизни. Он приходил жизнерадостный, с цветами, с бутылкой коньяку — «для себя» и с коробкой пирожных — «для дам». Они объездили на машине все Золотое кольцо и добрались до Прибалтики. Он устроил ее на работу в журнал, и она развелась с мужем. У нее оставалась единственная проблема — прописка, поскольку художник грозился выселить ее из Подмосковья со скандалом. Оно и понятно, не мог же он остаться один, без очередной дыры — должен же был кто-то его содержать. И вот тогда-то Вероника познакомилась с Петром у лифта в издательстве. Алеко, А. В., устроил ей к этому времени перевод с украинского — объемистую книгу, чрезвычайно дефицитную работу, потому что украинский знают все, кто вырос на юге, как и Вероника. С ней заключили договор, и она получила аванс — целых две тысячи. И ей нужно было куда-то прописаться.

А тут подвернулся этот самый Петр со своей кошкой, который поставил крест на личной жизни ради своих никому не нужных «стишат». (В том, что они никому не нужны, у нее сомнений не было — она уже видела столько этих подвизающихся, включая своего мужа, включая себя саму — в конце концов ведь о повести о ее дипломной Алеко помалкивает, точно ее и на свете не существует — перевод, редакторская работа, то, се, слишком даже ясно: что угодно, только не повесть ее сомнительная, непроходная.) И она расписалась с Петром и прописалась у Петра, оделив его тысячей из своего аванса и даже не побывав у него и не увидев его кошки.

Потом Алеко заболел, и у него отняли почку. Началось все с того, что он очень долго не звонил, и Вероника горевала и места себе не находила, решив, что он ее бросил, — совсем как в дни несчастной своей байкальской молодой и безоглядной любви. Хотя она и находила это теперь в порядке вещей, и относилась ко всему совсем по-другому, тем не менее в душе происходило все то же — чисто химически, что ли. Ни спать, ни есть, ни пить, и отчаяние, и обида — а ведь она прекрасно понимала, что в сущности они ничего не значат друг для друга, и он ей ничего не должен-не обязан. Но ведь он мог с ней хотя бы объясниться, чтобы она знала, на каком она свете — ведь все-таки как-никак она живет тут в его рабочей квартире на птичьих правах. Или может быть, он считает, что она сама должна все понять — и она стала подыскивать себе квартиру, чтобы подешевле, дала даже объявление в «Вечернюю Москву», страшно боясь, чтобы объявление с телефоном Алеко

по какой-нибудь нелепой случайности не попало на глаза его жене. И квартира нашлась. Комната за сорок рублей на Старом Арбате. Вероника переехала в нее и стала подумывать о том, что надо бы набраться силы воли и несмотря ни на что начать какую-нибудь новую вещь. Но работа в журнале и украинский перевод, совершенно бездарный и не имеющий ничего общего с жизнью, съедали все ее время и силы.

И только через полгода Алеко дал о себе знать. Он позвонил ей на работу и повадился на Арбат. Дела у него пошатнулись, он продал машину. Постепенно выяснилось, что работоспособность у него уже не та, да и нерв воображения усоп, как он выразился. Она так и не читала его книжек, предпочитая Платонова и Пильняка, на худой конец даже Стругацких. Она была уверена, что пишет он однодневки, если не хуже того. Иного ведь и быть не могло. И когда Алеко, А. В., пришел однажды к ней на Арбат и объявил, что ушел от жены, оставил то есть семью и предложил ей вернуться к нему в однокомнатную, она испугалась. Ей почудились Химки, нищета, носорожество, больной старик на руках. Она отказалась, и постепенно их встречи года за три сошли на нет. Когда в конце концов он опять надолго исчез, и она, встревожившись, позвонила ему — то услышала в трубке девичий голос. Но она уже не переживала. Может быть, это была его старшая дочь, в конце концов. А может, даже и младшая — оба ребенка у него были девки.

А перевод накрылся при очередном каком-то утрясании планов, и так она больше ничего за него не получила. Жизнь в коммуналке на Арбате была такой же не-

выносимой, как в Химках, и она сняла однокомнатную квартиру за восемьдесят рублей у одного из своих авторов, шедших сверху, который жил где-то в другом месте у бабы. От зарплаты у нее оставалось теперь пятьдесят рублей. Она понимала, что жизнь ее погублена, но все не теряла надежды еще хоть что-нибудь написать и выиграть этот смертельный бой, называемый жизнью, получить еще что-нибудь на свою долю, и сидела в свободное время над новой вещью. Так прошли еще пять лет. Итого, десять — как не видела она Петра. И все же она не решила, пойти ли ей на этот хорошо всем известный трюк — чтобы вещь была проходная. Если нет, то тогда вообще непонятно, за что она борется, какой во всем этом смысл.

Она налила слишком много воды в чайник, и он никак не закипал. Ей не нравилась электрическая плита — больно уж она инерционная, слишком долго раскокегаривается, с газом все проще.

— У вас тоже электрические плиты в доме, Петр?

— Н-нет, это ведь недавно стали делать. И, по моему, в новых районах. У меня газ.

— Терпеть не могу эти электрические плиты. Хотя конечно, если бы вдруг мне предложили такую вот квартиру — отказываться не стала бы. Это уж точно.

Он рылся в книжках.

— Значит, это не ваша квартира?

— Нет, конечно.

— А Кьеркегор Ваш?

— Что-что?

— Да вот тут старая книга, без переплета, дореволюционный Кьеркегор, «Несчастнейший», начинается с седьмой страницы, с середины предисловия.

— Понятия не имею. Где это вы раскопали?

— В книжном шкафу, внизу, тут стопками сложена, по-моему, всякая макулатура. Во всяком случае, больше ничего интересного я не увидел. Семен Бабаевский, Коптяева. «Кортик», Расул Гамзатов, ну и всякое такое.

— Там хозяйские книги. Можете взять почитать, если хотите. Только с возвратом.

— Да читать-то я читал. А что у вас с квартирой? Что-нибудь вам светит?

— Ничего мне не светит, Петр. Все как-то... Не вышло. Видите, я ведь рассчитывала в кооператив вступить — да вот, денег заработать не получилось.

— А на работе? Вы же все-таки служите. А на службе чего-то же кому-то дают?

— На работе тоже ничего не дадут. Во-первых, считается, что я обеспечена жилплощадью — у вас. Однокомнатная квартира на двоих — это, по нормам, не криминал. Да и вообще у нас мелкой литературной сошке вроде меня ничего не дают. Начальники получают, конечно, четырехкомнатные квартиры на Горького, ну так они же, наверно, от партийных органов получают, за верную службу, или я не знаю как. Безвыходное какое-то дело, вот что у меня. А вы?.. Как вы-то проживаете, какие у вас планы?

— Планы... Планов я вообще, как правило, не имею... Вот, не могу никак понять — есть возможность сколько-нибудь еще протянуть, или все исчерпано. Странно, с тех пор, как умерла моя кошка, у меня чувст-

во, что я настолько теперь один... То есть я всегда как будто был один... Это, наверно, трудно понять. Но я даже удивляюсь, как я и до сего-то дня дожил — уже три месяца, как она умерла. Стихов я совершенно не могу писать. То есть нет никакой возможности собрать хоть сколько-нибудь душевных сил хоть на какую-нибудь крупицу надежды. В сущности, ведь люди живы только надеждой. Подлинная реальность — это только гибель. А то, что отвлекает от гибели — изымает из, — это и есть жизнь: деньги, события частной биографии, даже самые мелкие, путешествия, душевный подъем, связанный с любовью... И люди, коль уж они рождены на свет божий, стремятся к этим отвлечениям любой ценой, идут на подлог и убийство. В сущности, это ведь одно, все одно — чтобы отвлечься. Когда у тебя нет на это денег, с гибелью остаешься один на один постоянно, еще задолго до того, как она наступает — ничего не отвлекает от нее... Единственное, что противостоит ей в полной мере — это творчество, пока на него хватает сил. Я совершенно расклеился...

— Я тоже. Иду-иду по улице, и вдруг шатает. Пришла в медпункт, говорю, померьте мне давление, сидит девка, треплется по телефону — ноль внимания. Кое-как, не глядя, завязала эту штуку на руке, сняла, говорит — идите. Как то есть идите? Так что там? Ну что я могу сделать, говорит, давление низкое, девяносто на шестьдесят, вот вас и шатает. Пойдите в буфет, выпейте кофе. Представляете? Сплю только со снотворными. Уже до самых сильных дошла — вон таблетки стоят. А то месяц вообще не спала. Пошла к врачихе, она меня измотала, пока выписала. Это ужас, наше медицинское

обслуживание. Легче умереть. Ой, чайник, наверно, вскипел.

Вероника выбежала на кухню. К чему он клонит, гнида бесхребетная? Стихов он не может писать... Так при чем тут я? И кому нужны его паршивые стихи? Даже если б они были гениальные — чем кому вообще помогли стихи? Или он пришел еще денег из меня выкачать? А вдруг они и правда у него гениальные? Ну, пусть не гениальные — но что-то действительно стоящее? В журнале ничего стоящего за одиннадцать лет она не видела — ни из того, что печатают, ни из того, что не печатают. Только одного автора ей было по-настоящему жалко, когда она предложила его рассказ, а его не взяли. Сибирский парень, так хорошо все за жизнь, смачно, безо всяких прикрас. Ну да он пробьется. А остальных она даже не помнила. Бывает что-то хорошее в рукописях. Местами. Кусками. Но чтобы в целом пришла по почте вещь, Чехов какой-нибудь — такого не было. Так же, наверно, и со стихами. Впрочем, в стихах она не разбирается. Как он ей сейчас ни к чему, этот кретин Петр, как ей не до него! Ей бы что-нибудь успеть написать из последних сил, какие-нибудь деньги — ей пора думать о пенсии, о преклонных годах: они не за горами... Что же ей делать? И что ему, собственно, надо, чего ему не может, чем она ему там помешала — может, он надумал жениться, мозгляк трухлявый?

— Петр, пошли пить чай, — позвала Вероника и безрадостно ожидала его появления на кухне, доставая из настенного подвешного шкафчика, конечно, хозяйского, сухари и варенье. — У меня ничего особенного нет, — повернулась она к нему. Он был так же узок и субти-

лен, как раньше, но тем не менее как-то оплыл: точно припухший ивовый прут. Лицо его — узкое, удлинённое, иконописное, с большими светло-карими глазами, красивое можно сказать лицо, но какое-то отталкивающее — было теперь словно бы заспанным под подушкой, отечным. Наверно, все от болезни. Диабетик — это не шутка, это, может быть, похлеще почек. И как при этом быть нищим? Несчастливая мать, видимо, тянет всю жизнь этого дармоеда. Выкидыш ее мог бы стать таким же оболтусом. Вероника едва удержалась, чтобы не заплакать. Господи, до чего погубленная у нее жизнь!

— Котлеты есть. Покупные. Но вы же, наверно, их не будете? С капустой.

— Нет, само собой разумеется. А вот капустку...

В дверь позвонили. Звонок был очень необычный — не говоря о том, что к Веронике сюда вообще почти никто не приходил. Тихий, еле слышный дверной звонок издал громогласный, настойчивый, дребезжащий звук. У Вероники запрыгало сердце. Она подождала — может, Петр подойдет к двери. Но он и не подумал подняться из-за стола.

Вероника подошла и решительным движением открыла дверь, не спрашивая, кто там — бесполезно спрашивать, все равно не разберешь ничего, и будет еще страшней, беспокойней.

Перед дверью стоял незнакомый мужик и улыбался. Новенькая темно-синяя куртка с капюшоном на черной подкладке из искусственного меха оттеняла веселую, сочную свежесть его румяного лица, лукавый беспечный блеск вишенных глаз. Был он не то еврей, не то молдаванин, не то интеллигентный человек, не то по-

донок. Силуэт его в общем был очень изящен. Веронике стало жутко от его вида.

— А ну-ка, парень, иди сюда, — поманил он пальцем Петра, хотя был явно его моложе. И как будто качнулся. То есть не то чтобы качнулся, но как-то стало видно, что он навеселе. — Поговорить надо. Мне нужна Таня. Таня из метростроя. Знаешь такую?

— Нет, простите, — сказал Петр, не доходя до двери.

— Да иди, не бойся, — весело продолжал манить мужик, отстраняя от двери Веронику. — Я не трону. Только точно скажи: знаешь или нет? Таня из метростроя. Где-то в этих домах. Я из лагеря. Рецидивист. Мне очень важно. Очень важно. Ты меня понял?

— Мы здесь недавно живем, всего полгода, — сказала Вероника. — Мы никого не знаем. Это кооперативный дом.

— Кооперативный. Может, и в кооперативном. А ты кто? — снова обратился он к Петру. — Ну вообще, кто ты есть? Не пойму что-то.

— Какая разница, — растерянно промямлил Петр. — Ну, физик. Физик.

— Да не бойся ты. Дай пять. Скажи мне, если что. Никто не тронет. А то хамы есть хамы.

— Через порог не годится, — сказал Петр и вышел за дверь. Вероника даже зажмурилась.

— Вот это ты молодец. Ну, бывай. Только смотри — я к тебе с одним вопросом пришел, и очень важным: мне нужна Таня. Ты мне точно сказал?

— Да, точно, даже не сомневайтесь. Мы не знаем. Так что ничем не можем помочь. До свиданья, — Петр

во второй раз пожал ему руку и, ступив назад, в прихожую, закрыл дверь.

Они с Вероникой вернулись в кухню. Вероника сидела, глядя перед собой ничего не видящими глазами. Петр подлил себе горячего чаю из чайника.

— Вы испугались? — спросил он.

— Еще бы.

— Ну что ж вы думаете, он на каждом шагу трупы за собой оставляет? Да и вряд ли это правда — пьяные шуточки. Но чего-то ему, конечно, нужно. Может, выпить, может, компанию. Трудно изгою. Как в этих домах найти Таню без адреса? Сейчас это уже невозможно, я думаю. Меня могло бы спасти только одно — если б я женился.

— А есть ли ему где ночевать?

— Кто ж его знает. Вы же не спросили.

— Да я хотела спросить, но потом представила себе — как я останусь с ним в квартире, я не смогу... Я не засну, умру от страха...

— Не переживайте, видно, он у кого-то уже сидит — и выпил, и отмыт. Видели, какой чистый?

— Да, сияет, точно новенький пятак. Одет с иголки. Даже нарядный. Тани вот ему не хватает. Теперь на работу его никуда не возьмут, и сядет он на шею этой Тане.

— Деньги добыть для него, наверно, не проблема.

— Наверно. Да и вообще, наверно, вряд ли он способен, как люди. Это же все с каким-то внутренним вывихом связано, надо полагать.

— Надо полагать. Как и у вас, наверно. Значит, вы хотите меня выписать.

— Ну, я не имел в виду ничего такого определенно-го.

— А невеста-то у вас уже есть?

— Нет, я... Просто думаю, как мне быть... Я скорее пришел так, поговорить.

— Понятно, — Вероника нахмурилась и накрыла заварной чайник бабой в стеганой юбке. — Я подам на развод в самое ближайшее время.

— А что же вы будете делать? — тихо спросил Петр.

— Посмотрим. Поглядим. Увидим, — Вероника встала, приложила пальцы к вискам. — Ужасно голова болит. Это все как-то... Слишком.

— Но я не имел в виду... Я просто хотел... Понимаете. И вообще. Что мне делать. Я даже не знал. Может, у вас все уладилось. Зачем же вам за квартиру платить? Так дорого...

Вероника засмеялась нервным, деланным смехом.

— Кошку же вашу бесценную я все равно не заменю, Петр. Лучше я подам на развод. Обещаю вам.

— Ну ла-адно. Тогда я пойду.

Он встал и направился в прихожую. Вероника выжидательно прислонилась к стене и следила за его движениями. Ботинки у него текли, свитер десятилетней давности, который она помнила еще более сносным, был замурзан до предела, протерся на рукавах и до прозрачности истончился. Да и шерстяным-то он не был, так, тряпка какая-то. От жалости и отвращения ей хотелось плакать, но еще больше хотелось поскорее заглотнуть таблетку и отключиться, заснуть. Она еле дож-

далась, пока он обмотает вокруг шеи свой полосатый дырявый шарф и натянет рыжую облезлую шапку.

Заперев за ним, она вошла в комнату и увидела на столе старую растрепанную книгу без переплета, без титульного листа, без первых нескольких страниц. Видимо, это про нее что-то мямлил Петр. Надо было отдать ему ее к чертовой матери. Лаврин, хозяин квартиры, даже бы и не хватился, наверно. Скорее всего, он, так же, как и она, и не знает, что это такое, раз он свалил ее в кучу со всякой ерундой. Все, что ему было нужно, он перевез с собой. Даже телевизор забрал, и Веронике пришлось купить себе по дешевке в комиссионке и полки эти, и стол, и диван. Это был невероятный расход. Она почти голодом сидела два месяца.

Вероника подошла к столу взять таблетки. Пузырька со снотворным на месте не было.

Она обыскала всю квартиру. Потом вспомнила, что видела их, упоминала о них... И еще этот тип — рецидивист... Но он же так и не зашел в квартиру! Или она уже сходит у ума, и он зашел? Может быть, этот кретин, Петр?.. Она набрала номер его телефона. Никто не отвечал. Он еще не доехал до дому. Как же она заснет сегодня? Где-то у нее есть тазепам, старые таблетки, которые на нее уже не действовали. Но может сейчас, когда она от них отвыкла, она заснет? А если он и через час не возьмет трубку? Она даже не знала номера телефона его матери. Ни фамилии, ни адреса ее не знала. Неужели придется завтра самой ехать к нему? Вот скотина!

Можно, наверно, сказать, что визит носил дружественный характер, но это была совсем не радость от то-

го, что она его видит, а скорее подспудное желание ни на чем не заостряться, исключить его, Петра, из поля зрения, оставить все как есть. Он никогда никому не был нужен, кроме своей кошки. Так его устроила природа. Все люди чем-нибудь друг другу полезны, на этом держатся их житейские связи. А он не мог, не смог никому быть полезным, вот и не прижился. Какие-то силы отталкивания действовали между ним и людьми.

Лифт насквозь провоняли собаки. Он уже и не помнил о своих стихах, они были давно, далеко, неясно темнели где-то на дне памяти; они были уже не его. А кроме них, у него и вообще ничего не происходило в жизни. Зачем же все это было? Такие томления, такие надежды, такое отчаяние?

Петр остановился, снял шапку, развязал на ней тесемки и опустил уши — мороз набирал силу. Он любил замерзать, приходить домой и отогреться. И сразу хотелось что-нибудь написать. А люди не хотели ни о чем таком знать. Не желали знать. Впрочем, все равно он всех виноватее. Все умеет — готовит, шьет, вяжет, такая сильная, и на что она надеется? Почему-то всем всегда хочется, чтобы он поскорее ушел. И ему поскорее всегда хотелось уйти — сначала, в начале жизни, потом хотелось не приходить вовсе, и он лет десять не приходил, а теперь уже никуда не денешься, все сложилось в судьбу, и он чувствует ее указательный перст, то бишь хвост: единственная точка касания, все остальное — океан жизни. Абсолютная несвязанность частиц. Его кожа, шарф, шапка даже не оmyваются уже — не примерзнешь. Он неожиданно остановился и долго глядел, не зная, почему. Потом понял: напротив милиции это

висело. Фотографии угрозыска. Он узнал его. Хотя сто-процентной уверенности не было — он там не улыбался, был черно-белый, ксероксный, тусклый и ординарный, не такой сочный, без сумасшедшинки в глазах. Особо опасный преступник. Его разыскивала Крымская область. Значит, все, шансов у него практически не было. У него не было ходу. И к тому же, значит, они уже знали, что он где-то здесь. Это поразительно. То, что они знали. А он — знает ли он, что у них висит? Буквально в конце квартала. Когда ты замерзаешь, и ничего теплее у тебя нет. В конце концов абсолютно каждый имеет возможность делать, что положено, и иметь, что положено. Не там, так здесь. Где родился, там и сидеть. К восьми утра идти и что-нибудь делать. Все равно, что. Чего ему было надо? Особо опасный — это ради чего? Какая страсть? К чему стремление? Я безнадежно глуп. Есть вещи, которые запредельны. Самые тонкие извивы воображения не проникают. Как моя мама, наверно, никогда не могла себе представить, зачем и почему все так. Зачем и почему. Он ведь мог и убить ее — Веронику. Человек, у которого нет уже надежды спастись, — ему, наверно, все равно. Зачем? — кто знает, зачем этот звук, эта дрожь, этот лязг зубовый, я-то думал... — а она? Наверно, тоже — думала, что... Ведь что-то же она там писала, и я не знаю, и мне не интересно, что — даже тяжело думать о том, что могла такого необходимого миру написать Вероника...

— Вот это ты молодец... Дай пять... Ну, не бойся... Я к тебе с одним вопросом пришел.

Конечно, она некрасивая — откуда ей быть красивой? И уже даже не милая, не задорная, как была де-

сять лет назад — а испуганная и затравленная, замерзшая. И уже не говорит все время «я, я, я», как раньше. И все-таки у нее еще есть надежда, видимо, еще есть — она надеется написать роман, может быть, и напишет — чего-то же она там жила. А я и не жил. Я бродил, пока были силы, по городу. И почти ничего не хотел. Нет, хотел, конечно — только это было очень давно, и всего было нельзя, невозможно, запрещено, недоступно... То нельзя, то нельзя — и ничего в результате не надо. Вот и все последние мысли. Больше и нет никаких. А ведь были. Но я их уже не помню.

Он вышел на Новокузнецкой и спустился к реке. Было темно, очень холодно, почти пусто. Река имела полынью, видимо, в нее сбрасывались теплые нечистоты. Он постоял. Опять замерз — после того, как отогрелся в метро. Он ничего не стоил в своих глазах. Это было так. Это было единственное объяснение. Ошибка природы. Он отошел от парапета и огляделся. По лестнице на мост ему не подняться — на это уже нет сил. Он покружил около обнесенной забором стройки — все было забито. Темно, забито, безлюдно. В грязи и копоты арлекинил бесплодно рекламный щиток — одиноко — театрального музея. Почему? Очень непонятно было. Цветовое пятно на грязном занозном заборе, не весело. Дырок нет.

Он знал еще одно место. По улице Осипенко к нему пошел. Где мог т о т найти бы людей, которые взяли в дом, дали кровать, кормили — ведь хода у него нет, никуда: из лагеря он сбежал. (Тонкий был расчет — сказать: из лагеря, рецидивист. И чтоб напугать, и чтоб по-

жалели. Одно из двух. Амбивалентный стиль.) И вот нашел же. Нашел ли?

Петр знал одно такое место. Там, за другим мостом. Т о м у оно бы мало чем помогло. День-два — не больше. Потом все равно найдут. Вытащат. Кому-нибудь влетит. Наверно, не сильно. Гуманное общество. С работы выгонят — найдет другую. Найдет лучше. Больше будет, на чем наживаться. Летом даже травы здесь нет. Даже кузнечиков. Мрачная улица. Тридцатых годов сильный дух, аж-аж-аж. Даже в окнах все то же: неправдоподобно. Только что стекла газетой не завешены, и ржавая сельдь на крашеном голубом кухонном столе — грубосбитом, самоделковом — не свисает хвостом вниз с бумаги. Но коммуналка глядит изо всех окон корбюзьевского покроя не мигая, радиоточки на стенах навешены, аж-аж-аж.

Коврик над кроватью, напротив — письменный столик конторский, жалкий: люстры хрустальные, шестисотрублевые тоже в окнах висят: с моста все видно. Непонятная жизнь. За чем-то погоня, человек человеку не нужен, нужен только сам себе — а человек в человеке нуждается. С моста все видно: дом уходит под мост, там внизу парадная дверь чуть не в парапет упирается, отворяясь. Петр всегда любил смотреть, когда в нее кто-то входит. Там, внизу — большой город тридцатых годов, закоулки, каменные трущобы, не до конца опущенный занавес, что-то берлинское. Вот, идет — положительный молодой человек, несидент, в руке авоська, после работы допоздна учился, или возвращается со второй смены, случайно купленная куртка с переплатой: импортная, из шарфа пар валит. Дверь открывает, бо-

ком ее обходит — протиснулся. Тридцать тысяч квартирный маклер берет с грузина, устраивая ему здесь четырехкомнатную квартиру, расселив коммуналки по окраинам. Вознесенский и Евтушенко — по твердой государственной цене: это пилотаж высший.

Может быть, тот был сначала что-то в этом роде: шиковал на юге, плутовал весело, и смех застыл безумной маской вокруг мерцающих черных глаз без раскаяния — как понять, что все это было, как раскаяться? Этот звук, эта дрожь, этот лязг зубовой... Коготок увяз — всей птичке пропасть; опасный преступник — это тот, что убивает, если ему нужно от тебя избавиться, тут же, на месте, не растягивая удовольствие. У природы не может быть промашек — она бесконечна и неуязвима. Для человека может быть только один закон — человек: природа позаботилась о нем слепо, как мать, наплевав, что рождает на муки.

Ног он больше не чувствовал. Слава Богу, они были уже за гранью страдания. Черная улица, черный мост, черный Балчуг, черный силуэт высотного дома с освещенными окнами на набережной — давили на плечи, город давно перестал быть домом, его домом, по крайней мере, он много лет рвал струны мыслей и отвернулся наконец от него. Случайный товарищ не переступает за одну черту, другой — за другую, возлюбленная — за третью, последнюю. Как-то так получилась, что Вероника сыграла три роли сразу. В один вечер. Чисто случайно.

Забили парадную дверь. Но не беда! — с черного хода легче влазить в кухонное окно.

Он спустился на тротуар и обошел черный дом с забитой парадной дверью, приготовленный на снос. Там, в этом доме, у него была припрятана свечка и коробка спичек. Но пожалуй, из осторожности ее не стоит сегодня зажигать. Да и на что глядеть-то? Чай, не праздник.

ПОДРУГИ

Очень две взрослые девушки сидели у Водоёма,¹⁵ предъявленного природе большим-большим ковшом экскаватора и полного до краев сточными водами, в том числе и с небес. Одуванчики блестели и даже благоухали сиротливыми кустиками в торжествующем глиноземе. Одна из девушек имела на плечах красивую гарусную шаль, казалось что голубую, другая задумчиво расправляла складки случайно красивого платья, которое, впрочем, очень ей подходило, подчеркивая загар.

— Интересно, почему мы так несчастливы? — вырвалось наконец у девушки в шали, когда стало невыносимо.

— Потому что ты уродка, — откликнулась загорелая девушка.

— Может быть и да. А ты вот — разве счастлива?

— Я борюсь.

— А откуда силы?

— Я не уродка, и Бог мне их дает.

— Значит, ты надеешься стать..?

¹⁵ Аллюзия: картина Борисова-Мусатова «Водоём»

— Я надеюсь достигнуть. Потому что у меня есть ребенок, и мой инстинкт материнства заставляет меня сражаться. За прокорм.

— А что же можно сделать?

— Ничего, — ответила загорелая девушка, раскладывая карты: пасьянс о любви. — Ничего, потому что это врожденное уродство, и ты неисправима.

— Не лучше ли кончить со всем этим? — сказала девушка в шали и встала.

— Самый большой грех. Самый большой грех. Или такой же, — неодобрительно откликнулась загорелая девушка.

— Так что же делать?

— Надо жить и бороться.

— За что?

— За прокорм.

— А силы откуда?

— От Бога.

Девушка в шали отвернулась и пошла к закату, все больше и больше лиловея вдали.

РИТА

Так что же такое любовь? Намучившись как следует, я перестала доверять этому слову, заподозрив тут какой-то лексический подвох. Как же — выбирают себе объект так называемой любви, много лет тщательно шаря вокруг себя глазами, оценивают его ноги, руки, улыбку, профиль (почитайте литературу, послушайте своих знакомых), приходят к выводу, что он или красив, или добр, или умен, или обещает особые удовольствия

— и решают его присвоить себе, чтобы на него любоваться ежедневно, а не от случая к случаю, чтобы его доброту всю сосредоточить на себе, чтобы все, что можно от него заполучить — прикарманить, да к тому же еще чтобы объект этой самой любви на него стирал, гладил, готовил ему есть, нянчился с его потомством, обязательно сохраняя, заметьте, все свои исходные качества, высоко котируясь в обществе, хотя бы в ближайшем окружении — и это они называют любовью! Страсть захватчика, готового идти по трупам, — вот что это такое, по-моему. Неумная алчба жизни, мясная добыча — вот что такое, по мне, эта ваша любовь, рассуждала я.

Но почему же все-таки, задумывалась я, мы понимаем это слово как-то иначе, извлекая его из словаря в первоизданном буквенном виде? Почему же мы ждем от этого слова чего-то совершенно иного — верности друг другу и мировому добру, преданной поддержки в трудную минуту, жалости, понимания, защиты... Ждем от этого слова всего, в чем нуждаемся, всего того же, чего ждем от Бога, — посему для нас Бог и Любовь — синонимы. Это наш идеал. Но как же так у нас нет другого слова — для обозначения реальности, этого грубого эгоистического захвата человека, как вещи, пока она свежа и чего-то стоит, с тем, чтоб потом от нее избавиться любой ценой, когда она испортилась и не оправдывает больше надежд? Мол, любил — разлюбил, и все тут. А Любовь, мол, — она-то никуда не подевалась из мира, она просто перешла на другой объект, но осталась так же высока, стройна и прекрасна! Да неужели же осталась, помилуйте? И теплится вашей вот этой ал-

чбой и страстью, что поистине «сильнее смерти», как вы любите выражаться, поскольку смерть перед ней — просто ничто, вы убиваете своих возлюбленных походя, не приостановившись ни на миг... А сколько вы готовы укокошить ради своих вождений? Вы идете войнами народ на народ, чтобы захватить все, что вам приглянулось, и в первую очередь женщин... Вы совершаете революции, чтобы отобрать и осквернить женщин, которые не доставались вам раньше. Фрейд утверждает даже, что все великие ваши достижения и открытия, все прекрасные произведения искусства, такие добрые и отзывчивые на страдания, движимы стремлением выдвинуть себя перед очи лучших женщин мира, дабы они наткнулись на вас, на ваше имя большими буквами, шаря вокруг себя глазами. И в этом что-то есть, что-то узнается такое от мясорубки жизни.

Я оторвала глаза от платиновой брошки в стилистике art nouveau, мерцавшей на неосвещенной витрине закрытой антикварной лавочки фрау Линдеман. Цикадный велосипедный треск завораживает меня. Каждый день я сажусь у фонтана на маленькой теплой площади у магазина Вулворта и слушаю этот цикадный треск, наполняющий райский воздух неметчины тотчас после окончания рабочего дня, когда сотня, а то и две людей приходят сюда одновременно, забирают свои велосипеды, ожидавшие их без всякой охраны, и уезжают между липами прогулочного кольца, Променаде, вдоль которого цветут своими геранями и азиями красивые двухэтажные особнячки и бегают от кустика к кусту городские кролики. Я сижу долго, любясь фасадом прелестного городка, слушая, точно Евангелие вечной

жизни в этом красивом телесном облике, теплый цикадный треск, особенно засматриваясь на свежих, румяных старух в розовых курточках и на велосипедах. Зачем я здесь? Эта постоянная боль, которую я испытываю на протяжении жизни, складывается из всего — из России, из патологической тоски по прекрасному, из чувства одиночества и понимания того, что нам никто не может помочь, разве что мы сами откроем и изобретем что-то такое в себе, какие-то возможности души, которые сделают нас существенно другими; но как? и что? — о, это вроде бы как-то и представляется, и витает мимолетно в сознании и чувствах, но никак не ухватывается в реальном общежитии.

Воздух тускнеет, и я отправляюсь домой, к Катрин.

Вот например мой травник, Евгений Васильевич. Он слыл альтруистом. Собирал травы на Кавказе, в Средней Азии, в Архангельской области, делал из них снадобья и снабжал больных. Денег не просил, а если пациенты настаивали, брал неохотно и виновато. Жил в Люберцах, в однокомнатной квартире с лоджией, как засыхающий луг — вся она переполнена была снопами заготовленных на зиму лекарственных растений. Он посвятил свою жизнь людям, их счастью. Много лет не мог получить патента, учился в медицинском училище, когда ему было за пятьдесят, помогала ему в деле жизни девушка-студентка, из того самого училища, увлеченная его идеей добра и запахом чабреца. Ей было восемнадцать лет, когда они познакомились, она вышла за него замуж и осталась таким образом в Москве — в Люберцах, в его взъерошенной от беспорядка и бумаг однокомнатной квартире. Помогала лечить. Жили они бед-

но, но тышчонку — точнее, тысячу двести рублей — она у него сперла, бежав через пять лет с наркоманом-рокером. Последним ли его снадобьем было то, каким он принес себе избавление от ужаса жизни, или он приготовил его заранее — только все те, кто восхищался его бескорыстием, терпением и величием души, давно уже и не вспоминают о нем.

С Катрин я познакомилась в Москве. Она сидела в буфете Пушкинского музея, пила кофе с вафлями, а мне показалось, что это Рита. Когда-то, лет двадцать назад, у меня была подруга, точнее сказать, приятельница — Рита. Изумительное существо. Мы обе были молодые специалистки на ящике под Свердловском. Потом я вышла замуж и перевелась под Москву, а Рита осталась там, в Нске. По здравом размышлении я пришла к выводу, что сейчас Рита вряд ли может быть похожа на Катрин. Но когда я увидела Катрин в буфете Пушкинского музея, я кинулась к ней: вполоборота ко мне сидела худенькая женщина моих лет, с прямыми черными волосами, рассыпающимися по плечам, в неброском темном платье — вылитая Рита, очень притягательный облик. Я разлетелась и села прямо перед ней на пустой стул, и смотрю на нее, и говорю:

— Рита! — и медленно ее как бы узнаю: серьезный взгляд, настрадавшийся, конечно, мы ведь давно не виделись; длинненький ровный нос, форма абсолютно не изменилась, впалые ноздри; кожа испеклась, обветрилась — что же тут поделаешь! — но изящество осанки, незаметная благородная красота — те же, теряющиеся в быдловатой советской толпе. — Рита!

Катрин посмотрела на меня очень внимательно, улыбнулась и медленно проговорила тихим своим, еле слышным голосом — пока не выпьет:

— Я Катрин. Я не Рита. Но это ничего, правда?

Я смутилась, и если бы она сказала что-нибудь другое, наверняка бы, страшно стесняясь, извинялась минут пять и потом целый день у меня был бы неприятный осадок из-за моей оплошной, неуместной развязности, одиночества и невезения в жизни.

Она посещала нашу страну в качестве бизнес-вумен, налаживая деловые контакты. Она и тогда была не первый раз в Москве и прилично говорила по-русски, да и сейчас продолжает ездить. А я продолжаю отождествлять ее внутренне с Ритой. Вообще-то с человеком, задевшим твой внутренний мир так сильно, как меня Рита, в сущности, никогда не расстаетесь, но как далеки от сущности бывают узоры внешне-бытийного существования! Живи Рита в Москве, мы бы с нею наверняка не расстались до конца жизни, это был бы образец старинной, устоявшейся связи, овеянной традициями, связи, в которой нет высшего и низшего, выигравшего и проигравшего отношения, пользующегося один другим: потребительства. Хотя мнения Риты по любому вопросу для меня всегда были поразительны, они меня ошеломяли, она на все смотрела из области соображений, в какую мне не доводилось наведываться — до знакомства с Ритой: реального видения действительности, недоступного мне. До знакомства с Ритой, а это произошло в двадцать два года, мои представления о действительности питались в основном невесть откуда взявшимися нормами, как оно должно быть на свете,

чтобы то можно было воспринимать как благо, и почитать благом, и уважать, как должное быть. Не знаю, каким образом, но лет с пяти-шести я уже, казалось, знала про все на свете, как оно должно быть, и все м е с т н ы е выпады и незадачи действительности воспринимала в штыки, с мучительной болью и возмущением от несоответствия так хорошо ведомым мне нормам. Ведь соответствовать, казалось, было всего проще!

Рита видела мир таким, каков он н а с а м о м д е л е, и принимала его таким с насмешкой и презрением, не участвуя в этой так хорошо ведомой ей, но неприемлемой действительности.

Вот почему, мне кажется, в конце концов вышло так, что я уехала, а она осталась в дыре Приуралья с некогда изумительным лесом и прозрачными весенними ручейками, ежегодно прочищающими душу, если есть хоть какая-то психологическая, эмоциональная основа для существования там. Например, хотя бы, семья, дети. Не говоря уже о доме. Не говоря уже о деле жизни. У меня не было никакой.

Но после знакомства с Ритой реальность стала ходуном ходить перед моим внутренним взором. Я потеряла всякие ориентиры и точки отсчета. Ведь раньше за реальность я принимала незнамо кем запущенные в мое духовное существо н о р м ы, а все остальное, кроме них, считала ошибкой и заблуждением. Теперь же я поняла, что, видимо, н о р м а т и в н о й действительности и вовсе не существует в природе, но для меня оставалось загадкой — а что же существует, как оно есть на самом деле? Один и тот же предмет, человек, событие то представляли передо мной, подернутые розовым,

голубым, сиреневым флером, то вдруг завеса страшно вздымалась и клубились пепелища, я винила себя в слепоте и безумии, но никогда не могла понять — а что же было на самом деле?

Эта платиновая брошка, говорит Рита, то сеть Катрин говорит, лежит здесь, на витрине в лавочке у ее матери уже лет десять, и никто ее не покупает. Это настоящая, дорогая, красивая вещь. Только сейчас остыли к art nouveau. Нужны модерн и бижутерия. Но ведь art nouveau был когда-то модерном. А теперь это старина, старинная вещь с грациозными изгибами, каких в наши дни и сделать не умеют вручную. Если бы у меня водились деньги, я бы безусловно ее приобрела. Я люблю ходить по выставкам и воображать, какую из картин я бы купила, водись у меня деньги. Но и без денег я моментально ее присваиваю. Так я сразу отличаю живое от неживого. Если картина говорит, навевает что-то свое, что в нее вкладывалось, — это и есть великое искусство. Но сейчас это совсем редко бывает. Я имею в виду современную живопись, говорит Катрин.

Когда-то давно, когда я жила в общежитии под Свердловском, мой дядя, проректор военной академии в Питере, утрясавший в Париже вопросы взаимодействия в области космоса, ни с того, ни с сего прислал мне посылку. Я, не подумав, принесла ее с почты и поставила на стол посреди комнаты, как делала всегда, когда получала что-нибудь от мамы: колбаса, варенье, обсыпанный сахарной пудрой хворост радостно доставались из ящика и становились всеобщим достоянием. Из парижской посылки я извлекла нейлоновую шубу моднейшего западного образца и вечернее платье с блестя-

ками. Боже мой, зачем я это сделала! Мне и сейчас больно вспоминать эти минуты — одни из самых черных в жизни души, хотя минуло почти тридцать лет. Эту тоскливую зависть на бледненьких, неухоженных лицах моих сестер — ведь нам внушают, и религия, и государство, и мировая культура, что все мы сестры, тем более девушки одной национальности, живущие в одной комнате общежития какого-то забитого в приуральскую дыру номерного исследовательского института особой важности, задача которого неукоснительно обеспечивать научно-технический престиж нашей великой родины... Страдание, которое я испытала при виде этих обескровленных авитаминозом лиц, было настолько ярким, настолько неизгладимым, что я — ведь до тех пор самым лучшим в жизни была моя любимая куртка из черной брезентухи, сшитая Ритой, — я раз и навсегда излечилась от соблазна с р а ж а т ь н а п о в а л о к р у ж а ю щ и х, этого мучительного женского соблазна. Я так никогда и не надела ни эту шубу — точнее было бы назвать ее мантию, ни этого платья: н е н а д о д о с т а в л я т ь с т р а д а н и й о к р у ж а ю щ и м, дала я себе зарок, а только радость, стараться повышать настроение. Надо быть красивыми, сказала я себе, изнутри, путем самых скромных средств.

Такова Катрин, хотя ее мама, фрау Линдеман, по нашим меркам очень богата, эта ее антикварная лавочка — просто одна из ее игрушек, хобби. Основной капитал работает в электронной промышленности и приносит хороший, стабильный доход. Она владелица трех городских домов прекрасной архитектуры начала века, в одном из которых живет Катрин и в витрине лежит

приглянувшаяся мне брошка, домов все в той же стилистике модерна начала века, нежной комфортабельной незащищенности перед эрой стали, бетона и психологических упрощений. Да и сама Катрин прочно стоит на ногах в бизнесе, хотя и относится пренебрежительно к тому роду деятельности, который приносит ей доход, и ностальгическая тяга к поэзии, за которой она давно перестала следить — «еще на первых курсах колледжа! Наверно, там много нового в мире написали, а я совершенно не могу сориентироваться, как ни посмотрю иногда, случайно — все не нравится, по-моему, ерунда какая-то, как ты считаешь?» — эта ностальгическая тяга к поэзии, уже не существующей, может быть, в мире, но которую видит своим внутренним взором Катрин, считая, что она где-то все же есть вне пределов досягаемости, — ее очень одухотворяет.

И глядя на улицах, в метро, в присутственных местах на мужчин — не особенно шаря вокруг себя глазами, а так, исподволь — я иногда также встречаю великолепные экземпляры, хочется плакать от благодарности к природе за то, что она способна создавать такие образы: «да он к тому же еще и добрый!» — но крайне редко. Может быть, раз в несколько лет.

Их не удастся присвоить. Они уходят к другим, самым разнообразным. К украшенным ли бриллиантами или совсем неприметным, со скрытой энергией верхней или нижней чакры, к записным красоткам или к таким же великолепным экземплярам, внутренней красотой которых отсвечивают их тихие лики — не знаю. Я всегда остаюсь одна.

Я брожу по этой планете и вглядываюсь в лица уже столько лет, что кажется, пора бы понять — мы все одинаковые, у нас одно общее несчастье, с которым не сравнится ничто: все мы смертны. А все ждешь от кого-то помощи, поддержки и божеской доброты. Ну не смешно ли?

Мое внимание привлекает еле различимое движение тени в глубине магазинчика. Это мать Катрин, фрау Линдеман. Она наблюдала за мной, а теперь приблизилась к витрине и отодвинула прозрачную гардину. Я молча кланяюсь ей и улыбаюсь. У меня вдруг такое чувство, что я совсем не случайно попал в этот город, и обязательно буду здесь еще. Она тоже улыбается и машет мне рукой. Я улавливаю кроткое, настороженное любопытство в ее взгляде. Может быть, это связано с тем, что она еще помнит войну. Ее друг, не отец Катрин, а другой — погиб во Франции.

У Катрин с матерью отношения далеко не безоблачные. Но слава Богу, есть сестра Катрин, у которой жизнь сложилась получше — нормальный муж, приветливый и симпатичный, маленький ребенок — радость и утешение фрау Линдеман. Она охотно помогает возиться с ним, заваливает игрушками. Сама фрау Линдеман живет в другом своем доме, недалеко отсюда, а здесь ухаживает за садиком, наведывается в лавочку и возится с малышом. Квартира Катрин помещается на первом этаже, как раз за лавкой.

У нее все очень просто. Хотя вещи и дорогие. Холостяцкая квартира. Пусто, кругом разбросаны бумаги... Это в большой комнате, где она работает. Мне больше нравится ее спальня.

Я усаживаюсь на черный кожаный диван, сдвигая разбросанные по нему журналы. Ставлю цветы в стеклянную вазочку, стоящую на столике перед диваном. Как-то стало сразу живее. Даже окна у нее не зашторены какой-нибудь уютной тряпкой, как принято у нас, а прямо поверх стекол затянуты какой-то мятой парашютopodobной дрянью. Модно и дорого. Но холодно, холодно... Пусто.

Пусто в ее жизни. Даже на компьютере налет скуки и тоски при полном отсутствии пыли. У немцев вообще отсутствует пыль. На стене висит календарь с видом Коломенского. Приятно! Но я знаю, что это значит еще, кроме симпатии к России вообще... Катрин несчастлива. Она так же, как и я, живет с постоянной болью и тревогой в душе. Ей страшно не везет. Отношения с мужчинами она проигрывает постоянно. Роковая женщина, называю я ее насмешливо. Роковая для себя.

Свист чайника благостен, как церковные колокола: живое существо, друг жизни. Катрин в черном спортивном костюме, как всегда, растеряна, уже пьет. Потягивает сухонькое со льдом через соломинку. Она считает, что завязала с наркотиками, но она ведь в душе наркоманка. Впрочем, как многие, многие, многие из нас... А с этим ничего не поделаешь.

— Знаешь, почему я так завариваю чай? — говорит Катрин. — Алик так любит, смесь разных сортов. Каждый раз, когда я завариваю чай, думаю, будто для него. Как ты думаешь, в меня разве можно так влюбиться, чтобы полгода не видеть и не забыть? Сомневаюсь.

Что тут сказать? Это плохо, что сомневается. Было бы еще хуже, если бы не сомневалась. За окнами у нее

прекрасные два платана колышут листьями, но окна затянуты этой матовой мятой пленкой, и на улице темно. Даже если бы мы пошли гулять на озеро в прекрасную солнечную погоду, там было бы одиноко, грустно и пусто. У меня сердце разрывается от Катрин. Когда она проезжает по улице на своем новеньком «шевроле» и рядом с ней на пустом сиденье букетик фиалок. Или когда сидит вот так, обняв узенькое, дохленькое колено и смотрит в меня огромными своими черными тревожными глазами с разрезом чуть ли не до ушей. Душа моя колышется, как листья платана. Когда она сидит за компьютером и работает, или договаривается с кем-нибудь по телефону о делах, это еще туда-сюда. Это еще выносимо. И даже как-то обнадеживает. Хотя я и знаю, что ее не очень-то увлекает вся эта так называемая работа и прибыли. Лишь бы чем-нибудь занять жизнь. Доктор Катрин Кибелла. Устраивает художественные выставки, благотворительные концерты, собирает вещи и игрушки для африканских детей. Финансирует жилое строительство у нас в Туве. Во всем этом она участвует быстро, споро, как бы между прочим. А тревога и боль длительны, растянуты навсегда, уходят в перспективу бесконечным коридором, в конце которого мучительная одинокая смерть. Она часто говорит об этом. Говорит, с западными людьми было бы просто неприлично делиться такими вещами, открывать душу. А с тобой можно. Русские о душе знают все. Говорит, ее мама даже не подозревает, что у нее на самом деле на сердце. Как будто моя мама подозревает. Да и вообще, зачем это нужно, чтобы кто-нибудь подозревал, что там у нас на сердце? И кто только выдумал, что это кому-нибудь

нужно. Может быть, как раз так вот и нормально, как у западных людей? Игрушки для африканских детей, «не покупайте винограда из ЮАР!», «поможем Горби освободить Россию от коммунистов!» — разве это не проявление того, что на сердце? Это ли не вера, надежда, любовь? Это ли не поэзия? Но почему же ком-то всю жизнь стоит в горле?

— Это такая красивая любовь, — говорит Катрин. — У меня никогда не было такой красивой любви... Мужественность, сила меня не привлекают. Я не люблю мускулы. А ты?

— Терпеть не могу. Меня от них тошнит.

Я люблюсь чашками. Белый с синим рисунком Веджвудский сервиз. Ее прошлая любовь. Она отняла у нее восемь лет жизни. Ну, может быть, не отняла — з а н я л а. Восемь лет о т в л е к а л а ее от... от... экзистенциальной тоски, что ли. Если бы это было как-то не так, думаю я едко, они бы остались вместе, наверно. До смерти кого-то первого из них, когда кто-то опять же остался бы один, и уже безнадежно. Ирландия, говорит Катрин, самая красивая страна в мире. С самолета такой зеленый кудряш в океане. С веснушками пляжей и расчищенных для жизни мест. По перламутровой просквоженной солнцем туманности Ирландии можно тосковать всю жизнь, как по золотым в вечерней лазури куполам России. Хотя в сущности, все заменяемо. Но порой ничего из этого не получается. Серенький устричный прибор навсегда может ассоциироваться с одним-единственным человеком. Разве это постижимо?

А это разве постижимо — что вот было, а теперь прошло. Пьет спокойно чай из Веджвудских чашек.

Она, конечно же, выпила надлежащую дозу снотворного после того как Мелл позвонил и сказал, что им больше нельзя встречаться, потому что он ждет ребенка и женится. Что возьмешь с наркоманки? Чуть что — таблетки: не может заснуть — таблетки, тяжело на душе — транквилизатор, трудно вынести похмелье, любовное похмелье в том числе — таблетки. У них все продается! Мать двери взломала.

Мне бы такие чашки... Ничего бы не изменилось в моей жизни, это уж точно. Никак не могу объяснить себе, почему что-то вдруг проникает в душу теплым миражом счастья и всеобщего благоденствия. Какая-то просто вещь. Чашка с блюдцем. В гамаке под вязом. Все качается перед моими глазами. Этот человек, что сидит спиной ко мне в плетеном кресле, склонившись над своими записками, какой-то красивый старик. Он прожил такую долгую жизнь. Он же должен знать. Но нет, он ни черта не знает. Я никогда его не видела. Но временами я его бесконечно любила. Ездила с ним по берегам Ганга где он лечил и лечил — с утра до вечера делал серьезнейшие операции мокрый от пота в удущье мрачной пропитанной орхидейным чадом ночи нирваны никто ни черта только он один древняя цивилизация говорил он мне с придыханием тайны высших форм существования. Мы — только грубая материя, наш европейский ум — простые деревянные счеты, даже если они стали электронными и проделывают миллион операций в секунду. Это не меняет нашей духовной сущности... Н а ш а д у х о в н а я с у щ н о с т ь... Сотни политических убийств в год к себе привязала бомбу кто-то издали взорвал продала свою почку что-

бы вылезти из нищеты эти операции по трансплантации органов могут пока делать только американские и израильские врачи я умираю в этой жаре я не выдерживаю служения человечеству не могу быть хорошей женой потому что в тот именно момент я мыслями очень далеко и прежде надо войти в мои мысли, а потом уж из них почувствовать и увидеть как можно убедить меня стать вот сейчас хорошей женой надо помочь мне... жить. Как же я могу помочь кому-то, если мне самой нужна помощь!

Но я не говорю обо всем этом Катрин. Во-первых, все эти мысли никак не разложишь во времени: на то уйдет часа два, и все равно все останется сказанным как-то не так и не о том, а во вторых... меня саму, честно говоря, захватывает ее красивая любовь. Я еще не видела этого типа, но что-то меня настораживает, хотя я и не могу понять, что. Может быть, это просто осадок от потока жизни на дне моей души, и он тут вовсе ни при чем. Я видела не одну красивую любовь на своем веку. Вот ведь в чем дело.

Замкнутый склеп ее пустынной комнаты сплющивает душу в черного какого-то полураздавленного паука. Воля к солнцу и зеленой травке некогда подвигала меня на далекие одинокие скитания по лесам — я не понимаю теперь, откуда бралась у меня отвага. Однажды я испугалась лося, неожиданно набежавшего на меня в чаще с мрачным, зловещим шумом, и больше я не могу ходить в лес одна. Это почти невозможно объяснить. Никакие преодоления мне не под силу.

На съемках у своего мужа, когда он делал фильм, я сидела тихо и жила тем, что происходит в павильоне.

Мне и в голову не приходило, что моя жизнь могла бы проходить где-то в другом месте и по-другому. Я была абсолютно довольна всем, что у меня было. Но все равно меня поедом ела экзистенциальная тоска — тоска существования, это тревожное переживание тока времени, переползающего через тебя. Мужу, очень чувствительному молодому человеку, как и я, рожденному под мучительным знаком Рака, было тяжело выносить мою лунную ауру. Мне так и не удалось ему объяснить, что я нуждаюсь в снисхождении. Моя печаль вызывала у него чувство подавленности. Или, может быть, даже некой безличной ревности, что ли.

Вообще, ничего нельзя п о н я т ь. То есть, можно понять, но это ничего не изменит. Сережа был молчалив, он был кинооператор и не доверял слову. Мало с кем на свете я разговаривала что называется по душам так незначительно, как с ним. Идеалом фильма Сережа считал фильм почти без слов. И ему удалось сделать такой фильм с тремя-четырьмя фразами, который я очень любила. Настроения там была бездна.

Арсик же, игравший главную роль (почти без слов), как раз разглагольствовал, когда я его увидела впервые. То есть что значит, увидела впервые. Он был знаменит, я его видела в фильмах и восхищалась им так же, как и все. Так что правильнее сказать, это он меня увидел впервые. Но почему, почему, з а ч е м он обратил на меня внимание. У него все было. Вернее, у него и без меня было все не слава Богу. Он метался. Он всегда хотел совершенно не того, чем обладал. Его не устраивало амплуа обаятельного мальчика-живчика, в котором его все так любили. Его душу раздирали совсем иные тер-

зания, очень далекие от возбуждения успеха и ухватчивости, царивших вокруг — в кино, в театре.

Я помраченье смерти пью впервые
Из рук твоих в ознобе листопада...¹⁶

Я знала, что он женат. И мне это было не все равно. Не говоря уже о том, что я не мыслила себе жизнь без Сережи. Да и к тому же я помраченье смерти выпила уже давно из совсем других рук. Мне нужен был только Сережа. Такой как Сережа. Мы сидели все вместе в уютном таллинском кафе, вернее, они сидели, съемочная группа — режиссер, оператор, оба помрежа, актеры — куча народу, человек десять, а я только что вернулась с космодрома, из командировки, в которой просидела три месяца, не вылезая с испытательного комплекса, вечерами после работы купаясь в темноводном нестеровском озере на краю поселка. С собою у меня была книжка Рильке, Дуинские Элегии, и лежа на теплом песке в чаше долгого пурпурного вечера, окруженного черным лесом, я плакала, бесконечно вопрошая свои глубины и застывшую в вечном покое небесную твердь: зачем, зачем, зачем... Зачем же тогда, если нужно срок бытия провести как лавр... Зачем, избегая судьбы, тосковать по судьбе... Ведь не ради же счастья... Предвкушения раннего близкой утраты... Зачем я здесь... Зачем мы люди... Зачем мы нужны Тебе... Чего Ты хочешь от нас. Никогда я не была так близко от Него, как там, на Севере, в окружении нестеровского покоя. И Он мне ничего не сказал. Кроме Него и Озера, я видела перед

¹⁶ Вольное переложение стихотворения Георга Тракля *Melancholie*

собой только выложенную среди высоких темных елей бетонку — по дороге на работу и с работы.

Они же сидели здесь в уютном таллинском кафе среди готики, среди красивых пропорций, где гений жизни создал все условия, чтобы время приятно протекало через тебя, и ты не думал о нем, а сравнивал между собою сорта пива.

Я прилетела на три дня — отгулов набралось неисчислимо, но в Москве были дела.

Арсик разглагольствовал о том, какую бы он поставил картину, если бы был режиссером. Меня это поразило. Его и так все обожали, а вот поди ж ты, оказывается, и ему чего-то не хватает. Поддай ему быть режиссером. Но картину он хотел поставить хорошую. И я внимательно слушала, увлекаясь его картиной, мечтала, как ее снимет Сережа со своим любимым иррациональным изображением — белое на белом.

Все, что происходит в постели, так бесцветно по сравнению с тем, что происходит в душе. Все примерно одинаковы, примерно одинаковые ощущения, ну, острее, ну, тусклее, некоторые женщины почти теряют сознание в момент оргазма... У некоторых это возможно даже с нелюбимым, случайным, постель бывает самоцелью и образом жизни... Все это так. Но как отвратительно чувствовать себя механическим инструментом бездушного эгоистического наслаждения. Невыносимое ощущение. Очевидно, сама природа постаралась сделать его невыносимым, одним из мучительнейших, тактильным страданием, пыткой, от которой умирают или сходят с ума. Все-таки странно, что именно влечению к близости, которая сама по себе скоро становится почти

излишней в супружеских отношениях, особенно после того, как детей уже народилось предостаточно, именно влечению к близости мы обязаны самыми значительными, главными душевными переживаниями человеческой жизни. Именно главными, наиболее ранящими, неизгладимыми.

Состав компании менялся на протяжении трех дней. Освобождались поздно. Ехали в Пирита, купались в море часов уже в девять, в десять вечера. Я чувствовала, что внимание Арсика напряжено. Внутренняя моя драма с Сережей перерастала в нарыв. Когда мы расставались впервые после того, как поженились — он уезжал на два месяца на съемки, а я оставалась дома — мне казалось, что я не переживу и дня разлуки. Когда же я все-таки как-то прожила эти два месяца — во мне состоялось разделение на меня и на него — я поняла, что каждый умирает в одиночку, один грустит, другой радуется интересной поездке, что в сущности, Сережа — это глубоко иное «я», так изменился, обветрился, пах степью и потом, что трудно было внушить себе, будто все-таки это он, тот же, мой муж, которого я очень сильно люблю. Очень сильно. У нас случалось и такое, что утром он возвращался с двухмесячных съемок, а вечером я уезжала в командировку.

Но я не хотела никого другого, я не собиралась менять мужчину, я не желала приносить боль другой женщине — его жене. Я всегда презирала женщин, которые не считаются с этим. Я мечтала о том, что мы с Сережей как-то пойдем друг друга, окончательно сблизимся, договоримся, и у нас все наладится. Я считала нас идеальной парой.

Уже в Москве я сидела у нас в Лермонтовском скверике, на скамейке поблизости от коненковского «Сезонника» с неизменным голубем на голове и чувствовала, как всегда в свободные от работы и чтения минуты, боль от протекания времени по моим жилам, пустоту и отдаленность от меня окружающего мира, стараясь последовать мысленно и привязаться хоть к одной из проезжающих мимо машин — и ничего не получалось: такси и рафики отталкивали матом, разноцветные «волги», «фиаты» и «москвичи» не могли снести бремени моей непрактичности. И только Скорая соединилась с моей болью дружественной, горячей и острой связью, как раз тогда, когда я увидела у самой скамейки подходящего ко мне Арсика.

Синие тени. Темный омут взгляда,
следящего, когда иду я мимо.
Вслед осени звучит неотразимо
гитары мягкий звон в аллеях сада.
Я помраченье смерти пью впервые
из рук твоих в ознобе листопада,
и солнечная юность в чаше яда
уж омочила кудри золотые.*

Когда обыкновенный флирт, коему подвержено все человечество без всяких вычетов, приобретает такие острые формы, это ненормально, наверно. Наверно, мы душевнобольные. Просто душевнобольные, и больше ничего.

Он никогда не был здесь раньше, ему никуда не надо было, он не знал, почему он здесь оказался. И уж

тем более не подозревал, что мы с Сережей здесь рядом жили.

Он устал от тупости окружения. От полного непонимания. От разности потенциалов.

Но я же не могла дать ему фильм, не могла заместить все то богатство изнеможений, от которого тряслась, как в вагоне, его душа. Я даже не могла ему дать нормальной полной любви, потому что я сама бесконечно нуждалась. Я была старше его и понимала, что наша боль неисцелима. Тем более в постели.

Катрин улыбалась и смотрела на меня длинными задымленными едким костром не востребованной страсти глазами. Ее пергаментное тревожное лицо тяжело клонилось вперед, ее присутствие было прекрасно, чай испарял аромат добросердечия. Наконец-то я догадалась: ее скорее всего можно было принять за француженку. Я сказала ей об этом. Она засмеялась:

— Ну да, мой отец был наполовину француз! У меня бабушка француженка, конечно!

Бедная фрау Линдеман, сколько же она должна была размышлять, чтобы понять хоть что-нибудь — той европейской ночью, когда ее муж-француз и муж-немец попеременно то стреляли друг в друга, то производили на свет вместе с нею этих никому не нужных девочек. Правда, про младшую сестру Катрин этого не скажешь — она уцепилась за кромку вечности своим светловолосым малышом. Или думает, что уцепилась.

— Русские любят задавать вопросы, на которые нет и не может быть ответа, — говорит Катрин.

— Мы же исторически недоразвитые, — откликаюсь я. — Молодая нация.

— Ну что ты! Не в том дело. Разве Достоевский может быть у недоразвитой нации? Это так огромно!

— Очень даже может быть, — пожимаю я плечами. Дался им этот Достоевский

— как будто своей истерики не хватает. Собственной безумной тревогой, например, Катрин. — Мало тебе себя? Своей собственной безумной тревогой?

— Но понимаешь, она у меня непонятна. Я не знаю, отчего она и что конкретно меня тревожит. А он... А он... Как раз говорит о тех проблемах, из-за которых мы все страдаем... Все человечество!

Да неужто же как раз о тех! Я удивленно рассматриваю Катрин. Мне мнится, она вполне могла бы быть счастлива, найдись в свое время, в молодости хоть сколько-нибудь неглупый человек, хоть с каким-нибудь наполнением и полюби ее верной любовью. Чтобы кроме основной работы, приносящей доход, они могли бы собирать картины, путешествовать, издавать на какой-нибудь небольшой процент своего дохода каких-нибудь молодых поэтов, которых отбирала бы для этой цели Катрин по конкурсу — это все по ней. Просто удивительно, что не попалось ей такого человека, хотя она и исколесила пол Европы и теперь вот принялась за Советский Союз. Если исходить из Фрейда, люди и путешествуют только затем, чтобы расширить сферу поиска пары. Вот я уже третью неделю сижу здесь, в этом крошечном Эдеме, и даже не представляю себе, чтобы мне могла найтись здесь п а р а! Немцы милейшие люди, исключительные мужья, какие нам, русским, и не снились... Господи, смешно представить себе, чтобы вообще могла найтись п а р а. Это же, если я правильно по-

нимаю Платона, е д и н с т в н н а я душа во всей многомиллионной земной популяции, да еще рассеянная в историческом времени! В детстве я была убеждена, что моя п а р а строго вот в платоническом смысле — это Лермонтов, и никто другой. Мне казалось знаменательным, что Сережа родился в день гибели Лермонтова, а Арсик... Словом, отзвук Лермонтова таинственно был включен в перипетии моих чувств. В молодости, конечно. Все это возможно только в молодости — все эти погони за ветром.

Катрин не любит есть. В ее огромном двухкамерном холодильнике нет порой ничего, кроме вина и коки.

— Тебя надо подкормить, — виновато говорит она и заказывает по телефону пиццу, которая вечно остается несъеденной.

Я захожу в супермаркет напротив ее дома и разглядываю там — для общего развития, — какие на свете бывают фрукты, сыры, булочки и печенья: не покупайте виноград из ЮАР! Поможем Горби освободить Россию...

Боже мой, как больно было сидеть с ним виз-а-ви за столиком в кафе на Чистых Прудах, где мы имели обыкновение сталкиваться — случайно, конечно, ведь мы не могли же назначать свидания, это было бы свинством по отношению к Тане, его жене, и Сереже. Встретиться мы раньше, может быть, из нас и получилась бы единокровная, единодуховная пара, способная защитить цветок наших лучших стремлений от мерзости, в которой мы задохнулись. Но теперь надо было защищать всех четверых. Среди нас не было виноватых. Просто нам всем было очень тяжело.

Человек сам выбирает себя, говорит Сартр. Каждую минуту. Раньше это называлось по-другому, сделкой с дьяволом, но все равно речь шла о том же. На самом деле действительно все дозволено. Человек до ужаса свободен. Волен даже уничтожить Землю и себе подобных. Всех до единого. Религия безнадежно устарела. Мелл решил, что отношения с Катрин бесперспективны, и был по-своему прав. Наверно, его друзья поддакивали ему в этом. Решил, что создавать — с о з и д а т ь — ребенка и дом нужно с другой. С рыжей, а не с брюнеткой. Гром его не поразил. Небеса не разверзлись. Катрин имела полную возможность утихомириться и выйти из игры. Это была ее свобода выбора.

Мы с Арсиком выбрали бесплодно мучиться до самого того момента, как я включила однажды радио на работе — совершенно случайно, я ведь не слушаю радио и не читаю газет, возможно, настолько же случайно, насколько приехала в Таллин, потом вышла в Лермонтовский скверик, настолько же случайно, насколько однажды поднялась на второй этаж в кафе на Чистых Прудах, оказалась в Савелово по грибному делу, в своих шатаниях по лесам, когда он оказался там на съемках... Включила радио и услышала, что он разбился в машине по дороге из Ленинграда в Москву. Я только что приехала из Байконура, где пробыла три месяца, пришла на работу, включила радио — и сразу это услышала... Мы не могли иначе. Не умели срывать цветы удовольствий. Ни одного цветка. Только безнадежные записи в дневниках. В его дневниках. Я никогда не вела дневник. Все это невыразимо. Даже в кино. Даже совсем без речи. Без диалога.

— В Москве тебя бы ужасно любили, — сказала я Катрин вскоре после того, как познакомилась с ней.

— Посмотрим, — загадочно улыбнулась она.

А я имела в виду, что она была бы прекрасной подругой нам, бедным москвичкам, оглохшим от хамства.

Я раскладываю карты. Я не умею гадать, но верю в гаданье. Верю в Промысел. Верю в космические закономерности бытия, которых мы не знаем. Чувствую, что человек воспринимает сущее слишком поверхностно — лишь в плоскости своих эмоций. Ему как бы и не дано ничего иного. Его вожделения неизменно оказываются сильнее его разума. Он страдает от этого, и обожествляет то их, признавая счастье целью человеческой жизни, то свой жалкий и бессильный разум, не замечая, что и он направлен на то же — на достижение некоего счастья, удовлетворения вожделений. И с этой ложно понятой целью человечество носится со времен Возрождения. Одно из опаснейших заблуждений, по-моему.

Трефовый король на пороге со своим свиданием: телефонный звонок. Международный. Наверно, трефовый король.

— Алик! — Катрин смеется и не может сказать ни слова. — Алик! Ну скажи, когда же ты приедешь? Я очень жду... Все нормально... Спасибо, но все нормально... Понимаешь, нормально-но. Это значит, ужасно скучно. Все о'кей. Как положено у нас тут...

Мне очень интересно знать, что этот бедолага Алик сможет внести н е н о р м а л ь н о г о в высоком понимании Катрин в ее жизнь. В течение целых трех недель. Насколько я знаю, он заведует магазином. «Очень молодой», с опаской говорит Катрин. Из Махачкалы, но

живет в Москве. Лимитчик, наверно. Или беженец. Боже, как колеблется реальность — точно листья чинары, раздуваемые ветром, с танцующими на них пятнами света.

Видела я эту Махачкалу. В юности, когда играла в теннис и ездила на соревнования. Однажды весной, весной жизни это называется, на весенних школьных каникулах нас повезли именно в Махачкалу. Я ничего о ней не думала заранее, тем более о любви не думала, вернее, о любви очень много думала в то время, но не о любви в Махачкале. В Махачкале мне требовалось за чем-то у всех выиграть — на зональных соревнованиях, чтобы поехать в Калининград, бывший Кенигсберг, и там тоже у всех выиграть, чтобы потом поехать на первенство Союза в Ригу, где я не могла выиграть у всех по определению, а могла только претерпеть в конце, ближе к финалам, позор и унижение, чтобы потом, в следующем году, начать все сначала. Боже мой, почему я была всем этим так захвачена, на какой метле меня несло каждое утро на тренировку чуть свет не заря, почему я с ума сходила при мысли о том, что мне не выиграть Уимблдон, сколько я ни тренируйся? Тут именно и виделся выход на Бога, ощущалась Его бестрепетная рука — всем дано, и притом по-разному. Не только способности, но и характер, то есть способность пользоваться своими способностями. А раз отдельному человеку, значит, и человечеству — что-то дано, а чего-то — не дано. Ну и всякие такие детские мысли. Очень мучили. И не только в связи с теннисом, конечно. Мысли мучают всегда. Нет разве?

Но кроме мучения мысли было ведь кое-что еще, вероятно, безвозвратное.

Улочки шли вниз и вверх, вниз и вверх, неожиданно — вот что еще было. Каменистые улочки, узкие, невиданные домики — сакли — каскадом сходили с неба, Богом данны е в этой диковинной местности. Поезд пришел вечером, смеркалось, синело по-весеннему, будто все залито было морем, и только странно было, как это мы дышим, будто амфибии, и еще странно было, что на улицах совсем нет людей. Потом, ближе к центру, к гостинице, куда нам было надо, люди появились, и я была как громом поражена их появлением, не знаю, как другие. Они выглядели так жалостно, так ничтожно, одетые в какие-то вылинявшие старомодные плащи, повязанные яркими линиями платками, сгорбленные, с выморщенными, грубо изъеденными солнцем лицами, без красоты рук и ног, к которой я привыкла на стадионе. Не знаю, родился ли уже тогда у одной из этих обмотанных бичующими взгляд платками убогих женщин маленький Али, или он появился позже, когда кавказские женщины выучились ездить в Москву за импортными детскими комбинезончиками по любой цене, но только немудрено, что ему захотелось податься куда подальше из этой самой Махачкалы.

Какие там были гиацинтовые закаты, какое море, какой одинокий, пустой причал и утробно орущие чайки, машущие белопенными крыльями прямо у твоего лба, ломая в тебе створы между тобой и небом, с которого они срывались, и унося куда-то вдаль старограммофоново: В опаловом и лунном Сингапуре, в бую, когда под ветром ломится банан... Вы брови темно-

синие нахмурия... Впрочем, песням Вертинского нас обучала наша тренер, прямо с физкультурных парадов на Красной Площади сошедшая загорелая женщина с веслом, то бишь с ракеткой, вся в белом. И сколько видел глаз — пустой песчаный пляж, изрытый ямками... Ну что я там стою, что я там делаю у этого причала ниоткуда и никуда, совершенно одна, залитая синим вечерующим морем, зачем я здесь?

Женщина плакала так страшно, что меня подташнивало и выворачивало наизнанку. Ее крашенные серо-бурые волосы стояли дыбом, а лицо напоминало синяк. Вокруг были разбросаны вещи, игрушки, грязные тарелки, детский комбинезончик... С тем же успехом помещала в себе эта пятнадцатиметровая комнатуха в коммуналке импортный двухкассетник, видеомагнитофон, стенку — к тому же с дорогим многопредметным сервизом за стеклом.

— всю мою жизнь поломал, сволочь, — рыдала женщина. — Получил, что ему надо, и дальше пошел, а я хоть сдохни теперь. Если бы я только знала, если бы я только знала, что он окажется гадом, разве бы я стала его прописывать? Погуляла бы в свое удовольствие, аборт сделала, и жила бы дальше... Ну вот скажите мне, ну вот только скажите, почему такие сволочи мужики, а мы, женщины, почему такие дуры? Ну почему вот я не могу бросить своего ребенка и умотать с каким-нибудь иностранцем в какую-нибудь за границу, а он может, ну почему, почему у них все это получается, и никто их не остановит? Неужели она не подумала о том, что у него жена, ребенок, ну скажите, она же ваша подруга...

Вот такую я сделала глупость, пришла сюда к ней... Но кто же знал? Кто мог предполагать, что здесь происходит? Я просто позвонила по телефону, который мне дала Катрин, передать привет, и невеселый женский голос у меня спросил:

— А вы кто?

Я и сказала сдуру:

— Подруга его знакомой.

— Приезжайте, — сказала женщина. — Он скоро придет.

Приходить он вообще не собирался, судя по всему, зато она рассказала мне всю историю — как он был, действительно, симпатичным лимитчиком, и таким хорошим, как ухаживал за ней, как русские мужики не умеют — пороху не хватает, как она его прописала, как последняя дура, в своей пятнадцатиметровке, а теперь, вот, он уже в ФРГ намылился. Она же все понимает, так ведь просто не ездят туда каждые полгода.

— Да и она сюда приезжала, я знаю. Он думает, я ничего не знаю, а я все знаю. Я его посадить могу, это же все не на зарплату, как вы думаете... А теперь ему всего здесь мало, Москвы, прописки, машины, теперь ему ФРГ подавай... И кто только их остановит, хотела бы я знать!

И главное, мне было совершенно нечего ей сказать. Я была просто в ужасе. Ну что же тут поделаешь? Ведь любовь же! Которая превышает всего и сильнее смерти.

СНЫ

Как только остаешься одна, в тишине, в кроткой тишине, не заполненной злобой дня, — сразу же начинается совсем другая реальность: шевелящаяся листва, пятна золотого света, струение ветра и музыка птиц.

И есть еще третья реальность: сны.

Люди, которые живут одним измерением, одной только злобой дня, — плоски, уродливы.

НЕСТАРЫЙ ДОМ

посвящается Айни-Мерике

Наступила зима, заголосили краны, слесари — оба — с утра уже были в дугу, мыши точили подпол угрюмого, закопченного, хотя и совсем не старого — тридцатилетнего всего — дома. С неба то и дело начинал срываться снежок из тяжелой низкой тучи, а во сне мне явилась маленькая, сухонькая старушка — совершенно неожиданно она оказалась здесь, на стуле, и улыбалась, ожидая моего взгляда.

Я помню совсем старый дом, семнадцатого века — в Таллине, на Вышгороде, на улице Тоомкооли. Там скрипели от ветра фрамуги, точно корабельные снасти, был захолаживающий намертво туалет в сенях, печи, встроенные в стены между комнатами; они к утру прогорали давно и остывали, и выстуживался дом, квартира до морозца, делалась ровно как и туалет вся. Но все ж таки не был он, тот дом, таким угрюмым, как этот,

вылазить по утрам из-под отогретого одеяла было страшновато и весело, в окна добродушно скатывались на тебя черепичные крыши, одна над другою, важно торжествовала Домская церковь со своей внушительной цифирью на башенке со шпилем, и все подстрекало к немедленному действию, движению. Там как будто и воздух был другой, и солнце по утрам — все было светлее, миниатюрнее, веселее.

Что же делала в моем сне старушка? Она пришла будто бы по квартирному обмену, посмотреть квартиру, аккуратно повязана была чистым клетчатым платочком, все ее морщинки улыбались мне и подмигивали, она ходила по комнатам, заглядывая везде, и везде, куда она заглядывала, выяснялось, к моему изумлению, нечто радостное и не замеченное мною доселе в моем угнетающем жилище: солнечный пол зеленел фиалковой плантацией, чуть наклоненной, будто склон холма, в окна смеялось чистое небо — небесное, не забитое ничем городским и огорчительным, и кухня выходила отдельным, никогда мною не замечаемым крыльцом на маленькую выложенную кирпичиками площадку, которая только и ожидала, казалось, быть обсаженной цветами. Показывая старушке все эти зеленые и солнечные владения, я начала сомневаться, стоит ли расставаться с ними, такими пригожими, и старушка улыбалась лукаво, лучилась всеми своими морщинками и немо покачивала головой.

Вечером вчера и ночью особенно жестоко душила нас литейка напротив нашего дома.

Пришла ли старушка поведать мне, сколь изувечена наша земная жизнь, — или подать какую-то светлую надежду?

Но на что надеяться, скажем, мне — я уже ни до чего не доживу.

А что ждет вас, мои дорогие, — тех, кому я стану являться во сне?

ОСЕННИЙ ВЕТЕР

Каким же нужно было быть дураком, чтобы не видеть, не замечать всего этого: новых книжек, появившихся в его отсутствие, шкурок от бананов за диваном, бутылок от шампанского. Вернее, все-то он замечал, но не придавал этому значения. Ну подумаешь, ну подарили — она так и говорила, когда он спрашивал:

— Откуда?

— Подарили.

Ну, подарили, ну, были, ну, пили — мало ли кого здесь только не бывало на этом Люсином чердаке. Могло быть и шампанское. Могли быть и бананы. Все могло быть. Люсю знали. О ней говорили. Ее имя называли. В определенном кругу. Может быть, чересчур узком. Отчего она и страдала, старательно скрывая это.

Он лежал на второй полке «Красной стрелы», по дороге домой, из Москвы в Ленинград, и думал, что у него, в сущности, ничего в жизни не удалось, ничего нет, кроме Люси. В этот день ему объявили, что статью передвигают из шестого номера в более поздний, потому что Главный посмотрел и сказал — сейчас не тот момент. Надо подождать. Из «Гудка» выкинули очерк о

Транссибе, просто небольшой очерк о состоянии железных дорог, в конце которого он приводил данные по Японии и их разработки на ближайшие десятилетия. Так кому нужнее надежно работающий, хорошо отлаженный связующий цех — нам с нашими просторами, или маленькой Японии? — сначала сняли этот детский риторический вопросик в конце материала, за банальность которого ему было стыдно, потом и весь материал. Начальник Пресс-центра сообщил ему, что он на последнем месте по выходу в свет в подразделении и что только из уважения к Витольду Марковичу и в ожидании выхода большой проблемной статьи он оставляет пока вопрос о нем открытым. Пора было делать вывод о том, что публицистика — не путь. По крайней мере, для него. То, что кажется ему необходимым и важным, оказывается всем по фигу. Ему нужны были эти две публикации, ему нужен был оппонент, который бы увидел мучащие его внутренние противоречия: вот ты, сказал бы он ему, в одной статье ратуешь против индустриализации как крупнейшего из антагонистов природных, космических сил, которые определили нам однуединственную и незаменимую атмосферу, строго определенный ресурс ископаемых, оказавшиеся на грани уничтожения земные воды — а в другой требуешь скоростных японского образца магистралей для Сибири. Где логика? Он бы хотел встретиться с таким оппонентом. Поговорить с ним, потолковать по душам. Ему самому многое не ясно. Он скорее верует, чем знает. Гессе, например, Герман Гессе — просто призывает уйти в еще не тронутые природные пространства, его идеал Индия, он не думает о том, что сама-то Индия хочет и

будет развиваться как раз по западному образцу и еще наживет себе все те же болячки, плюс к своим собственным. А что делать-то Индии? — детидохнут как мухи, слабое, неэнергичное, беззащитное племя. Продолжительность жизни, с учетом детской смертности, как у неандертальцев. Все дело в духовных основаниях цивилизации, считает Гессе. В нравственном императиве, типе культуры. Тут он согласен с Германом Гессе. Только он не думает, что Индия — это так вот уже и найденный, и обретенный идеал. Эта культура тоже порочна, она бездейственна. Бог не терпит пассивности. Он не вменял это человеку в норму, иначе аборигены Африки, Австралии и островов Фиджи были бы безмерно счастливы, по крайней мере, безмятежны, но этого нет. Везде идет развитие, и примерно одного и того же толка и направления, только с разной скоростью. Продукты западной цивилизации нравятся всем, не нравится тип ее, нравственная и культурная основа. В общем, тут надо думать и думать, и очень хотелось бы поговорить, обменяться статьями. По этому вопросу весьма уместна и своевременна широкая, мировая дискуссия. И она идет исподволь в мире, но для западных политиков, которым, в общем-то открыты глаза их учеными и философами, в отличие от наших, в каждый данный момент времени всегда важнее что-нибудь другое: то предвыборная кампания, то участие в военной акции на каком-нибудь далеком побережье, то внутренние проблемы... И — это-то всегда неотложно — все новые виды вооружения. Вот какой это тип цивилизации. По делам их узнаешь их. Все это им сказал, бросил в лицо один человек — поэт Томас-Стернс Элиот, они даже Нобелевскую

премию ему дали, и на том успокоились. Разве это не книжники, разве не фарисеи?

У него страшно перегрелись шестеренки, как всегда, когда он доходил до этого пункта в своих размышлениях: как же соединить потребности человека, его естественные, в общем-то, потребности в продлении, облегчении и воодушевлении жизни — с конечными ресурсами планетарной природы. Вред от наук — с их необходимостью. Их праведную, божественную, творческую потенцию очистить от диаволиады алчности, мстительности, ненавистнического императива, движущего в не меньшей, если не в большей степени то, что называется прогрессом. И в этом-то как раз кризис гуманизма, а вовсе не в отказе Камю или Сартра совершать героические поступки во имя человечества, как можно подумать, читая наши советские философские компиляции. Кризис этого типа культуры, кризис этой цивилизации, движимой не столько любовью, сколько отвечавшей прихотям человека, при том прихотям сильного — а не его экономным, разумным потребностям. Отвечавшей на «стремление к счастью» «естественного человека». Это, может быть, и лежит в основе всего недопонимания, непонимания между человеком и Богом — может быть, подчеркиваю я. Но они сразу вскакивают и начинают галдеть, готовые разодрать меня на части. Для них слово «счастье» священо. Дальше уже после этого никогда нельзя сказать ни слова, сколько раз уже это повторялось. Что стремление к счастью — может быть, одна из самых ложных, inferнальных идей. И Богом человек создан — будем пользоваться этой метафорой, пусть, это дела не меняет — вовсе не для сча-

стья. А для служения. Служения Свету. Тому, что пока, как испокон века, назовем на поэтическом библейском наречии Свет — а потом еще надо будет разобраться, что это такое. Свет же и счастье — несовместимы. Или совместимы только в духе, в тех, для кого Свет только и может быть счастьем. Но в земном выражении, в рамках тех ценностей, в каких культивируется произрастание невинного детского организма: конфетки-мороженое, красивая тряпка, в ы д е л я ю щ а я из прочих детей, защитник-папаша, городской голова, или, по крайности, о д и н и з о н ы х — но чтоб НАД. И главная конфетка, конечно, — в области секса. Он не готов сколько-нибудь квалифицированно продолжать рассуждение в этой области. Тогда был не готов, в ту ночь на полке купированного вагона «Красной стрелы», в качестве якобы министерского командированного и довольного, с ч а с т л и в о г о своим опытом любви человека.

Думая по ночам, он впадал, бывало, в необычайную эйфорию. Даже если содержание мыслей, по сути, было довольно мрачным (то есть почти всегда). Ему не приходило в голову будить Люсю, например, или что-нибудь такое — бить посуду, идти куда-то и искать выхода охватившему его возбуждению, но только он мучительно старался понять, к добру ли такое дело. Предположим, это эйфория расширяющегося сознания — ну, положим, человек что-то понял, пусть не хорошее, но хотя бы истинное, и эта эйфория — ЗНАК. А что как пустой, механический накал нервов, никак не связанный с Истинным Светом, вот и вся духовность? И так же накаляется, положим, воодушевляется всякая суеязящаяся

тварь, собирающаяся полмира уничтожить или ребеночка после школы подстеречь с мерзкими целями. И нет просто никакой, ну никакой привязки между тем, что плохо и что хорошо каждой отдельной твари, ее хотьбой, похотью то бишь — и Светом Царствия Небесного, светилами и порядком вращения планет. И источник человеческой энергии один — его желания, независимо, чего. Что, если так? Что тогда? — спрашивал он себя снова и снова. И все тот же имел с в о й ответ в кармане своей души — а тогда тем более «не дозволено», потому что тогда тем более человек отвечает за себя сам, именно за добро свое и зло — и более никто, раз там, наверху, им это не так уж и важно: кто здесь кого и за что, лишь бы имелись и плодились-размножались.

На том и заснул, уже под утро.

Не выносил, когда будил его проводник. Даже когда будила Люся, он долго выходил из заморочки сна, но страшно любил схватить ее за шею, в охапку, и прижать голову к себе, — и так немножко еще поспать.

Он шел по Лиговке пешком и мечтал доспать. На плече болталась холщевая сумка, Люсино изделие, настоящее произведение искусства в хипповом ключе, в сущности, я представитель хиппового мироощущения, мог бы даже быть выразителем, если бы дали, неожиданно подумал он. Потертые штаны из брезентухи и растянутый, болтающийся свитер с крупными ячейками — всё Люся — соответствовали. Утро было более чем свежее. Вожделенно мечталось о кофе — плотски или духовно? — а черт его знает, пожалуй что и не без того и не без другого. Взбираясь на шестой — чердачный —

этаж по черной лестнице, шагал через ступеньки, сладко разминая мускулы ног. Молодость и жизнь сами по себе источники наслаждения, но он вряд ли отдавал себе в этом отчет. В сущности, он не помнил ни одного беспечного утра в своей жизни, что называется, майского. Вот, может, это. Сравнительно, хотя дело и было в последних числах сентября: Опять заря! Осенний ветер влажен, И над землею, за день не согретой, Вздыхает дуб, который был посажен... Как холодно! На горизонте дынном... Георгия Иванова он всего перепечатал себе на машинке, все, что удалось отыскать в Салтыкова-Щедрина и у знакомых. Люсиных, в основном.

Она спала. Лежала по диагонали топчана, подложив руки под подушку. Волосы стянуты сзади резинкой — они ей мешали во сне, а он любил, когда они разметаны по подушке. Щенок, уже здоровая собака, лохматущая помесь, дрых на одеяле у ее ног. Это была его семья, единственное, что его грело в жизни. Остальное все злопыхало и отталкивало. Мне плохо с людьми, которых я не могу любить и уважать, вычитал он в письмах Роберта Шумана. И вот раз в жизни ему повезло, в главном. Не говоря уже о терьере, один вид которого вызывал спазм нежности, жалости и восхищения. Он его безусловно уважал — все его желания были необходимы, законны и справедливы.

Он разделся. Пустил в ванну горячую воду и поставил джезвей на плиту — благо все это было у них рядом, рукой подать — за шторкой. Там же стоял огромный старый шкаф, еще дореволюционный, с их вещами. Сварил кофе и, дрожа от холода, залез в ванну, поставив чашку на широкий ее край, рядом с мыльницей. По-

скорее спрятаться в воду, согреться в ней — и благодарю Тебя, Господи, что такое возможно в студеный осенний день. Это ли не счастье! А вдруг самое лучшее, что может дать эта жизнь, он испытывает сейчас, в эти минуты, и ничего уже больше не будет?

Сколько счастья от этих вещей: старый расхлябанный шкаф, благородно-черный, почернелый даже, и почтенно дряхлый; чашка — чуть надтреснутая с краю, с тонким китайским рисунком: они купили ее за два рубля в комиссионке. Каждая вещь нажита, за всякой — определенные минуты их чудесной истории, нечаянной встречи, нахождения друг друга. Доски, которые он углядел как-то вечером в соседнем проходном дворе, когда часов в двенадцать ночи, закончив очередную писанину, сказал ей: пойдём погуляем! Был маленький морозец, тишь, безветрие, за ними тянулся терьер на поводке, и на свалке этого заднего проходного двора он увидел отличные, работающие доски: стеллаж для книг! — осенило его; он отдал Люсе поводок и перетащил их в два захода, радуясь тому, как он здоров все-таки, хотя давно бросил спорт и не тренирован. Надо было расположить полки в жилище, не утеснив экспозиции графики всей этой честной компании, и Люся определила им место в простенках между окнами. Получилось здорово, книги — лучшее украшение жилья, сказал он, нет, сказала она, — живопись, графика, декор. Ну а книги — это тебе не декор? — Тебе, может, и декор, а как по мне — лишняя пыль в мастерской. Это были чуть ли не крупнейшие разногласия в их жизни. И вдруг она как-то торопливо сказала, когда он увидел, что она просну-

лась, и хотел было прыгнуть с разбега на топчан, наметив для своих колен пустое место рядом с терьером:

— Талик, ты уже приехал? Ты поел? Послушай... Мне надо с тобой поговорить.

В математике это имеет свое выражение — когда функция, имеющая в каждый момент какие-то определенные значения, вдруг уползает круто куда-то ввысь или вниз, и все, с концами. Его мучило это в школе страшно, классе в восьмом, девятом, когда проходили ряды. Его воображение отказывалось ухватить мысль о том, как ряд дискретных величин теряет свою числовую конкретность и становится безраздельной бесконечностью. Существование этой грани, горизонта сознания, различительных способностей человеческого мозга его убивало. Он не мог этого вынести, с этим смириться. Ему хотелось покончить с собой, когда он упирался мысленно в этот горизонт, натыкался на эту грань. Потом как-то смирился, привык... Бесконечность, она же вечность надолго превратилась для него в некий черный ящик, черную дыру, куда все уползает: жизнь, цветущие яблони, любовь, круглые лапы его пса... И вот теперь — Люся. Он еще не знал, что она скажет ему, но чувствовал это уползание графика за пределы грустного пожелтого листа его упорного существования.

Какая разница, что она ему тогда сказала? В словах правды нет.

И все же она ему сказала, наговорила чего-то. С три короба. По-женски бессвязно и нелогично. Но за всем делаемым и говоримым, за всякой чушью и абсурдом ведь что-то стоит изнутри, за каждым словом стоит что-то еще другое, какая-то неведомая правда. Правда ее

чувств, ее истинных стремлений, мотивов ее поступков. Если бы он мог читать эту сорочью вязь, стрекотание, пришепётывание, этот испуг глаз — деланный, деланный ведь же! Потому что отчего же ей его бояться — бессмысленный, бессмысленный испуг; нет, — с н и м — вот что ей по-настоящему страшно! Но об этом — ни полслова, конечно же: ведь общие идеалы добра, общее мировидение имелось в виду, ведь не может же она так вот и выдать себя с головой, что плевала она на эти общие идеалы и общее мировидение, если в дырявых джинсах продолжать ходить, если не увидеть никогда себя — так никогда и не увидеть — в бесподобной шляпе с большими полями, с тенью на пол-лица, с мехом, с забитым несчастным зверем, с терьером — у подбородка! А говорилось-то по-другому, ну конечно же — совершенно другое: о его будто бы недостаточной сексэпильности — это, извольте видеть, разумное, приличное основание, чтобы изломать ему жизнь, предать их великую любовь и то, в чем они нашли друг друга, — и что, уж конечно же, далеко выходит за рамки минутного действия этой самой с е к с э п и л ь н о с т и — гадость слово-то! Сама, как русалка — лунная, по ночам даже седая, с космами своими, распущенными по лопатки, тускло-русыми, бесцветными, паклевыми... Жизель! Врет: ей самой надо работать, как дьяволу, чтобы выразить себя до глубины души, а никакая не сексэпильность — или она работает только для дополнительной сексэпильности? — и все равно тогда врет! Их близость была гармоничной, нечастой, не изматывающей — ровно настолько, чтобы кормить, как говорил блаженный Августин, сосуд духа, телесному чтобы

— потребный ему кусок мяса, а главное — считалось, что — в духе, в чувствах, в родстве понятий об окружающем... Он ведь привык чувствовать и мыслить об ней, как о друге, о соратнике, об острове во враждебном океане с мортирами его семьи, государственных установлений, общественной морали, с западнями учреждений и институций... И только она, одна... А она — с е к с э п и л ь н о с т ь! Ну не глупость ли? Конечно, вранье!

Потом, будто бы он ее подавлял с в о и м и з а д а ч а м и, а ей де надо было думать только о своем. Вот те и зрасьте! Как будто не одна у них з а д а ч а (как, впрочем, и у всех людей на самом деле, но только кто об этом помнит?) — вчувствоваться в два сердца, в две души, мужским и женским естеством, в четыре глаза, в два слуха, в два обоняния — вчувствоваться: в запах луга, в запах гари, в запах каменного мешка, гнойника и раны, боли и трещины, стремления и исполнения — известить и осмыслить! И ведь у них получалось, во всем сходились! Или вранье? Если бы было, разве такое можно было бы разрубить по живому?

Конечно, после восьми лет теплой супружеской жизни может одолеть страсть, такое он готов допустить, даже уважить. Но... Но-но-но-но-но... Нет, опять зацикливалось. Снова уползала куда-то нить рассуждений, за пределы сознания, за пределы чистого и понятного листа бумаги, разлинованного в клеточку, где все — черным по белому. Страсть — это черная сила, черный вихрь, он может затянуть ее в беду и в страдания, и он обязан, он обязан, он обязан... Он обязан, но немощен — против черного вихря страсти.

Вещи он побросал в рюкзак.

Он не думал, что ему делать дальше, пока не вышел на улицу.

Он даже не стал спрашивать, кто это, — не имело значения: она была хозяйкой положения, а он, хоть и обязан, но немощен.

Он чувствовал себя просто дураком.

Он чувствовал все это так, будто нанесен удар не ему лично — он-то ведь непрестанно держит удар всего того, что отвергает, все это несметное паскудство жизни, что наваливается со всех сторон, — но э т о т удар — не по нему, не по телу, не по темени — а по тому как раз, р а д и ч е г о он так живет — живет так, а не иначе... И он еще не знал, что это Витольд! А уже он так чувствовал, что здесь пахнет чем-то таким. Уже какая-то неучетная, нетабулируемая информация сочилась со всех сторон. Нюх — это больше, чем интеллект. Но ведь нюх — зверино, стало быть, в первую голову самосохранять призван? — Она ему говорила, она ведь ему говорила, она его предупреждала: у тебя ослаблен инстинкт самосохранения... А он считал, что это комплимент. Нет, ей не нужен человек с ослабленным инстинктом самосохранения. А другие «инстинкты», другие возможности «человека» — его чувствования, его способы общения с... с... Его душили слезы, горечь, обида. Другая, не заинтересованная в телесной сохранности и выживаемости правда, то есть собственно истина, ее не интересовала. Каждый ищет себе защиты — мужчина в женщине, женщина в мужчине. Ну да, она была его защитой, конечно, — но ей требовалось другое. Это д р у г о е — он чувствовал — можно же взять толь-

ко из подлости, только из наплевательства, хоть огнем гори, к тому, как идет всеобщая жизнь — а выхватывать себе головешку из костра, и дело с концом. Из костра, в котором горит жизнь, страна, история! И они же все это понимают — не дураки же — и выхватывают!

Но он-то думал, что Люся с ним, что Люся — из его воинства, что они с Люсей — уже целая армия, необоримая! А она продала его за шляпу, за бесподобную шляпу с большими полями, с тенью на пол-лица... Шампанское, бананы, ананасы — ей нужна мастерская, мастерская, мастерская, бывало, причитала она, заломив руки, на промерзшем чердаке.

Он дошел до Николаевского вокзала, устроился на лавке в зале ожидания и перевернул рюкзак. Папки с рукописями и материалами, набросками и заготовками положил на самое дно. На них поставил машинку — кошачьих размеров ободранную «элиту», купленную за полтинник в комиссионке. Пакет с невыстиранным бельем. Летние штиблеты, зимняя куртка мехом внутрь, рубашки... Все остальное было на нем. Кое-что имелось у родителей: старые заграничные свитера, костюмы, с отцовского, в основном, плеча, — то что у них называлось «шикарные», галстуки. Люся ни разу не видела его в костюме из черно-синего бостона. Мать считала, в нем он будет жениться. А по его мнению — все они страшно безвкусны, хотя и обвешаны всем «шикарным». После того, как немецкие стильные вещи, которые их безусловно облагораживали, изнасились, и мать, и Саша, особенно Саша, приобрели неряшливый облик людей, хватающих что попало в магазине — это в советском-то магазине! — что подороже. Они обе шили себе что-то в

Люксе, но все это было уродливо, обвешано куницами, отделано норкой, вычурно и безголово. Даже и не заикаясь об этом, он знал, что отец нашел бы его позицию непатриотичной, и так и слышал, как он сказал бы — или Саша сказала бы — а то и оба хором:

— Ну и что толку вышло у них из всех этих тряпок, вон, видели мы, какие они культурные народы — здесь, на нашей земле они себя показали, свой вкус замечательный и свои недюжинные способности, как людей мучить и уничтожать памятники архитектуры. Сало-то, небось, русское жрешь.

Нет, он не мог туда возвращаться — даже не только что из-за сала, а из-за всего, из-за всего.

Теперь там появился Геннадий, у них с Сашей родился младенец — в доме было полно народу. Ему и места там было не предусмотрено.

С Геннадием можно было о чем-то говорить более или менее спокойно — но только, как говорится, за банкой и без Сашиного пригляда. Потому что Геннадий — сын дворничихи, и об этом постоянно все помнили в этой куммунистической семье, и Геннадий сам в первую очередь считал для себя обязательным смотреть в рот всем — и жене, и папаше, и мамаше. А вообще-то он закончил с Сашей на одном курсе, и как доносилось до Виталия, когда он забегал к родителям и заставлял новое Сашино застолье молодых специалистов, был Геннадий заметной толковости парень, со всеми ладил, и всеми тут присутствующими Саша, у каковой отродясь не водилось ни одной подруги или хоть какого-нибудь приятельства, обязана была исключительно своему мужу Геннадию, который и с тещей умел выпить ровно на-

столько, чтобы ее уважить, но и гнева зятя на навлечь, и поддакнуть ему в вопросах политики, и по дому помочь — в том числе и всем своим многочисленным приятелям, и спеть в компании с гитарой в руках собственные свои походно-туристские песни. И уж конечно, он и в партию вступил, и группу под начало ему уже на ящике дали, как, впрочем, и Саше — но вот за полбанкой, особенно с течением времени, по мере сближения с тещей, пить с которой его теперь почти что обязывали в семье ради соблюдения ее меры, — за полбанкой Геннадий цедил порой занимательные вещи:

— А мне, собственно, ничего ведь и не надо на свете. Ко всему этому идейного порядка как-то равнодушен. Мне бы виллу где бнибудь за городом на природе. Да хороший, скоростной Джегуар. Да яхточку. Да удочку. И я преспокойно вкалывал бы себе в ожидании выходных, хоть на кого хошь. Это для меня не принципиально. Ты как считаешь, старик?

В общем, там была теперь сложившаяся семья, и ему, Виталию, места в этом доме не оставалось.

Другая сестра, Ирина, также вышла замуж за это время и нашла свое пролетарское счастье, которому он тоже помочь был не в силах. Муж ее, такой же, как она, геолог-заочник, спевшийся, кстати сказать, поначалу с Геннадием на туристских песнях у костра, погуливал, побивал ее, матерился — а младенцев там было уже двое, в старой бабушкиной комнате с амбирным абажуром начала века, который окончательно истлел и прохудился, да заменить было нечем: комната напрочь провоняла вокзальным запахом нечистых пеленок и махорки. Он давно туда не навевывался: тошнило, осо-

бенно от восторженно-полоумного вида Ирины, бегущей с горшком по комнате в драном, застиранном бумазеевом халатике.

Виталий вытащил из кармана небольшое портмоне — Люсин подарок — и пересчитал деньги. На билет до Москвы и там перебиться до получки могло хватить. Он спрятал рюкзак в автоматической камере хранения и пошел в Русский музей — прощаться.

Он мало что помнит об этом посещении. Не было любимых Люсиных картин начала века, съезжились мирискусники — жизнь убывала, вгонялась обратно в воющие стойла Совдепии после выплеска шестидесятых.

Какой-то крик неистребимый стоял в душе: Богу-отцу Бога-Сына он простить не мог — душа этого не принимала.

Какое все это имело отношение к его любви — он не понимал, но чувствовал, что имело.

Он чувствовал себя не просто обманутым любовником, а — распятым. То есть преданным в лучших своих чувствах и помыслах.

Ему не к кому было пойти в этом городе.

Нахмурился день, пока он бродил по музею. Этому городу скоро грозили ветра. Ему здесь больше не было места.

Вот так вот, как булавочная головка, торчал он на краю Площади Искусств, и от памятник-Пушкина на него накатывал лиственный прибой. Больше он ничего не помнит. График уползал, уползал и уполз за край листа к вечеру, когда он посидел уже в публичке (разумеется, не написав ни строчки, не упомнив, что листал, чем шуршал), перехватил что-то в буфете и пошел обратно

на Николаевский вокзал, дав зачем-то крюка по улице Рубинштейна, так и не поняв, чего он там искал — какого такого ветра в поле. Может быть, ту ночь... Бутербродную.

Его родственниками в этом городе были ночь, Александр Блок и отсутствующий, еще не обамериканившийся в те поры Бродский — так он чувствовал, по крайней мере. Тогда чувствовал. Ему некуда было собирать чемоданы. Некуда было деваться. Нечего ждать.

Ночью подчеркнуто стучали под ним колеса, стыки рельсов мозолили одну-единственную мысль: что дальше? что дальше? что дальше?

С поезда — в общежитие, то бишь в министерскую гостиницу, это было возможно. А там... А там... Статья в популярном журнале — или не статья, пан или пропал. Так это выглядело. То есть предельно глупо, противно и одновременно с тем страшно: эта разверстая пасть и и ч т о уже во плоти жизни терлась о его грудную клетку, уже сама жизнь становилась для него этим и и ч т о — но весь остальной смысл, которым живут другие, положительным примером давил и нравовучал: ты не выполняешь долга жизни, ты виновен, ты — перед ними, а не перед тобою — они, а тем более — Он, идеолог и творец этой пыли, этих черепов, этих красок и соков земных, наполняющих плоть, как непроливашку, болтавшуюся некогда на твоём красивом, добротном портфеле, в вечных пятнах чернил: сам не знаешь как — хрясь, и очередной чернильницы нету, только кровью лиловой сочится мешочек, сшитый бабушкой маленькими стежками на твоих собственных благодарных глазах... Благодарных глазах... Глаза защемило: жалко стало бабушку.

Или себя, оставшегося без нее сиротою, булавочной головкой на ветреном тротуаре... Амбал баскетбольного роста. Дурак.

Услышал ли Он его? — к надстоящему абсолютному и бестрепетному закону глупо обращаться с мольбами и просьбами. Молясь Ему, мы можем только измениться сами, набредя в своих духовных глубинах на некую истину, скрытую в недрах вселенского механизма. Совершенно, может быть, случайно и безотчетно — можем даже следовать ей, но вряд ли можем ее сформулировать: есть схождения, которые ни по какой теории вероятности не просматриваются, не вычисляются, не имеют никакого выражения, кроме таинственных, бессвязных знаков, не вписывающихся в грамоту цивилизации.

Перед окном качалась верхушка голого зимнего дерева, и на нее навешены были, точно елочные шары, облитые светом свечей, зажженные окна противоположного дома. Где это было? И главное, когда? Что это был за вид, из какого окна, на какой улице?..

В комнате общаги страшно давил на нервы веселый громогласный снабженец — замдиректора какого-то «флагмана» из Днепропетровска, хохол: настроенный всем «дать» и «сунуть», закармливал Виталия бифштексами, унесенными из ресторана в газете, и каждый вечер «ставил» КВ: «Пресса — великое дело. Я тебе, старик, расскажу, ты все поймешь, хоть и гуманитарий, — можно так написать, что будет не против твоего министерства, а только против нашего директора, и твоя подпись, и все дела. Тебя-то он не достанет».

Можно ведь жить и так? Почему же не получается? Почему? Так ли уж доброволен этот выбор?

Он хотел — то есть х о т е л, сознательно, даже со всею ясностью сознания, на какую был способен, — только крыши над головой, только тепла, только Люси. И вот — для этого были довольно простые способы: он мне расскажет, а я напишу — «и все дела»... И как-то обмякали все умственные и телесные мышцы, как-то он испытывал вдруг отвращение к машинке, к ручке, к диктофону... Бог один только знает, чего он там хотел на самом деле. Люси было не вернуть — и это главное.

Он спокойно доел котлету днепропетровца, отряхнул крошки с рук и сказал:

— Это не по моему профилю, старик. Я занимаюсь турбинами.

Чтобы не усложнять. (Чему-то он все-таки, да научился.)

Днепропетровец жутко храпел.

Не научился вот только — жить, никак, нигде, ни с кем.

До него долго не доходило, что где-то горит. Отчего и это внезапно обнаружившее себя саднящее удущье. Свет не зажегся.

Но внизу, когда он открыл дверь, было не темно, а дымно: что-то горело, чудовищно украшая непроглядную темень глухого ладожского урочища. Прямо Чернобыль какой-то, сказал он себе. В голове мутилось и от горла книзу пищевод разрывался — просто страшно быстро все это происходит, оказывается. Он никак не мог сориентироваться — где что. Главное, где Сашка. Где его сестра. Она могла спать в любой из двух «малень-

ких» комнат на первом этаже: он даже не обратил внимания перед уходом, куда она направилась, так был зол на нее, так ее ненавидел. Щелочку активного сознания, как лучик, он усилием воли направил на необходимую последовательность действий: лишь бы не ошибиться, лишь бы сделать все правильно и быстро. Но соображал плохо. Двери в обе комнатки были закрыты. В левой было темно, пришлось обшарить топчан и углы — кажется, она была пуста. В правой, едва он открыл дверь, на него обрушилось гудение, жар, зарево со врывающимися из-за оконной рамы, будто в живую картину, языками, фрагментами пламени, и он понял, что горит машина, поставленная Сашей за домом. Но где она сама, он понять не мог. На разобранной постели валялся плед.

Решившись открыть дверь веранды и пустить воздух, он обнаружил Сашу, лежавшую перед порогом, как-то скомкано, будто на четвереньках привалившуюся к полу. Дышать и здесь было абсолютно нечем. Горела проводка, кухонные полки, занавески. Разглядывать все это было некогда. Он закрыл поплотнее дверь в дом и распахнул дверь наружу. Вдохнул ночной кислород, положил на траву сестру. Что делать дальше, не знал: то ли возвращаться на горящую веранду за водой и обливать ее, заставляя пить — то ли приналечь на ребра и заставить дышать. Вдруг ярко и больно врезалась мысль — у них давно уже нет ни отца, ни матери: они сироты. Нет телефона на даче, нет никого поблизости, кто бы мог заметить пожар, они одни. В безлюдье. На ладожских болотах.

— В машине... — простонала Саша, то ли в сознании, то ли без. — В машине...

Что могло быть в машине, он представить себе не мог, но почему-то вдруг испугался, что ее внук — ребенок его племянницы, и никак не мог вспомнить, брали они его с собою, или приехали сюда одни. И метнулся к машине. Грохот лопнувшей земной атмосферы и боль, бесконечная и непомерная, заместили собой все, все мысли, всю жизнь, и теперь — успел он ужаснуться и не поверить — уже навсегда.

МОРЕ В ДАНИИ

Дождинки алмазными гвоздиками прокалывали туман перед окном, пардон, иллюминатором яхты; даже стекла — наверно, искусственные! — запотели: называется, лето; впрочем, все равно куда теплее, чем бывает август в Ленинграде. Да и в Петербурге тоже самое. На берегу в тумане разноцветно пятнятся фасады домочков — этакая гирлянда вдоль набережной. В честь чего, интересно? — ах да, в честь жизни, наверно, так надо их понимать. Этих датчан, я имею в виду.

В Штатах тоже стремятся приукрасить и принарядить жизнь, как только можно, но им это не всегда удается. Хотя порой, в некоторых местах, очень даже удается — например, загородные коттеджи в Малтномахе, штат Орегон, не говоря уже о Вирджинии и штате Мэн. Но все равно грязные маслянистые мускулы их индустриальной мощи и широты помыслов выпирают отовсюду, и в принципе, все равно в Штатах самое прекрасное — это природа: чем нетронутее, тем... Если, конечно, не

вспоминать о крокодилах Миссисипи. Но уж там-то я точно не была никогда. Странно, даже в воображении. Не мечтала то есть никогда почему-то о крокодилах Миссисипи.

Но они же все — теплые страны! Вот что оказалось-то, первым делом. Вот в чем они прекрасно устроились в первую очередь. Странно, такая простая вещь — и никому в голову не приходит. Почему, да почему. Зимой ведь просто жить не хочется, если у тебя нет очень-очень теплых вещей, каких и в природе-то, поди, не бывает. А если и хочется, то как-то так, в полсилы, в истерике полуспящего организма, как у Стриндберга и Гамсуна, в девятнадцатом веке.

Когда ведерко угля — целая проблема и кажется спасением. А на самом деле уголь прогорит к ночи, и на завтра будет то же самое.

И если стоишь посередине двора, и прямо над головой у тебя отделяется от бомбардировщика крошечный шмеленок авиабомбы и как бы зависает в воздухе — никуда бежать не надо, не надо паниковать и прятаться в бомбоубежище: она как раз-таки сместится при падении и убьет не тебя, а совсем другого ребенка, за квартал от твоего дома. Эти тонкости мне были ясны, господа, уже в три года.

Но его все равно разбили. Наш дом, я имею в виду. Совсем другой бомбой, той, которую я не видела, как она отделялась от самолета. Мы вернулись из окружения, из Пятигорска в свой город на арбах, на телегах и увидели во дворе, рядом с развалинами своего дома дедушку, обмотанного изорванным бабкиным капотом

с зашитым в него партбилетом. По двору, по зеленой травке сновали листы книг.

Мы собрали кое-что — одеяла, дедушкину инкрустированную палочку с ручкой, очень красивую, дореволюционную еще: трость, несколько книжек — и пошли себе с Пушкинского бульвара, на котором жили, в близлежащий Почтовый переулок, заходя во дворы и присматриваясь к обстановке. Так мы и присмотрели себе квартиру. Она была довольно целая, на первом этаже полуразрушенного дома, и в ней никого не было.

— Ничего, — говорил дедушка. — Не век же мы в ней будем сидеть. Пока, на первое время. А там разберемся. Если они вернуться, советская власть или им, или нам чего-нибудь даст.

Водопровод не работал, воду приносили в ведрах из уличных колонок. Вода расплескивалась на ходу, и на полу смерзалась.

А книжка — первая книжка моей жизни — был том Шекспира, Брокгауза и Эфрона.

И надо же такому случиться, что там были «Зимняя сказка» и «Буря» — и первым же умственным понятием, к которому я приобщилась (ведь образ же стремится к понятию), было понятие калибанской свободы. Нельзя сказать, чтобы я не сочувствовала Калибану — это был яркий, запоминающийся, душевно близкий образ; а я, собственно, «Бури»-то больше и не удосужилась перечитать с тех пор, и этот том навсегда ассоциируется у меня с холодной, мерзловатой квартирой в Почтовом переулке, в которой всегда сидишь закутанная в несколько платков и в шапке, в некий, определенный совершенно Новый год — Бог его знает, какой по

счету, но какой-то очень-очень единственный-разъединственный, именно что без цифры, не убывающий и не прибывающий, навсегда существующий в вечности Новый год, перед которым дедушка задолго набивал по вечерам папиросы красивою блестящей машинкой с тем, чтобы, продавая их днем на улице, в том числе и немцам, и особенно даже немцам — они почему-то опять оказались в городе, — скопить сколько-то денег на новогодние подарки, и с ним рядом, в углу кровати, в возбуждающем предвкушении от блёстких мельканий набивной машинки так блаженно, так покойно — как после мороза выпить водки или полежать в горячей ванне, — разнеженно б ы т ь, имея на коленях толстый сказочный том с красивыми картинками, — и ничего больше не надо, никаких дополнительных желаний, «все лишь сейчас и больше никогда»¹⁷ Только надо н е б ы т ь Калибаном, не вносить дикости и турбулентности неразумных желаний в мягко колышущийся почти уже прогретый горсткой угля в печке воздух заданной тебе свыше жизни — а смаковать его душою и всеми клеточками чудесного набора дарственных свойств, работающих вот сейчас над твоим текущим благоденствием думания и чувствования, обладания дедушкой и Шекспиром — внутри тебя, то ли в голове, то ли в груди, то ли в печенках: где он расположен, этот блаженный д у х, сейчас, когда я его так остро чувствую и переживаю снова?

Надеюсь, я не очень дорого стою Мерлину. Во всяком случае, я стараюсь, чтобы эта его придумка — взять

¹⁷ стихотворение Ильи Оганджанова

меня к себе на яхту в Росток, куда я должна была прибыть на поезде своим ходом из Питера, — с моей-то точки зрения, настоящее волшебство, достойное его имени, — не обернулось для него какими-нибудь неожиданными, неприятными осложнениями, связанными с моим пребыванием в их компании.

Ем я мало, как писал отцу Моцарт, умоляя позволить ему пожить еще какое-то время в Лейпциге, походить по прекрасным улицам, послушать тамошних маэстро, подышать таким приятным для него воздухом свободной артистической жизни... Отцу писал — поучиться. «Ем я мало» — В. Моцарт. Моя любимая цитата. Разящая. Она у меня очень в ходу, я часто ею пользуюсь. Представьте себе, не все понимают. Смотрят с таким удивлением: мол, что это она хотела сказать. Да я привыкла. Господи, такой стаж. Скажу, и все. А там — будь что будет.

Вот Мерлин понимает такие вещи. Только когда они выражены просто и кратко: его русский и мой английский, складываясь вместе, оставляют довольно узенькое место для интеллектуального маневра, и мне с самого начала было очень трудно себе представить, что там просочилось в его роскошную по стрижке и носу американскую башку, когда он начал проявлять такие недвусмысленные знаки внимания ко мне — еще когда мы только с ним познакомились, в Москве, и особенно потом, когда я приехала в Нью-Йорк на женскую писательскую конференцию, посвященную Glasnost'и.

Перво-наперво он показал мне свои стихи — и это меня безумно удивило. Это когда какие-то анкетные сведения были уяснены с обеих сторон: что он писа-

тель, приехал на американскую выставку с другом-художником, за свой счет, никогда не был в Москве (в России), «сын миллионера» — подсказали в другое ухо друзья-художники, издал несколько книжек («детских историй», за свой счет), лауреат такой-то литературной премии («их в Америке очень много»)… И вот когда довольно-таки великовозрастный молодой человек под сорок, с подобной анкетой, на лавочке в Александровском садике протягивает тебе такую толстенную, трогательную «общую тетрадь» в черном клеенчатом переплете и просит почитать и отозваться о его стихах — само собой, in English — разумеется, ты слегка ошарашена и чувствуешь что-то такое щемящее, острое, укалывающее в самое сердце и осознаешь во всем этом некое трудно выразимое неблагополучие.

Конечно, я к этому времени уже отдавала себе отчет в том, что в глубине звука и души человек так же одинок, как в глубине жизни — где смерть, где все теряет очертания, наименования, формы и растворяется в бесконечности вселенной, шум которой, откатываясь, словно отголосок океана в рапане, уже кажется тишиной: все необъяснимей, все таинственней происходящее там, все меньше и меньше людей воспринимают эти знаки, эту информацию, а на поверхности остаются только канонические формы и понятный всем смысл.

Но он ведь мог издавать и такие стихи — за свой-то счет, ему же все доступно, он же, говорят, миллионер. Зачем же их показывать чужому человеку, на чужом языке, в тетрадке, написанными от руки, словно совку несчастному какому-нибудь не востребованному, сидящему в сторожах в какой-нибудь старой церкви или

опилочной мастерской и переводящему Верлена долгими ночными дежурствами (таких-то я видала-перевидала на своем веку, можете быть уверены).

Мерлин был странноватый, но некоторым образом красивый. (Сейчас уж я привыкла к нему, и он совсем не кажется мне странным, а только очень-очень славным). Он выходил из гостиницы «Россия», около которой я его поджидала, в стиранных-перестиранных джинсах, в мятой какой-то курточке и с большим пластиковым мешком в руках, на котором было написано: Bookshopping Princeton Main street.

— Видел кто-нибудь тебя? — спрашивал он по-русски, с очень смешным произношением.

— Нет, but what is the matter? — отвечала я ему по-английски, как могла.

— КГБ!? — неподдельно тревожился Мерлин, а я хохотала.

И мы отправлялись в нашу прогулку по городу. У меня еще только начинался мой спондилез, и ходила я вполне сносно, но мы все равно то и дело останавливались, потому что Мерлин, заведя идущего по своим делам ребенка, одного или с родителями — неважно, подходил к нему и говорил:

— Ребенок! Ай эм из далекой страны Эмерика. Я очень лублу Россия и хочу вас дружить. Считай себя мой сын! — лез в свой Bookshopping и доставал оттуда невиданный еще в те времена батончик марципана в невероятной обертке или пакетик орешков, а то и баночку ананасного компота. Ребенок стоял, вылупив глаза, и, покраснев, боязливо и вопросительно взглядывал на мать, на меня, опять на мать... Которая также залива-

лась краской и точно такой же детский испуганный взгляд адресовала мне. (Я-то была совок, это было ясно!)

— Это точно очень вкусно, не сомневайтесь! — говорила я. — Я уже пробовала. Мерлин американец, поэт. У него много таких — он их специально привез для русских детей. Привет от Америки, вот что он хочет этим сказать. Не обижайте его.

— Thank you! — выпаливал успокоенный ребенок, и мы шли дальше, возобновляя прерванный разговор до следующего попавшего ему на глаза ребенка.

— А ты правда любишь Россию? — спросила я у него после очередной приостановки.

— Правда лублу? — переспросил Мерлин. — Лублу правда? Это очень трудный вопрос. Я думаю, нет правда в уме, в душе — нигде. Есть чувства — плюс или минус. Это не правда, нет. Это чувства. Остальное придумала культура, Крист. Лублу я Крист? Да, очень.

— Нет правды на земле, но правды нет и выше?

— Ye, ye, exactly. Fine, it's excellent. Очень красиво. Ты молодец.

— Это у нас Пушкин молодец.

— Я очень лублу Пушкин.

— Но: есть чувство правды в сердце человека, святое вечности зерно. Разве нет? Это Лермонтов.

— Лублу Лермонтов также. Я так же говорю: чувство.

Так вот мы общались. Но мне все равно было очень интересно, даже если он говорил про что-нибудь совершенно другое, чем я у него спрашивала. Какая мне была разница? Это ведь был мой первый з н а к о м ы

й американец, мой личный знакомый. Мне было интересно про все.

Когда он звонил утром и говорил:

— Хеллоу, Зойа! Итс Мерлин. Сейчас десять часов утром. Сейчас мы завтракаем и идем на выставку. Какое у тебя есть время для меня? — я так начинала волноваться, что у меня поднималось давление. Правда, я тогда еще не знала, что это давление — предметы дрожали перед глазами, черные точки, жарко, и я говорила:

— Мерлин, привет. I am so glad to hear you! Я могу приехать на выставку к часу. Это хорошо? Это удобно?

— Да, это очень хорошо. Но потом у тебя есть время быть? Ланч, гулять?

— Да, Мерлин, да! Я абсолютно свободна!

— О. К, — говорил Мерлин и вешал трубку.

В час он стоял у дверей выставочного зала, как будто я не могла бы его просто выловить среди посетителей, коих было не очень чтобы много, и встречал меня какой-нибудь неожиданной фразой, вроде:

— А говорят, нет свободы в этой стране...

— What do you mean?

— Так, ты мне в десять часов утром сказала, что есть абсолютно свободна.

Я смеялась и была так счастлива, как может быть, никогда в жизни.

— Я встречаю тебя три часа уже, — приветливо добавлял он.

— Как!?

— Ты же сказала, будешь ехать час?

О Боже, я готова была плакать, и у меня поднималось давление.

Или, например, он говорит (на открытии выставки):

— Познакомь меня, пожалуйста, с Дмитрием Пригов.

Я смотрю на него ошарашенно, а потом часто-часто моргаю, совсем как в социалистическом раю Ницше*. Господи, зачем бы это Мерлину, с его-то сверх-сверх-сверх утонченными, развесистыми, как клюква, во вкусе зрелого модернизма Элиота и позднего Рильке стихами — «милиционерщик» Дмитрий Александрович?

— How do you know of him?

— Мой друг с ним встречался в Сэн-Фрэнсиско. Я тоже хочу.

Или вот, например. На какой-то день выставки он углядел «в зале на рояле» книгу отзывов. Кое-что понял. Но возникли трудности с почерками. И он говорит:

— Давай читай.

И позвал слушать своего друга-художника, картины которого висели тут же в зале. Счастье еще, что про самого друга персонально было там написано только хорошее. Но отзывы вызвали у них такой жгучий интерес, что через несколько минут к нам присоединились почти все участвующие художники — человек двадцать, и до тошно выпрашивали, как именно надо понимать некоторые высказывания в книге, вроде, например, такого:

«ЖАЛКО ВАС, ХУДОЖНИКИ АМЕРИКИ! ИСКУССТВО-ВЕД ИВАНОВА»

— Pity of, pity of? — не верили они своим ушам. — Why?

— Почему? — с выражением большой любознательности в лице переадресовал мне вопрос Мерлин, — Как ты считаешь, что он хотел сказать, этот искусство-вед?

Что было делать? Скомпоновать для выяснения вопроса еще пару высказываний этой достопамятной книги? — Мол, «АМЕРИКА, АМЕРИКА! СВОБОДА — ЭТО ХОРОШО, НО ПОЧЕМУ ТАКАЯ НИЩЕТА И УБОЖЕСТВО В МЫСЛЯХ, В СРЕДСТВАХ, В ТЕХНИКЕ? ЗА КОГО ВЫ НАС ТУТ ДЕРЖИТЕ?»

или:

«ХОРОШО, ЧТО НАШИ ХУДОЖНИКИ ИХ ЕЩЕ НЕ ДОГНАЛИ»

и:

«ГЛЯДЯ НА ИХ КАРТИНЫ, ДУМАЕШЬ: МНЕ БЫ ВСЕ ЭТИ КРАСКИ» А не о н и ли это были — те, кто делал эти записи в книге отзывов: о т з ы в а л с я — в зале суда над Бродским двадцать пять лет назад? Стилистика очень похожая, ужасно похожая стилистика, может, вообще все дело в стилистике: человек — это стиль, стиль — это человек... Откуда мне знать.

Только у н и х з д е с ь валялся Шагал под ногами, и они по нему ходили, а американцы его скупали — за большие деньги.

Это когда я «каждый день плакала в Нью-Йорке» — потом, еще очень потом, на той самой конференции: Захожу в Метрополитен-Мюзием и сразу вижу Малевича и Шагала, да в таком количестве, в таких залах и с таким освещением, что у меня слезы брызнули из глаз, как у комика Бима, видели, наверно, в старых лентах, и все, больше я ничего не в силах была ни смотреть, ни видеть в этом знаменитом музее. Потому что тогда — двадцать пять лет назад — я столько везде ходила, где только ни была, и столько смотрела, всего, что только можно было посмотреть, забиралась даже в запасники.

И уж там-то я видела, какие у нас богатства в художественных мыслях, в средствах, в технике. Натыкаюсь, например, на склизкий от сырости и плесени рулончик под ногами в одной кладовке, поднимаю, разворачиваю: Шагал! Можете мне поверить, я уже тогда могла его узнать, потому что покупала порой, когда случалось, журнал АМЕРИКА, где и увидела впервые в жизни его репродукции...

И Бена Шаана, «Улицу моего детства»...

Как раз на улице моего детства. Только в пору ПИРЕТРУМА — когда перемелется, и мука остается.

А улица его детства была такая красивая, с красно пятнящимися фасадами домочков, только немного тоскливая, безлюдная, как во сне. Улицу моего детства мне никак не представить безлюдной.

Хотя я и гуляла ночами по своему городу специально, чтобы не видеть его обитателей и воображать, что я живу в совершенно другом месте в окружении совершенно других людей — элегантных, добрых и чутких, — по Пушкинскому бульвару, в душном запахе акаций, мимо псевдоампирных особнячков с еще не сколотой тогда мирискуснической мозаикой: Господи, Господи! Ну что за прелестный мог бы быть южный город, просто Адриатика какая-нибудь... если б убрать с улиц и х, орущих друг на друга благим и не благим матом, торгующих прямо на главной улице трусами, вывешенными на веревочке, толстомордых и толстозадых, улыбающихся на все свои тридцать два, как они любят выражаться, и загорелых во все времена года, от ноября до апреля включительно!

Господи, Господи!

Одни довольны местом, в котором живут, и ничего им другого не надо, и они всю жизнь заклинаят себя и других, что ни на что это место не променяют, другие — покидают уютные, обжитые столицы мира и едут в какую-нибудь такую Абиссинию, что никто не может понять, чего они там забыли. И все мы чего-то хотим, чего-то хотим, чего-то хотим. И чего мы, собственно говоря, хотим?

Только книгу эту отзывов на другой же день убрали (с рояля). Наверно, администрация выставочного зала. Обратили внимание на оживление вокруг этой книги, почитали, что там написано, и решили, что негоже расстраивать американских гостей такими записями. GLASNOST', собственно говоря, только еще набирала обороты, и никто толком не представлял себе, докуда в ней можно пойти. А уж администрация выставочного зала — так та и вообще (можно себе представить). Партию ругать уже было можно — это она усекла, а вот можно ли Америку? Впрочем, может быть, и за партию обиделись — там про нее столько было написано, в этой книге отзывов!

— Moscow is an autumn town! — сказала я Херберу, другу-художнику, присоединившись к которому Мерлин попал в Москву. — It is the best time of it. Look and paint.

— O. K, — сказал Херб. — I'll dream about and then, may be... But I'd hope to show to you American autumn, you'll see...

И я поняла, что ничем их не перешибешь, даже осенью...

А жизнь прошла, и новой уже не будет...

На улице моего детства темнело, сладко и томно пахли цветущие акации, и неожиданно, всегда неожиданно раздавался во тьме гитарный перебор. Голосов бывало несколько, но один голос был особенно звучен и выразителен, а кому он принадлежал — я так и не узнала никогда, потому что вечером, во тьме, при желтом медовом месяце качающейся вместе с тенями веток тусклой лампочки маячила на другой стороне улицы, на приступочках каменного дома «кулаков» Евстигнеевых только белая рубашка, и все: утром, при свете дня улица имела совершенно другой вид, другие заботы, все работающие были на работе, катился с грохотом подшипников усатый молодецватый безногий на своей каталке к пивному ларьку, трепанные дворовые бабы в засаленных ситцевых халатах выясняли, кто из них «спал с немцами», в окне большого четырехэтажного дома напротив виднелась до пояса старая инвалидка в качалке, которая то рассматривала улицу, положив руки на подоконник, то плела кружева из суровой желтоватой нити — да, да, те самые дорогие русские кружева, которые теперь так кусаются в валютных художественных салонах, — а то раскрашивала бронзой гипсовые фигурки Наполеона, а уличные дети, как воробьи, крались по наклонной крыше рядом стоящего сарая, на которой эти Наполеоны обсыхали на солнышке рядками, и улица то и дело оглашалась отчаянными криками в очередной раз обобранной инвалидки. (Я в свое время также осознала существование в мире этой инвалидки, стащив по наущению своих уличных подружек одного такого Наполеона с крыши сарая — уж больно они были блестящими, и пройти мимо этого сорочьего соблазна

было невозможно; но когда инвалидка подняла крик, до меня дошло, что Наполеоны существуют на крыше сарая не сами по себе, а являются чьей-то с о б с т в е н н о с т ь ю, и именно этой беспомощной старой женщины, которую я вижу из своего окна ежедневно — и меня затрясло от ужаса, жалости и отвращения к себе. Я долго рыдала, слушая эти истошные крики из лопухов за стенкой сарая, потом мы еще переждали, когда все утихнет, и только потом я полезла опять на крышу подложить незаметно этого злосчастного Наполеона к рядками сохнувшей партии, и уж тут я по-настоящему боялась, чтобы меня не поймали с поличным).

Мадагаска-ар, моя страна-а, — пел голос, — Хоть кожа черная, но кровь красна! — Мадагаска-ар...

Впрочем, «Спустился вечер, и Барселона» пелось тоже, сразу в несколько голосов, а также:

В Кейптаунском порту,
качаясь на ветру,
«Жанетта» поправляла такелаж...

Может быть, именно тогда мне так страстно полюбились головокружительные звуковые переборы русской неточной рифмы.

На улице моего детства.

В пахнувшей акациями вечерней тьме.

На второй день моего пребывания в Нью-Йорке я плакала в метро. Когда увидела безногого негра в коляске, укрытого пледом по пояс. В глубине подземелья. Рядом с коляской стояли баночки с пепси, с соком, вскрытые консервы и пакет молока. Что вообще повергло меня в ощущение, что он здесь живет, в этом глубинном каменном мешке, в устоявшемся запахе

гнилостного мусора и мочи. А то как же, интересно, он выбирается к солнышку по этим жестким, крутым, почти отвесно вздымающимся из шахт Нью-Йоркского муравейника лестницам, рассчитанным на общность победителей во внутривидовой борьбе, взывающим к напряжению мышц и бодрому оскалу?

Я отошла от окна яхты и вернулась к столику, на котором разложены были мои бумажки: я пыталась перевести на русский стихотворение Мерлина, пока они отправились осматривать какой-то старинный замок, до которого надо было довольно значительный отрезок пути добираться пешком, чего я не могла.

Прислушайся, и пустит корни звук
в бесконечных проталинах ночи
наркотическим шорохом скуки нальется
бутон безмолвия
ствол слуха треснет и дриада
вдохнет бессмертья прелый аромат
как дым едва истлевшей сигареты

Вряд ли что-нибудь дальше произойдет с этими стихами по-русски, но я, в общем-то, привыкла так жить — тоже словно миллионер какой-нибудь: что мне хочется — читать, что мне хочется — писать, что мне хочется — переводить. Так и прожила с той самой минуты, как ушла с почтового ящика — уже двадцать лет назад, — и у меня даже отобрали Народным судом квартиру. Так вот и удалось пожить в свое удовольствие. Грех великий, не исключаю. Я имею в виду, жить в свое удовольствие.

Там, где море напозаает на сушу, скользят по дну и качаются на гальке у самого берега солнечные эллипсы

и круги — дождь кончился, прояснилось, и я выбралась на причал.

Не верится, что я участвую в этой красивой картинке. Я ее ничем не заслужила. Я ей никто. У меня здесь никого нет. Кроме Принца Датского. Но он ей тоже никто. Ничего общего. Может быть, разве что в том замке, который они пошли смотреть, а я нет. Где море, и ветер, и скалы. Он мне сказал, ступай в монастырь и не плоди муки и страха. Безобразия и уродства. Глупости и насилия. Лжи и лицемерия. Горностаевых мантий и алмазных перстней. Напалма страстей.

А Он мне велел: плодитесь и размножайтесь. Как бы ни выглядел этот мир. Как бы больно в нем ни было. Мне нужно пушечное мясо вечности.

А я не могу ни на минуту забыть Его крестной муки. И как о н и могли, как могли? И как они могут?

Не могут даже вылечить меня.

Он не дает. Считает, надо еще что-то понять (иначе бы уничтожил).

Катя Зайнингер смеется надо мной, когда я ей пересказываю книги про карму. Говорит, русские спятили от своей неразберихи. У них крыша поехала. Жить не умеют, вот и выдумывают. Удалили мне вовремя опухоль в груди — и нормально. Разве мне дашь семьдесят четыре года? А жила бы там у вас — давно бы в живых меня не было.

Какие там семьдесят четыре года! Вон, упрыгала с ними смотреть замок. Где море, и ветер, и скалы. Профессорствует в Колумбийском университете. Каждые два года выпускает по книжке про своих русских предков. Начала с петровской эпохи. Теперь добралась уже

до романа Князева с Судейкиной. Решила наконец-то рассказать эту историю правдиво. Восхищается Татьяной Толстой. Сплетничает. Носит неброские парижские платья и английские костюмы. Если платье — то парижское, если костюм — то английский. Если машина — то Ягуар, если квартира — то в Гринич-виллидж, если домик — то в Швейцарии. Но это у богатых родственников, к ним она ездить не любит — довольно ограниченные люди, очень дорожат своим престижем. А она демократична в общении (да вот, например, я — куда уж дальше ходить). «Как все американцы».

Может быть, это и есть черта, разделяющая религию и культуру. Культура печется о человеке. Тщится земную жизнь усовершенствовать, привести в желаемый вид. Или хотя бы приукрасить. Если не получается обезболить. А в идеале хочется хорошо жить, в достатке, довольстве, в любви, в красоте — и не умирать. Да еще и делать, что хочется, что взбредет на ум («свобода — высшая ценность человеческого существования!»).

Религия печется о высшем начале, о неподсильной человеку силе. Тщится угодить ей, проникнув в тайну ее требований.

Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешную в моих мыслях. Люблю Тебя и жалею.

Есть у меня в кармане сто долларов, и можно было бы пойти разменять их и учинить небольшой шопинг — прямо здесь, недалеко от причала улочкой выше я видела целый квартал магазинчиков, может быть, именно зачуханных и дешевых, какие мне нужны, а не в какие пытался залучить меня Мерлин:

— Давай посмотри. Я хочу купить тебе что-то такое, что подходило бы твоему человеческому статусу. Что бы тебе нравилось.

А мне-то там как раз ничего и не понравилось. Это были маленькие дорогие магазинчики в центре Копенгагена, кудаходишь, и дверь позвякивает — и ты оказываешься один как дурак посреди стеллажей с тряпками, зеркал и искусственных цветов, и тебе навстречу бросается, как улыбчивый тигр, хозяин или хозяйка из глубин помещения и исподволь оценивает с ног до головы твой «человеческий статус». Ты чувствуешь себя застигнутым врасплох, мнешься, краснеешь и понимаешь в очередной раз, до какой же степени ты совок, и буржуазные отношения расстраивают тебя донельзя. В довершение всего кремовый костюм, который прикладывает к тебе с довольной рожей Мерлин, кажется тебе кухарочьей бутафорией, которую ты напялишь на себя ну один раз в жизни — завтра и здесь, неизвестно еще по какому поводу, а потом, в Москве, не с собакой же в нем ходить гулять и травить душу пенсионерам, которые отдали свои лучшие годы на алтарь честности, коллективизма и взаимовыручки. Не говоря уже о его цене, которую ты будешь потом мысленно делить на все оставшиеся годы своей жизни. И ты отрицательно качаешь головой.

Этого не объяснить даже Мерлину, который понимает очень и очень многое.

Но сегодня воскресенье, у них все закрыто. Профсоюз неукоснительно блюдет права трудящихся на уровне торговли, и стричь прибыль круглыми сутками и без выходных — здесь не проходит. А надо сказать, при за-

крытых магазинах все эти прелестные европейские городочки выглядят довольно скучно и безжизненно.

А добивает меня, как русского, вероятно, человека — пледик на газоне, светленький и ярконький, на котором детки — две девочки и мальчик с ангельскими кудряшками — угощают своих кукол на скромно сервированном столике с тремя ромашечками в вазочке... Это где же они их, интересно, сорвали — неужели все на том же газоне, или принесли с собой, как и кукол, мячики, столовый набор мебели — белый, загородный, с резьбой — и пледики? А может быть, их подкинули сюда родители на автомобиле, а сами поехали дальше, со своими куклами, и мячиками, и пледиками. И вот сидят прелестные детки на прекрасном пледике на берегу великолепного канала... Или — прекрасные детки сидят на великолепном пледике на берегу прелестного канала... Ну и так далее, вы это читали. А мы сидим в нашем русском дерьме. Да еще и у нас же все это вызывает... что же это у нас вызывает... у меня, к примеру сказать? А Бог его знает, что это у меня вызывает, но только не европейка я, не европейка, нет.

Просто удивительно, насколько это за версту видно. Даже когда на тебе ничего изобличающего нет. Одна только майка, наверняка китайская какая-нибудь. И мокрое гостиничное полотенце на шее. Когда я третий раз плакала в Нью-Йорке. В большом таком американском лифте человек на пятнадцать поднималась к себе в номер из бассейна, и вдруг меня за руку выуживает из толпы уж настоящая европейка, нежная и седая:

— Are you Russian?

— Yes, — обалдела я.

— Amid the thousand fases... I'd recognize... the Russian face. They did set me free from Aushwits.*

И показывает мне потускневшую серенькую цифирь на тонком запястье.

Уж можете представить, как мы рыдали, обнявшись.

Но когда я только приехала в Штаты, на меня сразу же, в аэропорту Кеннеди, пахнуло духом паленой серы. Не знаю, как это объяснить. Но только не предубеждением советского воспитания. Хотела бы я увидеть своими глазами психоаналитика, который в состоянии был бы проанализировать и исчислить, что какие российские ростки больше воспитывало и напитывало: приключения Робин Гуда с Эролом Флинном (никто и понятия ведь не имел в Советской России о его ку-клукс-клановской подкладке), благородная веселость и верность долгу Нелсона Эдди, высокая человечность Греты Гарбо и Чарльза Спенсера Чаплина (не говоря уже о Фолкнере, Селинджере и Элиоте — допускаю, их читали, и даже знали об их существовании не все двести миллионов) — или маразм советской пропаганды, который отталкивал уже мое поколение частично, а уж последующие — полностью и поголовно. Так что, может быть, правдой Фолкнера, Селинджера и Чарльза Спенсера Чаплина на меня так вот и пахнуло сразу в аэропорту Кеннеди, но только я явственно ощутила запах паленой серы.

Зато проплакав несколько дней в Нью-Йорке, я вдруг почувствовала себя там так, как будто я прожила в этом городе не одну, а несколько предыдущих жизней,

даже невзирая на мой тяжелый, можно сказать даже клинический случай топографического идиотизма.

Конечно, живопись Нэнси Гринуэй, молодой лондонской художницы, снимавший в Бруклине под мастерскую просторную двухкомнатную квартиру на стипендию Колледжа Искусств, была по московским меркам слабой, рахитичной и наивной — но шампанское было настоящее и разговор веселый, а глаза грустные и в холодильнике пусто. А когда Мерлин читал там свои стихи, ясно было, что никто не врубается и спешат поскорее перейти к университетским сплетням и рассказам о знаменитостях: Горбачев, Ельцин, Барышников, Иосиф Бродский и Лайза Минелли. Просто прелесть. Ну и тем же мы им подбрасываем для разговоров.

Как быстро высох парк — солнечный, сквозной, будто и не было никакого дождя и тумана! Так и ждешь, что за деревьями обнаружится сейчас красноватый гравий теннисных кортов — кенигсбергских, калининградских, наследство Третьего Райха — нам, детям страны Советов, на которых проводили все ведущие российские первенства, пока эти корты не захлавились и не истоптались за неухоженностью должной, приличествующей всему шикарному, культурному, европейскому... Замшелые стволы и желтеющие прядки ясеней.

Кёнигсберг не начинали отстраивать лет десять-пятнадцать после войны. Видно, не знали, что делать с этой Восточной Пруссией и не придется ли ее отдать кому-нибудь. Руины заросли бузиной, плющом и жасмином. И все же это были руины диковинной европейской кирпичной кладки, фрагменты идеально гладкой брусчатки, руины чуждой, недостижимой по структур-

ной упорядоченности цивилизации. По дороге от гостиницы к стадиону приходилось пресекать зоопарк (не исключено, что специально давая крюка для этого). Вернее, то, что от него осталось — от, говорят, чуть ли не второго в Европе зоосада: зеленеющий бурелом, неотличимые от бомбовых воронок вольеры, мощные пустые клетки и водоем с вечно торчащими в нем двумя белыми медведями. И стариком-сторожем на осыпающемся бруствере, бросающим им рыбку. Боже мой, как хорошо я его помню! А ведь он умер давно вне всяких сомнений, так же как и его питомцы, рядом с которыми он просиживал целыми днями. Даже пара меховольных детенышей, игравших рядом на травке, — и они, наверно, изжили уже свой век и покоятся где-нибудь в земляном чреве творения. Только запах жасмина, мокрого песка и звериного местообитания витает в памяти. Моей. Смешно, правда? Легкое дыхание белых медведей Кёнигсберга.

Так что же вообще-то абсолютно? Вечность — это несомненно некая точка. Но какая? Точка чего?

Или корты сочинской «Ривьеры». Окруженные душным запахом кипарисов и магнолий. И водная станция неподалеку. Куда прибегаешь после тренировки, горячий и потный, бросаешься, скинув шорты и майку, с трехметрового трамплина, и, пройдя сквозь дивный массаж водной толщи, переворачиваешься на спину и солнцепоклонствуешь всей душой, всеми клеточками своего бессознательного, прикрыв глаза.

То же самое и на Кировских островах. Где вообще жили на первенстве Союза на водной станции и ходили прыгать с трамплина по ночам:

Вновь оснеженные колонны, Елагин мост и два огня...

Это ли не абсолютно?

Но точка — она и есть точка. Никакая. Ничего. Пока видишь на горизонте точку — или в океане — или в небе — или в бесконечности — не знаешь, гайдаровский ли это всадник в буденновке, инопланетянин или атомный смерч, но ясно одно: это провидение.

Вы видели неожиданно выпрыгивающего из воды дельфина вдали-вдали, сидя на морском берегу?

Ни звука, ни шевеления воздуха, ни предчувствия.

Прислушайся — и ты услышишь как
апрельских дней букет нежнейший вянет
и лопнувшая опухоль ветвей
наполняет старушечьим шепотом
истощенные клетки простора
на чьих плечах лежит столетий бремя
чей сиротливый голос закален
на сквозняке вселенной

Интересно, они придут сюда, на яхту в своих шортах и ботинках и голодные — или уже одетые для концерта в филармонии и пообедавшие? Никогда не знаешь, как надо одеться — при том, что и вариантов-то раз-два и обчелся. Но я плевать хотела на то, что они об этом думают и подсчитывают ли мои варианты. Когда Катя Зайнингер заметила как-то раз — еще тогда, в Нью-Йорке, до распада Союза, — что Раиса Максимовна посрамила великую державу, появившись на каком-то мероприятии в платье, которое на ней уже видели, у меня явилось страстное желание познакомиться с Раисой Максимовной, дабы укрепить и подбодрить ее в

замечательном начинании перестать плодить муку и страх. Безобразие и уродство. Глупость и насилие. Ложь и лицемерие. Горностаевые мантии и алмазные перстни. Напалм страстей.

А фортепианный концерт Шнитке, на который они идут сегодня в торжественный, строгий (хотя и небольшой) зал Копенгагенской филармонии, я слышала впервые уже господи как давно и при совершенно других обстоятельствах.

Как вы сами понимаете, в ФИАНе. (Или вы не в курсе? Да, этот институт фундаментальных физических исследований был большим поклонником Альфреда Гарриевича и то и дело устраивал у себя в конференц-зале, рассчитанном на довольно обширные научные собрания и политмассовки, концерты гениального современника, никогда, с самой первой его симфонии, не сомневаясь в его гениальности. (Деньги собирались в шапку по кругу, то бишь по рядам — уже ближе к завершению концерта. Бросали и по десятке, и по пятерке, и по четвертаку — м. б. академики, да и те, кто тогда уже умел совмещать приятное в науке с полезным где-то на стороне). По отзвучании его неизменно трагической музыки, даже когда это был и Реквием, взволнованные душевным соитием в печали организаторы предлагали всем желающим остаться на маленький банкет в честь маэстро: несколько бутылок шампанского и «нарезные» батоны по тринадцать копеек с «отдельной» колбасой спешно готовились к этому моменту девочками-секретаршами и диссидентствующими соломенными вдовами, кому за леденящими душу звуками непостижимого небесного немилосердия слышались рыда-

тельные завывания пурги в Ванинском порту. Вспоминаете ли вы это, дорогой Альфред, когда лежите, как вам кажется, спокойно на своем шелковом диванчике в Гамбурге и не подозреваете, что у вас опять, к чертовой матери, двести шестьдесят на сто сорок и давно пора выпить дополнительную таблетку? А помните, сколько стоила «отдельная» колбаса? Впрочем, вы никогда толком не знали, что почем, только знали, что денег семье нужно много. Почему-то.

А может, это и есть любовь. Господи-Господи-Господи, откуда же мне знать. Ну откуда? — в жизни ни один мужчина не осыпал меня такими материальными благодеяниями, как Мерлин.

И когда он в Нью-Йорке сразу же, как только мы встретились, порывался купить мне блок «Сэлема», а я ему сказала:

— Не надо. У меня еще тот цел, что ты купил мне в Москве,

— Ты бросила курить? — с педагогическим торжеством в голосе спросил Мерлин.

Я засмеялась. Вот драк, вот дурак!

— For memory, — и эта тоненькая струйка горечи и печали, которая пролилась вглубь меня, остановила на секунду его глаза на моем лице, он сначала нахмурился, потом высоко поднял брови и покрутил пальцем у виска.

В вашей музыке, Альфред Гарриевич, действуют две рати небесные — на земле и на небе: вершится мистерия земной жизни Там, в глубине безвоздушного Космоса, и все уродливое, презренное и смешное здесь

— это искаженная Дьяволом гармония вечной Красоты. Нет? Я вас неправильно понимаю?

А ваше лирическое страдание? Ваша прекрасная боль в глубине звука и души — прекрасная и гармонически высшая в иерархии ваших звучаний? Правы ли в ней перед Богом? В вашей непереносимой печали, от которой всякому хочется немедленно собирать что-то в шапку, хорошее и чистое, разнеженную и добрую энергию души и бежать за шампанским?

Запах паленой серы сопровождает земное, химические элементы и атмосферу. Где нет материи — нет страдания, нет боли, нет рефлексии, нет Красоты. Нет Добра. Одна только Истина — эта.

И как она звучит, интересно? И может ли она звучать? — ведь звук — это уже материально. Дрожание воздуха и мембран.

А мне ужасно жалко всех, Альфред Гарриевич. Ужасно. Даже вас — не говоря уже о советских событиях и Югославии. Не знаю, что с этим делать. Не знаю. Ни любви, ни веры, ни надежды не осталось в душе. Ни радости, ни желаний. Одна жалость. Вся эмоциональная палитра души выродилась в один тон — жалости. Ко всем и ко всему. К этим несчастным старикам, которые верили в справедливость и силу единого порыва, а теперь отданы в одночасье на милость бестрепетного, веселого и энергичного Мамоннова, который сразу же не замедлил набить свои карманы их крохотными социалистическими сбережениями и продолжает грабить их ежедневно и ежечасно. К зайчику и лани, к подыхающим по задворкам бездомным собакам, к коровам, мычащим в загонах электрических боен Чикаго и Копен-

гагена, последней осенней розе и измолотому жерновом бытия золотому тельцу зерна.

Силы небесные! (То бишь космические.) Сжальтесь, будьте милостивы, над тварью своей — этой несчастной, глупой производной ваших немеренных сил!..

Но говорят, нельзя изменить программу развития.

«Они» «не могут»!

А всемогущи.

Или «не хотят»?

Да и есть ли желанья там, где нет живой и болящей материи — а только банк: банк информации Вселенной и торсионные поля. Только творческая воля — как у Сталина.

И не запрятаны ли корни трагедии нашего существования в глубине Космоса? Что-то там когда-то случилось такое, что привело к столкновению миров и гибели слабейших? И эти небесные гармонии имеют звучание музыки Шнитке?

Прислушайся — в утробе тишины

бесчинствует весна победителем Трои:

слушай! — тень его пьет вместе с тенью врага

мрак летейского гимна.

Смолкла флейта зари — только вечность

безумной вещуньей сухарь разрушенья грызет

покинутая всеми.*

Нами, сказала бы я, если бы это было мое стихотворение. Но это стихотворение Мерлина. Я только перевожу.

И надо уже переодеваться.

**ПАДЕНИЕ ДОМА ЭШЕРОВ,
или САД ПОД ДОЖДЕМ (И СНЕГОМ)**

Покажи свои крылья, кузнечик!
Цвета какого они у тебя?
Можно заставить, но я не буду:
мне приятно, что ты не боишься меня,
чудо цветистого дня!
Терпеливо держу на открытой ладони,
раз так вздумалось —
прыгнуть, сидеть и молчать;
твои длинные карие ноги
интересно вблизи изучать,
и мне снится в тусклом пространстве
двух макушечных глаз
шум сиреневых, синих и красных
несусветных проказ...

Не могу вспомнить, в каком году это было. Да и неважно — для какого-то малотиражного сумбурного сборника наспех собираемых стихов «московского андеграунда», то есть кого не печатали при жизни: при молодости, при силах, при надеждах, при упованиях... Упованиях.

Вы только посмотрите, на что она уповала. Нечто даже идиотическое есть в этом *melancholie* по с в о б о д е в духе этакого пьероидального примитивизма: позвольте, мол, нам расправить свои цветистые крылышки, и в ы у в и д и т е... В году все-таки так это семьдесят первом, наверное. В пору восхищения Натали Саррот и грустного обнаружения родства — опасное сходство,

нет, избирательное сродство, нет, печальное сиротство — с Вирджинией Вульф, Ингеборг Бахман, а также Эмили Дикинсон...

Ну вот мы и видим. Счастлив, кто посетил сей мир...

— Господа, да не ругайтесь же вы матом! — увещевает продавщица очередь за водкой по талонам — приносит мама из сегодняшних своих походов — быт-походов — интересные наблюдения. Я ее умоляю никуда не ходить, но она ходит и ходит, встает в шесть утра и затемно уходит из дому, возвращается в пять вечера, иногда с одной только упаковкой спичек в пустой сумке. Я устраиваю крик, что нам ничего не надо, что она старая старуха и должна беречь себя, что овсянки и макароны, уже припасенных ею, хватит блокаду пережить.

— А я хочу есть! Хочу есть! Я же не виновата, что тебе это не надо, что ты этим не занимаешься! А я хочу есть! Я должна есть! Я имею право есть! Отдаешь им жизнь до последней капли крови и видишь одну неблагодарность!

Михаил Кузмин, говорят, разъярившись приземленностью своей матери, выкинул за окно бутылку подсолнечного масла, с трудом добытую ею в восемнадцатом году, — а потом голодно и медленно истлевал в советском Ленинграде... Умолкаю и ухожу к себе в комнату: страшно этих мистических связей, пусть делает что хочет.

Ладно, напечатаю еще парочку, и хватит с них. Устала сидеть на стуле — не держит спина. Все равно это уже не актуально: покажи свои крылья... Показал! И еще покажет, небось. Хотя я вот боюсь. И притом страшно.

Что-то мне не верится, что кузнечики могут быть такими уж разными в Париже, Лондоне и Стокгольме — и даже на Бирме, Цейлоне и островах Фиджи... О! Вот-вот-вот, ах-ах-ах...

Вспоминает суринамская жаба
о своих родных и знакомых
у окошка сидит пригорюнилась
подперлась локотком вздыхает
о молодости что прошла
о своей любви молодой —

Паша, молодой Паша Соколов, вот кстати-то вспомнилось, разве можно объяснить, почему это чему — уж он-то поэт прелестный, и видно мне это со стороны ясно и определенно, почему это чему какой-нибудь К. или какой-нибудь М. или какой-нибудь Ку., который вообще по-моему не поэт ни сном ни духом, потому что без музыки внутри, а учитель некий истории — что очень даже хорошо, чем бы плохо — и излагает, просто в престижной форме, для себя престижной, в первую очередь, такая вот претензия, ну и что, кому какое дело, — а вот в какой-то момент прогремели и вошли — куда вошли? как говорил профессор Богданов, горькоумец н а ш и х д н е й, хотите ли вы войти в сонм богов или в Союз писателей СССР? — а Паша Соколов никуда вообще не вошел, и даже давно не звонил, так что никогда не знаешь — жив ли он еще или умер, потому что трубку не снимает никогда. Гаденыш.

Какая-то тут тоже тайна, ей-Богу, и всегда она наверно, была, и всегда меня мучило подозрение — страх

— ужас даже, как и перед всей бездной тайн, хотя спрашивается, ну чего уж тут убиваться, что на одного известного нам моцарта приходится сто, а может тыща, а может Бог один знает сколько не известных, не может быть, говорили мне: Моцарт один. Тем и Моцарт.

Так и Паша же Соколов один, это очень ошибочное какое-то у вас чувство, или мнение, или инерциальное бессознательное жизнечувствование — что у нас не мерено-не кошено-не вешено-недовешано, и все на миллионы.

А теперь еще входит в моду этакое западное — что стихи, мол, поэзия — некое просто частное занятие, как иметь или не иметь собаку, и к обществу ну никакого теперь отношения уже не имеет: общество больше их не слушает, по их указке не живет, смотрит себе телек, вкалывает и зарабатывает — кто на двухэтажный дом с верандой на Атлантический океан, самолет и яхту, кто на дачу в ближайшем Подмосковье с сортиром в углу участка и шестерку-жигули, кто на каждый день мяса для себя и фрукты для детей, а кто вообще чтоб под сокращение не попасть и знать, за кого для этого проголо-совать. Вот, мол, и всё — вся структура бытия. Структура социума, полностью покрывающая структуру бытия: идеальное жизнеустройство: демократия.

Как поэт — Пашин поэт — в семьдесят каком-то там, двадцать лет назад, такой уже у него и был: На перекрестке сумрака и неба, на перепутье снега и весны — я возникаю из пустого бреда: где слух мозолист, а слова — вкусны... Так, — не расстегнут, вежлив и опря-тен, — по авеню бетонных деревень шагаю меж ка-ких-то красных пятен, нагнуться, рассмотреть поближе

— лень. Отечество! Страна моя! Россия! — и на лице соленых струек сеть... Дак Господи, не может быть красивой земли чтобы пожить и умереть.

Вот так вот. Пророк, оказывается. Гаденыш.

Правда, пародировал эту позицию. Но кто это считывает? Кто вообще считывает нюансы стиля? — Снявши голову, по волосам не плачут.

— У нас, когда был гололед, Тяжпром надевал на ботинки чулки. И никакой гололед был не страшен... Чулки, конечно, пропадали... — и она вздыхает, тяжело так, безнадежно. Мгновенно проваливаюсь в жесточайшую депрессию от ее вздохов: разве чулки ей жалко, разве чулки, хотя конечно, и чулки, в этом я нисколько не сомневаюсь, — мне тоже всегда всего жалко, что пропадает, что рвется, что бьется, даже когда распадается рисунок и стиль, я испытываю боль — а она отдала этому проклятому Тяжпрому всю свою жизнь, до семидесяти трех лет никак не могла ее вытащить на пенсию и уговорить переехать ко мне.

— Сколько мы создали металла, сколько стали, сколько всего, а вы что сделали, ваше поколение, вы что? Вы что? Вы что? Всю жизнь пробездельничали и страну развалили... В войну такого не было.

— Конечно, Рождество — это неплохо: когда пироги, и подарки, и запах теста... И неплохо было бы, если бы все люди были, как Христос: добрые и отзывчивые, все бы от себя отрывали ради ближнего... Но только я не знаю, была ли бы тогда промышленность...

— А мне президента жалко! Один порядочный человек! И Хусейна жалко! И нас жалко...

Он меня поразил деловой походкой, какой целеустремленно шагал по обмерзшему тротуару среди идущих по своим делам людей. Боже мой! — подумала я. Совсем ведь еще щенок, месяцев пять-шесть, не больше. К тому же некрупной какой-то собаки, вроде болонки. Разве такой может выжить на улице, да еще в морозы, на снегу, в такой вот ветер? Он почувствовал мой взгляд и моментально сошел на заснеженную кромку улицы, где я стояла и думала о нем. Глядя на меня большими, как каштаны, продолговатыми глазами, будто подведенными тушью, он ждал. Я ничего даже не решала, как-то не было этого момента в моем сознании, а думала только о том, как довести его до дому, такого все-таки для меня большого и неподъемного, как дать ему понять, что нам надо туда-то и туда-то идти, а потом ехать на автобусе? У меня не было с собой ни кусочка колбаски, ни веревочки. Был в кармане пальто полагавшийся к нему кушак, который я не носила. Щенок смиренно, только чуть-чуть прижав уши, позволил надеть себе на шею петлю, и мы пошли.

— Берете? — крикнул с тротуара прохожий из морщин своего обтрепанного жизнью лица. — Правильно, берите. Он вам оплатит. Вы даже не подозреваете как. Счастья вам! А то этот Шарик уже недели две здесь болтается. Никому сейчас лишний рот не нужен.

Какой же он Шарик, подумала я. Что-то не то. Это не для него. Он скорее Шурик: красив, разумен. Да-да-да-да-да! Вот это точно найденное слово: выражает.

Комичный, трогательный, покорный, с опущенным хвостом, шел как к себе домой.

У порога же двери, войдя, сразу лег на тряпку для ног, выдохнув из легких, казалось, весь свой воздух: только вот лечь, и больше ничего, и спасибо, и помощи Вам Бог!

А была одна чечевичная похлебка на кухне о ту пору, и я поднесла ему мисочку, прямо в коридоре, прямо к носу: ведь устал и изголодался, поди. Но нет! Нет-нет-нет-нет, что вы! Это уже слишком, это лишнее, даже неудобно как-то... Мне бы лечь, и лежу, и прекрасно, и так вам благодарен и счастлив, что приложу все свои силы... Не осрамлюсь, не подведу... Порядок и дисциплина... Будьте уверены.

И уже через час попросился на улицу.

— О! — сказали незнакомые люди, ходившие туда-сюда по кругу пустырного сада за нашими домами, по над берегом давно изгаженной небрежением речки. — Какой красавец!

— Какой блондин!

— Какой тибетский терьер!

— Где-нибудь полгода?

— Еще и поводком не обзавелись? То-то мы вас еще не видели тут. Милости просим!

Сзади будто кто-то толкнул, и оглянувшись, я обнаружила, что меня обнимает за шею, стоя на задних лапах, огромная овчарка. Какая-то просто Шайка Белой Розы, почувствовала я сразу. Вот не знала: прямо за домом, дорогу перейти. Другой совсем мир. Пустырный сад. Собачий. Еще от старого деревенского пейзажа, с развесистыми одичавшими яблонями, со светящимися кустами хрена.

Мы-то сюда только и переехали, что в конце лета!

— Это кто? — спросила она, вернувшись после своих изнурительных походов, хотя было очевидно, кто это.

— Шурик, — ответила я.

— Так-так-так. Хорошенький, ничего не скажешь. Даже красивый. Но ведь его надо кормить! Это же огромная ответственность. Ты подумала об этом? А кто с ним будет гулять? Ну предположим, утром, пока ты спишь, я с ним выйду... Смотри, хвостом махнул! Он меня признал! Согласен с бабкой гулять! Како-ой хвост! — Хризантема! Белая хризантема, Седьмое Ноября! Только чем же нам его кормить? — Нет-нет-нет, и о чем ты только думаешь — сами едва концы с концами сводим, такой удар по бюджету! Шурик! А ты ему дала хоть что-нибудь? Или тебе даже в голову не пришло? Теперь собаку будешь голодом морить!?

история... если бы ты мог ее закончить... о, я знаю... тысячи и единицы... это моя жизнь... окончи ее... после этого ты будешь спокоен... сможешь спать... и я закончу ее... и совсем не ту, которая... всё всегда длилось всегда...¹⁸

Миссис Дэллоуэй¹⁹ смотрела сквозь серебристую шаль на лампу, и плеск весел стремил ее мысленно... стремил ее мысленно... к маяку... к плотине в Печатниках... к совершенно обросшему одичавшим парком, скрытому неподкупной листвой Дурасовскому поме-

¹⁸ Отрывки из пьесы С. Беккета «Голос»

¹⁹ Героиня Вирджинии Вульф и ее же выражение, подхваченное в интеллектуальном обиходе XX века

стью, к церкви Николая Угодника, заваленной хламом... Да-да-да, и трактор во дворе.

На другом берегу — то ли это там остров: река рукавится, одно зеленое побережье косит и удаляется с глаз, сказочно драпируя шатер Коломенского в некий сусальный фантом доиндустриального княжества (кошник, плывущий в дрожащем и остывающем предзакатье, жемчужный орнамент поникших углов, остриями уходящих, уносящихся с печальной незаметной скоростью в прах, в чрево творения), другое побережье, напротив, будто бы лелеет взгляд надеждой на приближение, доступность, жадно бросает воображение к веслам, манит странно-светлеющей, необъяснимой постройкой, функционал которой невнятен — а посему волен оказаться и домиком смотрителя маяка, и оторванным не то что от социализма, но и от всякой социальности жилищем некоего Глана, по имени Алексей, или Федор, или Кузьма, гуманитария, выпускника университета, обросшего бородой, с приусадебным квасом и Бог знает как добываемым хлебом, маковыми рожками: салат, огурцы, редиска; еще нам нужна, вероятно, корова — но только для молока, для сметаны, для сыра, вечно доящаяся и вечно живая, и поле картошки. И больно ли думать, что это, скорее всего, какая-нибудь высоковольтная подстанция с пьющими сменными, небритыми, в вылинявших футболках и засаленных ватниках? О, я не знаю! Я ничего не понимаю в жизни — о, ничего!

Темнела провалами между ветвей дикая бузина, ветер бежал по пустырям, заросшим астрагалом и чер-

тополохом, душил болиголов и плескалась река Москва.

Мужчина с черно-белым спаниелем впереди, и глядя на этого спаниеля, чувствую такую нежность, тепло и доброту жизни — этого мужчины — этого спаниеля, — что верю вдруг, будто все еще может быть хорошо, и даже для меня. Может быть, Бог вот так нас любит? — как этот хозяин свою собаку, и как собака — меня, даже не подозревая об этом, но озаряя каким-то удивительным приливом сил — от одного только вида ее забавного хвостика и загребущих мельтешащих лаптей.

Никакая не фрагментарность сознания — вернее, фрагментарность, конечно, осознание фрагментарности, наконец-то, после иллюзии целостности, после грубого, механистического стяжения видимых обрывков в мнимую целостность, догадка — что видим и знаем фрагменты! фрагменты! фрагменты! — срез непостижимой многомерности объема — а может, разъема? — а может, разноплотной безобъемности, содержательной? — в плоскости своей пяди земли. Догадались! — а значит, расширение сознания, как и самая маленькая, пусть даже малюсенькая догадка.

И зачем только мы переехали из Люблино? — Ах да, и забыла совсем: там душила литейка, и додушила до микроинсульта, отравляла мне всю мою ауру и астрал, ни одна мысль не могла прийти, не окрашенная угрюмой безнадежностью жизни, тяжело и невыносимо воняющей паленой серой.

«Дама в голубом» — напротив меня в метро — Константина Сомова. Сейчас она не в голубом. Нет — в

искусственной шубке, такой же потертой, как мой детский мишка из бобрика, с вывернутым стеклянным глазом и болтающимися ушами, которого зачем-то привезла мама, переехав ко мне. Как будто можно что-то исправить, вернуть, починить, а главное, чтобы тот ребенок, которому надлежало, по ее понятиям, отдать и посвятить жизнь — сначала ее жизнь ему, а потом его жизнь ей — был снова в полной ее власти. Голубое же у Дамы лицо. Именно этот русалочий, голубовато-тинный оттенок ее очень-очень блеклой ороговелой кожи привлекает внимание: печать смерти. Я уже сталкивалась. Видела этот неуловимый отсвет зеленцы под алебастровой кожей. У подружки Евы перед смертью. Когда крови уже нечего принести к поверженному наряду щек и висков. Это питание. Очевидно.

Удивительно, как наливаются быстро — прямо на глазах, на экране тэвэ — пуза и загривки. В считанные месяц-два-три — после избрания в депутаты, после восшествия на должность, после проявленной предприимчивости во время — в э п о х у дохватывания пирога социализма, вкуче с испекающими его печами, электростанциями, алюминиевыми заводами, вкуче с ежедневным рационом его п р о п а г а н д о п о с л у ш н ы х нахлебников, и рассовывания всего этого по карманам. Появляется галстук — «со вкусом»! — потом костюм (мерседес, джип, вольво), потом пузо (квартира «по европейским стандартам», загородный особняк, кредитная карточка), потом загривок. И все это лоснится.

И навсегда складывается родовая плутократическая знать новой страны: не вижу никакого выхода из

этого нравственного уродства, темного преступления за упавшим занавесом русского коммунизма.

Мы, русские, — по крайней мере все те русские, которых я знаю и которых читаю, — живем с постоянным желанием пустить себе пулю в лоб; даже те из нас, у которых — когда-то — не было никаких личных проблем с питанием и одеждой. Под воздействием этой тоски мы и пишем, и лепим, и снимаем, и кувыркаемся на сцене — и становимся удивительными мастерами в этих наших кувырканиях. Никогда нигде никакие другие желания и побуждения не приводили к подобным результатам. Никакое либидо.

Запах ели в доме, ниоткуда.

В ушах — подковка серебряная, на двух нотках звучащая... день и ночь, день и ночь: дальний кто-то весть подает, звенит, звенит в уши. Звук отдаленный тихих песен, что через улицу слышны, — *Entfernte Lieder* — сначала показалось, это доносится откуда-то православная служба. Но откуда? — не из Дворца же бывшего пионеров под окнами... Потом напомнило негра-газетчика в нью-йоркском метро — торговавшего по вагонам с рэповской припевкой и приплясом... Наконец, все эти звуки будто бы отчетливо начали складываться в *Kyrie*²⁰... Так призречен и так чудесен, Такие навевает сны... Дана такая сила баркароле Когда окутан белый мрамор тьмой Мчит Орион беззвучно и триоли Вдруг оглашают мир немой... И воспаряет он, но в чьи владения В чьи царства? — весь разорван, раздроблен, С крестами, вздыбленными в отдалении, Ни к цели, ни к

²⁰) Католический псалом «*Kyrie eleison*»

добру не устремлен... И только звук далеких песен, Неясный зов, приливы, Орион... Ты над золой костра, один, безвестен, И бивуак в молчанье погружен...²¹

Не думаю, чтобы это были звуковые галлюцинации. Я всегда слышала время от времени далекую, отдаленную музыку, приносившуюся то ли из поля, то ли из соседних квартир, то ли с Луны — в зависимости от пространственных обстоятельств. Она достигает моего слуха всю жизнь, иногда она так прекрасна, глубока и прозрачно-задумчива, что «хоть перо бросай», как сказал некто, не помню кто, в виду Толстого; больше всего на свойственную моему слуху музыку похож Бортнянский, и где я ее только ни слышу, в самых неожиданных местах — однажды в командировке, в заснеженном попечёнку поселке в Архангельской области я услышала эту таинственную музыку прямо на площади с партийными лозунгами и доской почета, будто из репродуктора, будто сквозь промерзший заиндевелый то ли парк, то ли сквер, сиявший зимним алмазным сиянием и пропускавший через себя, будто сквозь инкрустированное лдяной божественной красотой сито, это тихое-тихое, объемное-объемное — во все небо, во всю вселенную — звучание.

Это не «звучащая раковина»²², и не ковш, наполненный водою, на сухом табурете — это сам океан мироздания, пронизанный этим звучанием насквозь. Но

²¹ Стихотворения Готфрида Бенна в переводе автора

²² Название литературной студии, руководимой Н. Гумилевым в пореволюционном Петрограде в 1918-21 г. г.

почему же оно так слабо доносится до моего незадавшегося бедного слуха? — впрочем, и это ведь милость, за которую не устаю благодарить Тебя, Господи. Чем я была бы без этих звучаний? Что бы имела? — обделенная вконец, на грязном заплеванном асфальте, среди воняющего бензином «постиндустриального» (словцотол! — красивенькое, модное, произносимое со смаком) разора своей дорогой родины, в самом сердце ее — вымороженном каменном мешке, пустом и бездушном. Он ли обречен, или моя, такая, как у меня, подобная моей душа — как казалось Гегелю в «Феноменологии духа», разорванная и звучащая? — откуда мне знать, но дело обстоит именно так, это мне ясно.

— Найда приглашает меня в компанию по бизнесу.

— Какая Найда?

— Ну, черная лайка, подружка Шурика.

— Поняла, поняла... В какую такую компанию? По какому еще бизнесу?

— Торговать на Площади Революции.

— Чем?!

— Фантой, хлебом. Пивом.

— Боже мой! Ты совсем рехнулась. Зачем тебе это?

— Шурика кормить. Не может же он есть одну овсянку и макароны, как мы. Ему мясо нужно. Хотя бы кости. У нас тут фанта стоит в угловом магазине двести рублей, а там мы ее будем продавать по четыреста.

— Ты что, с ума сошла? Это же спекуляция!

— Так разрешили же.

— И кто ж у вас ее купит по четыреста, если можно за угол зайти и купить по двести?

— Вот. Найда говорит, покупают. Кому некогда. Поеду попробую.

— Нет, мама. Это что-то ужасное. Ну сколько ты там наторгуешь? А тяжести таскать тебе нельзя, тебе нельзя, тебе нельзя!

— Я на тележке. Найда подарила. На помойке нашла и мне подарила.

— О Господи! Ну как ты ее дотащишь, эту тележку, до Площади Революции? Как? Как? Как? Я ведь не могу тебе помочь! И потом, ты ведь страдать будешь, там стоять: главный инженер, лауреат государственной премии — и вдруг с фантой! Как Ахматова с селедкой в восемнадцатом году.

— Ничего, не буду, — решительно, ожесточенно заявляет она. — Немцам продавали же папиросы в войну!

О, диалоги Олдоса Хаксли! Point counter Point...²³

Перед окном пошатывается от ветра верхушка голого зимнего дерева, на нее навешены, точно елочные шары, облитые светом свечей, зажженные окна противоположного дома. Красиво.

Корзинка с пряжей. Елочные ветки
в бидоне из-под молока —
вот Рождество мое. И Первая соната
Бетховена, и кружевные ставни
на окнах, и тишайшее житье.
Вы не придете, ни к чему рыдания;

²³ «Контрапункт», знаменитый в свое время (в 30-е годы) роман Олдоса Хаксли

но все равно, я все-таки скажу,
раз все так ни к чему, —
что Первая соната — это детство,
чулки в резиночку и замиранье сердца
от света на полу и от печали,
от волшебства скрипичного ключа,
скрепляющего нас через века —
не с вами: вы нас знать не пожелали...

Ничего не надо. Какая глупость — показывать кому-нибудь стихотворение. Печатать его. П у б л и к о в а т ь. Как будто что-то могло измениться для него, для этого текста — что тогда, что сейчас, все то же, о чем в нем и сказано, что было мне ясно с самого детства, моего замкнутого, замаскированного под окружающий мир — под окружающий стадион — детства: Чтоб спрятаться, на то есть грим и маска, И пусть зрачок надтреснутый горит, Не предавая глубину огласке, овалом чистым пусть лицо парит... Среди садов в померкшем освещенье, Под небом, полным ночи и огней, Ты должен спрятать слезы и мученья, Чтоб плоть не выдала, что происходит в ней... Пробоины, разрывы, все улики Того, что в недрах кроется распад, Спрячь — сделай так, Чтоб с пенем дальним, тихим... Плыла гондола в каждый встречный взгляд!²⁴

Что-то дрожит и мерещится, какой-то образ, какой-то мальчик с собакой; ничего не могу вспомнить.

²⁴ Стихотворение У. Б. Йитса «Ляпис-Лазурь» в переводе Игоря Большечева

— Это просто удивительно, до чего ты осталась одна, — говорит она. — И вся наша семья распалась. Семья — это самое главное для человека. То, что никогда от него не отступится, всегда поддержит... Всегда.

... Занавешено большое трюмо. Мы с мамой и бабушкой приехали сюда, в эту большую полупустую ленинградскую квартиру, потому что дедушка Игнатий, муж бабушкиной сестры и мамин дядя, был при смерти, и вот теперь он умер. Пол усыпан елочными ветками. Пахнет хвоей и еще чем-то, незнакомым: вероятно, меня, как щенка, настораживает и тревожит запах чужого жилища, но я не могу еще этого осознать, не могу ничего этому противопоставить в своих скудных детских понятиях. Я страшно подавлена. Одна только няня Дуся вызывает доверие. Кто она такая и чья няня, мне неизвестно, но она как будто знает меня и все обо мне непосредственно с неких небесных скрижалей: что послано в мир такое-то вот наиважнейшее существо — Я — и что все это должны понимать и знать, но понимают и знают недостаточно, хмурятся, суетятся, не обращают никакого внимания, и только няня Дуся понимает и знает:

— Это и есть маленькая Зоинька, какая славненькая, настоящий зайчик, уже не такая дохленькая, как приехала из Жигулей, бабушка поставила на ноги, молодец, бабушка, молодец, Катерина Александровна, всегда была из них самая сильная, самая норовистая, захотела, убежала с приказчиком, и никто ничего не смог с ней поделаться, уехали из Питера, и все, только простить и оставалось, и простили бы, если бы, прости

Господи, не все эти ужасы. Живы были бы — все бы всё всем простили...

Бабушкину сестру Софью Александровну — бабушку Соню — я в тот приезд совсем не запомнила, можно предположить, что она была слишком убита горем, чтобы проявить себя хоть как-нибудь. Наверно, у нее была энергия на нуле, и никакой ауры от нее не исходило. Может быть, ее астральное тело находилось где-нибудь совсем не там, не совсем в том месте, где пребывало мое маленькое и в сильной еще степени эгоцентричное физическое, а именно — в старом кресле-качалке перед окном, в совершенно пустой, довольно просторной комнате, в которой время от времени появлялись какие-то люди, но которой я, как мне представляется сейчас, не покинула ни разу за все эти три или четыре дня нашего пребывания у бабушки Сони, даже в туалет не могу вспомнить чтобы ходила. А было мне лет пять-шесть. Сын же бабушки Сони, мой п р о ш е д ш и й в о й н у дядя, был в Германии, где его оставили служить после Победы, как и его жена и дети, приехавшие туда к нему из э в а к у а ц и и, и я никого из них никогда не видела, ни разу в жизни. Только получала от дяди красивые цветные открытки из Вены и Праги, Будапешта и Дрездена, где он был к о м е н д а н т о м, и на обороте этих открыток печатными буквами, которые я читала прекрасно, писалось, что я — м и л а я, м а л е н ь к а я, д е в о ч к а, и что он, никогда мною не виденный прошед

ший войну дядя Боря, всех нас любит. Из чего я заключала, может быть, несколько смело, что и меня он любит и понимает важность пребывания в мире такого

единственного существа, как Я. Мне даже и в голову не приходило, что еще кто-нибудь может быть для него так же важен.

Но меня ждало горькое разочарование, когда он приехал к нам в гости, и я всеми маленькими своими фиброчками почувствовала, что я для него — фигура абсолютно проходная, примерно как котенок, которого мы оставили в живых в честь окончания войны. Даже Катька, наша кошка, была ближе ему — потому что она существовала до войны и он ее помнил.

Зато когда он показал нам фотографии с в о е й с е м ь и — жены и детей, — я испытала форменное потрясение. Совсем даже не могу исключить, что оно сильно повлияло на формирование чего-нибудь во мне, на склад моей психики, а значит, на судьбу.

Во-первых, у него была д о ч ь! — твоя сестра, было сказано мне. Но какая уж там сестра, какая? — она была красавица, с необыкновенно складывающимися в улыбке щеками, чего у меня не было и в помине, с сияющими косами, толстыми, с бантиками, в белом платье, и, самое главное, с огромными, не поддающимися описанию глазами. Она была б а р ы ш н я, я не могла представлять для нее ну никакого интереса, это было ясно. И брат — мой брат! подумать только! — пронеслось у меня в голове, прежде чем я взяла фотографию в руки.

Пам! — та-ра-рам! — раздалось бы несколько взрывающих психику аккордов, вроде фортепианного концерта Грига, если бы этот эпизод надо было передать средствами кино: на фотографии стоял мальчик в

аккуратненьком темном костюмчике, в белых гольфах с кисточками — с м о и м л и ц о м.

Я подняла голову и посмотрела на дядю. Он ничего не сказал. Мама тоже. Никто этого не замечал! Никто!

Холодные, прозрачные звезды, как стеклянные шары на чистом издевательском небе, вольно дышащем где-то вдали еще тлеющей весной. Боже мой, неужели мы пережили зиму? — даже не верится.

Как у Платонова: старуха, обломок старого режима, умерла, а сирота вырос и принялся строить новую, радостную жизнь... Если так, если Ляпис-Лазурь*, Ляпис-Небес-Лазурь — истинная, горная, божественная — это «взгляд на все трагедии с высот», то какая разница — кто, когда, от чего и в каком количестве умрет, не помутит Ляпис-Лазури: Так истерички говорят — тошнит От всех этих мольбертов и смычков И от поэтов — что их веселит, Когда всем ясно: этот мир таков, Что если в корне все не изменить, То просто прилетит аэроплан И нам такой устроит кегельбан — Все разбомбит, и негде будет жить.

У всех свои трагедии идут. Вот бродит Гамлет, вот бушует Лир, Офелия, Корделия — все тут. Но пусть финал, пусть это сам Шекспир Под занавес, апофеоз страстей — Не пустит в стих ни плача, ни хулы Достойный выдающихся ролей — Он знает: Лир и Гамлет веселы. Избыт весельем ужас бытия. Вся жизнь — цепь обретенный и потерь. Вдруг — мрак. И небеса пронзают Я — Вот пик трагедии. И пусть теперь Трепещет Гамлет, проклиная Лир, И пусть финальный занавес опять На миллионах сцен опустит мир, — Трагичнее трагедии не стать.

Они являлись пешими, верхом, С морей и гор, и шли, и шли вперед, Культуры старые круша мечом, Потом и их не стало в свой черед. Где ныне Каллимах, который мог, Как с мягкой бронзой, с мрамором играть И статуи свои так одевать — Казалось, складки треплет ветерок. Его светильник, стройностью своей Похожий на приморских пальм стволы, Не простоял и двух коротких дней: Все поглощают времени валы, Все создается вновь рукой людей, И те, кто создают, те — веселы.

Китайцы, две фигурки, рядом третья, Исполненные тонкими штрихами На лазурите. Символ долголетия — Над ними птица с длинными ногами. Тот, третий, видимо, слуга, несет Какой-то музыкальный инструмент. И каждая щербинка синих сот, И каждый узкий цветовой сегмент Подобны лесу, склону и реке, И снегом занесенному хребту, И в то же время видно вдалеке Черешню или вишню, всю в цвету, У домика, куда идут они Втроем. И мне приятен обиход Их жизни, небу и горам сродни, Их взгляд на все трагедии с высот. Вот просит грустной музыки один. Простые звуки льются в небеса, И их глаза мерцают из морщин, Их древние, веселые глаза²⁵.

Ничего не скажешь, гениальное стихотворение. И перевод замечательный; английское *gaiety* — ощущение творческой, духовной энергии, этого таинственного приданного человеку от имени высших сил, — это то, что мы тоже зовем *в е с е л и е м д у х а*, но как же то-

²⁵ Стихотворение У. Б. Йитса «Ляпис-Лазурь» в переводе Игоря Бولычева

гда тем более может быть все равно — кто, когда, от чего и в каком количестве?..

Идет вот там внизу по дорожке между детским садиком, загаженном собаками и алкашами, и Дворцом пионеров по своей «Павловской аллее», как она ее называет, с дареной тележкой, переваливаясь с ноги на ногу, как утка. Голова трясется, расстояние преодолевается так мучительно — смотреть больно...

— А сколько вам лет? — спрашивает ее участковый врач Любакова, когда она отправляется к ней пожаловаться на непонятные боли в желудке. — Семьдесят восемь? Так в церковь пора ходить, а не по поликлиникам шляться...

— Потому что им мало платят, — поясняет мама. — Лечить теперь никто никого не будет.

— Можно подумать, раньше лечили, — зло говорю я. — На глазах у них теряю подвижность, ухом не веду.

— Ну все-таки, колено мне от подагры избавили. В санаторий посылали. Тяжпром оплачивал.

— Любакова, Любакова, — качает головой хозяйка карликовой Ники. — Пока мама болела и умирала, дети конфетки не видели, яблочка, пирожного: все к Любаковой в сумку шло.

— А Любакова наша что... Это известное дело — Любакова. Тот, кто ей дает, сует — с тем она и нянькается. Да и то толку — ну, приходит. А лечить-то она все равно не умеет. Приходит за коробкой конфет.

Визит ее незабвенный ко мне:

— Что с вами?

— Что-то совсем плохое случилось! Не могу ходить...

— Ладно, так и быть, выпишу бюллетень. Придете через три дня...

... Когда трон Абсолюта пустует, его узурпирует Относительное и, оскверняя Абсолют, творит подлинное кощунство — оно создает себе кумир из идеи, абсолютизирует конвенциональную абстракцию... Аллан Б. Оутс. Условную, вымышленную, подтасованную под интересы!

— Зоинька? Алло! Ну как ты? А помнишь, как тебе говорил папа Виль: не расшатывайте устои, они при крушении погребут вас под собою. Что-то вдруг вспомнилось. Людьюми движет социальная зависть. Всегда. Главный двигатель истории. А может быть, даже и прогресса. Я как тогда не могла найти няню, так и сейчас не могу найти домработницу. Не могу их вынести никого в доме. Тяжело с людьюми не своего круга, даже если им платишь, они все равно хамят. Даже еще больше. Я для них не писательница, а барынька с капризами. А ты с кем сейчас дружишь? Дружишь с кем-нибудь? Там был один мальчик в семинаре, Скрыпник. По-моему, талантливый, а ты как считаешь? Плохо, что ты разошлась с мужем. Плохо, что у тебя нет детей. Была бы хоть известность. Деньги — черт с ними, они такие все противные, я никуда с ними не хожу с женами. Просто тошнит. Тупые какие-то слоны, хитрые и тупые. Особенно англичане. Улыбочки на лицах, как намордники. На хищниках. Жалко смотреть, как они все полиняли — совковая элита. Писатели, киношники — творцы. Кинулись в «Чару», остатки спасать. По-моему, их там надуют — ты как считаешь? Ты туда положила? То что из Америки привезла? У меня есть знакомый, он тебя научит, как надо.

Как не привезла? А зачем же ты туда ездила? Так ты совсем одна? А твои братья и сестры? Где-то у тебя были? Кто-то к тебе как-то приезжал, я помню. Вы еще не ладили. Какая-то сестра. Какая-то начальница. Доктор наук. Что с ней сейчас? Поиняла? Или приспособилась? Приезжай как-нибудь в гости, я очень занята, как кочегар у топки — обеды, ужины, соки, стирки, собака, стрижка, парикмахер, аллергия, давление... Писать совершенно некогда. Кошмар, между прочим, ощущения жизни нету, душа как будто в аду, скитается по какому-то специальному кругу, у Данте он не описан. Вот хоть поговорила с тобой, как отдушина.

... Вопрос о том, подчиняет ли поэт свое творчество пропаганде какой-нибудь общественной позиции, не имеет значения. («Я считаю, — говорит он при этом). Плохие стихи ненадолго могут приобрести популярность, если поэт выразил распространенную в данный момент точку зрения; но истинная поэзия не перестает быть поэзией и после того, как эта точка зрения меняется... Поэзия обогащает наш духовный мир и оттачивает способность восприятия окружающего. Но нас здесь интересует не благотворное воздействие поэзии на индивида и не характер наслаждения, которое индивид от нее получает. Мы, очевидно, хорошо себе представляем как специфику наслаждения, которое способна доставлять поэзия, так и более широкое, не ограничивающееся наслаждением воздействие, какое поэзия оказывает на нашу жизнь. Если она не дает наслаждения и не воздействует на жизнь, это просто не поэзия... Предмет моего размышления — роль поэзии для общества в целом... И если среди нас не окажется несколько человек,

у которых исключительная восприимчивость соединяется с исключительной властью над словом, наша способность не то что выражать, но даже испытывать какие бы то ни было чувства, кроме самых грубых, придет в упадок... Всегда должен существовать небольшой авангард — люди, понимающие поэзию, не зависящие от своей эпохи и в чем-то опережающие, способные быстро усваивать новое. Развитие культуры не предполагает всеобщего движения к более высокому культурному уровню — это было бы просто марш-парадом: развитие культуры предполагает как раз сохранение такого рода элиты при условии, что основная, более пассивная масса читателей не отстает слишком... И под наиболее широко понимаемым социальным назначением поэзии я имею в виду как раз эту ее способность оказывать — соответственно содержащейся в ней энергии и достигнутому ею совершенству — воздействие на речь и характер восприятия всего народа...²⁶

Горячая майская пыль пахла черемухой, гиацинтами, торчащими из сумки, жасмином. Троллейбус выезжал на Бутырку — возвращалась из физтеха, где Алеша Зверев, по моей просьбе, наяривал «оксфордцам», студентам-физикам, у которых вела литературный факультатив — по их просьбе — про Элиота: просила его помочь мне создать у них хоть какое-то представление о мировой культуре.

На свете мог существовать человек, говоривший волнующие тебя, близкие речи, мог почему-то остано-

²⁶ Статья Т. С. Элиота «Социальное назначение поэзии» в переводе ведущего советского американиста Алексея Зверева

виться на тебе взглядом, но не останавливался, а если даже и останавливался, и даже откликнулся, и даже дарил тебе почему-то ни с того ни с сего гиацинты — ради праздника жизни, вероятно, и для тебя, и для себя немножко — все равно существовали какие-нибудь препятствия, вроде жены, детей, очень большой занятости делами, да просто, наконец, все это могло быть в другом веке, в другой стране. Или разница в возрасте в двадцать пять лет.

— Какая ты маленькая, хрупкая, — говорил Толя Зверев²⁷ (когда-то) — даже жалко брать у тебя десятку. Вообще-то я баб не жалею. На то они и бабы, чтобы гениев поддерживать и содержать, раз сами не могут. Давай, нарисую тебе картинку на память. Будешь потом всем показывать, что со Зверевым дружила. Может, даже разбогатеешь на ней. Две тысячи долларов будет когда-нибудь стоить. А жениться мне без толку. Это глупо. Я уже пробовал. Я не хочу не пить. Я хочу пить. Пить и рисовать — жить! Я же мужик!

Хозяйка Шарика водит вместе с ним на прогулки и предлагает всем маленькую худую собачку на смешных кожаных помочах: повесившегося одинокого тридцатипятилетнего ящиковца из нашего дома, инженера-электронщика (не приспособился).

Мальчик с собакой появился под окном общежития, где нас разместили в Ленинграде, когда мы приехали на первенство ВЦСПС. Я подошла к окну посмотреть, кто это там лает. Лаяла большая немецкая овчар-

²⁷ Анатолий Зверев (1935-1977) — выдающийся художник московского анеграунда

ка, которую держал на поводке довольно большой мальчик в темных брюках и темной футболке с гладко зачесанными назад светло-русыми волосами. Если бы мне зачесать таким образом волосы, у меня было бы то же лицо. Даже в крупности не уступало (голова у меня была дай боже с самого детства, мама никак не могла смириться с размером шапок и капоров и всегда покупала тесные). Сразу промелькнуло что-то на сердце, какая-то дымка воспоминаний, которую мальчик тут же развеял, обратившись ко мне, когда я высунулась из окна:

— Скажите пожалуйста, тут должны быть теннисисты из Российской Федерации. Вы мне не подскажете? Мне нужна Зоя Белова, моя сестра.

Я быстро спрятала грусть в дальний кармашек своей тренированной души и сбежала к нему по лестнице общежития.

— Здравствуй. Папа услышал по радио, что ты участвуешь в этих соревнованиях, позвонил им и послал забрать тебя к нам домой.

— Как это забрать?

— Ну, чтобы ты не жила неизвестно где. Говорит, как это моя племянница приехала в Ленинград и будет жить неизвестно где.

— Так я же в команде.

— Я ему так и сказал. Он не понимает, что такое спорт. Ждут нас обедать.

Я отпросилась у тренера — встреч в день приезда не было, и мы пошли.

На углу Литейного и Пестеля²⁸ Виталик сказал:

— Если здесь сесть на трамвай, через несколько остановок будешь у бабушки Сони с Ириной.

— Плохо представляю себе, хотя мы и были у бабушки Сони с мамой. Когда я была совсем маленькая, и потом, когда приезжали на ЦС «Буревестника».

— А я где был?

— Не знаю. Кажется, в Крыму.

Му-у-у, мычало внутри. Почему-у-у? — не знала тогда, и сейчас не знаю. Маленький теленок, брошенный на лугу, одинокий олененок в зимнем лесу мычал и плакал от беспомощности и любви — может, просто потому, что ребенку противоестественно быть единственным и расти одному; или так два щенка подходят или не подходят друг к другу во дворе, бодаются, скрещивают лапы и уносятся друг за другом по кругу — или проходят друг мимо друга спокойно и равнодушно, не поведя носом. Кто знает, какому Фрейду доступны эти тайны Вселенной? — смешно.

Три маленьких люциферчика родились в один день, в один час в разных странах (или в разных городах, какая разница).

Одному не нравилось, как Бог устроил зиму и лето — зима слишком длинная-длинная, все снег да снег, лето слишком короткое и чрезмерно прекрасное, такое, что трудно выдержать... Хоть плачь.

Другому не нравились люди — злые, мелочные, жестокие, вероломные, глупые, корыстные, слепые: я не умею жить среди людей, я не имел ни время ни

²⁸ На этом углу, Пестеля 24, жил в то время Иосиф Бродский

охоты делить их шум, их мелкие заботы — любовь мое все сердце заняла...

Третий... Не желал умирать, не желал, чтобы умирали и страдали другие, ему не нравилось, что кровь способна проливаться из вен и кожа такая тонкая — цветок, зверушка, прекрасные, как любовь — ему казалось, что он любит их больше, чем Творец вселенной, и хотелось устроить все иначе на белом свете...

Белое на белом...²⁹

Простит ли нас когда-нибудь Господь?

Тетя Маша, мать Виталика и жена моего дяди Бори, встретила нас ворчанием — сосиски перекипели, пока мы болтались неизвестно где, потому что Виталика только за смертью и посылать, а я вообще что себе думала — я собиралась или не собиралась повидать дядю и тетю?

Виталик спешил на тренировку и ничего этого будто не слышал — выхватил прямо из кастрюльки сосиску, схватил булочку из хлебницы и убежал, а сестра Саша следила за его движениями с поджатыми губами и на изумительно красивом лице ее было яснее ясного написано: а мне тут сидеть и неизвестно о чем беседовать с этим провинциальным ублюдочком в теннисных тапках.

Дом выходит подъездами в сторону речки, пустырного сада, а другой стороной — во двор, в каре, очерченное грязно-белыми длинными девятиэтажками, представляющее собой пространный грязевеющий пус-

²⁹ Излюбленный эстетами 60-70х принцип художественного и киноизображения

тырь величиной с три, а то и четыре теннисных корта, или, например, вырыть и облицевать изнутри, чтобы вода не утекала, бассейн — pull, или, еще лучше, pond, искусственный пруд — на радость обитателей этих бетонных голубятен. Всегда, если и вспыхивали вдруг какие-то бытовые пожелания, мечтала жить во дворе с кортом и бассейном; Москва — как раз такой город, где это можно устроить в каждом квартале, с таким безмерным, тоталитарным размахом они выстроены.

Холодное вербное воскресенье, уныло. Широкие полосы грязи под окнами, не заросшие еще сорняками, скрашивающими русскую жизнь в течение короткого лета, завалены мусором из окон и с балконов: продрогшие на ветру газеты, пакеты из-под молока, пачки сигарет, бутылки, много битых (естественно, они ведь летели с пятого, седьмого, восьмого, девятого этажа!) На голых ветвях высоко, как знамена, распластано ветром грязное тряпье: пионерская блузка, феноменально-советские панталоны, изодранные а клочья, окровавленная тельняшка... Курят — Мальборо, пьют — Аморетто (судя по составу сора), почему-то не могут дойти до мусоропровода на лестничной клетке прямо за дверь... Просто Шайка Красной Розы какая-то, распустившаяся вконец и горланящая изо всех окон «ужратыми» голосами.

Шурик вынюхивает куриные кости, трубчатые, которые ему нельзя, и того и гляди порежет лапу; я в отчаянии. В Пустырный же Сад идти слишком холодно, слишком далековато — при такой погоде я не ходок даже за счастьем.

Срываются с неба редкие колкие снежинки — плачут.

Серебрится верба.

Господи, так неужели же культура — это грех, люциферианский: стремление к со-творению мира, гордыня, Вавилонская Башня?

ОТЧИЕ СНЫ

Я в очень-очень темной комнате, но не настолько темной, чтобы не чувствовать неполноты ее замкнутости, ее сообщаемости с чем-то то ли еще более темным, то ли, напротив, таящим в себе некий свет, который сочтется невидимыми путями в мое душевное зрение, — некой утечки пространства, воздушного или безвоздушного — тоже очень сомнительно, поскольку мне горько и тяжело, и воспринимаю я это как тихое удушье жизни.

Здесь нет ничего, что вызывало бы во мне любовь, ничего из моих излюбленных предметов или явлений — ни фиалок с их круглыми листиками и любопытными кроткими личиками, ни лампы с большим и млечным абажуром над подушкой дивана, ни серебряной пепельницы с вырезанным листовным узором по бокам, дырчатым, и с золоченой фарфоровой чашечкой в глубине, ни даже веяния прохлады в выходящее в майское утро окно, часов в девять. Всему этому не суждено здесь быть.

Мне больно, оттого что в жилах течет темень и несовершенство, кусающее себе губы от досады, завидущей обиды и уверенного чувства несбыточности: несо-

вершенство, отделенное от совершенства этой вот темнотой, надежностью этих невидимых стен, возведенных не мною и давным-давно, задолго до моего появления в том костном и жильном составе, который пребывает в мучительной темени сна.

Я никогда не видела своего отца, ничего не знаю о нем, но, оказывается, ношу в себе проклятье его души, раздираемой этой несбыточностью и обидой, — так мне сказали сочащиеся струйки то ли дыма, то ли пепла, то ли отработанных молекул це-о-два других поколений, другой нищеты и других обстоятельств.

Я плачу, вспоминая этот сон, потому что двор под моим окном золотой и ракита зеленая, солнце искоса достает своим феерическим жезлом до напротив стоящего не очень красивого, но сейчас как будто бы светящегося дома с зарешеченными и застекленными голубятнями лоджий, жалких и унижительных в своем разное, разноформье, разнотряпье и разногрязье, а небо, осеннее городское небо подернуто рябью сизых отар, с беззвучным бляением несущихся куда-то, где небо синее, кусты пахучие и море теплое.

Где в белых штанах гуляют по пескам Капакабаны.

Неужели и мой отец хотел въехать в Москву на белом коне? — а кончил свои дни каким-нибудь несчастным подзаборным, одиноким и больным, долго и беспомощно умирающим в запертой, никому не нужной, пока он жив, комнате или квартире?

Куда несутся сизые отары — туда стремятся уже другие, более поздние отцы, у которых отверзлась карта в уме. На белом коне.

Границы сознания.

У пятого подъезда спит на асфальте, отдыхает от безысходности существования известная дворовая пьянчужка с заголившейся в некартинной позе спиной, дворовый же бездомный и бесхозный пес с заголившимся от авитаминоза хребтом, включая хвост, облизывает ей уши, отодвигая носом шапку и смакуя пряди грязных волос. Клены брызжут сияющими фонтанами апельсинового сока джей-севен.

Этот человек является мне во снах перед дождем. Он никак не выглядит, я не знаю, какой у него рост, строен он или тучен, имеет ли волосы темные или светлые, ночь или небеса у него во взгляде. И уж тем более не имею я ни малейшего представления о покрое его костюма, добротности ткани и степени соответствия последней парижско-саксонско-нью-йоркской моде. Бывает, он говорит, но ни тембра голоса, ни высоты его не существует — речь беззвучна и, не исключено, безъязычна, и смысл порой уходит в глубокий и вязкий песок ночи. Его отношение ко мне — самая большая тайна этих снов, но связь, безусловно, существует: он неизвестно чего и сколько знает обо мне, может быть, даже все, от него исходит некая воля — но трудно понять, желания ли это, хотя она и обращена некоторым образом на мои поступки, и даже чувства, и даже — что самое тяжелое — мысли, и я просыпаюсь в слезах.

Часто то, что было ночью, представляется мне таким важным, таким сокровенным и шевелится во мне так долго, что кажется, будто это и есть подлинная моя жизнь, а все, что происходит днем — только случайность, только отвлечение на что-то ненужное и пустое, к тому же — несбыточное, ни к чему не ведущее, не свя-

занное с чем-то главным, почему, от чего и для чего мне суждено мучиться и страдать неизбывной болью дневного ранящего бытия.

Да и человек ли это? Комок какой-то энергии, наделенной заданием, но тем не менее, я знаю, он был явлен мне, воплощен то в одном, то в другом персонаже моей судьбы, моей биографии. Иногда, может быть, в одной только встрече, мимолетной, не имевшей никаких продолжений и видимых последствий.

Он недоступен, хотя является и является, и, я знаю, придет еще.

Иногда он светел и солнечен, несет сияние, любовь и радость. Но я не могу позвать его, когда он мне нужен, — он приходит всегда неожиданно.

И всегда это он — никогда не она.

И всегда, просыпаясь, я довольно скоро осознаю, что в жизни (моей, по крайней мере) этого нет.

Но вообще в жизни это есть. Временами. Часами. Днями. Месяцами. Годами. Минутами.

Почти всегда он хочет чего-то совсем другого, чем я.

Чего он хочет от меня?

Вообще-то, в нормальном, дневном состоянии — я знаю. Во сне — никогда.

А то — лет тридцать тому назад — мне снился таз, наполненный кровью, в котором плескался и мучился обрубок человеческой плоти: голова с выбухшими покрасневшими глазами, хорошие густые волосы и кусок торса с обрубленными плечами, но тем не менее было ясно, что все это принадлежало сильному и крепкому юноше в возрасте призывника.

Я, дура такая, десятки лет не могла понять, что бы это все значило, за что мне такое показали.

В тишине над лобным местом открываются золотые глаза Бога!³⁰

Ледяной страх течет в дебрях ночи по извилистым руслам. Стылый свет луны, смешанный с неоновым свечением, ложится узкой полоской на пол, внедрившись в комнату в зазор между половинками шторы. Серебряный свет так молчал и млел в Гефсиманском саду.

Как сидишь перед дверью операционной и ждешь вызова.

Это ужасно, ужасно. Для меня Он — это абсолютно главным образом телесно пострадавший человек. Как тот, в тазу. Поэтому-то я и не допустила его до этого. А Его Отец допустил.

Смерть это цена жизни. Во плоти. В красках, запахах, теплоте южного моря и холоде полярных торосов. Все-то нам явлено, что нам положено, все говорит с нами через брэнную плоть. Духу невоплощенному самого себя мало. Ему подай сладость и боль. Подай кровь. Подай таз.

Сына на Кресте Ему подай.

А я — что же я натворила, что натворила!

ЭДЕМ

Никакого желания жить. Эти плотные шторы, прокуренные насквозь, и заслоняли, и приоткрывали улицу. И то, и другое наводило тоску. Потому что скрытая

³⁰ Строчка Георга Тракля

часть, возможно, и таила в себе жизнь, которой не хватало; по той части улицы, возможно, и шел сейчас тот, который тот, а в приоткрытом просвете, в полметра шириной, стоял изъеденный влагой мартовский серый смог, каркали вороны, а может быть, грачи, неважно, какое это имеет значение, она знать ничего этого не хотела, ей было неинтересно, Боже мой, почему это все так неинтересно, что вокруг, что вот тут вот, в просвете, перед глазами, что зачем-то дано, навязано, и бери, и скажи спасибо... Но если она чувствует ко всему этому одно только отвращение и тоску. И никакого желания жить.

Она вернулась на тахту, на свои два на полтора, застеленные пледом, в свое убежище от всего навязанного и мерзкого, серого, кричащего и харкающего, хрюкающего, голосащего вокруг, стоит только сойти с тахты и сделать хоть шаг в сторону. Плед был красивый, вот он ее устраивал. Мягкий, верблюжий, мохнатый — пальцы утопали в нем и передавали всему ее существу сигнал приязни и ласкового довольства, минутный, а потом забывалось. Но каждое соприкосновение с ним было блаженством. Она зажгла свечу на столике перед тахтой. Свеча, вне всякого сомнения, самая волшебная вещь во вселенной. Она может все, что угодно. Может Рождество, хотя сейчас март на улице и грязная распутица дня рождения Клары Цеткин, как одна девочка в школе называла Женский день. Может (свеча) платье... какое? Да, стало быть, на ней черное короткое платье, слегка приталенное, но только слегка, очень-очень слегка, с большим вырезом на спине, а впереди — под горло. И на одном плече — бисерное

шитье, черный эполет с шелестящими, шуршащим, шипящими бахромчатыми краями. На ногах — черные чулки. Ведь все это ей дал Бог! (имеются в виду ноги). И черные тусклые туфли на совершенно маленьком каблучке.

Вокруг одни только приятные люди. Приятные, ухоженные, красиво одетые, в обниму с подарками в больших красивых коробках. Ну Боже мой, неужели это невозможно и недостижимо. И конечно же, все это может происходить только двадцать пятого декабря, чтобы длиться непрерывно до Нового года, а не какого-то тусклого, нищенского, никому ничего не говорящего, кроме убогих и калек, январского то ли праздника, то ли плача, в общем, всхлипа какого-то одинокого в веселом и подвижном, таком занятом, деловитом мире.

Это вот ее тетя (которой на самом деле не существует). Тетя Жерардина. (Они ее между собою — она с братьями и сестрами, кузенами и кузинами, конечно же зовут Жердиной: высокая, худая, со впалыми широкими щеками и всегда в светлых костюмах, да еще и в продолжную полоску, что, естественно, соответствует прозвищу.) Она очень добрая. Особенно к ней, к Виктории, своей младшей и любимой племяннице. На Рождество она подарила ей... подарила ей... Что бы такое получить от тети Жерардины? Теннисное платье, вот что она ей подарила, тетя Жерардина. Впрочем, на теннис она и в самом деле начинала ходить лет в девять на стадион ЦСКА, но и года не проходила — было скучно, муторно, пыльно, неизвестно, ради чего. Но конечно, когда бы такие вот платья, настоящую ракетку Шлезингер и белорозовые кроссовки — все было бы по-другому: и горя-

чий душ на стадионе, и пирамидальные тополя вокруг кортов, как во французских фильмах, и исключительно приятные люди вокруг — на кортах, как на яхтах: она — в матросской кофточке и темно-синей юбке, с волосами, забранными под большой козырек... Матроску ей пусть подарит на Рождество сестра Вера, ее будто бы старшая замужняя сестра, муж — молодой миллионер, промышленник, производит автомобили... Нет, очень банально. Да и одними автомобилями сыт не будешь. Так что пусть займется делом: тракторы и сенокосилки.

Треволнения? Жизни без треволнений не бывает: надо выбирать... Выбирать из двух: он и он. А может, из трех? Нет, не надо. Как-то лень. Двух вполне достаточно. Он-брюнет и он-блондин. Нет, такой русый, с серыми глазами, волосы слегка волнистые. Вот, видит его. Чем интересен? Пишет стихи, студент Гарварда, приехал на Рождественские каникулы. Серж. Застенчив, но безумно корректен. Только смотрит. Но когда смотрит, плакать хочется. От счастья — до того несчастный, просто кричащий взгляд. Пять-шесть дней, считанные минуты, взгляды — и он уедет. А Грегори останется. Сейчас Грегори стоит с бокалом в руке и насмешливым взглядом следит за Сержем. У него гладко, назад зачесанные волосы. Маленький шрам на виске, тянется из-под корней волос. Мягкий взгляд очень-очень теплых, душевных, пряных карих глаз — но это обманчиво, она знает, как он свирепеет. Остаться с ним наедине, и чтобы никого не было, и никто не помешал, не мог помешать — ее мечта, но пока что того не удавалось. Ее жизнь устроена так, что им негде увидаться наедине. Утром — в школу, из школы — домой, и если хоть чуть-чуть задержишься,

бабушка тотчас трезвонит маме прямо на работу. Да и где можно задержаться после школы? Даже если есть деньги, а уж у Грегори, надо полагать, денег хватает - иначе бы он здесь не появился, на этом Рождестве. Зачем? — неинтересно. Начнешь выдумывать — и ничего не получится: чуть ведь что, сразу понадобятся деньги: чтобы Сержу прилететь на Рождество из Америки, чтобы попасть потом с Грегори в Париж (убежав из-под бдительного ока бабушки), весна, Мон-мартр, пармские фиалки... Они заходят на выставку знаменитого русского художника, эмигранта, — и нате вам, пожалуйста, Серж! И она опять не может оторваться от его взгляда, и ей хочется плакать от счастья и сейчас же, немедленно остаться с ним вдвоем, наедине — послушать, что он скажет... скажет... скажет... Она уверена, что Серж, когда заговорит — только рот откроет — сразу заморозит ее и завоюет ее сердце. Она уже не сможет жить без его речей. Это — как шампанское у мамы на дне рождения, когда она вдруг неожиданно для всех и для себя самой прямо по стенке пошла танцевать какой-то дикий танец вприсядку, а все стояли вокруг и умильно хлопали, только мама хмурилась. И она не может этого забыть потому что стоит маме на нее рассердиться — у нее пропадает всякое желание жить. Все опускается внутри, как будто она в пузе удава.

Но Сережа на самом деле все не звонит и не звонит. И зачем только она дала ему телефон! Если бы знала, какое будет мучение, ни за что бы не давала. То он не звонил, и мыслей никаких не возникало: они встречались во дворе иногда, гуляя с собаками, и это было нормально — он поглядывал, болтали всякую чепуху,

даже про школу, можно было подумать, что оба — примерные, однако по каким-то неуловимым признакам чувствовалось, что это не так на самом деле, что им обоим все это смешно и даже противно. Все это лицемерие и умные морды. Совершенно ясно — если бы географичке ее, Викины ноги и все остальное, она бы давно уже была в Рэд Зоне, а не у них на уроке в своем обтягивающем пузо допотопном джерси.

Но вся беда в том, что и у других есть ноги, и другие гуляют по улицам с собакой, и одеты шикарно, ничего не скажешь, все-таки мама ее хоть и любит принарядить, а все равно вот так вот всего-всего-всего у нее нету. Да и мама вряд ли догадывается, что ей на самом деле может понадобиться. Все-таки живут они отдельно, и этим все сказано. Хотя отчим, конечно, не жадина, но Сережа может так вот поговорить, как с нею, и с той же самой Жаннкой, которая ходит с афганом и у которой все вещи всегда только клевые, а волосы — рыжие и блестящие, как реклама девочки-что-надо. Неужели она его любит? Неужели это вот все и есть любовь — эта ужасная тоска, ничего не интересно, в школу уже три дня не ходила, с того самого дня, как дала ему телефон: все ждала, вдруг он позвонит? Бабушке сказала, что пошла в поликлинику и что ей дали справку, а на самом деле неотлучно прокараулила его во дворе, хотя, кажется, он учится а первую смену, все одиннадцатиклассники так, но мало ли что — он, может быть, действительно прихворнул, так, несильно, и по-настоящему пойдет в поликлинику или погулять со своим Дейнекой. (У Сережи папа художник, так он объяснил ей кличку собаки. А может, заливаает, правда, разговари-

вает он вполне прилично, может и правда, у него интеллигентные родители. Но что-то ей подсказывает... Что-то ей подсказывает... Какое-то чутье, что ли, в общем, что на самом деле для Сережи это не главное. А... А... Ну, в общем.)

У нее же никаких сил ни жить, ни ждать. Она не может пережить, вынести этого состояния. Если бы ей раньше сказали, что такое ждет ее впереди, ни за что бы не согласилась родиться. До сих пор она считала, что жизнь — это любовь, фантазия и искусство. Ей представлялось несомненным — словно кто-то уже давным-давно сообщил ей об этом — что она будет киноактрисой, все будут ее знать в лицо и добиваться ее взаимности. А ей надо будет выбрать... А это не так легко, в этом она отдавала себе отчет. Красивый, умный, добрый, смелый — какой? Какие установить приоритеты? — вот в чем задача. А оказалось, на деле, что она не знает, какой он, Сережа. У него слегка волнистые русые волосы, серые глаза — да, все это можно констатировать, все эти анкетные данные. Но она совершенно не видит его изнутри, как Сержа, которому она отдала часть Сережиных примет, но довела как бы до совершенства тот внешне-внутренний портрет, к которому ее тянуло в серой дневной полумгле ее маленькой комнаты, в которой она всегда одна, и днем и ночью. Она не может здесь больше находиться.

На цыпочках выйдя в коридор, она тихонько сняла с вешалки куртку, надела сапоги и бесшумно открыла входную дверь — оденется там, на лестничной площадке. Но ровно через минуту после того, как хлопнула за нею дверь (вернее, просто щелкнул замок, так

бесшумно она ее закрыла), бабушка была тут как тут и высовывала голову на площадку:

— Ты куда это собралась?

— Заткнись! — неожиданно для себя тоскливым голосом выкрикнула Виктория и побежала вниз по лестнице, на бегу соображая, успеет или не успеет бабка спуститься раньше нее на лифте.

Но внизу никого не было.

Дворовый тротуар весь заляпан грязью: машины, люди, собаки разносят по нему грязную землю с газонов, вернее, с того, что по градостроительным планам оставляется под огромные, наверно, газоны, в масштабах этого нечеловечески огромного города, с грандиозным размахом его земельных угодий, которые не под силу приаккуратить населяющим их людям. На душе было паршиво. Она ведь вовсе неплохо относится к бабушке, знает, как обязана ей всем мама — тем, что она согласилась взять к себе Викторию и таким образом проторить дорогу другому маминому счастью. Но зачем она везде суется? Если бы был кто-то третий, откуда-то со стороны — или еще лучше, с высоты — сказал ей: ты не права. Дай девчонке жить. Раз вы допустили ее появление на свет, нечего теперь локти кусать. Не будь деспотом. Что-нибудь в этом роде.

Лужи воняют бензином. Дети так вымазаны в грязи, в которой ковыряются со своими лопатками, что страшно на них смотреть. Высоко поднимая ноги в белых кроссовках, пересекает «газон» Жаннка. Она без афгана. Лицо унылое: думает, никто на нее не смотрит. Вот тебе и раз! Неужели и у нее такие же точно мысли

и, чего доброго, Вика представляется ей как раз той самой девочкой-что-надо, у которой все при ней. Но Вике от этого не легче. У нее болит и умирает душа. Она любит Сережу, и ничем другим она не в силах заинтересоваться.

Вышла под аркой на улицу, огляделась по сторонам. Идти некуда. Ну хоть бы что-нибудь придумать, хоть какие-нибудь интересы, друзья. Хоть куда-нибудь ей было бы нужно. Никуда. И она никому не нужна. Никому в целом свете. А вдруг так будет всю жизнь? А как же тогда кино, как она туда попадет? Нет, к ней просто на улице должен кто-то подойти — кто-то умный, знаменитый, режиссер или продюсер, и сказать: — Девушка, можно вас на минутку? — и открыть перед ней дверцу автомобиля. А дальше — студия, пробы, первый ее фильм по телевидению, пусть даже клип, какой-то музыкальный кпип, даже лучше, если клип, это теперь куда больше ценится: она в ковбойской шляпе, в галифе, она в белом платье с кружащимся подолом, она а бикини, в бермудах, в лосинах и розовом свитере с широченными рукавами - и все она, ее улыбка, ее ноги, ее грустные удлинённые глаза с берилловым отсветом. И Сережа, встретив ее в следующий раз во дворе, подходит и спрашивает: — Слушай, ты почему такая грустная?

— Ты что это как в воду опущенная? — на самом деле спросил у нее Сережа, подойдя сзади.

И это было удивительно. И ясное дело, не случайно: кто-то вел их друг к другу, его и ее.

— Я? — тем не менее уточнила Виктория.

— Ну не я же! — мгновенно подхватил Сережа: разговорная реакция у него была изумительная, Виктория ему прямо завидовала и досадовала на себя, что вечно минут пять роется в уме, что бы такое ответить: как тупая. А на самом деле она ведь не тупая, тупые — это все вокруг, включая Жаннку, конечно. Отметки, ясное дело, не имеют к этому никакого отношения. У них а классе есть двое, почти круглые отличницы — тупы до омерзения, просто какие-то автоматы, все знают, смотреть тошно.

— А ты что, веселый, да? Деловой? — нашлась наконец Вика, как завязать разговор.

— А что, не видно? Пойдем, покажу!

— Куда?

— Вот именно, куда? — Сережа обнял ее за плечо, как бы ненароком, просто чтобы заглянуть в лицо, и тут же опустил руку. И она вдруг почувствовала, что он тоже думал о ней все эти дни, и пока они не виделись, время шло и делало какое-то неведомое для нее дело, которое только сейчас вот и выявилось.

— Так чего же ты не позвонил? — осмелилась наконец спросить она, уже как бы не ожидая неприятного для себя ответа, как бы получив уже кое-какие предпосылки его лояльности.

— Ты знаешь, я хотел, но как-то... Времени не было. И потом: ну, позвоню, ну а дальше что? Ты ведь еще маленькая...

Это было прямым оскорблением.

— Ну ладно, я пошла, — постаралась она сказать небрежно, как только хватило выдержки и душевных сил.

— А куда, если не секрет? — как ни в чем не бывало, подхватил Сережа и, как всегда, застал ее врасплох.

— Ну знаешь, это так неинтересно для таких, как ты...

— Каких это?

— Ну, в поликлинику.

— Пойдем.

Пришлось идти. Пришлось спросить в регистратуре, когда принимает участковый врач, и это просто счастье какое-то, что он не принимал прямо сейчас. По дороге разговор был совершенно односторонним — ее парализовал страх, и она мямлила. Не понимала почти, что говорит.

— Проверяться?

— Что значит?

— То ли да, то ли нет?

Какой ужас, горело у нее все внутри, значит, он думает не о том, какие у нее красивые ноги, курточка, которая ей, говорят, очень к лицу, не о том, в каком красивом она была или могла бы быть платье на Рождество, а о том, что у нее под платьем — о ее гениталиях, как выразилась мама, объясняя ей появление первой крови в трусиках, — а чего же тогда ожидать для души? Если бы его интересовали ее переживания, то, что у нее на сердце, — он бы никогда ничего такого не сказал, потому что понял бы, какой она от этого испытает сейчас ужас, этот вот горячий ужас, который испытывает. Ничего такого не сказал, но подумал — это тоже не выход... Где же выход? Как бы ей х о т е л о с ь, чтобы было?.. Ну да, чтоб и не сказал, и не подумал, а думал бы о чем-то совершенно другом... О чем же? Париж, парм-

ские фиалки... Нет, не то. Все было безнадежно испорчено, и когда они подошли к дому, она уныло уставилась в сторону и сказала:

— Не знаю, что и делать...

— Придешь в другой раз, — бодро и с моральной поддержкой в голосе взял ее под руку Сережа. — Еще раз школу прогуляешь — то ли плохо?

Значит, он знает, что она прогуливает школу?! Это было сюрпризом. Вот это была настоящая близость. На душе потеплело.

А вот т е п е р ь — было совершенно непонятно, как он мог не звонить ей т е п е р ь, когда они вместе побывали в раю: он так и сказал ей:

— Теперь поняла, к чему все люди стремятся?

— М-гу, — прошептала она, уничтоженная в прах его натиском, вся мокрая и внутри, и снаружи, а он курил и щекотал ее шею у затылка под волосами.

Он стащил у отца ключ от мастерской и сделал копию — ради нее, сказал, чтобы она не подумала, что он так делал и раньше, но тут и думать было нечего — ясное дело, что он все, все знал — где, как, что, чего. Все он знал, этот Сережа. Она же не знала ничего. И теперь не звонит. Неужели так бывает? Нет, так не бывает. Невозможно в это поверить, что так может быть. Чтобы она так изнывала, как бумажка в пепельнице, а он и в ус не дул. Это он нарочно, наверняка хочет, чтобы она грохнулась с балкона. Но ведь это глупо — зачем же ее терять, если им было так хорошо? С любимыми ведь — не расставайтесь. Может, он ее и вовсе не любит? Нет, этого тоже не может быть: та-акие поцелуи, та-акие ощущения. Нет, нет, что — то тут не то. Или — д

о т о г о любил, а потом разлюбил. Такое бывает. О таком пишут в книжках, ставят в кино и в песнях поют. Хотя она и считала, что уж к ней это никак не может относиться. С ее глазами. С ее ногами. В ее двусторонней курточке и настоящих джинсах Вранглер. Глупость какая-то. При чем тут джинсы? Чу а что тут при чем? Что? Что? Что? Не звонит же! И хоть умри.

Вообще ни на чем невозможно сосредоточиться. И раньше-то жить было неинтересно, а т е п е р ь невозможно. Жить невозможно, вот. Жить здесь невозможно, в этом мире, который так устроен, как он устроен. Она ничего этого не хочет, ничего не хочет, кроме Сережи. Кроме того, чтобы позвонил Сережа. Ничто больше не имеет никакой цены. Ни школа (это даже смешно), ни еда (никогда ей не придавала большого значения). Ни бабушка (вообще бы не видела ее сейчас, Виктория сидит затворившись у себя в комнате, лишь бы не столкнуться с ней лишней раз на кухне), ни мама, ни маленький братик там у них, на Юго-Западе, ну какое ей, Виктории, до него дело? Ну какое, какое, какое? Ни даже свечка, ни верблюжий плед. Париж! Монмартр! Пармские фиалки! Смешно вспомнить. Вот тебе и Париж. Вот тебе и Монмартр. Вот тебе и пармские фиалки.

Выйти бы на улицу, подойти к первому встречному и сказать: «Сделайте что-нибудь такое, чтобы мне стало легче». Осмелиться бы! Тогда она, может, и стала бы личностью. А так... пропадает тихо, как кукла. Противно чувствовать себя куклой, болванкой какой-то, Джильдой из оперы «Ригалетто». Жизелью долбаной. Хочется постоять за себя.

Она одевается, говорит бабушке, что идет в школу на встречу со спонсорами (которая и правда там состоится, а может, не состоится, это ей все равно), спускается в метро и едет куда придется.

Выходит на Арбате. Фонари, кафешки, люди. Апрельское солнце убивает, глаза слезятся. Скучно безумно. И во рту, и в душе, и под ложечкой горько. Бирюза. Хризолит. Архимандрит. Иеромонах. Что толку. Что толку. Разве что колечко с бриллиантом. Если бы т о г д а на ней было колечко с бриллиантом, может, он и понял бы, что с ней так нельзя — она не какая-нибудь... какая-нибудь... а какая интересно такая и вообще она какая? Вот сейчас она никакая, это ясно. И сколько это может продолжаться? Минут, часов, недель, лет? И что может быть потом? А ничего не может быть потом, вот эта гнусь и рябь перед глазами — матрешки, майки, мопсы, бессмысленные картинки: овраги, горы, реки, майки, мопсы, удавы, тритоны, питоны, кобры, креветки, статуэтки, иконы, пижоны в драповых пальто. Вот этого видела, еще когда вышла из метро. Еще в вагоне с ней ехал. Конечно, может, и не пижон, пальто его, наверно, о-хо-хо когда было куплено, когда она под стол пешком ходила, но ничего, носить можно. Смотря для чего его носить. И зачем вообще жить. Смотрит, кретин, на бирюзу. На хризолит. На матрешки. На картинки. На нее. Чего вылупился, дурак. В гробу я эти твои картинки видела: овраги, горы, реки, иконы, питоны, кобры, креветки, статуэтки. В гробу, в гробу, в гробу.

— Вы сама как произведение искусства.

— Да-а-а? Еще чего!

— Да нет, ничего, просто так, конечно. Не налюбуюсь никак. Еще в метро

обратил на вас внимание.

— Да уж я заметила, не бойтесь.

— Чего ж тут бояться? Просто сердце щемит. Но совсем не сильно, не беспокойтесь.

— А чего мне беспокоиться? Я не скорая помощь.

— Не скорая. Ох, не скорая. Еще совершенно не скорая. Лет, небось, восемнадцать?

Пусть себе думает. Так даже лучше. Восемнадцать так восемнадцать. Пусть хоть все двадцать. Так даже лучше.

— А в кино с пожилым молодым человеком не хотите сходить? Во французское посольство. Тут совсем рядом. У меня билет как раз на два лица. Так как? Потом провожу. Обязуюсь. Могу представиться родителям.

— Да уж лучше не надо. Я думаю, им это ни к чему. А в джинсах туда пускают?

— Ну, смотря по какому поводу. Но я думаю, сегодня ничего, можно. Я и сам не в смокинге.

М? Интересно. Могло бы быть. Еще неделю тому назад. А сейчас — уже не так интересно. Совсем не так. Всю жизнь поломал, сволочь.

Фильм оказался очень познавательный. «Эмануэль». Про жену дипломата в жарких странах, где ходят почти что без ничего. Даже трусы под платье зачастую не надевают, если верить картине. И что из этого происходит почти на каждом шагу. Даже в глаза смотреть было не очень удобно этому дядюшке Кириллу, когда зажгли свет. Знал бы он, что она на самом деле еще «до

шестнадцати». Да похоже, он даже не ожидал, про что картина. Сидел красный как рак и не шевелился, ничего не говорил.

Но до дому ее довез. Дал визитную карточку и сказал:

— По любому поводу. Днем и ночью. Прибегу мгновенно. Дате глазом не успеешь моргнуть.

Там было написано: «Кирилл Владимирович Кирилов. Архитектор.» И телефон.

Не успела отругаться с бабушкой на тему о том, где так долго пропадала, как на душу навалилась все та же тоска, будто не было ничего и в помине — ни приключения со взрослым мужиком, архитектором, ни французского посольства. Попробовала почитать географию на завтра — все мимо денег, то бишь головы, жуть какая-то, до чего неинтересно, про какие-то саванны, пассаты и муссоны: ну какое ей до них дело, спрашивается? Математику она давно уже и не пыталась делать — сдирала на переменах, и все. Если не поставят трешницу, останется на второй год — подумай, трагедия. Даже лучше. Не ломать голову о том, что после школы. Вообще — то бы пойти на какую-нибудь работу она и сейчас не против. Ходить в длинном пиджаке, с сумкой через плечо и получать в долларах. Хоть бы голова отвлекалась на что-нибудь от этой триклятой любви. Ничего нет в мире хуже, оказывается. Чем любовь. Самая жуткая травма. Ногу поломать — она ломала, месяц в гипсе валялась, так это чепуха по сравнению. Даже когда живот болит при менструации, и на стенку лезешь, и готова повеситься — и то не то. Есть в конце концов таблетки, а здесь никаких. Вот пой-

дет сейчас и бросится с балкона. Последняя надежда — пойти погулять с собакой, хотя бабушка ее наверняка выводила, но она не хотела бы встретить Сережу с Дейнекой, потому что не знает, что сказать и что сделать в таких обстоятельствах. Единственное, что было бы тем что нужно, — это иметь а кармане пистолет и застрелить при встрече без единого даже слова. А Дейнеку взять к себе. На всю оставшуюся жизнь. И больше никогда, ничего и ни с кем. Кровавая лужа на тротуаре окончательно размозжила ее нервы в неразличимое какое-то месиво, жгущее грудь. Теперь уж единственным, что было тем что нужно, — это разбежаться и изо всей силы шарахнуться головой об стенку. Было бы самое то. Самое то.

В принципе, можно было бы, конечно, узнать его телефон. Это не сложно: в той школе учится одна девочка, мама которой дружила с ее мамой еще когда та жила здесь, с ними, и можно было бы попросить маму, чтобы она позвонила той своей знакомой, а та ее знакомая позвала бы к телефону ту девочку — свою дочку, и она бы ее по секрету попросила. Но не хотелось. Это было унижением.

Что сделать, на что нажать, за какую дернуть веревочку, чтобы вынуть эту жгучую гадость из груди, из печени, из селезенки, живота своего поганого, черного, кромешного, свербящего, горящего, трехтонного, чревоугодного, мерзкого, ножепроящего, вопящего, кромсотрубчатого, радиоактивной помойной ямы, изнуряющей ее жизнь и радость детства, которое хоть и не было уж особенно каким-нибудь счастливым — вечно одна

или с этой гнидой протухшей, бабушкой, но все же до такого, как сейчас, не доходило.

Достала из кармана визитку и заперлась с телефоном в ванной. Скорее всего, бабка уже спит, но мало ли, что ей вздумается. Вечно «ты кому это звонишь?» или «кто это тебе звонил? — убила бы порой. Какое, спрашивается, ее дело? Какое она имеет право, и вообще, кто она тут такая? Квартира ее, это верно. Ну так что теперь? Что? Зачем они ее вообще, как котенка, не утопили в ведре, если все дело в квартире?

— Кирилл? А вы меня не узнаете? Это Вика. Вы еще сказали, что я могу звонить, когда захочу.

Обрадовался! Значит, все о«кей. Ничего ужасного.

— Я? Я? Ну вот пришла... Поела... Ну, так. Аппетита у меня вообще-то нет никакого. Сделала уроки...

Ну вот, проговорилась! Значит, он не подозревал, что она в школе. Надо было что-нибудь придумать. Но как придумать, что придумать? Не умеет она как-то врать.

— Да нет, я вообще-то с бабушкой живу... Нет, почему, у меня есть родители... Девочка из интеллигентной семьи, да... Пай-девочка? Ну, не знаю... А что такое пай-девочка?.. Отметки как отметки. Разве это имеет значение?.. Ну, читаю. Дайте что-нибудь почитать, я прочту... Что? Что? А... «Лолиту» Набокова дадите? Нет, правда дадите? У вас есть? Вот здорово! Давно так мечтаю!.. В каком смысле, откуда? Ну, не знаю... От мамы, от папы, от их знакомых... Конечно, интеллигентные, а то какие же?.. Нет, не завтра, а послезавтра, если можно. Ладно? А вы не обманите? Я приду!

А то бабка сразу кипеж поднимет, если она сразу каждый день начнет пропадать после школы и задерживаться.

Можно даже лечь спать. Хоть что-то впереди.

Дядюшка Кирилл был ничего, симпатичный. Похоже, что она ему не безразлична. Худощавый, даже тоненький такой — не очень-то и скажешь, что у него, как он говорит, сын ей скоро в женихи будет годиться. Постояли у метро, покурили — и опять это ей напомнило мастерскую Сережиного папы, где все заставлено картинами, кое-что висит на стенах — толстыми, темными красками, неинтересные какие-то предметы, но обратная сторона картин, холсты в раме и надписи на них, даты, цифры — чем-то привлекают, создают настроение в запущенном помещении с заваленным бумагами круглым столом у окна и большой тахтой, как ковер три на два, в углу. Опять остро, безжалостно туда захотелось, в этот мир вероятных значительных событий, любви и искусства. Она даже закрыла глаза и представила себе, что стоит сейчас с Сережей на свидании и курит.

— Что, солнышко растапливает? — спросил чужой, чуждый какой-то голос, она открыла глаза и увидела рядом с собой дядюшку Кирилла.

— Может, сходим куда-нибудь? — получилось просительно, даже жалко. Ну да ладно, она ведь ему нравится.

— Да? — чуть не подпрыгнул от радости дядюшка.
— А куда бы тебе хотелось?

— Не знаю... Где интересно.

— В Пушкинский музей?

— Я там была...

Тоска, честное слово. С Сережей — она бы пошла куда угодно, даже и в Пушкинский музей, куда ее конечно же водили родители, когда она была поменьше. Мама и отчим. Это когда у них еще не было Густика, братца. А что там делать с дядюшкой Кириллом? Одна безысходность. Улыбается. Смешная, да? Смешная девочка, вот кто она для него. Что он понимает в страданиях. Что он понимает в душе.

— А тебе чего хотелось бы? Вечеринку? Маленькое пати?

Они дошли незаметно до Петровского парка, где в это время было ужасно много людей с собаками. Но никто, слава богу, не обращал на них внимания. Воздух был теплый и мягкий, солнце не резало глаза, а нежило и ласкало, так хотелось, чтобы под деревьями, из-под старых листьев выглядывали подснежники, фиалки или эти, как их... Крокусы. Но все было облезло, скукожено, грязно. Кое-где начинала проклевываться свежая травка, и при взгляде на нее в груди наворачивался слезный ком.

— Как хорошо! — раздался вдруг рядом голос Кирилова. — Я почти счастлив, ей-богу. И все благодаря одной маленькой девчужке.

— Правда? — обрадовалась Виктория. — Это же очень прекрасно, правда? Мы можем здесь гулять, значит.

Пусть хоть он повыгуливает здесь ее, как собаку, пусть хоть он, хоть кто-то. Он обнял ее за плечо и чуть-чуть прижал к себе. Она схватилась изо всех сил за ру-

как его куртки и прижалась еще сильнее. Он поцеловал ее сверху в пробор и сказал:

— Завтра же?

— Ннне знаю... Нужно так, чтобы бабушка не догадалась.

— Ну и как же это?

— Когда я смогу, я позвоню вечером, и мы договоримся.

— Соображаешь.

— Ннну, как могу! — и они весело так рассмеялись, оба, одновременно, вместе. И она готова была вот прямо прижаться к нему и подлезть под подбородок, как котенок. Но в парке все-таки неудобно.

— А для этого домой надо приходить очень вовремя, — приняла она еще одно организационное решение.

— Я, — сказал Кирилов, — я... готов на все! — и поднял вверх руки. Это ей тоже понравилось.

Противно было, что он так дрожал над нею, за нею, за нее, из-за нее. Жалкое, немощное, бесконечно в ней нуждающееся ничто. Слизняк болотный. Конечно, кое-какая польза от него была — он покупал противозачаточные таблетки, и теперь она ничего не боялась — ни бабушки, ни мамы, ни школы, ни врачей, ни разоблачений. Полная свобода. Защита. Благоденствие. Счастливый Запад. Поэтому она могла с ним и быть, если хотела — ничем это не грозило, ни громом, ни молнией, почему бы и нет. Она лежала на такой уже знакомой огромной, как ковер два на три, тахте, отвернувшись от него, и смотрела на свечу, обыкновенную свечу, горевшую на большом круглом столе, заваленном бумагами,

с красовавшимся на нем не очень-то щедрым натюр-мортом — бутылка рислинга, который оказался кислый и совсем ей не понравился, бананы и пирожные, которые, между прочим, можно еще при желании съесть. Из полутьмы проступали светлеющие пятна неинтересных предметов на развешенных по стенам картинах, повернутые лицом к стене холсты с цифрами и торопливым почерком написанными названиями работ примелькались, она знала уже, что цифры обозначают размеры картины и год ее написания, и ничего больше. Конечно, было что-то значимое, роковое в том, что они рано или поздно оказались с Кириловым именно здесь, именно в этой мастерской: когда они в первый раз приблизись к этому дому, у нее было ощущение, что она уже умерла, и ей снится на небесах бывшая жизнь. Как, рассказывают, в этих книжках: жизнь после жизни. Они гуляли, как всегда, в Петровском парке, начал накрапывать дождик, теплый затуманенный свет помрачнел и прозяб, и Кирилов сказал:

— Можем пойти посидеть в одно хорошее место, в мастерскую моего знакомого художника. Тут недалеко. Где сухо и тепло — типичное место.

Да уж. Да уж. Да уж. Она чуть в обморок не упала, когда ясно стало окончательно, что это т о т дом, т о т двор и т а мастерская. Но что бы это все значило — понять она не могла. В том смысле — ч т о это ей несло, хорошо или плохо

Сейчас лежать и рассматривать огонь свечи было ни хорошо и ни плохо. Было почти никак. Скучновато.

Но всю эту идиллию — уж не брачную ли? — странный звук вдруг нарушил. Да-а, это там, в прихо-

жей. Эт-то ключ, ключ скребется в замке. Вот. Допрыгались. Кирилов быстро натянул трусы и пошел.

— А мне что? Одеваться? — спросила она.

— Как хочешь, — махнул он на ходу рукой и затворил за собою дверь.

— Так, — услышала она из прихожей незнакомый бас. — Ясно. Едрит вашу мать, как вы мне надоели. Хоть бросай к чертовой матери живопись, хер тебе в рот. Что за баба?

— Да какая там баба, — будто поморщившись произнес Кирилов. — Влюбился, как последний дурак.

— О! О! О! — откликнулся бас и насмеялся при этом. — Тем более причем тут моя мастерская, так и вел бы ее сразу же щи Емеле варить.

— Да какие там щи, — еще больше расстроился Кирилов. — С ума сойти, Глеб.

Ну как ты не понимаешь!

— Я понимаю только одно, — ворчал Глеб (значит, он Глебович: Сергей. Ах, как солидно, ах, как внушительно. А знает, интересно, его папа, что он тоже тут пается, сволочь? Это чьи, интересно, окурки были в пепельнице? И тоже, между прочим, не какие-нибудь, а «Магна» — те самые. Она проверила. А вдруг они месяц лежали здесь с тех пор? Вдруг, вдруг, вдруг?)

Кирилов вернулся. Она вырубилась в конце разговора, и теперь не понимала, что происходит.

— Он ушел? — спросила Кирилова.

— Кто? А, да ничего, это сантехник приходил, — как мальчик, соврал Кирилов.

— Но все равно, мне пора, пора, пора, — рассудительно засобиралась Виктория. — Ты же знаешь.

— Значит, в субботу снова нет? — жалким безнадежным тоном спросил Кирилов, когда они, прибравшись как следует (за этим Виктория следила), вышли из мастерской.

На улице было снова нежно, влажно, тепло. Ветер улегся. Только поздновато. Хотелось скорее домой и почитать что-нибудь. Может быть, даже уроки. Если бы она внимательнее вчитывалась в учебники, особенно по истории, ей было бы понятнее многое, что говорит Кирилов. Он влиял на нее благотворно, ее дядюшка Кирилл. Даже предлагал позаниматься с ней математикой, подтянуть. Но все как-то не получалось. То одно, то другое. Деревья повыпускали свои сережки, лапки, кисточки и мрели зелененько и прозрачно издали, как улыбка, как тонкие призраки жизни, которая могла бы быть при определенных обстоятельствах и прекрасна... Кто его знает.

— Еду на дачу, — уточнила Виктория. — С родителями. На все праздники.

— Как! — ахнул Кирилов. — До самого одиннадцатого? А как же школа!

— Нет, — Виктория устала от его истерик. — На три дня. Ничего, не паникуй. Позанимаешься с Емелей. Математикой, — съехидничала.

— Да он в этом не нуждается, — буркнул Кирилов.

Сначала она избегала говорить о Емеле — было как-то вокруг этого места колко, больно, ревниво. А теперь ничего — нормально. Емеля так Емеля.

Кирилов сначала очень даже говорил о Емеле, даже познакомить их рвался, а теперь ничего — при-

утих. Будто этого Емели и не было в помине. Тоже, может, ревниво. Но да ей все равно. Ей богу.

Легкое прикосновение к ноге, когда она подходила к арке своего двора, расставшись с Кириловым, как пушинка щекотнула под коленкой, как сон, который то ли снился, то ли нет, аукнулось ознобом внутри, страхом, дрожью — позади стоял, смотрел на нее и улыбался ей Дейнека. Этого еще не хватало! Она никогда не прикасалась к нему, никогда не разговаривала с ним — это была чужая, запретная, хоть и не безразличная ей собака.

— Ну и? — раздалось рядом.

Да! Вот это да! Вот уж такого она никак не ожидала. Да, это да, это...

— Пли, — рявкнула самым крутым своим голосом.

— Конечно, конечно, — кивал головой Сережа. — Мы теперь с элитой, с состоявшимися личностями..

— А вы теперь?

— А мы так... в хорошей компании. Можем пригласить.

— Для стёба?

— А хоть и для стёба. Вся жизнь стёб.

Все ясно. Все ясно. Вот и ответ на все вопросы.

— Ну если что для стеба. И то не сейчас.

— Вот-вот-вот. Уроки — да? — учить. А как же. Очки бабушке втирать. Знаем. Доложила родителям?

— О чем это?

— Ну, вообще... — он взял Дейнеку за ошейник и собрался отваливать. — Значит, учтено. Жди.

— В гости? — съехидничала.

— А что — есть куда?

— Ну а ка-ак же... Ну а ка-ак же... Куда ключ имеешь.

— Да, — помялся Сережа. — Уже не имею.

— Так я имею, понял? Я имею! Могу пригласить. На вечеринку. На маленькое пати. Приглашаю. Давай телефон.

— Вот, — он написал на спичечной коробке. — Только знаешь что? Никому ничего не объясняй — кто ты, что ты. Разговаривай только со мной. Если меня нет — вешай трубку. Усекла?

— Такой строгий дядя Глеб?

— Что? — вытаращил глаза Сережа: любо-дорого посмотреть. Вот отомстила так отомстила, даже не ожидала. Сразу стало весело и легко на душе. Теперь они на равных. Теперь он у нее вот где!

— Ладно. Забудь — проехали. Позвоню. Для стеба.

И она резко (почему-то) свернула под арку, в которой сквозняк всегда тревожил — ноябрь ли, май ли, апрель, и скулило. «Я буду метаться по табору улицы темной.» Говорят вот все — Мандельштам, Мандельштам. А не верю я, что им понятно. Что они такие приличные, как хотят казаться. Лицемерие и ложь. Я вот не понимаю, и честно. Строчка вот иногда вспомнится, другая... Иногда. Почему-то.

— Могу тебя обрадовать, — успела еще позвонить Кирилову перед отъездом на дачу. — Встречаемся четвертого вечером. Пригласила друзей. Как ты хотел. Вечеринка. Маленькое пати. Хорошо?.. Как где? — где и всегда, у тебя, ну в этой, в мастерской... Ты же хотел, чтобы я чего-то хотела в жизни, вот я и хочу... Вообще жить, да... Ну конечно, замечательно, а то как

же. Какая разница, сколько туда придет народу — все свои... Ну так ты сделай так, чтобы там никого не было - ты же большой дядя, сильный и умный?.. Я тебя и не прошу сделать все — всего ты сделать не можешь, это я понимаю. Но со мной же собирался встречаться четвертого там — так какая тебе разница?.. Ну и я тебе о том же, просто о том же. Я ведь немножечко тоже понимаю тебя, я ведь не дура. Потому что ты же Кирилов. И тебе же хотелось бы меня видеть и так, и там, и тогда, но это же сложно. Вот. А говоришь. Может, и Емелю пригласим?.. Почему нехватало? А чем он такой особенный, твой Емеля, что-то я не пойму. Заинтриговал он меня. Посмотреть бы на него, какой он там умный. Ну ладно, Кирилов, счастливо, будь здоров и не кашляй... Да нет, ничего уж такого не надо покупать. Если надо, сами принесут, чего им надо. Просто кекс. И бутылку сухого. Привет!

Как отлично! Как отлично! Есть для чего теперь жить, есть чего ждать. — Виктория прокатилась боком, валиком по своей мохнатой тахте — можно свободно, спокойно перетерпеть три дня на даче, на природе, в этой скучище с Густиком, его горшками, пирожками, соками, витаминами, какашками, кукушками, побрякушками, кубиками, машинками, воняшками, неваляшками, салатами, Маратами, Викторами Ильичами, параличами, инфляциями, комбинациями, информациями, кривляциями, апелляциями...

- А вот Ира Мирошниченко поступила в этом случае очень просто...

— Нет, почему, Пугачиха может нравиться, я допускаю...

— Андрей Вознесенский как заштатное пугало при правительстве...

— Но вы же к ним поедите или не поедите...

Все это можно выдержать, ура! И свободно! «Когда у меня есть ты».. — пропела. Но голос сел. Может, уже от курения.

Все получилось совсем неожиданно. Не то что они перепились там или что-нибудь такое — даже водки не было. Правда, они пришли уже очень какие-то нервные. Может, с колес. Она, честно говоря, еще не пробовала и не знает, что это такое.

— Сергей,

— Роман,

— Серж,

— Рома.

Кирилов чуть ли не приседал и улыбался, заговорил об умном — дурак! — потом понял, что двухкассетник ему не перекричать, и угомонился. Когда Сережа обнял ее за плечо, это было еще туда-сюда, но когда с другой стороны ее обнял Рома, это было не очень понятно, зато Кирилов, начавший было ерзать, успокоился. Немного поколебались под музыку - аэробика, боди-билдинг, расслабься, — и токи сладкого счастья залили голову до вершка, до макушки, про Кирилова она уже и вспомнить была не в состоянии — то есть, он мелькал где-то в дымке на краю сознания, но так бескровно и безотносительно, что очень легко было думать — и она думала: «да и черт с ним.» Вообще-то ничего нельзя было поделаться, это главное. Хотелось бы это как следует уяснить себе, но не получалось. Одно она знает твердо — поделаться было ничего нельзя: Сережа довел

ее до полного изнеможения, но когда рядом на паласе вдруг очутилось лицо Ромы, у нее внутри поползла по кишкам какая-то нежная гадина, которая тут же вцепилась в мужской признак Ромы, как только он добрался до нее, и Виктория поняла, что до сих пор все было вообще ерунда, а что такое тайна жизни на самом деле, она узнала только сейчас.. И этот человек, который ей нужен, вовсе не Сережа, а Рома, и вот сейчас — сейчас, сейчас, сейчас, «лови мгновенье» — она его заполучила.

— Еще можешь? — прошептала ему потихоньку, вцепившись в его голые плечи.

— Оборзела? — ужаснулось а ответ.

Кирилов забился в угол тахты и трясся, обхватив голову руками. Сережа взял ее за подбородок, повернул к себе и сказал:

— Теперь-то уже точно никому не доложишь?

— Что? Что? Что?

Что? Что? Что? — было докладывать, и кому? Им? Им? Им? Значит, оказывается, все они так вот извиваются по ночам с пеной у рта от укусов этой сладкой гадины в глубине живота, а потом:

— Ты выучила уроки? — И как ты только собираешься жить! — Жизнь — это не только удовольствия, но и долг, постоянный долг, необходимость делать то одно, то другое!

И они делали, боже мой, чего только они не делают за свои длинные деловые дни, чтобы, оказывается, потом — под одеяло, и кормить свою гадину, а ей - ни слова, ни гу-гу: жизнь — это, видишь ли,

долг! Спасибо Сереже, открыл глаза на их подлую тайну. И Роме. Но уж никак не Кирилову, который так же повязан в этой круговой поруке лжи и лицемерия, а сам — ничтожество, тля. Слизняк болотный.

И весь вопрос в том, что теперь делать с Кириловым. И кто теперь ее возлюбленный — Сережа или Рома. Кирилов убежал первый — наверно, расстроился. Виктория, как всегда, прибрала в мастерской — а они слушали кассету Курехина, говорили, что собираются в Питер и сводят ее в «Сайгон», если у нее есть, у кого ночевать. Но с кем она теперь будет — об этом ни слова. Захлопнули мастерскую, прошли с нею часть пути и повернули куда-то как раз перед их двором. У них свои интересы. Дела. Курехин. Питер. Разве ее отпустят куда-нибудь одну, неизвестно с кем? Мрак! За четыре дня с тех пор никто не позвонил — а она решила подождать и подумать: что делать с Кириловым.

За окном электрички все уже зеленело — как выйдешь, так запахнет черемухой, наверно. Можно будет позагорать — купальник там у них с прошлого года остался, кажется, наверху, на палатках. Сами они ездят на машине отчима, прямо с Юго-Запада, а она — от бабушки, на электричке. Это единственное, куда ее отпускают одну. И то чтобы засветло. Но не всегда же так будет, это они должны, интересно, понимать. У нее должна же появиться своя жизнь, или как. Так когда же, когда и что это будет за жизнь?

Что за жизнь без квартиры, например. А тут все неясно. Бабка. Это не жизнь ни в каких вариантах. Замуж. Это только Кирилов. Но даже смешно.

Во всяком случае, она теперь не страдает. Что-то в ней успокоилось, осело. Так жить еще можно, даже если какие-то сложности и препятствия. Так можно чего-то ждать. Думать. Есть надежда на жизнь, по крайней мере. Не сошелся, по крайней мере, свет клином на этом проклятом Сереже. Отпустило. Проехали. И ура.

Но когда на тебя смотрит такое вот звероподобное существо, совсем даже не интеллигентное, и э т а г а д и н а шевелится в его глазах — не смешно. Ни к чему. Ни в коем случае.

А тут твоя остановка, и тебе сходить, и о н о за тобою! Хорошенькое дело — и идет, и идет, и идет, и шаги, и дышит, а вокруг никого, только пахнет черемухой, и птички. Слава богу, уже первые домики поселка вынырнули из-за поворота, как всегда, неожиданно, но как кстати, как кстати.

И как раз у первого самого дома, довольно большого, на отшибе, с верандой, о н о вдруг шагнуло ей вдогонку круто и голос его зазвучал — да как знакомо, известно, раняще:

— Что за баба, пиздец, гадом буду. Просто в жизни такой не видал. Задница — как ягненок. И как следует запомни — нет у тебя вариантов, только пикнешь — смотри у меня!

Знал ли он эту избу, его ли она была или каких-то знакомых, или совсем-совсем чужая — только он в два счета затащил ее за калитку, приставив к плечу ножик, и поволок — как бы под ручку - по кирпичной дорожке через палисадник — черемуха пахла вовсю, отпер безо всяких затруднений дверь дома, и вот они уже на веранде, зашторенной от улицы и посторонних глаз ки-

сейными занавесочками, фиалками разукрашенными, может быть, даже пармскими, бог его знает. Солнце еще не до конца зашло, теплыми розовыми квадратиками аюкалось с дверной притолокой, дверь оказалась не заперта и внутри дома пахло всем, чем только может пахнуть деревенский дом: плесенью, подвалом, мышами, сеном, гниющими тряпками и яблоками. Но кровать была с покрывалом. И он его даже сдернул и набросил на икону в углу комнаты, у окна — но и все, больше времени тратить ни на что не стал.

— Ножик-то хоть уберите, — прошептала Виктория, когда он одной рукой начал срывать с нее кофточку. — И не надо ничего рвать. Глупо — куда мне уже деваться!

Он на секунду остановил взгляд на ее лице и, обхватив лапами, прижался. Он весь дрожал, как в лихорадке. Лицо — довольно таки бритое — пылало огнем. Она намекнула ему на штаны — расстегнув ремень, и сама сняла свои джинсы. Никакой паники, сказала она себе. Она это переживет. Она же знает, что от этого не умирают. И таблетки у нее с собою, и перерыва она не делала. Так что все окей.

И вдруг, в какой-то момент, у нее внутри поползла по кишкам такая тоскливо саднящая, жадная гадина, что она вцепилась в кожу предплечий насильника и завывала, как собака на луну, а потом вдруг вой иссяк в животе, и она отключилась напрочь от всего на свете — будто перестала существовать на какое-то мгновение и — как говорят эти мамыны приятельницы — растворилась в космосе.

— А еще можешь? — простионала она, когда он, успокоившись, отпрянул.

— Хорошенького понемножку, — откликнулся он хрипло: голос ужасно, ужасно напоминал тот, в прихожей за дверью мастерской, который называли Глебом. — Отдохну, так смогу. Только чаю попьем.

Вышли на терраску. Ноги у него были очень сильные, бледные, голубоватые даже. А шея, лицо и руки — загорелые, грязно, трудово. Художники такими разве бывают? Показалось. Только успели поставить чайник, как он ее сгреб и потащил обратно в комнату, легко, на руках.

— Ну и раскованная же ты, блядь, — похвалил. — Никаких комплексов.

И пяти минут не прошло, как изнасиловал ее снова. А она все отлетала и отлетала. В космос. Как Валентина Терешкова. И еще неизвестно, было ли у той такое. Вот не верю. Вряд ли. Позвольте усомниться, как говорит отчим.

Здесь можно было жить и жить. И не уходить никуда из этого яблочного домишка. Зацеловал всю, зверь.

— Так и сожрал бы тебя. Все бы внутренности выжрал. Да жалко.

Что там на улице, неизвестно. Солнце уже село наверняка. Но еще светло, еще есть время — еще они не побегут звонить бабушке. Тоскливо заныло под ложечкой.

— Дернуть бы как следует под такое дело, — сказал. — Но да ладно, и без этого хорош. Да, кроха? Вот я и говорю — дуры бабы, кобенятся, орут. Вот им и достается, небось. Что в газетах пишут и по телеку. Про все теперь говорят, лопочут без удержу. Не знаю. Еще вот тебя хочю. Просто прорва какая-то.

Теперь она наслаждалась как следует, и понимала, что наслаждается: кусала его, вгрызалась зубами в плечо, в ключицу, в татуировку вокруг соска. Он был соленый, пованивал потом. Как собака.

— Знаешь что? — решила ему сказать. — Ты просто бог. Настоящий бог.

Он испуганно отпрянул. Перекрестился.

— Ну ты даешь. Так нельзя, поняла? Молода больно. В церковь сходи, поняла? Завтра же. Покайся бабюшке. Только меня не описывай, а то убью. Это ты точно помни! Только пикни кому — порешу тут же.

За окном смерклось, оно больше не светлело в полутьме комнаты.

— Надо идти, — сказала.

Он повалил ее на кровать снова и не отпускал долго. Потом пошли на терраску, поплескались водой из ведра и стали одеваться.«Когда встретимся?» хотела спросить, но что-то в этом вопросе было не так, непонятно, что.

— Когда-нибудь я тебя увижу?

— На паперти, — бешено вертнул белками.

— Ладно, ладно, — приставила руку к его губам.

Вышли. Дом он не запер, ничего там не взял.

— Добежишь, не боишься? — спросил и повернул к электричке, уплыл в серой тьме дороги за поворот.

Стало безумно грустно. Куда идти, что делать? — ничего не хотелось.

Все праздники сходила с ума, места себе не находила.

Почему, почему он завесил икону? Ведь говорят, бог велел: плодитесь-размножайтесь. Почему же икону тогда завешивать — непонятно.

Никто ей теперь не нужен — ни Рома, ни Сережа, ни Кирилов, и снова она одна, как когда-то в детстве.

Одна надежда — вдруг это все-таки дядя Глеб, и она его увидит, встретит, узнает.

НЕВЕСТА В ЧЕРНОМ

Посвящается Франсуа Трюффо

Лицо покусывают снежинки, рукам горячо в варежках — надо непрестанно

снимать то одну, то другую: остужать руку, остужать эйфорию, распирающую изнутри, грозя уничтожить, разнести на мелкие клочья по сияющему катку, в центре которого, там, где никого почти нет, кроме малышей-неумешек около темноватой, украшенной разноцветными лампочками елки, снуют в бешеном темпе бледные молнии.

А пела Эдит Пиаф.

Каток заливали на теннисных кортах — тех самых, на которые меня привела мама уж и не помню во сколько лет и с которых я так и не ушла по эту самую пору, на пороге восемнадцатилетия — летом в обнимку со своими тремя ракетками, зимой — на коньках. Разумеется, к тому времени это были уже длинные норвежские ножи, и я зорко высматривала, кто чего на них стоит. А посмотреть было на кого, хотя нельзя сказать, чтобы в нашем южном городе конькобежный спорт куль-

тивировался как таковой. По-настоящему «нашим» спортом был конечно же теннис, а на коньках мы поддерживали общую физическую зимой, когда тренировок в зале катастрофически не доставало.

Я всегда и везде была одна.

Слишком далеко от этих мест умирал закат, и нарождалось новое солнце, слишком близко оказывались неожиданно люди, никак не связанные с окружающим и происходящим: Робин Гуд, маленький лорд Фаунтлерой и Фридерик Шопен.

Весенний же воздух сводил с ума. С тех самых пор, как «классики», нарисованные мелом на балконе, вдруг утратили притягательность, отшлифованный многолетним употреблением осколок кафеля, послушный ноге и мягко, податливо уходивший из-под носка, брошен был прямо посреди балкона, а не спрятан рачительно под старую ванну, и решено было, надев более или менее западного вида пиджак, выкроенный из старого детского пальто, пойти на Энгельса — без всяких, разумеется, определенных целей, а так, посмотреть.

Или еще раньше - когда чернильница а мешочке, болтаясь на ручке портфеля, впервые оставила неизбежное пятно на любимой тисненой коже драгоценного изделия: ранящий миг, ранящий день, ранящий сад: осень, первые дни сентября; вместо уроков нас привели сюда, под деревья. Гравий дорожек, темная кора с таинственными извилистыми ложбинками, шуршащие золотистые листья и промасленный пергамент, который разворачиваешь, разворачиваешь, разворачиваешь... а там и всего-то — хлеб, намазанный маслом, с кружочками сваренного вкрутую яйца, да огурец. Зеле-

ный и сочный. Городской сад, сохранивший дореволюционную планировку, двухъярусный и прекрасный, располагался прямехонько напротив нашей школы. Что мы там делали и о чем шла речь — не помню ни словом. Ранящий миг, ранящий день, ранящий сад.

Пойти же на Энгельса значило в предназначенный для этой цели закатный час появиться в определенном месте на главной улице, обе стороны которой до поры до времени равнозначны:

цирк-шапито, директор которого, а также дирижер оркестра — приятели моего дедушки, а посему, или потому, а может, вовсе не потому и не посему я в цикламеновом платье тончайшего крепдешина, со множеством оборочек по подолу и на рукавах, мама веселая, с гибкой талией, и по спине — штук двадцать маленьких пуговок, юбка развевается и пританцовывает на ней, от увертюры Дунаевского дрожь по коже и расширение чего-то в середине груди, и дело кончается слезами — и слоны, и тигры, и даже маленький медведь живут в цирке, и ни остаться с ними навек, ни взять их насовсем к себе в друзья, в братья, вообще домой никто не разрешает, несмотря на дедушкины обширные знакомства и вес в городе;

три магазина канцтоваров — один на той стороне, где цирк, два другие — напротив, между кинотеатрами;

— Ты сегодня собираешься в школу, или не собираешься?

— А мама что, уже уехала?

— Ну конечно, у нее поезд был в семь утра. Решила не будить тебя так рано. Так что не тяни.

— Да у меня что-то горло...

— Дай посмотрю. Да, чуть-чуть есть. Но не сильно. Ладно, напишу Лидии Федоровне записку.

И я вскакиваю с постели. Для приличия вялыми движениями вожусь с резинками, пришитыми к фланелевому лифчику и долженствующими держать на прищепках чулки. Покосившись на бабушку, надеваю платье — так, на всякий случай, — а не бумазеевый халатик на пуговицах, в котором сидят дома и болеют. Надеть под платье шаровары сразу? — или потом успеется, когда она скажет, после того как я поем и послоняюсь некоторое время по дому:

— Мороз и солнце, день чудесный!

Это наш боевой клич. И мы отправляемся. Маршрут ясен с самого начала: три кинотеатра — три разных фильма и три магазина канцтоваров.

И только потом, когда начинает меркнуть длинный-предлинный зимний день, и все вновь купленные краски использованы, сравнены с имеющимися в наличии, на столе, застеленном большим листом плотной бумаги, нет живого места от лужиц, неудачных мазков и цветковых проб, а на окне ее комнаты сохнут несколько акварелей: про одинокого олененка в зимнем лесу, про молодую леди двенадцатого века в полностью выдержанном историческом одеянии и про идеал девичьей красоты (крупным планом), она говорит:

— Хоть уроки на завтра сделай. Совесть-то надо иметь?

И тут я вспоминаю про математику: мучительную проблему сознания, никак не могущего преодолеть рубеж между конкретными счисляемыми величинами и

бесконечностью (бесчисленностью, абстракцией). И мне хочется плакать.

Все же одна сторона главной улицы была более главной — та, на которой цирк, кинотеатр «Победа», Дворец Пионеров (городская елка, радиокружок, театральная студия) и детская поликлиника.

И вдруг она оказалась совершенно забыта. Как будто бы просто перестала существовать.

У главной улицы осталась только одна сторона. Точнее, три квартала на ней:

Синие тени. Темный омут взгляда,
следящего, когда иду я мимо.
Вслед осени звучит неотвратимо
гитары мягкий звон в аллеях сада.
Я помраченье смерти пью впервые
из рук твоих в ознобе листопада,
и солнечная юность в чаше яда
уж омочила кудри золотые...

Одеты были плохо. Плевали на тротуар. Но был март, теплый влажный

воздух парусил грудную клетку, расцвечивали улицу букетики фиалок, подснежников, анемонов, в огромном количестве продававшихся на каждом углу, и приметы эстетических потуг и тщаний — белые из-под бортов зашмыганных пальто воротнички и с помощью воды из-под крана зачесанные волосы — волновали. Все хотели кому-то нравиться. Но ясное дело, не мне — малышке-семикласснице, в смешном, наверное, пиджаке, перешитом из пальто еще четвертого класса и с откоро-

венными школьными косами — толстыми и увесистыми. Так что мой интерес к Энгельса был достаточно созерцателен. Но лица там были прелестные — восхитительные гибридные физиономии юга России, где сходилась все — север и юг, восток и запад. Где часть города была греческой, часть — армянской, одни презрительно называли других либо хохлами, либо цапами, где евреи заведовали магазинами и хирургическими отделениями, а также играли в симфоническом оркестре и куда весь Северный Кавказ стекался на обучение в вузах. Не говоря уже об испанских коммунистах, отпрыски которых обретались почти во всех школах города.

Нежные молодые животные стреляли друг в друга глазами, или наоборот, делали вид, что они тут просто так идут мимо по какому-то такому очень важному делу, которое неотступно маячит перед их почти неподвижным взором. Я же рассматривала всех подробно, откровенно, в упор — как будто сидела в кинотеатре, потому что на меня тут никто никогда не обращал внимания.

Урки с металлическими фиксами были обидчивы, самолюбивы, а их девчонки — независимы и вызывающи, лишены всякой томности. Они здесь, похоже, правили бал. В марте пятьдесят четвертого года.

Но постепенно, трудно сказать, в какой именно момент, все это стало называться Бродвей, и преобладали на нем стилиги: взбитый кок волос, брюки дудочкой, толстые подошвы и широкоплечий пиджак. Песни Ива Монтана. Джазовые клубы. Стычки между

урками и стилиягами. Цивилизация обливалась кровью из разбитых носов, но не отступала.

И только на кортах я была в своей тарелке: здесь меня с детства знала каждая собака, в самом что ни на есть буквальном смысле, со мною здоровались незнакомые люди, и мучительная, переходящая рамки всего нормального стеснительность выпускала из своих черных клещей ровно на последней ступеньке трамвая на остановке перед воротами стадиона. Поэтому не было ничего такого уж особенного в том, что этот бегун — несомненно, лучший бегун на катке, — пролетая мимо на своих великолепных сверкающих ножах, ухватил меня совершенно неожиданно за руку и повлек за собою к виражам на таких скоростях, каких душа моя еще никогда не знавала.

Душевые с раздевалками зимой переоборудовались в теплушки, в предбаннике устанавливалась буржуйка, с коньков текло на пол, пахло мочалкой, одеколонами, горел желтоватый электрический свет — и что же он, этот неожиданный *scating prince*, интересно, мог тут увидеть, обнаружить, заведя меня отогреться и держа над печкой мой снятый ботинок? Бледное, может быть, чуть покрасневшее на катке, но все равно неприметное, палевое, неяркое лицо, абсолютно противоположное всему тому, что красуется вокруг, улыбается, хохочет, хихикает и строит глазки с безудержной смелостью цирковых укротителей и дрессировщиков тигров, амуров, гефестов, зевсов - всего что ни на есть живого, шевелящегося, дерущегося на Земле?

Я-то перед собой видела спортивного вида юношу, даже альпинистского какого-то вида, студента машино-

строительного института, русого, сероглазого, великолепно ходящего на ножах. И появляться с ним каждый вечер на катке было изумительно — особенно в те дни, когда рядом, и мимо, и сзади пронзительно визжат по льду ножи твоего заклятого врага - микстера Кинского, чемпиона Союза по юниорам, с которым ты вынужден с незапамятных времен жить на одном стадионе, тренировать микст по расписанию и который столько раз бил тебя на корте ракеткой и шипел в кульминациях ответственных встреч: «Уйди, зараза, с корта, легче одному выиграть, чем с тобой», который преследует тебя неотступно — в поезде, по дороге на соревнования, выдергивая ночью из-под тебя матрац, и в гостинице, подливая тебе в мыльницу уксус, и вечерами в городских парках самых разных городов, подходя к тебе на танцах всякий раз, как только кто-то, пусть даже случайно или по ошибке, приблизится к дереву, которое ты подпираешь, или к стулу, на котором ты сидишь, — а он-то, мастер спорта Кинский, танцевать не умеет, только выдернет тебя из-под носа выплывшего из неизвестности жизни незнакомца и через минуту отбросит наотмашь твою руку с inferнальным хохотом: «Что, потанцевала, стилига?» — и который, вне всякого сомнения, в т о р о й на катке: п о с л е того мальчика, твоего scating prince'a, что ждет каждый вечер тебя перед воротами стадиона, греет тебе в теплушке ботинки и несетя с тобою в серебристой пыли, держа тебя крепко за руку, — и летит мимо все, что ни есть на земли, все отстает и остается позади, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух...

Но к концу декабря надлежало сдать в университете все-все экзамены первой сессии досрочно и отправляться на зимние сборы в Северодвинск, Архангельской области, поелику там имел быть в наличии некий достаточно просторный зал, какого, что ли, и во всей России к тому времени было не сыскать, или еще там какие-то причины — но факт оставался фактом: Северодвинск так Северодвинск. А что это такое — до поры до времени представлений не было никаких.

Scating prince грустил, и было как-то не по себе, что ты вот счастливая, приподнятая, сдала Бог его знает чего и сколько за неделю в припадке вдохновения — и уезжаешь. А люди остаются и смотрят такими безрадостными глазами. Было даже немного неудобно. Стыдно было за вдохновенность свою и окрыленность черт его знает чем — ну просто побрякушками и позвякушками: билеты, вокзалы, чемоданы... Ну что еще, что еще там могло быть — кроме жесткого расписания тренировок! В восемь подъем - в девять на корте. В час обед. Два часа отдыха. В четыре — опять на корте. В семь тридцать ужин. Или как уж там сложится. Какие условия поставят ресторан и гостиница. В одиннадцать - отбой, и тренер сборной Борис Евгеньевич с плеткой (видимой не всегда) по всем комнатам. Вот и все, что можно было ждать от этого Северодвинска, среди, говорили, тайги.

Сонная блестящая сыпь мерцает в воздухе. Темный неправдоподобно рослый лес, обсыпанный снегом, молчит и длится с нескончаемой сказочностью, с вдруг ослепляющей золотою вспышкой Вифлеемской звездой в глубине ветвей, открытый, как сердце, на белой по-

лянке застывший заяц, деловитый и внимательный - и тут же страшно: да был ли он только что со своими живыми ушами? Есть ли весь этот мир на самом деле, и кто из нас настоящий: вы, звездные ели, морозная сыпь и заяц на снежном пеньке - или мы, с нашим зеленовагонным чаем, стуком колес, заунывным визжаньем тормозных колодок, яростным мясистым плямканьем мяча об ракетку, звоном трамваев и шипеньем автомашин по ночному асфальту? Все то, к чему я так привыкла...

— Мечтаем?

Я поворачиваюсь на стульчике, откинута в дальнем от нашего купе конце вагона, и вижу склоненного ко мне кудрявого пижона, рыжеглазого и узколицего.

— Тысячу раз пардон, но мне бы... В вагон-ресторан. А вы не курите?

— Нет... — изумленно пожимаю я плечами.

Он достает иностранные сигареты из беленькой аккуратной упаковочки, такой пижон, такой столичный, в клетчатой ковбойке, прямо как... прямо как... Ну в общем — не «Высота» или «Весна на заречной улице». А может быть, даже Ремарк. Или Синклер Льюис.

— Ну и что там? — кивает он на окошко.

Можно было бы рассказать ему про зайца, но это слишком интимно, — вряд ли кому-нибудь можно такое рассказать. И я отрицательно качаю головой, поджав губы.

— Ха! — развеселился вдруг он и сел на соседний откидной стульчик, по другую сторону окна. — Занято. Не мечтает, в окно не смотрит... Значит, скучает. Скука смертная, да?

Я снова изумляюсь — в последний, кажется, раз. Что значит скука? — что-то я не припомню ничего такого, даже и слово будто бы впервые слышу... Вот тебе и раз! До восемнадцати лет дожила, не знаю, оказывается, что такое скука.

— Еду вот к деду а Архангельск. Предки отправили. Тяжело чувачку. Доска треска тоска. Сессия на носу. Нашел когда заболеть. Всю осень на съемках. Скоро выйдет. Пойдите посмотрите. Младшего сына профессора. Да вы меня узнаете. А может нет. Может я сам себя не узнаю. Режиссер чувачк. Вы конечно не знаете. А может вы из Архангельска? Нечего там делать такой цивильной девушке. А может вы вовсе не цивильная? Костюмчик хай-класс. Чи-истая шерсть. Олимпийский? Вы вообще-то москвичка или как?

Я смотрю на него во все глаза, но почему-то вдруг голова заболела и накатило какое-то невыносимое чувство: будто время переползает через тебя медленной тяжелой змеей, и никогда это не кончится, и вот тебя уже заглатывает удав пыльного какого-то подвала существования, из которого тебе не выбраться никогда — на солнце, на снег, в март (цветы в городских фонтанах) и в свои любимые мечтания. Может, мне было обидно, что я не москвичка?

Я постаралась как можно вежливее извиниться, сказав, что у меня голова болит, и быстренько убралась в свое купе. Мысленно обратившись к зайцу на пеньке, я умоляла его появиться — но ничего подобного больше не было в окне: пролетали мимо телеграфные столбы, заснеженные избушки, в которых трудно, наверное, жить, воздух синел и кое-где уже сверлили

его железнодорожные прожектора. Я забралась на вторую полку, отвернулась носом к стенке и полностью отдалась меланхолии вечера, из которой выплыл нехитрый мотивчик вальсика, сочиненного когда-то для себя — классе в восьмом, а может, даже и раньше — но действие его было по-прежнему неотразимо: на щеку выползала тоненькая дрожащая слеза, и становилось чуть-чуть легче: Вас одного люблю — только о вас грущу но даже в мечтах моих светлых мечтах тщетно я встречи ищу... Заяц на заснеженном пеньке шевельнул усом, дрогнуло ухо, белая пушистая лапа махнула мне вслед. Это была любовь.

В вагоне темнело — «скоро будут разносить чай», и где-то звенела бубенцами Снежная Королева, и конечно, если ты себя и воображаешь кем-то — то ты обязательно Герда, и никогда тебе в голову не придет, что ты — Кай, а вместо снега вокруг была уже солнечная упругая трава, шелестела листва и качались прозрачные тени. И там была Я. На ней было необыкновенное платье — никогда его не забуду, так оно меня поразило: простое белое платье, не слишком длинное, так что и речи не могло идти ни о каких прошедших временах, скорее наоборот, но я не могла себе представить такой красоты пропорций, такого изящества в простом круглом вырезе — моих собственных способностей никогда бы на это не хватило. Простое белое платье Я выражало что-то безумно важное, и мое внимание было им как-то уж очень сильно поглощено. Я плакала, и лицо выражало, лицо выражало... Все это было видно как-то не очень ясно, не очень четко — совсем не так, как в жизни, когда смотришь на человека, и даже в зеркало

— ничего общего. Вряд ли я видела когда-нибудь Я. Никогда я ничего подобного не видела — ни до того, ни потом. Но вот запомнила все очень хорошо. Особенно запомнила того человека, который подошел к Я по травке — даже возраст трудно было определить. Он был как будто постарше Я, но в то же время было в нем что-то неубывающее, не унесенное ни ветром, ни солнцем, ни горем, ни трудом — без пота лица. Лицо же было. Необыкновенным.

— О чем ты плачешь? — участливо спросил Он.

— Умер мой заяц.

— Что значит умер?

— Его нагнала красивая собака сеттер и разорвала на части. Заяц было больно. Он кричал.

— А.

— Что значит «А». Больно, кричал — это вам ничего, об этом вы и думать не хотите. Не считается. Вечный дух — и конкретный, счисляемый заяц. В шубке. Не могу, — и Я заплакала так, что утратила и ту привлекательность, которую я никак не могла рассмотреть.

— Ну так попробуй обойтись. Это же от тебя зависит. А там мы посмотрим. Там мы что-нибудь увидим. Просто плакать — этого же мало. Как ты считаешь?

— Боже, как я Тебя люблю! — воскликнула Я.

Боже мой, подумала я, проснувшись. А беленький овчинный тулупчик, ношенный со старшей группы детского сада до четвертого класса включительно и подшитый потом еще широкой полоской коричневой цигейки? А кроликовая шубка и такая же шапочка, да еще и муфта к ним, скрасившие мучительное подростковое недовольство своей внешностью и сделавшие

мою жизнь в этом жутком возрасте выносимой? А любимый кожаный портфель, добытый дедушкой во вверенном ему советской властью универмаге в виду торжественности момента — первый раз в первый класс, — на фоне всеобщей послевоенной нищеты? А ремешки, пояса и сандалии? А, наконец, сумки, и сумочки, и перчатки — что уже к этому моменту успело стать настоящей страстью, не без бабушкиного, возможно, подстрекательства: «человек из хорошего общества узнается.».. ну и так далее.

Воздух на перроне оказался таким резким, что я немедленно обмотала лицо шарфом. Встречала нас почему-то военная машина — газик. Свет — какой-то неполный, сероватый, хоть и день-деньской на часах. Все вокруг настолько заснеженно, морозно и дым столбами, невозможно понять — город ли это, поселок или некий полярный фантом из жестокой грезы. Но у гостиницы снег был хорошо утопан и внутри почудилось что очень тепло.

Нам показали ресторан на первом этаже, сразу у входа, где мы должны были есть, и мы поднялись к себе наверх по красной ковровой дорожке.

Меня поселили в один номер со Светой Коломейцевой, из женской сборной. Она была лет на шесть старше меня, мастерюга из мастерюг, заслуженный мастер, успела поехать за кордон и даже выиграла два-три не очень важных турнира — словом, гордость нашего города. Да и всей Рысыфысыры, поскольку к тому времени только мы да сочинцы чего-то и стоили. У Светы были прекрасные отношения с моей мамой, они до какой-то степени задушевно дружили, и мама знала

все ее сердечные секреты. А значит, и я — в пределах положенного по возрасту. У Светы отец был инвалид войны, сапожничал на базаре, мама — уборщица, брат почему-то был тоже инвалид - в отличие от отца, врожденный, а Света — физическое совершенство, «шагающий экскаватор» ее называла народная молва, разумеется, за теннисную мощь, лапочка по характеру, никто с ней горя не знал, очень любила свою семью, переживала за них и теперь уже кончала журфак университета и была абсолютно интеллигентным человеком. Я ее обожала при всей ревнивой зависти к ее теннисным дарованиям. Когда она брала меня к себе в номер — на взрослых соревнованиях, на которых я уже пробовала свои силы, или на сборах — я ходила за ней, как овца. И теперь мы распаковали чемоданы, интимно, как с подругой, она поделилась со мной, до чего гадость эти синтетические трусы, которых она накупила за границей, и что нет ничего лучше - и не будет никогда, чем короткие штаники из детского мира, на размер меньше, чем требуется, и все, и порядок: трикотажненькие, все впитывают, вывариваются добела, и тело дышит! Я показала ей платье, которое наша домработница перешила мне под моим нажимом из школьного «выходного», теперь оно было точно как из нашумевшего фильма «Кружка пива», и Света сказала, что очень хорошо, пора уже одеваться как девушка, а то все в олимпийке да в олимпийке, очень здорово, оно тебе очень идет, ты совсем другая, вообще, как остригла косы летом, совершенно изменилась, только ведь стричь под «Кружку пива» толком никто не умеет, вот подстриглась в Польше, теперь не знает, что будет делать, когда волосы отрас-

тут. И тут в дверь постучали. Я сидела в углу комнаты в кресле, уже одетая, накрашив ресницы, готовая спуститься в ресторан - нас обещали покормить ужином пораньше с дороги. Света сказала «войдите», и в комнату ворвался не кто иной как Саша Копилевич, Бог ты мой, Саша Копилевич — он уже года два как уехал из нашего города, учился в пединституте в Кенигсберге, и говорили, даже теннис забросил - и вот пожалуйста, он на сборах! Саша был самым красивым мальчиком нашего теннисного городка, девочки от него с ума сходили, он постоянно крутил романы, причем весь стадион всегда знал — с кем. Это было почетно - быть пассией Саши Копилевича, пусть даже и очередной; Саша Копилевич - это была марка. Причем Союзного значения: когда Раечка Кирсанова и Лия Максимовская, эти светские львицы теннисного мира, приезжали к нам на соревнования или на сборы и приходили на стадион, они первым делом просили показать девочку, с которой с е й ч а с встречается Саша Копилевич — до того к нему все были в той или иной степени равнодушны. Даже моя мама. Эта так вообще додумалась до того, что отправляя меня на соревнования, всякий раз препоручала Саше Копилевичу: мол, смотри, Сашенька, за ней, ты все-таки взрослый. Саша кивал и брал меня за руку уже на перроне при отъезде, где всегда, или почти всегда меня провожала мама, даже с работы отпрашивалась. В поезде я постоянно бросалась к нему на грудь, спасаясь от проделок Кинского, когда Саша первым неукоснительно прилетал на мой истошный визг из тамбура, где стоял у окна с какой-нибудь хорошенькой девочкой: Бог его знает как, но они тут же проявлялись

в пространстве вагона и липли к нему. На соревнованиях ему приходилось со мной туго - он считал своим долгом отслеживать, не отовариваю ли я талончики на питание на шоколадные конфеты, отводил меня из гостиницы на стадион, даже если его встречи были на два часа позже моих или вообще после обеда, а по вечерам приводил с собой за руку на танцплощадку — в любом городе Рысыфысыры или в любой союзной столице он их отыскивал в первый же день по приезде, сажал на видном месте на стул, и даже добывал этот стул в поте лица, если на площадке их не было, и говорил:

— Вот так вот сиди, не своди с меня глаз. Чуть что, кричи. Поняла? Чтобы я на тебя неотвлекался.

И я сидела, глаза на все, что там происходило, в том числе на его девочек. У меня вошло в привычку оценивать их внешность и сравнивать между собою, и иногда я даже позволяла себе вольности:

— Ну уж эта ни в какие ворота.

— Ты считаешь? — настороженно и чутко откликнулся Саша, и тут же приглашал другую девочку.

Иногда случалось так, что все на наш взгляд оказывались ни в какие ворота, и тогда Саша, постояв рядом со мной и покрутив головой, уныло говорил:

— Ну что, стилига, пойдём потанцуем?

Конечно, это был юмор чистой воды — я, со своими школьными косами, подвязанными друг под друга полосатыми ленточками, в тубетейке, по подростковой моде тех лет, в ситцевом сарафане с поддетой под него белой пионерской кофточкой, - и Саша Копилевич, стройный блондин с карими глазами, всегда

подтянутый, чистый, пахнувший можжевелевой свежестью своих белоснежных рубашек, от которого ни одна девочка на моем веку не могла отвести взгляд: В парке Чаир распускаются розы в парке Чаир сотни тысяч цветов... И вот тут, в северодвинской гостинице, обнимаясь со Светой Коломейцевой и задавая ей быстрые вопросы — ну как ты? ну как учеба? ну как Польша? — он пару раз коснулся в мою сторону и вдруг сказал:

— Ну а что же ты меня не познакомишь с твоей симпатичной соседкой?

Света опешила:

— Это же Зоя! Ты что, чокнулся?

— Зоя?! Белова?! Белова-младшая?! Я еще не чокнулся, но сейчас чокнусь точно, — хохотал Саша, подойдя ко мне и шутливо беря за кончики пальцев, — я встаю — и он менуэтным движением обводит меня вокруг, не сводя с меня взгляда: наша станцованность ничего не потеряла за эти годы, я прекрасно чувствовала его в движении.

Мы спустились в ресторан и уселись за столик втроем. Саша отнес наши талоны официанту за перегородку, вернулся и сказал, что мы можем сидеть сколько угодно, и даже пить минеральную воду — за нее расплатиться у него как — nibудь пороху хватит. А ужин сейчас принесут.

Зал был велик, темноват, в углу поблескивали музыкальные инструменты, за роялем нависало тяжелое темное драпри, подвязанное серебряной галунной бичевочкой, но музыканты еще не появлялись. За столи-

ками, странное дело, сидело в разных концах зала несколько морских офицеров.

— Чего это они тут делают? — удивилась я.

Саша быстро взглянул на Свету и буркнул в ответ:

— А ты не знаешь?

— Нет, — пожала я плечами. — Откуда мне знать?

— А еще отличница, — он встал и пошел к роялю.

Постепенно, пока он начирикивал одной правой с легким подкреплением простыми аккордами модные танцевальные песенки, из-за драпри появлялись и рассаживались музыканты, а зал наполнялся мариманами. Так что в конце концов маленькая джазовая группа подыграла Саше, и даже вышла певица в узком муаровом платье с припудренными плечами, несколько столиков рядом с нами заняли наши — и какой-то необычный, странно-мрачноватый уют воцарился в помещении плохо освещенного ресторана с электрическим камином, пришел пианист — и вот мы с Сашей уже танцуем наш первый slow-fox этого вечера: знаменитый «Чай вдвоем»: A girl for you And a boy for me — Oh, can you see How happy we will be!

И я чувствую, что все совсем не так, как раньше.

Потом Саша приглашает Свету, я вижу, какая они замечательная пара, а сама сижу за столиком одна и грызу сыр, запивая его минералкой — свои законные лангеты с картофелем фри мы давно уже слопали, а можно ли здесь отovarить неиспользованные обед и завтрак на шоколад — я еще не успела выяснить. Только что Саша вернулся со Светой к нашему столику, как

к нему двинулась прямо от микрофона певица - и, продолжая петь, заскользила с ним от нас к танцевальному каре перед музыкантами. Певица была броская молодая женщина, пергидролевая блондинка с ярко накрашенными губами — совершенно чуждая мне стилистика, но ведь привлекает же чем-то мужчин! Я следила за ними, затаив дыхание. Мне не нравилось мое повышенное внимание к этой паре. И я перевела взгляд на пианиста. Он понимал, что такое импровизация, и заслуживал внимания куда больше. И вот в это самое время за темным драпри мелькнуло бледное лицо. Мелькнуло очень быстро. Но сильно ударило. Оно было необыкновенно. И я его где-то видела. Но где и когда, сообразить не могла. Неясная, неуютная мне боль от созерцания Саши в паре с пергидролевой певичкой как бы отступила, ее щупальца застыли в воздухе, уже порядочно затуманенном сизым дымом папирос.

— Это место у вас свободно? — раздалось рядом.

Я взглянула на подошедшего. Он был в штатском, худ, несколько взросел — то есть в его худощавом довольно вытянутом лице таилось какое-то знание и даже скорбь. Мое сердце едва приметно для меня самой дрогнуло от них.

— Вообще-то да, — неуверенно сказала я, и он быстро выдвинул четвертый стул и присел за чистую часть стола с нетронутыми приборами; Света танцевала уже с другим партнером, само собой разумеется, молодым морским офицером. Я за столиком сидела одна.

— Только что приехали? — спросил мой виз-а-ви.

— Д-да, вот, — я отпила глоток минералки и подумала, что вообще-то пора сматываться в номер, ведь ужин по сути дела окончен. Только надо поговорить с официантами насчет талончиков, хотя впрочем, это можно будет сделать и завтра.

— И надолго?

— На месяц, — сказала я и отметила про себя, что ничего подобного не бывает в больших городах, куда мы ездим обычно: каждая гостиница и каждый ресторан, где нас кормят, — это оживленный проходной двор, где, как правило, никто не обращает такого уж внимания ни на наш приезд, ни на наш отъезд: там каждый день кто-то куда-то уезжает и кто-то откуда-то приезжает. Здесь было другое...

— Солидная отсидка, — скупое улыбку не то пристающий ко мне молодой человек — не пора ли кричать Саше, — не то какой-то старый знакомый моей семьи. — А я из Питера, — пронцательно взглянул он на меня, будто услышал мои мысли. — У вас там никого нет?

— Да, — закивала я. — Мои бабушка и дедушка петербуржцы, и у меня там и дяди, и тети, и двоюродный брат, и куча сестер, и три бабушки...

На самом деле это весьма призрачные фигуры, некоторых из них я и видела-то раз или два в жизни, но не будешь же разъяснять это все постороннему человеку.

— Куча... Куча... — крутил головой мой собеседник и как-то кривенько, но, впрочем, довольно ласково усмехался. — Вас как зовут?

— Зоя, — неуверенно промолвила я.

— А меня Евгений, — каким-то покровительственным что ли тоном сказал он, растягивая гласные своего красивого имени. — Дружить будем? А то ведь здесь за месяц и повеситься недолго. Вы вообще-то чем занимаетесь? Вы кроме тенниса чем-нибудь вообще занимаетесь?

— Учусь. В университете, — уточнила я, а то подумает, что в школе. Боковым зрением я видела тренера, у которого шестеренки работали в том направлении — прямо череп бугрился на глазах, — каким способом теперь меня одергивать и отправлять спать, раз я в таком современном платье, на шпильках и с накрашенными ресницами — и расслаживаю тут в ресторане с респектабельным знакомым, серьезным, бледным, в темном костюме и свитере под горло.

— Мне наверно пора, — сказала я Евгению. — У нас скоро отбой.

— Что?! — как-то мрачно развеселился он. — И у вас отбой?

— Ну да, — уныло посмотрела я на него. — Это время, когда нужно ложиться спать.

— Что, не любите отбоя?

— Д-да, можно сказать и так. С одной стороны, хочется еще пожить, с другой — надо думать о завтрашнем дне. Хорошо, когда падаешь от усталости, и ни о чем вообще не думаешь.

- Да, ни о чем не думать хорошо, - задумчиво сказал Евгений, как-то внимательно вглядываясь в меня. -

Неужели я ошибся? - вдруг пробормотал он и снова очень пристально посмотрел мне в глаза, будто ждал ответа. Но я ведь не знала, ошибся он или не ошибся, и

вообще о чем он, и потупилась. Музыка играла, зал то-нул в красновато-лиловых клубках крепкого дыма: Беломор — Казбек-Наша марка. Горела уже разноцветно только елка да кое-где свечи на столах, танцевало несколько пар — по числу присутствующих женщин — и столы были заставлены каким-то неправдоподобным количеством бутылок, пустых и недопитых. Я встала из-за стола, Саша вдруг подбежал и заглянул мне в глаза — заинтересованно так, ново — не обиделась ли я, а я познакомила его с Евгением, — вот! — Света улыбалась морскому офицеру, с которым танцевала, тренер, хмурясь, двинулся к нашему столику, а наши потянулись гуськом к выходу — и тут музыку и разговорный гвалт перекрыл неслыханный мат, я быстро ринулась вон, потрясенная услышанным, и уже у двери услышала еще более неожиданные звуки — хлоп, хрясь, звон и глухое падение тела. Саша за плечо выталкивал меня из зала, следом в воздухе плыло бледное лицо Евгения, и уже выйдя в дверь и оглянувшись, я увидела залитую красным голову блондинки и перепачканную кровью скатерть. Тренер Борис Евгеньевич разогнал нас всех по номерам и сказал, чтобы носа не высовывали, чуть позже пришла Света и сказала, что там все перепились и передрались, а утром в ресторане было темно и угрюмо, на улице — темно и страшно жгло морозом, и по бокам расчищенной дорожки, ведущей к спортивному залу, высились снежные Гималаи.

У меня снова не ладилось с ударом слева. Когда — то, когда я неожиданно для всех вошла в сборную республики и тренировать меня стали как следует и учить играть «по науке», мне пришлось переменить хватку. И

теперь, всякий раз, когда в тренировках наступали вынужденные интервалы, у меня первым делом появлялись провалы в игре слева. Почти каждую зиму. Это меня расстраивало и нервировало, потому что без полноценного удара слева нечего было и думать идти куда-то вперед, куда бы то ни было. И все потому, что во всех городах, во всех дворах, во всех школах должны быть корты, летние и зимние, дети должны получать ракетки бесплатно и сколько угодно мячиков — а иначе это не жизнь, это не общество, это не страна, это не то, к чему мы должны стремиться.

Саша сидел рядом. Кинский тоже сидел рядом. Сидели рядом Света и Борис Евгеньевич. Сидели и смотрели несколько незнакомых, местных в тренировочных — оставалось предположить, что морских офицеров. Я обливалась потом и обтирала лицо минералкой. Впору было обливаться слезами. Если бы не эта зимняя расслабуха, по две тренировки в неделю, да и то не на нормальном корте с настилом, а так, в зале — как бы я уже играла! А?

А когда бы я ходила в университет? Не знаю, не знаю, но наладить удар слева очень хотелось. Чтобы снова испытать это прекрасное летнее чувство: что ты все можешь, что тебе полностью подвластны мяч и ракетка, что ты хозяин своего тактического замысла и что твое совершенство, легкость и красота, которую ты ощущаешь изнутри при каждом удачном ударе, — это и есть торжество Божьего промысла. На Земле. На земляных кортах, пусть.

Зал был размером всего в один корт, и времени на каждого приходилось не так уж много. Я посидела-

посидела после тренировки, и решила пойти вместе со Светой на обед. Ждать Сашу после вчерашнего tea for two and two for tea казалось неловко (а раньше я бы подождала, запросто) — он как раз тренировался с Кинским. На улице было солнечно и прекрасно, сугробы сверкали и невозмутимо царствовали в двух-трехэтажном поселковом пейзаже. В ресторане за отдельным столиком сидел Евгений, который при нашем появлении встал и помахал нам, а потом еще и стулья пододвинул — и одной, и другой, когда мы, чуть-чуть поколебавшись, решились все же сесть за его столик. Он был таким светским, оживленным — будто ничего вчерашнего и в помине не было. В конце концов я перестала глазеть на т о м е с т о, ломать пальцы и хмуриться — и приступила к харчо.

Но ела я все-таки молча. Света докладывала Евгению, какие места она знает в Ленинграде, кроме всех его стадионов и зимних залов, он так здорово шутил по этому поводу — остроумный! — и в конце концов я сообразила, что ему, скорее всего, лет примерно столько же сколько и ей, если не больше, — и уж пора, все говорят, замуж. Так что нечего мне было и соваться в их разговоры. Но тут явился тот, с которым она вчера танцевала, — элегантный, как рояль, в черной форме, в эполетах, и тоже разбежался за наш столик и тут же спросил шампанского. Мы его едва убедили, что у нас спортивный режим и ни-ни-ни — ну разве что как-нибудь вечером, и то не в первый же день. Тогда он (Сереза его звали) заказал водки, и они с Евгением дернули, оказавшись как-то очень хорошо и подозрительно знакомыми. И опять пора было уходить, потому

что повод для присутствия в злачном месте был исчерпан, а как раз в этот момент ввалились Саша, Кинский, Люба Гаврилова и Гоша Авербах из Куйбышева, который как раз в это время был ее мальчик. И все равно все вышло так, что все как-то с кем-то сгруппировались смеяться, болтать и шушукаться, а мне ничего не оставалось, как потихоньку ретироваться и подняться на второй этаж к себе в номер.

Уютненько и удобненько улегшись на койке, я подержала в руках «Успех» Фейхтвангера и незаметно оказалась все на той же шелковистой зеленой полянке — Я держала на руках зайчика, как ребенка, и рядом брезжило в воздухе то самое необыкновенное лицо, которое я, кажется, видела уже столько раз. Он, этот человек, такой знакомый, как бы обнимал Я с зайчиком на руках, и струилась в воздухе тихая колыбельная музыка, в которой я с изумлением признала медленный фокстрот «Чай вдвоем». Тут же во сне я напряженно пыталась осмыслить увиденное, но в дверь постучали. Это был Саша. Саша, Саша, Саша! — и звал в кино.

Смотрели какую-то отечественную муть, но это было неважно — факт оставался фактом: мы были вдвоем. На ужин пришли поздно, музыка играла, бутылки на столах тускло отблескивали, елка горела, пел не в меру громкий, быковатый баритонец в смокинге. Но пианист гнул свое, клево. Грустно, но фоно не спасало положение. Пергидролевая была тут куда более кстати. Интересно, хоть жива ли она? В углу сидел Евгений. Один. Как только мы вошли, он встал и направился к нам:

- Давайте-ка быстро ко мне за столик. В темпах.
- То есть? — не понял Саша.

— А еще лучше, Зоя пусть остается, а тебе я ужин принесу в номер. Как в Палермо. Идет?

— Не понял, не понял, не понял, — уперся Саша, а к нам подошел Светин Сережа. Сама Света была еще на тренировке, и Борис Евгеньевич кое с кем из наших тоже — играли из-за ограниченной пропускной способности зала до десяти вечера. В руках у Сережи была бутылка водки, и сам он был в штатском.

— Эй, парень! — неожиданно фамильярно обратился он к Саше Копилевичу. — Ты мне друг или не друг? Ну, отвечай!

— Ну, предположим, друг, так что из того?

— Пойдем выпьем, вдвоем, на пару — как положено! За приезд.

— Да я не пью. Я вообще не пью. С роду в жизни. И не собираюсь никогда. Я совсем не по этому делу!

Но они — Сережа и Евгений — его упорно тащили из ресторана, ненавязчиво, с объятиями и толчками, и я тлюпнулась за ними — и когда мы оказались таким образом в вестибюле гостиницы, с улицы ввалилась целая компания, частью в шинелях, частью в тулупах: морозный воздух, колючие снежинки, моментальный озноб (в моем легком платье). И тут же я увидела странный предмет в руках одного из них: съедающую весь падающий на нее свет черную матовую штуку, направленную на Сашу.

— Убью, сука, — раздалось а ковровом вестибюле под звон хрустальных бокалов из открытой двери ресторана. — Отойди от него, падла!

Но ни одна из падл — их ведь было с ним рядом двое — не отошла от Саши, а наоборот, они, эти падлы,

то есть Сережа с Евгением, активизировали свои усилия и буквально волоком потащили Сашу вверх по лестнице.

— Ну так я же все равно выясню, в каком номере он живет, этот ублюдок, ему тут по улицам не ходить, северную доску не топтать, нашу треску не жрать! — неслось им вслед, и гостиничная дежурная, высунувшись из окошка, с любопытством крутила головой, пытаясь увидеть, вслед кому это кричится.

— Зоя! — раздалось откуда-то уже сверху; я подняла голову и увидела в воздухе над собою бледное необыкновенное лицо Евгения — он склонился через барьер лестничной площадки. — Я сейчас приду. Идите за мой столик. И ешьте спокойно. Приятного аппетита.

— Что ж поделаешь, — пояснял мне Евгений, через некоторое время вернувшись и доедая заливное. — Любовь — это самое универсальное, самое массовое из божественных вдохновений.

— Божественных? — усомнилась я.

— Ну конечно, а то как же! — весело откликнулся Евгений, но с какой-то горчинкой в голосе. — Все ведь, что ни на есть живого, вдохновлено свыше.

— А вы тоже... — я запнулась. — Также... Военный офицер?

Он снова посмотрел на меня тем пристальным серьезным взглядом, что и вчера.

— Нет, я не военный офицер, — задумчиво покачал он головой. — Я корабельный конструктор. Я тут просто в командировке. Прозябаю. Частенько. А что, у военных офицеров форма красивая? Девушкам нравится? Теннисисткам? Чемпионкам?

Я пожала плечами. Что-то он не за ту меня принимает. Но да ладно, какая разница!

— И к тому же не танцую, — довершил свои самоуничужения Евгений.

Явно не за ту. Но какая разница. Какая разница. Еще неизвестно, появится ли здесь Саша вечером, когда играет музыка, и доведется ли нам танцевать. И оказалось вдруг, что время ползет очень медленно — бифштекс съеден, чай с лимоном выпит, а еще весь вечер впереди. И лучше уж пойти почитать.

Но к политической жизни Германии интерес также ослаб. Доктор Кригер был явно не мой человек. Не герой моего романа. Я лежала и думала. Даже заснуть не могла..

На следующий день после тренировки (Сашу я так и не увидела, он должен был играть после обеда, но я ежесекундно чувствовала новую связь, образовавшуюся между нами: светлую радостную тайну) я сама подошла к столу, за которым, конечно же, торчал Евгений и допивал томатный сок.

— По-моему, любовь — это совсем другое, — открыла я дискуссию, кажется, даже не поздоровавшись.

— И что же это такое, по-вашему? — он налил и мне томатного сока из графина.

— Ну... когда с человеком хочется все время быть... И оно не кажется потеряннным.

— Что значит «быть»? To be or not to be, — ворчал Евгений.

— Все: жизнь: есть за одним столом, кататься вместе на коньках, играть микст, пусть он даже и не первая

ракетка сборной... Ходить в кино... В общем, везде, где ты был один, и тебе было плохо.

— Красиво. А в бараний рог она вас еще не скручивала?

— Кто?

— Любовь.

— Я не люблю, когда меня кто-нибудь скручивает в бараний рог, — потупилась я.

— Ну ладно... Ешьте и пойдём погуляем. А то в зале душно, в ресторане прокурено. Надо и воздухом дышать.

— Но вам же надо на работу?

— Подождут.

Долго гулять по этим приполярным снегам я не могла, к сожалению, — на мне были южные ботинки на микропоре, и довольно скоро я запросилась домой.

— Ну, пошли вам Бог, Зоя, — опять очень странно и необыкновенно сказал Евгений у порога гостиницы.

— Чего? — живо полюбопытствовала я.

— Чтобы вас никто и ничто не скручивало в бараний рог. Даже любовь, — и он зашагал прочь, на работу.

В четыре мне надо было играть пару, там я увидела Сашу, и мы все — и Кинский, и Света, и Авербах с девочками - договорились на завтрашний день пойти вечером на каток.

— Здорово! — обрадовалась я.

А через неделю как ни в чем не бывало появилась блондинка и снова пела — и снова у нее это получалось просто клево, она умела постоянно держать душу в крылышках в облаке своего небольшого, хриповатого голоса. Мало того, она опять подошла к нашему столику

и увела с собой Сашу — танцевать с ним и петь, с ним танцуя, — я затаила дыхание уже от страха, а не из ревности — но все обошлось, не знаю, почему, и она вернула его прямо мне в руки — это было явно, явно, явно! — ушла обратно на их маленькую сценку, прислонилась к фоно и запела «Чай вдвоем». Саша взял меня за плечо, и у меня слезы выступили на глазах. Даже не знаю, счастье это было, или что.

Евгений, бывало, не появлялся по несколько дней — видно, что-то на работе, надо думать, что-то очень-очень важное. Даже по вечерам его не было в ресторане.

— Это когда с человеком хочется быть все время вместе, любой ценой, — сказала я ему наконец однажды, когда выходила из гостиницы, и он неожиданно открыл передо мной дверь. Он стоял передо мной, высокий, худой, замученный какой-то и улыбался. Чувствовалось, что ему приятно меня видеть, а я страшно к этому чувствительна, страшно. — Но этого нельзя допускать.

— Чего нельзя допускать?

— Любой цены.

— А. Вы уже поели?

— Да, мне надо на тренировку. Меня сегодня поставили на три часа с Кинским.

К концу тренировки Евгений появился в зале. К этому времени уже порядочно людей приходило на нас посмотреть — на хороший теннис, как они говорили, которого не видели никогда и вообще не знали, что это за игра такая. Но я сразу увидела его бледное необыкновенное лицо в темном провале ос-

вещности на балконе, где тоже были места для зрителей. Слева у меня было сегодня все в порядке, и вообще я хорошо проявляла себя в миксте. А потом к нему подошла на балконе Света - видно, тоже его сразу увидела, и когда я вышла из душа, все они вместе стояли у входа и будто ждали меня — Света, Сережа, Саша и Евгений с фотоаппаратом.

— Встаньте-ка вдвоем, — сказал он мне и Саше. — Пришлю на память. На всю жизнь.

Потом он сфотографировал Свету с Сережей, нас всех вместе, а мы его, и сказал, что надо будет прийти как-нибудь днем, когда светлее в зале, и поснимать нас всех на корте. Вспышка там не возьмет.

На улице было темно, где-то за домами с уютно освещенными окнами в небе ползло и ширилось бледное зарево сиреневого цвета. Мы стояли и рассматривали его. Даже пробежавший мимо хулиган Кинский остановился чуть поодаль от нас и обалдело воззрился в небо. Свечение вдруг померкло, и мы уже собрались идти, как оно снова возникло и развернулось в занавес по всему горизонту, теперь уже зеленоватый.

— Северное сияние, — сказал Евгений. — Что-то уж очень шибко сильно. К чему-то.

— Это когда за человека готов отдать жизнь, — сказала я ему.

— И много вы уже отдали жизней? — посмотрел на меня сверху вниз Евгений и засмеялся.

В ресторане народу было на редкость мало, музыканты отсутствовали — у них был выходной, и мы снова пошли на каток. Здесь почти все катались на хоккейках, и очень прытко. Что значит север. У меня было чувство,

что я бросила Евгения — одного, в гостинице, такого взрослого, никому из нас не нужного. Пришел в зал. Посмотреть. На меня? На Свету? На чемпиона Союза Кинского?

Несколько дней мороз крепчал и крепчал, солнце не появлялось, весь коротенький приполярный денек стояли серые сумерки, мы, как борзые, пробегали из гостиницы в спортзал и обратно, закутав лицо — благо все здесь было рядом, в этом военно-морском поселочке. Мальчики в своих номерах часами дулись в карты. Приходили к нам в гости — то один, то другой, то третий. То все вместе. Даже Кинский торчал у нас в номере, сидел в моем кресле и пакостил — то тетрадку с мыслями схватит с тумбочки и начнет зачитывать вслух, то делает вид, что сейчас разорвет пополам Фейхтвангера — но не тут-то было, не на того напал: книга-то толщиной с кирпич, и он просто запускает ее в стенку. Красиво, ничего не скажешь! И это мой микстер, с которым, по идее, у нас должен иметь место такой внутренний контакт, что по мановению его ресниц я должна понимать, побежит ли он сейчас вправо, или вперед, или влево. И я-то понимала, я-то чувствовала, а вот он... Потом задул ветер, и потянулись буровики над сугробами — даже дышать стало невыносимо на морозе. И в конце концов разыгралась такая вьюга, что мы больше не могли ходить на тренировки. Выйдешь из двери гостиницы — ничего вокруг не видно, ни города, ни неба, ни деревьев, ни даже близлежащих домов. Не можешь понять, где юг, где север, только крутит вокруг тебя сероватая снежная муть: да это же родина твоя, батюшки! Вот она какова

на самом-то деле, на девять может стать десятым ее необъятных просторов. В ресторане сидели теперь целыми днями. Даже трудно было понять, убирают ли бутылки. Водка, шампанское, коньяки всех марок. Воздух такой же непроницаемый для взгляда, как на улице, только зажженная с утра до вечера елка проглядывает сквозь сизую мгу.

— Не могу здесь больше обедать — сказала Света.
— У меня глаза слезятся. Конъюнктивит вспыхнет вот-вот. Это ужасно. Это будет катастрофа.

— Ты думаешь, я забыл тебя, падла, — схватил кто-то однажды за грудки Сашу, когда мы пробирались к выходу почти вслепую, держась за руки. — Счастье твое, что твоя девчонка всюду тебя сторожит, юбочник, падла, вонючка... Саша быстро поднял руки — как сдаются в военных фильмах, и закрутил головой:

— Не-не-не-не-не, приятель. Давай не будем. Я не по этому делу. Давай, давай, давай, давай помиримся. Нам с тобой ровным счетом нечего делить. Ровным счетом. Ты пойми. Ты хороший парень. Я тебя понимаю.

— Какой я тебе парень. Какой я тебе парень, падла. Я начальник, понял, ба-альшой здесь начальник, падла. И ты это учти.

— Да я учел, учел, — морщил губы Саша, стараясь не рассмеяться (уж я-то знала выражение его лицевых мускулов как своих собственных изнутри).

А мне было страшно. Я в ужасе оглядывалась по сторонам и вдруг ноги меня понесли вверх по лестнице: в комнату, где, я знала, жил Евгений. Я затарабанила в дверь, как полоумная, и он появился на пороге.

— Входите, Зоя. Что случилось?

— Пойдемте, пожалуйста, скорее... Там опять это... Это животное!

Он побежал по коридору и вниз по лестнице впереди меня, и с лестничной площадки я увидела их ноги, толкшиеся по какому-то дурному кругу. Когда я спустилась, Саша с Евгением надевали на эту дремучую скотину тулуп, а тот не мог попасть в рукава.

— Ну теперь пошло-поехало, — сказал Евгений, когда мы поднялись на наш этаж. — Боюсь, снова дойдет до русской рулетки. Это страшное дело, когда тут все заносит, и они вынуждены сидеть сложа руки. Они звереют. Зайдете на чай? Евгений жил в номере один. Номер-люкс это здесь называлось. Кровать, трюмо, небольшой столовый стол с приличной скатертью, диван. Советский провинциальный шик. Литография на стене: Верещагин. Электроплитка. Я быстренько принесла из своего номера конфеты (наконец-то отоварила на все залежавшиеся талончики), пару стаканов. Вернулась со Светой.

— А что такое русская рулетка?

Он снова посмотрел на меня тем странным взглядом, как вначале, пристальным и к тому же очень печальным:

— А что такое русская душа, вы, Зоя, знаете?

— Понятия не имею. Даже никогда не думала.

- Вот в такую пургу, когда ни зги вокруг, они спяну выходят на улицу всей бражкой и палят из револьверов, не целясь. Так просит душа. Горит она у них, понимаете?

— Надеюсь, на улице никого нет в такую погоду, — ошеломленно промямлила я, не очень понимая, что я, собственно, имею в виду.

— Я тоже надеюсь, — сказал Евгений. — Ладно. Вот сейчас я сделаю по-настоящему хорошие фотографии. На память.

На диване лежала гитара, и Саша попробовал ее, подстроил — на гитаре он тоже чуть-чуть умел. Главное, у него был хороший слух. И вкус. Вот что. Сиреневый туман над нами проплывает над тамбуром горит полночная звезда Кондуктор не спешит кондуктор понимает что с девушкой я прощаюсь навсегда...

Стало грустно. Действительно, скоро расставаться. Всем. И мне с Сашей. Как это, интересно, будет? Страшно подумать.

— Сколько же это будет длиться? — спросила Света на следующий день у Бориса Евгеньевича.

— Не знаю. Говорят, тут по неделе так бывает. По десять дней. Когда ни дети в школу не ходят, ни военных учений. Сейчас, говорят, даже булочная не работает. Кое-кто на посту. Кое-кто на работе. На важных позициях. Так, они говорят, редко бывает. До такой степени.

— Чего же нам здесь сидеть? Не тренироваться? Глупо же?

— А куда мы денемся?

— На газиках могли бы нас до станции довезти...

— Да ладно тебе, — сказал Саша. — Что впадать в панику. Не так уж нам и плохо. Правда, Зоя?

А мне почему-то хотелось плакать. Не знаю, что это было. Может, предчувствие.

На завтрак мы еще спускались. А на обед старались все забрать в номер и поесть там. В тот вечер все сидели у нас. Без стука заглянул некто в форме, долго искал кого-то мутными глазами и наконец махнул в Сашину сторону:

— Эй, парень... Пойдем, поиграй! Н-н-не мож-жет ж — ж — же офицер гулять без музыки... У тебя хорошо получается, пойдем!

— Нет-нет-нет-нет, — ухватились мы со всех сторон за Сашу. — Ни в коем случае.

— Ну что вы, — сказал Саша и встал. — Естественно, офицеры не могут. Это же понятно.

Я некоторое время посидела-посидела, и вдруг мне показалось, что глупо — не идти на ужин в ресторан. Я имею право. У меня талончики.

Было уже поздно, в коридоре — никого, на лестнице — никого, только за дверью ресторана теплились звуки — приглушенный шелест голосов и негромкая Сашина музыка. Я стояла на нижней ступеньке лестницы, когда грохнула входная дверь и заснеженные двое будто клубом вьюжной крути и воя внесены были в вестибюль.

— Главного конструктора шестерки подстрелили, — крикнул один из них дежурной. — Звони в медсанчасть.

Мимо меня пронесли Евгения, — бледное, необыкновенное лицо из моего сна, мне вдруг это стало ясно. В моем онемевшем сознании не поместилось ничего, кроме тут же воцарившейся тишины. Я стояла внизу, у лестницы, и смотрела вверх, куда его унесли. Вестибюль занесло снегом: белые полосы по краям

ковровой дорожки, под журнальным столиком, вдоль плинтусов.

— Нету у меня никого... Нету у меня никого... — почему-то несколько дней кряду бубнила я, ложась спать, но разве объяснишь, что у меня было на уме. — Нету у меня никого в Питере.

Тяжело было очень, непередаваемо. Будто я хоронила того вот зайца. Из моего сна.

Когда сборы кончились, нам с Сашей надлежало уезжать в разных поездах — ему в Архангельск, а нам всем — через Москву. И он меня накануне вечером, наконец, поцеловал — это было так долгожданно, так неотвратимо. Мы стояли в глубине коридора, у окна, поздно-поздно, было тихо, в гостинице будто ни души, и это наше прощание длилось, длилось, и было такое сладкое чувство, эти поцелуи, такое сладкое, даже приторно-сладкое и, главное, перед глазами бежал и бежал заяц, весь в красных пятнах, как скатерть в ресторане в тот вечер, и его преследовала и нагоняла красивая собака сеттер, и она все длилась и длилась, эта экзекуция. Время тянулось удавом.

Уже дома, вернувшись, выхожу из университета однажды после занятий, вижу — приближается, отделившись от дерева, молодой человек, вот чувствую, он со мной как-то связан, а узнать не могу. И говорит:

— Здравствуй, Зоя!

Scating prince. Боже мой, но ведь каток-то растаял! Март на носу. И тем более когда я уже узнала — хотя, должно быть, еще и не поняла в полной мере — свою с т р а ш н у ю т а й н у: что не способна предаваться светло и радостно поцелуям весны и всему прочему, к

чему влечет и понукает нас природа. В этом мире. Где
зайцев травят собаками.

конец